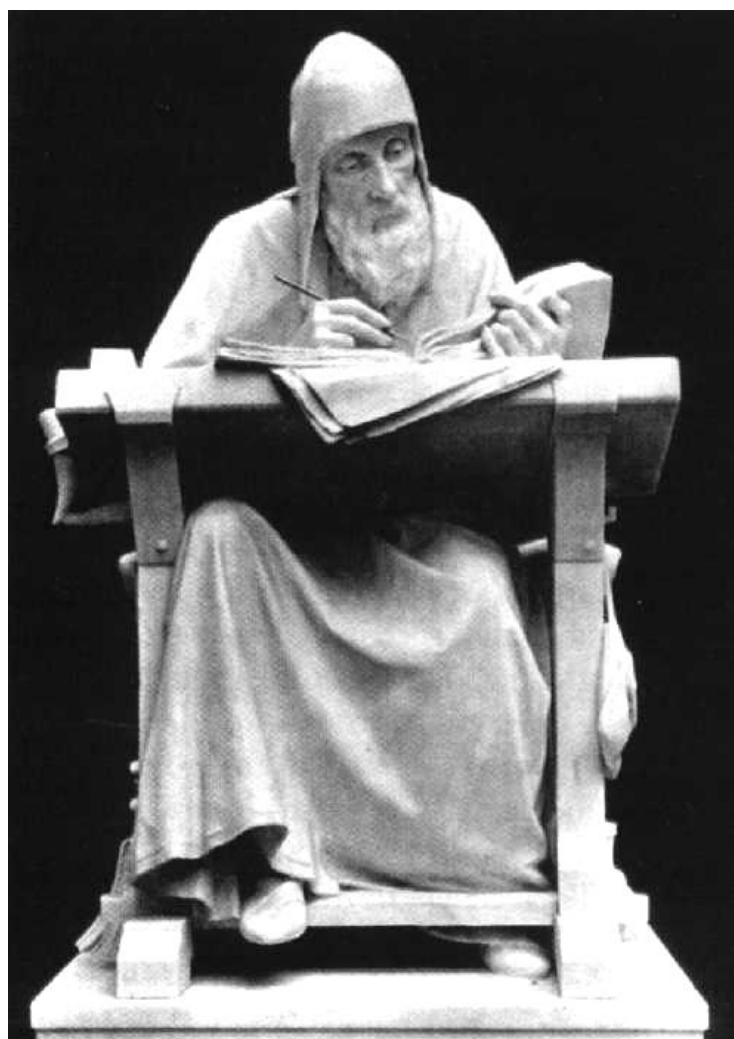


МАСТЕРА СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ

=====





Николай
ТРОПНИКОВ

**ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ**

ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ

Санкт-Петербург
2025



ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Настоящая **Книга избранных сочинений** выдающегося русского писателя Николая Ивановича Тропникова начинается собою серию «**МАСТЕРА СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ**»

Н. И. Тропников известен читателю по книгам «Уходя от костра», «Ночные деревья», «Белое раннее», а также по публикациям в журналах «**Новый Мир**», «**Аврора**», «**Юность**», в альманахах «Медвежьи песни» и «Русские страницы», в «**Новом Русском Журнале**».

Книга вместе с обложкой представлена на сайте «**Семь восьмых**» вместе с творчеством известных русских писателей, поэтов, философов, историков и музыкантов.

Издательский Совет предполагает ее выдвижение на соискание Русской премии имени великого русского писателя **В. А. Солоухина**.

Поэт, поселившийся в прозе

Начиная разговор о творчестве русского писателя Николая Ивановича Тропникова, приходится осознавать две основные трудности, подстерегающие любого, кто дерзнет взять на себя такую задачу.

Во-первых, это многогранность внутреннего мира писателя и его художественного дара, сокровенность его образного мышления, из чего естественно вытекает, во-вторых, необходимость для критика-литературоведа определить внутренний облик того читателя, для которого пишет прозаик – к которому, стало быть, обращены и строки этого вступления.

С первой трудностью справиться легче, потому что здесь путеводителем служат и необычные факты биографии писателя, и рассказ о *малой родине*, «откуда бысть пошел» он по русской земле, и разнообразные умения – «ремесла», как выражается прозаик – которыми обогатила его жизнь, и свидетельства о нём его собратьев по перу и, наконец, не в последнюю очередь само содержание его произведений.

Но угадать читателя, который верен сегодня традициям русской литературы и её всегда новаторскому духу, её неслучайной созвучности с бедами века и радостями человека, – это задача не из простых, потому что кто и где говорит сейчас правдивые слова о литературе?.. Никто и нигде: ни в газете «Коммерсант», ни в журнале «Молодая гвардия», а о жюри т. н. «Большой книги» и думать не приходится.

Поэтому моё гадание о читателях тропниковской прозы будет наверняка субъективным, но не отягощённым никакими внелитературными соображениями.

Если судить по тем письмам, читанным мною, которые прислали в разное время в журналы «Юность» и «Новый мир» читатели, и по личному знакомству моему с ценителями таланта Николая Тропникова, среди этих почитателей преобладают женщины. Хотя прозу писателя никак не назовёшь «женской». Вероятно, потребность в тонких ощущениях острее чувствуется именно женщинами, а сильным полом хоть и осознаётся, но не всегда, а лишь в минуты, которые можно назвать критическими.

На минуту представилось, что читательницы Тропникова – это женщины бальзаковского возраста, образованные, независимые, слегка разочарованные, но не утратившие романтических черт своей молодости...

Но ведь и школьники писали в редакции по прочтении рассказов писателя. Значит, диапазон воздействия его на аудиторию гораздо шире. А что касается мужчин, то наш брат писатель зорко следит за творчеством Николая Ивановича, и некоторые из нас, с плохо скрытой ревностью, называют его классиком.

Проза Тропникова – поэтическая, и это прямое следствие его поэтического отношения к миру. В той мере, в какой взгляд поэта-прозаика проникает за пределы видимого мира, можно говорить о его прозе как мистической и метафизической*.

К чести Н. И. Тропникова, мы далее можем сказать, что он преодолел своё философское образование, полученное в Ленинградском университете, и, как художник, никакого урона от схоластической философии не понёс. Но сам по себе этот факт говорит о пытливом уме писателя, его готовности первопроходца и охотника идти на риск, не пугаясь ни зыбкой почвы, ни безпросветной чащи. Этот сильный характер, зоркий и по-хорошему жадный взгляд не позволили этому необычайно одарённому человеку стать писателем-затворником (фантастом) или учёным схоластом, навсегда привязали его к «земле людей», к шагам по этой земле – среди людей и вместе с ними. Его профессиональная работа в спорте и в документальном кино только обострили природные качества его писательского дара.

Тропников – реалист, но реализм его – загадочного свойства, он интригует как читателя, так и – мне кажется – самого писателя.

Как-то Николай Иванович признался, что споры пишущей братии о «замыслах», «творческих задачах» и «методах» всегда забавляют его, повергая в насмешливое изумление. И дело не в том, что Н. И. Тропников отрицает необходимость замысла, рассудочной головной работы писателя в принципе – это не так; хотя для многих авторов рассудочная комбинаторика и в самом деле, – как «архимедов рычаг» (была бы лишь точка опоры!). Но Тропников не таков. Не будем забывать, что он поэт, поселившийся в прозе. Он живёт, дышит, делает – и точно так же пишет. Действительность дарит ему озарения, прозрения – или, по его собственному выражению, тончайшими уколами «занозит» ему душу, и с этой

занозой художнику приходится жить – не всегда поначалу придавая ей значение. Но «заноза» живёт, возвращаясь к нему неожиданной памятью, неожиданным образом. И уже не спрашивает нашего поэта: «не забыл ли ты меня?» Тайна происшедшего становится тайной творчества. Загадка, кольнувшая художника, возвращается – может быть, и неразгаданной, но чарующей мелодией для ценителя тропниковской прозы.

* * *

Человек связан с природой и с Творцом мистическими отношениями, которые множественны и пронизывают всё наше бытие.

Человек с грубо-вещественными устремлениями (и впечатлениями о жизни) может, конечно, о них догадываться, но отделяется от своей принадлежности, от своего происхождения случайными суевериями или, того хуже, «истиной», которая «в вине».

Чуткий человек в своих отношениях с Космосом, с Небом и Землёй находит источник сил и вдохновения.

Такой чуткий человек – это лирический герой Николая Тропникова. Несомненное преимущество писателя перед его собратьями – потомственными горожанами состоит именно в том, для меня лично завидном, опыте крестьянского труда во всей его античной полноте и в слитности человека с природой, которая не снилась участникам советских городских десантов «на картошку». Это качество не смогли истребить в поэте-прозаике ни индустриальный город, ни философский факультет, ни социальные перевороты последнего времени. Оно, это качество человека органичного, полнокровного и нравственного одновременно, позволило человеку из русской глубинки полюбить каменистые северные острова, ширь и мощь Тихого океана так же, как родной русский лес и родной говор земляков (рассказы «Расставание», «Двое», «Птицы»), осознать универсальность связей всего живого на земле («Крик», «Урок»), таинственную поэзию существования человека в мире («Рябина», «Белое, раннее...», «Воспоминание о мае»), нравственную энергию производительного труда (цикл «Ручная работа»), обратить читательский взор в глубину непостижимого, незамечаемого – непонятых символов, среди которых мы живём («Чужое поле», «Дым», «Кот» и др.). Рассказы, да и все произведения писателя, стоят того, чтобы их перечитывали: их

тонкий юмор может, при первом прочтении, оказаться заслонённым колоритной фактурой повествования или обстоятельствами, противопоставленными чтению. Поэтому не читайте Н. Тропникова параллельно с каким-то другим занятием.

В моём восприятии давно знаменитый цикл «Ручная работа» стоит в одном ряду с «Привычным делом» Василия Белова, хотя эти произведения двух авторов естественно различаются интонацией и построением.

Удивительна одна из позднейших публикаций Николая Тропникова – «страницы ненаписанного романа» (это обозначение «жанра») под названием «Освоение ремесла». Это полифоническое произведение, вызывающее сложный букет чувств у современного читателя, но не оставляющее равнодушным никого. Думается, что оно требует от читателя некоторого жизненного опыта и кругозора. Адепту «современного искусства», которое уже обозначается в манифестах и каталогах аббревиатурой «СИ», «Освоение ремесла» Н. Тропникова покажется чуждым, как и должен показаться всякий творческий и трудовой процесс устроителям и посетителям «инсталляций» и «хэппенингов», обожателям «гламура» (превратно используемое и насаждаемое «тусовкой» заимствование).

Читатель Н. И. Тропникова – это нравственно здоровый человек. К этому выводу приходишь, когда более глубоко знакомишься с произведениями писателя. К этому выводу я пришел при написании данной статьи: ведь, чтобы найти ответ, надо сначала задаться вопросом. Статья поставила передо мной этот вопрос, творчество Тропникова предложило безошибочный ответ.

«Освоение ремесла» ещё станет лакомой добычей штатных литературоведов, и в этом не будет ничего удивительного.

Во-первых, чудесный, живой, вкусный русский язык, который так и просится в хрестоматии. Во-вторых, это сохранение быта и души нашей архангельской деревни – тех мест, откуда родом Н. И. Тропников. Это и пульсация мысли писателя, охватывающей и проникающей образ жизни русского человека в городе растущем и в деревне исчезающей, – мысли, пробуждающей в нас ответную работу. Наконец, это запоминающиеся характеры, среди которых и сам повествователь – человек, корнями остающийся в родном краю, а своей кроной шумящий на городском ветру.

Мои первые наблюдения говорят о том, что читательницы не склонны сопереживать повествователю, они его не очень-то

понимают вплоть до самого финала этого якобы ненаписанного романа. Но прочитав до конца, не жалеют об этом, чувствуя желание опять вернуться к началу. Для читателей-мужчин всё протекает естественно и писательский сюрприз они воспринимают спокойно. Не будем объяснять, в чём тут дело, скажем лишь, что хронология описанных событий в романе не соблюдена сознательно; ведь мужчины гораздо больше женщин склонны к ностальгии по прошлому, а женщины, всегда устремлённые вперед, к новым победам, будут, вероятно, больше удовлетворены, если начнут чтение романа с его финальной части, названной, как это ни странно, «Вместо предисловия».

«Освоение ремесла» перекликается с автобиографическим романом английского поэта и прозаика Laurie Lee (Лёри Ли) *Cider with Rosie*, в котором также воспевается малая родина писателя, быт и нравы безвозвратно ушедшей английской деревни, которую, как говорят англичане, «мы променяли на бензиновый мотор». Книга английского автора поэтична, ностальгична, благодаря безупречному языку изучается в школах, но при её сопоставлении с «Освоением ремесла» мы отмечаем камерность книги британского автора – и полифоничность русского романа, его философскую глубину и в то же время широту проблематики.

Настоящий однотомник избранной прозы Н. И. Тропникова – вещь итоговая, однако мы надеемся, что писатель не собирается убирать под замок свой творческий инструментарий и ещё не единожды удивит нас творческими открытиями.

Юрий Серб (Г. А. Лебедев)



КНИГА ПЕРВАЯ

БЕЛОЕ, РАННЕЕ...



Помню, будто меня еще нет, я только приближаюсь – и вот возникаю сам перед собой и уже бегу, почти лечу, или даже парю, чувствуя в душе одновременно и ликование, и грусть. Бегу с букетом цветов, видя на лице своем смущенную улыбку, *озабоченный тем*, что цветы, которые я кому-то несу, усталые, что ли, помятые, и я мучаюсь этим, и оправдываюсь про себя, и не могу объяснить, почему они не свежие и не те, которые нужны бы мне для этой встречи. Но я все-таки бегу радостно, чувствуя, что мне простят, бегу будто у всей земли на виду, и все понимают, куда я спешу и почему радостный, и лица оборачиваются в мою сторону, улыбаются, и я слышу голоса: «Видите, он туда бежит», – и сочувствуют мне, и вроде сами хотят со мной, но уходят в другую сторону...

И я понимаю, что бегу напрасно, но отвечаю всем взглядом благодарности и бегу: то, кажется, летом, после грозы, разбрызгивая босыми ногами лужи, захлебываюсь от восторга, то вдруг вбегаю в зиму, в тонкую холодную метель, и она ломится в меня, кружит, и ветер вырывает из моего букета один цветок за другим, и они падают позади на снег, а я оборачиваюсь, чтобы подобрать их, и опять с досадой в душе отмечаю: «Ах, как жаль, помяты», – и вижу, как они начинают свежеть, превращаясь в ярко-оранжевый гладиолус, и я удивляюсь: «Почему гладиолус? Это не мой, отчужденный, не близкий мне цветок. Я люблю полевые, незаметные сразу...» Но я подбегаю к цветку, наклоняюсь и укладываю в букет, и какая-то женщина успокаивающе говорит: «Видишь, они свежие, хорошие цветы. Неси, можно...»

«Да», – беззвучно отвечаю я, разглядываю букет, и вижу, что в нем астры, которые тут же на морозе превращаются в мягкие желтые розы и трепещут на ветру, и вянут. И я стараюсь укутать их, хватая что-то на ветру, и бегу дальше к поезду, который уходит куда-то безвозвратно... Бегу опять летом, и вспоминаю детство, друзей юности: вдруг Саша

Курочкин важно кладет руку на мое плечо и говорит, улыбаясь загадочно: «Понимаю, брат, там было славно...» А потом Алик Некипелов командует: «Ты куда, черт переодетый! Руби шкоты!» – и хохочет по-матросски, напоминая мне о первом штормовом плавании под парусами...

И опять я бегу один, все боясь опоздать, хотя кажется, что уже близко, и я не опоздаю...

И вот перроны, поезда, из которых прямо в объятья встречающих падают смеющиеся люди, и все видят и меня, и опять понимают, куда я бежал, и... так же радостно исчезают.

А я стою, передо мной лишь чуть брезжит один наглухо закрытый вагон – остальные врезались во тьму – и уже что-то подозреваю невозможное, но я еще не верю и жду: вот-вот кто-то маленький, будто это я сам, выйдет из вагона и скажет: «Садись, поехали...»

И никто не выходит, а я опять бегу.

И вот уже и поезда нет, а вместо него какие-то теплые сумерки, и я смотрю на цветы, теперь вроде бы полевые, и вижу, что кончики их лепестков подмерзают, чернея, и я дышу на них, надеясь согреть, а они вдруг начинают уплывать из рук, таять, сгорать, превращаясь на моих глазах в синенький, как от папиросы, дымок, и... взлетают.

«Как же это? Как же? – возражаю я, все отчетливей вспоминая только что виденное. – А почему же меня все понимали?...»

«Потому и понимали. Детство всем иногда снится...»

Но я ждал на перроне до утра, и, когда проснулся, на душе было пронзительно тоскливо и – радостно. Будто там я все-таки побывал...

РУЧНАЯ РАБОТА



БЕЛОЕ, РАННЕЕ...

В первое мгновение мне почудилось, что выросла она не на земле, а только что опустилась с воздуха. Как большая белая птица села на воду, еще на подлете мельком окинула заводь среди кустов сирени и, довольная и собой, и местом, начала укладывать еще чуть приподнятые крылья и охорашивать перышки, уверенная, что здесь она в полном уединении...

Именно в это мгновение я ее, кажется, и застал, выйдя на перекресток двух узких тропинок в глубине больничного сквера...

Весна только начиналась. Молодые почки, обсыпавшие ветки деревьев, уже пищали, как воробьи, набившиеся в кусты. Сухо, даже как-то особо строго, держались старые дубы. Словно метлы, воткнутые в землю черенками, стояли вдоль главной дорожки сквера подстриженные тополя...

Она же ослепительно светилась, так что я невольно зажмурился. Это было деревце черемухи...

Белые тяжелые гроздья облепили каждую ее веточку так, что ни листьев, ни самих веток почти совсем не было видно: словно это не дерево, а завиток метели, плеснувший в лицо. Я не разглядел на нем ни одного не распустившегося цветка, словно все они созрели в одно и то же время и по чьей-то команде мгновенно – не то чтобы распустились, – а как бы выплеснулись наружу, осыпав всю крону сразу...

Деревце было маленькое и внутри его будто бурлило. Казалось, если сжать ствол в руке, на коре появятся вмятины, а на пальцы вырызнет сок, как из переспевшей груши...

Похоже было, что черемуха расцвела впервые и так обнаженно радовалась не знакомому ранее состоянию, что и смотреть на нее было неловко... И в таком же смущении, казалось, шептались между собой и соседние деревья, тревожно качаясь на ветру: «Ох, девонька, рановато ты вырядилась...»

Вдруг закачалась и черемуха, будто услышав этот шепот и почувствовав, что она не одна, что на нее уже давно смотрят, и заволновалась: и польщенная вниманием, и стесняющаяся, и ревниво оценивающая каждый взгляд, замеченный на себе, – мне показалось, как

Наташа Ростова на первом в своей жизни балу... И ликовала, светясь на солнце белыми гроздьями... И вдруг, словно что-то осознав, замерла, как обнаженная купальщица, не зная, что делать – бежать ли быстрее в воду? или одеваться?.. И хотела будто сорваться с места, взлететь, или спрятаться?.. И, так и не решившись ни на что, прикрылась наспех схваченным платьем и, чувствуя, что убежать поздно, да и некуда, растерянно замерла на открытом берегу...

И тогда отвернулся я.

ВСТРЕЧИ

Автобус мягко остановился, словно завяз в плотной деревенской тишине. И я не вышел, а как-то выпал из него, оступившись с подножки, и не спеша огляделся, не ожидая встречи. Но откуда-то из сугробов, виднеясь только головой, появилась мать. Вышла вся: маленькая, в фуфайке, валенках, в платке, – и сразу, без сомнений, будто знала, что я приеду (или просто каждый день выходила на остановку), пошла навстречу. И я растерялся, испугавшись расспросов, и уж подумал мгновенно – если вдруг спросит, совру: «Все хорошо...» А она только взглянула, подходя, потом ткнулась в меня лицом, посмотрела, рассмеялась со слезами, и я сказал:

– Ничего не случилось. Просто отпуск неожиданно навалили...

– Отпуск? Ну, слава богу. А я подумала, забродил чего...

И мы, сразу обо всем уговорившись, пошли к дому. Она как в детстве, будто за руку, вела меня и как бы поторапливала, чтобы чем-то быстрее обрадовать. Потом сказала:

– Вон, вишь? Весь уже наострился, – и я, вспомнив, признался:

– Ах, да! Всю дорогу то и дело думал о нем...

– Вам собаки-то дороже чего хошь, – без обиды проворчала мать, имея в виду и отца, а я еще от огады позвал:

– Шарик!

А он сидел на цепи, на высоком, утоптанном лапами сугробе, как на большом яйце, весь собранный и возбужденный, и не решаясь, истекал глазами на меня, дрожал тонкой шерстью, как от холода, и, казалось, весь извивался от вопросов: «Кто? как? что делать? Не видел, не знаю. А запах вроде похож, и она с ним...» Насторожился: отскочить?

убежать?

Приближаясь к нему, и я волновался по-своему, тоже рвался и ревновал: «Признает ли? Учует ли? Бросится ли?» Похож на прежнего Шарика, только на спине две черные заплаты, а тот был весь рыже-белый.

– Шарик!..

И он подался ко мне, не сдвигаясь с места, но я видел, как двинулось в нем все. Не слыша своего голоса, я снова позвал:

– Шарик, – чего-то испугался и быстрее снова: – Ша-а-арик, – и потянулся в его сторону рукой – вот сейчас коснусь.

И он дернулся одновременно вперед-назад, припал на передние лапы, но все-таки отскочил, будто в последний момент чему-то не поверил, и тогда мать сказала:

– Да, Шарик, ты куда? Вот, дитяtko, не признал. Не можешь догадаться-то. Не виделись никогда... Да ты понюхай шибче, – и пододвинулась к нему, а Шарик отскочил и от нее и, разбегаясь глазами между нами, сел, не зная, что делать: догадки, боязнь, желание, запрет и тяга будто разрывали его, – так тяжело было разбираться, словно мгновенно постигнуть весь мир, едва родившись. И он, готовый расплакаться, тоненько заскулил.

– Шарик? Шаричек ты мой, – взмолился я, надеясь каким-то чудом убедить его. – Ну, догадайся. Вспомни. Знаешь, как я хотел тебя увидеть. Меня же все собаки понимают, я же вас всех чувствую. Ну, понимаешь?

Шарик взвыл, отбежав, и заметался по лбу сугроба, а я потянулся к нему с кусочком пряника, случайно оказавшимся у матери в кармане, а потом за этот же пряник взялась рукой она, и мы оба, причитая, лаская и убеждая голосом, потянулись к нему. И он, что-то перебарывая в себе, мучаясь и ликуя, чуть осмелел и двинулся навстречу, вытягивая морду, нюхом прокладывая путь. Вздрагивающий нос скользнул по прянику, по руке матери, потом и я почувствовал его прикосновение, а он нюхнул мать и быстро меня, снова мать и опять меня – руку, рукав, – и по воздуху, наводя нос на всего меня, как локатор, визгнул, вильнул, на всякий случай еще раз нюхнул мать. Она убрала свою руку от пряника, он на мгновение будто опять испугался и хотел отскочить, но уже какая-то уверенность задержала его, и он осторожно взял кусочек, съел, облизнулся.

– Шарик, Шаричек, – сказал я, уже глядя его за ушами, и он вдруг

взвился, скачком бросил мне на грудь тяжелые лапы гончака и, будто еще смущаясь своего нового чувства, лизнул меня в подбородок. Свалил голову набок и сконфузился, как подросток...

– Хо-о! А я сижу и думаю: что за разговор на улице?..

Отец вышел во двор из мастерской, пристроенной в торец хлева. Худой, щетинистый, ростом с ребенка. «А глаза... Как у старой опытной собаки», – метнулось во мне. Он ткнул в сугроб саперную лопатку, с которой вышел из дверей, и захромал ко мне, морща лицо. Обнял, как всегда чего-то стеснясь.

– А я в отпуск. Давно зимы настоящей не видел. По снегу истосковался...

– А в аккурат приехал, – ответил отец, имея в виду что-то другое, и рассмеялся. – Я вчера хотел за это дело-то взяться, да кто-то как подсказал: «Обожди, ужо, Егора». – Прикурил, сунув папиросу в пригоршню. – Ись-то хошь?

– Нет, а что? – А вот иди переоболакайся. Тогда сразу и догадаешься... А на зайца пойдем. Вот чего.

«Ничего вроде бы не изменилось», – то ли радостно, то ли грустно думал я, оглядывая избу, ожидая, пока мать подбирала мне валенки, фуфайку, штаны.

Я переоделся, подпоясался, как мужичок, и сразу стал другим человеком, будто никуда не уезжал и никогда не видел никаких городов и стран. Будто просто до этого носил другую одежду.

– Калоши на валенки-то надень, – вслед напомнила мать. – Там, в сеннике...

И, немного волнуясь и даже робея, как перед дверью одинокой лесной избушки или чердаком старинного дома, вошел я внутрь дощатой пристройки хлева. Желто светил пузырек лампочки под потолком, вправо, за вторыми дверями, глухо, как из-под земли, хрюкнуло, засопело, а влево, в глубине сарая, – какие-то шорохи, возня и в то же время явно глубокая тишина и скрытность. И вроде что-то мелькает, и никого не видно, но кто-то есть, только таится, и воздух насыщен каким-то неустанным колдовством, будто вокруг обитают духи – летают, шепчутся и что-то стригут, стригут. Выглядывают, как из-за угла, подмаргивают и разглядывают меня, даже обсуждают, а я никого не вижу. Слышу только – отец кряхтит...

Я стоял, бросаясь взглядом на каждый шорох, но ловил только загадочные мельканья. Лишь привыкнув к освещению, начал различать в дырках что-то белое, а потом – длинные, как ивовые листья, уши и

стригущие мордочки. Вдруг, попав под луч света, сразу в нескольких местах вспыхнули острые розовые кружочки, и один погас. Но вспыхнуло в другой дырке и, косясь на меня, зашуршало чем-то. А в другом углу метнулось черное...

Я боялся шелохнуться, забавляясь неожиданным ощущением, и в то же время, соображая, как пристроить себя к делу, вопрошающе смотрел на отца...

– А вот как это делается!.. – азартно отзывается отец, будто угадав мою растерянность, и выхватывает из нижней клетки белого кролика. За уши.

– Да ты что? Больно ему.

– А почё эдакие вырастил? А? – Отец смеется. – А иначе-то как его возьмешь? Вот сейчас его сунем в эту клетку, специально пустая, потом другого туда, потом третьего. Вот так всех в оборот и возьмем.

– Ага, – говорю я и уношу на огород ведро навоза. Следом ржавый таз и опять ведро...

– А ну-ко, полезай и ты. – Отец пересаживает в маневренный фонд последнего кролика, опускается на колени и, шуруя саперной лопаткой, вычищает клетку. – Ишь сколько накатали ореха-то. – Потом, видимо подумав о чем-то, рассказывает: – А так-то с ними надо аккуратно. Мать твоя, когда я их только завел, погладила кроленка. А погладить захотелось. Так самка-то все гнездо заела...

– Своих?

– А чьих больше? Вот так! Что хошь, то и думай. И едят тоже – только давай. Обиходили мы эту колонию часа за два. Тут мать подошла:

– Надо бы парочку-то отсадить. Самцы-то у тебя есть?

– А как же? – явно с обидой в голосе ответил отец.

– Ну, ладно. – Мать потопталась около нас и ушла к поросенку, а отец снова открыл угловую клетку.

Крупный серый кролик быстро попался ему под руку и вскоре повис, схваченный за уши, отбиваясь задними лапами.

– Вот он и есть! Хорош молодец. Ты видал, какие они, самцы-то?

– Нет, – говорю. – Ты же недавно кроликов-то завел, первый раз вижу.

– А вот сейчас покажу... – Вынеся кролика поближе к дверям, к свету, отец опрокинул его на спину в ящик с сенной мукой и с моей помощью расщеперил ему задние лапы. Я с любопытством ждал, когда отец укажет мне на доказательства мужского пола. Он, держа одной

рукой уши, другой разгребал между лапами пушистую шерстку, и вскоре позвал меня:

– Вот вишь?! Вот оно и есть...

– Да, – согласился я, ничего толком не различив.

А отец чего-то вдруг перестал приговаривать: «Вот вишь, вот оно» – и усердно разгребал шерстку, так что мне стало уж неловко и жалко кролика. Но тот лежал тихо, уже не царапался, будто ему это нравилось. Отец молчал. И я уж вопросительно заглядывал на него: дескать, да или нет? И, наконец, спросил:

– Так что?

– Да что такое? – вдруг выдохнул отец. – Вот так штука! Сшила это, а не самец.

– Ну вот. У тебя все так. Я говорила, не бей того самца-то. А ты говорил: еще есть, – мимоходом вмешалась мать, услышав наш разговор.

Отец все-таки еще не терял надежды и снова углубился в шерстку, но, наконец, удостоверился окончательно и стал объясняться:

– Это шурин, Миня, смотрел его тогда. Сказал – самец, я и поверил... Вот к самому теперь и понесу случать кролюху-то.

Отец захохотал, поднял за уши самку, вновь завертевшую лапами, и, слегка поддав, пихнул ее в клетку.

Мать, всегда чрезмерно подверженная панике, запричитала. Отец отослал ее к своим делам, а мне велел поднести зобню.

– Сейчас найдем! Най-де-е-м! Никуда не денешься у меня.

Другой кролик, уже белый, недолго поболтавшись на ушах, тоже был опрокинут в сенную муку.

– Опять сшила. В зобню ее, чтобы второй раз не попалась.

Я положил самку на дно глубокой корзины, и она покорно прижалась, виновато светя розовым глазком. А отец уже вылавливал следующего.

– Вроде то же, что и у серого, – сказал я, осторожно держа за лапы очередную жертву.

Отец вышупывал ее еще тщательнее, будто хотел заставить превратиться в самца, и приговаривал, и уже и ко мне обращался за советом:

– Смотри, как думаешь?

– Да вроде опять... – отвечал я.

Но он не соглашался:

– А нет, обожди-ко. Тут, вишь, вроде чо-то выскакивает... Нет, тоже

сшилка. Вот, ребята! – Передал ее уши в мои руки.– Тоже в зобню. – Сам уже выволакивал следующего. – Опять она? Ох, Миня!.. Ну-ко, давай теперь из верхних клеток поищем...

– А сколько их тут, голов-то?

– Да штук двадцать две. Вот сколько... Ну, где-то около того. До потемок, парень, провозимся.

– А не найдем, так что?

– А говорю, к Мине понесу. Пушай случает. – И отец снова захохотал, показывая на зобню, в которой уже было полно самок.

Переваляли мы в сенной муке больше десятка кроликов, я уж было разуверился, но тут отец вдохновенно и торжественно объявил:

– Вот, наконец, добрались. Смотри-ко, Егор...

Я нагнулся поближе.

– Вот вишь, выныривает. Это, брат, не сшилка, не-е! Пупик, настояшшо пупик!

Дело было явное. Молодоватый, но уже в хорошем теле белый кроль нетерпеливо, будто еще стыдась, выслушал приговор и, как будущий оплот хозяйства, был определен в отдельный дом...

ЦЕНА

В доме, пока мать собирала на стол, а отец умывался, наступило какое-то затишье, даже неловкость, которая обычно возникает между людьми после долгого разрыва. Будто опять вернулся момент приезда, и мне снова подумалось: «Вот сейчас отец вытрет руки, выйдет из-за печи и спросит: «Ну, как живешь там?» Перейду я в другую избу, чтобы мать не слышала, и скажу откровенно, без жалобы: «Плохо, отец». – «А чего такое?» – «Если смотреть на жизнь так, как учат, то вроде и пожаловаться не на что... А душно. Радость ушла, будто все валится... Впрочем, давай не будем об этом. Забыться я приехал. Передохнуть. Пожить, как в детстве. Я там, в городе, звонков в дверь боюсь, вздрагиваю. И телеграмм».– «А это чего?» – «Так вы же стареете...»

Но отец ничего не спросил. Он вытер руки, не спеша сходил в передовую избу к этажерке и вернулся с новенькой, чуть запывившейся бутылкой водки. Поставил, найдя место между сковородками и блюдами с едой, и сказал:

– Давай за приезд. И за все хорошее, чего осталось. – И уж глазами,

движением, голосом дал понять: «Понимаю, по письмам догадываюсь. А не надо...»

«За то, чтобы меня, наконец, хоть куда-нибудь вынесло», – подумал я, подняв над столом синенький стаканчик, но ничего не сказал.

– Давайте не рассусоливайте, а то остынет все, – поторопила мать. – Оба, наверно, промерлись теперь, проголодались.

Выхлебали, громко хрустя репчатым луком, блюдо супа с крошениной – хорошо елось, – поковыряли в латке тушеного кролика, выпили свежего чаю, покурили, помолчали сыто, отяжелев. Повспоминали старых знакомых нарчужан – кто жив, а кто умер.

После обеда отец осмотрел мои подарки, сдержанно похвалил за хорошую работу бритвенный прибор, спросил, где сделано. Сказал: «Слыхал такую страну» – и лег вздремнуть, а когда проснулся, ощупью нашарил на подоконнике папиросы и закурил. Молча, еще как бы досыпая, затянулся несколько раз. Уронив ноги с дивана, сел, стряхнул пепел в оттопырившееся голенище валенка. Увидев меня, бодро спросил:

– Ну, чего, отпускник? Уж загоревал? Чо пишешь? – и пошел к умывальнику.

– Отчет о дне приезда.

– Ешшо рано, не кончился... Вот пойдем-ко давай полоз гнуть.

– А может, на завтра какую-нибудь работу оставим? – пошутил я.

– Найдется и на завтра. Хо! Только не ленись! – ответил отец и начал перечислять всевозможные дела. – А это нельзя откладывать. Запарена у меня береза-то...

Не одни санки укатал я в детстве, а как они делаются, настоящегому и не знал, – учили, что не в этом счастье, а в чем-то великом и где-то далеко. Теперь же предложение отца я принял охотно, обрадовавшись и заволновавшись, как ребенок.

Он достал из русской печи тесаную березовую заготовку, длиной метра два, сказал: «Хорошо разопрела», дал потрогать почти горячее дерево, и мы пошли в мастерскую.

– А долго ли надо распаривать-то?

– Часа три. Матерь в час унесла, теперь уж четыре скоро. В аккурат...

– Хорошо гнется?

– А вот сам увидашь...

В мастерской пахло стружками, смолой, инструментами, дымком,

теплом, отцом, который, как я позднее убедился, казалось, всегда сидел тут на чурке или верстаке, даже если отсутствовал; тесал, строгал, точил, снимал шкурки с кроликов, иногда с белок, зайцев, теребил глухаря или рябчика...

– Давай теперь бало-то, – скомандовал отец, когда сделал на конце заготовки десятка два мелких запилов, пояснив: – А запилишь, так легче гнется...

Я поднес широкую плаху, стесанную по диагонали и закругленную на конце, бало. Отец сунул в проволочную петлю запиленный конец. Подбил клин, потом второй, третий – с другой стороны, и заготовка туго зажалась. Отец делал все это не спеша, но быстро, точно рассчитывая силу удара, чтобы клинья не выскальзывали, я завидовал его рукам и в то же время сомневался: выйдет ли? Дело мне представлялось кропотливым, даже рискованным – все-таки надо загнуть довольно толстый конец, хоть дерево и распарено... И я побаивался прикоснуться – вдруг треснет.

– Ну, так что мнешься? Гни, давай!

– Как? Так сразу и гнуть?

– А когда же? Неужель завтра? Гни!

Бало стояло ребром, конец заготовки торчал вверх, доставая почти до матицы. Отец подогнул его ко мне и, когда я дотянулся рукой, опять понукнул: «Да нажимай, не бойся!» Понукнул не обидно, понимающе. Я нажал, почувствовав, как податливо гнется дерево, но все же усомнился: «Сломается ведь...»

– Да жми! Шибче жми!

– Да треснет!

– Давай! Знаю, чего говорю.

И я жму, но робко, и чувствую, что береза мягко, без разрывов волокон (без сарги, как говорит отец) огибает бало, сдержанно ликую и слежу, как под моими руками выходит нечто очень похожее на санки. От волнения я смутно осознаю себя, будто уже не в мастерской, а несет меня с горки, крутой, рискованной, соблазнительной...

– А теперь прихвати конец-то веревкой. Чтобы не сыграл... Привязал? Сыграет, так берегись. Счикнет башку-то.

– Привязал, – говорю я, прижимая полоз коленом.

– А теперь сострожи ножом бересту. А на сгибе-то аккуратно. Чуть застронешь – трещина побежит.

– А до гнутья-то было нельзя?

– А вот нельзя. Лопнуть может. Кора-то ведь держит.

– Ага, верно...

– Верно. А теперь бери да ставь над печкой... Вот туда, ладно. Дня три посохнет, потом уж не разогнешь.

– И все? – почти с огорчением спрашиваю я, не утолив настоящему проснувшийся азарт.

– А чего еще? Все, – подытоживает отец, садится на верстак, важновато этак закуривает и, пока я пристраиваю полоз над печкой, как бы про себя сказывает: – Хо-о? Сколько я этих санков-то переделал. Вот только в этом году уж четверты... А столько же и заказано. Только давай...

– Да куда их? В деревне и народу-то не видно.

– А вокруг-то сколь деревень? Кашино, Зотиха, Чаплиха, Ордивичи... Каждому дому надо. А хоть бы белье на речку волочить...

– Так ты что, на всю волость делаешь?

– Ну, а как? Всем надо, а никто не делает. Старики остарели, а молодые не могут... А грабли? Хо-о! И того больше требуют. – Отец замолкает, глядит куда-то вдаль, как бы обзоревая все, что переделал в своей жизни. Молчание у него, как у всякого человека, которому есть что вспомнить, тяжелое, густое, захватывающее в себя все окружающее, как течение реки в половодье. И в моей памяти, где-то далеко и впотьмах, словно кто-то чиркает спичкой...

Ага, еще в Нарчуге... Отправляя в школу, мать всегда норовила перекрестить меня, не видя никакого разлада в том, что на шее у меня пионерский галстук, старательно выглаженный ею, а позднее – комсомольский значок на отвороте пиджака. А я в свою очередь норовил увернуться от этого, и тогда она крестила меня вслед. Зато после школы в первую очередь брала дневник и, если оценки были скромными, говорила: «У-у-у! А это чо? Троечка? Троечка, спрашиваю? А завтра, глядишь, кол принесешь! – И грозила: – Вот обожди. Придет вечером отец...»

Не дожидаясь, пока вернется отец, я сам забегал к нему в кузницу, и он сразу же спрашивал: «Чего опять наделал? А? Нахулиганил?» – «Не. Тройка по арифметике». – «Это то же, ежели бы я кое-как лошадь подковал. Или сани. Ну, башкой не можешь, давай руками. – И отец повышал голос: – Смотри! Еще раз тройку получишь – без хлеба по миру отпущу. Давай!»

Приподнявшись на носки, я доставал конец шеста, подвязанного к

большим кузнечным мехам, и начинал раздувать горн. Отец подбрасывал древесного угля, совал в жараток заготовку и закуривал, ожидая, пока та нагреется до нужной температуры (это он определял безошибочно по цвету железа), и, наконец, говорил: «Хватит. Теперь так дойдет». Я опускал шест, переводил дыхание, пока доходила заготовка – то ли подкова, то ли шина для оковки санного полоза или болт, – и ждал около наковальни, приставив к ноге кувалду. «Той много не намашешь. Молод еще, возьми молоток полегче», – охлаждал мое рвение отец и запускал в горн клещи. А потом, словно держа раскаленное железо не клещами, а в руках, командовал мне каким-то ожигающимся голосом: «Берегись! Искры! Глаза-то шибко не расщеперивай. Повернись, а то все на самого себя полетит». А я стоял с уже занесенным молотком, приготовившись расплющить железо с одного удара, а он опять успевал остеречь: «Не шибко первые-то разы, околони окалину-то... Вот так. А теперь бей как можешь. Бей, говорю, теперь ничего не бойся...» И я старательно молотил по наковальне, отрабатывая за школьную тройку, а отец ворочал заготовку и хвалил: «Молодец, по месту куешь, – потом подбадривал: – Давай, давай». Потом, когда удары мои слабели, оставляя на железе едва заметные следы, а оно уже остывало, начинал останавливать меня: «Хватит с тебя». Если я не соглашался, из последних сил махал молотком, подтрунивал: «Молотобойцем тебе на хлеб еще не заработать. Нет, сынок. Слабоват, лучше учись». Но чаще бережно обходил мое самолюбие и отстранял от наковальни иначе. Говорил: «Еще раз ударь, и хватит. Дальше работа тонкая. Надо одному. Ты пока подожди, посмотри. Я сам». И брал у меня молоток. Иногда просил подать другой, полегче, для одной руки...

Я посмотрел на отца, и он, как будто спохватившись, сказал:

– Вот рам еще пять штук надо сделать в Павловск. Вот это обязательно надо!

«Обязательно» он произносит, опуская мягкий звук, чтобы вышло тверже.

– Папа, а ты сколько берешь?.. Ну, скажем, за санки.

Вопрос этот застал отца врасплох и даже заметно смутил.

– А кто сколько даст.

– Ну, а все-таки?

– Хороший человек, да хоть и так поволокай. – Отец усмехнулся. Видя, что я жду, уточняет: – Ну, рублей пять. Шесть – это уж за глаза.

– Сколько?! Да ты что?

– А сколько, по-твоему?.. Э, нет, парень, работы-то с ними много...

– А я думал, рублей пятнадцать. Десятку, на худой конец...

– Ну, не-е-ет. Это не православно.

– Как же много? – возражаю я. Не для того, чтобы подстрекнуть отца. – Давай подсчитаем, из чего складывается работа.

– А давай посмотрим.

– Надо две заготовки на полозья. Идти в лес, выбрать умело березу, срубить, расколоть, вытесать. В снегу, надо полагать, по пояс. Вязовые найти и нарубить. Все надо принести домой...

– Так, так, все ладно... Никто за тебя не принесет, – охотно соглашается отец. Берет нож и, чтобы не сидеть зря, потихоньку выглаживает неровности на недоделанном новом топорище. – Ну, дальше слушаю.

– Зачем дальше? Я тебе уж на пятерку-то наговорил. Считай, день на это уйдет.

– А нет, поменьше. Не спать, так до обеда можно.

– Это сколько по времени?

– А часов с восьми до двух – и дома.

– Так это же шесть часов чистой работы.

– Ну, так я и говорю, что только до обеда... Чего смеешься? Так и есть.

– Ладно, до обеда. А потом что?

– А сразу-то ничего. Приду да в дровяник брошу... А потом отешу лишнее да в печь запаривать. А дальше сам только что видел. Вот и все дело...

– Так это же только полозья. А копылья, нащепы – выстрогать, выдолбить, – перечисляю я, набивая цену санкам. Отец слушает все это, поддакивает: «Ага, верно. Как иначе-то?» – и сосредоточенно отделявает топорище. – Кроме всего прочего, это же уметь надо. Ведь ты же мастер...

– Так я-то ведь умею. Мне ведь это ничего не стоит, – отзывается отец будто издалека, видимо, вспоминая, как осваивал разные ремесла.

– Тебе хоть кол на голове теши, ты все свое, – говорю я, шутливо

изображая отчаяние. – Таскотни одной: из лесу в мастерскую, из мастерской в избу да обратно, да еще три дня сушки. Жди.

– Сохнут, хлеба не просят. Я-то ведь в это время не работаю. Я другим занимаюсь... Так что нет, парень, никак не выходит дороже-то, – подытоживает отец и как-то иронически, испытываясь усмехается. Редко грешит он этой усмешкой.

– Ты меряешь все по-старому. Работа, которая лет двадцать назад стоила пятерку, теперь дороже в два раза, если не больше. Особенно ручная, – улыбаюсь я, смягчая свои слова.

– Когда мне раньше дрова привозили, я трактористу стопку к обеду ставил. Ну, две. А теперь – поллитры мало. Так что не думай, что я слепой. – И, взглянув в упор, добавляет: – Понял? – Откладывает нож на верстак и сухими ладонями с поблескивающими мозолями гладит топорище, пробуя работу на чистоту.

ФЕНЯ

Время течет, как речка по равнине. Длится, длится... Кажется иногда, что видно, как неторопливо, с расстановочкой и рассуждением вышагивает по полям и по деревне среди домов и амбаров каждый час дня. Идет, как мужик из леса, подпоясав полушубок, заткнув за пояс топор. Идет довольный от предчувствия отдыха, шапку эдак набок приноровил и будто бы покуривает. А чтобы выходило еще степенней, покуривает не папиросы: вот остановился, достает кисет и сворачивает сигарку, бережно ровняя табачок... Вот послунывил бумажку языком, огладил пальцами, примял конец, чтобы не сыпалось, и попробовал на затыг. Сплюнул с языка табачинки и уже после этого только и прикурил – как отец, когда вдруг захочется ему махорочки... А вот и затынулся, и долго, будто смакуя и раскушивая удовольствие, оглядывается, как рачи-тельный, хитроватый, себе на уме хозяин, осматривает свое хозяйство. И уж только после этого двинется дальше.

И вот о стены мастерской, где мы с отцом только что загнули полоз, а потом и о дом, в котором булькает на раскаленной плите чайник и тикают стенные часы, трется рано наступающая зимой тьма...

Отец уже натирает постегольницу варом, заготавливая дратву,

чтобы подшить валенки и мой дорожный портфель, лопнувший от натуги по углам, потому что в него укладывается всегда больше, чем можно...

Я сижу на круглом низеньком стульчике, привалившись спиной к горячему боку печки, приятно ожигаясь от долгого соприкосновения, смотрю вполглаза и на отца, и на то, как завершает свой вечерний туалет кошка Барка. Вылизывает, вывернув лапку, темные подушечки, потом нализанной лапкой утирает мордочку и, не спеша пройдясь по цветастым лоскутным половикам, вскакивает на кровать.

У порога, уставший от волнений знакомства, лежит Шарик. Развалился на боку и спит – глубоко, расслабленно. Правое ухо откинулось и будто валяется рядом – отдельно, как калоша.

А мать выкладывает из сундука настиранное белье, готовя его для уютюжки: достанет, свернет, положит на кучку, пригладит. И вдруг этот ритм прерывается. Не глядя, я чувствую, как она стоит и что-то разглядывает дольше обычного, будто разгадывает, вспоминает, и потом, подойдя, наклоняется ко мне. Я поднимаю голову. Она держит, расстелив на руках, домотканое полотенце, расшитое по концам широким узором, и спрашивает, извиняясь за вмешательство тихостью голоса:

– Ну-ко, Егор, прочитай, чего тут вышито? То ли я думаю?

Я взглянул: чуть повыше узора красными низами и какими-то детскими каракулями вышито: «12 апреля 1961 года».

– О-о? – изумленно, словно вспомнив что-то сердечное и давнее, отзывается мать и, будто не справившись со всей значимостью воспоминания, его неожиданностью, снова повторяет: – О-о?! Ишь, вот как? – И всматривается в вышивку, и разглядывает буквы, которые едва знает, трогает корявыми пальцами стежки и не отходит от меня. Потом опять спрашивает робко: – А это тогда и есть на небо-то полетели?..

Я кивнул, а отец, при каких-то военных обстоятельствах видевший в глаза самого Жукова, подтвердил:

– Так точно. Тогда! Товарищ майор Гагарин. Вот кто! – и торжественно затих и, привернув на гвоздик конец постегольницы, принялся опять натирать ее варом.

А мать, всю жизнь пристрастная кротости, только взглянула на него и снова тихо спросила меня:

– Ты знаешь, кто это полотенце-то вышил?

– Нет, мама, – ответил я, почему-то смутившись.

– Это Феня мне подарила. Еще мы в Нарчуге жили. Фенюшка христовая, – уточнила мать и, видя, что мне все равно не припоминается, присказывает: – После войны-то я ей то картошки давала, то молочка, то когда чего. Сирота была, не девка, не баба, замуж так и не вышла. Эвакуированная. Божий человечек была... А потом, ты уж в школу давно ходил, она еще козлух караулила... Ну, так вот она мне и подарила. Уехала потом куда-то...

И мать как-то жалобно посмотрела мне в глаза, будто сожалела, что я забыл такого человека, как Феня, фамилии которой и сама не помнила. И отошла, как-то особо бережно сворачивая полотенце.

Я перебирал в памяти все детство, вспомнил его по годам, вспомнил все дома и сарай лесопункта Нарчуг, навсегда исчезнувшего с земли, вспомнил, то и дело ожигаясь от боли, всех мужиков и баб, собак и лошадей, стадо коз и сироту Ваську-козопаса, караулившего их еще до Фени. Феня же вспомнилась – а может быть, просто почудилось от сильного желания вспомнить – каким-то грустным существом: вроде маленькая, в каком-то худеньком, с чужого плеча пиджачке, с веткой в руках, незаметно, как бы невзначай идущая внутри жизни; по представлению памяти – что-то теплое, блуждающее сзади, вдали, в темноте...

УТРО

К ужину зашел дядя Минакий. Отнекивался, когда я приглашал, но зашел вместе с женой к названному часу.

– Давай в передовой-то избе не собирайте стол. В другой раз погостимся ладом-то, – сказал он матери.

Выпил за мой приезд пузатый стаканчик, захлебнул супом, попробовал тушеного кролика; мать попотчевала овсяным киселем – хлебнул и киселя, потом уважил еще кусочек драчены. От второго стаканчика отказался и бочком вышел из-за стола, пересел на диван.

– Да чего так худо?! – повысив голос, спросил отец.

И мать тоже стала отговаривать, и тетка Тоня – обе по-бабьи хлопотливо.

– А ничего. Наелся. Так посижу, – уклончиво, невинно хитря, ото-звался Минакий, но и сидел как-то торопливо, поглядывая на часы.

– А знаю чего. Ишь заелозил. «Севонни в мире» опять поглядеть

торопится. До того досидит другой раз – уснет. Я и кнопку сама нажимаю, – раскрыла тетка секрет мужа.

И Миня, как уличенный школьник, признался, но все же быстро взял себя в руки и сказал сдержанно, серьезно:

– Как иначе? Вишь, в мире-то опять раздор кругом... Чего-то все не согласны эти империалисты...

Кивнул на радио, негромко, похрипывая, иногда дребезжа передававшее комментарий первой пресс-конференции президента Рейгана.

– Чуете, чего шумят. Чего им надо? Вы чего все делите там? – Посмотрел на меня, добавил: – Кто прав, кто виноват?..

– Ой, ну-ко, давай, Минюшка, не шуми. Насмотрелся всего, наслушался... Егор отдыхать приехал. Знамо, кто прав... Только бы все ладом, без войны...

– Без войны бы только, – поддержала тетку мать.

– А я вот чего думаю, – вступил отец и, видимо, представляя картину мира как-то по-плотнически, разъяснил: – Вот ежели у меня дом хорошо срублен, фундамент, в стены не дует, тепло и крыша не течет, так мне на чужое лаять нечего. И отлаиваться тоже...

– Ишь ты? Живо все рассудил, – сказала мать, не вникая в смысл отцовской речи, а возражая лишь ее категоричности. – Да бог один знает...

Отец хмыкнул.

– У тебя дети-то все уж отслужили. Тебе ловко рассуждать. А у меня вон внук осенью в армию ушел... – сказал дядя.

– Ну-ко, ты не стражай меня шибко-то... Это ты шумишь, чтобы убежать быстрее к телевизору.

Заволновавшись, тетка тоже вышла из-за стола, покрестилась вслед за матерью в иконный угол и засобиравлась домой.

– Ну, так к нам ходите, – пригласила она, по старому деревенскому обычаю особо обратившись ко мне как к гостю.

Я надел полушубок и вышел за ними, пустил в конуру под крыльцом Шарика и остановился посреди двора – тянуло осмотреться внутри ночи, которая, как казалось еще из дому, терлась о его стены, словно темная вода о берег, издавая неслышимые, но явные звуки. Я будто вошел на повесть огромного старого дома, в котором долго жили и вдруг вышли, и над ним нависло тяжелое, как тучи, недоумение. Оглушала тишина, никого не было, ничего не двигалось, но все как

будто копошилось. На задворьи деревни, в снегах, излучавших мутный свет, не допуская тьму до самой земли, блуждали пятнами стога сена и клочки кустов. В другую сторону, уходя вдаль, вниз по косогору, к речке, низко над сугробами росли черные силуэты амбаров и бань. Очертания их были неразборчивыми, так что от долгого вглядывания начинало казаться, будто они ворочаются, словно кутаются, укладываясь, подбирая под себя полы темного одеяла ночи. Вот что-то не понравилось амбару – то ли дуло ветром, то ли что-то попало под бок твердое, – и он, старчески кряхтя, снялся с насиженного места и пошел устраиваться на другое.

Потом, прихрамывая на углы, поплелась банька, выстроенная еще по-черному... Перешла, огляделась, ощупала место и начала зарываться в сугроб, как курица в песок, раздвигая его боками. И вот улеглась, придавленная темнотой. Опять что-то пошло...

Было соблазнительно подглядывать за ними, отдаваясь оптическому обману, но и страшновато, как иногда в сказке, и я временами отводил глаза, ища чего-нибудь попривычнее, попроще – вроде трамвая, неоновой витрины, булочной, чего-нибудь такого, где бы чувствовалась не столь древняя душа и рука человека, но взгляд то и дело срывался в огромное вольное пространство, пропитанное темнотой и облаками, набухшими перед теплым снегопадом.

Чувства смущались, сознанию было трудно преодолеть разрыв между теснотой городской жизни, трение которой я еще помнил локтями, и первобытной неподвижностью. И я стал вспоминать городские улицы, площади, рестораны, потом все события сегодняшнего первого деревенского дня – дня приезда, потом все городские мысли, споры, заботы, пытаюсь объединить все это под одной крышей жизни, или, наоборот, – построить из этого единое тело жизни без крыши и дать ему какое-то общее имя и толкование, но внутри мычало лишь какое-то подобие мыслей: «Да, странно. Чего мы хотим? Какая разная земля. Неужель ей что-то грозит? Шарик исчезнет. Снега. Кролики... Полоз некому загнать. Как же? Кто? Как выглядят? Обыкновенно... Любят ли что-нибудь? Тогда как? Или они все забыли, иссохли, зачахли и жизнь вызывает в них раздражение, может, даже ненавистна от дряхлости...» Подумалось о себе: «Как нелепо сложилась жизнь! Где жить? Там, в городе? Здесь? Зачем?..»

От могущества и таинства ночи было радостно и страшновато, и,

чтобы подтвердить свое существование, захотелось пошевелиться. Я вышел за ограду на проезжую дорогу, ступнями нащупывая колею. Скрип снега под валенками вернул уверенность и ощущение себя. В темном пухе ночи лишь дома стояли отчетливей, тверже, даже дальние из них не переходили с места на место. Через один, через два в них светились окна. Поток света, не подпуская тьму, будто стоял с лопатой и отгребал ее от стен, как снег от крыльца, и местами даже пересекал дорогу. А ночь еще только наступала, тьма давила на землю, и та упиралась в нее, как человек в ношу, чтобы не согнуться.

Я вернулся в дом, лег в постель, выключил свет, и тогда тьма, будто сорвавшись, вбежала через окно в избу. Все исчезло, и казалось, никогда не рассветет, и провода на улице, будто отпевая и скорбя, надолго загудели басами...

В ночи светились лишь длинная строчка узких окошек фермы и через три поля одинокая лампочка на центральной усадьбе, которую я видел...

Но все-таки рассвело. Не спеша, но утро наступило. В окнах забрезжило, и чем светлее становилось, тем сильнее ощущалось, что за ними происходит что-то радостное. На улице будто что-то дышало, пенилось, играло...



Потом на дворе послышалось шарканье лопаты и покашливание отца. Я встал, оделся, смутно волнуясь, отворил дверь – и словно вошел в белые облака. Чуть огребя крыльцо, отец стоял по колено в свежем пушистом снегу.

– Вот вишь, сколько добра-то? – сказал он, смущаясь.

От восторга я боялся пошевелиться, было боязно и в то же время хотелось все это схватить в охапку, зарыться, утонуть, и было отчаянно жаль, что сделать это невозможно, и я просто вздохнул в сугробы ничком...

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ

Как раз перед ужином почтальонка занесла в избу письмо, и мать, узнав, от кого оно, попросила:

– Ну-ко, Егор, почитай, чего пишет Милодорушка-то? А то отец другой раз битый час тыкает да мыкает, а и толку не дашь, чего писано. Отца это задело, он, наверное, хотел сказать: «Не много я и штанов-то за партами протер», но только хмыкнул и, попросив моего брата подвинуться, пробрался к столу в свой угол.

Я распечатал конверт и, пока подогревался суп и дожаривалась на плитке картошка, начал читать: «Дорогие мои Иван Ильич и Лидя здравствуйте вот я опять воротилась к сыну домой в Ригу Виталей опять ушел в плавание на Канаду внучки обе спят а невестка Софья в магазин ушла и я вам решила написать дорогие мои бывшие все нарчужане...»

И дальше на двух листах, вырванных из школьной тетради, Милодора Ивановна описывала, как она гостила две ночи «у вашего сына Егора», то есть у меня, как трудно было достать «им с Витальем» билеты из Ленинграда в Ригу и как все, слава богу, хорошо обошлось.

Письмо было написано чисто, без единой пометки и зачеркиваний, только строчки чуточку сбегали с линеечек вниз, слева направо, словно по косогору. Речь Милодоры стелилась словами плавно, в каком-то округлом ритме, без всплесков и шероховатостей, так что строчки невольно напоминали рядки покоса на сухой, солнечной поженьке или лесной кулижке, уродившей не так много травы, но зато ласковой и богатой множеством скромных, приметных не с первого взгляда цветочков и запахов. Письмо еще напоминало мне маленькую, неглубокую речушку, тихо текущую по чистому желтоватому песочку. И одновременно и саму Милодору Ивановну, благообразную старушку, сильно усохшую от старости, говорившую, как я понял из последней встречи с ней, реже и тише, чем раньше, – в основном, глубоко запавшими, тоскующими глазами.

– Э-э? А тетка Милодора-то, оказывается, тоже пишет без всяких знаков препинания. Даже точек не ставит, – удивился я, вспомнив из детства, что нарчугские бабы частенько говаривали про нее: «Ну, Мивка, та грамотная, в гимназие... самом Сольвычегодске училась...»

Мать, собиравшая на стол ужин, взглянула на меня и сказала:

– Какие-то ишшо знаки выдумал. Письмо-то пишет, любо послушать, все складно... Я вон без очков вижу: без единой помарки, ровнехонько. Слушаешь, все видно, кто спать улегся, кто куда ушел, про Канаду какую-то и то пишет... А тебе знаков каких-то не хватило.

Мать совсем не умела писать, поэтому даже и не поняла, о чем речь. Отца же моя реплика явно насторожила, и он выжидательно затаился.

Он писал так же, как и Милодора, не ставя никаких знаков препинания. Лишь иногда между словами мелькало нечто, напоминавшее то ли запятую, поставленную с мучительным сомнением, то ли просто нечаянную помарку. В отличие от Милодоры, отец периодически начинал предложение более высокой буквой. Не заглавной, а обычной, только написанной крупнее. Строчки же были похожи на изгороди, прясла которых валяло из стороны в сторону, и вело то вверх, то вниз. Иногда он на полдороге прерывал строчку, явно убегавшую под линейку, и новую доводил до края прямо. Потом то ли забывался, то ли уставал... Во всяком случае, во время чтения его письма мне всегда виделся сжавшийся в комок подросток, склонившийся над столом и с упорством старателя добывающий каждую букву... Вот макнул кончик – отец чаще всего писал химическим карандашом – в блюдечко с водой, вот вывел одну букву – уф! Потом другую – уф! Потом целое слово – уфф! Можно выдохнуть. А после строчки – ну! можно и закурить... Когда он заканчивал письмо, наверное, говорил: «Матерь, давай-ко собирай на стол. Я весь отоцал!» Иногда мне думалось, что перед тем как сесть за стол, отец несколько дней готовил себя к этому, как к священнодействию, и потом не письмо писал, а рубил угол дома, оседлав бревно с топором в руках.

Писал отец в одной и той же манере, каким-то плавным размером, совершенно не соответствующим его крутому, угловатому в обыденной жизни характеру, будто, взяв карандаш, он становился другим человеком. По содержанию его письма мало отличались – лишь новостями в конце, состоявшими из сообщений о том, кто женился, кто ушел в армию, а кто умер. Да еще время года накладывало отпечатки. За двадцать лет он написал мне много писем в разные города, тексты их вжились в мою плоть и без труда, по памяти «читались» отцовским голосом. Вот как он писал осенью: «...А картошку мы с матерью всю выкопали Много сейгод наперло все крупная картошка мешков тридцать накопили и в яму ссыпали а другую часть я в подпол свалил А

ты Егор спрашиваешь ловлю ли я рыбу Так я ловил на донки Первый раз поставил и четыре щуки попало а донок ставил двенадцать крючков А другой раз трех уловил но крючков наживил десять Зато щука все крупная Третий раз не уловил ничего А вода большая поднялась А на охоту сейгод не бывал ноги сдали не попал А и некогда После твоего отъезда Егор я сено вывез оба стожъя которые мы с тобой метали И на огородах только капуста осталась и я вот собираюсь в лес дров надо нарубить Пилу Дружбу с собой брать не стану далёко нести а сначала навалю топором осинника и потом уж схожу с пилой Тяжело да куда денешься А брусники той сейгод маловато назрело где кисточка где две Да еще зеленцом ее всю обсшибали А мать часто жалуется на здоровье и бывает к поросенку сходить не владеет А остальное все хорошо Вот такие новости». Однажды приписал: «А бабушка ваша совсем худа стала и тем летом ей видать уж травы не таптывать...»

Когда придет тогда обоим
поговорим и попо все будем
ведом твоего от лета тини
сразу как получишь попо тини
передавай от нас поприветствуй
Марю Арсентьевну и Витю Жукову
и также Васю и Любу
пока до свидания целуюсь со всеми
Папа и Мама
31/1/24 г. Захаров

Когда отцу перевалило за семьдесят, конверты с его письмами я не вскрывал иногда по несколько дней. Я знал, что стоит за его обычными житейскими сообщениями. А кроме этого, страницы как бы впитывали в себя все те мучения, которые

испытывал он, заставляя буквы и строчки ложиться на бумагу так, чтобы хоть минимально удовлетворить чувство мастера.

Кое-как он ничего делать не мог, а слов «не умею», «не знаю» будто стеснялся...

Вспомнив об этом, я взглянул на отца. Он, заметив во взгляде удивление, отнес его к моей реплике по поводу Милодориного письма, громко схлебнул с ложки суп, хмыкнул, вроде снова хотел промолчать, но спросил:

– Ты про знаки-то?.. А почё их в письме-то? И так разберешься... Ежели бы казенная бумага какая, тогда другое дело, – и посмотрел на моего брата, как бы обращаясь за поддержкой к нему: «Верно ведь, Василий?»

Но брат, уверенный, что отец оправдывается, что он просто не

знает никаких знаков препинания, двусмысленно улыбнулся:

– Хитришь ты, папа...

Отец взглянул на него и негромко, голосом, знакомым с детства, одернул:

– Много ты понимаешь. Я сроду не хитрил ни перед кем. Молод еще, – но смутился и чуть ли не покраснел.

Мне стало совестно оттого, что я своей нечаянной репликой поставил отца в неловкое положение.

– Папа, а ты вообще-то знаешь хоть какие-нибудь знаки препинания? – спросил я, интонацией голоса и выражением лица давая отцу возможность безболезненно признаться: «Откуда, Егор? Сам знаешь, много ли я учился?..»

Но отец сказал:

– Эте, которые ставят между словами-то?

– Ага, эте...

– А как же? Штё вы, ребята? – и, обидевшись, начал доказывать: – Я же ведь почти полторы зимы ходил учиться в школе-то. В приходской...

И опять вызвал у нас улыбку, даже у матери, и снова смутился:

– Вот еще, ребята? Хм!?.

– Вас что, в первом классе уж всем знакам препинания учили? – спросил брат подтрунивающим голосом. – Меня не учили. Егора тоже. Мы только палочки писали по чистописанию, потом буквы.

Но отец не растерялся, хотя опять наскочил на что-то спорное.

– Да, в первом, выходит, ежели я знаю их. Вторую-то зиму я только начал, да тятя сразу и отозвал, нас двое в семье мужиков было, остальные девки. А единолично-то работники нужны.

Отец перестал есть, зависнув над столом ложкой, и что-то припоминал.

– А, вот откудова в первом-то классе! Я всё это и буквы всякие еще до этого знал. До школы, в школе-то я уж вперед учился, чего и не задавали. Вот как я вам скажу. Точно! Теперь все окончательно вспомнил...

И этим признанием, показалось мне, все совершенно запутал.

– Да ты что, папа? – опять вступил брат, уже расхохотавшись.

– Откуда? У вас тогда и не было ничего. В такой-то глуши...

Теперь уже удивился отец:

– Как это не было?! – и даже прибавил в голосе. – Да мне дядя Прокопей всю азбуку привез. Все буквы были на картонках. Вот, ребята,

не верят! Чего мне врать-то?.. А с ярмарки привез, а может, из Питера, ли еще где-то взял. Чего не знаю точно, того не скажу, – и отец, подняв ложку вверх, настоял:

– А точно, что привез?..

– Давай ешьте, простынет все с азбукой-то, – вмешалась мать.

– Не знаю, не знаю, – все же усомнился брат.

– А я вот тебе сказываю! Слушай, – в том же тоне ответил отец. – Хо, я, парень, па́док был к учебе-то. Только не до того было...

И некоторое время мы ели молча, пока я не сообразил, что разговор-то начался о другом.

– Ладно, папа. Писать ты умеешь, читать – тоже пыкаешь помаленьку. Неважно, как научился.

Но отец перебил:

– Сам ты пыкаешь... Да я «В дебрях Уссурийского края» всю не раз прочитал. А не тонка книга-то. Вон лежит на окошке в другой избе. А журналов «Охота и рыболовство»? Ну, так?..

– Хорошо, читать ты умеешь. Но мы начали со знаков препинания. Их-то ты знаешь?

– Так я же ответил вам: знаю.

– А какие есть?

Отец опять немного задумался и сказал, как выплеснул, будто в нем что-то накипело и прорвалось:

– Трочеточие знаю! – и обвел нас с братом уверенным и задиристым взглядом, как бы спрашивая: «Чего? Скажете, что нет такого?»

– Многоточие, наверное.

– Такого не знаю, а трочеточие точно было. Три точки в конце, что тебе горошинки одна за другой.

– Это называется многоточием.

– Ну, не знаю, как по-вашему, – спокойно уступил отец, чувствуя, что угодил в цель, и обретая уверенность.

– А когда его ставят?

– После всего. Когда вроде как чего-то недоговорено.

Брат, лукаво задавший вопрос, удивился, а отец, ободренный успехом, уже без всяких вопросов вспоминал и перечислял знаки препинания, словно вызывал их перед собой, как солдат из строя:

– Вопросительный!.. Как серп... Двучеточие!.. А две точки одна над другой...– Подумал. – Вот восклицательный знак тоже знаю...

– А как он ставится? – спросил брат.

– Как ставится? А вот какой он: внизу точка, а на нее опускается

палочка прямо. Но не до самой точки, а зазорчик остается, просвет. Не сливаются они вместе... И палочка-то тоже не вся одинакова должна быть. Не-е-т. Сверху-то потолще, как вроде сначала перо-то покрепче прижать надо, а потом ослабить. – И почти с упоением повторил: – Осла-а-бить. Вот тогда все точно выйдет.

Но слова его не удовлетворили. Концом ложки он со старательностью первоклассника вывел на клеенке восклицательный знак, движением руки точно обозначив, где и какой должен быть нажим, и, взглянув на нас, расслабился, довольный своей работой, будто только что собрал раму, четко подогнав друг к другу все запилы.

– А запятую ты тоже знаешь? – спросил я.

Отец, видимо, решивший, что урок грамматики закончился, уже неторопливо ел картошку, но на мой вопрос снова отреагировал азартно:

– А как же? Вот она какая: как точка, только с эдаким вот хвостиком, – и он кратко махнул рукой над столом, как будто поддел что-то.

И я был вполне доволен, а отец снова перевернул ложку и кончиком ее изобразил запятую на плоскости стола, уже как бы не обращая внимания на нас. Потом еще раз, и только после того, как приделал точке четвертый хвостик, согласился:

– Вот теперь точно! – и как будто вынырнул из глубины.

Довольный тем, что наконец-то приделал именно такой хвостик, какой ему виделся, отец посмотрел на нас, словно спрашивая: «Ну, как? Знаю я, какие они, знаки препинания-то?»

После этого мы с братом ужинали молча, украдкой поглядывая на отца. Он, чувствуя это, сказал, вырвав фразу из какого-то потока своих мыслей:

– Вот так, ребятки...

И этим как-то нечаянно подтолкнул меня к новому вопросу:

– Па, а ты почему хотя бы запятые не ставишь?

– А попоставь-ко их?! Какую куда?! – Отец поерзал на стуле.

– Ну, а троеточие? – осторожно напомнил я. – Ты же сказал, что оно ставится, когда чего-то недоговорено.

Отец взглянул на нас:

– Это у вас, наверно, язык-то гнется, когда как?.. А мне оно незачем. Я все договариваю!

И мы с братом неуютно замолчали...

ПО СЛЕДУ

Светало медленно, тихо, и в тишине будто слышно было, как лопаются паутина сумерек, чикая, как горящая лучина. Опять – уже третье утро – просидев на омуте под старой мельницей до лампочек под носом, я смотал удочки для подледного лова, взятые для пробы у городского приятеля-рыбака, и вернулся в деревню.

– Не клев, наверное, – конфузливо оповестил я отца, встретившего меня любопытным взглядом. – Ничего. Только промерз. Никто даже не поинтересовался. Ни одной рыбки... Даже на червя никто не обзарился, – старательно оправдывался я, подсев на краешек верстака.

– А может, рыбы нет – вот чего, – предположил отец, не отвлекаясь от своего дела. Он уютно сидел на табуретке в натопленной мастерской около печурки и, выстрагивая охотничьим ножом кромки нащепы для санок, снимал с дерева тонкие, завивающиеся хвостиками стружки. Строгал со старанием первоклассника, словно буквы выводил, но умело, как мастер, и от удовольствия работы пошмыгивал носом. – Вот чего! Нету ее, Егор.

– Да неужель в таком омуте ни одного хариуса нет? Да хоть бы пескаря?..

– Ну, тогда сам суди, – отступил отец, не зная, что посоветовать (он в этой хитрой ловле разбирался не лучше меня), и все-таки поддержал, как охотник, чтобы не крушить во мне надежд: – А может, и не клев? В другой раз уловишь. А сегодня чаю напьешься – хорошо с морозу-то... Верно, Шарик?..

Тот, поубегавшись, пока я рыбачил на омуте, меланхолично подремывал на стружках, налакавшись из таза кроличьих черев, и будто ничего не слышал. Но как только отец обратился к нему, расторопно, даже как-то лихо вынырнул из-под верстака, ткнулся мне в руки, скульнул, потом распахнул жаркую белозубую пасть и протяжным басом, срывающимся в высокие ноты, будто сказал: «А я готов. Давай пошли. Я не набегался. Там на речке-то ты клевал над своими дырками, а меня только отпихивал – то нельзя, это не трогай. Давай, давай...»

Время до вечера еще было.

– А поведи. Пушай промнется, – поддержал отец. – Ишь какой теленок, надо ему... Только в баню не опоздайте, топят бабы. – Помолчал. – Вот уж посмотрим, как ты зайца погонишь.

Зацепив в себе ревнивую, милую сердцу тему, отец произнес собаке строгую и ласковую речь:

– Смотри! Я дураков не терплю. Ты знаешь, какой до тебя Шарик-то был? Хо-о! Любой заяц евоный... Гений, настоящий был гений. – Отец вернул сказанное мною незнакомое ему слово. – Одному только не успел научиться – с гону сходить. Кабы на волков не нарвался, так не выдались бы мы с тобой на этом свете...

Шарик, прислушиваясь, терся около него, норовя лизнуть в лицо.

– Ну, ну, молодец... Не лезь, говорю! А то строгну ножом носу-то... – И опять ласково: – Мастью-то весь в него, чистый... – Отец сострагивает очередную завитушку и говорит: – Ноги у меня худые стали, а погонишь, так я не подкачаю. Я, парень, ружье-то только с плеча сдерну – оно уж и спело. Не сзеваю. Не долго целюсь, а редко смажу. Вот так! А ты знай ищи. – Опять строго: – Не суйся, говорю!..

Пока я надевал во дворе широкие охотничьи лыжи, Шарик высверлил в сугробе около поленницы две янтарные дырки. Отстав, он бросился вдогонку и азартно запорхнул в снег.

– Вот сейчас сходим до Соргиля, нахлебаешься вдоволь. Шибко хотел, беда, – иронизируя, говорю я собаке, заметив, что пес уже перестал забегать вперед, и оборачиваюсь. – Ох, хорошо промнешься...

А он ползет за мной, вывалив на сторону жаркий язык, вытянув вперед, как на плаву, голову, и, встретив мой взгляд, будто отвечает: «Ничего, ничего. Будь спокоен». И кажется, если бы не утопал в снегу, то поднял бы правую лапу вверх и сделал бы, как рукой, этаким успокаивающий жест: «Не бойсь, не отстану!»

И я поднимаюсь на некрутую гору, правя к редкому лесочку, который по меже, клинышком врезался в поле. Широко, бело и таинственно наверху. Вся деревня и будто вся земля на ВИДУ...

На чистых укатанных сугробах, словно вздыхающих, нет ни пятнышка, и единственный лисий след кажется живым, движущимся, ступающим, а не застывшим, будто лиса вот тут же и идет перед тобой, впереди, чуть только вышла из поля зрения, – подними голову и увидишь. Но лисы нет, ямки даже кое-где припорошило, а след все равно словно прокладывается на моих глазах и обвораживает своей аккуратностью и обдуманностью каждого стежка. У ямок редко где

сдернута кромка, и в их ломаной цепочке будто читаются все думы и переживания зверька: «Тихонько, лисонька, тихонько. Чуешь, за бугром деревня? Там, конечно, есть чем полакомиться. Впрочем, куры – это летом. Поверни-ка лучше к лесочку, к кустикам, прикройся на всякий случай. А теперь по опушке, может быть, куропаточка зазевается... Но всегда обязательно тихонько, только тихо и с оглядкой...» И узор все усложняется, ухитряется. Кажется, что перед каждым следующим шагом лиса вынимает из снега переднюю лапку и, как рукой, ощупывает перед собой снег. Ощупывает, но как-то не касаясь его: поднимет лапу, подумает и вот – ступила. Теперь другой – и опять ступила, как бы сказав себе: «Хорошо получилось, не наследила лишнего. А теперь петельку сделай, сверни вон там калачик». И путает по кустам, спускается в крутой лог, где снега еще глубже, но ненадолго, и уходит совсем в другую сторону, на всякий случай сделав еще петлю.

Я стою, дожидаясь, пока добредет Шарик, и ревниво думаю, как он поведет себя: «В лесу, можно сказать, еще не бывал, ничего не нюхал. Пройдет ведь мимо и не заметит. Эх, дурак...» Стою поджидаю...

След он увидел и сначала, кажется, не очень заинтересовался, но морду в ямку все-таки умакнул, замер, вздрогнул, ткнул глубже и, будто нюхнув нашатырного спирта, всхрипнул, а по телу, словно рябь по чистой воде, побежала нервная дрожь. Еще раз понюхал – одну ямку, другую и... растерялся, встретившись с чем-то хмельным, жданным, будто сделал, наконец, уже назревшее открытие и не знал, как с ним быть. Словно вдруг повзрослел, даже постарел, оставшись ребенком, и огорчился невозвратностью, и вопрошающе, ища поддержки, обернулся на меня: «Что-то заманчивое? А?...» Я притих, понимая, радуясь и жалея его, будто около ямок в снегу повторялись мои первые шаги...

«Да, заманчиво было, – мысленно ответил я собаке, вспомнив все, с чем встречался первый раз в жизни. – Только не запутайся. Начинал я тоже азартно». Вспомнил, как растерялся первый раз, смутно почуяв обман...

А он уже брел вперед, упиваясь и мучаясь раздумьями, обнюхивал следы и трепещущим носом сдергивал с кустиков и пеньков запахи лисьего следа, лукаво, коварно и зазывающе уходившего в синий лес...

– Только на волков не наскочи, – сказал я ему вслед, подумав о своем, и не торопясь пошел сзади, будто охраняя его, как новичка, бросившегося в омут. А он жадно преследовал лису по вытянутой петле, не подозревая, что напрямую, метрах в десяти, она идет уже в обратную сторону.

«Обведет она тебя, Шарик. Изматает, – подумал я и хотел подсказать: – Не надо туда, не надо!» – как себе, когда я, словно птенец из гнезда, выпал из любимого захоластного Нарчуга. Но промолчал.

Он шел уже не так страстно. Вот и язык вывалился на сторону, а потом, то ли устав, то ли почуяв хитрость, вопросительно оглянулся: «Может, не стоит?»

– Ищи! – тихо, но повелительно приказал я и все же не удержался, подсказал, кивнув в ту сторону, где след возвращался.

Он повернул голову и, дрожа ноздрями, взял по воздуху. Ощутить что-либо, наверное, было невозможно. Ветер давно разогнал запахи зверька, и Шарик спасительно покосился на ямки – тут все было очевидно: пахнет. И все же свернул.

«Молодец, Шарик, умница», – радуясь, подумал я. А он, снова наскочив на след, обнюхал его слева, справа, сравнивая, видимо, по силе запаха, и будто говорил: «Ага! Вот ты куда ушла!..»

Но след вел к обрыву. Шарик брел почти ныром и у самого подножия вместе с осыпавшимся козырьком снега рухнул вниз.

– Ничего, – подбадриваю я, а он смотрит из-под горы, морда заляпана снегом, и глазами, всегда вопрошающими о чем-то, будто говорит: «Что делать-то? Может, не надо? У тебя ведь нет ружья. Одна лопата. Что толку?»

– Не хитри. Шарик, не ленись. Это твоя жизнь... – И я снова требую: – Ищи!

Он медлит, но вот возвращается на след и обнюхивает торчащие, как травинки, кустики. Мне его жаль. Под верхним слоем пушка снег смерзся (чир, как говорит отец) и царапает лапы, но я еще раз приказываю:

– Ищи! Пусть больно. Потерпи...

И только убедившись, что собака послушно и точно реагирует на мои команды, подзываю ее к себе. Хвалю вслух, откровенно, глажу по голове, треплю по холке, даю обломок печенья. Шарик принимает ласку, лижет руку, светится глазами и спрашивает: «Ну что? Хорошо? Это кто был?»

«А вот вырастешь, сам и увидишь», – подумал я словами отца.

ШАМАНСТВО

Среди сугробов черная, как монашенка, банька стояла на отшибе деревни. Она была покрыта широкой плоской крышей, как платком, кончики которого торчали где-то над входной дверью. Всякий раз на подходе к ней мне казалось, что она смотрит и что-то дружелюбно ворчит. Сегодня же взглянула на меня, как отшельница: «О? Давно не видались. Мыться идешь, грешник...»

«Ну, ну, не ворчи. Просто завалило тебя снегом. Устала ты», – приближаясь, подумал я в ответ. Раздевшись в сенцах, шагнул из мороза в жаркий, тихий, словно колдующий полумрак и радостно проскулил от удовольствия: «Хо-о!»

Топили баню по-черному. В узкую форточку, через которую выпускали дым во время топки, туго пробивался луч света, выхватывая в закопченном пространстве лавку, полку, бочку, мочалки. Слева от входа, широко, как наседка, расщеперилась камница – куча камней, сложенная наподобие печки. На ней ванна с горячей водой. Я запарил веник, наподавал жару и разомлел на полке.

– Ох, хорошо! – то и дело приговаривал я, хвощась веником, потом еще раз поплескал на камницу, потом стал мыться, потом ошпарил руку. Кожа между пальцами мгновенно вздулась, будто под нее шприцем качнули воды, и она, не выдержав напора, сразу лопнула в нескольких местах. Я наспех домылся, оделся, запахнулся в полушубок и поплелся к дому, постанывая от боли, досадуя на себя и браня дядю, отцовского шурина Минакия...

А тетка Тоня, увидев меня через двор, звонко и ласково пропела:

– С легким да паром, Егорушко... Чо-то быстро намылся? Другие разы, бывало, не дождешься...

– Спасибо. Хорош пар, – пробубнил я. – Где твой обозреватель-то? Небось уж «Севонни в мире»?

– А верно. Сидит, уперся опять, – невинно подтвердила тетушка. – Ждет. Он, вишь, не терпит такого жару-то, как ты.

– Не терпит!.. Говорил ему, сколько раз говорил: давай теплый предбанник срубим. А он все: «Нет, баня старая, на чо его?» – ворчал я, передразнивая Минакия. – Вот и на чо!..

Тут уж тетка, почуяв неладное, зачокала:

– Да чо такое, Егорушко христовый?

– Руку ошпарил! Вот чо! – рявкнул я – не на тетку, на себя – от злости да и от боли: рука горела так, что даже холодный воздух едва успокаивал.

– Ой, ой, шибко? – сразу переменившись в голосе, принялась причитать тетка. – Да как же ты? Ну-ко остановись...

– А просто. Наподдавал, напарился, а передохнуть негде. Предбанник-то холодный. А у меня прострел под лопаткой, побоялся выскочить на мороз. Смекаешь?..

– Ну-ну, смекаю, я не пойму.

– Мылся-то я уж поторапливаясь. Тяжело стало. Ну, в спешке-то и плеснул на руку кипятку. Думал, холодной воды зачерпнул... Ванну перепутал. Медпункт-то есть в деревне?

– Медичка-то есть, – ответила тетка, размышляя. – Да только ты, Егор, бежи-ко не туда, а к Фане-пастуху, к матери евонной, к Шаманихе. Она тебе все сделает не хуже. И намажет чем надо, а главное, боль-то сразу зашопчет... А нет, не смейся, точно заговорит. А сноха-то у нее ветеринарка Поля, так она и забинтует. Бежи-ко давай к Анюхе, это вернее...

От такого предложения на душе стало веселей. О старухах-знахарках я был с детства наслышан, но обращаться к ним не приходилось.

– Ладно, – сказал я тетке, – схожу...

Мать тоже запричитала, когда увидела руку, отец по-мужицки матюгнулся, добавив: «Худо да и мало». Не от жестокости, а с досады – ну что с такой рукой сделаешь? Ни топор взять, ни лопату... Помог переложить пальцы столетником и замотал руку чистым лоскутком, оторванным от старой рубахи: «А умней будешь...»

И пошел я к Анне Степановне. Насчитав по пути пять крашенных подзоров и три амбара вдоль дороги, я свернул к дому с желтой верандой. Около поленницы, стоя ко мне спиной, копалась баба, одетая в фуфайку.

– Здравствуйте, хозяйка, – нерешительно окликнул я.

Помедлив, та повернулась, держа в руках несколько поленьев. Оказалось, старуха не так уж стара, без каких-либо признаков колдуньи, только маленькие, как смородинки, глаза да голова укутана платом, как в извоз.

Мы, не зная друг друга, испытывающе переглянулись: я немного смущенно, она спокойно, как усталый и опытный человек, которого смутить нелегко.

– К вам я, Анна Степановна, – сказал я, догадавшись, что это, должно быть, она и есть.

– Дак проходи в избу.

Я пошел в дом. В прихожей, из которой налево и направо были открыты двери еще в две комнаты – с полами, устланными цветными дорожками, с телевизором и радиолой в иконном углу, – сидела сноха Поля и читала толстую книгу.

– Здравствуйте, Полинарья Николаевна, – сказал я почтительно.

Полинарья, колхозная ветеринарка по осеменению скота, портрет которой я вчера видел в газете, а имя упоминалось в районной радиопередаче, кивнула.

– Я ваш приезжий сосед, – представился на всякий случай, так как и с ней мы были знакомы заочно.

– А я знаю по отцу...

– А я к Анне Степановне, – мотнул завязанной кистью, горевшей как в огне.

Тут с беремем дров вошла и сама Анна Степановна.

– Это к тебе, мама.

«Вот сейчас начнется», – подумал я, невольно воображая, как будет происходить шаманство. Уведет, думаю, в уголок, а то и в голбец, куда-нибудь в потемки, возьмет мои ошпаренные пальцы и начнет пришептывать, плевать то через одно плечо, то через другое, и утихнет моя боль, и сразу на глазах все и заживет.

Анна Степановна не спеша, полено к полену, укладывала дрова около печки, а я в ожидании фантазировал: «Нет, так уж слишком просто. Сейчас посмотрит и скажет: «У-у? Приходи-ко, сокол, нынче в полночь. Шибко обварился». Приду я, и она где-нибудь на повети среди прялок и горшков в паутине начнет колдовать... Плюнет и даже, наверное, перекувырнется, понесется над крышей, как ведьма, и великий гул пойдет, и затрясутся стропила...»

– Руку вот ошпарил, – пожаловался я виновато, когда она освободилась, и опять тряхнул своей замотанной в лоскут кистью.

То ли по моему поведению, то ли еще по чему, но Анна Степановна определила сразу, что ранен я не смертельно, и, даже не взглянув на

мою руку, ушла в избу справа и вернулась с баночкой какой-то мази, похожей по цвету на овсяный кисель. Я размотал пальцы, сочившиеся сукровицей, она выковырнула из банки этого киселя, начала мазать им и рассказывать:

– Володя, Терехин сын, летом ногу обварил. На ферме в ведро с кипятком ступил в потемках. В больнице лежал – ничего не помогало. Пришлось матери голову курице рубить. Сразу зажило...

«Вот, – думаю, – шаманство-то...»

Обмазав пальцы жиром, который сразу подтаивал на руке, Анна Степановна распорядилась:

– Поля, заверни-ка бинтом. Ожог-то лучше не завязывать, если работа не грязная... Ну да слабенько-то можно...

Боль заметно утихла.

– Куриный жир-то лучше всего от ожога, – сказала Анна Степановна.

«Неужель и все? А заговаривать-то когда?» – подумал я с огорчением и, потоптавшись в нерешительности посередь избы, все же вякнул:

– А тетка сказывала, вы заговариваете?..

Скользнув мимо меня с баночкой, Анна Степановна негромко, кратко обронила:

– А все уж заговорено, – вроде в шутку и в то же время будто бы что-то тая.

Возвращаясь домой, я уже едва чувствовал жжение, шел, усмехался и сетовал: «Жаль, «Вия» не получилось» – и назавтра уличил было тетку:

– Ничего она не заговаривала. Куриным жиром только намазала – и все...

– А боль-то прошла?

– Прошла быстро, – не соврал я. – Так это же от жира.

– Нет, Егор, нет, сердешный, – бойко и уверенно возразила тетка. – Я в прошлом году руку посекала серпом, да пока Анюха не очертила рану-то, никак не заживало. Вот так. А тебе, видать, не надо было. А может, она и шепнула, а ты не слышал. Не поперечь зря-то! Онашибко хорошо шопчет. Ши-и-ибко...

ДУГИ

Ночью, пока не заснули, было слышно, как он метался по улице, ворошил все, что плохо пристроено. Провода уже не гудели, а будто выли и стонали от усталости и просили об отдохновении, но ветер, как молодой пес от избытка сил и роста, не унимался. А когда проснулись, отвернули занавески на окнах, зеленоватое небо тихо мерцало угасающими звездочками и розовело на восходе, а чуть поярче рассвело – все сверкало.

Поля выглядели постелью, сначала хорошенько взбитой, а потом аккуратно застланной белым, оглаженным ладонями покрывалом. Ветер уложил снег снежинка к снежинке, а по верхам берегов витиеватой речки навел тонкие карнизы, плавно следуя ее изгибам. Вычертил их, словно брови, выщипав каждую лишнюю снежинку. И даже будто предусмотрел, что после восхода солнца под берегами лягут синие тени... Сверкали изголовья, выкруженные берегами, пухлые, как хлеба, только что вынутые из печи. Для полного наряда дня в безветренном воздухе трусúли, искрúсь на солнечных лучах, редкие снежинки, поднимавшиеся вверх будто от дыхания сугробов...

Ветер завершил свою работу, видимо, перед самым рассветом, и казалось, что поля и пожни еще не привыкли к покою, а сам он еще не успел скрыться и вроде виднелся хвост его, убегающий к лесу. Но было тихо, ветер ушел вдаль или просто прижался к земле. Ушел, а на снегах чувствовалась его работа, как чувствуются руки мастера на сделанной им вещи...

– Ишь, как обиходил все, – сказал отец. – Пожни-то как колобушки.

Наконец-то собравшись, мы шли на охотничьих лыжах за полозьями для санок и вязовьем. Отец с топором за поясом и деревянной лопатой сзади, я порожняком впереди – прокладывая лыжню и отбиваясь от Шарика, который то и дело норовил проехать на задниках лыж. Они ускальзывали, и тогда он облапливал мою ногу и волокся на ней, бурвя сугроб.

– Хороший, образцовый зимний день, – отозвался я отцу, надеясь еще что-нибудь услышать от него.

Но отец на лирику скуп.

– Ты давай к леску правь...

– К реке уйдем.

– А туда и надо...

В голых, едва заиндепевших кустах я не сразу и различил, где ива, где ольха, а отец, только подошли, уж прищурился и прикинул:

– Ужо, остановись-ко. Вон тут черемушина-то сама на стужень просится...

– Где тут черемуха-то? Ивняк.

– А в ивняке-то чего?! – Отец снял лыжи и забрел в кусты. – О, а рядом-то на вяз пойдет...

Приглядевшись, и я стал разбираться в кустарнике, определять, куда что годится в саночном ремесле.

Мы не спеша движемся около прибрежных кустов, время от времени сворачивая в сторону. Отец вырубает все сам.

– У тебя рука-то худо зажила, зря не бери, – говорит он, но я чувствую, что это от другого: ты, мол, еще не так срубишь, испортишь, – но больше от неумения его быть соглядатаем.

– Да тебе тяжело бродить. Ноги-то хулишь... А я прямо на лыжах зайду. Срублю как хошь. Я уже понимаю, что куда годится...

– Понял, и хорошо, – отвечает отец, пропуская остальное мимо, отстегивает ремни лыж и ухает в сугроб, опираясь на лопату.

Топор один на двоих, он еще дома сказал: «А поче два-то?» Я там согласился и теперь стою на лыжне и доказываю право на самостоятельную работу:

– Влево-то смотри, там два хороших вяза, а рядом стужень... О-о! А чуть пониже-то сразу на пару санок.

Отец вырубает свои вязовья, но на последний мой возглас все-таки реагирует:

– Где, говоришь?

Я подбираюсь к кустам и уже руками нагибаю каждый отросток.

– Эти-то? Хорошие. Я уж их видал пораньше тебя. И у меня здесь не хуже...

Но потом все-таки перебрасывает мне топор и наказывает:

– Отопчи снег-то поглубже, под корень руби, так из того два выйдет...

– Под корень, теперь все под корень. Скоро нечего будет ни рубить, ни добывать.

– Топором лес не истребишь. Мы ссечем сейчас, а весной три отростка увидишь. Его тракторами испахали, вот это под корень...

Нарубили. Я собрал будущие стужни и вязовья, натканные вдоль лыжни, как вешки в пургу, и воткнул в снег всю охапку. Посчитали...

– Ну ладно, хорошо, – подытожил работу отец, предложил закурить.

Покурили и направились дальше. Впереди, светясь на солнце, покачивались березки, стайками росшие по крутому берегу реки Ановаж. К березам отец начал присматриваться тоже издали. Мне даже казалось, что он идет и прищуривается, будто норовит заглянуть внутрь ствола.

– Надо бы такую, чтобы начетверо расколоть, – про себя (и немножко для меня) рассуждает отец.

– Хорошо бы, – осторожно отвечаю я, уже держа на примете березку: стоит на чистом месте, прямая, без сучьев, только вершина метлюю. Но отец равнодушно скользит мимо нее взглядом и правит под косогор.

Я не утерпел:

– Вот эта-то чем тебе?.. Прямая, расколется хорошо...

– Расколется-то, пожалуй, хорошо, да чепыжина она.

– Что это?

– Чепыжина-то? – переспрашивает отец. – Мне еще и тятя наказывал, когда я первый полоз выбирал. Ты, грит, не зарься на шибко прямые да высокие. Они и без сучьев, и колются ладно, да лопаются при гнуте. Вот чего...

И отец выбирает дерево, более скромное на вид: «Этих сучков-то не бойся. А так вроде в аккурат», – и огребаёт вокруг ствола снег.

– Я очищу, а ты срубишь, помоложе меня.

В ожидании я думаю: отчего же самые стройные березы названы чепыжником? – и спрашиваю:

– Чепыжина – это от слова чепать? Качаться?..

– А кто его знает!

– А колоть-то надо с комля?

– Не-ет, с вершины... С комля-то трещина чаще сбегает.

– А почему?

– Не знаю, а только чаще. Это точно...

Когда настало время колоть двухметровый обрубок, отец осмотрел его по изгибам, поворчал, аккуратно надткнул топором щель и вставил первый клин. Надвое береза распалась хорошо, одна из половин – тоже. Другую половину я попросил дать расколоть мне.

– Э-э? – сказал отец, когда под клином чуть наметилась трещина. – Ужо не торопись...

– Да ничего, расколется.

– Нет, убежит вбок. Зачем зря-то портить? – И заставил меня прорубить вдоль сердцевины узенькую бороздку. – Вот теперь коли, да и то не шибко поколачивай...

Солнце, перейдя полдень, быстро хладело, опускаясь к лесу, успокаивалось, затухало, как догорающая свеча; снежное поле меркло, гасли на поверхности снежинки, будто улетали, и домой возвращались мы молча, устало. Я нес заготовки на полозья, отец медленно шаркал лыжами, пригнувшись под пучком черемуховых колышков, и мне почему-то стало грустно. Около изгороди, перед выходом на машинную дорогу, он остановился, поставил лучок на столбик прясла, едва торчавший из снега, и огляделся, будто ища чего-то или вспоминая, и словно нечаянно подумал вслух:

– Эх, дуги, дуги...

Еще когда мы были у речки, он, осматривая кусты, вдруг ойкнул, как от неожиданной радости, и позвал меня: «Смотри-ко, Егор!» А сам гладит рукой чайного цвета прямой черемуховый ствол, обросший вокруг высоким ивняком, и говорит: «Ох, на дугу бы?! Вот дуга-то выросла! Как бы в прежнее-то время...»

Я тоже увидел в дереве дугу, почувствовал, как оно мягко выгнется и потом аркой, уже со звоночком, застынет над лошадьёю, и даже порасспрашивал отца: «А вот, помню, папа, раньше были дуги-то широкие, их еще расписывали узорами... Такая вроде из этой черемухи-то не выйдет?» – «Не выйдет, верно. Те делали из вяза, у нас этого дерева-то нет. И мы их брали у купцов... У купцов на ярмарках покупали...»

Отец объясняет не спеша, подробно, вспоминая явно с удовольствием, и, прищурясь, глядит в сторону деревни. Глядит, будто под воду пропадает, и оттуда, из глубины, говорит, словно самому себе: «Эх, бывало, по праздникам... Кошевочку запряжешь, да сбрую самоглавну, да под колокольцами. Кони у тяти – ох! Боевых держал, любил кавалерию... Пыль из-под полоза-то, бус, хиус! Эх!...» – и молчит, будто не хочет возвращаться оттуда, и мне боязно. А он, чуть подогнув колени, положил на плечо связку и, опираясь на лопату, пошел один, не позвав меня, будто вдруг обидевшись, оставив мне в наследство свое воспоминание. Подождав, я сделал несколько шагов

и остановился на том месте, где только что стоял он, и, словно угадывая причину его неожиданного отдельного ухода, подумал: «Не знаю, как быть, отец». Вспомнил вечер первого дня: «Нелепо все сложилось... Уехав, я много увидел. И уж без чего-то, что есть там, не могу... Но без этого тоже не могу. Еще тяжелее...» Отец, не оборачиваясь, уходил. Глядя ему вслед, я почувствовал, как нарастает напряжение, будто надо было вмиг заново перебрать и пересмотреть такую запутанную жизнь. И, как заблудившийся человек, все оглядывался, оглядывался...

Машинная дорога, лихо взлетевшая на угор, проскочила перед глазами и, подхватив меня, как когда-то давно, выбросила на огромную привокзальную площадь, на которой в гуще народа озирался отец и, словно немой, показывал куда-то в другую сторону. И я повернулся: отец стоял на лыжне, вполуоборот глядя на меня, и ждал, почувствовав, что я почему-то отстал. За ним, то высываясь крышами домов, то скрываясь за плавными снежными сугробами, мигала первыми огоньками в сумерках деревня...

МАТЕРИН КРЕСТ

Ясные, с морозцем, светлые и озорные, как детство, дни коротки – чуть перевалит за полдень, уже тускнеют, слабеют блеском, будто тяжелеют... Коротки и редки, как заячьи следы в теплую снежную зиму. А она такая и стоит. Снегу везде нападало много, пока докопаешься до земли – самого едва видно, только чёрен лопаты мелькает над сугробами.

Леса мягки и кажутся глубокими, затонувшими в сугробах, словно в омутах. Порошит, а то и по-настоящему сыплется с неба почти каждый вечер, так что поверхность сугробов всегда пушиста и нетронута. Пальцем ткнешь – дырка от него уж читается как заглавная буква, как заметное явление, а лыжня – это уже событие... Лишь иногда вышита на снегу аккуратной лисьей походкой строчка ямок, как бы ненароком приворачивающая к заячьему следу. Пересечет его, уйдет вроде бы и насовсем, не придав ему значения, а пойдешь дальше – увидишь: опять сечет лиса заячью тропку. Так и видно, как шнырит она хитрой мордочкой, прислушиваясь к запахам.

А заячьи тропки тоже редки и одно-двухразового выбега. Мороз не гонит, отлеживаются зайцы, покормятся и опять залегают, так что кажется, что и их завалило, и лежат они под снегом, выпучиваясь над поверхностью бугорками, как пеньки или кочки.

И деревня вся под сугробами. Тропинки между домами не крепнут и каждый день подтаптываются вновь, а машинную дорогу через день расталкивает бульдозер, так что она похожа на глубокую траншею.

Матовый свет стоит в окнах домов, и светает словно с натугой. Небо опять набухло. Тяжелые, будто отеки, тучи обложили горизонт над синеватыми лесами. Редкие, но большие, как рукавицы, снежины неторопливо срываются с неба, уже не в силах удержаться в облаках, и бесшумно укладываются на землю одна подле другой, будто сторонясь...

До полудня погода так и держалась, а потом сорвалась и полетела. Снежины как-то незаметно измельчали, заюлили мошкаркой, разбежались и густо-жесткими, словно конские хвосты, нитями захлестали по воздуху. Запостанывало в закоулках, а потом ветер откровенно зарасходился. Сугробы будто поднялись в воздух, закружились. Леса зашумели так, что слышно было издали, сдуло с них вчерашний серебристый иней и вместо него на ветки набило и наляпало въедливой снежной пылью. Деревня, и без того редкая на людей, совсем опустела. Лишь два раза, спеша успеть до заносов, проскочили по ней грузовики. Умолкли, покричав накануне, вороны. А ветер заходился, не щадя ничего, винтом взвивал снег, трепал деревья, ломился в подзоры домов, потом останавливался – то ли передохнуть, то ли подумать: «Что бы еще потрепать?» – и как оголтелый задира хвост сороке, не успевшей укрыться.

Природа словно долго-долго что-то терпела, наблюдая, как мать за детьми, а они не унимались, и вот она разъярилась, чтобы напомнить о себе... И будто за грехи всех стонали провода.

– У-у-у, запохвывало. Одинова поись да из избы не лись. На света переставленье находит, – войдя в дом, определила погоду мать. Недолго погромела ведрами на кухне и залегла на печь.

– А точно, на то повело, – сонно, и потому не убоявшись «переставления», согласился отец. Потом перешел в передовую избу, взял с кровати подушку, бросил ее на диван, сел, ненароком кольнув меня отсутствующим взглядом, одиноко задумался, лег навзничь с погасшей в губах папиросой и будто ушел из дому, не заметив этого...

Шарик, заскочив в избу вместе с матерью, развалился у порога и, выпустив набок ниточку слюны, сладко разомлел в тепле.

Почувствовав, что в доме наступило какое-то особое затишье, прыгнула с печи Барка, длинная, стелющаяся, словно куница. Важно прошествовала по цветным лоскуткам самодельных половиков, ставя передние лапки, как балерина, и вскочила на сундук перед окошком, по которому ветер стегал снегом. Вскочила, но села не сразу, осмотрелась, обстоятельно ощупала под собой коврик-накидку, обвилась хвостом и замерла, почтительно глядя на стихию...

Я сидел, привалившись к теплому боку печки, наблюдая за всем, что происходило в доме и на улице. Уже побаливала душа близостью отъезда, было грустно, беспокойно и смутно обнадеживающе...

Из угла тихим, привернутым голосом радио рассказывало о природе: «...это сложный и удивительный организм... необдуманная рубка леса привела к тому...»

«К тому, что у меня не стало Нарчуга», – подумал я.

Потом рассказывалось о муравьях, какие они хорошие, потому что одно их семейство уничтожает за день до килограмма каких-то вредных насекомых. Заботливый женский голос, читавший чужой текст, призывал к любви и чуткому отношению к природе, то и дело срываясь в умильность. И потому я невольно возражал: «Ведь эти насекомые, которых муравьи поедают килограммами, для них вовсе не вредные, для муравьев они пища. И не надо умиляться, надо просто жить на равных с природой, она не парник с огурцами и не поле с пшеницей. С поля, посеянного человеком, можно и нужно вырывать сорняки. В природе, сложившейся до нас и без нашего участия, сорняков нет. В ней все для чего-то нужно...»

– ...Егор? Да ты дома ли? Не докличусь, – расслышал я за спиной сонный голос матери и бодро отозвался:

– Дома. А что?

– Ну-ко, много ли время-то?

– Пятый.

– У-у! Вставать уж надо, поросенка кормить.

Мать, еще немного полежав, начала спускаться с печи, кряхтя и чикая суставами. Потом, учесывая гребенкой волосы, перешла в избу.

– Чего в окошко-то уставился?

– А вот с кошкой радио слушали...

– Вам еще Шарика не хватало да отца туда же, – добродушно усмехнувшись, сказала мать, не обращаясь ни к кому.

– Чего опять? – не открывая глаз, подал голос отец, видимо опасаясь какой-нибудь семейной критики. Следом за ним широким рычащим зевком провещился и Шарик, высунулся в открытую дверь. Обнюхался, не решаясь пройти дальше, робко потоптался и лег, положив на порог только голову.

– А ничего. Говорю, всех бы вместе у окошка-то посадить. Хорошо, дружно, – пояснила мать, а потом, повернувшись к Шарiku, ласково укорила: – А ты куды налаживаешься? Нет, Шаричек, ты уж свое место знай. – И вдруг, пытаясь поймать что-то падающее, неожиданно вскрикнула: – О-ой! Опять лопнуло. Ох ты, господи!

Шарик отскочил, думая, что это на него. Я обернулся, услышав слабый металлический звяк...

– Ну-ко, хоть ты, Егор, скрепи-ко цепочку-то ладом. Вот хорошо, в избе урвалось, а где на улице – потеряла бы все, – сказала мать уже с досадой в голосе и подошла ко мне.

Отец сразу поднялся, уронив ноги с дивана, не глядя нашарил на подоконнике пачку с папиросами и закурил.

– Ему, ишь, недосуг все. Сколько раз просила. Вот для других, так он чего хошь сделает. – Мать кивнула в сторону отца.

Тот принял упрек, затянулся дымом, стряхнул по привычке пепел в оттопырившееся голенище валенка и отошел смехом:

– У меня пальцы толстые для этого дела. Выскальзывают...

– Нет, пальцы тут ни при чем. Ты лучше скажи-ко, сколько раз перекрестился за всю жизнь-то?

– А ну, ты все сама лучше знаешь...

Усмехнувшись их разговору, я взял цепочку из рук матери и, увидев на ней три медных крестика и маленькую алюминиевую иконку, вопросительно взглянул: «Почему столько-то? Мама?..»

Она будто ждала этого вопроса и сначала смущенно, а потом смелее, даже с нотами обиды в голосе, рассказала:

– Вот это же хирург у одной старухи спросил. Операцию ей сделал от аппендициту. Она когда в себя-то пришла, он на обходе подсел к ней на кровать да и спрашивает... Молодой такой парень, толковый, говорят, хирург. Так вот – говорит, а сам эдак стесняется, совестливый, видать, еще. Спрашивает: ты, говорит, бабушка, зачем три-то креста на шее носишь? Спросил, а сам улыбается, молчит, ждет... Ну, ждет, ладно – хорошо. Тогда старуха его спрашивает: «А ты, сокол, сам-то носишь

крест-то?» Нет, говорит... «Ну, так вот, христовый, оттого-то матери нонь по три да по четыре креста-то и носят. На вас нет, а нести-то его кому-то надо. Никуда от этого не денешься...»

Отец, заметно обиженный, что его попрекнули, отвернулся к окну и отдельно разглядывал снежную метель. Он всегда не понимал и недолюбливал мать за религиозность и ярился, когда она затевала разговоры на божественные темы: «Завела, завела опять. Дурость все это, блажь. Да и не нашего ума дело... Никто его не видал. Тебе надо, ты и молись». И сейчас он всем своим видом говорил то же самое, только, мне казалось, без ярости и с какой-то практической стороны обдумывал услышанное. Потом спросил от смущения:

– Это какая такая старуха-то? Откудова она? Из какой деревни-то?

Мать не ответила, глазами сказав, что дело не в том, откуда старуха, но, чувствуя, что своим признанием привела нас в замешательство, сама растерянно стояла посреди избы, долгим взглядом смотрела на меня, молчала и будто повторяла то, что не раз говорила мне вслух: «Тот и есть самый большой грех, что веры-то у вас нонь нет. А и есть какая, так и та пустая, не та... Беспризорники вы, скитальцы. Вот ты зачем всю жизнь по всяким странам да городам ездешь? Чего ищешь? Много ли нашел? Четвертый десяток живешь, а много ли у меня внуков-то? При чем это? Вы детей-то боитесь рожать, будто завтра все... Нет, работа-то работой...»

Отец, словно подслушав – то ли мои, то ли материнские мысли, – натужно хмыкнул. Я сидел, склонившись над пригоршней, и, неуверенно возражая матери, старательно нанизывал на тонкую рыболовную леску мелкие, как песок, звеньишки цепочки, чтобы они не рассыпались в случае обрыва.

Руки, уже много лет служившие только тому, чтобы держать шариковую ручку, нажимать кнопки и набирать телефоны, писать и носить на подпись бумаги (еще и лукавить при этом), не умели делать свою естественную работу, и колечки то и дело выскальзывали из пальцев. Мать, то ли соображая, с чего начать обрядиться по хозяйству, то ли ожидая, когда я закончу работу, ждала. Наконец я связал кончики лески и, виновато улыбаясь, подал ей.

– На. Теперь не оборвется, не потеряешь. – Хотел добавить: «Я потом тебе новую привезу, венецианскую, крепкую», – но отчего-то стало стыдно.

А мать, будто я и впрямь сделал для нее что-то стоящее, благодарно сказала:

– Вот спасибо, дитя... – и, продев в цепочку голову, спрятала кресты под кофту.

Почувствовав, что все обошлось без разговоров, отец бодро встал, упершись руками в худые, хрустнувшие колени, и, как человек, наконец-то дождавшийся своего, с облегчением выдохнул:

– Ну, мне надо шагать в мастерскую, – и пошел, припадая на раненую ногу, в другую избу и уже оттуда, словно вдруг спохватившись и пожалев, позвал меня: – Ты пойдешь? Я переченья для рам шпунтовать буду. А потом надо еще с этажеркой поковыряться... Учись. Может, еще и пригодится...

И рассмеялся непонятно...

РЯБИНА (На берегу)

... И вот уже в лицо, как из глубокого погреба, потянуло влажным холодом. Трясина, покрытая зыбким слоем вымокшего мха, прогибалась, под ногами урчало, булькало, шипело. Он уже не шел, а крался, ежась под сверлящими взглядами седых елок, и от страха оглядывался назад. А старик с колдовской усмешкой на лице подталкивал: «Иди, иди. Ты же хочешь узнать», – и сзади опускал занавес, как штору на окне. Темные, вывороченные с корнями, валежины напоминали медведей, в самом слове – болото – чудилось что-то берложье. И Черноков то и дело поправлял на плече двустовлку. Потом думал: «Зря. Против неизвестности никакого оружия не существует. Надо верить. Тогда не страшно... » Вдруг безмолвие взорвалось, старые елки затрясли лохматыми сучьями и захохотали...

Глухарь, взлетевший почти из-под ног, уселся на расстоянии выстрела в упор. Забыв о ружье, Черноков вытер моментально вспотевший лоб, и позвал вслух: «Эй, не бойся. Постой», – обрадовавшись древней птице, как человеку. И какие-то шустрые глазки на лукавой мордочке зверька усмехнулись над ним...

Но просыпался он спокойно, словно просто всплывал из омута, в который нырнул на спор, чтобы достать дна. Вынырнув по пояс, он отфыркнулся от застывших лицо ручейков, и разжал горсть поднятой руки: «Вот, достал. Вот как там выглядит... »

Из горсти то ли что-то посыпалось, то ли потекло, и ему показалось, что среди людей, собравшихся на берегу, раздался недоумевающий смех, и он нехотя, с ощущением грустной радости, как после сбывшейся мечты, открыл глаза...

Первое, что осознал Черноков, едва проснувшись, была мысль: «Сегодня что-то произойдет?!. »

Мысль эта вылетела откуда-то издалека, вспыхнула и мгновенно исчезла, так что он не успел обдумать, к чему бы это могло относиться, и невольно связал это с рыбалкой. Однако в успех ее он не верил, зная, что сегодня пойдет недалеко, на обловленную речку, где рыба клевала редко, капризно – трудно угадать, когда. Правда, сразу же вспомнилось одно место, мелькнуло слабенькой надеждой: вьюнок, кончик тинки, намотавшейся на сучок течением, и смылось...

Полежав с открытыми глазами, он встал, машинально надел штаны, брошенные на стул около кровати, и побрел на кухню.

Кошка сопровождала его любопытным взглядом, напомнившим лукавую мордочку снившегося зверька, и он ответил ей снисходительной усмешкой, и она цепко вскочила на узкую спинку деревянного диванчика...

– Это я, мама. Всплыл вроде, – сказал он матери, словно во сне.

– Знаю дело, ты. Больше-то некому. Двенадцать часов почти выспал. Я уж подошла, проведывала – пышкаешь ли?.. Вот уж верно сказал – всплыл...

– Устал. Почти двое суток... По кустам да с удочкой. В избушке чуть подремал, и снова...

– Ак, кто гнал? Какая така упала? Какая нужда-то?

– Страсть, мама. Охота, – неторопливо, как бы вновь переживая мгновения вчерашних удач, ответил сын, вороша на большой русской печке разное тряпье в поисках своих носков, и мать по интонации его голоса почувствовала, что сын в каком-то особом настроении, и расспросы неуместны. Да и сама она была занята – стряпала, расторопно накладывала на раскатанное тесто капусту, свертывала пирожок, пробегала пальцами по кромке, оставляя ямки, и начинала другой...

– Ты как по роялю, что-то вроде мазурки, – обронил сын, опять как-то отрешенно, думая о чем-то другом, так что мать снова не почувствовала в его голосе повода к общению. Она знала характеры и мужа, и обоих сыновей, и, если не было неотложных домашних дел,

требовавших мужского участия, не совалась с расспросами, самостоятельно угадывая, кому что от нее понадобится. Или ждала. А мельтешишь она не умела и не хотела. Поэтому как бы про себя уточнила:

– Вроде как куда-то налажаешься опять?..

– Ага. В Большую Пыелу. Донки хоть собрать, да и прощаться пора...

Мать вздохнула:

– Так хоть поешь... А то отец вон с куском хлеба убрел... Брусники где-то насмотрелся. Пораньше...

– Ладно, – покладисто отозвался сын, чтобы не распространяться на эту тему, и, натянув резиновые сапоги, встал...

Хотя время было уже не раннее, собирался он неторопливо, чувствуя в себе настроение сна и словно боясь вспугнуть что-то важное. Состояние его было похоже на то, которое он не раз испытывал перед ответственной партией в шахматы: какой-то очень тонкий внутренний порядок, натянутый, как пленка, не терпящий ничего постороннего, еще не окрепший, нервно парящий, чуткий и легко уязвимый любым резким звуком. Поэтому передвигался он замедленно, с налетом даже ленцы и безразличия

«Папирасы?» – подумал он и сходил в столярную мастерскую, потому что на лежанке, где они обычно покуривали с отцом, было только полпачки.

«Спички». Он взял их в нижнем ящике шкафа, где мать держала запас, и сунул в наружный карман суконной куртки новый коробок. «Сыро, возможно и дождь будет». Он отодвинул старую охотничью сумку, достал и сунул вторую коробку уже во внутренний карман. Заодно мимоходом ощупал, на месте ли дощечка с лесками, баночка с запасными крючками, грузила. «Тут. Что это я собираюсь, как на неделю? И удить-то уже некогда. Разве что в двух омутах... И... Там!»

Глубокая яма под езом отца всплыла перед глазами. Опять мелькнули вьюнок и ленточка тины, – и он заметил в себе легкое волнение, но тут же отмахнулся от этого, не веря, и пошел на улицу. Там он сунул руку под крыльцо, нащупал чайную банку с пробитыми в крышке дырочками, поворошил свившихся в клубок червяков: «Хорошо, свежие», – и, положив банку на подоконник, вернулся в избу.

– Худо поел. Капустников возьми-ко с собой, – предложила мать. – На берегу-то шибко хорошо естса.

– Возьму, – сказал он, выходя в кладовку. Оттуда Черноков вернулся с ружьем, приставил его к лежанке и выбрал из патронташа полдюжину патронов с мелкой дробью: «Да так, на всякий случай. Вдруг утки, вдруг рябок, лес-то рядом», – ответил он на вопрос, мелькнувший в нем же самом.

– Корзину возьми-ко, – походя, не отвлекаясь от стряпни, но, чувствуя логику его сборов, подсказала мать. – Может, обабков где попадется?

Мать положила на противень завернутый пирожок и топающей старческой походкой расторопно сходила на улицу.

– Я чичас опростаю.

В уголок на печи, сдвинув онучи, мешок с песком и фуфайку, она выложила грибы, сказала:

– Ишь, отец каких кисляков вечер принес, – потом фукнула внутрь пустой корзины, выдунув несколько листочков ягодника:

– Корзина-то большая, да легонька, не задавит. Зато все уладется. Может, че и выудишь?

– Ладно, – буркнул сын. Надернув на брючный ремень ножны, из которых торчала цветная, наборная рукоятка финки, Черноков взял корзину, положил туда газетный сверток с пятнами масла, еще раз ощупал все карманы, узнавая, где что лежит, и взял ружье.

– Не доживай до темна-то, – напомнила мать и по привычке перекрестила его вслед: – Ну, давай, господи благослови...

На улице Черноков не спеша огляделся, с облегчением вздохнул от незаметного волнения и глубоко затянулся прохладным воздухом, – ноздри покалывало влажными крупинками. На небе ветер разжимал облака и кое-где медленно, как волосы, расчесывал их на пробор, но погода держалась смутная, ленивая, похожая на просыпающегося человека.

Обычно, уходя на рыбалку, он огибал деревню огородами. Сегодня же даже не подумал об этом и, отворив воротца ограды, пошел по главной дороге, поблескивающей мелкими лужицами в ямках машинных следов. У соседнего же дома дорогу ему пересекла малознакомая старуха, с маленьким пустым ведерком, направлявшаяся к колодцу. «Можно возвращаться домой. Верный признак неудачи!» –

подумал бы он в другой день. Но сегодня спокойно поздоровался с ней кивком и пошел на окраину деревни. Там стоял брошенный дом, около которого он всегда проходил с ощущением неловкости, но сейчас будто увидел его впервые и невольно остановился. Сквозь окна, заколоченные крест-накрест досками – будто зачеркнутые, – протягивая навстречу руки, казалось, была пустота...

«Будет так же», – подумал Черноков и обвел взглядом мягкое морозящее пространство.

Вправо тянулся пологий косогор, к которому кучкой припали деревенские дома. На дальнем поле, лизнув вершину косогора коротким витком, быстрым, как поэмка, желтела дорога и сливалась с облаками. Внизу под деревней рос лес и текла речка, то выныривая, то прячась среди кустов. По узкой тропинке, проложенной через ржаное поле, Черноков миновал старую пасеку, которую деревенские жители предпочитали называть пчельником, и пошел берегом. Деревня, еще некоторое время мелькавшая отдельными домами, скоро совсем скрылась из виду, и он будто утонул...

Внутренне спокойный и уравновешенный, все с тем же хрупким утренним ощущением, таившим в себе привкус виноватости, он шел по скошенным пожням, спускался к омутам, чтобы проверить донки, но, глядя на немые кусты, деревья и речку, непрестанно что-то обдумывал. Обрывки мыслей или воспоминаний, которые откладывались в сознании, выглядели почти случайными, но он замечал, что сегодня все они вытекают из одного и того же источника, упорно возвращаясь к тому предчувствию, с которым он проснулся...

«Если обращать внимание на кобылий пот да бабьи слезы, так никогда ничего настоящего не сделаешь. Шагу никуда не шагнешь. Вот так. Да!» – вдруг вспомнил он слова отца и опять, как и в первый раз, когда их услышал, почувствовал в них неотвратимую и восхищающую силу.

По хламу, нанесенному половодьем в узком повороте реки, Черноков перешел на другой берег. Наискось, чуть наклонившись к крутому косогору, иногда упираясь в колени руками, он поднялся на пожню, поправил съехавшее ружье и, продолжая мысль, уже сбившуюся с логики, подумал: «Почему же я его пожалел?» – и, наконец, вспомнил, что во сне усмехалась над ним выдра, и она же будто шепнула: «Ты, Черноков, пчела без жала, а не охотник... »

– Это еще надо доказать, – подумал он вслух и пнул подвернувшуюся под ногу позднюю, еще не осыпавшуюся ромашку. Ему показалось, что ромашка сейчас закричит от боли или даже заплачет, но ничего не услышал. Сбитая головка цветка, потеряв несколько лепестков, молча прильнула к тупому, намокшему от дождевой воды носку резинового сапога. Выплеснув раздражение, он усмехнулся, постоял... Хрупкое спокойствие опять вернулось к нему. Впереди виднелась старая засохшая ель с обломившейся от молнии верхушкой, неподалеку от которой была поставлена еще одна донка, и он направился к омуту.

Полуизмыленного пескаря, проколотого насквозь вдоль позвоночника концом проволоки, пришлось срывать по кусочкам. Ощувив при этом краткое чувство то ли брезгливости, то ли угрызения совести, Черноков вытер пальцы о траву, смотал леску на двухстороннюю рогатку и выбрался из-под крутого обрыва на широкую пожню.

– Бедновато, – сказал он, посмотрев в корзину, где лежало с десятков разных грибов, найденных около прибрежных кустов, и бросил туда моток с донками. Присел на кочку, доел оставшийся кусок капустного пирога, сжег промаслившийся обрывок газеты. Спустившись к воде прогалом среди ивняка, напился пригоршнями, ополоснул лицо, крикнул по-мужички от удовольствия; осторожно, чтобы не замочить, вытряхнул из пачки папиросу и закурил на ходу... Осень уже прошла по деревьям, и видно было, как плясали по веткам, обжигая листья, язычки ее пламени.

На донки ничего не попало, но Черноков не заметил в себе даже признаков огорчения и пошел дальше, напрямую срезав излучину реки. Шел, слыша шуршание сапог о кошенину и внутри себя строчку «Растут невнятно розовые тени», пытаясь заменить в ней слово «розовые». Думалось о чем-то вообще, а не о том, куда и зачем он идет. Безотчетно он был уверен, что сегодня все это определено без него. Понял причину этой уверенности только после того, как вспомнил опять утреннее предчувствие, которое куда-то отодвинулось, пока он кружил по берегам речки.

«Надо где-нибудь бы срезать удилище», – подумал он, но вдруг словно кто-то подсказал: «Это произойдет, если ты найдешь ТО, старое удилище...» И Черноков почувствовал, как мгновенно вспыхнула

буйная охотничья радость, и – сразу же тоска, будто все желаемое уже произошло. Он не стал в этом разбираться, пересек пожню в узком месте, где река возвращалась из поворота, и медленно пошел к кустам, куда неделю назад он, закончив ловлю, сунул рябиновое удилище. Точно место Черноков тогда не приметил – думал, что больше не пригодится, но помнил, что затолкнул его неподалеку от отцовского еза, в мелкий, стелющийся по земле ивняк, и рядом была березка, а на том берегу, почти напротив, мелькнула рябина. В том, что удилище он найдет, сомнения не было, но найти надо было так, чтобы не шарить по кустам, не ходить около них туда-сюда, а сразу подойти и, двигаясь вдоль них слева направо, суметь увидеть вершинку, разглядеть ее в густом кустарнике – иначе загаданное не сбудется...

Подходя к берегу, он по журчанию воды и тропинке, нырнувшей в кусты, точно определил место, где был забит ез с двумя створами, в которые отец закладывал сурпу и морду – ловушки, сплетенные из тонких ивовых виц, – напряг память, вспоминая подробности того дня, взял влево и, впившись глазами в кустарник, медленно пошел по течению реки, чувствуя, что сегодня все имеет значение, что сегодня нет никаких пустяков, сегодня все надо соблюсти, ничего не упустив и не нарушив ни в чем последовательности.

«Если найду? Если найду без промаха, то? – думал он, делая осторожные шаги. – Нет, кажется, прошел, мелькнуло с отчаянием. – Эх, жаль. Не может быть!» – Но через шаг в глазах вдруг сверкнула, словно кончик клинка, обструганная тонкая вершинка, и моментально разыгралось воображение. Утихомиривая его, Черноков равнодушно огляделся, выбрал бугорок на поже выше, сел удобно и, пропуская удилище через руки комлем вперед, отложил его слева от себя.

«Теперь надо, чтобы леска привязалась ловко, ни разу не выскользнула», – опять произвольно подумал он, и, когда настал момент закреплять ее, сосредоточился, следя за пальцами. Вышло так, как ему хотелось.

Связав узел, он натянул леску, чтобы проверить длину ее по отношению к удилищу. Для ловли на лесных, заросших речках это очень важно: если леска намного длинней, будет путаться на кустах, вровень с ним – подальше уж не забросишь, – а бывает, все решают сантиметры. Эти подробности Черноков знал по многолетнему опыту ловли хариуса, особенно когда клюет он не очень азартно.

«И это сошлось».

Положив ружье дулом на край корзины, он встал, поднял удилище, поймал в горсть качнувшийся в воздухе крючок с грузилом. Показалось ему в какое-то мгновение, что зазубрина на крючке чутьчку обломилась, и кольнуло беспокойство, но и взгляд, и беспокойство были настолько краткими, что сознание не успело на них отреагировать.

«А значит, это не имело значения, – чему быть, того не миновать», – подумал он потом. Обмотнув леску вокруг удилища, он сунул его вершинкой вперед и, пригнувшись, осторожно нырнул в кусты...

«Только бы не задернуло под леску листья», – подумал он, пробираясь в просветах ольховника. Потом тихонько, сдерживая раздражение, пропел: «Ивушка плакучая», – когда в последний момент чуть было не зацепился за маленький сучок ивы. И опять подумал: «То куст, то трава. Как стража. А где берег чистый, там никого не выудишь».

Лишь оказавшись на песчаном пятачке под обрывом, он с облегчением перевел дыхание. Сзади нависала ольха, под ногами, касаясь голенища сапог, стелилась разлапистая ивовая ветка от куста, росшего прямо в воде, и забрасывать надо было через него...

«Опять помешает ведь. Но ничего, обведу справа», – подумал Черноков и достал из кармана старую чайную банку. Закрывалась она туго, он прижал ее к животу, чтобы мягче сдернуть крышку и не вытряхнуть червей, вцепился в кромку пальцами и замешкался, вдруг ощутив чей-то взгляд. Он замер, затаился, будто сам исчез, вслушиваясь и ловя посторонние звуки. Лес, до этого казавшийся тихим, несуществующим, шумел тревожа, как в тот момент, когда человек вдруг осознает, что заблудился, а взгляд из-за реки был нацелен прямо в голову, и было боязно пошевелиться. Но стоять в неведении было еще трудней. Цепко осматриваясь, Черноков приподнял голову, и в глаза, как дробью, брызнули гроздя рябиновых ягод. На противоположном берегу, высоком и оплывшем от весенних паводков, полуприкрытая разным подлеском, вцепилась в красный суглинок старая рябина. Напор ее взгляда сместился теперь прямо ему в глаза, и, не отводя их и, повинаясь, Черноков ответил вопросом: «Ну, что?..» – и словно попал под какое-то излучение, исходившее от набухших ярких ягод, из которого он не мог вырваться. Над рекой, между деревом и ним, будто замкнулось электрическое кольцо. Что и откуда передавалось, он не мог понять, но четко различал впечатление: первый взгляд, которого он еще не видел, а только ощутил, был вопросительный, осуждающий и

мрачный, когда же глаза их встретились, с кистей рябиновых ягод стекало нечто похожее на любопытство: «Ну, давай. Посмотрим?» Дунул ветер, ветки закачались, все дерево зашелестело, и до сознания его опять донеслась какая-то обреченная тоска, будто рябине уже наперед было известно, что произойдет, и она беспомощно сокрушалась, жалея чего-то. Ему на мгновение стало неловко, как человеку, молча осуждаемому за неведомые грехи...

– А что я такого делаю? – спросил он, не запомнив, вслух или только мысленно. – Мне приснилось, что сегодня что-то произойдет...

Он любил рябину, называя ее последней радостью осени, за сдержанную, не всем заметную красоту и за вкус ягод, угодный не всякому рту...

– Не вижу греха, – сказал он, чувствуя смятение, и отвел глаза, чтобы стряхнуть это состояние, и посмотрел на противоположный берег рассеянным взглядом: валежник, сосны, над ними озерцо неба и в нем облако, похожее на медвежонка, и, когда опять увидел рябину, она будто кивнула: «Ладно, давай».

Он скovyрнул крышку и сунул указательный палец в склизкий, оживший клубок, разворошил его, выбирая червяка покрупней, и вытянул за хвост того, который, почуяв опасность, засучил вглубь, расталкивая других.

– Вот с тебя и начнем...

Червяк вилял в пальцах. Черноков всадил в него острое и быстро надернул на крючок. Проколот посередине, снова обнажив кончик, и вытянул из банки другого.

– Сделаем «креветку». Если уж клонет, то это будет рыба.

Страдающие от боли червяки вертелись на крючке, по-пороссячи закручивая болтающиеся хвостики.

– Ну, господи, благослови, – сказал он невольно, чтобы придать делу праведный характер, и почувствовал внутри мелкое, как рябь на воде, волнение. Чуть подрагивали и руки.

«Нет, вряд ли клонет... Тяжело я его тогда оборвал. А вдруг? Уже больше недели прошло, зажила губа, забыл...» Вдруг появился отец: «Ого-го! Вот это хайрус! Ты где такого? У моего еза?.. Мои места облавливаешь. Мне осенью самому бы в морду зашел». Тут мать откуда-то вынырнула: «У-у-у! Ой, ой, ой, вот так Егор!»

– Дурак, – сказал он себе, чтобы сбить волнение. – Не уловил, а уже отеребил.

Держа в левой руке крючок с «креветкой», Черноков подшагнул к речке, заметил, что носок левого сапога чуть залило водой. Мелькнуло: «Залило. Но не булькнуло», – и, не веря, веруя, чуть опустил удилище, чтобы махнуть им: «Надо несильно, чуть кистью подбросить, пружинит хорошо», – и сделать точный заброс. «Вот туда, где начинается бырца», – подумалось уже вслед летящему над водой крючку. Картечина, насаженная для грузила, издала краткий глухой бульк и быстро пошла ко дну. За ней боком упал на воду поплавок из бутылочной пробки, быстро справился и покатился по течению. Сразу же откуда-то появилось сердце, отстучало и опять зашло, а течение, постепенно нарастая, несло разбегающийся поплавок: «Нет, здесь еще не должен. Если подскочит, то... – Черноков подождал, когда поплавок спустился чуть ниже, и договорил, – то вот здесь... » Но поплавок не шелохнулся, и еще утек сантиметров на сорок, и крутнулся в маленькой воронке, как раз напротив тонкого сучка, торчавшего поперек, чуть вниз по течению, с противоположного берега. На кончик его намотало ленточку тины, напоминавшую налимчика... «Вот здесь, если возьмет? Вот сейчас дернет! вот! – но поплавок, не дрогнув, покатился дальше. – А все-таки еще есть шанс. Хариус любит стоять под бырью. Чуть ниже. Особенно крупный».

Поплавок сносило к намеченному «чуть ниже», у которого еще была надежда, но вот он уже здесь – и ничего, но все-таки еще есть шанс, но вот никакой надежды: рука вытянулась до предела, леска выбралась вся, пробка забурилась, встав против течения, и Черноков потянул удилище на себя.

– М-да? – выдохнул он от волнения.

«Пусто. Не клюет. Или ушел... Ого-го!? Ты где такого уловил?» – опять удивился отец, и Черноков, злясь на себя за несдержанность, плюнул высохшей слюной: «Дурак. Ты всегда норовишь забежать. Все грезишь чем-то». И по инерции подумал: «Идеалист, глупец – что одно и то же. Ты все тянешься за... Недостигаемого ему хочется... »

«Не клюет, надо сматываться», – опять подумал он, перескочив с одной мысли на другую, но это сомнение было скорей всего охотничьей игрой. Уже после третьего заброса он был почти уверен в удаче: «Вот-вот должен. Выужу, точно выужу. Только дело в чем-то другом... » В этом состоянии он узнал что-то знакомое и вспомнил, что не раз испытывал его, собирая грибы, особенно когда они попадались нечасто. Блуждая по лесу, он вдруг начинал замечать нарастание возбуждения, доставал невольно папиросу: закуривал, и, как правило, пик напряжения

наступал вблизи гриба. Ничего особенного он в этом не усматривал, даже ухмылялся от неловкости: «А не больной ли ты? Дядька-то твой, то же Егор, в монахи подался...»

После нескольких забросов он решил сменить червяка.

Свежий червь упруго вязал вокруг крючка, и Черноков, как перед первым забросом, опять азартно сказал: «Ну, господи!» – и, занеся удилище над водой, четким движением кисти подбросил его вверх. Картечина шлепнулась снова не совсем туда. Знал он, куда ему хотелось забросить, и мог бы, пожалуй, сделать это с первого раза: «Вон туда, за ленточку тины. Тогда он именно там схватил, сразу...» – но лукавил перед собой. Несмотря на явное предчувствие удачи, все-таки было и сомнение, и ленточка тинки была границей, за которой сласть надежды либо исчезала, либо сбывалась слишком быстро. То и другое не устраивало...

И Черноков медлил, забросив еще несколько раз рядом и около, оправдывая себя тем, что хариус, если берет, должен и подскочить. Но хариус не брал.

«Ну, еще раз около и...» Поплавок пошел, глаза впились в него, и опять замелькало: «Здесь еще рановато... Вот здесь уже может... Ну, вот здесь! Вот!» – поплавок натолкнулся на кончик сучка, чуть застрял, а потом сорвался и, словно догоняя крючок, побежал быстрее, и вот уже его вынесло из ямы, за которой сквозь воду просвечивала лысина песчаной отмели.

– М-да? – напряженно выдохнул Черноков и закурил. – Ну, а теперь уж пора и за тинку.

Картечина клюнула. «Слава богу. Точно!» Но поплавок лег на тину, и грузилом его не сдернуло. «Эх ты! Так и знал. Не зря побаивался сразу сюда забросить».

Рука, вытянутая до предела, подрагивала от напряжения. Несколько мгновений он колебался – что же делать? Вытянуть и перезабросить? Но можно зацепиться крючком и так набулькать, что и гольяны разбегутся. Да и разве забросишь второй раз с такой точностью?..

Черноков чуть тряхнул удилищем и поддернул. Поплавок соскочил и четко сел на воду: «Слава те... Прекрасно! По самой глубине понесет». Рот начал открываться, папираса, прильнув к верхней губе, повисла на ней, все дрожало от волнения, и он уже не сдерживал его: «Основательно несет. Не спеша...»

Скотившись вниз, пробка попала в маленький व्यюнок и чуть приостановилась, крутясь: «Вот сейчас...»

Бессловесно молясь и сгорая в ожидании мгновения, он поднял голову, будто призывая кого-то... и взгляд его снова упал на рябину... Ветки качало, ягоды будто осыпались – и сгорали, оставляя перед глазами косые, как дождь, оранжевые нити. Ветер заголил листья, они стояли дыбом, дерево, нависшее над водой, словно хотело выпрямиться и отвернуться, или зажмуриться, как человек, бессильный пред-отвратить удар... Так этот момент Черноков осознал позднее, а тогда, спохватившись, он быстро опустил глаза на воду. Поплавок вывернулся из воронки и чуть подался вниз по течению. Вдруг нервно сплясал и огруз, будто там, в темной таинственной глубине, какой-то дьявол проворно привернул леску к тяжелой коряге...



«Вот и все! Это он!» – пронеслось.

Состояние было похожим на шок, но в нем Черноков прежде всего осознал только одно: «Не торопись. Дай заглотить!» Окурок папиросы, словно осенний лист, сорвался с верхней губы. А поплавок, не выныривая, косо уходил под куст противоположного берега, и леска натянулась, и, казалось, лопнет, как волосок. На мгновение Чернокову подумалось, что возврата нет, что охота зашла слишком далеко, чтобы можно было остановиться – теперь кому повезет? – и потянул удилище на себя. Ничего не сдвинулось.

«Может, все-таки за корягу задело?» – он запомнил, что мысль эта сверкнула с облегчением, даже с радостью, и снова потянул, и почувствовал, что ошибся. Рыба, закусив крючок, просто стояла в упор, повернувшись к другому берегу, и тогда он потянул сильнее. Что-то туго взвилось на конце лески и, развернувшись, стремительно рванулось вверх по течению к середине реки...

– Васька! – по привычке заорал он брату, с которым часто охотились и рыбачили вместе.

– Васька!? – и, не дожидаясь ответа, шептал:

– Только не дай ему разбежаться, унесет все, лесочка-то, как нитка, а крючок-то!? – пескарей ловить. Рыбак! Да кто же знал? Да ведь ты же чувствовал!.. Не торопись, не ослабляй леску. Удочка-то дугой – того гляди чикнет... Но и не рви. Мягко, тихонечко его приворачивай...

Хариус метался посередине реки, упираясь, ловя мгновенные послабления, чтобы рвануться вверх, но уступал. По сантиметрам, но уступал... И вдруг всплыл с глубины, разрезав, как косой, поверхность воды спинным плавником, и отчаянно винтанул хвостом. Мгновенно появилась леска, охнуло: «Ушел». Но удилище снова согнулось, и тогда опять вернулась ярая страсть: «Ах, ты так?! Ну, нет, на этот раз ты от меня не уйдешь!»

В метре от берега хариус хлопался на отростке ивового куста, как взлетающая утка, бешено пенил воду, и она будто кипела. Тянуть дальше было невозможно, что-то мешало и за спиной.

«За леску! Куда его? Берег-то – обрыв? Ну уж как получится», – мелькало мгновенно.

Привалившись животом к обрыву, он пытался накрыть рыбу руками, кепкой, ветками, что попадались под руки, полами куртки, чтобы отгородить ее от реки. А хариус, холодный, сверкающий, яростный, еще чувствуя близость воды, еще слыша ее запах, ее плеск, волну, рвался к ней мощно и упруго, как пружина, расталкивая все, что загораживало путь; и только когда скользнувшие под жабры пальцы сдавили ему щель, будто споткнулся. В то же мгновение Черноков услышал, как под пальцами что-то тихо хрустнуло, и увидел, как из-под жабр на них выбрызнула каплями кровь и моментально свернулась в сгустки. Хариус тяжело выдохнул и обмяк. И только позднее Черноков осознал, что в это же мгновение по душе его чиркнула тоска, будто он натолкнулся на шальную пулю, и даже успело подуматься: «Неужель это меня?.. »

Но тогда бешеная радость охоты заглушила ее. Он зажал рыбу обеими руками, еще трепещущую, нервную, и, продираясь сквозь кусты, потащил подальше от воды. Вынес, держа перед собой, нагнулся, бросил пластом на пожню около корзины и снова крикнул:

– Васька! Смотри! Видал такого!?

Брат не отозвался, его не было. Черноков знал это и крикнул просто от радости, которой надо было немедленно поделиться, чтобы не захлебнуться ею. Тогда он кувыркнулся вперед, едва коснувшись руками земли, и распластался на спине, раскинув руки крестом.

Лежал так он вроде долго, но все, что потом смог вспомнить об этом, были слова: «Господи, какая удача! Господи, прости!» – и что рядом что-то шуршало травой, мучаясь, и перед самыми глазами метались облака, но все это было еще слабее радости и не мешало ей...

Полежав на спине, Черноков повернулся на бок в сторону корзины, к которой, дулом навстречу ему было привалено ружье, а рядом лежал хариус. Еще таща его от реки, он подумал, что рыбу такой величины он выудил первый раз в жизни. Первый раз. Теперь ему захотелось разглядеть ее по-настоящему, уже без опасения упустить, не спеша насладиться удачей. Он читал где-то, что максимальный вес хариуса, когда-либо попадавшегося рыбакам, два с половиной килограмма, но это – единицы...

И вдруг его пронзило изумление: «Единицы?! То есть несколько штук на всей? на всей! Земле! И один из них сегодня клюнул! мне!?. Это сколько же лет его растили? И кто? И как?» Сразу представить себе это он не смог.

– Боже мой?! – сказал он и поднял рыбу на руки. Хариус был сиреневый. Только ближе к животу крупная, плотная чешуя начинала серебриться, и какой-то древний водяной запах исходил от него. Лежал он тяжело, пластом, чуть прогнувшись между ладонями, и, задыхаясь, слабо шевелил жабрами... Как-то не сразу Черноков обратил внимание на голову, а когда взглянул, увидел, что глаз рыбы был со смородину.

«Да он же смотрит на меня. С упреком... Нет? Спрашивает. Жалеет. Кого? С упреком – спрашивает? Жалеет? Прощается, хочет что-то сказать?» А хариус, захватывая воздух, задыхал чаще, потом вдруг взвился из последних сил и, как в бездну, сорвался с ладоней, и откуда-то из глубины, утихая, как эхо, донесся улетающий его крик, и Черноков растерялся.

– Да что ты? Что ты? – прошептал он. – Я же не знал. Мы же... – И не зная, что делать, – но что-то надо же! – наклонился, поставил рыбу на живот, надеясь растормошить ее как человека, упавшего в обморок, поддержал, расправил спинной плавник, раскрывшийся, словно крыло птицы, но хариус безвольно опрокинулся.

– Вот и все, – сказал он и медленно повернулся в сторону реки, вдруг осознав, что уже давно в спину, в упор что-то давит, будто дует сквозняк, как около дома с зачеркнутыми окнами...

Сзади никого не было, он напряженно вслушивался в себя и в бульканье речки, доносившееся из-за кустов, и догадался. В той яме, где Черноков полчаса назад удил, он увидел пустоту, и там, где стоял хариус, вода никак не могла сомкнуться и все еще обтекала тело рыбы, как воздух крыло самолета...

– Что это? – обреченно послышалось в душе, и Черноков опять вспомнил: «Ты пчела без жала. Плохо кончишь. Почему?.. Хочешь, расскажу миф о Панфее?.. Так вот, этот Панфей забрался на дерево, чтобы подсмотреть тайну Вакха. Неважно, что Вакх «пьяница», он все-таки «бог». И подсмотрел... Но дело кончилось тем, что у Панфея после этого мир стал двоиться... Так что не все вам дано разгадывать?..»

– «А ты будто все знаешь? – ответил он выдре. – Ты просто ловкая хищница». Но в ответ выдра ухмыльнулась.

Черноков сел на кочку, натянул чуть подсохшие носки, обул сапоги и снова растянулся на поже, и его воображению долго виделась обтекаемая водой пустота.

– Никогда больше не буду. Никогда... Но все-таки что же произошло? – вслух сказал он.

Молчание длилось долго.

«Ничего особенного. Радость, так же как и горе, сжигает силы. Человек слабеет и от слабости жалеет другого, боясь за себя».

Мысль эта мелькнула случайно, он не искал ее, чтобы оправдаться, но долго обдумывал и незаметно успокоился...

И снова взял удочку, и снова не спеша насадил «креветку». Пока поплавок несло, он взглянул на рябину, она опять будто норовила отвернуться, он хотел что-то понять, но в этот момент удилище задрожало, словно его кто-то вырывал из рук, и Черноков, снова сатанея от радости, закричал:

– Васька! Опять! Такой же схватил!..

Проломив ветки кустов, он вырвался на пожню, вцепившись под жабры хариуса пальцами. Корзина, у которой он оставил того, первого хариуса, сразу попала на глаза, но его там не было. Еще не веря, он подскочил ближе, быстро осмотрел все вокруг корзины – не было. Резко оглянулся. По позже, на расстоянии выстрела, складываясь, как гусеница, и торопясь укрыться в прибрежных кустах, убегала выдра, волоча по земле рыбий хвост.

– Ах ты, стерв! На моем грехе хочешь пожить! – И, свирепея от негодования, закричал:

– Васька! Ружье!..

И снова никто не отозвался... Только будто сквозь сон донесся голос матери. Она о чем-то просила, терпеливо плакала и пыталась, повернувшись к нему лицом. Он напряженно вслушивался в ее слова, но понять их не мог. Не успевал – она удалялась...

УХОДЯ ОТ КОСТРА...

Еще раз с благодарностью оглядели только что наметанные стога сена, не тронутые дождями, спелого и далеко вокруг излучавшего теплый запах, и кто молча, кто вслух порадовались.

– Слава богу, – сказала мать и перекрестилась.

– Зародчики-то как игрушки. Ай, да мужики молодцы, баско сметали. По верху-то единой ямки нет – пласток к пласту, – поддержала мать тетка Текуска и от удовольствия еще хотела что-то сказать.

– Верно, хорошо, – согласились мужики. – Не впервой. За всю-то жись их тысячи сметано... Теперь давай к дому пробираться.

Дядя Минакий устало утер лицо подолом просторной рубахи и стал связывать грабли. Дядя Павлин – косы-горбуши, на случай оставленные после косьбы.

Отец унес под густую синюю елку носилки и ратовище для вил до будущего лета, засунул за пояс топор, спросил:

– Еще чего нести-то? – и закурил, как обычно, на дорогу.

Собака, почуяв сборы, ускочила чуть вперед. Тетка Текуска подалась туда же, захватив с собой алюминиевый бидончик для воды.

А я, закинув за спину рюкзак с остатками еды и пустыми термосами, стоял, наблюдал за отцом, уткнувшимся в пригоршню папиросой, и мучался в нерешительности. Наконец тоже пошел за

всеми, так и не поняв причины, но вдруг почувствовал, что кто-то смотрит и робко тянет назад: «Эй, а я как же?» И я обернулся.

Сразу определив место, откуда исходил этот голос, я растерялся: не мог ничего ни подумать, ни сказать, но хотелось то ли объясниться, то ли оправдаться – как перед человеком, который только что бескорыстно обогревал меня, поил чаем, разговаривал, а я, утешившись, вдруг просто встал, собрал свои пожитки и пошел себе, не заметив участия и даже не кивнув на прощанье... Именно человека я, прежде всего, и увидел, когда обернулся: тихого, всегда незаметно сопровождавшего меня в жизни, которого я уже много раз предательски, по недомыслию ли, но грубо бросал, не прощаясь...

Это был маленький, одноразовый костер, который раскладывают на сенокосах, чтобы где-то за полдень отдохнуть около него, окуриваясь дымом от комаров, или вскипятить кружку воды.

Разворошенный и притоптанный сапогом, чтобы не разгорелся и не ушел огонь, он дымил бледно-синей тонкой струйкой и, затихая, словно жался к старому ельнику на кромке пожни. Умирание в одиночестве выглядело настолько покорным, что мне захотелось вернуться, взять с собой, сгребя в охапку, остатки угольков, еще тлевших дымком, и унести, как цветок в горшке. Но я просто стоял, теперь уже прощаясь, как с человеком, – вокруг было сыро, и разгореться он не мог. И, кажется, он понимал мое состояние.

Что-то странное было в этом, и я окликнул двоюродную сестру Нину, спустившуюся к речке напиться и умыть лицо, и, ничего не говоря, кивнул в сторону леса. И она тоже сразу нашла глазами костер, перестала смеяться, а потом обронила:

- На жизнь похоже...
- На твою?
- Нет, на твою больше.

Мать, отставшая от мужиков, чтобы нарвать какой-то лечебной травы, остановилась около нас. Ничего не спрашивая, она поправила платок на голове и тоже не сумела промолчать, а может быть, впервые за долгую крестьянскую жизнь увидела печальную мудрость утасаящего костра и как бы про себя, но вслух, проронила:

– О-ой!? Ишь огонек-от христовой дымится. Ште тебе сирота настоящая. Госкуует...

Мы пошли, но хотелось вернуться – за нами что-то тянулось, смотрело вслед, терпеливо утихая...

ВЧЕРАШНИЕ ЦВЕТЫ



ДЫМ

...На него я натолкнулся в тот момент, когда он, наверное, только что дотянулся до обочины. По дороге, непрерывно рыча, мчались тяжелые грузовики, от которых даже на тротуаре было боязно стоять, и он, казалось, топтался в нерешительности и еще размышлял, переходить ее или нет. А может быть, он тут же иссякал и двигаться дальше не было силы... Почувствовав его, я почти одновременно и тихо вздрогнул и, услышав, как шепотом сорвалось: «Эх, ты? Откуда же?» – замер в полушаге, словно в последний момент успел взглянуть себе под ноги и увидел, что беспечным и грубым движением чуть было не оборвал что-то нежное и слабое, как паутинка...

Это был запах костра. Исходил он из глубины кладбища и был настолько тихий, что струйка дыма, доносившая его, представилась мне такой же тоненькой, как у тлеющей папиросы. Ее не было видно в воздухе. Только присмотревшись к тугим, пропылившимся кустам акации, ограждавшим тротуар, я различил на лучах солнца бледную синеву, запутавшуюся в листьях и ветках. Пленка дыма была словно живая, трепетавшая от малейшего движения, как птенец, нечаянно выпавший из гнезда. Ее хотелось взять в ладони, или хотя бы потрогать, потому что запах, заставивший вздрогнуть, был неотделимой частью меня, родным с детства...

В Нарчуге так пахло каждый день и в любое время года, но особенно вкусно весной, когда на огородах и около домов сжигали прошлогоднюю ветошь, и еще вкуснее – осенью, когда копали и пекли картошку в кострах, постоянно дымившихся на грядках...

И теперь, как до детства, мне хотелось дотронуться до дыма. Я нагнулся над кустами, но от движения руки чуткая полоска откачнулась назад, как безветренная волна с плавного берега, и я убрал руку и выпрямился, повернувшись лицом в сторону парка, ловя где-то там рождавшийся запах. Иногда он слабел или терялся среди шума и машинной гари, но возвращался снова, и я опять чувствовал его точечные уколы, острые, как крупницы быстрого снега в лицо.

Я стоял на асфальте подобно растению, измученному жаждой, вдруг ощутившему корнями влагу, и мне казалось, что все пятнадцать лет, прожитые в городе, организм мой тайно тосковал, не встречая в воздухе этого запаха.

Словно к источнику, из которого я наконец-то напьюсь, меня потянуло к живому огню. По насыпи, заросшей густой майской травой, я спустился на кладбище. Костра не было видно и отсюда, и я искал его, ориентируясь по запаху. Шел не спеша, волнуясь и сдерживая себя от радости предстоящей встречи: подумать только – жилка чистого древесного дымка! – и от этой радости и грусти самообмана одновременно я не думал о том, кто и почему разжег костер. И только когда увидел его, когда на глаза попали обрубки деревьев, валявшиеся рядом, все понял. «Ах, да!? Это теперь их сжигают», – невольно вырвалось из меня, и вместо радости я ощутил себя человеком, потянувшимся погреть руки у огня, в котором догорали остатки его собственного дома. И остановился в растерянности, и вспомнил...

Тот мартовский день словно не хотел начинаться, сонно лежал под одеялом, ежась от ночного заморозка, поглядывал на город заспанными глазами и сладко зевал, мучаясь вопросом, вставать пора или еще рановато? Иногда, казалось, сдержанно ворчал, глядя на суетящийся поток людей, непрерывно выталкиваемый на площадь упругими дверями метро, иногда изумлялся этой спешке, не принимая ее и о чем-то жалея...

Мне было грустно и от настроения природы, и от сознания того, что вот опять начался день, который наверняка пройдет среди суеты по пустякам, ничем не запомнится и пропадет, словно его оторвут от жизни как листок календаря. Это ощущение особенно обострилось во мне после того, как маленький безвестный поселок Нарчук, в котором я родился, навсегда исчез с земли. Произошло это три года назад, и с тех пор во мне что-то надорвалось, я стал чувствовать себя кустиком, у которого подрезали корни, и он, чтобы не покатиться по ветру, жил только памятью о них.

Хотя дом, в котором я родился и вырос, не пострадал от переезда, был перевезен всего лишь на двадцать километров, и в нем, как и прежде, правда, чуть постарев, жили отец и мать, я, приезжая к ним в отпуск, чувствовал себя не доехавшим до дома. Раза два за лето я уходил к месту бывшего поселка, ночевал там у костра, но остатки сараев, разломанных печей, зараставших лебедой и крапивой, и воющие окна в мезонине брошенной конторы не успокаивали, а еще больше тревожили душу. Я знал его другим: зимой заваленным чистыми снегами, из-под

которых словно бугорки выглядывали дома с тепло светившимися окошками. Летом – душистым от травы, сена, ягод и молока. Осенью, когда из-за краткости дня почти не светало, он был щемяще грустным. Но в такое время, наверное, горевали и медведи в лесу. Зато весной весь журчал, обливаясь ручьями, азартно бежавшими по косогорам, и был похож на человека, только что вынырнувшего из омута.

Картины эти поддерживали меня, я отгородил для них особый уголок памяти, поселил в него все, что не успел забыть из первых лет жизни, и, словно отводя беду, периодически заставлял себя вспомнить лица нарчужан, их голоса, разговоры, и успокаивался.

Но однажды со стороны поселка, словно из-за спины, донесся голос собаки, воющей в осеннюю тьму, и я впервые испугался слова «прошрое». «Его нет и не может быть. Иначе я сегодняшний – пустота, карточный домик». И эта мысль почему-то вспомнилась мне. С трудом я заставил себя усмехнуться, оглянулся на белый, напудренный инеем город, вдохнул крепкого от морозца воздуха и, поскольку времени было достаточно, решил идти к месту работы пешком. Переложив из одной руки в другую рыжий потертый портфельчик, я, покачивая им в такт шагам, перешел площадь. Миновав арку и мостик через речку, свернул к большим чугунным воротам, чувствуя, как слабеет, утрачивая плотность, шум города, и через маленькие воротца вошел во двор старого монастыря. Здесь сразу стало еще тише, будто я плотно притворил за собой дверь: Лишь сзади меня кто-то не спеша похрустывал кружевным ледком промерзших лужиц, да голуби шуршали лапками, выклевывая из застывшей земли крошки, набросанные богомольными старухами. Между расходившимися дорожками, тоже еще сонный, как утро, рос косяком старый рябинник, внутри которого рдела уцелевшая зимой гроздь ягод. Слева, широко и прочно вырастая из земли, покоился храм и, паря в мутноватом небе куполами, покровительственно осматривал остальные, розово-белые постройки, мелькавшие за деревьями.

Пропустив шедшего сзади человека, я свернул под обглоданную кузовами машин кирпичную арку и оказался во дворе со стороны алтаря. Там было совсем пусто. Лишь на изморози, пушисто выступавшей на асфальте, по-птичьи ломано отпечаталась цепочка следов. Они вели к выходу на кладбище, у которого я вскоре увидел двух мужчин в ватниках, ковырявшихся в моторе бензопилы. Потом из

кладовки сбоку к ним вышел третий с канистрой и тоже присел на корточки. Работали все они молча, переговариваясь друг с другом знаками, жестами, без слов, как-то отрешенно, будто колдовали и побаивались посторонних глаз.

Створ ворот почти вплотную перекрывал фургон, и выйти на кладбище было бы удобней, обогнув грузовик с противоположной стороны. Но какое-то чувство подмывало меня помешать им, даже вспугнуть, и я сделал наоборот. Задев полый пальто шину пилы, я прошагнул между фургоном и людьми, но никто из них даже не поднял головы. Лишь один покосился на мои ноги и отвернулся, что-то пробурчав.

«Как заговорщики, ей-богу. Ни с кем ничего, ни гу-гу. Даже взглядом не удостоили». Обернувшись, я усмехнулся и, выбирая тропинки посуше, пошел кладбищем.

«Купец Первой гильдии... Действительный статский... Тайный Советник. О! Фрейлина Двора Его Императорского Величества. М-да?..» Почему-то сразу представился бал, свечи, гусары, и, как сквозь облака, в одно мгновение проглянула целая эпоха. Чуть в стороне под тяжелым мраморным крестом лежал генерал, герой Порт-Артура. У-у!?» А потом перед глазами вдруг мелькнул худенький крестик, на котором было написано: «Гошенька Черноков» – и в простоте и невинности словно хотел всхлипнуть.

«Может, я уже был?» – подумал я, потому что в детстве так и меня звали. Он сегодня был бы чуть старше. Я еще раз взглянул на дату, самодельно выведенную черной краской, и отошел. Около другой детской могилки, уткнувшись лицом в ладони, склонилась мраморная женская фигурка. Когда-то белый цвет накидки, брошенной на поникшую голову, посерел то ли от времени, то ли от скорби...

Памятники и надписи на них я часто замечал машинально, как обычные уличные предметы, но всякий раз после этой дороги невольно хотелось быть добрее и все виделось как-то иначе.

Уже светало явно. Деревья стояли в напряженном ожидании весны, чутко ошупывая голыми ветками воздух, едва ощутимо обогреваемый размытым облаками солнцем. Кладбище было старое, и многие деревья росли уже на могильных плитах, свернув под собой тугие корни, как спящие собаки. Другие, пробиваясь к земле, прокалывали камень насквозь...

«Какая все-таки сила? Жажда!?» – С этим то ли вопросом, то ли утверждением мне хотелось бы к кому-нибудь обратиться и что-то сказать. Но никого не было. Парк вытаял только наполовину, еще не просох, люди ходили редко, и я невольно обратил это желание к деревьям. Они, казалось, почувствовали вспыхнувшую во мне потребность заговорить и сами уже начали настраиваться...

Огибая промерзшие лужицы величиной с чайные блюдца, я подходил к одному из тополей, и он будто тянулся мне навстречу, и вопрошающе строго наблюдал за моим приближением. Витой ствол его, покрытый крупной потрескавшейся корой, был изогнут и опирался на зубцы чугунной ограды. Корни дерева втекали в землю как поток водопада, и казалось, что они проросли весь земной шар насквозь.

– Ну что? – вслух спросил я, остановившись перед тополем, и посмотрел снизу вверх, и он напрягся, как человек, догадавшийся, что обращаются к нему. И я тоже напрягся, пытаюсь возбудить в себе какой-то особый слух, и, кажется, услышал что-то неразборчивое, похожее на шум далекого моря. Наверное, это шумели его ветви. И опять спросил, понимая, что ответа, даже если он будет, все равно не пойму: «Ты намного старше... И будешь жить долго и после меня. Ты со всей землей связан. Скажи, я прав?... А ты помнишь себя кустиком?..»

Я опустил глаза вниз, к его основанию, медленно, надеясь по голосу питающих его соков угадать ответ. И опять ничего не расслышал и коснулся ладонью коры. Она была шершава и напомнила руку отца...

«Так что ты ответишь?» – тяготясь непроницаемым молчанием, допытывался я. – Молчишь, значит, не понимаешь. Тебе все равно. Ты не живой?..» И тогда тополь, кажется, снисходительно усмехнулся идохнул на меня всем телом, а я, сшалив, как жеребенок, шлепнул его по стволу, а он опять словно усмехнулся, как мудрец подростку, и я почтительно опустил голову...

По крутой насыпи, лохматой от вытаявшей прошлогодней травы, я поднялся на тротуар. Гул машин, несшихся потоками по трем асфальтовым рукавам, резко бросился в уши, пробиваясь внутрь. Земля вздрагивала под ногами. Выждав просвет между грузовиками, я перебежал улицу, мостик через канал, и через несколько минут поздоровался с вахтером, сказавшим почему-то: «Весна опять...»

Потом поднялся в редакцию, потом спустился в приемную директора, оттуда бегом к начальнику отдела, а оттуда... Однако весь

тот день, то возникая, то уплывая, меня не покидало ощущение непонятной тревоги, словно кто-то внутри шептал: «Тут, неподалеку, что-то происходит... И к тебе это относится...»

Вечером, когда я возвращался с работы, парк кладбища зиял дырами, напоминавшими проломы в стене. Около десятка огромных тополей и берез, обломав при падении сучья, лежали в разных местах тропинок, подмяв под себя слабые кресты и оградки, а среди них, еще не очухавшись от визга и грохота, будто бродили призраки. Они почему-то сразу показались мне нарчугскими бабами, на глазах у которых разбирали для переезда дома, когда существование поселка признали нецелесообразным.

«Ой, как и обживаться будем?.. Ишь, раскатали-то все живо. А вот отстраиваться-то?... Да на голых-то местах», – слышал я по памяти их голоса. Блуждали бабы бесцельно и беспорядочно, иногда нагибаясь, и трогали шепотью какие-то мелкие ненужные осколки. Слез на лицах не было. Случившееся было настолько неожиданным, что они не верили, что это произошло, и потому не могли еще даже плакать... И лишь приходя в себя, отдельно, втихомолку начинали кукситься, тычась лицом в кончики платков...

Я медленно продвигался по дорожке, как оглушенный. В разных местах попадались свежие, чистые пни. Отражая пробившиеся сквозь облака солнечные лучи, они слепили глаза и будто истерически хохотали мне в лицо... Вокруг них, разбрызганные яростной цепью бензопилы, еще живые, медленно отдавая тепло, валялись холмики опилок... Казалось, все произошло вот только что, и совсем рядом еще продолжает происходить, и я невольно искал глазами кого-то. Потом понял, что ищу тех троих в ушанках, которых утром хотелось испугнуть. И я шарил взглядом по кучкам опилок и пням, желтевшим среди могил, как собака по следу. Следы были настолько свежи, что казалось, люди еще не могли успеть убежать. Никого не было, но я не верил и снова всматривался в пространство деревьев и крестов.

«Не может быть, что ушли? Вот они выходят в ворота, закинув за плечо пилу, и отряхиваются, довольные работой».

Не было там никого, но мне хотелось все-таки побежать, догнать, спросить, ударить: «Как же так?! Зачем? Вы что? Ведь это же? Это?!...»

Кто-то, будто понимающий в жизни больше меня, снисходительно усмехнулся: «Это просто санитарная рубка...»

Рядом рычали несущиеся грузовики, и земля без отдыха дрожала. Взяв в руки щепоть опилок, еще тепленьких и душистых, я направился к выходу. В глубине кладбища, на берегу маленького озера, фасолиной изогнувшегося среди деревьев и могил, всегда грустного, даже зимой, под снегом, мне встретила пожилая женщина. Стараясь не запачкать туфли, она обходила, путаясь в сучьях, рухнувший поперек тропинки тополь. Мышцы на ее лице то и дело брезгливо передергивало: «Безобразие... Теперь жди, когда расчистят!» – сказала она, ища у меня сочувствия, и поправила очки в тонкой золотой оправе...

Постепенно парк подсыхал, люди ходили по нему часто, натаптывая в обход новые тропинки. И сами деревья, сначала висевшие на сучьях, будто начали стесняться того, что мешают людям ходить, постепенно осунулись, раздавив сучья своей же тяжестью, и медленно, словно укрываясь, стали теряться среди могил и молодой, быстро растущей крапивы. По обломкам крестов, оказавшихся на дорожках парка, как по мосткам, переходили грязь. Я вглядывался в лица встречаемых людей и никак не мог понять их чувства. Слышал: «Наверное, реконструкция... Раз сделали, значит так надо... А что, собственно, случилось-то? Никого же не убили...» Однако всю весну я ходил по кладбищу, чувствуя себя виноватым. Под взглядами живых деревьев за плечами, постепенно тяжелея, накапливалась какая-то ноша, и я невольно оглядывался...

Вспомнив тот мартовский день, я подошел к костру, как к дому, в котором собрались на поминки. Огня в нем почти не было. Солярка, которой, видимо, плеснули для наживы, прогорела, лишь обуглив набухшую весенним соком древесину, и костер, сложенный из сучьев и вершинника, нехотя тлел. Изредка чикали, отскакивая с поверхности, маленькие угольки. Непросохшее дерево пузырилось на торцах, издавая тихий шелест, похожий на стон. Внутри костра, где держался жар, словно кузнечики, скакали голубенькие язычки пламени...

Я подошел и, постояв, присел на обрезок толстого тополиного комля, валявшегося чуть поодаль, словно кулья. От волнения рука сама нырнула в карман за папиросой. Я закурил, наклонился, уткнув локти в колени, слушая голос огня и поглядывая на тополь с огромным витым стволом... На этот раз он замкнуто молчал, не отзываясь ни на какие мои вопросы. Однако постепенно мне стало казаться, что на меня кто-то смотрит или совсем рядом бьется родник. Сбоку, где-то чуть сзади.

Настойчиво, словно зовет. И лишь после того, как дунул ветерок, и в лицо мне понесло пепел, я, зажмурившись, обернулся. Открыв глаза, замер. В метре, чуть за спиной, на краю могилы, заросшей дерном, стоял березовый пень. Первое, что мелькнуло в сознании, – орущий ребенок: пень плакал и был похож на оплавлен-ный огарок бешено горевшей свечи. Со всех сторон его стекали застывшие ручьи березовицы и слышимо бурлили, будто в земле работал какой-то яростный насос. Я не мог оторвать глаз и почти без усилий воображения видел, как под пнем выбрызгивал фонтан, словно тот, кто работал под землей, еще не знал или не хотел верить, что березы уже нет и расти нечему. Срубили дерево в марте. Было начало мая. Значит, березовица била уже второй месяц и, не находя продолжения пути, свертывалась морщинистой пленкой. Но корни не утихали, пень был весь влажный. Сок собирался под пленкой, и, прорываясь сквозь нее, каплями, как горошины, скатывался по обрубку ствола.

Папиросу я докуривал стоя, пораженный печальной страстью жить. Весна напирала. Земля, прорастая травой, казалось, шумела под ногами. Ярость умирающего дерева неотступно преследовала меня все лето, словно от исхода этой муки зависела моя жизнь. Вспоминался кустик с подрезанными корнями, и я обходил пень стороной, боясь увидеть его иссякшим. Вопреки всему я верил, что фонтан никогда не утихнет, и однажды осмелился подойти.

Была уже осень. Кладбище заросло густой и высокой крапивой. Выстрелив из кромок тонкими молодыми побегами, тополиные пни посерели и стали усаты, как налимь. Березовый пень я нашел не сразу. Вместе с кострищем он утонул в густой, уже начинавшей жухнуть траве, почернел и потух, как головешка.

Я остановился перед ним и снова закурил. Хотелось то ли вцепиться в кого-то, то ли заплакать – как над заросшими лебедой остатками дома в Нарчуге, и отчаяние толкало меня заглянуть внутрь пня, как в могилу. Но я боялся... И все же наклонился. Отковырнул пальцем истлевшую корку березовицы, напоминавшую сморчок. Под ней, испугавшись света, зашевелилась оранжевая, величиной с червяка, шустрая сороконожка...

ОЖИДАНИЕ

Все находилось в состоянии перемен и будто еще ничего на свете не существовало: сумерки были почти прозрачны, так что уже были не сумерками; и ночи уже не было, потому что явно чувствовалась близость солнца. Но и оно еще не взошло, и утра тоже не было. А трава, кусты, дома, озеро, лежавшее в глубоких берегах в окружении трех деревень, жили так тихо, что, казалось, тоже отсутствовали. Лишь слабое свечение, прораставшее из земли и поднимавшееся над лесом, намекало о зачатии...

Это состояние природы свершилось вдруг, будто все живое, каждое своим ручейком, стеклось в одну точку и замерло на миг. И момент этот ощущался настолько явно, что заставил меня остановиться. Оглядываясь, я стоял на проселочной дороге среди зеленого овсяного поля, над которым днями, как снежинки, кувыркались бабочки-капустницы. Стоял радостно оцепеневший, растворившийся, едва осознавая свое существование, и ждал рождения утра и начала дня. Ждал, думая увидеть его как появление человека, и, боясь пропустить мгновение первого крика, даже поглядывал на часы. Но ничего вроде бы не менялось. Только свечение подымавшегося солнца становилось чуть плотнее, и по этому едва видимому изменению я чувствовал, что вот-вот – произойдет. Я ждал, измеряя время долями секунд, охваченный желанием все-таки подсмотреть момент скачка природы в новое качество – в утро.

Но увидел не скачок, а то, что наступило после него – само утро.

Дома, кусты вдруг подернулись мягким розоватым светом и встрепенились. Травы тихо зашелестели и, хотя ветерка не чувствовалось, по озеру побежала мелкая, как рыба чешуя, дрожь; вроде кто-то сказал: «Пора вставать», – и легонько подтолкнул природу. А она, вся еще сладко дремлющая, в ответ пробурчала, кое-как осознав, что будят ее, и, пошевелившись под одеялом, снова задремала, как бы не веря этому голосу. А солнце, чуть поднявшись, опять подтолкнуло ее, и тогда она вся отозвалась отчетливей: «Ага, сейчас. Слышу, сейчас встану», – но все-таки дремлюще и в то же время просыпаясь, понимая, что вставание неизбежно. И вскоре, будто женщина с распушенными

волосами, высунула из-под одеяла голые теплые руки и потянулась ими вверх с закрытыми глазами, словно ловя какой-то последний миг. Потом приподнялась над постелью и снова откинулась на подушку, расслабленно выдохнув, и улыбаясь чему-то, и дремля, и уже радуясь пробуждению...

И вдруг поднялась с полусонными глазами, и опустила ноги, и пошла полуошупью босая, свежая – и осветилась вся, поблескивая и обивая на голые ноги прохладные капельки густой росы. И, оборачиваясь, будто лукаво смеялась надо мной...

ПОЛНОЧЬ...

А с середины ноября и погода начала маяться: то подморозит и навалит снегу почти по колено, то вдруг пойдет дождь и все превращается в холодные лужи.

«Шатко, как в маленькой лодчонке на волнах... Чуть неосторожно шевельнешься – и уже опасно закачалось. Того и гляди, сыграешь за борт», – думаю я о своей жизни, вспоминая погоду.

Уходящая, остаревшая осень (как жаль ее) и молодая, пока тайно приближающаяся, чувствующая свою силу зима, будто запутались друг в друге, сцепились, как дерущиеся собаки, и уже не знают, как разойтись.

«Как мы с ней...» Зима.

Но вдруг разошелся ливень, и люди, уже привыкшие к зимней одежде, нырнули под зонтики. С крыш и карнизов срывались комья подтаявшего снега, и от потоков хлынувшей всюду воды рокотали водосточные трубы. Смыло все до последней снежинки, и город посерел... «Опять как у нас с ней...» И не весна, и не зима...

А ночью яростно подморозило, задуло, и к утру с неба посыпалась снежная крупа, твердая, как дробь, и целый день катал ее по улицам ветер, укладывая на асфальте разметистыми, перистыми языками. К вечеру он совсем будто осатанел, и в пустой, чужой комнатке-мансарде выло, словно в печной трубе. И в душе тоже... «Теперь у меня одного...»

И поздно ночью я вышел на улицу. Город был пустой и белый, в тонкой, бегающей около земли поземке, и ветер неистовствовал, будто

его кто-то оседлал и гнал, безжалостно нахлестывая. Небо было атласное, звезды светились далеко и остро, иглами, и между ними метались растрепанные выцветшие облачка.

«...Ну как заснуть в метель? Когда в трубе так жалобно и так протяжно стонет? Захочешь лечь, но видишь не постель, а узкий гроб и что тебя хоронят», – холодно, как прозу, читал я в углу около чужого кухонного стола. В душе все смыло...

Лишь к утру ветер перестал выть: то ли вырвался, то ли его отпустили...

ДЕНЬ ПЕРВОГО СНЕГА

*... На свете нет тоски такой,
которой снег бы не вылечивал...*

Б. Пастернак

Осень, кажется, сделала все, что ей полагалось: до утомления наскучила дождями, оборвала с деревьев последние листья, выбрала все дни, отведенные ей, но не уходила. Даже сама природа устала от нее, стеснялась своей наготы и украдкой поглядывала на небеса... И вот! О! Наконец-то...

С утра небо опустилось ниже, а к полудню тоненькая пленка, удерживавшая до предела набухшие облака, вдруг вся мгновенно распоролась, и на землю без раскачки хлынул снег. Хлынул обильно, будто уже давно терпел, ждал, когда подмерзнет земля, но вот устал, истратил все терпение, не выдержал и повалился без спросу – сразу крупными хлопьями. Даже и не хлопьями, а словно комками давно перезревшего хлопка: прямо, увесисто, густо, сплошными белыми нитями, как ливень. Врасплох. И в первый момент мне показалось, что сейчас все засуетится, заспешит побыстрее шмыгнуть под крышу или в подъезд, как это обычно случалось при неожиданных осенних дождях, и я оглянулся вокруг. Но увидел совсем иную картину. Люди, попавшие под снегопад, будто пошли медленнее, спокойнее. Даже машины. Сразу изменились звуки...

Обычно разнородный уличный поток вдруг охватило какое-то одинаковое чувство, по которому давно соскучились, и теперь все, молча и неосознанно, словно просили о чем-то. Шепотом. Шагая по улице, я ощущал, что мысленно тоже шепчу что-то и что даже шепчется тихо...

Что же? О чем? – спрашивал я и, не понимая, обращался к деревьям в скверах. Они, совсем недавно нагие, с темными от сырости стволами, теперь стояли пушисто-белые и всеми ветками, как человек лицом, ловили летящие сверху снежные хлопья, и по-своему, но просили о том же.

Под самыми облаками, неслышимо шелестя, тяжелые снежины плавно оглаживали неярко золотившийся купол собора. И оттуда тоже будто доносилась та же просьба.

О чем же все-таки?..

Но внезапно начавшийся снегопад так же внезапно и прекратился. Облака словно вылились вдруг, моментально, как вода из опрокинувшегося ведра, и на их месте открылось бирюзово-чистое, умывшееся небо. Воздух стал прохладней, прозрачней – звенел, а город сложил с себя давно тяготившую ношу и вздохнул с благодарным облегчением.

В одном из скверов подростки уже играли в снежки, в другом двое детсадовцев катили облипший листьями снежный ком – как земной шар, из-за которого едва виднелись кисточки вязаных шапочек. Было радостно и было жаль того, что я не успел осознать, о чем же там шепталось во время снегопада? Я шел, вспоминая ощущения, вслушиваясь в них, чтобы разгадать, и не мог. И почти с сожалением подумал: «А потом это забудется...»

Но к тому времени, когда я дошел до Александро-Невской лавры, снегопад – опять так же внезапно – возобновился, словно что-то забыл и вернулся. И снова все утонуло в густом и неторопливом белом ливне. И опять что-то случилось со звуками города...

Во дворе Лавры, покрытом слоем снега, стоял грузовик. Шофер, видимо, выскочивший из него ненадолго, не заглушил мотор, и я отметил, что и у двигателя какой-то особенный, не раздражающий, даже робкий голос. Звуки вылетали упруго, но мягко, как бы сдерживая самих себя, вслушиваясь. Двигатель выговаривал что-то похожее, то, о чем недавно шептало все: и люди, и купола, и деревья, и весь город. И в упругих и сдержанных выхлопах мотора я узнал, наконец, тот безмолвно повторявшийся шепот. Это был голос ликования:

«Тише, тише... Первый снег. Так сразу бело, чисто, как давно не было... Ти-ше, ти-ше, ти-ше...»

И этими же словами шелестели и сами снежины, неторопливо укладывавшиеся на землю...

ПРОСТИ...

Не окажись в записной книжке наспех и коряво исписанной странички, впечатление того момента, когда он выдохнул последние слова, возможно, стерлось бы давностью лет и забылось. Но страничка периодически попадала мне на глаза, всякий раз возбуждая мысль: «В этом что-то есть?» – и чувство то ли досады, то ли вины; будто я тогда от растерянности и занятости любопытным разгадыванием: «Кто же он такой?» – не сделал что-то, не сумел найти человеческих слов, хотя мог. Впрочем, не знаю... Но вот как вспоминается та дорога.

...Провинциальный пассажирский поезд, без всяких хлопот вместивший в себя всех желающих, шел с обычной скоростью, но помнится, что ехалось как-то особо не быстро. И в вагоне было несуетливо, и будто было это и не в вагоне, а в большой избе, в которую волей случая собрались то ли давно знакомые люди, то ли даже дальние родственники. Собрались и, найдя каждый по своему вкусу уютное место, сидели как вокруг теплой печки, поглядывали в окна, за которыми неяростная метель стелила и перестилала мелкий снегопад, иногда обмолвливались словами, без натуги и особого обращения находившими отклик... Иногда кто-нибудь выходил покурить, или проходил в другой вагон, не нарушая, однако, редкого, ничем не замутненного настроения, в котором, не задумываясь, хотелось ехать бесконечно.

Лишь однажды в крайнем купе, чуть громче устоявшегося уровня разговоров, раздался ребяческий капризный голос, наверное услышанный всеми: «Ну, где это, папа? Ну, где?...» Потом голос отца, до этого не выделявшийся: «Не дребезжи... А то скоро состаришься», – и опять все улеглось...

Когда затемнело, под потолком, словно, сам по себе зажегся свет, такой же неяркий, как у керосиновой лампы, и женский голос в соседнем купе, подтвердив общее ожидание, произнес:

– Вот в аккурат. Хорошо, вовремя осветились...

За маленькой чугунной дверцей титана, как в печке-буржуйке, замелькали огоньки, и вскоре проводница по-хозяйски начала обходить закоулки плацкартного вагона, оставляя в них то по два, то по одному,

редко – по три стакана, снимая их чуть ли с каждого пальца. Подорожные занятия были отложены, и больше часа шло чаепитие с шуршанием, позвякиванием ложечками, смешками, иногда репликами: «А хорошо еще по стаканчику, не помешало бы. Нужник-то недалёко». Народ в основном ехал северный и сельский, и потому выражался простодушно.

К концу вечера проводница собрала стаканы, побренчала мелочью и исчезла, а ездоки, убрав остатки еды, сгребли со столиков крошки... Сидя у бокового окна, я видел, как толстая старуха, вроде стесняясь, мелковато покрестилась, отодвигаясь от столика, и пошептала: «Слава те, господи... Прости нас, грешных...» Потом походили по очереди в тамбур, потом, опять как бы само собой, в вагоне потускнело, и все разошлись по своим лежанкам и запосапывали: теперь, мол, пушай везут хоть куда. Бог знает...

И поезд, как лошадь, которой опустили поводья, дальше покатился потемками, изредка освещаемыми точечными огоньками вдалеке, укачивая неторопливым перестуком колес и усыпляя...

А потом, помню, мне словно чего-то стало не хватать, но появилось иное, и сон стал слабеть. Полежав в полудреме, я открыл глаза. Не хватало покачивания и стука колес – поезд стоял.

В проходе и за стенками с обеих сторон купе слышалось шуршание и сдерживаемый шепот: «А на нижнюю-то можно?.. Нам чё-то бокову дали, а тут свободно?.. Ладно, занимайте до Вологды. А там разберемся...» За окошком вагона щурилась одинокая лампочка под свесом станционного сарайчика, грустного, словно лесная избушка, и свежий снежок предрассветно искрился на большом сугробе...

Прислушиваясь к шепоту и поглядывая в окошко, его я заметил лишь в тот момент, когда он уже стоял в проходе, и поезд поехал, так что мне показалось, что он вошел в вагон на ходу, или, лучше сказать, не вошел, а безмолвно опустился в него сверху.

В левой руке у него висела хозяйственная сумчонка, с какими ходят в деревенский ларек за хлебом, и даже при тусклом освещении видно было, что сумка смятая, полупустая, собранная наспех или взятая просто мимоходом – не до того было...

Оказавшись в вагоне, он без всяких расспросов и колебаний выбрал верхнюю полку, хотя и нижняя была свободна, как будто любая из них была предназначена для него; сунул под столик сумку, так же, как и вошел, бесшумно разделся, сняв фуфайку и ушанку, разулся; заступив

на подножку, нырнул на голую полку, как в омут, и, не булькнув, затонул на дно, словно с камнем...

Утром, когда спавший надо мной вологодский парень уже вышел, я, открыв глаза, увидел на полу солдатские ботинки. На внутренней стороне было четкими строевыми буквами написано: ПОПОВ В. Помню, что от умиления я подумал: «Видать, армейский подарок от сына?» – невольно представил себе радость в доме и взглянул на верхнюю полку...

Хозяин ботинок лежал в том же положении, в котором я запомнил его в полночь, будто за все это время он ни разу не пошевелился. Лежал он на животе, уткнувшись головой в руки, сложенные крест-накрест. Голова чуть сдвинулась к краю полки, так что было видно часть немолодого лица, проросшего крепкой щетинкой, густой, как сыпь...

Вагон, слегка обновивший за ночь состав ездовых, снова, как и вчера, патриархально чаевничал, только с утранным настроением и потому шумнее. Потом играли в подкидного, вязали. Негромко шалили дети. Я читал, временами поглядывая на соседа. Он все так же на животе безмолвно спал, лишь однажды ненадолго повернувшись к стенке.

После полудня я ушел пообедать в ресторан, а когда вернулся, на столике купе стояла открытая консервная банка с кильками в томате, кое-как, будто с отвращением, поковыренная в середине. На салфетке не было ни хлебных крошек, ни «маленькой», вроде бы напрашивавшейся, ни стакана. А он опять «отсутствовал», так же зарывшись в скрепленные руки, и опять виднелась лишь часть щетинистого лица...

Мне хотелось взглянуть на него, посмотреть, как он поведет себя, когда проснется – проснется же в конце концов? – послушать, что скажет, и я, читая полулежа, ждал этого момента, как охотник на тяге, но незаметно задремал. А когда очнулся, на столике стояла та же банка, под ним сумка. Ботинок не было, а на полке вместо него валялась смята брошенная фуфайка.

Сунув в карман пачку сигарет, я пошел покурить, и еще по пути увидел, что он стоит в тамбуре с папиросой, отвернувшись к окну. Он, казалось, даже не почувствовал моего появления, и я, встав ближе к двери туалета, поглядывал на него сбоку.

Был он среднего роста, может, чуть повыше, и среднего возраста, или немного старше. Незаметно, неброско широк в плечах и, судя по мускулам под форменной солдатской рубашкой, крепок телом. Рука,

тонкая в запястье, завершалась крупной ладонью, пальцы которой, сжатые вместе, намекали на увесистый мужицкий кулак. На двух суставах левой руки, в которой он держал папиросу, кожа была глубоко сбита, и рана еще не зажила.

Курил он так же отрешенно, как и спал, смотря куда-то вдаль, ничего не видя, но с напряжением, и лишь однажды, почувствовав, что за ним наблюдают, бросил в мою сторону краткий взгляд поблекших, но еще голубеющих глаз. И отвернувшись, как мне показалось, с неприязнью. Но что-то было в нем особенное. Чуть позднее я понял: лицо его не имело черт, сразу бросающихся в глаза, и только при более внимательном разглядывании они как бы возникали. Мужичьи, но с какой-то аристократической прожилкой: точный, круто посаженный нос смотрел задиристо, так что в изгибе ноздрей, казалось, посвистывала поземка. Над переносицей и в правом уголке тонких, крепко сжатых губ, виднелись следы шрамов. «Как и подобает настоящему россиянцу», – подумал я.

Меня уже откровенно тянуло поговорить с ним, а он, хотя и поглядывал в мою сторону, продолжал молча курить, будто соображая про себя, что я за человек. Потом прижег новую папиросу, исподлобья еще раз взглянул, помолчал, и я услышал его голос. То ли про себя, то ли все-таки обращаясь ко мне, он сказал:

– Скоро, должно быть, приедем... Мне бы как-то еще в Лугу проехать?.. К братишке. Из армии только вернулся...

И, дрогнув мышцами на скулах, выдохнул:

– Помер он...

Теперь мне кажется, что об этом можно было догадаться сразу же, но тогда, усыпленный домашностью дороги и праздным любопытством, я оказался застигнутым врасплох. Искусственно посочувствовав, я начал объяснять ему, как лучше добраться до Луги, даже расписание поездов вспомнил и что вообще мне тоже надо к Варшавскому вокзалу...

Он слушал, но смотрел так, будто сожалел, что признался мне в своем горе. Потом спросил, – из чего я понял, что до Луги он добрался бы и без расспросов, – ходит ли вечерний автобус, и, придавив папиросу, ушел в вагон. До конца дороги он опять лежал на полке.

Когда поезд остановился и вагон почти опустел, он долго зашнуровывал ботинки, словно разговаривал с ними, оделся, повесил

пустую сумку на руку, сунул руки в карманы фуфайки, взглядом снисходительно попрощался со мной, кивнул проводнице и пошел по платформе, не обернувшись. Я шел сзади...

Мне было и обидно, и хотелось догнать его, что-то сделать или сказать, но в тот момент во мне чего-то не нашлось, и я постепенно виновато отстал...

ЛЫЖИ

...Когда по ночам стены и углы барака запотрескивали от набегов мороза, а продрогшая земля наконец-то укрылась толстым слоем снега, Егор, сделав уроки, опять заглянул в кузницу к отцу, чтобы напомнить ему о лыжах.

– Катайся на санках. Тоже хорошо тащит...

– Копыл у них изломался.

– Когда успел, мать тебя за ногу?... – спросил отец.

– Так я тебе показывал. Еще в прошлом году, под весну...

– Упомнишь! Каждую зиму что-нибудь... – Отец отвечал, не прекращая выгибать раскаленную подкову. Егор покачивал за шест мехи, поддерживая в горне жар, прислушивался к голосу отца, угадывая его настроение, и ждал: «Вот сейчас скажет – не дребезжи, сделаю лыжи». Но отец сказал:

– Хорошо. Копыл поставлю...

«Э-э, нет», – подумал Егор и, побоявшись, что этим все и кончится, признался:

– И без копыла можно... Мне санки не надо. На них по-настоящему и не покатаешься. Только с девками на угоре...

– А тебе откудов надо? С крыш! У меня, видишь, нос-то куда глядит? – Отец положил молоток, клещами сунул подкову, подгреб угли и показал на нос, кончик которого чуть косил. – А ты голову свихнуть хошь? А!?

В голосе отца провернулись знакомые сыну строгие интонации, и он послушно ответил:

– Да нет, я только с угоров с ребятами.

– У бани который, к примеру? – с усмешкой намекнул отец на крутой обрыв на берегу речки. Посмотрел на присмирившего сына и сказал:

– Ладно. Я тебе куплю заводские. Вот поеду в район сдавать пушнину и привезу. Ежели найду... И учиться будешь хорошо.

И Егор подумал от радости: «О-ё-ёй! Вот это да! Какие же они?» – До этого он катался на лыжах, которые отец делал ему сам – из березы, потом из осины – легче тесать заготовку, – но они быстро и сломались...

После этого Егор то и дело норовил напомнить отцу о его обещании: то заинтересуется пучком беличьих шкурок, висевшим в углу над печью, то с сожалением скажет: «Каникулы уж скоро?..»

И вот, наконец... Попросив у начальника лесопункта выходной день среди недели, отец рано утром ушел в район. Ждать его возвращения Егор начал, когда еще только засмеркалось. Потом стемнело, поселок умолк, даже собаки уже взлаивали редко.

«Сегодня, наверно, не придет», – думал Егор, лежа на кровати, и тормошил младшего брата, чтобы не заснуть:

– Хошь мне еще раз салазки загнуть?

Брат, крепкий, как грецкий орех, шестилеток, не упускавший возможности доказать свою силу, на этот раз отказался.

– Я уже тебе загибал. Ты нарошно поддаешься, неинтересно...

– Ну, смотри... Только не просись, когда мы с Колькой Лобанцом пойдем капканы ставить, – припугнул Егор.

– И не бери. Я все равно вас подкараулю и догоню. Догнал же, когда вы по волчьим следам пошли, – задиристо, но вялым голосом ответил брат. Он уже навозился за день, устал, разомлел в тепле и, свернувшись под одеялом, уютно подремывал.

– Ишь ты, какой буржуй-ко, Василей. Все сам большой, – отозвалась на разговор братьев мать, часто называвшая своего младшего сына по-взрослому...

Мать тоже не ложилась спать. В ожидании отца она при желтом свете керосинки читала старую потрепанную книжку:

– Хы-леб наш ныа-суц-ный дашь нам дынесь...

Егор невольно прислушивался к голосу матери, и ему иногда казалось, что буквы и слоги лопаются на губах у нее, как мыльные пузыри на кончике соломинки. Отдельные строчки, казавшиеся матери особо поучительными, мать перечитывала для Егора уже громким шепотом, и тот, чтобы не заснуть, поддакивал ей...

– Вот, вишь, как сказано.

– Ага, вижу, – соглашался Егор, ничего не понимая и даже досадуя про себя: «Ну чего ты, мама, хлеб да хлеб. Мне лыжи надо...» – и, отвлекаясь, напряженно прислушивался к каждому звуку на улице.

Поздно вечером, когда в поселке было уже тихо и темно, как на дне глубокого омута, когда Егор уже хотел засыпать, с улицы донесся скрип снега, потом затих за противоположным концом барака и опять начал, теперь уже отчетливыми шагами, приближаться к двери.

– Точно! Папа!

Сразу сбросив сонливость, Егор хотел вскочить с кровати, но вдруг побоялся: «А если не купил?» – и едва сдерживая волнение, сказал матери:

– Папа идет!..– И только когда услышал отчетливый деревянный стук в крыльце, вскочил.

Отец не спеша ввалился в комнату, усталый, с нагруженной котомкой за плечами, впустив в комнату густой клуб холодного воздуха. Егор заметил, что довольный. Мать, оценив котомку внешне, тоже, видимо, обрадовалась, но сказала, как бы прикрывая радость:

– Чё долго-то?

– Так в сумерках уж вышел. Ждать пришлось...– чувствуя настроение всех, покладисто ответил отец, а Егор, сунув ноги в валенки, вышмыгнул в крыльцо. Еще по стуку он догадался, в какой угол отец поставил лыжи, нащупал их в темноте и внес в избу.

Он развязал веревочки, которыми лыжи были связаны по концам, поставил лыжины рядом, осмотрел, обнюхал, вдыхая крепкий запах смолы, потрогал со всех сторон, погладил... Промерзшее на морозе дерево покрылось тонким пушком инея, на котором оставались отпечатки пальцев.

– Ну вот, теперь катайся, сколько душа желает, – походя сказал отец, вынося поближе к свету котомку, чтобы показать матери сепаратор.

– Да, покатаемся,– ответил Егор отцу, а про себя подумал: «С чего бы начать-то?» Он так растерялся от радости и волнения, будто вообще никогда не видел лыж. Чуть привыкнув, сообразил: «Надо примерить на рост»,– и, прислонив лыжину ко лбу, вытянул руку, но дотянуться до носка лыжи не мог. Мать с отцом, собирая сепаратор, словно колдовали, то замолкая, то заглядывая в инструкцию, но одновременно отец поглядывал и на сына.

– Долги лыжи-то? – сказал он сыну. А потом матери: – А ты эту воронку не так ставь, поверни. Во, а теперь ключом зажми. – И снова, взглянув на озадаченного сына, пошутил:

– Долговаты, вижу. А других не было... На вырост...

– Ничего. И на этих понесет, только давай, – азартно отозвался Егор. Он взял с шестка печи нож, которым щепали лучину на растопку, положил на обух сначала одну лыжу, потом другую, сделал две царапины, обозначающие центр тяжести и место, где надо проделать отверстия. Ему хотелось сразу бы сейчас и прокатиться. Тогда он положил лыжи на пол, уместив их по диагонали комнатки, и встал на площадку для креплений.

Прогиб у лыж был большой, но под его весом они едва дрогнули, и Егор почувствовал, как в душе зародилось какое-то подозрение. Но ему не хотелось огорчаться, и он снова встал на площадки лыж, согнул ноги, как перед прыжком с трамплина, и как бы толкнулся. Лыжи прогнулись и спружинили, и он уверенно сказал себе: «Все хорошо...»

– Каково? – опять поинтересовался отец, и Егор с нескрываемой радостью ответил:

– Хорошо. У-у-ух, покатаемся!..

– Ежели уж эти изломаешь, тогда не знаю, какие тебе и надо...

Довольная приобретением сепаратора, мать заодно похвалила и лыжи, но, посмотрев на них и подержав в руках, сказала с простодушным изумлением:

– У-у, сколь малы!? Да и тяжелы шибко, и товсты...

– Зато крепкие. Надоело делать каждый год. А с угору-то ехать не тяжело, – возразил отец, защищая покупку и оправдываясь. – Да и не было других. – Он не знал никаких лыж, кроме охотничьих, и не вникал в тонкости.

Мать не настаивала и, взглянув на ликующего сына, сказала:

– Ну, теперь все угоры твои. Домой-то загонять придется.

Проснулся и младший брат. Сначала он молча понаблюдал, чтобы придраться к чему-нибудь и позадорить Егора, но ничего не нашел и сказал:

– Дашь прокатиться?..

– Мал еще на таких!

– Ну на запятках прокатишь?..

– Может, и прокачу.

– Может?.. А я тогда сам заскочу. Выслежу, когда ты пойдешь на угор, не отобьешься, все равно прокатишь...

На следующий день Егор сходил после школы к шорнику Ефиму, попросил у него обрезков ремней для креплений, вечером уговорил отца проделать отверстия, сшить норсы, для которых он нашел кусок

шкива, остальные ремни сшил сам и на следующий день решил опробовать лыжи на угорах. Сомнение, которое закралось в него в тот вечер, когда вернулся отец, все-таки почему-то напоминало о себе сквозь все радости. Егор замечал, что будто чего-то по-баивается, поэтому решил первый раз покататься один, чтобы никто его не видел.

Он выбрал момент, когда младший брат, явно заинтересованно участвовавший в приготовлениях, куда-то ушел, только мать похода спросила:

– Не терпится? Собрался...

– Ага, пойду попробую, – ответил ей Егор безразлично. Он поставил лыжи на тропинку, протоптанную от крыльца, застегнул ремни вокруг валенок, поправил ватное полупальто и, навалившись на палки, которые были выстроганы из сухих еловых тынин, оттолкнулся... Он знал, что лыжи надо сначала обкатать, однако ему казалось, что эти сразу покаты – это же не самодельные! Но лыжи едва сдвинулись. Тогда он оперся на палки, как на костыли, уткнув их под мышки, раскатал лыжи на месте о твердую поверхность дорожки и снова оттолкнулся. На этот раз прокатило чуть подальше. «Нет, их тоже надо обкатывать», – подумал он с огорчением, и шагом, старательно прижимая лыжи к наезженной жесткой дороге, чтобы обтирались, дошел до ближайшего угора. Разбежавшись, он покатился, но скорости не было, и, чтобы добраться до конца спуска, ему пришлось толкаться палками. Егор скатился еще раз, снова вышел в угор и снова скатился.

«Нет, это не езда, – подумал он после полудесятка спусков. – Надо покруче», – и пошел к бане, за которой начинались обрывистые берега речки: «С них покатит наверняка, понесет на досках, даже если захочешь – не остановишься».

– А мне это-то и надо, – вслух сказал Егор. – Новые лыжи, в самом районе сделаны, и на них не прокатиться как следует!?

Спуск с обрыва, припорошенный нетолстым слоем свежего снега, начинался не очень круто, а затем – метров тридцать – как в яму, на дне которой под толстым льдом и снегом заглохла речка. Подойдя к началу спуска Егор уперся палками и на всякий случай посмотрел вниз, не торчит ли на пути какая-нибудь коряга. Склон был чистый, обрыв как обрыв, с таких он катался. «Понесет! Только бы устоять!» – подумал он, возбуждаясь. Но чтобы устоять наверняка, натоптал начало лыжни чуть наискось – прямо уж очень круто – и толкнулся палками. Лыжи заскользили нехотя, словно в снег было подсыпано песку, и Егор

толкнулся еще раз, и посильней... К обрыву его катило не быстро, но как только берег нырнул – понесло. Ощущая нарастание скорости, он сначала радовался, потом в сознании замелькала команда: «Держись!» Потом, когда начал приближаться выкат на речку и конец спуска, уже радость победы: «Устоял!..» Еще несколько метров – и все!..

И вдруг жестко, как в стену, носки лыж уперлись в натоптанный нижний слой снега...

В воздухе Егор ощутил рывок в паху правой ноги, затем вдогонку, перед тем как ухнуть в сугроб, его настиг удар по голове задником лыжи...

Потом началось постепенное осознание результатов... Щипало и пылало в носу, горел затылок, на котором будто выросла картошина. Чуть приподняв голову, Егор открыл глаза. Там, где лежал нос, алела ямка в снегу... Он чуть повернул голову назад: правая лыжа стояла, уткнувшись носком в снег, а нога висела на заднике крепления. Левая – голая – лежала в снегу и мерзла. Он еще чуть повернулся и увидел в стороне вторую лыжу с валенком, застрявшим в ремнях креплений.

– Вот это рвануло?! – подытожил Егор, убедившись, что все цело.
– Не зря побаивался. Не прогнулись. Толстоваты лыжи-то.

Он выпутал из креплений висящую ногу, повернулся на спину, поджав голую ногу, и посмотрел на берег. Две ровные полосы лыжни, словно захлебнувшиеся у подножья, круто, наискось, прочертили поверхность обрыва. Наверху одинокая толстая сосна, которую оставили на память, когда корчевали под огороды лес. Около сосны стоял его младший брат, трогая рукавицей свой нос. Потом он сказал:

– Попадет сегодня Егору. Опять весь вывалялся. И нос еще расшиб.

И полез, съехав по обрыву на бок, вниз, чтобы подать брату валенок...

КАКАО

...«**А**ссирийцам часто приходилось воевать с врагами. Они были мужественные и смекалистые воины. Уже в то старое время они научились плавать под водой и могли нападать на врагов врасплох. А чтобы не захлебнуться водой, ассирийцы применяли трубочки из тростника. Трубочки эти вроде дудилиянок, которые растут у нас на

пожнях в сенокос. Только дудилиянки скусные, а про тростниковые трубочки не знаю. Не едал... Опускаясь под воду, воин один конец трубочки держал в зубах, а другой оставлял на поверхности, и через эту трубочку дышал воздухом...»

– Все? – спросила Людмила Васильевна, когда Егор замолчал. – Не скусные, а вкусные, если я правильно поняла, – поправила учительница. – Надо следить за речью. Ну, хорошо, садись.



– Про ассирийцев все, а так не все... Я исти хочу... и хотел бы отпроситься с урока. – Класс сначала замер, а потом захихикал. Егор насупился. А учительница, немного помедлив, переспросила:

– Что? Что ты хочешь? – Людмила Васильевна была приезжая, молодая, и некоторые местные слова и произношение не понимала.

– Кушать он хочет, – ехидно подсказал Степа, сосед Егора по парте, которого за вечно торчащий на затылке вихор и острый веснушчатый нос прозвали в классе рябчиком. – Он еще с пятого урока хотел сбежать в столовую, да дисциплины побоялся.

– А ты бы, Степа, так не побоялся. Только пятки бы смелькали, – вставил кто-то с задней парты.

– Точно! – согласился Степан. – Только бы заурчало. – И Степа рассыпчато захохотал.

– А ты не суйся не в свои сани, – пригрозил ему Егор и, смущенный, опустил голову, ковыряя пол носком кирзового сапога.

Учительница, сдерживая желание расхохотаться, отвернулась от класса и не торопясь пошла к двери. А потом, прервав разговорившегося Степана, сказала:

– Во-первых, не исти, а есть. А во-вторых, до конца урока осталось не так уж много времени, и можно потерпеть...

Егор стоял у доски красный и теребил руками нитку на пуговице старенького короткого пиджачка, не поднимая глаз. От хихиканья одноклассников его бросило в жар. Волнуясь, он сунул левую руку в

глубокий брючный карман и сжал в кулаке две рублевых бумажки¹, на которые собирался пообедать.

– Ну, ладно. Я есть хочу, – согласился он с учительницей. – А все равно у меня еще на пятом уроке в животе заурчало, как в немазаной телеге.

Людмила Васильевна улыбнулась, уже не отворачиваясь, а класс снова расшумелся. Егору стало совсем не по себе: «Ну, как это у меня вырвалось!?» – и, пытаясь оправдаться, сказал:

– А чево? Сегодня одной вчерашней «кирзы» поел и кипятку стакан... И в большую перемену не успел поесть из-за очереди. Чё лыбишься? – буркнул он на девочку с первой парты и стал смотреть в окно.

– Какой кирзы? А это еще что такое? – опять переспросила Людмила Васильевна.

– Да это каша пшенка на воде, – опять ввернул Степа. – Штё ли не знаете?..

– У-у, рябок. Я тебе сегодня в интернате покажу пшенку!..

– Ну, все, все. Прекратите разговоры. Почти пять минут проговорили, – вмешалась учительница. – Черноков, садись на свое место.

Исподлобья оглядываясь по сторонам, Егор прошел между рядами к своей парте. Садясь, он ткнул локтем Степу, который после недавней ссоры его побаивался, и до конца урока разглядывал обложку учебника по истории Древнего мира. Когда учительница закончила рассказ о жизни каких-то других древних народов, Егор выложил на парту сумку, и стал складывать в нее книги. Эту сумку ему сшила мать, когда он пошел в пятый класс, в среднюю школу, расположенную в двадцати километрах от дома. То есть, когда он «пошел на сторону», как говорила мать. Сумка была сшита из холста, выкрашенного синькой, с одной длинной лямкой, чтобы ее можно было закладывать за шею, и застегивалась на белую пуговицу, которую мать отрезала от каких-то старых штанов. Эта пуговица смущала Егора, но мать сказала:

– Потерпи, Егор, пока покупной парфель не нашли. Книги не вывалятся, и ладно. А к другому году, дитя, купим чего-нибудь базарское. – И Егор постепенно свыкся и с пуговицей, и с длинной лямкой.

¹ Денежные единицы до 1961 года.

Сложив книги, Егор стал ждать звонка, и как только учительница закончила урок, он надел на стриженую голову кепку-восмиклинку с пуговкой наверху, перекинул за шею лямку и быстро выбежал на улицу.

Только что начался ноябрь, но земля еще не замерзла. Перепрыгивая через грязные лужи на школьной аллее из маленьких тополей, Егор выбежал на машинную дорогу к «Сельмагу», придерживая одной рукой сумку, чтобы не болталась, а левой сжимая в кармане деньги. Во дворе магазина, около соснового болота, отделявшего село от колхозного поля, стояла сельповская столовая.

«Ну вот, – подумал Егор про себя, вбегая на крыльцо. – Сейчас съем котлету с жареной картошкой, запью чаем, и голод заморю. А вечером наемся как следует. Настасья должна сварить суп из свинины».

Настасья – одинокая в деревне Мышкино старуха, у которой школа снимала под интернат дом. Утром, перед школой, Егор начистил картошки, дал Настасье свой чугунок и кусок мяса, который ему недавно послала с почтальонкой мать. Настасья, сочувствуя ребятам, никогда не отказывалась, а те, в свою очередь, часто помогали ей по хозяйству...

Егор вошел в столовую, мучимый голодом и стыдом, оставшимся от разговора на уроке.

«И чего это я язык высунул, как маленький. Исти хочу, – передразнил себя Егор, стоя около буфета в очередь за талонами. – А еще рассказывал про ассирийцев... Были мужественные люди. Не мог потерпеть полчаса», – мелькало у него в голове.

«Ну ладно, со временем забудется. Рябчика сегодня в интернате припугну, чтобы не пискал», – наконец успокоил себя Егор, и пошел посмотреть меню, пока не подошла очередь. На черной доске мелом было написано знакомое «суп с мяс., котлета с жар., крт. блины, кампот». Меню обычно заканчивалось чаем, но сегодня Егор в самом низу увидел совершенно незнакомое слово.

– Какаó, – не спеша, почти по слогам, прочел он, сделав ударение на «о». То, как прозвучало слово, ему не понравилось, и он прочел его еще раз, попытавшись поставить ударение на первом слоге, но тогда у него концовка слова смялась во рту...

– Какаó... Что же это за еда такая? – подумал он и посмотрел на цену. – Ого?! Рубль шестьдесят стоит, – удивился Егор. Он хорошо знал, что такое кипришиха, драчена, которые делала мать, но о какао не слышал никогда.

«Может, спросить у кого? – подумал Егор и оглядел столики. За одним из них он узнал долговязого десятиклассника Кеню. – Подойду, у него спрошу, он на соревнования в район ездит и живет давно в селе. Но передумал: «Еще и тут стыду наживешь... Ну, ладно, сегодня не буду покупать какао. Завтра попробую. А то купишь какую-нибудь дребедень и не наешься», – решил он и вернулся в очередь. Впереди еще стояло человек пять.

Но любопытство напирало: «А может, завтра не будет? Уже третий месяц в столовую хожу, а такого не бывало. Тогда и не узнаешь, что это такое? Чево я, зря в школе-то учусь?» – подумал он дальше и стал вспоминать, не встречалось ли что-нибудь о какао в книжках. Но ничего не вспомнил и стал присматриваться к тарелкам, которые носила официантка из кухни в обеденный зальчик, надеясь увидеть в них что-либо незнакомое и оценить...

Но в тарелках подавали суп, и котлеты с жареной картошкой, и блины. Очередь между тем приближалась и, как ему казалось, очень быстро. От сомнений его снова, как на уроке, бросило в жар, и он почувствовал, что рублевые бумажки, смятые от многочисленных перекладываний из кармана в карман, прильнули к влажным ладоням...

«И чево мне далось это какао? Как будто без него нечего поесть, – зло подумал он про себя, когда осталось впереди два человека, но все-таки не успокоился. – Что бы ведь взять утром лишний рубль. Купил бы сразу и котлету, и какао. Как назло все выходит». И пока оставалось время, он стал думать, на что же решиться.

«Так, – начал рассуждать Егор, – котлета стоит один рубль сорок копеек, а какао – рубль шестьдесят. Дороже котлеты... А если дороже, значит, должно быть и посытней. И еще останутся деньги на чай и хлеб...»

Эта мысль показалась ему убедительной, и, когда подошла очередь, он сказал буфетчице:

– Мне кака... – смял концовку, – чай и хлеба два ломтя...

Буфетчица посмотрела на него и, усмехнувшись, переспросила:

– Какого хлеба-то? Белого или черного?

– Черного, – ответил Егор робко, почувствовав какую-то неловкость, но делать было нечего – буфетчица уже выписала два талона и положила на тарелку хлеб.

– Ты чего деньги-то в сапоге хранишь, белоголовик? – сказала она, когда Егор выложил на прилавок скомканные рубли, и засмеялась. – Из-за буфета еле видно, а деньги уж знает, где надо хранить...

Тот шмыгнул носом, отвернулся, снова вспыхнув от смущения, и молча отошел от буфета с хлебом, талонами и сумкой через плечо. Сел за столик, стоявший у самого выхода, к двум незнакомым мужчинам в фуфайках.

Один из них уже ел, другой, так же, как и Егор, сидел с талонами, ожидая официантку. Вскоре она подошла и унесла талоны на кухню, прихватив пустую тарелку и стакан. Егор пристроил на спинку стула сумку, снял кепку и в ожидании обеда помазал горчицей хлеб. Через несколько минут официантка принесла поднос, поставила на стол тарелки с супом и котлетой для мужика в фуфайке. Немного спустя – еще три стакана: два с чаем, а третий с жидкостью, которая показалась Егору похожей на щелок, в котором его мать кипятила белье перед стиркой. Он заподозрил, что эта незнакомая жидкость, возможно, и есть какао, но никак не хотел верить и стал ждать, не притронувшись к стакану.

«Не должно быть, чтобы это какао, – успокаивал себя Егор. – Подожду еще, может, его надо долго готовить. Не может быть, чтобы стакан такой мути стоил дороже котлеты с картошкой», – думал он, доедая кусок хлеба.

Мужик быстро пообедал и, покосившись на Егора, ушел, а тот намазал горчицей второй ломоть. Чай и мутный стакан остывали. Официантка, бегая из кухни в зал, поглядывала на одиноко сидевшего Егора, а потом подошла к нему и спросила:

– Ты чего, мальчик, ждешь? У тебя ведь было какао и чай, правда?

Егор совсем растерялся, хотел что-то сказать, но язык будто завяз. Девушка, не дождавшись ответа, пододвинула к нему мутный стакан и, к облегчению Егора, сразу же ушла. Тот взял руками еще теплый стакан и нерешительно сделал первый маленький глоток. Почувствовав вкус, он взял со стола ложку и, оглядевшись по сторонам, сгреб горчицу с оставшегося куска хлеба. «Ничего еда, – заключил он, запивая теплым какао пахнувший горчицей хлеб. – Только жидкая...» – И, посмотрев жалостно в пустую тарелку соседа, измазанную остатками красного соуса, вышел на улицу...

– Из города, наверное, забросили какао или из района? – уже вслух сказал он, надевая восьмиклинку и облизываясь. От «Сельмага» Егор увидел шедшего ему навстречу Мишку Маркмана из соседнего пятого «А».

«Горожанин идет. В чистом воздухе привезли развиваться, а про какао, небось, уж давно знает», – подумал Егор и хотел отвернуть в сторону. Но Мишка еще через дорогу закричал:

– Ну, что, Егор, наелся?

И Егору пришлось подойти к нему.

– Ты чево трезвонишь на всю деревню? Ну, наелся. А ты откуда знаешь?..

– Так мне Степа рассказал. Его тоже оставили после уроков за домашние задачи.

Егор не ответил на Мишкины слова, но про себя подумал: «Вот, рябок, уже успел разнести... Хорошо, хоть про это не знает...»

И на всякий случай спросил у Мишки:

– А ты едал какаó?

– Какáо, – поправил Мишка. Так его же не едят, пьют.

– Ну, зато ты вчера реактивный самолет не видал. А мы всем интернатом смотрели, – попытался хоть чем-то уязвить Мишку Егор.

– А я его еще раньше видел.

– «Ишь ты?! Все знает, хоть и двойки по арифметике хватает», – подумал Егор, скрыв досаду, и пошел от Мишки, размышляя об ассирийцах, какао, самолетах, навстречу новым открытиям, к которым ему еще долго придется ходить полем, по дороге с крутым угором, ведущей в деревню Мышкино, к дому одинокой старухи Настасьи...

КРОШКА ХЛЕБА С ГОРЧИНКОЙ...

Как обычно, мать предупреждала заранее:

– Не хулигань на этой неделе шибко-то. В воскресенье ко причасью пойдем! – так она произносила слово "причастие" и говорила при этом тихо, но значительно. И хотя меня это не очень-то радовало, я охотно соглашался, боясь ослушаться матери, и тут же забывал – о, ещё долго!..

Но почему-то то и дело вспоминал, чувствуя в себе уже особое состояние, будто после слов матери во мне кто-то поселялся, напоминая о приближающемся дне: и неудобным представлением о том, что предстоящее воскресенье придется вставать в потемках, невыспавшимся, и одновременно и любопытно-тревожным предчувствием чего-то таинственного, и ещё едва различимым ощущением радости, которой я тогда не осознавал.

И мать становилась тоже какой-то иной. И что бы ни делала, кажется, всё время думала о предстоящем дне: чаще вздыхала, как мне казалось, неизвестно отчего, ярилась не так громко, когда мы с братом не слушались её, как-то особо вела себя с отцом и даже сторонилась его и он что-то недовольно ворчал, а она робко возражала, или просто молчала, и по вечерам дольше обычного читала тетрадку с молитвами, переписанными кем-то от руки, и единственную в доме книжку небольшого формата, потрепанную, с желтыми листками, которую она хранила за иконой в углу...

– Это Евангеле! У-у, это самая главная книга-то и есть, – говорила она назидательным голосом, подсаживаясь поближе к керосиновой лампе, чуть вывертывала фитиль, крестилась, что-то шептала и начинала читать вслух, едва складывая в слова буквы и слоги, пока мы не засыпали на печке или на полу, убаюканные её полусшептанием. Читала она с трудом, часто спотыкалась, словно поднималась в гору с тяжелой ношей сена, как мне виделось... Слова наполовину были незнакомые и непонятные, но смысл их проникал в меня, словно воздух в легкие, и сливался с тем же предчувствием чего-то таинственного, ожидающего меня впереди...

За день-два до воскресенья, в нашей барачной комнатушке то и дело появлялись бабы, приносившие какие-то бумажки, прикладывали к ним рублики, трешки, шушукались, а я незаметно вертелся рядом и слышал,

как они разъясняли матери: "Это вот, Михайловна, за упокой, а это вот за здравие да на просвирку... Мне бы и самой сходить тоже охота, да корова чё-то нюркает, боюсь оставить. Да и мужика боюсь – партеец, привлекут его..." И ойкали, и охали: ой, грехов-то не оберешься, помилуй, Бог да Христос!..."

Мать разбирала записки, приговаривала: "Не перепутать бы, где здравие, где упокой. Читаю-то не шибко", – увязывала всё в белый платочек и клала на полочку к иконам...

И вот уж завтра...

Вечером мать почти ничего не ела, нас кормила пораньше, отец за столом выяснял с ней, чем кормить корову, чем поросенка и ещё что-то по хозяйству, едва сдерживая недовольство лишними заботами – и так в кузнице тяжело, а мать уж ни звуком не перечила ему, а только всё подробно разъясняла, зная истинную причину раздражительности его, и когда мы укладывались спать, прежде чем сесть за тетрадку и Евангелие, открывала большой, с плоской крышкой сундук, сделанный отцом, на котором мне лет до пяти стелили постель...

Я сразу улавливал запахи стиранного белья, которое она перебирала, подглядывал, как она выкладывала чистую рубашку для меня, свою кофту, юбку, разглаживала их руками, осматривала мои будничные штаны, озадаченно косилась на меня: "Это где же он их так упестовал? Недели не прошло, как бучила! Ай, да Егор!" – и доставала хоть и заплатанные, но чистые... Я притворялся спящим и с весёлым чувством вспоминал почему-то, как мать во время службы то и дело тыкала меня в затылок, требуя наклонить голову. Она ставила меня перед собой, и я слышал, как она болезненно шептала сзади:

– Да наклонись же ты! Не ворон ловить пришёл. Не вертись. Ведь Дух Святой сходит. Ой, Господи, помилуй. – И, пригибая мою голову, стеснительно оглядывалась: – Простите, бабы...

Воспоминание это повторялось в моем воображении по несколько раз, и с ним я засыпал, до подробностей зная, как начнется завтрашний день... Мне ещё будет хотеться спать, когда послышится тихий голос матери: "Вставай, дитя," потом он ещё раз повторится настойчивее, потом ещё, всё так же тихо, а когда я открою глаза, перестав притворяться спящим, в комнатке будет тускло от желтенького света керосинки, мать скажет, чтобы я облобок другие штаны и рубаху, чтобы ничего не брал в рот, только умылся и одевался...

И полусонный я сделаю всё это, и на минутку проснётся младший брат, слегка задиристо скажет: "Вот, тебя повели, а мне не надо. Мне

мама домой принесёт", – и сладко свернется под одеялом. Потом мать перемолвится с отцом, и мы выйдем на улицу ещё в потёмочках, и пойдём на угор, к конторе с мезонином, к ней же подтянутся от своих бараклов еще несколько женских фигур, и мы все, как ручейки в реку, потянемся к единственной дороге-тележнице, уходящей в лес, и часа через два уже проснувшиеся, остановимся около оградки, мама перекрестится, оглядится, поздоровается со знакомыми бабами из других деревень... Они негромко поговорят друг с другом и пошепчутся, пока двери храма закрыты: ещё сумерки, и всё похоже на силуэты и тени, как во сне...

А потом бесшумно откроется дверь, будто сама, в ней покажется бородатый старик (как теперь я догадываюсь – и сторож, и псаломщик,



и алтарник, да и дьякон одновременно), поклонится всем на улице и удалится вглубь чудом уцелевшего маленького храма, где еще потёмки, только потом станет видно, что в потемках мерцают огонечки в чашечках, высвечивая какие-то особые лица, и тянет туда, и боязно... Потом вокруг мерцающих чашечек запотрескивают свечки, мать тоже сунет мне свечку и шепнет:

– Перекрестись да иди поставь Матери Божьей... Да не туда. Вон, направо, – подтолкнёт меня не в затылок, а в плечо...

В храме уже светлее, хотя все так же таинственно, вот-вот начнётся что-то, но не начинается, и всё замерло в ожидании... пока кто-то не скажет: "Благослови, владыко", и кто-то слабым голосом ответит: "Благословен Бог наш..." И всё в храме будто встрепенется и зашевелится, и медленно полется. И так, часа два, и я буду стоять, переминаясь с ноги на ногу, норовя как-нибудь незаметно присесть, и слышать иногда шепот матери:

– Не вертись! Уже скоро, – пока не схлебну с ложечки сладкую и с горчинкой крошку... После мать завернёт в платочек просфоры, мы, наверное, зайдём к знакомой старухе Милодоре, немножко чего-нибудь перекусим, я знаю, что домой будет идти легко, даже захочется побежать, и почему-то безпричинно радостно...

НОЧНЫЕ ДЕРЕВЬЯ



НОЧНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Начинать рассказ не хотелось. Настроение было подобно тому, которое терзает человека, вынужденного встать рано, особенно осенью, да еще с похмелья... О, Боже, помилуй!..

И, ёжась, я топтался около стола с открытой машинкой, как совсем недавно топтался перед дверью деревенского дома, в котором мне по-прежнему слышатся и шаги, и голос матери, и запах табачного дыма, и отцовский кашель, хотя все это уже давно оборвалось двумя деревянными крестами на кладбище под соснами... Всякий раз, когда я возвращаюсь в деревню, и запахи, и звуки будто оживают и манят быстрее войти в дом, обещая встречу. Но я медлю и боюсь открывать дверь, зная, что в сенях опять увижу углы, затянутые паутиной, в которой запуталось несколько прошлогодних мошек и мух, иногда вместе с охотившимся на них пауком... А дальше, в избе, холодная, выстывшая печь, с привалившимся к ней диванчиком отцовской работы, перевернутый чайник на кухонном столе, над ним старенькая иконка великомученицы Феклы и погасшая лампада.

И я в нерешительности топчусь...

Привернуто-негромким голосом радио передавало сводку новостей, после которых надо было бы служить панихиду. Но хлынувшая в эфир разудалая реклама каких-то шоколадных батончиков моментально смыла впечатление новостей, не оставив в душе никаких следов от обоймы событий, в которых пролилась кровь, и куда-то улетели десятки оборвавшихся душ...

– М-да?! – подумалось вслух. – Хорошие новости! Впрочем, когда ничего такого не сообщат, вроде чего-то уж и не хватает. Будто день прожит неинтересно. Не день, а суп без соли...

Я усмехнулся то ли цинично, то ли обреченно... И провалившись куда-то, не заметил, как опустился на стул, вложил в машинку лист бумаги, стер что-то липкое на щеке и напечатал, как рабочее название чего-то, слово ТРЕТИЙ...



Он вошел в торговый переулочек со стороны Суворовского проспекта вместе с толпой, переходившей улицу, и сразу же будто выпал из неё. На вид ему было лет тридцать пять. Одет он был в красно-коричневый пуловер, из-под которого виднелся чистый воротничок

рубашки кремового цвета, вельветовые джинсы, почти такие же, как были на мне, и вполне мог сойти за человека, вышедшего за хлебом в булочную... если бы не пятно под глазом, величиной с черно-слив, и особый взгляд поверх голов, искавший кого-то, отрешенный и будто затравленный.

Показалось мне, что вышел он после только что состоявшегося семейного скандала, закончившегося бранью, истерикой, битьем тарелок, и внутри его теперь выло от тоски, как в печных трубах в ненастную погоду...

«Похож на одного из них», – подумал я, имея в виду три тополя, которые виднелись из окна моей мансардной комнатки. Росли деревья в соседнем дворе, метра на четыре возвышаясь над крышами, по которым словно домики по склонам оврагов, разбрелись навсегда замолкшие печные трубы. Полностью деревья я никогда не видел, но в ветреные осенние ночи они шумели листвою с такой скорбью, что представлялись мне узниками, приговоренными к пожизненному заключению, которых где-то на дне двора-колодца время от времени выводили на прогулку. Виделись даже их лица – одинокие, опущенные, уже не чувствующие никакого интереса к жизни и шагавшие по ней по инерции... Лишь иногда, будто при воспоминании о чем-то невозвратно прошлом, выдавливая усмешку, похожую на ту, которая появляется и у меня на лице, когда вдруг подумается: «И жить вроде уж незачем, и умереть нельзя – разоришь всю родню расходами на похороны...»

За окном смеркалось, и сгущавшийся воздух вязко, как дым в растапливаемой русской печке, втягивался в открытую форточку...

Заканчивался последний день августа, еще солнечный, напоминавший о лете, но сырой после дождя и уже прохладный...

Помнится, что в тот момент, когда около меня раздался чей-то голос: «Дяденька, помогите на хлеб», – голос и жалобный, и в то же время заметно притворный, я стоял в торговом переулке, и листал только что приобретенную книжку. Изданная в серии «Классики и современники» книжка была в привлекательно-яркой небесного цвета обложке, и потому бросилась мне в глаза издали. Лежала она под заостренной ножкой алюминиевого столика, с которого молодой парень в куртке-камуфляже торговал куриными окорочками...

«Грузинские романтики», – прочел я, подойдя к столику поближе, и сразу же вспомнились строчки одного из них. Строчки, когда-то очень давно, поразившие меня леденящим откровением автора их, и, казалось,

забывшиеся навсегда: «Нет, мне не жаль сирот без дома. Им что? Им в мир открыты все пути...» Продолжение четверостишия я не помнил точно. В памяти сохранилось лишь название: «Одинокая душа» – и ощущение чего-то непоправимо-трагического, в сравнении с которым даже детское сиротство выглядит легче, радостней...

– Можно купить? – спросил я, кивнув под стол.

– Да возьми даром. Только подсунь, чтобы не хромало. – Парень удивленно пожал плечами и мрачно нахохлился.

Подсунув валявшийся рядом обрывок картонки, я освободил книжку, смахнул с обложки комочки грязи и отошел, разглаживая по пути вмятину.

В сборнике оказались оба Орбелиани – Вахтанг и Григол, Александр Чавчавадзе и Николоз Бараташвили...

– Помогите на хлеб, а, дяденька? – Наконец, я сообразил, что обращение это относится ко мне, и взглянул. Передо мной, склонив головку набок и мусоля во рту палец, стоял ребенок лет шести-семи с ершисто стриженными волосами, подернутыми будто добротным смолистым дымком. Мне было не жарко и в куртке, он же был одет в желтенькую рубашонку, застегнутую на две пуговицы у живота, да и то выбившуюся из штанов какого-то брусничного что ли цвета. В глазенках, смотревших на меня словно из колодца, проглядывало детское лукавство...

– Ты откуда здесь взялся?

– Из Красного Бора.

– Ты что? Это же на поезде надо ехать! Один что ли?..

– Нек, с мамой...

– Странно... А где мама?

Похоже было, что расспросы ребенку не понравились, он смутился, начал оглядываться по сторонам, соображая, а не улизнуть ли? Но ответил:

– А она в гостях. Там! – и махнул рукой явно наугад и, как бы продолжая движение, вдруг сделал атакующий выпад, похожий на фехтовальный:

– Ту-ду-ду! – будто моментально забыв про меня, расставшись как с неинтересной игрушкой.

– Ну, ты, брат, даешь!? Как тебя зовут-то?

– Костя! – Назвался ребенок дерзко и небрежно, как отмахнулся, и снова сшалил: – Ту-ду!.. А это у тебя что?

– Книжка. В ней, наверное, про тебя и написано, – сказал я, убирая книжку в сумку и соображая, что делать? Дать денег? Но не на хлеб же он просит? На конфеты, на мороженое? На жвачку?..

– Помогите, а? Дяденька...

– Хорошо, Костя. Я куплю тебе то, что просишь – хлеба! – ответил я, решив, что такой поворот дела Костю не устроит, но он сразу же подсказал:

– Булочная вон там!.. Только у меня еще брат есть. Мишка! Мишка! Иди сюда, нам сейчас купят! – закричал он, побежав кому-то навстречу, тудудукая на ходу и оглядываясь на меня: не обману ли?..

Мишка оказался таким же дымноголовым, только одет он был в темные штаны с дыркой на коленке и серенькую рубашку. Башмаков я не разглядел – наверное, такие же промокшие, как и у Кости. В тот момент, когда его окликнули, Мишка стоял около мужика с бубновым что называется выражением лица. Мужик пил пиво из бутылки, а Мишка, похоже, также морочил ему голову: «Помогите на хлеб», – но, услышав голос брата, сразу же ринулся ему навстречу...

Через мгновение оба они уже вились около меня. Братья весело тузили друг друга, обменивались «восточными» ударами, больше похожими на обычную детскую возню...

– Ну, наигрались!? – наконец спросил я тем голосом, которым в детстве и меня одергивал отец.

– Ага!.. Ту-ду-ду! – отстрочили в ответ оба и мгновенно удёрнули вперед, лавируя в гуще сумок и ног толпы, словно зверьки в еловой чаще...

– Костя! – закричал я, бросившись к перекрестку, на котором горел красный свет. – Ты что?!

– Ай, мы бы проскочили. Мы всегда так. Ту-ду! Давай, Мишка сюда...

На ступеньках, поднимавшихся в булочную, Мишка подтянул съехавшие гармошкой штаны, Костя подпернул свои брусничные в клетку и, обернувшись ко мне, сказал, смутившись, как девочка:

– А у нас тоже есть, – и ушмыгнул вслед за братом.

Булочная оказалась маленькой, к тому же перегородженной как-то нелепо наперекосяк, так что пока я сообразил, с какой же стороны подойти к кассе, братья были уже около неё.

– Тетенька, дайте нам хлеба, а?

– Даам, – умильно пропела кассирша, будто собиралась прибавить

еще и бутылку молока. – А денежки-то есть? А?

– Пробеите им, – хотел сказать я кассирше, но Костя вдруг выхватил откуда-то снизу бумажку, скрученную гильзой, и лукаво стрельнул в мою сторону, радуясь, что и у него есть деньги, и тому, что хоть и обхитрил меня, но честно признался: «Я ведь сказал, что и у нас тоже есть».

К окошку, через которое выдавали хлеб, братья снова проскользнули в обход очереди. Там спросил Мишка:

– Отрежьте нам, тетенька, а?

Продавица мрачно отвалила длинным ножом два куска: – Хватит?!

«Похожа на Марию Эдуардовну», – подумал я, вспомнив соседку по мансарде, которая, возвращаясь со службы, проходила мимо моих дверей и почти всегда могуче выдыхала: «Вот заразы! Реформаторы ё... Дали бы автомат, всех бы перекрошила!»

Мишка схватил горбушку, Костя второй ломоть и остаток батона, и братья зашушукались, поглядывая в мою сторону.

Я купил им по бублику – самое вкусное, что было на тот момент в булочной. Впрочем, на что-то другое у меня не очень-то и было.

– Хорошие вы ребята. Взял бы вас с собой... Да самого того гляди, погонят из дому, как весной воробья из скворешника...

Этого ребята не поняли. Они грызли куски батона.

– В школу пойдете?

– Нек, – за двоих ответил Костя. – Ту-ду-ду...

– Так, где же ваша мама, все-таки?

– Там! – отмахнулся Костя и потянул брата за собой.

Я посмотрел им вслед. Иногда они оглядывались на меня и шалили. Костя нес под мышкой остаток батона и бублик. Потом оба бублика оказались у Мишки, и я еще видел, как он напряженно сжимал пальцы, чтобы не выронить их... На переходе улицы уже оба калача опять перекечевали к Косте, и он, насадив их по локоть, жонглировал ими на поднятых руках. Потом оба исчезли в толпе, а я остановился около огромной книжной плантации, сиявшей лощеными, пошло разрисованными обложками. Изображая из себя покупателя, я прочитывал по одной-две страницы, потом листал, читая по диагонали, познакомившись, таким образом, с десятком новых романов, хлынувших в страну словно из засады, но в основном прислушивался к разговорам около.

– Вам что-нибудь фантастическое?
– Да, что-нибудь покруче!
– Вот! Советую! – Продавец брал книгу и, чувствуя покупателя, игриво намекал. – Тут все удовольствия.
– Да, о'кэй! Но я уже в курсе...
– Тогда вот это! Класс! Пятнадцать тонн. О'кэй?
– А «Дикая Роза» у вас?.. Не вижу что-то? Скажите, пожалуйста, «Дикая Роза» у вас?..

– Смрад... Одни рожки да ножки... Больше рожки, – бормотал про себя какой-то старик в зимней ушанке и суконном пальто, щурясь на обложки книг. Потом чуть потеснил меня в сторону и таинственно шепнул мне на ухо:

– Сдали все... Сплавили мы её матушку, – выговаривая слова «её» и «матушку» будто с большой буквы.

– Вы кого имеете в виду? – уточнил я, тоже невольно шепотом.

– А душу. Вот за это всё, – и, косясь взглядом на продавца, старик потыкал черной vareжкой в сторону книг. – Отравитесь. Одно название от неё только и останется. А душа-то?..

– Я понял, на что вы намекаете... Простите, мне...

Я хотел ехать домой, но что-то подтолкнуло меня вернуться назад, в начало переулка, где между весами и кучей арбузов в проволочной клетке важно прогуливался смуглолицый хозяин. Прогуливался, наклонив на глаза кепку, засучив рукава куртки, из-под которой торчали полы и манжеты белого халата, и насвистывал, поглядывая на картонку с надписью: «Арбузы из Астрахани. На вырез». Иногда смотрел вдаль, видя там то ли Астраханские степи, то ли снежные горные вершины...

Парень с «черносливом» под глазом вновь появился в поле моего зрения справа, будто вошел в кадр. Казалось, что он завершил обход переулка и был озадачен. Шел он также осторожно и страдая, только на сунутой в карман руке теперь у него болтался на лямочках целлофановый мешок.

Вдруг, словно крупинки, притянутые магнитом, из ларешного лабиринта вытекли Костя с Мишкой и остановились прямо перед ним... Будто не замечая их, Третий смотрел поверх голов в никуда. Потом снял с руки мешок, чуть раскрыл его и, словно к теплой печке, протянул руки к детям.

Шаловливо и заговорщически Мишка с Костей ссвали в мешок добычу и моментально разбежались, на ходу же обменявшись между

собой ударами – ту-ду-ду!..

Третий всё тем же отсутствующим взглядом обошел толпу, будто прошептал про себя: «Слава Богу, кажется, никто не видел», – сжал мешок и медленно побрел к ближайшему дому. Дом ремонтировался, окошки нижнего этажа были заколочены черной бумагой, но подоконник был широкий. Парень устало присел, как человек только что переживший потрясение, еще раз огляделся: «Нет, никто не заметил», – и сунул в мешок задрожавшую руку...

Мешок оказался дырявым, и из дырки на асфальт выкатился обломок бублика с маковыми крупинками.

Мне стало неловко, я отвернулся, но увидел его отражение в стеклянной витрине ларька – в ожерелье бутылок, кукол, ботинок, карт и флаконов с духами... Он жадно разгрызал бублик, видимо, порченными зубами. Крошки осыпались ему на бороду, и он старательно загребал их в рот. Потом заглянул в мешок и снова сунул туда руку. Я отвернулся и от витрины, и отошел, сделав небольшой круг среди ларьков...

По-прежнему усталый, но будто пришедший в сознание после миновавшего кризиса, Третий стоял уже около арбузной кучи. Рядом с ним был неизвестно откуда появившийся Костя и держал опустевший мешок.

Хозяин арбузов прогуливался, посвистывал и о чем-то будто размышлял. Потом решительно сунул в мешок Косте арбуз кило-грамма на три. Его помощник, перекинувшись взглядом с хозяином, затолкал в мешок еще такой же арбуз; и Костя закричал:

– Мишка! Мишка! – Давай сюда!..

Мишка моментально вынырнул из толпы, и братья уцепились за мешок вдвоем, таща его каждый в свою сторону, как два волчонка мясную кость, принесенную матерью – и ссорясь, и хохоча от радости... Болтавшийся между ними мешок мотал их обоих в разные стороны.

Третий, стоявший метрах в пяти, шагнул...

– А ты с нами не ходи! – вдруг услышал я будто ошетинившийся голос Мишки. Потом начала ещё каких-то фраз, концовка которых съедалась в возне: «Не ходи! Су.. ! Па.. !»

Я поёжился вместе с Третьим...

Хозяин арбузов смотрел вдаль. Помощник его присел на край проволочной клетки, снял кепку, обнажив полысевшую голову, утер то ли по привычке грузчика, то ли действительно вспотевший лоб. И закурил...

Братья, наконец, договорились. Мишка помог взвалить мешок на спину Косте и сделал вслед: «Ту-ду-ду!» – с выпадом...

Согнувшийся Костя шатался под тяжестью арбузов, удаляясь в сторону дома, огороженного строительными лесами. В гуще толпы при переходе улицы арбузы его все-таки подмяли. Он захохотал и потащил мешок волоком по асфальту...

Мишка остановился возле лотка с фруктами, от которого отпал повеселевший и с флюсом на правой щеке, образовавшимся от снутой туда виноградины. Заметив меня, бросил, как старому знакомому:

– Привет! – но не остановился.

Третий топтался на месте, глядя вслед Косте. Куривший грузчик взглянул на него и опустил голову...

Я смотрел, вспоминая всё сразу... Почему-то подумалось: Россия – какое белое слово...

По пути к станции метро, прислонившись к стенке, валялся бродяга, словно полено дров, обретенное с воза. На подступах к «Невскому паласу», потирая руки в белых перчатках, важно, как генералы, прогуливались юные лакеи с аксельбантами...

Наступал вечер. Я посмотрел вверх в желании утешения. Небо было безоблачно-бледное, вымокшее, так что почти не ощущалось, и солнце будто покачивалось в пустом пространстве, отпущенное на длинной невидимой нити, как детский воздушный шар.

От Владимирского Собора донесся тихий удар колокола, и в душе что-то вздрогнуло...

УТРЕННИЙ ДОЖДЬ

... **А** на рассвете вразброд дремавшие облака вдруг встрепенулись, услышав, наконец, чей-то таинственный голос, о котором будто всегда помнили, вольно странствуя весь год. Услышали и – поплыли... Поплыли сами собой, не от ветра, а от какого-то только им понятного дуновения – неторопливо, без суеты и ненужных разговоров. Отправились в дорогу словно мастера, хорошо знавшие что, когда и как надо делать... Вот опустили ближе к земле и, остановившись на виду друг у друга, мимоходом переглянулись, негромко уточняя подробности предстоящего таинства – как прихожане, еще до открытия храма собравшиеся на раннюю литургию...

Немного погода облака сомкнулись вместе, задернув небо ровным слоем, опустились еще ниже и замерли в почтительном и кротком ожидании...

Это, наверное было в тот момент, когда я заметил, что свет на листе бумаги, вложенном в машинку, потускнел, словно в комнате вместо электрической лампочки зажгли свечу... Стало как-то особенно тихо, чутко, как во время исповеди: только шепот на ухо священнику да потрескивание разгорающихся свечек, да безмолвное мерцание лампад, и еще ровный голос псаломщика-чтеца на клиросе, – всё подчеркивало трепетное предчувствие чего-то...

Но дождь не начинался. Притихшие облака словно еще что-то ждали, а вместе с ними ждали и тополя, росшие в соседнем дворе, и две вороны, сидевшие около старого гнезда на ветках деревьев, и будто вся земля вокруг, и я тоже, чувствуя в происходящем что-то знаковое с детства, вечно повторяющееся из года в год и не вмещающееся в сознание...

И вот сдержанным басом будто издалека, протяжно-призывно, как священник из алтаря, под куполом облаков возвестилось: – Благословен Бог наш ныне и присно и во веки веков. – И всюду голосом накотившейся на берег волны отозвалось: – А-а-минь!

И дождь опустился без всякой разминки, без пробных первых капель, сразу взяв и нужную тональность, и нужный ритм. И посыпался, словно мелкий песочек, шелестя по крутым жестяным крышам, сразу разбегаясь ручейками по карнизам и водосточным трубам...

Тополя за окном затаились, опустив крупные молодые листья, и стояли не шевелясь, внемля шепоту, лившемуся с небес, словно Баховская fuga...

Перед глазами у меня густо стояли прямые нити, разлетавшиеся над карнизом мелкими брызгами, и мне казалось, что дождь идет не за окном, а сквозь меня...

– Совершается какое-то таинство, – первые слова, которыми сознание отреагировало на явление природы, и они не показались мне ни чрезмерными, ни натянутыми... И время будто остановилось или стерлось, так что я и не заметил, когда за окном опять стало совсем тихо. Только одинокие капли изредка разбивались о жестяный карниз...

Дождь кончился также без заминок и сомнений, как и начался, точно совершив всё, что полагалось в этот день, и, как странник, быстро

и незаметно собрал свои пожитки – Библию да горсть сухарей в сумку через плечо – и куда-то ушел...

Лишь малое время в воздухе трусили редкие ниточки, поблескивая на солнце, потом и они иссякли, будто их, как после-обеденные крошки со стола, кто-то бережно сгреб ладонью в ладонь...

Листва на деревьях посветлела, встрепенулась, залепетала, и тополя опять вернулись на землю словно из сна, беспричинно радостные...

Никогда больше дожди не производили на меня подобного впечатления, и потому дождь тот никак не забывался...

Лишь много позднее, уже глубокой осенью, по следам каких-то запечатлевшихся подробностей вдруг вспомнилось, что было это на следующий день после Троицы. День, который я помню с детства, мать называла Духовым днем, и всегда с боязливым благоговением разъясняла нам с братом, что в тот день птичка гнезда не вьёт, а девушка косы не заплетает. И уж Боже упаси с плугом на поле выехать...

"Да, детоньки, не смейтесь! Почему, почему? А потому, говорю вам, что вся земля в этот день именинница, и Дух Святой, как на вас в церкви, на всю её сходит и благословляет... Не смейтесь, говорю, а слушайте, басала́и... Это ведь не я выдумала". И благоговейно крестилась...

А мы с братом лукаво посмеивались...

МИССИОНЕРЫ

... Ежась, я пытался укрыться за телефонной будкой, не сразу заметив, что в ней со всех сторон выбиты стекла. Но больше спрятаться было негде и, втягивая голову в поднятый воротник куртки, я стоял на сквозняке, топчась под указателем остановки транспорта. Перед глазами мельтешили лица и жаркие, будто еще не остывшие кленовые листья, казалось, тоже искавшие укрытия...

Троллейбусов не было раздражающе долго, и я невольно оглядывался. Ветрено, пыльно и одиноко, как в чужой стране... Город, которому недавно вернули первоначальное название, был изрыт, обновлял фасады, соскребая многолетнюю копоть с крошившихся дворцов, менял вывески, обзаводился рекламой на заокеанский манер и,

переваривая в очередной раз опять революционные перемены, выглядел утомленным... И в этой утомленности казался мне похожим на вельможу, промотавшегося в чужих краях... Еще будто помнившего себя во фраке, с имперскими орденами на лентах, в напудренном парике, с кружевными манжетами рубашек из дорогого голландского полотна, искавшего взглядом по старой привычке, с кем бы раскланяться... И озирался в недоумении, трагически усмехаясь...

Раскланяться было не с кем, даже и на Невском. Разве что с обнаженными девицами, замелькавшими почти в каждой витрине...

И сами горожане выглядели как-то растерянно, шли торопливо, словно убегая от чего-то, не зная куда, как река без берегов, иногда старательно чавкая жевательной резинкой...

Троллейбусов по-прежнему не было. Жалко усмехнувшись над своими мыслями, неуверенный в их справедливости, я опять поежился и опустил глаза на асфальт, безразлично разглядывая бежавшие по нему ноги...

Вдруг две из них отделились от потока, и пошли прямо на меня, потом неотчетливо, словно не в фокусе, появилось лицо молодого парня, которого я толком не разглядел: вроде прилично одетый, чистенький, в модной кепочке... И пачка газет небольшого формата, которая оказалась перед моими глазами...

– Возьми, почитай, – сказал парень почти жалеющим голосом и добавил, видя мое смущение: – Бери. Это бесплатно...

Брать газету мне не хотелось, в голосе парня была какая-то оскорбительная фальшь. Но быстро осознать это я не смог и стоял в нерешительности.

– Бесплатно же! Бери! – подчеркнуто повторил парень с легким иностранным акцентом,

"Бог дает надежду", – уже несколько раз прочел я слова, набранные на плотном глянцевом листе бумаги, но газету все-таки не брал. Фраза эта была обложена оранжевыми клеточками разных оттенков, и цвета эти излучали что-то ледяное, мертвое... А рядом как-то чрезмерно радостно улыбался изображенный на фото мужчина с гладеньким лицом, видимо проповедник, в белоснежной рубашке с галстуком, откинутом в сторону будто порывом ветра, также улыбалась из другого угла газеты бодрящаяся девица с микрофоном...

"Бог дает надежду" – снова прочел я и, сдерживая раздражение, невнятно возразил:

– Там, откуда приехала эта газетка, бесплатно и воды-то напиться не подадут... Да и как-то уж очень навязчиво, что ли? Стадионы, микрофоны... – А Слово что дыханье – тихое. Тихо оно и звучит громче. Глубже...

И вдруг мне стало терзающе стыдно: и за свое поведение и перед этим парнем, и перед кем-то там, где пекутся о нас, может, искренне, хотя и не понимая, или понимая все по-своему, и я уже хотел было извиниться и взять газету, и даже пойти на стадион, куда она призывала идти. Но газету не взял, снова замолчав, и раздражаясь, и мучаясь.

А парень то ли плохо понимал по-русски, то ли не расслышал моих слов, опять повторил:

– Бесплатно же! Бери? Не бойся!

"Господи! – молча взмолился я. – Да что ты заладил: бесплатно, бесплатно. Будто деньги – самое главное. У Слова же денежного выражения нет, а ты заладил... Просил бы ты ради Христа, я б с тобой последним поделился. Мы сами выкарабкаемся, не пытайтесь нас переделывать. Так будет лучше для всех..."

Парень не отходил, держа протянутую мне газету, и, похоже, снисходительно улыбался...

– Спасибо, – наконец твердо сказал я. – Бог дает все, и мы об этом знаем уже тысячу лет. А на стадионах у нас играют в футбол. Правда, не очень хорошо. А молятся в другом месте. Без микрофонов. Спасибо...

Он резко повернулся, что-то раздраженно сказав уже на ходу, и смешался с толпой...

Наконец-то к остановке подошла целая вереница троллейбусов. Пропустив первые два, я вошел в третий, где было почти пусто. В него же несколькими остановками позже вошел и миссионер с пачкой газет, заметно уменьшившейся. Остановился на подножке у передних дверей, окинул взглядом салон, кажется, явно узнав меня, сел впереди. И мы поехали вместе – в разные стороны...

ЧУЖОЕ ПОЛЕ

Вырос подсолнух в дальнем углу участка, на меже картофельного загона из неизвестно кем оброненного семени. Вырос как-то совершенно незаметно и только после того, как достиг размеров почти человеческого роста, будто вдруг решил явиться. Открыла его девочка-дачница:

– Это кто? Откуда он взялся?.. Я же все лето ходила мимо купаться, даже ромашки срывала, а его не видела. Нет, правда, – подтвердила она и замолчала удивленно.

Видно было, что она знала это растение, знала, как оно называется, и поразило ее что-то другое...

Явлению подсолнуха я и сам удивился не меньше, потому что увидел его тоже впервые – невероятно, но я так и не мог вспомнить момента, когда он попадался бы на глаза маленьким. Впрочем, мне иногда кажется, что и сам я тоже не родился, а как-то вдруг однажды вырос темной ночью, продавив головой землю, как гриб под елкой, и утром предстал уже взрослым...

К концу июля подсолнечник стоял среди трав великаном, великодушно склонив голову, всегда будто тоскующий о чем-то, одинокий и немой, как иностранец, не понимающий языка чужой страны.

Иногда же он напоминал углубившегося в молитву монаха, и я наблюдал за ним только издалека, чего-то стеснясь, и никогда не прикасался... Север не место для теплолюбивого растения, и, мне казалось, иногда, что я слышу, как он что-то шепчет, двигаясь за солнцем. Когда оно поднималось над косогором и жарко светило ему в лицо, подсолнух поворачивал навстречу увесистую корзинку, величиной с тарелку, и сиял в благодушном забытии. На ночь же он будто угасал. И так все лето...

А лето оборвалось как-то вдруг, словно его отстригли... Утром одного из сентябрьских дней оно еще напоминало о пляжной беспечности июля с еще едва замечаемой тоской, а уже к вечеру того же дня воздух начал быстро леденеть, становясь плотным и осязаемым. Бесшумно ушли облака, ушли сами, без ветра, как бы посторонившись, улеглись вдоль горизонта и замерли, подернувшись лилово-

чернильным цветом. Только в центре небосвода осталась от них мелкая рябь, похожая на снежные хлопья, в которой колочье зажглись редкие звезды. К полуночи убралась и рябь, словно вымерзла в холодном свечении, стекавшем с полной луны. Ночь остекленела, погрузившись в сияющее безмолвие. Вокруг всё потеряло объёмы: и дома, и сарайчики, и деревья, и поле за речкой, заросшей ольховым кустарником – всё превратилось в силуэты, будто призраки...

Утром крепкий заморозок сразу же забрался под телогрейку. Земля подстыла, покрывшись мохнатым инеем, из которого влажное солнце высекало искры, взлетающие в воздух, словно из костра. И слышался кругом будто капустный хруст...

Переполненные ощущением незнакомой морозной чистоты, удивленно-испуганно притаились яблоньки-первоцветки, еще подвязанные белыми тесемками к колышкам, но уже похожие на крепко сложившихся подростков...

Подсолнух, будто нависнув над пропастью, падал. Недозревшая головка надломилась верхушку стебля и смотрела в землю. Обмороженные листья, словно обмякшие уши слона, свесились вдоль толстого стебля, и вяло покачивались от почти неосознаваемого колебания воздуха... Подсолнух стоял, шатаясь, напрягая все силы, чтобы не упасть, и, приходя в сознание, будто уговаривал себя: «Надо устоять!»

У подножья его поблескивала мелкая, еще зеленая травка, умывшаяся растаявшим инеем, как дождем, и опять помолодевшая. Рядом на пустом картофельном загоне светились цветочками кустики сурепки, ромашек... Подсолнух шатало...

Ночь наступила опять лунная...

Утром с восходом солнца снова всё сияло, и я, уже боясь взглянуть в сторону межи, чувствовал, что там что-то рухнуло. Рухнуло ночью, как дерево в лесу; в воздухе будто зияла дыра, а вокруг еще до сих пор слышался грохот падения...

Сломавшись почти у самого корня, подсолнух лежал среди травы, уткнувшись в нее лицом, словно улетевший куда-то и уже равнодушный и к солнцу, и к отогревавшейся земле...

ОДИН

...**П**оявление старика я ощутил раньше, чем увидел его, занятый просматриванием записей в дорожном блокноте.... Ощутил интуитивно, по изменившемуся поведению толпы, вывалившей на привокзальную площадь по прибытии очередного поезда дальнего следования: толпа, будто вдруг раздраженно, заворчала: "Ну, что ты тут путаешься под ногами! Видишь, все бегут, торопятся все!" И раздражение это сопровождалось, кажется, и молчаливой бранью, и обозленными взглядами в спину...

Старик чувствовал это, пытался уступать дорогу, когда обгонявшие цеплялись за мешок, висевший в его руке. Он перекладывал его в другую руку и виновато усмехался, но продолжал шагать неторопливо самостоятельно, не сбиваясь на общую суету, так что позади его невольно образовался узкий коридорчик, словно борозда за плугом...

Он был высокого роста, сухощавый, ссутулившийся, в сером выцветшем, как фуфайка, восточном халате и в чалме. Судя по узкому разрезу глаз на выжженном солнцем лице, старик был то ли пастухом-кочевником, то ли земледельцем. Шел он, старчески шурясь, и что-то искал взглядом по сторонам...

Наконец остановился перед маленьким газоном, покрытом желтой травкой, сухой, как лишайники... Остановился в нерешительности, посмотрел на пыльные кирзовые сапоги и, когда по газону протопала кучка юнцов с оравшим магнитофоном, тоже шагнул на травку...

Опустив на землю мешок, он оглядел небо, наглухо задернутое безликой мутью, за которой будто вовсе не было солнца, и, развязав мешок, вынул из него пол-литровую бутылку.

Пробка была свернута из газетной бумаги, он вынул её зубами, полил на руки, отер лицо, постелил вынутый из того же мешка домотканый коврик, похожий на половичок в северных избах, и опустился на колени... Подняв голову лицом вверх, старик скользнул по лицу ладонями и замер, едва заметно шевеля губами. Потом уткнулся лицом в землю...

Вокруг старика установилась какая-то особая плотность воздуха, и

об него будто спотыкались еще на расстоянии. На мгновение в людях словно просыпалось воспоминание о чем-то первородном, с пробуждением которого они не могли справиться быстро, на ходу и, спотыкаясь, в недоумении оббегали старика, переглядывались между собой, выдавливая на лицах то снисходительную ухмылку, то презрение, и уходили, выказывая друг другу и чувство превосходства, и сожаление, и озадаченность...

Старик молился отрешенно и напоминал камень, выступавший из воды. Площадь постепенно пустела, придавленная липкой мглой, павшей на астраханскую степь, и выглядела изнемогающей от духоты, как перед обмороком. Лишь около вокзального здания продолжали роиться кучки цыган, мелких жуликов, бездельников и одиноких пассажиров вроде меня, ожидавших своего поезда; валялись обрывки бумажек, окурки, раздавленные бумажные стаканчики с подтеками растаявшего мороженого, да еще продолжал висеть в воздухе разноязыкий гвалт и мелкая пыльца, не успевшая опуститься на асфальт, по которому будто только что прогнали стадо баранов...

И, казалось мне, что откуда-то издалека доносились вязнувшие в барханах звуки верблюжьего каравана, взлаивание сторожевых овчарок и стенающий голос муэдзина...

Потом объявили посадку на поезд Астрахань – Москва...

ДИТЯ

... **К**огда он попал в поле моего зрения, я невольно остановился, словно вдруг оказался в зоне притяжения мощного магнита, и от изумления как-то растерянно рассмеялся...

Мальчик, как потом выяснилось, Максим, показался мне похожим на ребенка, которого когда-то очень давно, еще младенцем, посадили на горшок и забыли... Он сделал все, что ему когда-то хотелось, подождал, подождал, а потом решил: "Ну, не снимают и не надо. Мне и тут хорошо, – и в полном забвении дорос лет этак до пяти...

В равной мере первое впечатление можно было выразить сравнением с одиноким человеком, сидящим на пустынном берегу моря, забавляясь вычерпыванием его ложкой...

Заинтригованный, я посторонился от толпы, толкавшейся между ларьками, и подошел чуть ближе. Ребенку было действительно лет пять,

максимум шесть. Одет он был в утепленную сине-красную куртку с поясом и застиранные джинсики в обтяжку, заправленные в высокие голенища ботинок. Но половину всей его фигуры составляла шапка ушанка из черной цигейки с кожаным верхом, похоже флотская, уши которой были отогнуты вверх. Шапка была, видимо, подарена ему кем-то из взрослых, может быть, со словами: "На, носи, на память. Быстрее вырастешь!" – и накрывала его по самые плечи. Получалось, если смотреть сбоку, что шапка сидела на куртке, лишь чуть виднелся кончик носа... Забавлялся Максим около маленькой лужи на асфальте, подернувшейся после ночного заморозка тонким ледком, на одной из торговых площадей в центре города...

Площадь кишела людьми, скрежетала, грохотала, будто её бомбили. В середине её строилась новая станция метро и крутилась бочка бетономешалки. Около ограждения стройки торговали с рук кто чем, к тому же среди этой толчеи, взвизгивая на поворотах колесами, пробирались трамваи. И еще ветер взвизгивал иногда холодную пыль и окоченевшую листву... Лужа, над которой заворуженно трудился Максим, была в нескольких метрах от толчеи, чуть за углом вагончика, торговавшего горячими пышками, но для него ничего будто не существовало...

Разбивая лёд с краю лужи обломком черного пластмассового плечика, похожего на обломок какой-то кости, он черпал им желтую жижу и по выемке внутри плечика перегонял её обратно в лужу, приговаривая что-то сдавленным полупшепотом.

– Так, пустим с этого берега на другой, – донеслось до меня и я прислушался.

Жижа бойко сбежала по его ладони в рукав куртки, Максим радостно, словно вырвавшийся на свободу ручеек, зажурчал:

– Ой, как хорошо идёт! Как хорошо! Вот так, еще немножко... Теперь начнём строить по-настоящему! – И снова журчал, под-сказывая что-то бегущему по желобу плечика глинистому ручейку...

Когда жижа стекала не так, как ему хотелось, он сердито шлёпал по луже. Брызги разлетались на куртку, на лоб, на щёки, розовые и круглые, словно яблоки, а он, не обращая на это внимания, снова зачерпывал, снова перегонял жижу по лотку и приговаривал:

– Ох, хорошо! Ой, какие брызгочки летят! Та-ак... Вот ещё немного перекачаем в эту половину и... Ой, ой, куда ты побежала не туда?!.. Ага, не так надо было... вот сейчас эти льдиночки перегоним направо, а эту

вот сюда-аа. Стой здесь! – приказал он маленькой льдинке, отгоняя её к кромке асфальта. Льдинка упорно ускользала, Максим упорно настаивал на своем, но потом согласился; – Ладно, пока лежи здесь, а когда я построю главное, тогда увидим...

"Что тут главное?" – с усмешкой подумал я, уже чувствуя себя втянутым в игру и наблюдая за толкавшимися на поверхности лужи льдинками, – и они тоже, казалось, недоумевали, что же такое из них хотят построить?..

Тут я заметил, что даже явно торопившиеся люди, увидев мальчика, хоть на мгновение, да останавливались, будто вздрагивали: "Господи, что это?" – и смотрели то с умилением, как на играющего котенка или щенка, то озадаченно размышляя, то завидуя чему-то, и, уходя, оглядывались...

Максим играл отрешенно и сосредоточенно, словно ворожил, общаясь с тайнами целой, лишь ему одному ведомой вселенной, и от этого ворожения вокруг него распространялась какая-то явно гипнотизирующая аура... Я наблюдал за ним, как за азартной игрой, не зная ни правил, ни смысла игры, но в то же время чувствовал, вспоминая, и то и другое, невольно заражаясь той же поглощенностью, которой был охвачен игрок... А главное, от фигуры мальчика шло какое-то греющее душу излучение, и к нему тянуло так же, как с мороза тянет в избу с теплой печкой... И в этом состоянии память вдруг извлекла, казалось, навсегда забывшийся афоризм, некогда прозвучавший в одной из научных дискуссий и поразивший меня романтически эффектным ходом мысли: "Истина – это ребёнок, забавляющийся вечностью..." И, подшагнув поближе, я негромко сказал:

– Ангел мой, тебя же в стирку придется сдавать...

Максим странно взглянул на меня из-под шапки, показав лицо, усыпанное брызгами, словно веснушками, и, не поняв, что это за звук прожужжал над ним, снова затонул в дело.

– Что-то я не вижу голубя у тебя над головой? – сказал я громче, не ожидая, однако, ответа. Но Максим вдруг отозвался:

– А он только что улетел. Скоро, наверное, вернётся, – Максим махнул куда-то рукой и опять исчез. – Ага, понял, как надо! – вдруг возгласил он, как человек, озаренный великой идеей. – Сейчас будем строить дальше. Вот так!..

Я больше не возникал, а ребенок выгреб на берег все льдинки и

сказал: – "Вот, теперь хорошо. Скоро поедem... Ах, жалко, Гошки нет, а то бы вместе..." Потом взял плечико за другой конец и снова стал отбивать крошку льда, орудуя обломком, как молотком. Лужа стала пошире, вода в ней плескалась, разбрасывая брызги, он торжествовал: "Вот так! Ух! Ещё чуть и откроем!" И, раскинув руки, как крылья, мальчик, ликующе планируя, пробежался вокруг лужи...

– Максим!? – вдруг послышался сзади меня испуганно смеющийся голос. К ребенку быстро подбежала пожилая женщина, как оказалось, бабушка.

– Ну, что ты с собой наделал? Ну, что? Ты посмотри на себя?! Вытащив носовой платок, она начала утирать ребенку лицо. Не сопротивляясь, Максим подставил под руку бабушки лицо и пояснил: – Бабушка, ты не бойся, я же дорогу строю, – и махнул куда-то рукой.

– Ой, ей-богу. Ну, ладно, строй, строй, – весело согласилась бабушка, размазала брызги по щекам внука и также бойко ускочила к картонному ящику из-под сигарет "ЛМ", на котором были разложены для продажи пучки зелени: петрушка, укроп и несколько головок чеснока. Кому-то ответила: «Петрушка – тысяча двести... Ну, ладно – берите за тысячу...»

Оставшись один, Максим еще расширил лужу, разгреб отколовшиеся льдинки, погонял по желобку плечика жижу, также сплавляя её то в рукав куртки, то брызгая на лицо, и, наконец, с удовольствием кому-то доложил: "Вот теперь всё как надо!" И вдруг, выкинув на асфальт несколько льдинок, радостно закричал: "Бабушка! Смотри! Я уже построил!" – и, не дожидаясь ответа, присел около лужи на корточки, опять будто на горшок, и, глубоко задумавшись, сказал про себя: "Вот и всё! Теперь можно взлетать"..

И мелкими шажками, и чуть пришлёпывая воду, прошелся по луже, любуясь осыпавшими его одежду капельками воды: "Ах, какие получаются!" И, прошлёпав лужу вдоль и поперёк, Максим снова побежал по кругу, раскинув руки, будто полетел среди прохожих, виляя в парении между высокими столиками у вагончика "пышки", галдя какими-то звуками, и, совершив в этом парении замысловатую фигуру, снова опустился на берегу лужи, сложив крылышки как голубь, почудившийся мне над его головой...

КОТЯТА

Хотя с детства меня окружали не игрушки, а настоящие живые кошки, собаки, иногда зайчата, и однажды даже волчонок жил в доме, — к рождению тех котят я отнесся особо, и часто останавливался возле картонной коробки, где разместилось семейство. Разглядывал голые лапки, похожие на птичьи, мягкий пушок, ушки, особенно — наглухо замкнутые глаза, еще не видевшие света, за которыми мне чудились времена, когда «земля была еще безвидна и пуста, и тьма над бездною и Дух Божий носился над водами».

И не покидало меня предчувствие, что когда котята подрастут, обязательно выкинут что-нибудь неожиданное... Но в первые дни котята ничего не совершали. Пока мать Мазина, ещё в возрасте невинной беспризорницы пригретая мною на улице, зачинала в подвалах новое потомство, все трое спали, сбившись в кучку на дне коробки. Казалось, не просыпались они и в тот момент, когда возвращалась мать, а лишь обнюхивались, отыскивая соски, и, чмокая, продолжали спать — только будто ещё глубже...

Словно три кабачка, безмолвно, но старательно зреющие на грядке. Наливаются, наливаются...



Зрели они так обнаженно, что даже потрогать котят было боязно, и в первые недели две я лишь однажды повертел их в руках...

— С первого раза, а толково зачала!

— сказал я матери, настороженно наблюдавшей за процедурой установления пола.

Мазина в ответ муркнула: сама, мол, знаю, и с облегчением упрятала под живот черного котенка — кошечку. А заодно и двух других котиков... Жизнь семейства стала быстро меняться, когда у котят прорезались глаза. Кошка-мать, возвращаясь с улицы, в коробке то и дело никого не находила. Останавливалась и вопросительно смотрела на меня: «А где они?..» — Не знаю. Расползлись. Гуляешь, теперь ищи!

По интонации голоса Мазина догадывалась, что дети её целы, оглядывала комнату и мурчала.

Котята слушались не всегда, и мать собирала их насильно: брала за шкуру и носила в гнездо...

Котята покорно замирали в зубах матери, висая как намокшие тряпочки, но как только освобождались, сразу же начинали шалить. Вдруг оказывалось, что всем хочется припасть к одному и тому же соску. И тут начиналось...

Особенно сражались котики, кувырая друг друга, и хоть на мгновение, но каждый добивался желанного сосочка. Потом и сестрица, мирно кормившаяся рядом, тоже заявляла претензии. И хотя ей уж ни с какой стороны нельзя было подступиться, она все-таки ввязывалась в борьбу, покусывая то одного, то другого...

Важно откинувшись на бок, млела кошка-мать, но вдруг начинала обихаживать всех языком, как лопатой. И так поддевала, что котята летали кувырком, испуганно таращили глазенки и, на всякий случай, растопырив лапки, уже выпускали коготки...

Сцены эти повторялись часто и заканчивались одинаково: все сыто засыпало...

Первой просыпалась чаще сестрица: разошурит глазки, осмотрится и капризно позевнет: "Что такое? Сколько же можно спать? Эй, вы, мне же скучно!" И тормошит братьев: одного аккуратно ущипнет за ухо, другого куснет за хвост и выжидательно облизнется. Потом лапой по затылку... И вот уж богатырский сон потревожен.

Месяца через полтора в квартире то и дело возникала настоящая беготня. По чуткому на звуки линолеуму кошачьи коготки стучали так, словно по полу пригоршнями рассыпали горох...

У каждого котенка уже отчетливо сложилась масть, стал виден характер, и каждому из них я дал кличку.

Черную, с томными глазами сестрицу, обладавшую к тому же необыкновенной пластичностью, я однажды назвал Пианисткой. Братья оказались Бурундуком и Философом. Последний был серой масти с белым бантом на шее, всех потолще и всех, пожалуй, посильнее. В игры он вступал охотно, даже иногда сам затевал их, но вдруг в самый разгар отходил в сторону, снисходительно наблюдал за братом и сестрой и, похоже, думал: «Расшалились!? Но ведь дети же малые. Нет ума, и что с них спрашивать!»...

Бурундук, унаследовавший от матери голубоватый отлив шерсти и яркие полосы вдоль спины, был хитроватей Философа. Он был явно

склонен спалнуть, раньше других сунуться в неизведанный уголок, и покусать что-нибудь запретное. Когда он уж чересчур забывался, я повышал на него голос:

– Ты, братец, много себе позволяешь!

А он таращил глазенки и отвечал: «Да? Извините, извините». – И ушмыгивал в ближайший закуток...

Философ мне виделся в будущем важным котом. Пианистка – красавицей с походкой балерины. Бурундук – всеми любимым шалуном, который не совершит ничего выдающегося, но и бездарность его будет талантливой.

Вот он-то и подвернулся мне под руку, когда мне надоело лазить с тряпкой за шкаф, где семейство облюбовало место для отправления нужд. Я решил заняться воспитанием всерьез...

Первой признаки озабоченности проявила Пианистка, но как-то сумела увернуться из поля зрения, и я обнаружил изрядную лужицу только после того, когда она, уже облегченная, ершила спинку и, подбоченясь, задиралась с матерью. Философ сидел в сторонке – наблюдал, и когда мать свалила ударом Пианистку на пол, он принял осанку важного человека и с ухмылкой подытожил: "Вот так, девушка! Молоко на губах не обсохло, а уж на мать задирается!..."



Бурундук же в этот момент жалобно поскуливал и совался в разные углы. Потом будто вспомнил и унырнул за шкаф.

– Ага, кажется, приспичило, – сказал я, обращаясь к кошке, – слышишь, Мазина?.. – Кошка ответила вопросительным взглядом.

– Сейчас узнаешь!

К Бурундуку я подкрался в тот момент, когда он скреб лапками, пытаясь загresti озерцо, оставленное сестрицей. Наконец, сообразил излиться рядом. В это мгновение я его и перехватил. Он так перепугался, что сердечко его тикало строча́, будто не в нем, а у меня на ладони.

– Ничего, не бойся. Надо, брат, учиться жить в цивилизованном обществе. А то я уже с тряпкой не расстаюсь. Меня тоже не раз учили... Помню, в чужой огород за репой залез. Ох, дал отец жару... А за тобой скоро новые хозяева придут. Я уже всех пристроил к хорошим людям.

– Наставлял я котенка, углаживая его и неся к посудине, в которую ходила кошка-мать. Мазина озабоченно муркнула, но осталась при ершившейся дочери.

Философ глубокомысленно наблюдал. Бурундук рвался из рук, нагнетая панику, и пищал...

– Ну, успокойся. Не дрожи. Ничего страшного нет...

В туалете я опустил его в песочек, хоть постоянно и промывавшийся, но все же пахучий. Запах действовал. Бурундук затянулся им, как изголодавшийся курильщик дымом, пошуршал песочком и – полез обратно. Похоже было, что нужда от страха утихла, и он не понимал, зачем его сюда посадили. Выбравшись из тазика, он ткнулся в дверь и плаксиво замыкал. Словно заплакал...

Тут же отозвалась мать, и оба заголосили так, что я вынужден был впустить и её. Мать, что называется, заходила кругами.

– Ты-то, Мазина, что голосишь? Ты лучше подскажи ему, что надо делать, – внушал я кошке, присев перед ней. А она тоже не понимала, чего я добиваюсь от её дитяти, терлась о мои ноги и урчала то просяще, то угрожающе...

Бурундук хныкал, как ребенок, потерявшейся на улице, и мать стала ломиться в дверь: поджав уши, она совала в щель голову, вставала на задние лапы, как собака, дотягиваясь до дверной ручки. Дверь открылась. Накрыв котенка, Мазина вытаскивала котенка из туалета в коридор. Мне подумалось, что лучше уж лазить с тряпкою за шкаф, но... я выпустил только мать, а Бурундука задержал, опять ощутив его сердечко у себя на ладони...

– Потерпи, – сказал я, снова опустив его в песочек. – Пока не сходишь, не выпущу!..

На этот раз в материнский запах Бурундук погрузился без всяких признаков паники. Нюхнул, лизнул, осмотрелся. И... Тут, словно впервые, узнал, что у него есть хвост: "Интересно, что это такое за мной мотается? – будто сказал Бурундук и цапнул. Хвост отскочил, и он очень этому удивился. Ещё раз цапнул, ещё раз – уже разозлившись. Но хвост опять отпрыгнул: "Да что такое?!"

И Бурундук завертелся в тазике волчком, цапая вместо хвоста воздух и приговаривая: "Да, не может быть! Да я тебя?!"

Я хохотал. Он остановился и, облизнувшись, задумался: "Ага, понял, как надо!" Опустил зад в песочек и замер, подтягивая к нему голову, а потом и хвостик подворачивая навстречу – ближе, ближе...

Вдруг резко цапнул: "Ага, попался!" – и начал щипать хвост, щелкая зубками: "Попался! Ага! Я же говорил, что достану!..."

За дверью стояла тишина. Потом Мазина подала беспокойный голос. Бурундук бросил хвост, стал серьезным, словно что-то вспомнил. Вдруг приосанился и замер, округлив глазенки, и начал таять, таять, Вскоре под лапками его запоблескивала сырца, потихоньку разливаясь по песочку, как водичка из тихого родничка, и Бурундук, изливаясь, словно всплывал на ней. Я радовался скорому успеху и хвалил:

– Вот видишь, как хорошо получается! Чувствуешь? Хорошо ведь.

Бурундук, млея от удовольствия, смотрел мне в глаза и чуть ли уж не хвастал: "Видишь, какой я молодец! Видишь, да? С первого захода научился!" И все всплывал над набухшим как от дождя песочком. Потом выскочил из тазика, отряхнул лапки и важно посмотрел на меня: "Ну, что скажешь?!"

– Молодец! Отлично! – сказал я и отворил дверь. За дверью сидели мать и Пианистка. Размышляюще подтягивался Философ. Бурундук загадочно прошелся мимо сестрицы, робко заглянувшей в приоткрытую дверь, вдруг задиристо выгнулся, напружинив хвост, и сказал: "Вот так! Видали?! Теперь ваша очередь!" И, свалив в прыжке Философа, ринулся наутек.

Опрокинутый Философ явно опешил и возмутился: "Что такое?! Да я тебя, братец, так отделаю, что своих не узнаешь!"

Но мудрость помешала ему разгневаться, и он только вопросительно посмотрел на мать. Пианистка же оценила поведение Бурундука как воспитанная девица: "Маман, да это же моветон!..."

Маман Мазина чувствовала, кажется, только одно – облегчение: дитя живо, здорово – и с этим пошагала вслед за скрывшимся в комнате Бурундуком. Переглянувшись, за ней потянулись Пианистка и Философ. При этом Философ выглядел отменно осторожным: обнюхивался, приподнимал голову, как бы с высоты прикидывая обстоятельства.

Прополоскав песочек, я тоже подался в комнату. Там кошка-мать отбивалась от разбуянившегося Бурундука, Наконец, сбила его с ног, строго промурчала, вскочила в кресло и откинулась на бок.

Бурундук сделал по комнате несколько галопов, подначивая продолжить игру, но его не поддержали, и все семейство вскоре сыто задремало, новорожденно сомкнув глаза под животом матери...

Я подумал, что приключение, случившееся с Бурундуком, вполне

достойно того, чтобы его описать, и с блокнотом пристроился возле кресла, присев на пылесос... Начало не пошло. Я часто прикуривал, вставал, ходил и спавшие котята, наконец, почувствовали это. Вздрогнут, когда я чиркну спичку, растопырят глазенки: "Фу ты! Это он тут возится!" – и снова дремлют. Потом забурчали: "Вот расселся! Чего надо? Спать же мешаешь!" А когда я собрался с мыслями, к чирканью спичек прибавилось еще и шуршание страниц, котята проснулись совсем. Оставив дремлющую мать, они кружком уселись перед блокнотом и начали наблюдать. Писалось быстро, так что глаза их гонялись за моей рукой вскачь. Скоро им это не понравилось: "Что такое? Туда-сюда. Туда-сюда. Нет, так дело не пойдет!.." Первым дерзнул Философ. Приподнявшись, он нюхнул корешок, ковырнул его лапой и, увидев, что ничего не меняется, облизнулся. Но осмелела Пианистка: она стала откровенно грызть угол блокнота, но тоже безрезультатно – я не реагировал. Бурундук почему-то выжидал. И вот – тоже не выдержал. Видимо, сообразив, что дело-то касается прежде всего его, он вскочил на подлокотник кресла и когтем вцепился в мой указательный палец... Таким образом мы закончили рассказ о том времени, когда котята были еще слепыми: он держался за палец, а я волочил его лапу вместе с ручкой, и мы оба были довольны. Когда же я дошел до его туалетных походов с ловлей хвоста, он вдруг отлепился и возмущенно взглянул на меня: «Ты что пишешь? Ты что меня на смех выставляешь? Смеёшься, да?» и ударил лапой прямо по авторучке.

– Не мешай. Бурундук, – сказал я ему, у меня бойко записалось. «Как это не мешай!? Ты же врешь!» – ударил лапой Бурундук. "Не вру. Я кое-что домысливаю. Перевожу на человеческий язык. И всё." «Нет, не все! Не домысливаешь, а врешь. Ухаживает за нами Мария Арсеньевна. Она же и маму рыбой кормит. Это раз. А будущих хозяев нашла нам твоя жена. А ты только дивишься на нас: "Тьма над бездною, да произведет земля душу живую, да Дух Божий носился над водами." Это мы лучше тебя знаем. Мы же раньше вас произошли...»



Бурундук лукаво глядел на меня, подсекал кончик авторучки и, похуже, любовался хвостиками, отставшими около букв. Я продолжал писать.

«Ах, так? Все равно не дам!» – Бурундук ударил лапой посильнее.

– Почему же?

«Потому что ты врешь».

– Больше не вру.

«Врешь. Я главное вспомнил: ты же меня бездарным обозвал...»

– Но я же сказал, что и бездарность твоя будет талантлива.

Бурундука это не удовлетворило. Он поднялся на задние лапы и бросился на авторучку, как на мышь, не давая ей двигаться. Потом стал сгибать страницы, так что теперь и строчки полезли одна на другую. А он будто приговаривал: "Врешь, брат! Все врешь!" И занятие наше стало напоминать игру в шашки между Чичиковым и Ноздревым...

А тут еще возмутились Пианистка с Философом и начали терзать весь блокнот: "А почему ты про нас мало написал? Мы что, хуже?" Особую обиду выказал Философ, наверное, потому, что я подтрунивал над его мудростью. Он забрался по руке на мое плечо и уселся там, обнюхавшись как перед отправлением нужды...

Не знаю, что мы ещё бы сделали, но я решил, что рассказ в основном записан и предоставил блокнот в распоряжение котят.

Пианистка сразу опрокинула его в кресло, слегка испугалась, но, не усмотрев никакой угрозы с моей стороны, прыгнула туда и сама. За ней свалился. Бурундук. Мать Мазина муркнула. Сняв с плеча Философа, я опустил туда же и его. Но захлопнувшийся блокнот интересовал их мало. Я закурил. Котята, видимо, тоже устали и без ссоры улеглись под матерью...

Через месяц их поодиночке развезли в разные концы города, и ни я, ни мать Мазина с ними никогда больше не виделись. Только первое время, от школьников, унесших их, доходили различные слухи, но все похвальные. Потом и слухи перестали доноситься. Школьники тоже выросли и покинули школу. Может быть, и свои дома тоже. Как я когда-то, очень-очень давно.



УСМЕШКА

Ещё в вагоне метро я невольно заметил, как она улыбалась, едва сдерживая ликование, то поднимала губки, то гордо вскидывала голову, встряхивая длинные распущенные волосы, то задумывалась, сладостно вспоминая о чем-то, и глядела в бутон розы темно-вишневого цвета, которую держала за середину длинного стебля, чуть перед собой, будто вознося цветок на пьедестал. И снова улыбалась...

Девушка была в возрасте студентки, и лицом, и одеждой из числа тех, которые не бросаются в глаза и обычно не избалованы вниманием...

Из метро мы вышли на одной станции, на улице она обогнала меня, держа розу всё также чуть перед собой, и словно обдала своим ликованием как ветерком.

– Это вам подарили? Или вы кому-то подарите? – обронил я на ходу, не надеясь, однако, на ответ.

– Нет, это МНЕ! Подарили! – ответила она, полуобернувшись, подчеркнув интонацией голоса слово «мне» – и кокетливо, и улыбаясь. – М-да!.. Мне! Подарили!

– Поздравляю, – сказал я, слегка иронизируя.

– Спасибо, – радостно отозвалась она, не заметив иронии... И убегая, опять полуобернувшись, опять встряхнула волосами, упавшими на ляжки маленького рюкзака, висевшего у неё за спиной. И пошла, едва касаясь земли, а потом будто полетела, полетела...

Взглянув ей вслед, я усмехнулся и важным шагом двинулся в магазин «Охота и рыболовство» присмотреть снасти и новый ящик для зимней рыбалки, воображая себя на первом льду и тайно уже ликуя от предвкушения момента, когда рука, поддерживающая блесну, вдруг наконец-то ощутит мощный удар окуня, и всё вокруг на мгновение озарится будто ослепительным затмением...

=====

РАССТАВАНИЕ



НА ПУТИ К ОСТРОВАМ

Вокзал, начинавший закипать в преддверии курортного сезона, любопытно расступался, пока мы, сопровождаемые оравой родственников и знакомых, перетаскивали свой багаж к поезду: специально изготовленные ящики для упаковки киноаппаратуры, водолазного и альпинистского снаряжения, пластмассовые бочки, канистры, спальные мешки, палатки... Проводник почесался, увидев огромную разномастную кучу, скопившуюся около него, и запротестовал. Директор киногоруппы Игорь Ворохов, молодой, но тертый кинофинансист, важно предъявил ему билеты и о чем-то пошептался. После чего мы быстро засновали внутри полунаселенного вагона – Заполярье место не курортное...

Вот и трепыхнулись вагонные шторы, поезд медленно покатился, оставив на платформе затосковавшую родню. Усталые от погрузки имущества и суеты проводов, мы вышли в коридор вагона, закурили, приглядываясь к пригородной местности и распавшись в своих мыслях на отдельные миры.

Весна наступала мощно. Деревья покрылись густой сочной зеленью. Листья росли жадно, будто увеличиваясь на глазах, и от этой страстности деревья, казалось, шумели даже в безветренную погоду...

– А как-то сейчас выглядят наши острова? М-да? – Семен вздохнул. Потом, как всякий истинный оператор, азартно, почти суеверно, взмолился: – Эх, только бы погода не подвела. Чую, там такое можно снять! – и, помолчав, вдруг спросил у меня: – А ты «скворечник» на Острове на Харлове помнишь?

Мы захохотали: скворечником назывался дощатый сортирчик. Он был установлен на концах тонких бревен и нависал над глубокой пропастью, покачиваясь даже под собственной тяжестью. Ветер задувал снизу как в трубу, будка скрипела и выла. Внутри ее казалось, что ты падаешь в пропасть, и тянуло побыстрее выскочить. По крайней мере, дверцу, на которой углем было написано «Не забывайся», закрывать не хотелось.

– Его выходка. Станный человек... Токарь, студент, боксер. Кто еще?

– Артист цирка, – добавил я. – Да, Тойво. Особый парень. С тех пор

часто его вспоминаю. Пытаюсь понять характер – не отмыкается. Скрестились какие-то совершенно разные черты, иногда кажется, что он и сам запутался. Вернуться хочет, а горд... Теперь пытается презреть все, но добр для этого...

Еще что-то хотелось сказать мне о человеке, рядом с которым два месяца назад были прожиты целые сутки, но, промолчав, я сказал о другом:

– Вот Евдокимов – иное дело. Помнишь папиросы?

– Да, тот полет был краток, но богат на впечатления... Было это в конце зимы.

Еще сидя в аэропорту, я пытался представить, как выглядят острова, до открытия навигации доступные, да и то не всегда, лишь вертолету, но ничего определенного не виделось. Вместо всего чудился глобус с пучком меридианов, сходящихся у Северного полюса, шарик, наколотый на земную ось, что-то белое... Зная, что Баренцево море не замерзает, я никак не мог увидеть его не замерзшим – как это? – ведь рядом самый холодный океан, ветра, морозы...

Наконец появились пилоты.

– Все! Разрешили, – с радостным облегчением объявил нам Ворохов, выскочивший из какой-то аэропортовской будки.

Вертолет, вздрагивая, работал моторами, потом словно подтянулся за перекладину, висевшую где-то в небе, и земля стала проваливаться. Быстро начали уменьшаться дома, Мурманск превращался в макет. В кабине вертолета, кругом стеклянной, будто на открытой площадке, только что ветер не хлещет. Но вертолет надежно лежал в воздухе, а в душе постепенно не оставалось места ни для чего кроме... Как это выразить? Да простят меня хладнокровные люди, но все вокруг было похоже на чудотворение...

Нас четверо, мы сидим вплотную друг к другу, но совершенно отдельно, будто нырнули с затаенным дыханием. Лишь иногда это оцепенение прерывается выдохами:

– О! Вот это да! М-да?! Ого-го?!

Заглатываем воздух и снова ныряем.

Солнечно и бело. Лишь по горизонту синяя дымка, в которой, как дельфины, ныряют сопки.

– Егор? – кто-то трогает меня за плечо. – Смотри влево.

Там синевы нет, и вместо нее брызнуло всером желтое зарево: было это похоже на утро, и будто несколько солнц всходили одновременно.

Глаза не отрываются от окон, все хочется у кого-то спросить: «Что это?» Кажется, изумление достигло предела, и в то же время невольно ждем чего-то еще. Выдыхаем, набираем воздуха и снова ныряем.

Постепенно реже становится лес, еще четверть часа – и земля превратилась в одно огромное снежное безмолвие, лишь местами пятнистое от мелких островков кустарника, сверху напоминающего домашние цветочки, или щетину на небритых щеках, или зимний яблоневый сад.

И все это закруживают сопки, взявшиеся за руки, как танцующие человечки на картине Матисса, и забываются все виденные раньше земные картины.

Еще реже щетинка кустов, реже, ре...

– Это не кусты, карликовые березки. Скоро совсем исчезнут, – полуобернувшись к нам, сказал пилот.

– Вы уже, наверно, равнодушны к этому? – спросил я у него, кивнув за окно кабины, и приготовился услышать небрежно-утвердительный ответ, каким часто грешат перед изумленными новичками бывалые люди.

Пилот улыбнулся.

– К этому нельзя привыкнуть. Вроде все одно и то же, а в каждом полете – разное. Погода творит чудеса...

Появились облака: то ли мы к ним подлетели, то ли они откуда-то подошли, но солнце скрылось ненадолго. А карликовые березки со стволами, скрученными словно в узлы, – вблизи я увидел их уже летом, – быстро начали исчезать с земли: от травинки до травинки – версты. И уже только сзади. Впереди все видимое пространство застелило снегами.

Вертолет летит невысоко. Глядя на землю, я вижу, как ветер срывает на скалах поземку, и на минутку высаживаю себя вниз. По телу пробежала колючая дрожь: «Ведь там нигде не укроешься – голо. Несколько мгновений – и тебя не будет...»

Когда слева по курсу вертолета появились три черные точки, похожие на отверстия мышиных норок, я спросил:

– А это что?

– Домики оленеводов.

А через несколько минут по белой пустыне наперерез вертолету прошагала стальная шеренга линии электропередач.

– Не может быть! Неужели и в тундре? Люди? Ведь тут и железо дрогнет!

– Да, это та самая, Серебрянская...

Я не расслышал пилота – ГЭС или ТЭЦ. Я вдруг подумал, что, может быть, лет через десять пилоты будут летать уже без сумок с аварийным пайком и всякий, кто окажется в кабине вертолета, не станет хватать записную книжку, чтобы закрепить в ней редкое впечатление, а полетит над недостигаемой тундрой с тем же чувством, что и над Ленинградом...

Стальные опоры словно устали и отстали. А впереди еще почти на полчаса лета лежало белое пространство, и казалось, что вертолет не преодолевает его, а неподвижно висит. Внизу время от времени просматривалась поземка и появлялась темная тень от вертолета, величиной с муху...

И вот тундра осталась позади. Мы ждали, когда распадется море. Но оно возникло не так – не распахнулось. Неожиданно узкая, как стрела, синяя полоса обрезала белизну материка, стала расширяться, отодвигая горизонт, и в ней постепенно завсплывали белые комья: то ли айсберги, то ли стога, укрытые снегом. Вертолет пересекал пролив, приближаясь к одному из островов, издав далеко казавшемуся плоским, и тот безмолвно будто начал расти из моря в высоту, не обнаруживая никакой жизни, кроме опять же поземки, сновавшей около верхушек кое-где обнаженных скал. Пилот, отыскивая ровную площадку для посадки машины, облетел весь остров по периметру.

– Что они, вымерли все, или замело? – сказал он, повернувшись к нам, и положил вертолет набок для нового захода.

Мы сидели как завороченные, глядя в белый остров, плавающий среди парившего моря. Пар поднимался над мелкой волной ровными, словно борозды вспаханного поля, рядами, окуривая острова, и на горизонте смыкался с тяжелыми, фиолетового оттенка облаками. Наконец у двух домиков на краю острова зашевелились черные фигурки и побежали на вертолет, размахивая руками и таща по снегу ярко-оранжевые пузыри. Потом кто-то появился с полосатым аэродромным сачком. Сверху все это казалось маленьким, как на картинке. Но даже с высоты чувствовалось, что эти игрушечные человечки необыкновенно взволнованы. До нас будто доносилось: «Эй, неужели это правда?! Не обман? Вы сядете?»

Мы недоумевали и только приземлившись поняли, что появление вертолета над островом в это время – почти чудо.

Пилот примерился к площадке и пошел на посадку. Еще не успокоились лопасти винтов, когда люди рванулись к дверцам машины. Трое мужчин почти одновременно набросились на нас с вопросами: «Вы кто? Как вы здесь оказались? Геологи?»

Мы, едва соображая, где очутились, начали путано объясняться.

– Кино? Да вы что? Так птиц же сейчас нет, они в мае... Хотите снять острова зимой? А застрять не боитесь? – изумлялся и тормозил нас бородатый, среднего возраста человек в нараспашку наброшенном полушубке, как потом выяснилось, начальник метеостанции, занимавшей с разрешения заповедника уголок острова, километрах в трех от тех мест, где летом гнездились хозяева островов – полярные птицы.

– А вы обратно когда? – наседал парень в телогрейке, кутаясь в шарф, постукивая от мороза и возбуждения валенками. – Через день? А меня возьмете? Надо слетать на материк. А вертолет к нам можно вызвать только в крайнем случае. Да и то без гарантии. Погода как завьет, не только вертолет, птица заблудится... Ну, вы даете!

Постепенно суета утихала. Когда стало ясно, кто есть кто, подошли еще двое парней моего возраста, стоявших поодаль. Подошли поближе и спросили:

– А вы откуда, ребята?

– Из Ленинграда, – ответил я.

– Ух, ты! – вырвалось у одного из них. – А мы тоже. Я с Петроградской, Евдокимов с Охты. – Потоптались в снегу, не зная, что еще сказать или спросить. Мы были в унтах, они почему-то оба в сапогах.

– А вам не холодно? – спросил Семен, удивляясь.

– Да нет. – Оба понимающе засмеялись. – Мы уже второй сезон дежури́м тут. Привыкли. У нас есть и валенки. Но сегодня и не очень холодно... А вам на кордон заповедника? К Тойво?..

Мы кивнули, а Евдокимов, выждав паузу, обратился к начальнику метеостанции, разговаривавшему с нашим директором.

– Николай Максимович, мы поможем ребятам добраться?..

– Какой разговор, обязательно. Я тоже схожу, – ответил тот.

Домик заповедника чернел стенами под обрывом острова, казалось, совсем близко. Но это только напрямую, и мы часа два порхали в снегу, плотном, как мука, ныряя в овраги с рюкзаками и ящиками. Из домика никто не вышел...

– Вообще-то Тойво замкнутый человек. Но он должен быть там, – негромко сказал Николай Максимович у полузаметенного крыльца домика и, приоткрыв дверь, как в логово шагнул в таинственную тишину, дохнувшую на улицу из едва светившегося коридора. И мы, осмысливая происходящее и уже невольно запасаясь храбростью перед какой-то явно загадочной встречей, решили закурить. Среди стужи и поземки, сыпавшейся с карнизов, шумело и дымилось седым паром Баренцево море. Я достал пачку папирос. Веснушчатый Евдокимов, так и не назвавшийся по имени, застенчиво стрельнул по ней взглядом.

– Закуривайте, – предложил я.

Он взял папироску, стукнул о ладонь мундштуком, прочел на нем надпись и, пересиливая в себе стеснение, попросил:

– А вы не можете мне всю?..

– Естественно, – ответил я, думая, что на острове туго с куревом. – Распакуемся, могу еще...

– Нет, не в этом дело. Я «Беломор» даже не курю. Просто пачка-то из Ленинграда.

Пачку я купил в Мурманске и смутился.

– Неважно, – сказал он, догадавшись. – Сделано там! А кроме того, любой предмет с материка – это уже... А я вам воблы потом закину. Нам дают...

Начальник метеостанции вышел на крыльцо и пригласил заносить вещи. Смеркалось. Обстукав унты от снега и захватив для первого захода что-нибудь полегче, мы гуськом, принохиваясь и немножко робея, переступили порог в узкий коридор, едва освещенный оконцем на другом конце. Пахнуло старым, морозным и таинственным духом логова. По бокам справа и слева стояли какие-то вещи, едва различимые. Около двери, чуть приоткрытой, лежал остаток промерзшей туши, рядом с ней топор и крошки раздробленных костей, высвеченных пучком света, пробивавшимся из комнаты. Вошедшие первыми с кем-то здоровались. Вслед за ними, окутывая ноги, вваливались клубы холода.

– Здравствуйте, – негромко сказал я, входя в комнату и стараясь мгновенно оглядеться.

Сбоку от входа топилась, подымливая, печка.

– Егор, – представился я человеку, сидевшему около нее.

– Тойво, – отозвался он, не вставая с табуретки, не смущаясь столь

неожиданным нашествием людей, и продолжал негромко, с чуть заметным акцентом: – Я слышал вертолет, но не поверилось. Из конторы не предупредили. Связи нет...

Это был человек среднего возраста. Одет он был в тонкий черный свитер, поверх которого вместо жилетки натянут холщовый мешок с отверстиями для головы и рук. На босых ногах – тапочки без пяток, едва висевшие на пальцах. Белые гладкие волосы спадали на плечи, а вокруг головы – узенький поясок из оленьей шкуры. Он напоминал индейского вождя, оставшегося без племени. Долго и придирчиво присматривался он к нам. Кофе принял с нескрываемой радостью, благодарно, как европеец, знающий в этом толк, – но не разговаривал. И только к вечеру, когда уже весь остров и домик утонули во тьме, стал общительнее, но держал дистанцию. Мы, чувствуя это, спрашивали его осторожно.

– А вы уже давно здесь?

Тойво поставил чашку с кофе, который он варил в гильзе снаряда, ответил кратко:

– Восьмой год.

– И каждую зиму вот так один? – вырвалось у кого-то. – А что здесь зимой делать-то?

– А что делают егеря в других местах? – иронически усмехнулся Тойво. – Слежу за порядком. Это же заповедник. Дом содержу, охраняю...

– А от кого тут?

– Кордон положено охранять. И от соседей. Озоруют. Собак заводят. – Он кивнул в окно, в ту сторону острова, куда ушли четверо метеорологов...

А сейчас поезд шел среди плотно сомкнувшегося зеленого леса как по тоннелю. Но, думая о новой встрече с островами, мы продолжали вспоминать.

– А ты помнишь, каким супом он нас угостил?

– И сейчас не верю, что из собачатины. Лучше и наваристей супа никогда не едал. Пахло всеми приправами, даже картошкой, хотя ее там не было...

– Так он же не зря вспоминал поговорку китайского повара: «Все съедобно под луной, надо только уметь...»

Мы просидели в домике до поздней ночи, разговаривая об островах, птицах, о йогах и даже о чудесах филиппинской медицины. Тойво непрестанно подтапливал печь, но в комнате было прохладно.

– А вы где спите?

– Хотите взглянуть? – Тойво, взяв керосинку, повел нас по коридору.

Комната, в которой мы оказались, была совершенно пуста. Форточка открыта. «Лучше проветривается», – пояснил Тойво. Холодно, как на улице, только что не было поземки.

– А тут я сплю. – Он приподнял керосинку и кивнул в угол, где стояла раскладушка, застланная тулупом.

– И все? – Мы были ошеломлены.

– Видите ли, – усмехнувшись, пояснил Тойво, – я собираюсь еще дальше на Север. Хочу на Врангеля, в новый заповедник. А поэтому надо готовиться...

Всю ночь Тойво топил печку, обогревая нас, пока мы спали, зарывшись как мыши во все, что можно, и не снимая полушубков. Разбудил, едва рассвело:

– Пора кино снимать, бледнолицые.

На плите кипел чайник, разогревался вчерашний суп и наши консервы.

Перед выходом на остров Тойво надел курточку на меховой подкладке, а в туристские ботинки залил подогретой воды.

– Не беспокойтесь, это проверено. Пока живой, вода будет теплая...

Ветер свистел по верхушкам острова, перехватывая дыхание, в лицо хлестала поземка. Мы кутались в воротники полушубков, прикрывая ими лица, а от моря валил пар. Вдаль на восток тянулась цепочка соседних островов. Казалось, будто когда-то материк упал и они откололись от него, как брызги.

Усталые, голодные и восторженные, мы возвращались в домик, когда снимать стало темно. Брели медленно, ориентируясь по обнаженным ветром камням, чтобы не утонуть в снегу. Тойво, весь день общавшийся с нами откровенно и тепло, опять стал подчеркнуто сдержанней, будто что-то вспомнил и спохватился. Шел он сбоку, чуть сзади, явно отпадая от нас. Я остановился, поправил рюкзак с оптикой и, когда он поравнялся, не выдержал:

– Может быть, завтра с нами на материк? – и, желая подчеркнуть, что смысл вопроса более широкий, впервые откровенно заглянул в его тяжелые, глубоко провалившиеся глаза.

Он понял и не смутился, словно ждал от меня этого вопроса. Озадаченный его личностью, я с первого момента встречи невольно наблюдал за ним, как охотник, и он это, кажется, чувствовал.

– Зачем? Лучше продолжать эксперимент над собой, – ответил он,

не мне, а будто своим мыслям. Потом помолчал и вдруг, словно решив все запутать и, главное, отомстить мне за попытку разгадать его, с усмешкой произнес: – А вы ведь не живете, вы суетитесь.

Я не возразил, но мне показалось, что «там» ему чего-то все-таки очень жаль...

На следующий день Евдокимов принес сверток с воблой, записку с телефонами, по которым просил позвонить: «Не забудьте. Всех крепко жму».

Вертолет набирал высоту, остров, как всплывающий белый кит, сначала увеличился, а потом начал уменьшаться и отставать. Как угольки на снегу, несколько минут чернели провожавшие нас островитяне, а чуть в стороне от них я, пока мог, различал еще одну одинокую человеческую фигуру.

«Ты зря на меня обиделся, Тойво. Мы с тобой похожи. От судьбы никуда не уйдешь. Надо дать ей победить, чтобы она оставила тебя в покое; побежденные вызывают презрение. Но, может быть, и милосердие», – думал я в вертолете, оглядываясь назад и улетаая на материк...

И вот сейчас поезд, набрав скорость, снова вез нас к островам. И, вспоминая о них, мы приглядывались к природе, замечая, как постепенно все ощутимей в ней утихала весна. Поезд приближался к земле, отмеченной на глобусе особой чертой, и каждый из нас, не признаваясь, невольно ждал каких-то особых чувств, открытий, опять ждал встречи с чем-то таинственным...

НА БЕРЕГУ ОСТРОВА

Шлюпка, как рыбина, вилась среди неглубоко затопленных валунов, ткнулась носом в галечник. Я выгрузил багаж. Под ногами была земля, на которой не часто бывают люди. Сейчас уйдет катер, и нельзя будет определить, какой век на земле: десятый, двадцатый или еще и не наступила наша эра.

«Вот и произошло. Вот он, остров! Господи! Где я?»

Было радостно от желанной встречи: мечта сбылась, и грустно оттого, что она сбылась, и не стало ее.

Но делать нечего.

Катер стоит метрах в пятистах на якоре, и, пока шлюпка перевозит остальной багаж и группу, я хожу по кромке берега, обживаюсь. Чуть штормит, и море покрыто белыми гребешками волн. Неуверенно, часто теряясь за облаками, светит солнце, пахнет водорослями. Синеют вдалеке пятнистые от нестаявшего снега скалы материка.

Далеко, в центре острова, словно комья пены, белеют большие морские чайки. Вокруг меня, метрах в пяти, шустрят кулики-песчаники, почти сливаясь с землей, клюют водоросли, камушки: не бегают – шьют, строчат.

Впереди мелькнуло что-то голубое.

А это откуда? Я поднимаю пластмассовый флакон и оглядываюсь. Еще несколько метров берегом, среди полегших прошлогодних камышей: куча досок, бревен, бочки, ящики и бог знает что – сразу не разберешь. Приглядываюсь: каблук от сапога, грузовик-игрушка, флакон из-под шампуня со стершимися буквами, канистра, поплавок от невода, обрывок капроновой сети, футбольный пластмассовый мячик величиной с яблоко. Читаю: «Фриско» и вспоминаю, что так иногда называют Сан-Франциско.

Все в крапинках мазута.

Я смотрю на море и начинаю догадываться, что стою на литорали – той части морского берега, которая затопливается во время приливов.

А волны, не умолкая и не уставая, катятся на пологий берег, и за пустынной далью моря, как призраки, всплывают не средневековые замки, а дымящиеся города индустриальной эры.

– А атомную бомбу вы здесь не находили? – спросил я у орнитолога, который вышел на берег, чтобы встретить нас.

Юра усмехнулся:

– Нет. Пока в моей коллекции только стабилизатор от авиабомбы...

Мы распаковали багаж, развесили цветастые спальники, и домик стал похож на цыганский табор.

Вечером, когда снова начался отлив, я обошел по литорали весь остров.

Плавно вздыхало море, ворчали гаги, ссорились гагуны, верещали крачки – задиристые морские ласточки...

Плескалась о камни волна, качая густые водоросли и тину. Всплыл тюлень, словно колдун, и, увидев человека, погрузился в воду.

Недалеко от берега, среди полегшей прошлогодней травы, прогуливался турухтан: клюв – шило, перья вокруг головы – воротником, важен, как герцог, и драчлив. Вот-вот начнутся турухтаньи бои за самок, которых они привлекают своими «бобровыми» воротниками и отвоевывают друг у друга.

Увидев меня, турухтан, ревниво охранявший место своего будущего гнезда, надулся, втянул голову, поднял «воротник», отбежал, но не улетел. Он чуть больше скворца, но храбр. Я улыбнулся и, отдавая должное его смелости, повернул в сторону.

Между камнями в водорослях застряла бутылка. Горлышко бутылки закупорено.

Я отвинтил пробку и вытряхнул бумажку, свернутую трубочкой.

«Меня зовут Таня. Я скоро кончаю школу...»

Неизвестная Таня писала, что живет в Мурманске и часто ходит на берег моря, потому что у нее есть мечта: она хочет познакомиться с романтическим человеком не старше тридцати лет. Даты не было.

Я усмехнулся, свернул записку, снова закупорил бутылку и бросил ее в море: «Ко мне, Таня, это не относится».

На мгновение бутылка утонула, потом всплыла и, качаясь на волнах, постепенно исчезла в Океане.

Прочтет ли ее еще кто-нибудь? Придет ли ответ в Мурманск на главпочтамт и ждет ли его Таня С.?

ПТИЦЫ

На островах Баренцева моря идет краткая весна. Солнечно, сухо и холодно от вечных ветров, которым в открытом море остановиться негде.

Но для заполярных птиц это не помеха. У них заботы: одни выбирают места для гнезд, другие строят гнезда, третьи уже насиживают яйца. А мы высиживаем кадр.

Засада для наблюдений за птицами – ящик размером меньше телефонной будки. В этой конуре мы с Семеном пытаемся разместить самих себя, рюкзак с объективами и пустой ящик для упора камеры – штатив не влезает.

Наконец, все устроилось: колени выше головы... Сидим, сдерживая

волнение, в ожидании тупиков. Поглядываем через смотровые щели, сделанные в стенках. На море – штиль, в конуре – сквозняк: прикрываемся воротниками, ждем. Вспугнутые нашим появлением тупики не вылезут из своих нор, пока не убедятся, что все спокойно.

Пологий берег, усыпанный валунами, пустынен; только одна птица, большая морская чайка, сидит в поле зрения объектива: у нее тут гнездо. Она чувствует нас, косится в сторону будки, но не улетает. Белая, с черными крыльями – точеная птица, разбойница!

А тупики пока жмутся в своих норах.

– Семен, – шепчу я, – приглядиись. Ей же не терпится сесть на гнездо. Давай пока снимем кадр «чайка садится на гнездо».

– Идет. У меня давно зуд, а работы нет, – соглашается оператор и ставит объектив.

Чайка мнетя, кружит по камням, смотрит на гнездо, косится на нас.

– Сеня, она пошла.

Заработал мотор, чайка слетела с камня и, оглядываясь, пошла в сторону гнезда – уже близко, сейчас будет садиться. Но она остановилась. Мотор крутит пленку – она стоит. – Стоп.

– Ну, ничего. Сейчас снова начнется.

Птица делает круг, останавливается и уверенно направляется к гнезду. Семен припал к камере. Мотор!

Чайка подходит, обстоятельно ощупывает яйца перепончатой лапкой, поднимает голову, оглядывается.

Пленка крутится – чайка оглядывается и потом встает обеими ногами в гнездо. Больше, кажется, делать нечего, надо усаживаться. А она стоит над гнездом. Я не выдерживаю:

– Ну, садись же, милая! Ну! Пленка ведь идет. У нас же лимит!

Постояла и... отошла.

Семен ворчит. Мы закуриваем, оглядываемся. Тупиков пока не видно, но в трех метрах от боковой щели на камне другая чайка. Видимо, это подлетел Он.

– Снимем его очень крупно, глаза в глаза. Пригодится.

Семен переставляет камеру – путаются наши руки, ноги. Фокус, диафрагма – все в порядке. Птица будто позирует: как хотите, так и снимайте, я могу и поближе подлететь.

Снято.

– Семен, а та опять пошла. Сейчас наверняка сядет.

Колени, ящик, камера – теперь к другой щели.

Чайка идет в гнездо.

– Сень, – умоляюще шепчу я. – Ну, быстрее, дорогой!

Оператор крутит турель камеры, меняя объектив, сопит, торопится, но техника требует своего.

А чайка уже стоит над гнездом.

Объектив поставлен. Фокус. Диафрагма. Все готово. Мотор! Раздался щелчок, но камера молчит. Пока ее переставляли и устанавливали, отключился аккумулятор.

Птица подогнула лапки, опустилась на гнездо и, подобрав под себя яйца, важно замерла.

– Ну ладно, пока снимем «чайка сидит в гнезде». Для монтажа, – утешаем мы друг друга.

По лицу и коленям гуляет свежий сквозняк, но выходить нельзя. Мы кутаемся в шубы и продолжаем ждать тупиков.

Мягко шелестит голубое море. Через несколько минут пустынная колония камней начинает оживать...

Первый тупик появился среди них безмолвно и незаметно – вырос, как подосиновик. Вдруг увидев его, мы замерли, даже какое-то время не дышали: только бы не вспугнуть!

Тупик топчется на месте, боязливо озирается, – мы разглядываем его с умилением и восторгом. Вот он поднял крылышки, будто хочет взлететь, но не решается, только повернулся боком и замер.

На камне сидит очаровательная птичка, величиною с огурец. Красный клюв клином, красные перепончатые лапки, белая грудь, черная спинка и крылышки, а шейка перехвачена тонким темным поводком, как бантиком. Тупик явно смахивает на попугая, только чуточку уступает в премудрости расцветки, и не ругается. Зато, как потом выяснилось с помощью микрофона, – более чуткого, чем человеческий слух, – мычит, словно корова.

Семен наклоняется ко мне и шепчет:

– Ты знаешь, по-моему, природа хотела сотворить что-то другое, но это другое не получилось, и ей пришлось превратить свой первоначальный замысел в тупика.

– Но все равно вышло очаровательно – заступаюсь я за природу.

– Милейшие дурачки!

Тупик – птица, но тело его тяжеловесно, и для настоящего полета нужны бы другие крылья. Те, что ему дарованы, явно малы, словно их

преждевременно прихватил заморозок. Надо бы их заменить. Но лучшего под руками природы в тот момент, должно быть, не оказалось. Поэтому тупик, чтобы взлететь, чуть ли не разбегается, как самолет, и не садится, а как-то шлепается. И это очень напоминает майского жука: подлетел, сложил крылышки, шлепнулся, чтобы погасить инерцию, прошелся.

Чайка может ухватить тупика на лету. Только зазевайся! Может быть, поэтому тупик откровенно трусоват. Наверное, даже воробей для него – коршун. И может быть, поэтому же, кто знает, тупики живут в норах, как кроты.

Вход в жилище тщательно утопан и выметен, как двор домовитого старательного хозяина. Нора – подземный лабиринт со всеми удобствами под валунами. Прихожая, спальня, туалет – отдельно.

Там, втайне от посторонних глаз, пара тупиков откладывает яйцо, высиживает его и потом выхаживает свое единственное дитя.

Мы сидим еще минут двадцать.

Недавно безжизненное лежище валунов теперь кишмя кишит птицами. К будке они привыкли. Мы ведем себя тихо. Да и жизнь требует своего: надо создавать семью, строить гнездо – словом, хлопот много.

И тупики, конечно же, не забывая об осторожности, трудятся. Мы наблюдаем за их действиями, уже знаем, что и как они делают. Теперь надо снять это на пленку. Солнце живописно освещает колонию, и камни отливают то розовым, то голубым цветом. Голубеет и пенится кромка морского прибоя.

– Ну, начнем, – вздыхает от нетерпения оператор и устанавливает объектив.

Вот из-за камня высунулся клюв, потом голова, взгляд влево, взгляд вправо, еще раз – уф! кажется, никакой опасности! Подскочил на камень – весь на виду. Еще раз огляделся, облегченно вздохнул: все хорошо. Встряхнул крылышками: теперь за дело – и пошел собирать для гнезда сухую траву.

– Поздравляю с первым кадром. Видел этот выход? Снято! – шепчет Семен и поднимает большой палец. – Вот так!

После этого он почти не отрывается от камеры.

Недалеко от будки двое трутся клювиками – целуются. Подлетает третий, косится. Не приняли. Подходит четвертый и, разинув клюв, неслышно мычит, протяжно, будто позевывает.

– Снято, – шепчет Семен. – Роскошная мизансцена!

Довольные, мы толкаем друг друга. Закуриваем, высматриваем новый кадр.

– Сенья, – шепчу я. – Смотри в правую щель.

Там, набрав в клюв сухих стеблей, пробирается к норе тупик.

– Эк нагрузился! Вязанка хвороста.

Семен переставляет камеру, торопится.

Тупик подошел к норке, остановился. Другой – рядом.

– Успеем, – успокаиваю я оператора и помогаю установить камеру.

Фокус, диафрагма – мотор!

Тупик, держа в клюве пучок травы, посмотрел на нас и важно пошел в дом. Второй – наверно, это Она – склонул одну травинку – и туда же.

Семен перезарядил кассету.

– Обязательно сними, как тупик садится на камень. Это же чудо!

– Это и угадать надо, и успеть.

– Постарайся, брат.

– Ладно...

Около девяти вечера тупиков – как цветов на лугу. Зрелище невообразимое! Те кадры, которые мы часа два назад с трудом добывали с помощью разных объективов, теперь хоть руками бери. Тупики выныривали почти из-под нас, шлепались на крышу и заглядывали в щели. Уже уставшие, мы снова оживились: колени, ящик, камера. Объектив, фокус. Мотор! Несколько пар целуются, один прогуливается, другой вздыхает, третий тащит хворост – и все в одном кадре!

Секунда, две... и в кассете хлюпнуло. Кончилась пленка. Все!

Мы стонем от досады.

– Ну кто знал! Кто знал!

Семен просит папиросу.

– Завтра придем в это время, доснимем.

– Если погода будет, – напоминаю я.

Оператор кряхтит. Мы откидываемся в разные углы будки, вытягиваем по диагонали затекшие ноги. Нервы расслабились, тело почувствовало усталость. Медленно опускается незаходящее заполярное солнце. Тихо, на этот раз в розовых бликах, лежит изменчивое Баренцево море...

ДВОЕ

В гнездах, открыто расположенных по всему острову, уже проклевываются птенцы, и пары больших морских чаек внимательно сторожат свое будущее потомство.

А *она* сидит одиноко на лохматом от водорослей валуне.

Идет отлив: вода оседает, иссякающие волны, не докатившись до камня, возвращаются в открытое море, чайка подолгу смотрит им вслед. Иногда что-то клюет под лапками, оглядывается. Поодаль так же не-зависимо сидит другая. Но мне вдруг кажется, что между ними что-то происходит. Я ложусь поудобней и, любуясь стройностью птиц, начинаю ждать.



Недалеко от берега, словно поплавки, ныряют тупики. Ухаживают за гагами расфранченные, в черно-белых смокингах, гагуны. Я любовался зрелищем, но про свою пару не забывал. А там внешне ничего не происходило: каждая сама по себе, и далеко, и одиноко.

«Наверное, я ошибся», – подумалось мне, но в этот момент одна из птиц взлетела. Через несколько секунд – другая, и вот они уже в нескольких метрах друг от друга. Но пока отдельные: «ты слетела – и я тоже, не к тебе, а просто так». Еще несколько минут – и вот уже обе на одном камне.

«Кто же из них Он?» – думаю я.

Определить это трудно даже орнитологам. Вроде бы Она – женственнее.

Вот эта слева – Она. Поправляет перышки, и без того безупречно подогнанные друг к другу. Он с любопытством, но, не теряя достоинства, окинул ее взглядом. То ли это старые знакомые, из-за чего-то поссорившиеся, то ли знакомятся... Кажется, больше похоже на то, что знакомятся.

Они сидят, переглядываются, важничают, а я терпеливо жду.

Птицы долго и независимо смотрят в открытое море, потом Он поворачивается и, перескакивая с камня на камень, отходит... Она бросает вслед краткий взгляд и поднимает голову.

Не познакомились, не договорились, не сошлись характерами, не помирились?

Однако Он отошел недалеко. Постоял и... быстро обратно, иногда расправляя крылья, чтобы подлететь. Вот они уже опять рядом, между ними – метр. Сидят перед морем долго, втянули головы... Уже начало вечереть, похолодало. А они смотрят, смотрят. На море можно смотреть бесконечно. Может, думают. Мне тоже холодно, но и хочется досмотреть их роман, и не хочется: а вдруг не сбудется? Или диалог кончится совсем не так?

Будто все это напоминало о том, что когда-то было со мной, а может быть, и еще с кем-то...

Я запахиваю поплотнее шубу, закуриваю и ухожу с берега, человечески пожелав им счастья, кем бы они ни были: поссорившейся парой или пока еще одинокими...

Р. С. Интересно, как птицы выбирают себе пару? Смотрят, хороша ли собой? Каков характер? А, люди?..

КРИК

Начиналось лето и в Заполярье, а вокруг островов, как осенью, опять бродил столь любимый Баренцевым морем туман. Снимать в такую погоду невозможно, поэтому камере назначили профилактику, а группе, кроме механика, – выходной.

После завтрака, надев шапку и полушубок (вещи на арктических островах уместные даже в июле), я вышел из домика.

День, туманный и облачный, был похож на тихие сумерки, остров казался безжизненным. Но уже через несколько минут пути богато цветущие скалы начали оживать – над колонией раздался предупредительный крик большой морской чайки. И как только я оказался в районе гнездовья, вся колония, как по цепочке, начала подниматься в воздух.

Храня свои гнезда, птицы кричали неистово и тревожно. Были в этом крике и бессилие, и мольба, и готовность на все. Высматривая гнездо, удобное для наблюдения за развитием жизни в нем – это нужно было для съемок, – я шел под их криками, как под крышей.

– Успокойтесь, не трону я ничего, – невольно говорил я, когда они кричали особенно отчаянно, и в то же время сам страстно вслушивался в их голоса.

Что-то знакомое, когда-то очень давно пережитое мною, чудилось в этом вопле, и во мне, пытаюсь пробиться сквозь пласты прожитых лет, будто оживал заглухший родник.

Среди множества звуков, которые издают чайки при опасности, есть особенный, похожий на человеческий возглас. С ним у меня что-то связано... Забыто, но что-то есть. На что же похож этот стон?

«Ой!» – вдруг совершенно отчетливо услышал я, когда одна из птиц пронеслась почти над самой головой. Потом еще несколько раз, не совсем чисто, но похоже: «Ой! ой! о-о-й!» Да, это тот крик, на который во мне что-то отзывается. Но что?

Мучимый этим вопросом, я остановился перед гнездом, свитым на открытой скале. Из одного яйца, на моих глазах разламывая скорлупу, молча выкарабкался сырой птенчик. На втором была маленькая дырка, в которой шевелился черненький клюв. Последнее яйцо было еще целым и напоминало округленный прибором камень, но вдруг оно зашевелилось и пискнуло.

Пораженный, я присел на корточки, и в то же мгновение чайка спикировала почти над моей головой, прокричала умоляюще-яростно, потом развернулась для новой атаки. Но в этот момент для меня звучал уже не ее голос, и я был не на безлюдном острове, и не взрослым, а пятилетним ребенком...

«Ой! Ой!» – со стоном кричала до отчаяния перепуганная мать и, не зная, что делать, металась около дома. Я слышал ее крик спиной и, распластав руки, медленно сползал по крутой крыше. Задиралась на животе рубашка. Мой друг, уцепившись за охлупень дома, пытался подать палку, чтобы вытащить меня наверх, но я не мог до нее дотянуться. Крыша дома была без водостока, поэтому упереться вниз было не во что. Еще метр – и я сорвусь.

«Ой!» – опять прозвучал голос матери и начал удаляться.

Пальцами рук и ног я пытался зацепиться за кромки теса, но доски лежали плотно – пальцы срывались. Как иголки, обжигающе впивались занозы, а я медленно сползал вниз.

«Держись!» – орал Федька, лежа поперек крыши, и все пытался протянуть мне обломок палки. – Держись! Пяткой в край упрись! Матерь с лестницей бегёт!»

В тот момент, когда мне показалось, что я начинаю падать, нога во что-то уперлась. То была лестница, которую успела подставить мать.

«Ой!» – снова раздалось над головой... но это уже опять кричала чайка.

Все матери, видать, кричат одинаково...

Я уходил. Рвался о скалы мягкий туман. Баренцево море шелестело белыми гребешками волн. Чайки, успокоившись, отставали, и голоса утихали где-то позади.

ОКУРКИ

Остывало и без того не жаркое заполярное солнце, слабел свет, и надо было уходить домой – в единственный домик, дрейфующий на плоском Айновом острове, в виду норвежских берегов.

Мы допили остатки чая из термоса и, расслабившись после многочасового напряжения, выкурили по папиросе. Потом выкарабкались из будки и начали складывать в рюкзак оптику, кассеты с отснятой пленкой, камеру.

Лишь только скрипнула дверца, тупики разбежались по своим норкам и разлетелись в разные стороны к морю. Колония опустела.

Мы уложили вещи и огляделись: вроде все, можно идти. – А это? – сказал Семен, показывая на будку.

Вокруг ее стен валялись папиросные окурки, которые мы выбрасывали через щели во время съемки. Среди окружающего нас великолепия и чистоты эти беленькие мундштуки, такие привычные на городских автобусных остановках, резали глаз. Я собрал их в горсть, положил на плечо штатив, и мы пошли.

Чтобы добраться до домика, где мы жили, можно было пересечь остров прямо – так короче. Но вечер был слишком хорош, и мы не торопясь пошли берегом. Окурки я нес в руке, время от времени отыскивая глазами место, куда бы их выбросить. Но рука не разжималась. Всякий раз внутри меня что-то восставало, будто я замышлял преступление.

– Ну зарой их куда-нибудь под камень, – сказал Семен.

Мы стояли на плоских скалах, очищенных соленой морской водой и тщательно просушенных солнцем. Он огляделся, желая подсказать мне место, и усмехнулся:

– Действительно, некуда. Но куда понесешь-то? Зарой поглубже, там сгниет.

Я начал заглядывать между камней, но и в щелях, насколько было видно, было так же чисто. Плоские скалы напоминали мне пол деревенской избы, намытый матерью с голиком и дресвой, на который всегда боязно ступить.

– Не могу, – сказал я.

– Может, в воду?

Уже наверняка зная, что это тоже невозможно, я все-таки спустился к самой кромке берега, куда наплывали волны тихого прибоя. Вода была голубой и прозрачной, с золотым налетом заката, и казалось, все море было таким до самого горизонта.

– Знаешь, брат, сюда выбросить – что в лицо плюнуть.

– Ну, так съешь тогда...

Так и не придумав, как от них избавиться, я сунул окурки в карман полушубка, и мы пошли молча, не спеша, расслабляясь после работы, но нас обоих что-то тяготило...

УРОК

Уже давно мы островитяне, и начинает казаться, что все уже произошло и ждать нечего. Мы насмотрелись на птиц, на море, на закаты, привыкли к тому, что ночи не наступают, и не ждем хотя бы сумерек, чтобы наконец-то лечь поспать. Привыкли. Забыв в первые дни всю свою предыдущую жизнь в единодушном восхищении, мы постепенно снова осознали себя. Чудеса начали повторяться, и это на заполярных островах – будни..

А все-таки не покидало меня ощущение, что какой-то самой главной краски, какой-то только Заполярью присущей черты характера мы пока не знаем.

По островам, даже если море в штиле и не шелохнется осока, всегда тайный, как излучение, тянет ветерок. Его не сразу различишь. В конце месяца я занемог. Не признавшись в этом никому, я сменил штормовку на полушубок, шапочку на ушанку, но было уже поздно. Вечером, после очередной засады на гнездовье тупиков, когда вся группа, обветренная и насытившаяся, сидела за чаем, я незаметно взял из дорожной аптечки термометр. Через пять минут ртутный столбик стоял у отметки сорок

один и два, и, мне казалось, прямо на глазах тянется вверх еще. Я не поверил, но вдруг на мгновение, еще не осознавая случившегося, ощутил страх. Я встряхнул термометр и через ворот толстого водолазного свитера снова сунул под мышку.

Ребята азартно играли шахматный блиц, делились впечатлениями прошедшего дня, радовались солнечной погоде, вспоминали и рассказывали новичкам группы – второму оператору и альпинисту – о зимней экспедиции в Заполярье: в Кандалакшский залив, на остров Великий, о полете на Харлов.

Орнитолог Люда, появляясь иногда из-за перегородки, где для нее был отведен уголок, с едва сдерживаемой обидой поглядывала на Семена, когда тот, вспоминая разные подробности зимней встречи с Тойво, почему-то настойчиво срывался в экзотику.

– Монстр! – восхищался он.

«Ну что вы, Семен, говорите? Это же у него напускное. Он иногда не справляется с отчаянием и злится, но он добрый. Я-то побольше вашего знаю. У человека ничего не сбылось, не справился он с этим, – казалось, думала она и будто готова была признаться всем: – Он меня любит... Он теперь просто издевается над собой».

Нагрев термос чаю, Люда ушла на остров осматривать гнездовье гаг, за которым она вела наблюдение. Я кивнул ей понимающе вслед, как сообщник в ее тайне, которую она однажды рассказала мне, поддавшись на мою фразу о Тойво: «Жаль мне его почему-то. Какая-то у него глубокая боль. Рана в душе», – и отошел от шахматного стола, нагревая под мышкой градусник.

«А вдруг действительно сорок один? Что тогда делать?» – подумал я и как-то невольно начал оглядываться по сторонам.

Нары стояли в углу. В одно из окошек я увидел остров, на котором словно замерли большие серебристые чайки. Даль как-то странно их увеличивала, и они казались величиной с глухаря. В другом окне виднелось море, за которым слева лежала в синей дымке земля норвегов, справа мыс у входа в бухту Линахамари – туда ушел катер, высадивший нас на остров...

При такой температуре жара я не чувствовал, и все-таки, пока термометр грелся, на всякий случай оценивал обстановку, ориентируясь на худшее. Возможности дорожной аптечки я знал.

«В крайнем случае, у Юры есть рация... Но, правда, он что-то на нее жаловался», – опять промелькнуло в сознании, и я вспомнил день высадки на остров и почему-то пенистый гребешок волны, оставленный

катером. Катер скрылся за мысом, след быстро исчез и как будто что-то обрезал, как тогда подумалось мне. Теперь я это понял...

«Без паники, Егор, – сказал я себе и достал термометр. Он показывал то же. – Ну вот, кажется, и произошло то, чего тебе не хватало».

Странно, но после этого мне стало не страшно. Я посчитал оставшиеся на шкале черточки, вспомнил, что сорок два – это предел, и негромко подозвал Борю Михеева, свободного от игры. Михеич, прозванный в группе Самоделом, повертел прокуренными пальцами градусник и, как механик, по-деловому оценил:

– Еще на ноль восемь нагреешься, и зашкалит.

Потом пустил термометр по рукам. На время все утихло, остановив шахматные часы, а я как-то особенно остро ощутил тишину и отрезанность. Я повернул голову к окну, из которого был виден остров. Он словно изменил свой облик и на мой взгляд ответил отчужденной жестокой усмешкой: «А ты что думал? Чудеса, романтика, вздохи... Телефон глазами шарить. У меня этого нет, выживай, как хочешь. Грамоту-то собираешься получить: «Перешедшему Полярный круг... сумевшему сохранить мужество». Уже предвкушал небось, как в теплой квартирке родне похвастаешься». Я еще раз взглянул в глаза острову, он будто пожалел меня, но помощи не предложил, а только напомнил строчку из стихов: «Но и стоек будь, если ищешь ты Эльдорадо». И я успокоился.

– Хоронить тебя по-морскому или в землю?..

– Еще не обдумал.

Директор вернулся от старшего орнитолога Юры, жившего в соседней комнате, с известием, что катер вызвать нельзя – рация не работает – и кроме аспирина у него ничего нет. Самодел Михеич до пальцев сигарету, ткнул окурок в раковину гребешка и возразил:

– Почему ничего нет? Есть один могучий прием. Но надо раскошелиться.

– Да хоть все, если поможет.

И вскоре канистра, ревниво оберегаемая Игорем Вороховым, булькнула нутром в руках у механика.

– Лечить будем ударом. Сердце как у тебя? – на всякий случай поинтересовался он. – А впрочем, делать-то нечего. У тебя, видать, острое воспаление чего-то... Ну, так готов?

– Готов, – отозвался я, не представляя еще, сколько мне причитается.

Под надзором всей группы, не капнув мимо, Боря нацедил граненый стакан и поставил его ко мне на облупившуюся табуретку. На поверхности один за другим быстро лопнуло несколько мелких пузырьков. Я покосился на стакан с опаской: такой дозы я еще не пивал никогда. Но это было не все.

– Не столкни, – предупредил Михеич и сходил за перегородку, где хранились продукты.

– Боря! – взмолился я, увидев в его руках пакет с перцем.

– Будет тяжело, но зато надежно, – и он потряс в стакан порошка.

Спирт слегка замутился и зардел. С тихим недоумением наблюдал за процедурой Толя Смоляков, впервые оказавшийся в экспедиции:

– Да вы что? Умереть же можно.

– Можно, – подтвердил Боря.

Забеспокоился и директор группы, вдруг всерьез осознавший свою ответственность.

– Не надо, Ворохов. Я должен выдержать. Хочешь, напишу расписку, что принял добровольно, – с усмешкой сказал я и взглянул на Самодела.

– Чем последний раз предпочтете закусить? – съехидничал он, подавая стакан.

– Занюхаю.

– Нет, запьешь компотом, потом дам лимона, аспирина и кружку каленого чаю.

– Еще и чаю?

– И чаю. Потом завалю тебя всем, что есть. Выдержишь, завтра расскажешь...

Огонек побежал по губам от пробного прикосновения – сразу опрокинуть стакан было страшновато.

Я отвернулся, отвел руку, глубоко вздохнул, снова приблизил ко рту стакан и, зажав его кромку зубами, наклонил, подымая за доньшко. Полость рта была воспалена, поэтому жжения я как будто не чувствовал, словно в шоке, и только в последний момент увидел, как поднимались со дна нерастворившиеся крупинки перца. Через минуту голова, и без того воспаленная, запылала, около меня что-то делали, на мне что-то тяжело, а потом тело в свитере и полушубке, прижатое спальниками, начало сыреть и мякнуть, будто выпускало дух. Засыпая,

я еще осознавал, как нарастает напряжение, словно меня накачивают жарким воздухом. Иногда сквозь бред казалось, что меня разорвет, и хотелось рвануться, вскочить, все сбросить, крикнуть. Сознание было как воздух в раскаленной пустыне. Иногда в нем проскакивал белый гребешок волны, оставленный катером, я пытался опереться на него и выскочить на материк, а он уныривал под ногой, но снова всплывал, как резиновый мяч. И я опять наступал на него, веря, что оттолкнувшись и выскочу из пламени, полыхавшего вокруг меня, и снова соскальзывал. Сердце билось часто и туго, и мне казалось – лежало рядом со мной, отдельно, а я, кажется, жалел его, как человека, невинно страдающего из-за меня, и шептал ему, уговаривая: «Ты потерпи, выхода нет».

Потом, то ли во сне, то ли наяву, где-то далеко, иногда приближаясь, слышались знакомые звуки: «Боря, ты меня сменишь... тряпку чаще... Пульс следи...»

Постепенно я начал тонуть в плотном сером тумане, медленно растворяясь в нем, исчезая, и только клевала слабая мысль об умирании, но она не пугала, потому что ее сопровождало чувство облегчения.

Утром мне показалось, что я вернулся из какого-то странного путешествия, и долго, лежа с открытыми глазами, не мог понять, что со мной было и есть ли я сейчас.

«Надо попробовать пошевелиться», – откуда-то издалека подсказали мне.

Осознав, что голос этот исходит из меня самого, я повернулся на бок и ощутил, что лежу в чем-то липком и прохладном. Тело казалось выжатым, пустым от тяжелой работы и уже не страдающим. В противоположном углу Семен читал книгу и, как мне показалось, косил глаза в мою сторону. Я кивнул ему и повернул голову к окну, в которое был виден остров. Чайки плавали на маленьком озере. Небо заслонял свес крыши, но воздух показался голубым. Я подумал, что погода, наверное, хорошая и, напрягая сознание, представил весь остров, освещенный солнцем. Он, будто опытный человек, допустивший любопытного новичка к тайне своей жизни, сурово и в то же время чуть поощрительно поинтересовался: «Ну и как?» Разные ощущения шевельнулись в опустошенном, казалось, дотла сгоревшем организме, отзываясь в сознании слабыми вспышками противоположных мыслей, и где-то в конце их зигзагообразного пути я уловил слова: «Нормально. Я не в обиде...»

ПОСЛЕДНИЙ НАБЕГ

Еще далековато было до того дня, мы знали, еще много часов придется отдежурить в засадах и на птичьих базарах, чтобы добыть удачный кадр, а тоска уж начинала кружить среди нас, не обнаруживая себя явно, как осень в начале августа: то облака вдруг сентябрьские, то желтый лист, то птица крикнет не так... Мы не признавались в этом – расслабляться еще рано – но все-таки иногда кто-нибудь, открывая консервную банку или пакет концентрата, обронит:

– А там, наверное, уже огурчики.

А кто-то другой встрянет:

– Да ты что, совсем одичал? Они там в мае. Сейчас помидоры, персики, виноград. Все.

– Да? Не верится как-то...

– Ну, ничего. Сядем на теплоход – отпразднуем...

И, на минуту забывшись, впережежку, нестройно, из кого что вырвется, помечтаем:

– В ванну бы на полсуток затонуть, откиснуть – очугунели...

– Дочка, наверное, в лагере теперь.

– На пляже бы поваляться...

– А меня и в город выпускать нельзя – чуть что, «по рогам и за борт», как говорят наши капитаны.

– Го-го-го. Да, крутые ребята.

– А я теперь и в квартире костер разведу. Как-то месяца три был в экспедиции. Еду домой, по пути колбаски припас, как в гостиницу... Родня: ох, ах, Саша приехал. Есть будешь? А я развернул свою колбаску, кипятыльник в розетку и прямо с бумажки колбасу на хлеб. Бабушка смотрит, смотрит: «Шурик, ты бы хоть на тарелку ее выложил...»

– На людей бы посмотреть. Хорошие бывают барышни. М-да...

Немного утешившись, расходимся мы по камушкам вблизи домика и костра, дымя кружками с чаем, и уже в одиночку додумываем что-то. Курим, поглядывая на море, вдаль, хохлимся, как птицы на скалах. Видно, как море закругляется на горизонте, и ты будто одуванчик на ветру – попробуй тут подумай разборчиво...

– Ну что? Пора.

Мы собираем рюкзаки с оптикой и уходим на остров, избавляясь от всех неудобств утомлением и работой...

А потом опять, чуть расслабишься, тоска напомнит о себе, и чем меньше остается, тем чаще, – надвигается расставание. Оперились и окрепли птенцы и пробуют встать на крыло, срываясь со скал к морю. Еще гуще стало на птичьих базарах, озабоченней и крикливей, но крики не те, иное настроение. Родители все на свой лад дают уроки детям, готовя их к дальним самостоятельным перелетам. Близится август. Все еще полярный день, но краски меняются, и кажется иногда, что чуть-чуть смеркается.

Вот и пошла последняя неделя.

– Братцы, – напоминает директор группы, – потихоньку весь скарб с островов – на Харлов, в один домик, а то бухгалтер меня погубит. Поближе к себе спальники, рюкзаки, свитера, полушубки, главное... Что-то «шмелей» не вижу. Четыре, помню, покупали. Михеич, а ты свои мастерские закрывай, я посчитал: в домике три стола, пять подоконников, и всюду твои надфили и окурки.

– А ты билеты заказал?

– Все в порядке.

– А банкет на корабле?

Игорь хлопает по нагрудному карману штормовки, который всегда пучило от бумажника:

– Накрою...

И вот уже завтра. Вечером в домике собирали, укладывали, увязывали. Топилась печка, из кастрюль валил пар – варили морских звезд, добытых водолазами на сувениры. Подремали...

Утро вышло неяркое, с бледной дымкой, море спокойное. Приближался час, когда в проливе должен бросить якорь белый пассажирский лайнер. В ожидании его покачивался на мелкой серебристой волне наш катерок и будто грустил. Волны шлепали хвостами по его бортам, как только что выуженные лещи. С началом прилива на маленькой песчаной литорали выросла куча нашего багажа. По извилистым тропинкам крутых скал не спеша осыпались одиночные фигуры островитян и, безмолвные, усаживались на валунах. Как рыбины, высунули на литораль носы две шлюпки. Два Глеба, Большой и Маленький, – экипаж катера, – готовили его к выходу, мелькая то на палубе, то, ныряя в рубку или машинное отделение. Обычно громкие в

речах, они сегодня были сдержанны и деловиты. Лишь изредка на берег доносилась знакомая всем островитянам фраза:

– У меня разговор короткий: по рогам и за борт.

Это принцип Глеба Маленького. Глеб Большой, числившийся по штатному расписанию капитаном (на самом деле на судне была власть какая-то особая), выражался немногословней:

– Эй ты, чечундра!..

Слово непере译имое, и потому место для него находилось почти в любой житейской ситуации.

И вот последняя кружка чаю на острове. Вдалеке, метя в пролив, показался теплоход. Погода с полудня посуровела. Баренцево море, словно напоминая о своем нраве, загустело и покрылось торосами темных волн, пенившихся на гребнях. Как только стало понятно место стоянки теплохода, Глебы запустили мотор. Катерок, от тяжести зарывшийся в море, как плуг, быстро набирал скорость. Острова начали отставать. Самый крупный из них, Харлов, возвышался над водой, как айсберг, и будто сам отплывал вдаль, уменьшался, терял очертания, превращаясь в огромный клуб густого зеленого дыма. Мы стояли на корме, среди рюкзаков, ящиков, и глядели назад: молчаливые, усталые и возбужденные, отдельные, но связанные каким-то единым, сложным и противоречивым чувством. Мы ждали этого момента, уже скуля по другой жизни, и в то же время не хотели прощаться и стояли в глубокой, щемящей тоске, сбивая ее разговорами о другом:

– Ничего не забыли?..

– Да вроде нет...

И пытались бодриться, поддерживая себя радостью встречи. Теплоход, приближаясь, увеличивался, на его палубах негусто глазели пассажиры.

– Ну вот, сейчас совершим последний набег, – сказал кто-то из наших, выдохнув напряжение. – Эх и набежим!

Мы совершили их раз пять. Теплоход, курсировавший вдоль пустынного побережья, специально бросал якорь вблизи островов, чтобы кого-то высадить, кого-то взять на борт. Для островитян этот день был праздником, коротким глотком цивилизации. Обветренные и лохматые, словно пираты, грохотали мы в ресторанный буфет, дорожа каждой минутой, по пути робея перед какой-то странной обстановкой и в то же время пренебрегая ею. Буфетчица с кружевным козырьком на лбу расторопно выкладывала на прилавок табак, спички, бутылки,

застоявшиеся от дороговизны, а под прилавков, куда-то в подол, сгребала мягкие, как сморчки, разноцветные бумажки. Товар будто сфукивало с полок. Им раздувало карманы, рюкзаки, картонные ящики, которые где-то тут же раздобывались у корабельных кладовщиц. Официанты спешно смахивали со скатертей крошки, раскладывали сверкающие столовые приборы, которыми некогда было воспользоваться: бифштекс, насадив его единой вилкой, съедали вместе с картошкой за минуту, курицу обглаживали чуть дольше. Деньги оставляли под тарелками – некогда: хорошо бы еще успеть чашечку кофе в мягком кресле полутемного бара под музыку и воспоминания о чем-то странном. Редкая, скучающая в салонах теплохода публика настороженно переглядывалась. Потом смелела, и дамы незаметно начинали поправлять на висках завитушки...

Набег длился минут двадцать, а если теплоход не опаздывал – полчаса. Потом все спешно эвакуировались. Мы выныривали из разных закоулков судна и собирались у трапа, где дежурил пассажирский помощник капитана и периодически интересовался: «Все?» – понимающе улыбаясь. Потом поднимал белоснежную накрахмаленную манжету рубашки и спрашивал требовательно, взглянув на часы: «Все, наконец?!»

– Эй, чечундра! В кучу! Считаю по котелкам... Все! Тогда – по рогам...

– А человек где?

Человеком островитяне зовут женщин. Они на островах на особом счету, и если мелькнет она, мужики тянут: «Оо-о! Вижу человека».

– По рргогам! – вежливо рычит Глеб Маленький, завидев торопящуюся к трапу орнитолога Люду.

– Все...

Спускали трап. Штормило сильнее. Глеб Маленький мастерски пришвартовался к теплоходу. Большой отдал конец и скинул между бортами кранцы. Катер болтало, трап прыгал, теплоход опаздывал. С тюками и ящиками, с которыми и по земле-то идти было бы нелегко, мы сновали по лесенкам трапа, словно макаки по деревьям. Силы были на исходе. «Ничего! Вот сядем и за все воздадим...»

Остающиеся островитяне спешно осваивали буфет.

– Ну, братцы, прощайте. Не поминайте лихом, пишите, заезжайте...

– Все! По рогам и за борт...

Катер отчалил, теплоход поднял якоря и плавно, давя волны, развернулся на Мурманск. Уменьшились, будто погружаясь в море, суровые птичьи острова, острова одного нашего лета. Ой, как щемило...

Горничная постучалась и бросила на полки крахмальные, слепившие глаза простыни, полотенца. Чугунного цвета пальцы с любопытством тянулись к ним. В лакированной каюте с зеркалами, столиками что-то тихо журчало.

– Душ, православные. Точно, душ. Горячая вода, сколько хочешь...

Очередь разыграли по-морскому. Выходить из-под «дождя» не хотелось, но в дверь нетерпеливо постукивали.

– Странное дело, жили среди моря, а по воде соскучились.

– Море – не водоем с рыбками. Оно – мечта, а потому для быта тяжело...

– Игорь Борисыч! Пора в банкет! А то, я чувю, не дотянем...

Официантка полупустого ресторанного салона подкатила вежливо и радушно: поздоровалась, перевернула скатерть, расставила парусочки салфеток, тарелки... Мы наблюдали, откинувшись на спинки кресел, чувствуя, как из глубины тела подкрадывается подтачивающая, расслабляющая сила, та, что еще раньше напоминала о себе, но теперь мы ей незаметно уступали.

– Слушаю вас, мальчики. Что вам? – резво спросила девушка и будто застала нас врасплох.

– Да что есть...

– Коньяку нет. Марочное вино.

– Штуки три, что ли...– чувствуя какое-то странное безразличие группы, решил за всех обладатель кошелька. Тоже без азарта.

– И супу.

– У нас солянка.

– Давай солянку... Простите: пожалуйста, солянку...– поправился Игорь.

Официантка прощающе улыбнулась:

– А холодное будете? Огурчики есть.

– Чего?! – мы встрепенились, будто долго томились жаждой и вдруг увидели воду.

– Всем по огурчикам? – оценила наше состояние девушка.

– Нет, всем, если можно, по ведру огурцов...

Через несколько минут на столе появились бутылки и две огромные салатницы. Мы заерзали. От запаха свежей зелени во рту заиграла слюна, по телу пробежала мелкая дрожь.

Подрагивающими вилками мы разгребали по тарелкам зеленые кружочки, и с тарелок их будто сдувало ветром. Официантка сменила салатницы, нас кружило, как от вина. Наконец жажда вроде утихла, мы откинулись на спинки кресел, будто соображая, что же происходит, и вязли под давлением какой-то долго копившейся бесплотной тяжести.

– Вот тебе «эх, набежим». Набежали...

Мы утрачивали очертания себя, словно переставали быть, и только какая-то непреложная обязанность, которую надо соблюсти, удерживала нас около стола...

– И все-таки выпьем. – Семен кивнул на откупоренные бутылки и встряхнулся. – А они еще остались там...

– Да. За острова. За островитян. За все остальное потом.

Мы свели руки в середине стола, кивнули друг другу и пригубили, едва различая вкус и крепость вина. Пить не хотелось, хотелось упасть и исчезнуть, медленно тая. Мы молчали. Усталость клонила нас, как траву обильно выпавшая роса. Над морем от облачности будто бы смеркалось. Островов уже не было. Трезвые и хмельные, мы, пошатываясь, доплелись до каюты и рухнули на упругие поролоновые полки. В открытый иллюминатор несколько секунд доносился плеск волн, потом и этот будто последний звук на земле куда-то канул...

У ТРАПА

«Вот и все. Вряд ли когда еще доведется, а если и доведется, то все, наверное, покажется иначе», – думал я утром, полуреально блуждая после долгой глубокой спячки, как после небытия, ощущая за спиной что-то плотное, насыщенное, а впереди – разреженное пространство, в котором слабо вырисовывались фигурки оттесненной куда-то, с трудом вспоминавшейся городской жизни.

Белый лайнер уже начинал причаливать к пирсу, бурля винтами побелевшую воду, и вот, наконец, мягко коснулся берега, покачался плавно и затих.

Мы вынесли на палубу свой багаж. Немногочисленные и некрикливые северные пассажиры, словно еще тоже чуть сонные, спокойно подтягивались к месту подачи трапа, облакачивались на поручни палубы и поглядывали на берег, ища глазами знакомых среди

небольшой группы встречавших, собравшихся за ограждением причала. Когда подали трап, мы пропустили вперед всех не обремененных багажом людей, нехотя раскачивая себя для еще одной переноски уже изрядно поднадоевшего имущества. Без спешки и никого не ожидая, мы все же поглядывали на берег с каким-то удивлением или недоумением, рассматривая людей, дома и машины, и весь город, чувствующийся где-то вблизи, как что-то странное, нереальное, происходящее во сне...

И среди этого снующегося движения вдруг мелькнуло что-то знакомое. Я почувствовал чей-то взгляд и остановился перед самым выходом на трап, пропустив вперед кого-то из группы.

«Кажется, Тойво?»

И мне показалось, что даже на расстоянии от него исходила та, уже знакомая по зимней встрече, тяжелая замкнутость.

Он и стоял в сторонке от общей группы встречавших, одетый в скромный, неброско-элегантный плащ, с аккуратно причесанными длинными волосами, сдержанный цивилизованный человек будто безразлично наблюдавший все происходящее. Но в то же время скрыто-пристальным взглядом он пропускал, перебирая, как четки, каждого спускавшегося по трапу человека и с особым напряжением ощупывал глазами трап, когда по нему стала спускаться наша группа.

«Она еще осталась, Тойво. Не жди сегодня... Может, вообще не жди», – подумал я, вспомнив краткий рассказ Люды, и, захватив с собой рюкзак и чемодан с аппаратурой, спустился на берег, когда он уже стоял среди группы, сухо здороваясь со знакомыми ему ребятами, не обрадовавшись, не удивившись, кажется, уже подозревая, что того, кого он ждет, – нет. Но все же будто не верил в это и, бесстрастно разговаривая с Семеном, бросал взгляды в сторону лайнера, еще надеясь...

Спускаясь, я наблюдал за ним. Один раз, еще издалека, наши взгляды встретились, он, узнав, отвернулся, словно не заметил. И я, чувствуя себя несправедливо обиженным, только кивнул ему, пронося мимо рюкзак, и остановился поодаль, около разраставшейся кучи багажа.

По негромким коротким фразам, которые доносились до меня, я понял, что он говорил что-то об островах Врангеля и скупое, не желая выдавать себя, расспрашивал о тех, кто был и пока остался на наших островах, от которых еще сутки назад с радостью и щемящей тоской отчалили мы, может быть навсегда...

РАССТАВАНИЕ

...Мелодию я услышал, когда она, словно уже обессилев, медленно таяла, будто гасла. Казалось, звуки ложились во тьму, как люди на обочину дороги, утомленные от долгого и тяжелого пути. Мне было мучительно жаль чего-то и досадно от мысли, что вот сейчас все утихнет не на той ноте и... кто-то умрет. Но это был не финал. Приблизившись к дому, я стал различать, как из глубины еще тлешей звуками мелодии прорастал будто вернувшийся откуда-то мотив флейты. Сначала робкий, от одиночества иногда падавший, как птица на ветру, он все же держался и упорно старался вырасти, вытекая в тихий городской переулочек из полуоткрытого окна с втянувшимся внутрь краешком шторы...

Все-таки, почему-то боясь срыва ее голоса, я ушел от окна, когда флейта звучала на пределе, но и по памяти еще долго вслушивался в этот мотив. Он повторялся во мне на самой высокой ноте и будил какое-то давно жившее беспокойство, боль, что-то неразрешенное... Наконец я вспомнил экспедицию пятилетней давности в Заполярье, острова. Потом тот предпоследний день... нет, то мгновение, когда птенец оторвался от моих рук.

Растопыряв лапки и крылышки, он перекувырнулся в воздухе и, как лягушка на асфальт, шлепнулся на тугую поверхность морской волны. Я подумал: «Разбился!» – и, кажется, на миг потерял сознание. Потом, помню, мне хотелось броситься за ним, вытащить обратно на берег, засунуть в рукав полушубка – как раньше, когда я носил к морю все беспризорное семейство. Обогреть, молить о прощении и радоваться... Хотелось закричать: «Гаврила, обратно! Не уплывай, не надо. Я тебя увезу куда-нибудь, выживешь...» Или убежать с берега, все равно куда. Но я не смог сделать ни того, ни другого. И только когда увидел, как он вынырнул живым на белом гребешке захлестнувшей его волны, будто пискнув тоненьким детским голосом, заставил себя отвернуться, чтобы так и запомнить его. Кажется, подумал, словно заклиная: «Я же ведь выжил тогда, вынесло, помогли» – и невольно посмотрел на ладони, которые только что чувствовали его тепло и еще не успели остынуть...

Уже больше пяти лет прошло с тех пор. Помню, вернувшись из экспедиции, я, захлебываясь от восторгов, долго рассказывал об

островах всем, кто там не был, называя их другой планетой. Рассказывал обо всем – только об этом случае ни разу не упомянул. Хотя, как теперь мне представляется, мгновение это, не стираясь, жило во мне все время чем-то вроде капли, величиной со слезу.

Рассказывая о другом, я не раз замечал эту каплю. Мимоходом мы встречались, что называется, глаза в глаза, но я уклонялся от разговора, робел: то ли боясь оскорбить суетным касанием что-то слишком сокровенное, то ли, наоборот, сомневаясь в значимости впечатления, так бережно охраняемого в душе...

Я чего-то не понимал. И голос флейты, вернувшийся в тот момент, когда все обессилели и разуверились, сверкнув, словно что-то приоткрыл. Я успел заглянуть внутрь себя глубже и поверил, что предать забвению чувство, неназойливо и терпеливо жившее столько времени, нельзя. И все же, предвосхищая мучения, которые придется переживать снова, еще долго колебался.

Но одинокая флейта настойчиво преследовала меня, отчаянно подавая голос надежды, и я уже невольно вспоминал подробности того лета – острова, море, погоду, птиц...

Хозяева островов, совершив дальние перелеты из теплых стран, уже давно «распаковали вещи», давно нашли друг друга, выяснили отношения между собой и соседями, свили гнезда и уже никого не ждали.

На птичьих базарах, где все у всех на виду, жили кайры, толкаясь на голых, как стол, скалах, и то урчали, то глазели, словно кумушки. Тут же визжали чайки-моевки, облепив обрывы ущелий, но никто никогда не забывал местечко своего гнезда, возвращаясь с моря, и не путал своих птенцов с соседскими...

Сразу же отгородились от всех трусливые, похожие на попугаев пары тупиков и тайно, забившись в норы под валунами, как кроты, колдовали над выводением своего единственного птенца.

На открытых местах, гордо и повелительно, держа в страхе соседей, зорко дежурили около своих, самых ранних на острове, детей большие морские чайки...

А гаги-матери их еще только ждали. В одиночестве, покинутые недавно угодливыми и расфранченными гагунами, они «рожали» потомство почти не уходя с места ни гулять, ни кормиться...

И эта уже много суток непрерывно сжигала себя, чтобы обогреть гнездо, и, изнемогая от усталости, казалось, дремала.

– Вон, видите, около камня, – шепотом сказала Люда, остановившись метрах в десяти, и я заметил, что тело безжизненно лежавшей птицы вдруг мелко, как рябь, вздрогнуло. Веки глаз раскрылись, обнажив во взгляде мгновенный испуг, растерянность, печаль и какую-то покорную мольбу, которая, я видел и раньше, постоянно жила в глазах этих птиц...

Совершенно, кажется, неспособная защищаться иначе, гага замерла и в тревожном напряжении наблюдала за нами, укрываясь за цветущими стеблями арктической радиолы. Замедлив шаги, переступая мягко, боясь резкого движения, мы подошли чуть ближе, осматриваясь, а она, казалось, хотела вся вжаться в скалу, рас-плющиться и слиться с травкой, с лишайниками и мхом и, следя утомленными глазами, хотела убедить себя, что ее не заметили, или молила, чтобы это пришествие ее миновало.

Она выглядела мертвой, недвижимой, но, присмотревшись, я увидел, что тело ее едва заметно вздымается от дыхания, как живот у спящей собаки. И я невольно вздрогнул от изумления – дышащей птицы я никогда не видел.

Передо мной вдруг перепуганно обнажилось то, над чем я никогда не задумывался и считал несуществующим. Мне на какой-то миг стало стыдно перед ее наготой и хотелось убежать, отойти, вроде я что-то переступал, вмешивался во что-то запретное, ради собственного любопытства: будто вот сейчас здесь что-то начнется. Но тогда было невозможно в этом разобраться, надо было найти место для работы, и, наверное, еще сильней была жажда поглядеть тайну рождающейся жизни. Я только вспомнил кем-то высказанную мысль, что всякое познание чревато жестокостью, и быстро забыл.

И опять шепотом Люда повторила:

– Она уже дней пятнадцать сидит. Скоро птенцы. Но очень боязлива. Других можно погладить на гнезде – вытерпят...

– Но те гнезда плохо освещены. Не видно, – тоже шепотом отозвался я. – Нельзя снимать. Темновато.

– Ну смотрите...

– Ничего, привыкнет. – Перешептываясь, сдержанно дыша и двигаясь, мы раскладывали маленькую маскировочную палаточку, чтобы в ней можно было хоть чуть-чуть укрыться с кинокамерой и не так мерзнуть. Гага, впившись в нас застывшими от страха глазами, лежала, как на жаратке... Усталое неповоротливое тело ее натянулось и,

кажется, приподнялось над гнездом. Но под ней была кучка нагретых яиц, над которыми птица много суток сжигала свою плоть, и она никак не могла оторваться. Будто лежала и шептала: «Еще потерпи. Еще чуточку, может, они уйдут...» Стрдание ее передалось и нам, и я помню, как, шурша брезентом, невольно обращался к ней: «Не бойся, мы тебя не тронем. Не пугайся, глупая, мы же люди...»

Она не успокаивалась, и я опять ощутил в себе раздражение, которое преследовало меня с самого первого дня появления среди птиц. Они, особенно чайки, еще издалека кричали, как истребители по тревоге, поднимались в воздух и начинали кружить, а все остальные птицы – разлетаться, прятаться, таиться – даже на птичьих базарах, где они, как толпа, были смелее...

В этот момент я понял причину своего чувства. Раздражение шло от обиды на то, что они мне и всем нам не доверяли, боялись нас, не понимали и что еще обидней – не хотели ни доверять, ни понимать. Это казалось странным, потому что тогда во мне жило какое-то ощущение, которое убеждало в возможности взаимопонимания и травы, и птицы, и человека. Я слышал голос этого ощущения настолько сильно и так в него веровал, что даже усмехнулся, когда вновь увидел обезумевшие от страха глаза птицы: «Ну что ты, глупая? Мы же тебя не тронем...»

И устанавливал палатку. Нам надо было работать.

Когда почти все было готово, гага не выдержала, каким-то мучительным усилием сдернула себя с гнезда, и, в то же время как бы еще на что-то надеясь, озиралась на открывшуюся кучку яиц. И мы, еще тоже надеясь, замерли, затаили дыхание, как будто исчезли. На миг и она затихла, словно решив остаться, но какой-то инстинкт оказался сильнее тепла, державшего ее. Не поверив, птица пошла, захлопала, чтобы взлететь, отвыкшими летать крыльями. Вперемежку, то чуть взлетая, то валким бегом, она ушла на несколько метров, села, обернулась назад, еще отлетела и осталась кружить, выглядывая из-за соседних скал.

Взвизгивая, над островом хищно парили большие морские чайки.

– Пожалуй, не бросит. Уже скоро птенцы должны появиться, – все еще как-то полушепотом сказала Люда, то ли успокаивая нас, то ли рассуждая. И вдруг резко: – Я же говорила вам, что она боязливая... Тоже мне – мать! Я бы!? – И пошла прикрыть гнездо пухом и травкой – для маскировки от чаек. – Первый раз вернется...

После третьего сгона птица бросила гнездо насовсем, и три крупных голубоватых яйца остались беспризорно стынуть на холодном даже летом заполярном ветру. Окончательно убедившись, что мать больше не придет, Люда принесла их в домик.

– Они уже остывают, – будто никому сказала она, подула, сложив лодочкой, на покрасневшие от холода пальцы. Молча, доставая из-под куртки по одному, переложив яйца в проволочную корзинку, выстлала ее материнским пухом из гнезда. Потом, не приглашая никого, встала на табуретку и повесила корзинку над плитой, на вбитый в потолок гвоздик.

– Проверим, что будет из этого...

К вечеру еще не высокие, но уже какие-то вязкие, словно загустевшие, волны начали пениться шипя, и птицы стали покидать море. Тупики забились в свои норы. Кайры, глупо тараща круглые, как блюдца, глаза, тревожно топтались на голых скалах, урчали, подгребая под себя единственное яйцо или только что появившееся на свет птенца. Тут же по соседству около своих гнезд сустились чайки-моевки и, кажется, стали серьезней и не так скандальны, как обычно. Большие морские чайки, гнездившиеся среди пологих скал, подчас совсем на открытых местах, жались к земле, повернувшись навстречу ветру.

Птицы явно чего-то ждали и словно сообща готовились к какой-то опасности, прекратив всякую междоусобицу, хотя для нас вокруг еще не было ничего особенного – умеренно штормящее море не редкость. Но вот всегда светлый полярный день начал постепенно меркнуть под серыми, набухшими облаками...

А утром старенький домик с полузакопченными стенами, во всех углах изрезанными именами и датами одиноко живших под его крышей егерей, затрясся. Дребезжали стекла в маленьких оконцах, скрипели стропила, хлопало тесом, и казалось, что крыша, уже и без того сдвинутая вперед, как кепка на глаза, вот-вот снимется и полетит. Постепенно просыпаясь, мы лежали молча, как бы не решаясь обнаружить себя, пока, наконец, кто-то осмелился провещиться:

– М-да-а?..

– Ой-е-е!..

– Кажется, нам повезло...

– Жутко. Сейчас рассыплемся... Корзинку-то уже покачивает...

– Самое время идти снимать. Дождались... Даже в проливе, прикрытом от ветра скалами острова, волны стояли дыбом и зло

шипели. Остро, как иглами, ветер пронзал шнуровку туристских ботинок, и на открытых местах в него надо было упираться, чтобы не полететь. На нем же можно было полежать, нависнув над обрывом, когда он дул навстречу, в грудь.

Пересекая остров поперек, мы шли к открытому морю, сначала останавливаясь в невольном сострадании, а потом просто взглядом или жестом, – слова, едва они срывались с губ, мгновенно сносило ветром, – показывали друг другу на птенцов. «Бескрылые», расплзшиеся из открытых гнезд, они валялись на скалах и в щелях, беспомощно растопырив крылышки. Иногда пищали, иногда немо таращили глаза, брошенные ветром как мокрая тряпка, – часто уже остывшие...

К концу пути казалось, что их на острове как картошин после дождя на плохо убранном поле.

Птичьи базары стонали... Взлохмаченные, забрызганные дождевой грязью, жались в ямках своих гнезд всегда игрушечно чистые моевки. Иногда птицу срывало с карниза, и она долго кувыркалась над глубокой трещиной ущелья, ловя мгновение ветра, чтобы снова вернуться...

Из-за туманного горизонта на остров катились, грязно-зеленые валы и тяжело охали, натолкнувшись на крутые берега. Остров, похожий на осколок, отскочивший в море от разбившегося когда-то материка, казалось, качало, как плот. Полдюжата рыбацких судов, успевших укрыться за ним, болтало на якорях, и они словно шептали что-то, крестясь навстречу друг другу голыми мачтами.

Когда внизу ущелья показался домик кордона, я остановился.

– Ты что? Унесет, – сказал Игорь Ворохов, укрывая лицо капюшоном штормовки.

– Не беспокойся, здесь уже близко. Дойду один. Когда еще повторятся такие страсти... Ты посмотри...

Ветер прилизал к скалам цветы, траву, ягодник морошки. Прижал к камням крепкие стебли арктической радиолы, как, наверное, сплошной пулеметный огонь прижимал к земле в чистом поле солдат, не давая ни разогнуться, ни поднять головы.

Волны грозились сорвать одинокий остров «с якорей» и унести в открытое море. Оглядываясь вокруг, я чувствовал себя одуванчиком...

Ураган околдовывал, в него хотелось прыгнуть, захлебываясь от восторга. Взираясь на выступы скал, я нависал над обрывом с

распластанными руками, ложился на встречный ветер и что-то кричал, как язычник. Когда порыв слабел, я срывался, а ветер вдруг налетал снова и бешено, словно мстя за дерзновение, трепал меня, как листок на асфальте. Барахтаясь, я уползал за скалы, и снова смотрел на ошалевший океан, а тот, казалось, выкрикивал: «Ну, что?! Боишься?! Эге-гей. Гляди...» И хохотал. И от этого хохота на душе было радостно, почти страшно.

Первый звук раздался среди ночи, будто в темноте что-то нагрелось и лопнуло, и отскочил чистый, робкий, как бы самого себя испугавшийся писк, и быстро унырнул куда-то вглубь. Потом он снова повторился неуверенно, как бы еще сомневаясь в своем появлении, и снова юркнул...

Услышав писки сквозь сон, я не сразу понял откуда они взялись, и продолжал дремать, но уже вроде догадывался о чем-то и ждал, вслушиваясь в глубокую тишину, которая пала на острова. После шторма, длившегося почти сутки, все живое, как человек, изнуренный тяжелой и долгой работой, обмерло и отлеживалось в глубоком забытье, – казалось, даже не дышало. Ни одного голоса птиц не раздавалось над островами, и даже само море, истощив себя в бушевавшей ярости, теперь гладко и покорно разлилось, как вода на линолеуме.

Я лежал на верхних, почти под потолком, нарах, с закрытыми глазами слушая тишину, представляя по памяти картину отдыхающей природы, виденной накануне, и ждал.

– Тю-тю, – вдруг опять, как мотылек над полем, порхнуло в воздухе. И в оглушающем безмолвии писк этот показался мне первым и пока единственным голосом жизни, которой будто еще никогда не было на земле, – и вот она появилась. Потом что-то зашуршало, завозилося, и вскоре я различил, что этих тютюкающих голосов несколько. Открыв глаза, повернул голову. Взгляд сразу же упал на корзинку, висевшую над плитой, и в ней я увидел трех гагачат. Толкаясь, они подпрыгивали вверх, цепляясь лапками за сетку, срывались, падая друг на друга, совали в клеточки головы – как узники. Помолчав, опять попискивали жалобно, озираясь по сторонам, и, раскачивая корзинку, то ли ждали, то ли искали кого-то...

– Братцы, – сказал я шепотом. – Вы слышите? Это же невероятно.

Мне показалось, что в домике, в корзинке, висящей будто не под потолком, а на веревочке, спущенной прямо с неба, произошло чудо. Ведь еще вчера поздно вечером в корзинке лежали обыкновенные яйца,

как отполированные морской волной камни, и вот совсем недавно они вдруг почему-то зашевелились. Потом одно из них запищало, треснуло. И в эту трещину высунулся клювик и начал ломать скорлупу... И этой крушащей силой был всего-навсего маленький, сырой, будто залезанный, птенец.

Мысли об инкубаторе мелькнули сразу, но как-то отдаленно, не охлаждая изумления, а даже наоборот, усиливая чувство таинственности.

«Да как это он там зародился? Из чего? Этого не может быть. И куда они вышли?..»

Я опять закрыл глаза и, вспоминая свое детство, думал, что над этими вопросами усмехнется каждый школьник, и даже самого себя видел школьником, легко, по формулам, объясняющим мне теперешнему, что ничего в этом удивительного нет – просто там белок, что-то взаимодействует в тепле, – но еще долго дремал, наслаждаясь изумлением, как первобытный человек. И только теперь припоминаю, что уже в те минуты светлой полярной ночи состояние блаженного упоения сопровождало, даже преследовало, какое-то тревожное и в то же время тихое, как печаль, чувство. Казалось оно далеким, блуждающим вокруг, иногда совсем исчезая, как необъяснимое предчувствие беды.

Тогда я лишь бессознательно обратил внимание на него, но не мог и даже не хотел разгадывать, какой голос подает этот знак, и незаметно заснул с ощущением радости, которая ждет меня и всех нас завтра утром.

Но мне снился сон, и голый ребенок, лицо которого упрямо превращалось в мое лицо с первой интернатовской фотографии. Мне почему-то было боязно узнавать себя и я отгонял это видение, но тогда оно превращалось в темную лесную дорогу, костлявую от замерзшей комями грязи, и кряхтевшую телегу, нагруженную узлами и чемоданами, на которой опять сидел я, и сам величиной с узелок, и боялся потерять из виду мать, шедшую позади в молчаливой куче людей, уже простуженную и в темноте похожую на спотыкавшуюся тень. И опять ребенок...

Сидел он на песке, одиноко играя сам с собой, по-детски слюнявил во рту палец. Во сне мне казалось, что сидит он то среди пустыни, то среди моря, а то будто среди идущих людей. Его все обходили, а он принимал это нисколько не огорчаясь – будто так и должно быть, и ему

никого не надо, то вдруг начинал всхлипывать, кукситься заплаканные глаза, протягивать на встречу идущим худые, загрязненные песком и слюной пальцы, даже хватать прохожих за полы, безголосо кричать: «Мама...»

Потом я будто бы знал, что он ищет и зовет не мать, а того, кто почему-то заманил его, увел и оставил... Но на его зов никто не откликался, всё безжалостно убегало и в то же время как-то бережно обтекало его. Он успокаивался, поняв, что звать некого. И независимо, как взрослый, одиноко насыпал перед собой пологие курганчики, зачерпывая песок горстью, а потом просыпая его сквозь пальцы. Получалось это у него как-то уверенно, со значением, вроде он что-то нашел и ни в ком не нуждался. Сон я уже досматривал спокойный за него, безо всякой жалости и бессильной виноватости, терзавшей меня, когда он виделся плачущим.

Просыпался я среди оживления, наполнившего маленький домик. Еще во дреме мне слышалось то звонкое журчание, то какие-то круглые и прозрачные, разбегающиеся в разные стороны звуки, словно по полу рассыпали горстями стеклянные шарики. Они звенели, сталкиваясь друг с другом, и разбегались по углам. Когда я окончательно проснулся, я вспомнил ночное происшествие и ощутил в себе то радостное чувство, с ожиданием которого засыпал.

В окно шел чистый свет голубого неба. Я повернулся и, свесив голову с нар, увидел трех уже обсохших, словно вынырнувших из воды и просто отряхнувшихся гагачьих птенцов. От роду им было всего лишь несколько часов, но вели они себя так, словно уже давно живут на земле. Шустро, так же, как взрослые утки, чуть переваливаясь с боку на бок, птенцы строчили по полу, то сбегаясь в кучку, то разбегаясь по разным закоулкам избенки, заглядывали под табуретки, под нары, что-то склевывали, рассыпаясь звонкими, круглыми звуками: «Тю. Тю-тю. Тю-тю-тю...» Казалось, на кончиках их клювиков быстро надувались и лопались мелкие пузырьки... От этого звона в ветхом, одиноком домике стало как-то светлее, домашнее, словно в него нечаянно набегали игравшие на улице дети. Уже давно оторванные от домов и от семей, мы упивались этой неожиданной радостью, – и сами, как дети. Еще ни о чем не думая, в счастье и не желая ни о чем думать, ребята со всех сторон окружили это галдящее живье и забавлялись, как с цыплятами во дворе.

– Цып-цып, – а гагачата как-то по-своему понимали эти звуки и то

бежали на голос, то озадаченно переглядывались, относится это к ним или нет?

— Кути-кути... Эй, как тебя? Ну, вот ты? Иди сюда, иди сюда...

– Вставай, скептик, – сказали мне, намекая на то, что я в свое время не верил в появление птенцов. – Смотри. Мы родили...

– Ввиду временной нетрудоспособности, будешь у них нянькой. Птичником... – Нет, крестным дядькой.

– ТЮ-ТЮ...

– Цып-цып... Кутеньки-ку-у-у-утеньки, идите сюда. Ну идите сюда, я вам пшена покрошу. Ну, иди сюда. Я тебя зову. Да. Эй ты? Как тебя?..

— Да, да, ты... Вот молодец. Вот умница. Ай, да Гаврила...

Так одного, выглядевшего, пожалуй, покрупнее и как-то особенно смелого и рассудительного гагачонка нечаянно окрестили. «Крещение» же двух других, не обнаруживших сразу ничего примечательного, было отложено до какого-нибудь случайного наития. Люда, вернувшись после утреннего обхода гнездовой гаг, за которыми она вела наблюдение, покувыркала в руках каждого из птенцов, поворошила, где следует, детский пушок и не без сомнения, но объявила, что все потомство, кроме Гаврилы, мужского рода...

...И, еще не сказав главного, я вроде слышу голоса, что все уже догадались, что будет дальше, и надо замолкнуть, и лишь из чувства приличия еще сдерживается раздражение: «Ну, скорей, рожай. Не преувеличивай... Господи, столько забот вокруг.

Такое время! А он? – плачется над птенцами. Подумаешь, потеря...»

И посторонние, и чужие, и знакомые, то снисходительные, то презрительные глаза строчат по мне, и я начинаю робеть и шататься в сомнениях – не замолкнуть ли? Или досказать, хоть на бегу: «Да, взял, понес. Он за мной. Пришлось... Вот и вся история...» И все хочу то ли оправдаться, то ли извиниться: «Я же не о том. Не может быть, мы же не глухие». И я в одиночестве признаюсь: «Я ошибаюсь, людям эта связь неведома...» Верить в это я не хочу и опять «включаю» ту музыку. Она, мне кажется, надрывается о том же, ее голос сливается с моим чувством, пережитым тогда на берегу. Но она-то несомненна!.. И я, как спасение, слушаю ее, опять вижу маленький комочек, одиноко уплывающий в открытое море, опять болит в душе тоска и надежда...

И я успокаиваюсь, отдельно стою среди бегущих, уже никого не останавливая, и не спеша вспоминаю подробности, лишь самому себе признаваясь, что как бы оттягиваю приближение развязки, побаиваясь, но продвигаюсь к ней, веря вопреки всему, что с ним ничего не случилось, и он теперь летает...

Осень подкралась и зашелестела над островами уже в последние дни июля. Как-то незаметно, без явных признаков начало доноситься ее приближение, как голос издалека: то вдруг послышится, насторожит слух и исчезнет, и долго не повторяется – будто показалось. Но все чаще напоминает о себе ее призрачное блуждание, и кружа, все приближается, приближается.

И вот уже проскальзывают явные признаки: и диск незаходящего солнца, опускаясь к горизонту, чуть глубже врезается в море – еще не весь, но уже почти наполовину. И туманы, всегда любимые Баренцевым морем, тоже будто чаще застилают острова и выглядят как-то вроде сероватее, холоднее и тоскливее. И вот уже то одну, то другую ягоду морошки хочется попробовать на вкус – явно налилась, и в ярко-красный цвет просачивается желтый... И звуки не те, вроде больше шороха у травы, или шепота. И все чаще птенцы не беспомощно глазеют на тебя, а норовят убежать или даже улететь...

И вот уже все на виду. Хозяева островов, до этого жившие в разных местах, явно перемещаются к морю – выросли дети, надо быстро научить их летать и жить самостоятельно.

Шумно, как всегда, при этом еще успевая переругиваться с соседями, внушали что-то своим птенцам чайки-моевки. На одном гнезде, казалось, уговаривали, на другом попрекали ленью, на третьем почти сталкивали с карниза, заставляя лететь.

В абсолютной тайне, вряд ли кем подсмотренной, приучали к морю свое единственное дитя тупики. Боязливо озираясь на открытых местах, уводили к тихим заводям своих утят гаги, держа поближе к себе негромким криканьем и, наверное, ежась под хищными взглядами больших морских чаек, издалека, казалось, безразлично наблюдавших за уроками своих детей. А те, взобравшись на отвесные скалы, вдруг срывались с обрыва и то планируя, то взмахивая большими, но неумелыми еще крыльями, летели навстречу морю. Иногда шлепались на волну, как поплавки, но с каждым новым полетом все увереннее, все виртуознее и изысканнее совершая скользкую посадку, – скользнул и замер с приподнятыми, как у ангела, крылами.

Еще повсюду кипела жизнь, но она была явно уходящей. Птичьи базары стали похожими на огромный дом, разноголосые жильцы которого, каждый на свой манер, готовились к дальним перелетам. Острова, особенно в пасмурную погоду, казалось, засыпали, начиная приучать себя к долгому зимнему одиночеству.

И мы уже считали дни, и уже провертывалась в разговорах радость ожидания встреч, но еще сильнее нарывала в душе тоска расставания, и неотвратимо зрело какое-то смутное беспокойство, скрываемое будто бы среди более важных забот, но словно переходящее от одного к другому. И вот, вроде бы невзначай, лопнуло...

– А с ними-то что? – Посреди комнаты, уткнувшись клювиками друг в друга, устало, как старики, дремали два гагачонка – те, наречение которых было отложено до случайного наития, но так и не дождавшиеся его из-за своей обычности и оставшиеся безымянными. Просто ласково произносимое – «Фунтики». Закрыв глаза, они будто вяли, как сорванные цветы на солнцепеке, и медленно оседали к полу, потом, словно дети, еще не умеющие держать головку, клевали вниз, вздрагивали, спохватывались, открывали веки и снова медленно оседали.

Гаврила держался. Он шустрил около загоревавших братьев, ловил рассыпанных по полу бокоплавов, трепал, расклеывая их, иногда заглатывал и тютюкал, прерывая и в то же время подчеркивая тяжелое молчание.

Ответа на вопрос никто не знал. Вместо него, скрывая бессилие и вину, срывались реплики:

– Да, родили на свою голову.

– Спасли, благодетельствовали... Лучше бы уж чайки расклевали гнездо. Все на пользу...

– Еще расклюют.

– Яйца склевали – они безмолвные. А эти?.. Это уже души живые.

Отмалчивалась Люда, видимо, как орнитолог, чувствуя себя более других виноватой. Или бурчала что-то на мать, бросившую гнездо, и я чувствовал, что вопрос, повисший в воздухе, перескакивая по этим фразам, возвращается ко мне.

– Ну, так что, дядька?..

С первых дней появления птенцов я, еще недомогая после тяжелой простуды, больше бывал в домике, и как-то невольно оказался в няньках. Во время отлигов я ходил на берег моря и ловил для них бокоплавов – похожих на креветку, но очень мелких морских

насекомых. Приносил веточки водорослей, словом кормил-поил, предлагая разнообразную морскую пищу, которой, по нашим представлениям, могли питаться птицы в естественных условиях.

– Не знаю, надо попробовать подкинуть, – ответил я и с сомнением добавил: – Хотя вряд ли? – вспомнив, как водил их к морю в первый раз.

Клича, как цыплят, я открыл тогда дверь и по их суетливому оживлению понял, что этого момента они будто уже давно ждали. Гаврила сразу бросился к невысокому порогу и, одолев его со второй попытки, оказался на улице. «Фунтиков» за порог пришлось пересаживать, и дальше они радостно семенили за мной; перескакивая мелкие камни или обегая их, если перепрыгнуть было не по силам, возбужденные разнообразием открывшегося мира...

– Цып-цып. Тю-тю. Ты куда, Гаврила? – окликал я, когда кто-нибудь из них отвлекался или отставал, и птенцы послушно бросались вслед. Через несколько минут пути по крутой тропинке, едва заметно набитой в скалах от домика к морю, они, каждый по-своему, свалились в маленькое озерцо, оставшееся среди валунов после отлива, и, как поплавки, заскользили по воде, весело переговариваясь, обклеывая водоросли; ныряли, ловко «прищучивая» каких-то невидимых морских букашек. Но стоило мне затаиться или отойти, они немедленно бросали все, сразу как-то менялись в голосе, обеспокоенно озирались по сторонам, словно спрашивая друг друга, и торопились вы-карабкаться на берег. Я окликал их, возвращался, и гагачата снова плюхались на воду, а я ждал, когда они сами начнут выпрыгивать на камни, чтобы погреться на солнце.

На обратном пути я довел их до середины пути и, когда тропинка стала совсем крутой, взял всех на руки, по очереди рассовав под левую полу полушубка. Они забрались поглубже в рукав и под мышку и, сначала холодя капельками воды, а потом грея меня, медленно засыпали, вздрагивая во сне, и млели словно дети, с мороза забравшиеся на большую русскую печь. Я нес их, поддерживая снаружи рукой, чтобы они не просыпались вниз, чувствовал тепло, сочившееся от них сквозь рубашку, и, кажется, иногда слышал как вокруг моего сердца, словно пульс, бились три маленьких, с булавочную иголку, родничка. Было радостно и тревожно, и я с тоскливой надеждой поглядывал в даль побережья, где иногда мелькали гагачьи выводки, на крутые скалы птичьих базаров, где под надзором родителей осваивали полеты дети чашек и кайр...

– Не знаю. Они теперь привыкли к нам. Но делать-то нечего. Надо попробовать...

Всегда разное Баренцево море в тот вечер лежало спокойно, едва заметно прогибаясь в широкой, плавной зыби, и, как бы отдыхая, благосклонно покачивалось около берегов. Иногда поверхность его морщилась мелкой, как рыба чешуя, рябью, которая тут же вспыхивала позолотой под лучами вечернего солнца, лежавшего почти на воде. В чуть дымившейся дали, словно призраки, проходили торговые суда. Иногда, попадая в полярный мираж, они облаком всплывали в воздух и висели. Потом опять опускались на воду и сваливались за линию горизонта, исчезая, как странники.

Я смотрел на них, стоя вблизи мелководной бухты, больше чем наполовину врезавшейся в глубь острова, вспоминал себя, впервые приехавшего в столичный город. Будто раскаленная привокзальная площадь... Все куда-то бегут... Изумление, страх, растерянность... Вспоминал – и никак не мог решиться.

За пазухой, норовя выпрыгнуть, скреблись, нетерпеливо попискивая, три гагачонка.

– Ну ладно, пошли, – наконец сказал я подбадривающе вслух и осторожно двинулся вперед.

В бухте, на абсолютно ровной, как стеклянной, воде около самых берегов паслось несколько гагачьих выводков. Они сразу потянулись вдаль, как только я стал приближаться. Матери-утки, издав издали казавшиеся чопорно-важными провинциальными помещицами, негромко, но тревожно закрикали. К ним, еще не понимая причины, зарулили птенцы...

Их «гувернантки» или «тетушки» – молодые утки-перволетки, которым природой еще не было дозволено обзаводиться детьми, и утки, гнезда которых оказались разоренными, – тоже забеспокоились. Не имея своего потомства, они помогали другим. Почувствовав мое приближение, они, как неводом, стали закруживать в кучу отбившихся птенцов, отгораживая и будто прикрикивая...

– Ну что вы, глупые? Остановитесь, – шепотом уговаривал я птиц, но они медленно оттягивались к выходу из бухты на безопасное расстояние, и я опять почувствовал раздражение и обиду непонимания: «Глупые. Вы их возьмите. Они же беспризорники...» Утки плавали, опасливо косясь на берег.

Доставая поодиночке, я сажал на воду, может быть, кому-то из них принадлежавших детей и, подтолкнув сзади, пускал в бухту, как кораблики в ручей. Гагачата, бойко руля лапками и озираясь в опять незнакомой обстановке, погребли от берега. Я затаился, держась сначала на виду у них, и услышал, как со стороны гагачьих семейств раздалось то ли призывное, то ли предупреждающее кряканье. Гагачата тоже вроде уловили этот звук, и, оглядываясь на берег, все же поплыли туда. Я прижался к валунам, замер, но вдруг один из них, а за ним и остальные, словно что-то потеряв из виду, бросились к берегу.

Я быстро привстал, подал голос, чтобы задержать их хотя бы на полдороге, и они снова развернулись, опять вроде посмелев и незаметно оттягиваясь от берега. Заплыв за большой валун, торчавший из воды, они оказались совсем на виду, и мне показалось, что и несколько свободных уток начали отделяться от выводков, признав их за своих, случайно отбившихся птенцов. И я опять осторожно укрылся за камнями, вслушиваясь в каждый звук, раздававшийся над бухтой. Писк вроде удалялся от меня, и чуть ближе раздавалось кряканье или что-то вроде ворчанья взрослых уток. Какое-то время стояла напряженная тишина, в которой я слышал только свое заходящееся дыхание. Мне казалось, еще мгновение и что-то выяснится, сольется, уже идет разговор, но?... Да, но... Вдруг надо мной пронесся свист, и в бухте все заурчало, захлопало, потом раздался громкий шлепок и всплеск воды, словно в нее бросили камень. Когда я вскочил, птенцы из выводков в страхе лезли под матерей. Над разбегавшимися по воде кругами взмывала большая морская чайка, держа в клюве маленький комочек. Привставая и хлопая крыльями, угрожающе кричали на нее «тетушки», находившиеся совсем близко от моих птенцов, а те, уже вдвоем, зажмурившись от страха, неслись обратно к берегу.

– Дурачье! Назад! – Уже понимая, что все пропало, я в ярости отчаяния махал на них руками, не подпуская их к себе, – и почти шипел сдавленным голосом:

– Пошли вон, назад! Вон утки рядом, рядом же!.. Гаврила, куда же ты?!..

А они, испугавшись теперь уж и меня, заюлили, крутятся на мелководе почти под ногами, пищали, плакали, и, отплыв и от уток, тоже уходивших, и от меня, ткнулись в сторонке в прибрежные водоросли.

Когда я их подобрал, они тряслись...

Второй «фунтик» заявил за два дня до нашего отъезда в своем гнезде, в корзинке с материнским пухом, висевшей на веревочке под потолком чужого дома...

– Ну, все, Гаврила. Теперь прощай и ты. Но ты же молодец, ты же крепкий, ты выдержишь... Они тебя заметят, подберут, обогреют, ты еще всему успеешь научиться. Ну, не бойся. – Я нес его опять к морю, на другую сторону острова, где гагачьих выводков было меньше, но и чайки почти не гнездились. Нес уже одного...

– Не бойся. Я-то ведь выжил тогда... А тебе я все равно не помогу, понимаешь? У тебя другая жизнь, мы слишком далекая родня, я тебя не понимаю, – наговаривал я по пути, заглядывая в дырку приоткрытой полы полушубка. Мне хотелось вдохнуть в него всего себя, что-то внушить, и он, казалось, прислушивался к моему голосу и по его интонации что-то понимал. И жался ко мне, обжигая кожу своим теплом. А я то молча, то вслух все ему что-то наговаривал, наказывал, как когда-то моя мать мне, еще шестилетке, перед тем, как отпустить в лес, и потом сказал:

– Я верю, Гаврила. Ты уже столько выдержал. Боюсь, но верю. И тебе помогут... Все! Сейчас я тебя брошу! Брошу грубо, чтобы подальше. Пусть ты меня возненавидишь за это. За грубость, за жестокость. Когда люди не могут жить вместе, они расстаются. Так и мы с тобой. Это твоя единственная надежда на жизнь. Иначе нельзя... Вон они там вдалеке плавают. Это не так далеко, они должны заметить. Я тебя подброшу поближе к ним. Подальше от себя. Они меня тоже боятся. Мы не понимаем друг друга... Я не жестокий, Гаврила, но я поступлю так. Прощай, но помни, я верю...

Но сразу бросить я не смог. Я опять взял его на руки и лишь легонько подтолкнул на воду. Он, обрадовавшись, поплыл, как на очередном купании, деловито осматривая неглубоко затонувшие водоросли, но, когда я начал отходить, быстро развернулся и полез на берег. Из-за выступа скалы осторожно выплывал гагачий выводок...

И тогда я бросил. Он шлепнулся, мне показалось, что разбился, но потом вынырнул из захлестнувшей его волны, я увидел, как он закрутил головой, и тогда отвернулся, чтобы так и запомнить его – живым...

И теперь, через пять лет, мне снова кажется, что он оторвался от моих ладоней вот только сейчас, навсегда оставив на них пушистый след тепла...

ТОСТ

И все острее накаплило чувство сожаления: записки кончились, а столько не удалось сказать...

Будто огромные оркестры, разыгрывавшиеся перед концертом, то дружно, то нестройно, слышал я в памяти птичьи базары. Визжали чайки-моевки. То ли кряхтели, то ли ворчали белогрудые кайры, столпившиеся на скалах, как бутылки в гастрономах. Озираясь,



подгребая под себя единственное яйцо или дрожавшего птенца, и преодолевая страх в глуповатых кружочках глаз, они не слетали с него до самой крайней опасности...

Ураган задирает хвосты тех же моевок, а забрызганные дождевой грязью птицы, невзирая ни на что, пытаются удержаться на карнизах, чтобы накрыть собой гнезда с птенцами, вылупившимися на свет перед самым разгулом стихии. Охают острова, сдерживая волны, все на-рождающиеся и нарождающиеся где-то за горизонтом. Трясется домик заповедника на Вишняке, ветер норовит сорвать с него крышу. Откуда-то из крошечного, гудящего моря выныривают к Харлову тральщики, пристраиваются за его высокие берега. Гудит, стеная, Харловский маяк. Ветер прошивает плотно зашнурованные альпинистские краги, холода и покалывая ноги. В скальной щели пищит потерявшийся птенец...

Четверо людей, еще недавно малознакомых, связавшихся страховочной веревкой, карабкаются по скалам с кинокамерой, принаравливаясь к бешеному кипению моря. И потом крик:

– Семен! Назад! Эта достанет! Смоет!..

Я застыл над страницей, где было одно слово «Шторм», – и больше ничего, будто его одного и достаточно, чтобы все вспомнить в любое время. И мне кажется, что я тогда не ошибся...

На последнем листке мелко написано несколько строчек: «Шли белухи, морские коровы. Стадо животных в несколько сот туш. Шли на Восток, шнуруя тихое голубое море. С острова, издавека, казалось, что

над поверхностью его периодически вздуваются сотни накачанных воздухом белых наволочек с черными пуговками.

А через день, явно вдогонку, на огромной скорости, проливом между островами и материком, рассекало волны тугое черное тело касатки. Шла как торпеда, страстно, хищно, выдыхая на выныре, как паровоз, полная охотничьего азарта. Жаждала...»

Я прочел отчеркнутое, относящееся к чему-то общему, как напоминание и объяснение всего: «За красоту, за суровость, за непреклонность... за радость изумления. Дома первый тост за островитян». И вслух сказал себе:

– Ну вот и все. Всего не расскажешь...

МЕЛЬНИЦА

...Пожалуй, ничего кроме любопытства, почти туристического, не заметил я в себе, когда впервые услышал о ее существовании. Теперь, уже внимательнее вспоминая все ощущения, коснувшиеся меня тогда, я могу сказать точнее: от упоминания о мельнице под слоем поверхностного любопытства, проглянуло, сразу незамечаясь, как дно глубокого омута, чувство защищенности. Будто мне, оказавшемуся в чужой стране, сказали между прочим, что тут, совсем недалеко, живет мой соотечественник, к которому можно пойти в любое время... Как к озеру, по-осеннему грустно разлившемуся под холмами около полудеревни полугородского типа, у которого я просиживал до густой темноты, оказываясь между поездками в одиночном номере пустующей гостиницы.

Но тогда, с дороги, в натянутости знакомства с хозяевами района, я этого не осознал, и даже само любопытство было вызвано скорее всего стариком-мельником – человеком, жизнь которого, наверное, так и останется для кого-то спорной тайной. Одни называли его партизанским связным, другие, хотя вроде все точно установлено соответствующими органами, продолжали держаться слухов о связи старика с немцами во время оккупации.

Все это влетало в меня так же, как влетают в человека, идущего по улице города, звуки, лица, обрывки разговоров, и осело где-то внутри как второстепенное, поскольку будто выпадало из темы разговора,

состоявшегося накануне моего отъезда. Там мелькало: Нечерноземье, молодежь, закрепление на селе, возвращение людей в деревню – слова, которые раздражали меня своей затертостью, под которые я думал: «Сначала отучали от земли, а теперь давай прививай, приучай, воспитывай».

Но разговор все-таки соответственно ориентировал.

Поэтому я и теперь не берусь утверждать, что побудило меня среди возможных вариантов выбрать в первую очередь поездку в деревню, около которой еще сохранилась старая водяная мельница. То ли слова секретаря райкома: «Там председатель колхоза молодой. Хозяин!», то ли, что в колхозе есть филиал «Красного треугольника», открытия которого специально добились для юных выпускниц школ, чтобы они могли начать трудовую жизнь не сразу доярками. Это, по словам уже самого председателя колхоза: «И тяжеловато сразу, и вроде стеснительно. (Почему-то покорило меня от этих слов.) А невесты-то нужны!»

И причиной, определившей выбор, было, наверное, все-таки упоминание о мельнице. Будто что-то родовое таило в себе это слово, уводящее далеко за пределы буквального смысла... Председатель оказался изрядно лысоват, широкоплеч, как-то крепко окладист, хотя от роду ему, как и мне, было тридцать пять. В темно-синем деловом и сдержанно нарядном костюме с галстуком – стопроцентный столичный вид, если бы не коричневые резиновые полусапожки, в голенищах которых смялись «стрелки» отутюженных штанин.

– Я немножко Твардовский, – сказал он, здороваясь со мной, и, смягчая вольность шутки, усмехнулся. – Тоже Трифонович...

Почти без раскачки и смущения, неизбежных при знакомстве, мы с ним очень быстро нашли зацепки для разговора, скоро превратившегося почти в спор.

– Бригадный подряд – это что? Как бы маленький колхозик в колхозе?

– Ну и что? Это хорошо. Бригада точно знает: вознаграждение будет зависеть от результата труда. От результата именно...

– Но тогда и у администрации колхоза особая ответственность перед бригадой... Надо же ее всем вовремя обеспечить: и исправной техникой, и удобрением, и наукой... Чтобы все шло в соответствии с технологией земледелия. А, скажем, удобрений вовремя не поставили?..

– Им я найду! Достану и дам! – напористо отвечал председатель.

– А если весь колхоз будет работать по подрядам? Тогда ведь доставанием не выйдешь из положения.

– Об этом есть еще время подумать...

Он чертил на листке бумаги прямоугольник – воображаемое поле, линовал его, как пахал, говоря о технологической карте. Закончив мысль, победно откидывался на спинку стула. Я отбирал у него карандаш, бороздил «поле» поперек и задавал вопросы, норовя найти в его логике изъян. Возбуждаясь, он снова наваливался на стол, выхватывая уже из моих рук карандаш и, рассуждая, уверенно все ставил на места.

– Нет, тут неизбежны трудности, но есть логика. А на ферме подряд я не понимаю. КТУ – это не выход. Это я вам, Евгений Федорович, – он повернулся к инструктору райкома, привезшему меня в колхоз. – Я вам сейчас возражаю.

– Выход. Его снизят, если доярка будет плохо работать, нарушать дисциплину... – ответил Евгений Федорович, раздражаясь.

– Плохая доярка и так меньше зарабатывала, ухаживая за коровами отдельно.

– Но тут с нее будет спрашивать коллектив. Она его потянет назад. Другие будут страдать в зарплате.

– Не будут... Потому что те, кто будет работать хорошо, получают и более высокий КТУ, а стало быть, и большую зарплату.

– Я тоже этого не понимаю.

– Это какая-то кулаческая позиция.

– Вы что, называете кулачеством весь период, когда доярки работали каждая со своей группой животных? Нельзя же толковую идею бездумно насаждать сразу и всюду... Нет. Не понимаю и все тут! – горячился Владимир Трифонович. – Я же пробовал. Сразу удой пали... Отменил – опять поднялись... Вам что, молоко надо или цифры для отчета?.. Подряд – это же средство, а не самоцель. Пошлите куда-нибудь за опытом, убедите, тогда в лепешку разобьюсь, а организую.

– А вы передачу областного телевидения смотрели?

– Смотрел. Неубедительно. Сырость, какие-то заученные с бумажки слова. Нет...

Споры и выяснения продолжались долго. В кабинете перистыми облачками плавно блуждал синенький табачный дымок, и некурящий председатель предложил проехаться.

Контора правления была окопана траншеями, идущими от кочегарки, и территория ее напоминала строительную площадку.

– Это для отопления двух шестиквартирных домов, которые будут пущены в следующем году, – прокомментировал Владимир Трифонович, будто чувствуя мой вопрос, и белая «Волга» полезла в грязь.

– Асфальтировать надо, – сказал я, предполагая, что он разведет руками: увы, дескать, пока на все не хватает.

– Так в плане будущего года!

– Мало ли что в плане...

Я посмотрел на него. Он, глядя вперед, выворачивал на сухой, укатанный проселок. Однако, заметив боковым зрением мою ироническую усмешку, моментально вспыхнул и твердо сказал:

– Раз в плане, значит, с горлом вырву! – И будто поставил восклицательный знак, усомниться в котором было трудно...

– На ферму заезжать не будем. Не хочу сегодня напоминать себе. Все по проекту механизировано, а все что-нибудь ломается, – мрачно обронил Владимир Трифонович. – Но если не снимут, то доведу это до уровня!

– Почему снимут? Напротив, я слышал о вас лестное мнение, – сказал я, чувствуя за спиной «райком».

– Говорят, председателей через три года меняют, – отозвался Владимир Трифонович и уточнил. – Если меняют. А я как раз третий год заканчиваю, – он полуобернулся назад. – А, Евгений Федорович!?

– Не знаю, в райкоме никаких слухов нет на этот счет.

– Ну, тогда поехали...

И «Волга», прибавив скорость, покатила по сухой проселочной дороге: среди полуголого осеннего леса, холмиков и озер, то и дело, словно просветы голубого неба среди облаков, возникавших по обеим сторонам. Я невольно вспомнил Карелию, удивляясь их обилию – маленькие, втягивающиеся куда-то в леса, с островками, камышами, заводями. Вспомнил себя рыбаком и удивился вслух.

– Только на территории нашего колхоза семьдесят пять озер, – сказал Владимир Трифонович, похоже, гордясь этим.

– И в каждом есть рыба?

– А что за озеро без рыбы?

– Так это же рай. Особенно летом...

Все промолчали, и я припал к окошечку автомобиля, замечая в попутных деревнях, как среди потускневших от времени бревенчатых домов то и дело мелькали слепящие белым кирпичом новые двух-

квартирные домики, – как с картинки... Но они еще пустовали, готовые принять чуть ли не каждого, а уж стоящего человека – без разговоров... Я видел их потом и в других хозяйствах, стайками пристроившихся к старым деревьям, и не без удивления и грусти опять думал, что жильцов для них почти зазывают, в том числе и по оргнабору. Как какое-то обнадеживающее событие в райкоме упоминалось про десять семей из Казани, будто бы согласившихся поселиться в таких же игрушечных домах деревни Соино...

И пока мы ехали, во мне что-то нарывало, давно бродившее: то ли обида, то ли упрек. И корбило от вспомнившегося слова: Нечерноземье. Что-то оскорбляющее стояло за ним, сделавшим древние земли похожими на уroda, с которым теперь вынуждена возиться вся страна, как с недоноском... Псков, Новгород, Кострома, Ярославль – что ни название, то история, корни. И все это тонуло в безличности бездумно или умышленно ввернутого словечка... Будто самое важное определение земли – процент содержания в ней чернозема? Будто эта же земля, веками родившая практически все необходимое, вдруг стала иной, бесплодной – «зоной рискованного земледелия»... И мне хотелось взглянуть в лицо человеку, осмелившемуся назвать древние российские земли зоной, а корову, например, бездушной мясомолочной единицей. И невольно вспоминались сочинения на тему «Что я знаю о земле?», написанные первоклассниками одной из сельских школ Ленинградской области, которые я читал несколькими месяцами раньше. Дети не знали об этом сочинении заранее, учительница написала тему в начале урока и не отвечала ни на какие вопросы – пишите то, что думаете. Почти в каждом из сорока сочинений были строчки, врезавшиеся в память, особенно в тот момент, когда авторы читали их перед микрофоном по просьбе киногоруппы, снимавшей фильм о трудовом воспитании. Как и тогда, особо помнилась искренность звучащих голосов.

«...Когда мне было 6 лет, мы с папой посадили два дерева. С того дня мы начали ухаживать за деревьями. Я приносил воды из детской лейки...»

«...Весной мы сажаем картофель. Потом нежную пшеницу. Потом лен. Родная земля».

«...Мы землю все любим. Земля это хорошее слово. И это знают все люди... Без земли никак не обойтись. Земля чувствует, как по ней ходят... Мы по земле ходим и, когда ее заливают какой-то непонятной

грязью, и ей тоже больно. Земля это как мать, она родная. Она для нас одна на свете...»

«...Земля – это самое главное, что есть на свете. Если бы не было земли, тогда бы мы летали по воздуху...»

«...Если б не было земли, тогда бы всех нас не было. Она очень хорошая и красивая. Земля есть разная, и землю все любят и, конечно, уважают. Землю надо любить и ею любоваться...»

«...Когда я родился, я не знал слово земля. Когда я маленький шел по земле и подумал, что я лечу... Я пахал с дедушкой картошку, он дал мне сидеть за рулем. Когда я сел за руль, я головой стукнулся об дверь. Когда дедушка устал, он слез с трактора...»

«...Я знаю, что земля единственная у человека... Каждый человек хочет жить на своей земле. Я б тоже хотела жить на своей земле, я считаю, что наша земля лучше всех! И я хочу никуда не уезжать!..»

– А это школа, – прервал молчание Владимир Трифонович, кивнув на аккуратный, уютно вытянувшийся около лесочка дом в одной из деревень. Помолчал, вспоминая что-то. – Хотели, между прочим, закрывать... Почему? Так в классе по два-три человека.

– Дворянское воспитание... – Если бы дворянское, тогда хорошо. Тут другое. Не будет школы, родители поедут искать вариант. Ребенку же надо учиться.

Я помолчал, не найдя, что сказать, кажется, вспоминая свое детство, когда о нас пеклись иначе. На лесопункте четыре класса, а если хочешь (и не хочешь – семь классов окончи) учиться дальше, пожалуйста, пешком за двадцать километров в сельскую среднюю школу. Где жить? Да где мать договорится... А председатель, размышляя про себя, добавил:

– Думаем о средней. Чтоб не развращать, – хмыкнул, – детей городом, даже райцентром. Вот разбогатею и учителей на свое содержание возьму. Чтоб ни от кого не зависеть...

Я взглянул на него, и он сразу встрепенулся за рулем, будто мой скептический взгляд опять задел его за живой нерв.

– А что? Сто тысяч ссуды я уже государству вернул! – обернулся он к Евгению Федоровичу, как бы требуя подтверждения. И, получив его, внушительно, с уже знакомым мне напором посмотрел на меня.

– А сколько взяли у государства?

– Семьсот.

– О?!

– Что «о»?! Да если так пойдет, как я думаю... – он сделал паузу, но досказал решительно: – Через два года расквитаюсь. Максимум три! Давайте поспорим. Приезжайте через два года.

Мне нравился его искренний натиск. Аргументов, чтобы возражать реально, у меня не было, и я охотно отступил. За спиной молчали, и я переменял тему:

– Владимир Трифонович, вот как бы вы сформулировали свой этический принцип как руководителя?

По реакции было видно, что вопрос застал его врасплох, и я, чувствуя его затруднение, хотел уточнить смысл наводящим ответом: «Например, честность или?..» Но он, подумав, ответил:

– Это к кому как... С одним надо уговором, с другим – командой, с третьим – внушением. Или примером. Это теперь сложно. Народ... – он подумал, подбирая слово, но вместо него, сняв руку с руля, покачал ею и так и сяк...

В разговорах, рассуждениях и спорах я и забыл о мельнице, и только когда заметил, что «Волга» едет по дороге уже с узнаваемыми озерами, холмами, кое-где усыпанными суслонами льна, спросил:

– Владимир Трифонович! А на мельницу-то вы меня подвезете? Или еще лучше, покажите дорогу, я с удовольствием пешком.

Мне почему-то показалось, что она должна быть где-то рядом у деревни. Возможно потому, что я вспомнил остатки мельничной плотины в своей архангельской деревне, где живут мои отец и мать. Там мельницы уже нет, только вода шумит по кольям, вцепившимся в дно реки, напоминая в мгновения одинокого вслушивания о какой-то далекой, сложной истории жизни, всплывающей иногда в случайных воспоминаниях последних стариков о ее раскулаченном хозяине и безымянном комиссаре, до полусмерти растерзанном посреди деревни, отчего старухи до сих пор всплакивают – и о том, и о другом...

– А что там интересного? Мельница как мельница, – ответил председатель, как мне показалось, с нарочитым равнодушием. – Но можно и заехать, – и через пару километров свернул на явно лесную дорогу, которая скоро выскочила на желтое сжатое поле, покрывшее собой маленький холм, потом опять унырнула в лес, став потрудней, но оставшись проезжей даже для «Волги».

– Там сегодня должны молоть, – сказал Владимир Трифонович. – Мне бы не резон, но ладно.

– Тогда вы покурите здесь в лесочке, поодаль. Мне очень хочется хотя бы взглянуть, – попросил я, выторговывая, как мне еще казалось, просто прогулку ради любопытства. Оно, пожалуй, в этот момент было связано не с самой мельницей, а со стариком-мельником, в котором все, упоминавшие его, усматривали нечто редкое хотя бы внешне.

– Давай тоже выйдем. На уток посмотрим.

И мы вышли из машины втроем и, шурша опавшей осиновой листвой, начали спускаться по косогору, у подножия которого, как в яме, лежала набухшая вблизи плотины черноводная река. Мельницы еще не было видно, она чувствовалась где-то за поворотом, откуда доносился густой, похожий на ливень в лесу, идущий шум падающей воды. Утки, плававшие метрах в пятидесяти, медленно потянулись на уход, не взлетая, но настороженно реагируя на каждое наше движение. Отплыв, они скользили поперек запруды, почти не тревожа поверхности воды, хотя гладь была такая чуткая, что на ней даже опустившийся водяной комар оставил бы царапину.

– Вон селезень выплыл из-за мосточка.

– А слева еще два... Да их тут много.

Лес вокруг казался старым, даже каким-то корявым, древним, узловатым, как иссохшие руки одинокого старика, задумавшегося над жизнью. Впечатление это усиливалось голостью деревьев, особенно на противоположном болотистом берегу, будто чуть затонувшем. Там среди общей седоватости высвечивались тонкие, с обломившимися верхинками стволы березок, сгнившие, видимо, от сырости, – воткнутые как колья.

С берега, на котором мы стояли, рухнули вершинами в омут три огромные осины, настолько обдуманно, выверенно подгрызенные бобрами, что бобры, казалось, где-то тут же рядом, только затаились, выжидая.

От всех этих подробностей, попавших мне на глаза, от шума плотины и особенно от безотчетного ощущения глубокости и древности всего пейзажа, и реально плавающие вдалеке настороженные, беззвучно скользющие утки казались какими-то колдующими призраками, странными, неизвестными существами – не птицами.

– А из мелкашки можно достать.

– Да, всех можно уложить потихоньку.

– Мельник самого уложит за утку. Они здесь и зимуют. У плотины-то не замерзает...

И во мне постепенно начала зарождаться тихая робость... Хотелось не говорить, а шептаться, как в детстве после страшной сказки. И не идти, а потихоньку красться, даже затаиться, чтобы чего-то не вспугнуть или самому не испугаться. И это ощущение все крепло во мне, когда я уже один поднялся по косогору, прошел мимо машины, мелькнувшей теперь передо мной каким-то инородным, расплывчатым бельмом, и, направляясь к мельнице, вошел в небольшой перелесок, в просветах которого уже мелькало здание мельницы. Оттуда, все усиливаясь и густея, доносился шум, и явно нарастало что-то похожее на притяжение, будто воздух впереди становился разреженнее, чем за



спиной, там был вакуум, в который засасывало...

В тот момент я не мог ни думать, ни осознавать, даже не смогу описать более-менее верно, как выглядела мельница, – какое-то серое, пропитанное, видимо, мучной пылью деревянное здание, дальний край которого был пониже, – вот и все, что отпечаталось в мозгу помимо моей воли. Но точно помню, что вместо колесного трактора, въехавшего на светящийся от песочка другой берег, и прицепа с мешками, стоявшего на мосту плотины, я увидел старую крестьянскую упряжку. Тракторок показался лошадкой, остановившейся в оглоблях чуть наискось к косогору, а прицеп – двухосной телегой или тарантасом. Атмосфера мельницы, видимо, была настолько насыщена старинностью, что невольно вызвала оптический обман.

Все это произошло, когда я, не ожидая, что перелесок оборвется так скоро, выпал на открытое место, на полянку, еще зеленевшую

коротенькой густой травкой. Вода подступала слева сразу близко к лесу, и из-под обрывавшегося берега, как из пещеры, вышмыгнули три большие кряквы, заставив меня вздрогнуть, как от крика в безлюдном темном лесу... И я остановился, чувствуя себя чем-то инородным и в то же время узнающим дремавшей памятью то, что когда-то было – или даже всегда было – на земле, еще раньше всего. То, что невнятно называется словом Природа...

Мне хотелось постоять одному, пооглядываться, попробовать понять, но взлетевшие утки привлекли внимание мужика, выбежавшего на плотину из полутемного нутра постройки. Взяв за угол мешок, он повернулся в мою сторону. Следом за ним появился другой, они оба, развесив уши шапок, поглядели на меня как на диковину и, схватив по мешку, быстро скрылись внутри, потом опять появились. Работали они торопливо, будто грабили амбар или злились...

– Здравствуйте, – робко, в шум сказал я и, не разобрав их ответа, промямлил. – Можно посмотреть?..

– А ты откуда?

– Да вот в Шукино приехал.

– А-а? – непонятно было, что это означало. Вроде: «Ну, смотри. Чего?»

И я, потоптавшись перед широким входом, сторонясь, боком, чтобы нечаянно не помешать им таскать зерно, тоже вошел в полуосвещенное запыленными окнами помещение. Там что-то постукивало, поскрипывало, справа на вертикальных осях медленно вращались два, наверное, жернова, величиной с небольшие точила, видимые в «окошко» дощатого ограждения. В центре с невысокого потолка свисала цепь, приделанная к площадке, на которую мужики уложили мешки, накрыли их створками, застегнув на кончик цепи, и побежали куда-то вверх, болтая лапами распахнувшихся мучнистых ватников.

– У-у, начальство. Не могут ворот подключить... – ворчали они на ходу.

Я смотрел на это издревле обычное дело и никак не мог понять, снится мне или происходит наяву, и опять почувствовал свою инородность еще больше, и странное родство, будто оно было вложено в клеточки моего организма по наследству, как охранная сила против умирания...

Когда мужики нагрузили вторую площадку, я, уже чуть осмелев, попросился с ними наверх.

– А давай, смотри, – снисходительно бросил один из них, и я следом за ним по крутой лестнице около стенки тоже нырнул в маленький лаз в потолке. Над головой была крыша, под ногами – глубина и шум водопада в бездну.

– Вот смотри. – И, навалившись животами на деревянный кол, мужики пошли по кругу, наматывая на ворот цепь, пока снизу в отверстие потолка не поднялась нагруженная мешками площадка. Разгрузив ее, они отпустили ворот, который чуть не сгреб меня раскручивавшимся колом, и начали высыпать зерно в еще какое-то отверстие.

– Вот вишь, как это делается. А там внизу уж мука выйдет, – сказал один из них, чувствуя, наверное, в моем поведении и изумление, и почтение...

– А сам мельник где?

– Там, внизу, налево.

Дверь в избу мельника я открывал почти околдованный увиденным и, притворив ее, сразу попал в тишину, которую, как это ни странно, шум воды, глухо доносившийся, будто отгораживал и сохранял. Здесь все словно обмерло или было всегда, не рождаясь, не строясь. Казалось, отсюда ничто и никогда не выходило за порог и никакого течения времени нет, есть только недвижный покой. И это подтверждали четко лопающиеся в пустоте звуки настенных часов с высоко подтянутой к маятнику гирей.

«Что же мне тут делать?» – подумалось мне. И я шагнул по чистым половицам, едва касаясь их, чтобы не корябнуть это безмолвие суетным звуком, в то же время уже ощущая какое-то назойливое шуршание, будто исходящее из меня самого, и стал невольно «обыскивать» себя... но шуршание стало еще назойливей. Наконец сообразил, что это моя нейлоновая куртка, теплая и легкая, скрипела, как жареные картофельные чипсы в жестком целлофановом пакете.

«...Мы были у него с военкомом. Спрашивали, кого-нибудь помните из партизан, которые к вам на мельницу приходили? Говорит, не помню никого... А почему вашу жену и сына расстреляли немцы, а вас не тронули?.. Я, говорит, не имел права выдавать себя. И еще есть слухи, что он по пути в военкомат, когда его мобилизовали, будто бы вернулся с дороги, сказав своему товарищу: ты, мол, иди служи, а я обратно на мельницу», – вспоминал я рассказ председателя сельсовета, оказавшись за порогом избы.

– Это убедительная версия, если человека оставляли партизанским

связным... Иначе, почему же тогда сразу не спохватились, если человек не явился на призывной пункт?

– Так немцы вскоре оккупировали этот район. Ну, так все и потонуло.

– Но как же быть с передачей по телевидению, если столько неясностей?

– Дед свое дело сделал. Местный корреспондент – его постоянный посетитель. Он и писателя одного подружил с ним. А тот – дальше...

«Нет, теперь все точно установлено. Партизанский связной, – вспомнил я слова секретаря райкома, услышанные мною раньше всех слухов. – Мы дважды давали запрос в соответствующие органы. И недавно пришел окончательный ответ...»

И снова голос слухов: «А может быть, все объясняет одна фраза мельника: я свое отжил. Дескать, думайте, как хотите. И на память ссылается. Говорит: никого и ничего не помнит...»

Мельник не слышал, когда я вошел в избу. Он сидел в дальнем левом углу у небольшого окошка, облокотившись на стол левой рукой, кисть которой, мясистая, с короткими толстыми пальцами, без единой прожилки, тяжело свисала с края стола. Такой кисти у девяностолетнего человека я никогда не видел, и если бы не она, мельника можно было бы назвать старцем из сказки. Голова его была не седая – белая. Склонив ее на грудь, он утонул в такой же белой волнистой, длинной бороде и, казалось, уже много веков спал, словно заколдованный. И опять, слыша лопающиеся звуки настенных ходиков, я подумал о тайне времени. Передо мной было одно время в совершенно другом – тоже времени. И чтобы выйти из этого оцепенения, я заставил себя подать голос.

– Здравствуйте... – замешкался, не зная, назвать старика по имени, которое мне было известно, или не надо. Чаще всего, исходя из своего опыта знакомств с людьми, заведомое знание имени и отчества человека сближало быстрее. Но здесь, хотя нас разделяла всего лишь длина обычного стола, расстояние определялось неопределенной величиной – как любое конкретное число перед бесконечностью. И я снова просто повторил чуть громче:

– Здравствуйте...

Старик не вздрогнул, услышав вблизи незнакомый голос, он продолжал по-прежнему быть одиноким, только чуть приподнял голову и, не пробуждаясь, приоткрыл глаза. Потом, видимо, различив что-то перед собой, поправил очки, съехавшие на кончик носа, и без всякого

удивления стал смотреть на меня, словно припоминая, что он на земле вроде бы когда-то видел существ, похожих на то, которое его сейчас пробудило... А может быть, подумал, увидев мою нейлоновую куртку, продолжающую поскрипывать при малейшем движении, что вот опять его будут расспрашивать, вынуждая вспомнить что-то о своей жизни: кому служил, почему не помнишь? – и снова склонился над подшивкой квитанций, которые, он, видимо, выписывал мужикам, моловшим на мельнице овес.

– Вот, я тут... зашел посмотреть. Слышал, мельница... – промямлил я. Старик, не реагируя на мое замешательство и продолжая оставаться все в том же древнем полусне, обронил:

– Да, мельница. В двадцать пятом хозяина прогнали... Я с тех пор. А он убежал куда-то... Когда-то в районе было двадцать две их. Потом четыре недавно... Теперь вот эта. Последняя...

Я вслушивался в его тихий голос, вникая в смысл слов и надеясь, что старик разговорится. Стоял не шевелясь, стесняясь своей легковесной куртки, чувствуя себя человеком, забредшим в другую жизнь, где мною совершенно не интересуются, – это я обязан ею интересоваться, – и не знал, что бы еще спросить. Да и что можно спросить здесь.

– Жернова старые совсем... Скоро сотрутся. Я уже их подгонял. Погибнет все, – нехотя помогая мне, добавил старик и замолчал. В последних его словах я впервые уловил отношение: глубоко скрытое чувство то ли укоризны, то ли сожаления...

– Можно, я к вам зайду еще раз? Сейчас меня ждут. Извините, хочется поговорить не торопясь.

– Да я уже ничего не помню. Память ослабла совсем. Заходите... Жена, хозяйка, в деревню ушла. Что она скажет... Не знаю. Я все уж сказал. Смотрите сами... – отозвался мельник, и по интонации его голоса я понял, что возвращаться сюда нежелательно. Не надо. Вполне достаточно и того, что я здесь пережил за эти полчаса. Надо только обдумать, что это значит...

– Ну, как мельница? – спросил Владимир Трифонович с оттенком некоторого превосходства и снисходительности в голосе. Примерно так же, как ленинградец, не помнящий, когда последний раз был в музее, спрашивает у приезжего провинциала: «Ну, как Эрмитаж?» – не подозревая, что находящееся у него под боком и потому обычное для него – провинциала может сделать хоть на время, но другим человеком.

И я, перегруженный ощущениями, пережитыми в получасовой встрече, чувствуя себя каким-то уменьшившимся, какой-то хрустящей

точкой, не знал, как отвечать. Это было похоже на ситуацию, когда встретившийся приятель с налету спрашивает: «Привет. Как живешь?» – ситуацию, в которой я всегда чувствую себя беспомощным, как перед вопросами: «А что такое жизнь? И в чем ее смысл?»

«Ничего», – хотел солгать я, чтобы соблюсти вежливость и в то же время ничего не ответить. Но удержался от дежурного слова, ибо было не «ничего», а нечто.

– Не знаю. Не пойму еще, – искренне ответил я. – Где-то побывал. В огромном омуте. В остановленном времени.

Я говорил, следя за реакцией соседей и на всякий случай иронически усмехаясь над высокопарностью слов, и одновременно внутренне отстаивая право на их произнесение.

– Как бы еще сказать?.. Будто меня обмакнули в этот омут и шепнули, чтобы я, нейлоновый, торопящийся куда-то человек, не забывал свою родню и не повис в воздухе. Смешно, да?

– М-да, – неопределенно выдал Владимир Трифонович, разворачивая машину на маленькой полянке, вдавившейся в лес и усыпанной круглым осиновым листом, как новогодним конфетти. – Нет, ничего. В этом что-то есть...

– Во всяком случае, с вашей помощью я заглянул в прошлый век. Даже пожил немного, – закрутился я, почувствовав иронию.

– Так мельница, наверное, даже не прошлого, а восемнадцатого века. Хотя есть электрический привод. Воды же не всегда хватает, а хлеб нужен всегда, в любое время.

– А мужики вручную крутили ворот и что-то бурчали, упоминая вашу фамилию...

– Потому мне был и не резон. Мотора никак не могу достать.

Мы рассмеялись, и я опять думал о мельнице, пытаюсь объяснить, почему встреча с ней так глубоко поразила меня.

Я чувствовал в себе беспокойное присутствие какой-то занозы и, обдумывая, вспоминал полуразрушенные маковки церквей, то и дело оплетенные теперь лесами реставраторов. Чувствовал «занозу», читая статью в свежем номере «Псковской правды», где говорилось, что когда-то «в Пскове существовали почти все ремесленные отрасли, известные в тогдашней России». Что «лучшими в стране считались наши каменщики... Достаточно вспомнить созданные псковичами собор Василия Блаженного в Москве и Кремль в своем городе». И что «к сожалению, множество прекрасных произведений старых мастеров погибло во время войн, которые пережила Псковщина за свою более

чем тысячелетнюю историю, а дошедшее до нас часто искажено поздними переделками...»

«Все было, существовало... К сожалению, исчезло, искажено...» – думал я, повторяя слова газетной статьи. Мы что, только пере-делывали, улучшали, или все же разрушали?..

– Владимир Трифонович, а вы бы согласились стать мельником? – спросил я председателя, когда мы вечером, блаженно расслабившись, сидели в предбаннике. Спросил между прочим, ожидая от него, человека с перспективной карьерой, по крайней мере неопределенной реакции.

– А кто бы не согласился?! – ответил он, ни мгновения не размышляя, все с той же энергичностью, которая моментально вспыхивала в нем, когда задевали его за живое. – Да хоть сегодня, сейчас, прямо из бани пойду. – Хмыкнул и лукаво посмотрел на представителя райкома. Взглянул, усмехнулся. – Только кто меня отпустит теперь?

– А что в этом такого притягательного? – осторожно спросил я.

– Да все! Река, лес, пчелы. Только не ленись, заводи любую живность, работай. Сам себе хозяин!

– А не затоскуете? Ведь тут надо будет жить. Не гости, не прогулка.

– Жить, конечно, – и он увесисто добавил: – Вот именно жить! А где настоящая жизнь? Где? В городе, что ли? – напористо взглянул на меня, как бы припирая к стенке. Сделал паузу и, словно извиняясь за срыв, по-мальчишески добавил: – А затоскую, так машина на что? Мотоцикл, по крайней мере, у меня свой. С коляской. Жену в нее, пацана одного туда же, старшего за спину. И куда хошь поезжай...

Вместе рассмеялись, и он замолчал, может быть, уже представляя себя в только что размашисто нарисованной картине.

– Так вы и сейчас же хозяин. Председатель!

– Конечно, хозяин. Что прикажу, попробуй не выполни!? – ответил он, явно отшучиваясь, но все же не выходя из серьезного настроения. – А надо мной сколько хозяев? А? Перед этим отчитайся, этому ответь, а к третьему лично на ковер явись... Даже не в этом дело... Я же иногда специально на мельницу заезжаю, без всякого дела. Выбираю время, когда никого там нет. Машину ставлю где-нибудь подальше, а сам пешком, не торопясь... Там ноги свесишь с плотины. Вода, лес, покой... Нет, не покой – основательность какая-то. – Владимир Трифонович помолчал, оценивая мое отношение и вроде бы уже стесняясь своей откровенности. Но все же признался: – Жизнь вечностью кажется. Вроде как ты всегда был и даже не верится, что умрешь... А тут? Суеты

столько, все заботы, заботы. Как подумаешь – на что жизнь тратится? А дни, как в решето – сыплются, сыплются. Оглянулся – уже тридцать пять стукнуло. Хочу в мельники! Снимите меня, Евгений Федорович...

– А что же вы сегодня не зашли на мельницу?

– Да не из-за мотора. Достану я его. Просто раздражать себя не хотелось. Опять хлебнешь той обстановки, затоскуется... Ну, все! Хватит! – решительно подвел он черту, снова превратившись в энергичного беспрекословного председателя. – Все хорошо. Давай еще раз в парилку?..

– Сейчас. Только еще один абстрактный вопрос: как вы, например, выбираетесь из леса, когда заблудитесь? – спросил я, интонацией голоса намекая, что смысл вопроса не надо понимать буквально.

– Понял... Сейчас вспомню... Сначала ишу какое-нибудь знакомое место, от которого еще знал, в какой стороне дорога...

– Ну, а если уж совершенно запутался?

– Так не бывает... ну а если уж? Тогда – вперед. Где-то же все равно есть дорога. А вы как?..

– Я стараюсь время от времени уточнять направление, откуда вышел...

...Через неделю, к концу времени, отведенного мне на поездку, я уже прочно осознал, что из всего пережитого мною за это время единственное, о чем мне хочется рассказать, была встреча с мельницей, – то и дело напоминала о себе «заноза», не поддававшаяся осмыслению. Хотелось еще где-то упомянуть о книжке «Письма Плиния Младшего», без всякой очереди купленной в райцентровском книжном магазине, в которой я вычитал фразу: «Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем», которая, как мне показалось, приоткрывала завесу над суетой, выдаваемой часто нами за важные дела, преобразования, реформы. Хотелось еще сказать, что единственным моим утешителем в одиночестве и собеседником были не люди, которых на улице сельского городка было достаточно, а озеро, к которому я уходил из пустующей гостиницы, и воспоминание о том, что где-то недалеко, в тридцати километрах от меня есть мельница с шумом падающей с плотины воды и тишиной в доме мельника, к которым можно прислониться, как к живому и верному человеку. И это снова заставляло задавать себе вопросы: «Так куда же нам? Вперед, где какая-нибудь да попадется дорога, или попытаться уточнить, откуда мы вышли?..»

– Так, говорю вам, меня все пятнадцать лет тянуло обратно в Соино. Вот теперь вернулась насовсем... Муж меня сначала увез в Челябинск, приехав в гости к своей бабушке (мать и отец его уехали во время войны, он там и родился), а теперь вот я его увезла. А дети, их у нас двое, те всегда приезжали сюда, к моей маме, как домой. Вот так. Ничего особенного, – слушал я рассказ Галины Федоровны, еще молодой женщины, много лет ходившей в передовиках производства одного из крупных промышленных предприятий Челябинска, а теперь заведующей участком животноводства.

– А муж?

– Так он строитель.

– А коров-то вы не забыли? Чувствовать животных не разучились?..

– Ну что вы? Это же в крови. Быстро все вспомнилось...

– А у вас там в смысле быта все было хорошо?..

– Все было, и квартира, и зарплата.

– Так что же?.. Все-таки пятнадцать лет...

– Так, говорю вам, все время тянуло домой...

Приткнувшись на лавочке автобусной станции, я записывал попутный разговор с шофером «Сельхозтехники» Григорием Францевичем, двадцать лет назад приехавшим на Псковщину из могилевской деревни.

– Там, где я жил, ни леса, ничего. Одна гнилая речушка, – рассказывал он, степенно ведя грузовик. – А здесь, вон сами видите, куда ни глянь, озера. А лес, грибы, ягоды, рыба. Всего полно. Я приехал, посмотрел и сразу же купил себе хатенку, чтоб крыша была для начала. А потом все сам построил.

Мне так хотелось вернуть: «А теперь такие домики пустуют...»

– Сначала электриком работал, линию электропередачи тянули, – продолжал он.

«Только в 1961 году?» – невольно удивлялся я про себя и ненароком спрашивал:

– А не смущало, что другие люди, незнакомые?..

– Так люди везде разные. В одной деревне работали, там и в хату не пригласят воды напиться. А в другую рядом начали тянуть, столбы ставить, так там за рукав... силой звали. И покормят тебя, и что хочется, только дай электричество.

И уже без вопросов, будто чувствуя настроение моего интереса, рассказывал:

– И детей двое. Сын после армии. Уже два года работает шофером в колхозе. И никуда не тянется, не хочет. А дочка, та опять учительницей. Пединститут закончила, тоже в сельской школе...

А через день вечером в гостиничной комнатке я вспоминал и записывал разговор с колхозным пастухом Михаилом Алексеевичем Жгуном, неоднократным победителем областного соревнования животноводов и участником слета передовиков – это он не сразу смог выразить. Я понял, когда он сказал, что у него есть на «это дело» и дипломы, и «подарки тоже еще»...

Он сидел за одним столом со мной в гостиничной столовой, обняжая под мышкой изрядную прореху, тянущуюся по шву почти до кармана, и уныло запивал пивом свиной гуляш. Так же, как и я.

Коротенькое знакомство произошло после того, как я невольно подслушал его разговор с женщиной полугородского вида, случайно встретившейся ему здесь же. Узнав его, она подошла к нашему столику.

– А-аай... – протяжно и как-то сморщенно удивилась женщина. – Ну, как живешь? Давно не виделись...

– А ничяго, – вяло, словно раскачиваясь и просыпаясь ответил он, жуя, и начал не спеша перечислять. – Двести двадцать получаю. Коровка, два поросенка, пятнадцать овец, двадцать две курицы. Всяго хватает. Чатыре дочери тоже...

А женщина с какой-то жалостливой улыбкой на лице только кивала:

– А-а, хорошо...

После ухода женщины и я решил спросить:

– Это же сколько сена-то надо? На такое стадо?

– Много, – в том же тоне ответил он, будто и до этого разговаривал со мной. Без всякой реакции на то, что мы совершенно незнакомы. – На своем участке косим. У пянсионеров тоже покупаем. – Подумав и долив в стакан пива, добавил: – За проценты тоже. Пятнадцать тонн заготовил, три тонны бери сябе.

– Ого!? Это не легко. С детства знаю, что такое сенокос.

– Можна. Бабочкой лятать некада...

Потом я узнал от него, что старшую дочь, хотевшую после восьми классов учиться «на швейку», как он выразился, заставил учиться десять.

– А ня знаю. Может, пригодится. А младшая, та сразу хочет в

доярки. Говорит, коров любит и все. Учать теперь. Да она и сама со мной тоже часто в стадо приходит. Задерживать ня стану...

– А вы коренной?

– Здесь и родился. Только в армию сходил. Братскую ГЭС строил, много видал, в стройбате служил. А потом окончил в Омске ПТУ и сразу обратно запросился. Отпустили... все равно ж в деревню. И никуда больше не тянуло...

– А как с этим? – я лишь чуть изменил интонацию и сделал едва заметный жест рукой.

– Так каждый день. Одну на двоих обязательно, – сказал он с той же непосредственностью, как и про сено, и про овец...

– О! Взрыто! – ухватился он за слово, которое я употребил, вспомнив о стройке вокруг шукинской конторы. – Так вот, при еще сохранившейся внешней похожести, сегодняшняя деревня (слово-то это уж надо бы брать в кавычки) оказалась взрыта изнутри. Психологически, нравственно. Дух уже совсем не тот. – И опять, давая себе мгновение, чтобы развить будто импровизированно рождающуюся мысль, обронил:

– А у города дух тот? – взглянул на меня, чуть столкнув на затылок вельветовую шляпу, и откинулся на спинку скамейки. – Что такое деревня в прошлом? Это замкнутый образ жизни, складывающийся веками, куда всякий приезд кого-то чужого считался событием. И выезд тоже – даже в соседнюю деревню. Даже я, родившись в деревне, еще начинал танцевать под гармошку. А теперь? Я знаю здешний колхоз, где председатель сельсовета руководит колхозным оркестром: две гитары, ударные, пианино. К ним даже из райцентра иногда приезжают на танцы.

– Так вроде хорошо. Вроде к этому и стремились.

– Не знаю, – скептически усмехнулся он, – хорошо ли, когда все на одно лицо. Но мы-то говорили о проблемах сельского района, – сказал он, напоминая о начале разговора. – Какой же он сельский? Он же весь пропитан городом. Город въелся в деревню скоростными шоссе, как шупальцами. Вот построили у нас шоссе Москва – Рига. Хорошо опять. И что же? Но теперь тут все лето москвичи – и в лесах, и на озерах... Нам же ничего не остается. Жители деревни должны работать на полях, на фермах, на сенокосе, а в это время вы белые грибы собираете, рыбку ловите...

Он помолчал, поправил очки, достал из кармана щепоть семечек

и, не торопясь, успокаивая в себе мелькнувшую горячность, начал раскусывать их передними зубами, складывая шелуху в горсть, как бы уже не замечая меня и даже жалея, что затеял этот вокзальный разговор.

Полчаса назад мы оказались на одной скамейке в зале ожидания автобусной станции: полутемном, полусером, с ярко светившимися кабинами касс, и каком-то бродящем от множества разных людей. Он, покосившись на мою книжку с названием «Проблемы сельского района», как-то вызывающе хмыкнул.

– А что? – отреагировал я вопросом. – Человек, написавший ее, знает деревню изнутри. Тут, видимо, родился, тут и живет. Искренне пишет, искренне болеет и искренне ищет выход...

– Уже название по сути неверно. В лучшем случае условно...

С этого, слово за слово, мы и договорились до «отрицания» деревни, обмениваясь негромкими фразами, чтобы не привлекать внимания соседей с маленькими детьми, впрочем, все слышавших, но совершенно не реагировавших.

И теперь, молча щелкая семечки, он еще что-то обдумывал.

– Условно... Есть жизнь, а теперь будто наоборот – жизни нет, а только проблемы. Даже есть проблема воспитания любви к родной земле, к родине. Чушь какая, даже не чушь – это слишком безобидно... Это же до какого падения надо дойти, чтобы говорить о воспитании любви к родине? Может, надо воспитывать любовь к матери? Или любовь к девушке? А?.. Если я люблю ее, то не надо ничего воспитывать, а если не люблю, то можно воспитать?.. Можно заставить терпеть, но – это ненадежная «семья». Теперь любят любое житейское дело называть проблемой, а любого сотрудника НИИ – ученым. И Циолковский ученый, и я – тоже, особенно если кандидат чего-нибудь... Возвращаюсь к нашему. Есть только одна проблема, от которой сегодня идут толчки во все стороны и в городе, и в деревне, и во всех проблемах экономики: это отношение людей к жизни. – Он сказал это с чуть приподнятой интонацией, так, что слово «жизнь» невольно увиделось мной с заглавной буквы. – По сути дела, проблемы экономики не экономические, а нравственные, духовные. Отношение человека к делу зависит от вопроса: во имя чего?.. Утрачено главное...

– А что, по-вашему?...

По реакции на мой вопрос было понятно, что это не застало его врасплох, но на него он отвечал как бы размышляя впервые:

– Высота, святое, что ли?.. Уважительное... нет, лучше сказать основательное отношение... Азарт жизни пропал. Ну, скажите, много ли мы думаем о смысле жизни в высоком понимании этого вопроса?.. Потребительская мелкость какая-то: повкуснее есть, полегче, помоднее... Живем как будто не всерьез, а что-то переживаем... Все как-то наизусть: живем будто для того, чтобы производить, развивать, строить. Ведь всегда было наоборот: производить, строить, чтобы жить... Из чего состоят рассказы о хорошем человеке? Практически: как он переполняет планы... Хоть газеты, хоть радио... А душа?..

«Что-то есть в этом», – подумал я про себя и, вспомнив, что он взглянул на часы, спросил: – Что, по-вашему, может заставить нас работать иначе: добросовестно, качественно – столько, сколько требует земля?

– Нужда, – не задумываясь, и опять с оттенком вызова ответил он.

– А что, ее сейчас нет?

– У государства есть. А у сельского жителя нет. Он себя теперь прекрасно прокормит, даже если пахать будет... даже если пахать будет неважно. Он ведь от города не зависит. Это город от него зависит... Пусть крайность. Это теперь кажется, что земледельцу не обойтись без города, то есть без тракторов, машин и т. п. А в древности? Землю ведь можно обработать и мотыгой, а вот хлеб на асфальте никак не вырастишь.

– Что-то не могу сразу уловить смысл, – признался я, но собеседник промолчал, снова взглянул на часы, и я, желая уточнить его логику, спросил:

– Как случилось, что деревня, ну, пусть в кавычках, оказалась в таком положении? Разъехалась, уезжает?..

– Чтобы человек остался в родном доме, ему надо что-то продолжать. Отцовское дело, хозяйство, ремесло... Да ведь раньше так и было. Хотя бы один из сыновей, но обязательно оставался при родителях. Принимал наследство от отца, его дом, его землю. Кстати, тут еще и нравственный момент – на старости лет за родителями надо кому-то ухаживать. А потом началось, – он усмехнулся, – головокружение от успехов. Ну, мы и поехали...

– Ну и что же, по-вашему, теперь делать? – уже почти репортажно задираясь, спросил я. И он, почуяв мою задиристость, ответил:

– Да вы ведь все равно не посмеете даже написать это!.. Верните земле хозяина. Испугались, да? – почти ехидно спросил он.

«Кто же он такой?» – опять подумалось мне, но я понимал, что вопрос этот только подтвердит его предположение насчет «испуга», и я спросил:

– То есть?

– Ну, пусть хотя бы у каждого гектара будет конкретный хозяин, или бригада, как теперь говорят. Техника в аренду. Осенью расчеты с государством. Остальное – твое. Что хочешь, то и делай с ним...

– Чуть раньше вы говорили, что деревенский житель уже не тот, каким был, – несколько скороговоркой начал я, видя, что собеседник взглянул на подходивший к остановке автобус. – То есть, вы уверены, что люди, привыкшие работать колхозно и почти твердо получать деньги, не дожидаясь урожая, уверены, что они захотят взяться единолично или бригадно за землю на ваших началах? Ведь тогда же надо будет работать не по часам, не по расписанию, а так, как потребует земля. Уверены?..

Этот вопрос озадачил его.

– Хм?.. Ну, если уж мы дошли до того, что и на себя работать не захотим?.. Ну, тогда, как говорится, извините за внимание. – Он встал, взял «дипломат», высыпал в мусорную урну накопившуюся шелуху от семечек и вышел, не обернувшись, во внутренний двор вокзала, в морозящую мелким дождиком осеннюю темноту еще не позднего вечера. Двор был освещен белыми точками лампочек, размыто мелькнувших в проеме открытой двери. Около столбиков с маршрутными табличками автобусов, силуэтами виднелись недлинные цепочки людей с сумками, чемоданами, рюкзаками – ехали в разные стороны, в разные города, райцентры, деревни...

«Да, женщины вполне сознательно отказались от перенятой в городе моды. Усвоили, говорят, по молодости представление, что дети – обуза, мешают родителям жить наполненно: учиться, развлекаться, расти культурно, а стали матерями и поняли, что один ребенок – это беда... Прошное. Жизнь отцов и матерей, дедушек и бабушек. Опыт предыдущих поколений. Что оно такое? Для нас, людей, живущих в совершенно новом обществе? Груз привычек, от которых надо избавляться? Тогда почему же мы так часто обращаем мысленные взоры назад? Эти вопросы встали передо мной, когда я услышал русановских женщин. Как внимательно они разбирают житейский опыт матерей... что-то не устраивает их в собственной жизни. Наверное, так же

поступали и их матери, и бабушки, и прабабушки... нравственный опыт народа ни с чем не сравнимое, уникальнейшее национальное богатство...» – Это я уже вычитывал из книжки, оставшись один на лавочке в ожидании своего автобуса. Соглашаясь с автором книжки, с его утверждениями, я в то же время продолжал слышать голос ушедшего в морозящую мглу какого-то человека, неторопливо расклевавшего горсть семечек, его хмыканье, пытаюсь понять, что же есть, если нет деревни, где выход, в чем причина разногласия? И вспоминал тишину и гул старой мельницы, совершенно помимо моей воли вплетавшиеся в разные мысли, которые, казалось, бежали по какому-то кругу. И еще слышал рядом голос певца с хором, негромко доносившийся из дорожного приемничка соседей: «Еще не поздно... Ядерному взрыву – нет! нет! Солнечному миру – да! да!...»

И опять читал об опыте поколений и, в частности, о семье.

«И когда ладу нет, начнем искать. А искать надо там, где оставлено».

«Оставлено может быть только позади. Впереди оставлено быть не может, – по ходу чтения думаю я. – Но не к сохе же вернуться зовет автор. К чему же? К принципам жизни прошлого? А это ведь, помимо прочего, может означать и то, что и работать так, как требует естественный цикл земледелия: без сна в сенокос, в посевную, в страду... Так как же современный человек будет развиваться и удовлетворять возросшие духовные потребности? Что же, опять впадать в "тьму невежества?.." А бабушка твоя, прожившая почти сто лет, вырастившая десятерых детей, даже едва передвигавшаяся от кровати до лавки, требовала у невестки – тоже уже бабушки – хоть какой-нибудь работы: хоть грибы почистить («червячков-то увижу, не бойся»), хоть ягоды перебирать, – она что, была темная, забитая дура?...»

Поймав себя на этом вопросе, я невольно почувствовал внутренний стыд и, словно оправдываясь перед памятью о ней, торопливо, будто убоившись, что кто-то мог подслушать мои мысли, почти прошептал: «Боже упаси от такого дьявольского искушения». Моя образованная, современная жена, видевшая бабушку всего один раз, уже десять лет не может забыть, как та вышла на крыльцо и, приглашая в дом, сказала: «Милости прошу...» Я тогда стоял рядом и сейчас, вспомнив об этом, снова ощутил мурашки на коже от того достоинства, которое исходило в тот момент от не умевшей даже писать крестьянской старухи, никогда, наверное, не думавшей о досуге для саморазвития.

«Так что же?» – механически спросил я молча, не зная, к чему отнести этот вопрос. И продолжал листать книжку.

«Но чем дальше упирали на рубль, тем больше проявлялась его опасность... Укореняется неписаное правило: за плохую работу – тариф, за хорошую (то есть, – опять невольно добавил я, – запросто нормальную работу) – двадцать пять процентов надбавки. То же и на фермах: за грязное молоко – твердая расценка, за чистое – доплата... Работник стремится получить высшую плату, поскольку она не связана с конечным результатом... начисляется не за дело целиком, а за часть его, за операцию, то он и не старается трудиться наилучшим образом».

«Нет, ни о чем, кроме мельницы, рассказывать не хочется, – думал я, оставшись один среди постепенно пустевшего зала ожидания. – Вот о проблемах сельского района написано знающим человеком. Да и не только им... Уезжая, я, значит, не зря сказал: «Командировочные по конечному результату. Придется отнести за свой счет...»

Я ухмыльнулся, вдруг представив себе лицо редактора, разговаривавшего со мной перед отъездом, лицо, всегда готовое осветиться какой-то двусмысленной улыбкой: только нажми кнопку, как у лифта, и – пожалуйста, заходи...

«А почему вы, Егор Акимович, не встретились с девушками, работающими в филиале? Копнули бы, что у ребят на душе? Чего хотят? Чего не хватает, как досуг? Ну и прочее?» – послышался мне его вопрос.

«Не захотел, не верю в эти меры. Как услышал от председателя, что «вроде стеснительно дояркой после школы», сразу царапнуло что-то. Из человека, стесняющегося работать с животными, не вырастет настоящего земледельца. Заманиваниями и разными ухищрениями – пока пусть шнурки в кеды подвергивают, а там, глядишь, замуж выйдут, и хошь не хошь осядут в деревне, – дело не поправишь. Тяжеловато сразу дояркой? Может, только вряд ли. Другое дело, что девушки, живущие в сельской местности, не имеют возможности процокать иногда на высоких каблучках, как по Невскому проспекту. Это признание я слышал из первоисточника. В общем, нет у меня ничего такого бодрого и зовущего».

И, как возражение своему скептицизму, я вспоминал разговоры с Владимиром Трифоновичем, вспоминал его напористый, решительный голос... И еще, как светящиеся огоньки, как обещание чего-то, в памяти то и дело всплывали игрушечно-привлекательные новые кирпичные домики, уютно мелькавшие в разных деревнях и поселках псковщины. И

мне не хотелось узнавать из книжки: «По оргнабору приехали. Им сразу, каждой семье – дом бесплатно, корову бесплатно. Тысячи дарили за то, что соблаговолили поселиться в деревне. Года не прошло – подъемные съели, дома бросили и подались восвояси...»

Не хотелось. И я заранее представлял себе лица людей, ожидаемых в разных деревнях, серьезными, потянувшимися сюда от искренней тяги к земле, к лесу, к озеру, от какого-то древнего зова, который я и сам где-то слышал, – как толчки под ногами от далекого, едва доходившего вздрагивания земли. И вспомнил, дожидаясь своего автобуса, что было это на мельнице...

Через три дня после раннего утреннего поезда из Великих Лук, чувствуя себя неразбуженно вынутым из вагона, я уже шагал по Загородному проспекту, по инерции еще засыпая, лишь иногда замечая город, казавшийся другим. Осенне-безликое небо будто опустилось до земли и пропитало морозящей мутию все пространство, в котором поблескивали лужицы на асфальте, отражая натужный свет разноцветных огоньков. Дома, обычно кажущиеся по поясу, а то по самым плечам затонувшими в кишении толпы, машин и грохота, словно всплыли над поверхностью, сделав доступными взгляду все свои завитки, балкончики, флюгера на крышах и там же – навсегда замолкшие печные трубы, будто недоуменно шептавшиеся между собой: «Что-то произошло? Мы больше никогда не задымим? Не нужны больше?»...

«Вот этот весь старый город – это ведь тоже из прошлого. Без него просто не будет никакого города. Ведь не новостройки же сделали его всемирно известным?»

Я неторопливо дошел до Пяти углов и, чувствуя все учащавшееся швыльканье машин по сырому асфальту, повернул на еще тихую улицу Рубинштейна, продлевая прогулку по Петербургу, но он менялся тоже, постепенно погружаясь в толчею машин и людей. Уже вполне сознательно, как обычно после любой поездки, я перебирал в памяти все впечатления, которые остались в душе от новых мест, и среди всей круговерти мыслей и чувств я опять ощутил «занозу», оставленную встречей с мельницей. «Да ведь я же, оказывается, никогда не видел живьем настоящей водяной мельницы. Хотя и вырос в деревне! – вдруг удивился я. – К тому времени они уже почти все были заброшены».

«Ну и что? – возразил кто-то хладнокровно. – Подумаешь!»

Я шел, оглядывая просыпающийся город, замечая, что сейчас мне не хочется видеть быстро нарождающуюся толчею на тротуарах, не хочется вздрагивать от визга тормозов, оглядываться при переходе улицы. И это утреннее восприятие города будто перекликалось с тайной мельницы. Разгадывая ее, я почему-то вспомнил и Архангельский музей северного деревянного зодчества, и восстановленный под Таллинном эстонский хутор, из которого, помню, не хотелось уходить, хотя никого, кроме неразговорчивого сторожа, там не было... Но все находившееся на восстановленных крестьянских дворах было так индивидуально и живо, что, казалось, и сами исчезнувшие хуторяне жили тут же. Думалось: «Прошлого нет. Иначе, что такое человек в настоящий момент, если из него вынуть то, что было в прошлом? Пустота...»

«Погибнет... Судите сами. Я уже жернова менял. Было двадцать две. Потом еще недавно – четыре...» – вспоминал я взрброд слова из скупого разговора старого мельника, и вдруг одно слово осозналось до конца и будто объяснило мне все.

«Последняя!» Как птица, смотрящая из Красной книги. Последняя живая ниточка, нет, не ниточка, а живая струйка, поддерживающая связь с историей рода. Это даже не музей, не восстановленный хутор, а живой островок чего-то праматеринского. Может быть, отсюда и то потрясение, случившееся со мной! Последняя! Причем не только на Псковщине, а может быть, уже на всей нашей земле? Объездив почти всю страну, я нигде не видел ничего, кроме обломков, остатков от плотин, колья. Последний раз на берегу речки Гянджа, около Кировабада, вцепившийся в обрыв ветхий сарайчик, о котором мой азербайджанский друг почему-то со вздохом сказал: «Это бывшая мельница, Егор...»

Последняя – и этого достаточно, чтобы не дать ей умереть, а вместе с ней – не дать иссякнуть еще одному из ручейков. У жизни нет прошлого. Она не календарь, не время, разбитое на недели и пятiletки, она – растущее дерево, а мы на нем – очередное поколение листьев. Мельница – один из питающих его и незаметных корешков...

Думая об этом, я вдруг почувствовал сожаление, что тогда, растерявшись, не осмелился потаскать вместе с мужиками мешки овса, не до конца понял, где и как там зерно становится мукой, – словно не попробовал теплого, только что вынутого из печки хлеба...

И теперь, вот уже полгода спустя, я часто ловлю себя на желании побывать на мельнице снова. Походить, помолчать, встретить старого мельника таким же, каким увидел его впервые, ни о чем не расспрашивать – разве он сам что-то захочет рассказать. И, вспоминая о мельнице, я вглядываюсь в нее, как в картину старого живописца.

«Не знаю, – признался я тогда себе на дождливом Невском проспекте, – не знаю, прав ли я в своих чувствах, или это все мне показалось?..»

Троллейбуса долго не было. Ждать больше не хотелось, от волнения как-то не стоялось на месте – к тому же было прохладно. И я,



натянув на голову капюшон куртки, пошел по сырому, бликующему неоновыми огоньками асфальту. Вокруг было неяркое, но все же светящееся пространство. Наступал день, похожий на вчерашний...

НА ШХУНЕ

Капитан то и дело выходил на связь с береговыми службами, ведавшими разведением мостов, в интонации фраз, доносившихся из радиорубки, уже начинало чувствоваться обоюдное раздражение, и разговор резко обрывался.

Потом радиорубка опять оживала, и так продолжалось несколько часов...

Все это время шхуна едва заметно покачивалась на мелкой утренней волне, причаленная к обшарпанному буксирами пирсу под крутым, неухоженным берегом Невы, прислушиваясь к голосу капитана, тоже будто начинала раздражаться, уже чувствуя близкое дыхание морского ветра, и казалось, что только благородное воспитание не позволяло ей разнервничаться откровенно...

Наконец, договорились, что мост разведут... Команда во главе с пышноусатым боцманом, похожим на бобра, выбрала швартовы, и белая двухмачтовая шхуна начала медленно отчаливать от пирса, мотором выруливая на фарватер.

Выруливала неторопливо-важно, с достоинством знатной, древнего рода аристократки, снисходительно, как должное и неизбежное, принимая взгляды, полетевшие к ней со всех сторон....

И вот – вырулила!.. Встав напротив центрального пролета моста, который поднимали именно для нее, чтоб она не задела мачтами, окинула взглядом берега как бы чуть свысока, и, сдерживая нетерпение, замерла, будто ожидая. когда прислуга откроет двери и провозгласит: «Господа! Ее сиятельство...»

Но приглашение последовало не сразу, и она, воспитанно нервничая, глухо работала винтом, покачиваясь на волне, словно залетная, иных миров царственная белая птица...

На обоих берегах реки, уткнувшись в мост, собрались километровые вереницы разных машин. Но это был тот редкий случай, когда дорожная пробка вызывала не раздражение, а удивленное ликование, ощущавшееся даже на большом расстоянии, будто явление парусника пробудило во всех древнее, ностальгическое чувство....

Опустив стекла, шофера высовывались из кабин, махали руками, переговаривались между собой, глядя на реку, и выкрикивали: Эй, на паруснике!? Куда такую красавицу уведите!? Возьмите на борт!.. Я сейчас прыгну!..»

Чувствуя ажиотаж, вдоль левого борта с деловым видом прогуливался боцман, принимая всеобщее внимание как должное... Водолазы на корме разбирали свои снасти, готовили к работе двигатель для зарядки аквалангов, может быть уже воображали себе встречи с затонувшими в водах Ладоги кораблями, и никак не реагировали на береговые страсти... Мне было лестно быть на борту такого морехода и в то же время неловко, как человеку, незаслуженно удостоившемуся чести быть принятым в обществе столь важной персоны... Держа при себе записную книжку, я разглядывал оснастку парусника и периодически справляясь у боцмана, мало успешно пытался хотя бы запомнить, что и как называется в его устройстве, ожидая момента, когда капитан даст команду поднять паруса. Пока же они были уложены на бушприте, кажется, так называлось место, выступающее вперед, словно клюв, и над кубриками между мачтами: все было тщательно

зачехлено, зашнуровано, укрыто, как уложенные спать дети, и лишь слегка пошевеливались кончики шнуровки.

Под упершийся в небо пролет моста, как виделось мне снизу, шхуна вошла, словно в пасть зевнувшего спросонья какого-то древнего животного, с трепетом и восхищением одновременно, отчего туго натянутые тросы мачт, казалось, подрагивали на ветру и позванивали в лучах солнца как струны...

Быстроходные лодки, двигавшиеся навстречу со стороны Ладоги, завидев ее, уступали фарватер... Явно нехотя, но тоже тушевались даже и шикарные «пассажиры», пытаясь заглушить ревность крикливой веселостью магнитофонной музыки, и этим еще откровеннее выдавали свое смятение.

Чумазные же буксиры-трудяги, завидев шхуну, спешно будто стаскивали шапки и кланялись издалека, как мужики, завидевшие своего барина...

Закат на Ладоге был неяркий. Солнце почти не чувствовалось, и день как-то постепенно, незаметно изменяясь, превратился в молочно-лилово-голубоватую белую ночь с множеством полутонов всех цветов, едва уловимо переходивших из одного в другой. Воздух был прохладно-влажный. Редкие безмолвные чайки покачивались на плавных волнах...

И от этой до болезненности утонченной красоты все выглядело призрачным сновидением. Даже фарватерные знаки, вонзившиеся в дно Ладоги и наискось выступавшие над поверхностью воды, не возвращали к реальности, а напоминали оперения стрел, выпущенных из огромного лука.

Ночь шхуна дрейфовала вблизи какого-то каменистого островка с заброшенным маяком, гнездовьем морских птиц и знаком, запрещающим швартовку... В полусумерках в лабиринтах ее слышались иногда негромкие разговоры команды, хохотки девушек-юнг, чистивших на кухне картошку.



На кормовой палубе, укрывшись байковым одеялом, увесисто похрапывал под звездами пышно-усатый боцман, хотя в ухо ему громко завывал на разных языках уже давно сбившийся с волны радиоприемник...

На другой палубе водолазы уточняли с начальником экспедиции место завтрашнего погружения, оценивая шансы на успех, то скептически, то безудержно фантазируя... Мне надо было что-то написать об этой полуавантюрной затее, и я толкался около них, с еще большим нетерпением ожидая совсем другого события...

– Завтра, если погода не изменится, – сказал кому-то из команды капитан. Я понял, к чему относилась эта фраза, и долго ворочался на жесткой койке носового кубрика в ожидании утра...

И вот где-то около полудня началось. Я пытался запомнить, кто какие команды отдает, что и как называется и что за чем устанавливается, и хотя всё, от первой команды капитана до подтягивания последних узелков, происходило на моих глазах, почти ничего толком не запомнил...

Помню только, что когда шхуна шла еще под мотором, из рубки раздался голос капитана, после которого все вокруг задвигалось, зашелестелось, как бы разрастаясь, затрепетало, подхватило ветерком... Помню еще, в самом начале Катя, одна из юнг, полезла на бушприт расчехлять стаксель, так кажется, называется этот маленький парусок.. Еще двое матросов расчехлили грот и фоку, и за всем этим с важным спокойствием наблюдал боцман, иногда вступая в дело сам. И еще что-то происходило вокруг. И вдруг над моей головой полыхнуло что-то огромное, через паузу – еще раз хлестко затрепетало. А потом вдруг повяло, успокоилось и опять туго и огромно надулось. Потом еще что-то огромное взметнулось рядом с первым, тоже туго налилось, и шхуна будто дернулась, сорвалась с места и полетела...

Вдруг наступило какое-то странное безмолвие, которое не разрушалось шуршанием и плеском волн по обоим бортам, словно что-то оборвалось, и стало не хватать какого-то звука, сопровождавшего до этого момента все плавание... Наконец, я осознал, что нет шума двигателя, что к моменту, когда все паруса были установлены, двигатель был выключен, и что огромное судно с двумя десятками душ на борту и множеством разного груза несется по волнам, норовя взлететь, с силою одного только ветра, и от ощущения чего-то

первобытного у меня, кажется, на время захватило дух. Не веря, я переходил с одного борта на другой, вопрошая, глядел на паруса и небо, едва сдерживая желание закричать, захлебываясь восторгом дикаря...

А матросы несуетливо, но расторопно что-то затягивали, крепя паруса, хлопотали вокруг словно костюмеры, иногда перебрасывались фразами с боцманом... Он после установки парусов обошел шхуну, кое-что подтянул, кое-где поправил складочки, осмотрел шнуровочку, узелки. Остался доволен.

И только после этого молча будто доложил: «Вот теперь все как надо, Ваше сиятельство! Ваш выход...»

Шхуна рвалась взхлеб, может быть, как породистая скаковая лошадь, истосковавшаяся по ипподрому....

Исчезли из виду берега и все признаки индустриального времени. Только небо, волны, паруса...

К вечеру над головой багрово рассыпались облака. Справа по борту выплыла тяжелая лилово-синяя туча и замерла, нависнув над морем с раскинутыми руками. Рядом, выпав из-под нее, и касаясь волны, лежало солнце, похожее на смятую ягоду малины...

=====



ВОСПОМИНАНИЕ О МАЕ...

Не помню где, кажется, под Рязанью, цвела черемуха. Цвела вовсю, неумно, так жадно, что и сама стеснялась столь откровенной страсти и хотела бы сдержаться – и не могла. Внутри веток соки словно бурлили и выплескивались густыми цветами, которые, не останавливаясь ни на мгновение, росли и созревали на глазах и тут же осыпались, и лепестки их кружились над кустами, как снежная метель, обдавая дурманящим запахом...

Все жило чересчур, и густая туча, давно державшаяся неподалеку, строго, но понимающе поглядывала на землю синими глазами, как бы думая, подойти ближе или нет. Но не спеша приблизилась и вот подала голос негромким, но долгим раскатом грома, затихшим над самой головой...

Чуть выждав, из левого ее крыла посыпался мелкий дождик, поблескивавший в лучах не успевшего скрыться солнца, и без того ошалевшая природа совершенно выплеснулась. Лес зашептался, деревья засуетились и словно побежали со своих мест, как дети из дому, чтобы побыстрее попасть под теплый дождик, и, запрокинув головы, ловили ртами его маленькие крупинки.

У нераспустившихся деревьев, казалось, на бегу лопались почки, выстреливая острыми листиками, которые мгновенно обсыпали ветки. Даже дубы, похожие на старцев, тоже готовы были побежать, и едва сдерживали напор соков, забурливших в теле ствола. Во все голоса галдели птицы. Все кувыркалось, стонало и радовалось, и лес словно кружился от страстей, и не было в нем ни старых, ни молодых, а все начинало жить только что – и впервые... Будто расстелив скатерти, под каждым кустом и на каждой полянке пировал только что пробудившийся – и пока еще не доросший до Амура – Амурчик. И улыбался захмелевшими, лукавыми глазами и подмигивал, и говорил, протягивая мне свою чашу: «Ну, что ты? На, выпей. Такое время. Май...»

И удивлялся моей нерешительности и скептической усмешке, словно забыв, что он-то вечен, а я всего лишь человек, и мне время отмерено необратимо...

КНИГА ВТОРАЯ

ОСВОЕНИЕ РЕМЕСЛА



ТЕНИ

...Вот он позвонит, и она скажет: «Да, рада слышать. Что же вы раньше?.. Конечно, есть о чем поговорить. Жду вас...» И он, захлебнувшись от счастья и радости, на мгновение как бы растеряется, а потом не без удивления в голосе ответит: «Да? Очень хотелось, но не ожидал. Просто невероятно», – помолчит, чтобы уточнить, не ослышался ли, не сон ли это, а она, почувствовав его сомнения, подтвердит: «Напрасно... Я рада буду познакомиться», – и они договорятся о встрече, и потом, после некоторого начального смущения, он соберется с мыслями, станет самим собой, насмешливо-грустным человеком, у которого кое-что есть за душой, обронит непринужденные слова, может быть, как-то польстит ей – все-таки молодая женщина, – а она в ответ благосклонно улыбнется, и потом слово за слово начнется дружеская поэтическая беседа, которая незаметно превратится в какой-то огромного значения разговор, мудрый и тонкий, как диалоги Платона, и у него навсегда исчезнут сомнения, и он подумает о себе: «Значит, не зря... Наконец-то все объяснилось...» Конечно же, в какой-то момент она поинтересуется: «А вы давно уже?..» – и он с полуслова догадается, о чем речь, и ответит: «Уже лет семь, наверное, как осмелился впервые».

А она с улыбкой: «А почему осмелился? Мне думается, что это естественно...»

«Нет, именно осмелился», – настаит он на своем, и, когда она удивленно взглянет на него, он, уже чувствуя признание, кое-что приоткроет: «Муза Аркадьевна, я же с детства благоговел... Мне было страшно подумать, нет, точнее, у меня и мысли-то не могло возникнуть, что я сам что-то могу... Ведь это же?! Дух захватывало. Мне казалось, что вы не люди. Вернее, люди вроде, но только все равно как бы на небе где-то. А потому и сказал: «осмелился». И это ее совсем заинтригует. И он сдержанно усмехнется: «Так я же паровоз живьем увидел впервые, когда поехал поступать в институт. В космос уже летали... Помню, в жар бросило от удивления, когда проводница спросила, буду ли я брать постельное белье? Как?! В дороге да еще и постелю дают?! Я-то думал, что приткнусь где-нибудь как на телеге, и поеду. Подумаешь, полтора суток. Лишь бы везли... Да нет, обыкновенный поселок был. Сначала маленький, лес кругом, как мужики говорили, неба над головой было

видно не больше, чем в печную трубу. А потом разросся. Но в стороне от всех больших дорог... Так что о стихах не особо рассуждали... Мать хотела, чтобы я на бухгалтера выучился, в конторе полегче, чтобы в лесу спину не надрывать. Сама, говорит, с пятнадцати лет по пояс в снегу бродила с пилой да топором». А потом она, наверное, опять спросит: «Так как же осмелились все-таки?..»

Он: «Так в школе же все говорили о светлом будущем. Поехал за ним к вам, в столицу, казалось, что оно здесь живет. Ну, с первого шага и началось. Оказалось, никто меня тут не ждал, чтобы осчастливить. Сломался, хотел умирать. Мальчика стало жаль, будто он страдает во мне, и я виноват, что у него ничего не сбылось... До тридцати лет живу как на болоте, прыгал с кочки на кочку, словно заяц. Потом вроде выкарабкался, а недавно опять...» Тут он усмехнется, дав понять, что говорить об этом ему не хочется, – длинно, запутанно, – лучше в другой раз, и с болезненным раздражением замолчит, будто обожжется, и она, помогая ему, осторожно переменит тему: «А вы раньше кому-нибудь показывали?»

«Не помню, кажется, раза два было. Через знакомых... Я боюсь, говорю, будто выкипаю. Я и к вам-то пришел в каком-то беспамятстве, вдруг какая-то самоуверенность нахлынула, а потом каялся, представлял, как вас корбило. Вообще не хотел звонить. Так совестно, как голому среди улицы. Словом, вы решили мою судьбу...»

Потом все это смывалось, будто во сне.

Вот он позвонит, и она скажет: «Как вы осмелились? Вы что думаете, мне больше делать нечего? Как вам самому-то не стыдно приносить такое?» – скажет, конечно, не открытым текстом, а только даст понять. И тогда он?.. Как он поведет себя в этом случае, Черноков точно себе не представлял. То казалось, что сразу же заклопочет, забурлит от возмущения и начнет что-то доказывать, опровергать, сылаться на изречения вроде того, что «собаки всегда лают на незнакомых». Потом представлялось состояние жалкого уныния, самоуничижения, и опять копошились внутри какие-то мелкие червячки, и чудилось что-то среднее, более естественное, более соответствующие ситуации, но это тоже огорчало, – держаться середины он не умел, уж лучше пан или пропал, – и потому, вспоминая о ней, в конце концов, находил уважительные причины и не звонил: то делал вид, что забыл, потом было уже поздно, то в нужный момент не оказывалось в кармане двухкопеечной монеты, то была монета, но не было близко телефона, и

откладывал все до более удобного случая. Незнестность, таящая надежду, была все-таки лучше...

Наконец решил и набрал номер. Сердце сразу заекало, как селезенка в животе загнанной лошади, дыхание перехватило. «Хоть бы оказалось занято. Хорошо бы, никто не ответил», – подумал он, услышав гудок, и затаился. Гудки казались необычно длинными, назойливо жужжащими, будто сверлили, и он, едва выдержав третий, с облегчением повесил трубку, моментально нагретшуюся в руке...

«Еще качаясь в зыбке, подвешенной на конец березовой жерди под потолком, мальчик будто слышал в себе какой-то странный голос и боялся его», – вспомнил он строчку из рассказа, неизвестно каким путем влетевшую в него в этот момент, и потом подумал: «Значит, сегодня не надо. А может, вообще не надо? Пусть все канет в неизвестность».

Но шанс удачи, от которой, как ему казалось, зависит его жизнь, все-таки существовал, и через несколько дней после первой трусливой попытки напомнить о себе Черноков, почувствовав себя равнодушным к своей участи, позвонил снова...

– Это Федор Васильевич? – услышал он явно почтительный голос и сразу догадался, что его перепутали с какой-то знаменитостью.

– Польщен, конечно, но, к сожалению, это Черноков, – попытался пошутить он, но в трубке наступило неловкое молчание, и он начал путано объяснять, как приходил в тот раз, месяца полтора назад, что тогда еще был мороз. Говорил, чувствуя, что она думает о другом, все поняла, и обижался на нее, и стыдился нелепости своего поведения...

– Да нет, я вспомнила, – перебили его увядшим вежливым голосом. – Вы хотите зайти?

– Да вот, если?.. Как вы? Может, не надо? – промямлил Черноков.

– Сейчас подумую, вы так неожиданно, у меня номер... н-нет, нет, ничего... заходите в конце дня...

«Ну вот и все ясно. Это приговор», – подумал Черноков, и чувства его стали совершенно управляемыми: страх, сопровождаемый приступами стыда, усиливался. Внутри все булькало, как вода, кипящая в чайнике, забытом на полном огне, пар валил изо всех щелей, брел крышкой, и казалось, что бульканье это слышно на всю улицу, пузыри выплескиваются наружу, а он выкипает и улечивается...

Чтобы сбить лихорадку, он прикуривал одну папиросу за другой, но волнение не утихло: «Трус! Окурок! Туесок!» – молча выкрикивал он про себя, и слова эти шлепались обо что-то внутри так же, как

шлепались о стенку свежие комки глины, которые он в детстве насаживал на кончик упругого ивового стебля и фуркал, соревнуясь с друзьями: на дальность полета, на точность – в круг, начерченный углем на стенке барака, а когда мимо – в оконное стекло. Однажды после меткого взмаха Федьки Катыло свежий глиняный комок расплющился на его лбу...

«Самолет лег на левое крыло, вышел из виража, выровнялся, и земля полетела под живот свистящей машины. Потом машину встряхнуло, и неопытный Аким Ильич ткнулся лицом в штору...»

– О, господи, какая пошлость, – негромко, но вслух сказал Черноков и поежился, представив себе, с каким выражением лица прочла это она. «Наверное, как на лягушку голой ногой наступила... Ну, успокойся же ты, ведь она же ничего определенного не сказала. Что же, ей надо было взвизгнуть от радости, когда ты позвонил? Нет же... Но интонация?.. И голос сразу увял, как похоронную получила...»

Он усмехнулся, поглядел на прохожих: «Кто бы только знал, что во мне творится? Наверняка думают, что идет уверенный в себе человек. Недурной наружности, важный такой из себя». Шел он действительно неторопливо, даже увесисто как-то, равнодушно и глядя чуть свысока...

Идти было боязно, и, оттягивая время, Черноков остановился перед афишей кинотеатра, разглядывая изображенного на ней человека и вспоминая содержание фильма, в котором главный герой водил людей в какую-то странную зону... Разглядывал, заставляя себя отвлечься от мыслей о предстоящей встрече, но в голове то и дело мелькало: «Вот она скажет: не понимаю, какие проблемы вы решаете?..» А он ответит: «Не знаю, что сказать, хотелось, чтобы тепло, сострадание». Может, возразит: «А какие проблемы решает пейзаж или натюрморт?» А она докажет:

«Вот вы сами посмотрите. Хотя бы это, например...»

Черноков не мог представить, что она выберет для примера. Мелькнули картинки из рассказа, который он написал недавно и, в котором все виделось ему, как живое: и мальчик, стриженный наголо, и мать, корявыми деревенскими руками читающая книжку, и даже все запахи и звуки, и какая-то беспокойная тоска, и боль, и желание упасть на землю и обнять ее всю. И казалось ему, что не увидеть и не почувствовать этого невозможно. И на какое-то время он успокаивался, принуждая себя смотреть на все с легкой усмешкой...

Мальчик начал жить на земле недавно, девять лет назад, и жизнь казалась ему бесконечной, и можно было не спрашивать себя ни о чем, а на вопрос взрослых – кем будешь? – отвечать: «Не знаю...»

Егор так и сделал, когда его спросила об этом соседка.

– Не знаешь? Тогда почё в школу ходишь? – лукаво допытывалась Анюха Кудряшка. – Я вон не знала, так и сидела на печке. И мать твою тоже. Придет, так спроси-ко.

– Не знаю, – задиристо повторил Егор. – Я на улицу тороплюсь.

– Ак, мне чё, у матери спрашивать?

– Ладно, сам скажу. Я героем буду. Нет... шофером! Повезу тебя в район да растрясу как следует...

Кудряшка хитро усмехнулась, но шоферскую тему не поддержала.

– Геро-о-ем, говоришь... Дак это то есть начальником, нет – так хулиганом? Ли как?

Егор допил молоко и вышел из-за стола, отряхнув со штанов крошки:

– Я пойду. Маму жди одна.

– Чё, бычка запрягать? – с намеком спросила Анюта, чтобы задержать его.

– Твоего бы снова запряг, да ты сейгод не держишь.

– Отец-то, видать, худую тогда взбучку дал?

– Не худую. А на твоём бы поездил!

Кудряшка весело засмеялась. В это время в избу вошла мать.

– Чуешь, Марья?.. Сын-то у тебя на героя ладит выучиться...

Егор задержался у двери, но мать ничего не ответила, только озабоченно вздохнула... Подрастая, сын поражал родителей то послушностью, то самовольством, которого мать, воспитанная в набожности, страшилась как греха, и единственным искуплением его считала чистосердечное раскаяние...

Не дождавшись ответа, Егор покосился на Кудряшку и сказал матери:

– Я уроки выучил, воды наносил. Пойду с ребятами поиграю...

– Знаю я, как ты играешь, смотри!

На улице стояла мягкая от туманов северная осень. Вокруг поселка дремлюще-грустно рос лес, пустовали огороды, обнесенные где тыном, где пряслами из жердей, на которых стаями галдели воробьи и вороны, о чем-то кричали друг другу, или сидели молча, рождая в душе

вопрошающие звуки, и Егор невольно отметил в себе эту печальность природы. Но тогда тосковать ему еще не хотелось – все, что происходило в его жизни, было радостью – даже огорчения, – и он только на мгновение задержался на этом чувстве...

Эти строчки казались Чернокову полными нежности, тихого шелеста листвы, восторженной касанием маленького ветерка, или шорохов мелкого дождика, накрапывающего по деревянной крыше дома, почему-то обязательно раноутреннего, начинающегося во сне, от которого он в детстве просыпался летом на чердаке и слушал, лежа под низкой крышей, чувствуя капельки будто лицом... Строчки эти вызывали в нем щемящую тоску, зовущую в пронзительную даль, и тревогу за мальчика, а слова в строчках казались живыми, шевелившимися, говорившими между собой, пахнущими туманами и огородами, и в них хотелось уткнуться лицом, как в ломоть теплого пшеничного хлеба... И он верил, что не почувствовать этого же она не сможет и растрогается, и, когда он придет, несмотря на интонацию телефонного разговора, скажет: «Да, в вас что-то есть». И потом эти «прекрасные», пахнущие туманом слова уже будут шептаться между собой на страницах какой-то книжки, а он больше не будет стесняться скалывать лед с тротуаров, поворачиваться спиной к прохожим и опускать глаза, сгребая на совок окурки, потому что он... Размечтавшись, Черноков стыдливо проскочил почти страницу рассказа, которая ему не нравилась, и, оправдываясь перед ней, будто сказал: «Это пропустите. Вот отсюда сразу читайте...»

– Петьку! Дроздика волоки!

Услышав голоса, мать остановилась на желтом, вымытом с дресвой и с голиком крыльце, поставила ведро, убрала в угол метлу, загораживавшую вход в избу, пока она ходила в хлев к корове, вытерла о плетеный половичок полусапожки и прислушалась.

– Катыло, а ты Егорю, Егорю-то мни... Да пади на него, не то уползет!..

– Уж ни одна возня без моего не обойдется, ни одна, – сказала мать и пошла к поленнице, из-за которой раздавались выкрики.

– Егор! – строго окликнула она. – Ну-ка, попуститесь сейчас же!..

Петька Дроздов, сидевший сверху кучи, обернулся:

– Егоря, матерь! – и начал поправлять задравшийся на голову пиджак. – Мы не деремся, тетка Мариха, мы возимся...

– А я будто не вижу.

Егор стоял на четвереньках, полузаваленный приятелями, и, еще не веря Петьке, искал мать глазами.

– Иди-ко, давай, сюда. Опрастывайся помаленьку...

«Куча мала» начала постепенно распутываться.

Егор встал и нехотя перешел на противоположную сторону дороги.

Перед воротцами ограды остановился и, взглянув на мать, сказал:

– Вишь, все цело.

– А коленки-то на что похожи?

– Я отколупаю. Сухая глина-то.

– Вот уже погляжу. Поживей, поживей... Ох и устосовался, христовый.

– Вишь, иду, – ответил сын, обходя мать стороной, чувствуя, что та ищет глазами вицу. Вицы не подвернулось, и она огрела его ладонью. Не притворяясь, что ему очень больно, Егор проворно нырнул в сени. Мать, для порядка продолжая яриться, вошла следом.

– Ты в магазин-то собираешься?..

– Ак, рано.

– Посмотри-ко на часы-то. Закроют скоро.

– Час еще.

– Да ведь пока ты околупываешься...

– Ладно. Штаны только отряхну...

Мать дала старую хозяйственную сумку: Егор поморщился.

– Из велика не выпадет. Сетка-то не проста, занята...

– На все у тебя ответ, – сказал Егор. К магазину он шел не торопясь, постепенно ощущая усталость.

Сумерки были еще где-то за огородами и за речкой, ровно и тихо тосковавшей вместе с туманом и желто-синими перелесками, когда Егор вошел в магазин. Бабы оглянулись. Он смутился и, опасаясь разговоров, тихо встал в очередь. Но мать Дроздика сказала:

– Ишь, сколь не кроток. А давно ли моего Петра чуть в землю не зарыл...

– Мне больше досталось.

Егор отошел к дальнему краю прилавка, где лежала небольшая кучка книг, и остановился, равнодушно разглядывая корешки. Лишь крайняя, опрокинутая навзничь книжка, задержала его взгляд. Он постоял перед ней, покосился на очередь, хотел отойти, но взглянул еще раз. Обложка была цветная. «Баская, – подумал Егор. – Не хуже радуги

разведено во все стороны. А не радуга – неба нету».

Потом он сравнил картинку с отражением цветастой занавески на никелированном чайнике, которым однажды любовался, и взял книжку в руки. Осмотрев со всех сторон, не торопясь прочел фамилию автора: «Ишь ты!» – и с деревенской практичностью взглянул на цену.

«Может, купить для форсу? – повертел книжку. – Нет, на сахар не хватит», – и положил на прилавок. Но обложка вертелась перед глазами, превращаясь то в радугу без неба, то в отражение на чайнике, то в желто-синий лес за рекой и еще во что-то деревенское.

«Не, не, – запрещал он себе. – Не маленький. Потерплю».

Очередь уже подходила.

«Завтра куплю... Но тогда деньги просить надо, может, не дадут. Мама не шибко читать-то умеет. Скажет, дальше учиться пойдешь, тогда и купим – не разберут».

Но книжка не выходила из головы.

«Вот приспичило», – подумал он и покосился на баб – не догадываются ли? – и начал считать в уме деньги.

Получилось, что можно купить хлеба, книжку и двести граммов сахару, но это не устраивало. Смущал сахар: он слышал, как бабы с усмешкой говорили, что по двести граммов сахарного песку покупают только «приезжие интеллиго».

«Ладно, обойдусь без картинок... А, может, только хлеба? Без сахару-то день проживем. А че маме скажу?» – последний вопрос смутил его, но в это время сыграло какое-то по-детски озорное чувство: «А, может, ее дома не будет? Приду, хлеб на стол – и завалюсь спать...»

Подошла очередь. Продавщица спросила:

– Чего тебе, Егор Акимович? – и, улыбнувшись, добавила: – Эх, какого глазастого Мариха на сороковом-то году выносила.

– На пятом месяце, говорят, в брюхе-то и запышكال.

– Ну уж и на пятом?

– Я к слову. Да сама баба-то говорила, будто шибко рано зашевелился.

Егор переждал разговор и сказал:

– Хлеба две буханки.

Продавщица щелкнула на счетах:

– Еще чего?

– И во-о-н ту книжку, – как мог уверенно ответил Егор, показывая рукой в сторону книжного прилавка.

– Ты чего за книгами с такой сумкой пришел? Еще чего?
– Больше все.
– Ну, смотри, парень! Без спросу берешь...
– Я спрашивал, я давно хотел...
– Эту? Ну, на. Только если мать забранит, и я тебя отхвощу.
– Не забранит, – сказал Егор. Потом отдал деньги, получил сдачу и, виновато усмехнувшись, вышел из магазина.

На улице смеркалось, в домах горел свет, и дальние окна растянувшегося по кособокому поселку скромно мерцали в темнеющей тишине. Егор шел не торопясь. Цветная обложка продолжала волновать его воображение, и он оглядывался по сторонам, пытаясь найти что-нибудь похожее в окружающих его предметах, но в сумерках таких красок не было и в памяти тоже не хватало – нигде, кроме своего лесопункта, он не бывал. Мир: города, моря и страны, упоминавшиеся учительницей, – пока только снился ему, и во сне этот мир казался какой-то сплошной розовой вьюгой, в которой он то и дело исчезал, и, просыпаясь от страха, звал: «Мама, мама...»

«Что же такое на ней обрисовано? – думал Егор, шагая по узенькой тропинке, слегка белевшей в темноте, и ничего, кроме шепота тайны, не чувствовал, но этого он еще не понимал. – Может, Вальке-моряку показать? Он все-таки в четвертый ходит», – и повернул к большому кусту рябины, склонившему ветви под тяжестью ягод...

«Нет, лучше завтра».

«А что же сказать маме-то?»

Оставалась одна надежда, что родителей нет дома. Выйдя из-за поворота, он взглянул на окна: они не светились.

– Вот хорошо-то. Наверно, ушла к отцу в кузницу.

Он закинул на плечо сумку и побежал.

Дома, оставив на кухне хлеб и сдачу, Егор прошел в другую избу, засунул книжку за киотик с фотографиями и завалился в постель: «Если отлупят, так хоть завтра...»

Вскоре вернулись мать и отец. Увидев на столе хлеб и остатки денег, мать заглянула в комнату:

– Эх, усапался. На сон потянуло.

«Только бы не откликнуться», – подумал Егор и нарочито захрапывал.

Отец, до этого умывавшийся молча, спросил:

– Что опять наделал?

– Известно чего. Взгляни-ко вон на штаны. – Мать собирала на стол, сын напряженно прислушивался и, когда звякнула крышка чайника, затаился: «Сейчас хватятся».

– А где сахар-то? Егор! – спросила мать, приоткрыв дверь в комнату.

Егор не отозвался.

– Если сахару не купил, так денег-то должно остаться больше...

– Ладно. Так попою, – сказал отец и строго добавил: – А завтра спросишь!..

Книжка попалась матери под руку, когда она доставала молитвенник.

– Ах, вот оно что! Егор! – позвала она, но в ответ раздалось громкое посапывание.

С любопытством повертев книжку в руках, мать взяла очки, села поближе к лампе и открыла случайную страницу.

Первая прочтенная строчка показалась ей непонятной, но слово «бед» произвольно насторожило. С трудом она разобрала по слогам еще несколько строчек, вздохнула, утерла ладонью подернувшиеся сухостью губы и начала читать снова: «Ко-гы-да, когда... тол-па жестоких бед, ...жес-то-ких бед и мел-ких бед за ни-ми вы-сы-лед, ...вслед. И мелких бед за ними вслед!...» – шептала она долго, и сыну казалось, что мать не читает, а идет в гору с тяжелой ношей.

...Плечами отеснив удачу,
Сойдутся вдруг на твой порог...

– Ой, не дай, господи, не дай ему, господи, – опять услышал Егор, не поняв ни смысла строчек, ни озабоченного вздоха матери. А она, перекрестившись, продолжала читать, мучительно торопясь добраться до какой-нибудь утешительной фразы.

– ...Не без добра наш мир большой, найдутся чуткие душой... – издалека, как эхо, доносилось до Егора.

А мать, долго просидев в задумчивости, опять вздохнула и прошептала:

– Дай, господи, ему добрых людей на дороге. Выведи на путь истинный.

Но этого сын уже не слышал: утомившись от волнений, он спал всерьез, повернувшись открытым лицом к голубому потолку избы, и уже начинал видеть сон, в котором то Анюха Кудряшка, то какой-то

незнакомый голос спрашивали: «Ак, кем станешь-то? Ты кто такой, мальчик?» – и строгий голос отца: «А завтра спросишь!» – А потом опять крутила обманчивая розовая выюга...

За книгу мать в душе похвалила сына: «Все-таки книжку купил, не наган», – но тут же строго решила: «Ужо завтра поглядим, что скажет? Нарошно испытаю...»

Егор экзамен не выдержал, и вечером следующего дня отец, еще переодеваясь после работы, потребовал ремень.

– Нету где-то...

– Нету, так найди! – Подать ремень входило в обязанность ответчика, отец этим не занимался. Во время поисков, как правило затягиваемых, он приводил себя в надлежащее состояние.

– Я жду! – рывкнул отец и поддернул кальсоны, затертые у колен суконными галифе. Голос его не оставил сыну никаких надежд на помилование, и Егор с ремнем в руках неохотно переступил порог из кухни в избу. Негромко и сочувственно тренькнула пряжка.

– Ты, Аким, только по этому месту его... Смотри, – шепнула мать и вышмыгнула из дома со слезой, уже сожалея, что слишком настропалила мужа.

– Не первый раз, знаю... Поживей подходи. Врать, так скор! – Отец сгреб сына за шиворот, и Егор, едва касаясь пола, закрутился в мозолистой отцовской руке, как на крючке...

«Ой, как плохо! Коряво, глупо... Не пойду или опоздаю... Зайду в другой раз», – вдруг подумал Черноков, когда осталось только перейти улицу. Проспект шипел под колесами автомобильного потока, преграждая путь, и ему хотелось, чтобы поток этот никогда не прерывался.

Чем ближе он подходил к редакции, тем чаще ему слышалось: «Ну, это куда не годится. И не о том, и неинтересно, и бездарно. И вообще, знаете...» И он боялся этих слов, как смертного приговора, и оттягивал момент встречи сколько мог: «Ну что я за человек уродился. Все не как у людей. Уже больше тридцати, а все дела себе не найду... Хорошо бы светофор сломался, чтобы было невозможно перебежать эту улицу...»

Но светофор сработал четко. Как только появился оранжевый кружок, толпа столкнула его с тротуара, и в голове опять лихорадочно замелькало: «Нет, надо вернуться. Лучше подождать», – но в спину ткнулась чья-то рука, раздался голос:

– Ну, проходите же! – и Черноков покорился, но все же опять подумал: «Хорошо бы вышло так: я приду, спрошу, а мне кто-то ответит: она просила зайти завтра. У нее срочное дело». Он охотно представил эту картину и сразу же почувствовал себя на верху блаженства и беспечно зашагал вперед, будто все так уж и случилось.

– Покупайте цветочки. Цветочки покупайте, – агитировала цыганка навстречу переходившей улицу толпе и бойко обменивала венички из бессмертников на полтинники. За время дороги он видел эту картину третий раз.

«Если я сегодня останусь жив, – подумал он, – я напишу... Начну так: «По всему городу цыгане торговали обомлевшими ромашками...» Потом оглянулся вокруг и дописал: «Город, заиндевевший после оттепели, стоял как напудренный, а я – около двери в редакцию, одуревший от табаку и кофею...»

Дверь была уже рядом, и едва обозначившийся юмористический рассказ спешно завершился.

«Папирос почти не осталось», – увиливая, подумал Егор и сбежал на противоположную сторону к табачному ларьку, едва не наскочив у перекрестка на фургон с надписью «Осторожно, люди!».

«Все, больше нет никакого повода оттянуть время. Надо решаться».

И, затаив робкую надежду, нажал на уличную дверь. За ней была еще одна, потом лестница, потом снова дверь, створы которой упруго открывались в обе стороны. Он оттянул створу на себя, хотя удобней было толкнуть ее вперед, просунулся, и дверь, спружинив, вытолкнула его в ярко освещенный вестибюль, как на приговор. На возню около дверей отреагировала пожилая женщина, выглядевшая самой главной в этом доме. Она сидела за столом, заваленным разными бумагами, чуть склонив голову, волосы были аккуратно расчесаны на пробор, и белая полоска светилась, как просека в густом ельнике...

– Здравствуйте, – с испуга хило поздоровался Черноков. Искушенным взглядом женщина жеманно прошла по нему от ботинок до головы и, признав его бородатое лицо ничего не говорящим, процедила голосом, похожим на сквозняк:

– Здьсте...

– Извините, я забыл комнату, в которой...

Женщина, не отвлекаясь от запечатывания конверта, кивнула в сторону, где вестибюль расходил на два коридора.

Спасаясь от невыносимой яркости, – хотя освещение было просто нормальным, – Черноков нырнул в рукав потемнее и там, как когда-то на глухарином току, огляделся. Нужная дверь с черной цифрой на овальной прозрачной блямбе из пластика была приоткрыта...

«Тут», – чуть ли не с огорчением подумал Черноков, заглянув в щель. В комнате около стола сидела молодая женщина с тонким, немощно красивым лицом, почти бесплотная, как тень. Увидев ее, Черноков подумал, что она похожа на одиноко тлеющую свечу, вблизи которой, наверное, нельзя позволить себе ни резкого движения, ни громкого слова, даже глубоко вздохнуть – как вблизи одуванчика. На плечах у Музы Аркадьевны лежала темная цветная шаль с длинными кистями, которую она иногда поправляла, поеживаясь, и так же тонко приглажены волосы. Сегодня около виска он заметил опущенную ниже уха прядь, словно невзначай, ненавязчиво подкрученную локоном, и замер в нерешительности.

В коридорах стояла таинственная тишина, подчеркиваемая глухим стуком пишущей машинки, доносившимся откуда-то издалека, напоминая шуршание мыши в погребу. В комнате было совсем тихо. Она сидела в глубине ее, не читала, скорей перелистывала страницы с загнутыми уголками, которые Чернокову показались знакомыми. Потом усмехнулась, и от этой усмешки его бросило в жар: «Надо мной!» – и чувства стали опять неуправляемыми. Он заталкивал их внутрь, как вещи в рюкзак, укладываемый в спешке, суете и отчаянии, а они не умещались, и он вдруг обозлился: «Не дрожи ты, дурак! Ты же ее зафукнуть можешь – дыхнешь, и она в обморок упадет. Тоже мне, принцесса. Поле без ветерка, обомление...»

Потом: «Господи, помоги мне пережить этот позор. Я больше никогда не буду...» – почти молитвенно подумал он, топчась перед дверью.

И уже опасаясь быть уличенным в подглядывании, Черноков высунул руку из кармана куртки, и костяшкой указательного пальца трусливо постучал по лакированной обшивке...

«Слава богу, одна, больше никто не услышит разговора», – утешился он, взглянув на ту половину кабинета, которой в щель было не видно. Там стоял второй стол и пустой стул. Сказал, не слыша своего голоса:

– Здравствуйте.. – И как-то скомкал вместе ее имя и отчество. – А я вас только что всячески обругал и чуть не сбежал. – Подумал про себя: «Все, больше не знаю, что сказать», – и жалобно ухмыльнулся.

Муза Аркадьевна смотрела на него – такого признания в ее практике еще не бывало – и, пользуясь замешательством, вспоминала, кто это перед ней. Потом сказала:

– А, это вы звонили, – и, переложив читаемую рукопись на дальний край стола, опустила руку в самый нижний ящик...

– Ага, я Черноков, месяц назад... Вынув розовую папку, она взглянула на клочок бумажки, подколотый под скрепку, и, разбирая какие-то карандашные слова, тихо, словно просыпаясь, заговорила:

– Есть у вас тут строчки... Вот в этом, про штаны, что ли?... «Посередине избы, в метре от потолка покачивалась детская зыбка... Тень от нее терлась о стену, оклеенную старыми газетами, и будто шуршала». В «Радуге» есть моменты. «Открытие» – тоже довольно интересно местами... «Луна»? Вроде естественно, мальчик хотел луну достать с елки, но... Но, понимаете, дети у вас какие-то все страдающие... Или в школу босиком, еще и снег не стоял. Теперь же время другое. Вообще трудно понять, о чем вы?... И в целом, если...



Говорила она, не видя собеседника, и хотела, как показалось Чернокову, побыстрее переложить стопку рассказов слева направо, вежливо прокомментировать все в таком же духе и вернуть, но потом взглянула на него.

– Да нет, все правильно... конечно, я понимаю, – залепетал он, не выдержав ее взгляда, и покраснел, чувствуя себя Макаром Девушкиным на разговорах у писателя Ратазьева: «А я сидел перед ней дурак дураком, и только об одном и думал, как мне в эту ихнюю высокую материю слово нужное вернуть бы...»

– В-вы напрасно так растерянно... То, что я говорю вам, даже похвально для начала, – неторопливо, как бы всплывая и преодолевая что-то в себе, и с сожалением, и с досадой сказала Муза Аркадьевна, но в голосе ее Чернокову показалось что-то обнадеживающее. А она, будто сделав над собой усилие, добавила:

– Ну, а теперь вот об этом, – и задумалась, как бы еще раз спрашивая у себя, стоит ли вдаваться в подробности, но потом взяла что-то из левой половины кучки, и Черноков, увидев заголовок рассказа, сжался...

Самолет, замедляя ход, катился по летному полю, потом вздрогнул еще раз и остановился.

– Ну, вот и прилетели, – сказал Аким Ильич, но от шума в голове не узнал своего голоса, поэтому повторил: – Ну, вот и сели. Теперь будем выходить и встречаться, – и повернулся к соседу. Тот сказал, что надо ждать, пока не подадут трап.

– Ох, правда ведь, ребята... А его, конечно, долго-то не задержат. Я так понимаю, не знаю, как вы?..

– Это недолго.

– Я то и говорю. Ждут ведь, – охотно согласился Аким Ильич и, отодвинув штору, снова прильнул к окошку. Он ждал встречи, и, вглядываясь в однообразно черневшие фигуры встречающих, волновался. Волнение усиливалось еще и тем, что сын, к которому он ехал в гости, не был дома уже несколько лет, а последнее время, как казалось отцу и матери, и письма писать стал реже. По этому поводу Аким Ильич однажды писал сыну: «Может, ты, Егор, вырос, женился, и в нас дальше не нуждаешься. Тогда так прямо и скажи, нет – так пиши регулярно». И хотя ответ был успокаивающий, сейчас он и это вспомнил.

«И еще письмом заранее не предупредил», – думал Аким Ильич. Но внимательно перебирая глазами фигуры отдаленных людей, он в половине из них находил приметы сына и поэтому заключил: «Должен быть».

– А вы как думаете, не знаю? – неожиданно для себя обратился он к соседу, но, спохватившись, поправился:

– Ох ты, совсем забыл. Это у меня про себя разговор шел.

Сосед рассмеялся. Через некоторое время пассажиры начали

вставать, направляясь к выходу. Стюардесса помогла Акиму Ильичу разобраться в вещах, а он, желая как можно вежливей поблагодарить ее, сказал:

– Ну, так еще раз большое спасибо, дорогая, и всяких вам удовольствий...

– Вам тоже. До свидания.

И Аким Ильич, подталкиваемый последними пассажирами, с чемоданом, перевязанным нейлоновым шнуром, спустился по трапу.

Волнение его нарастало. Шлепая по асфальту сапогом, начищенным и сморщившимся в голеностопе раненой ноги, он несколько раз подумал: «А может, не один придет, а с Лилей? С невесткой?» – И, готовясь к встрече, старательно поправлял шапку, выглядывая из-за спин идущих впереди пассажиров. Но яркое мартовское солнце слепило глаза, и он никак не мог осмотреться.

Так в конце растянувшейся цепочки пассажиров Аким Ильич приближался к выходу, с каждым шагом все напряженнее ожидая оклика. Но его никто не звал, и около решетки, отгораживающей летное поле, он отошел в сторону, нерешительно оглядываясь вокруг.

Слева, за самолетами, синел лес, который Аким Ильич у себя дома безошибочно понимал чувством, а справа стояли непривычные дома, ограда, люди, много людей. Только сына не было.

«Что же это такое? Самому ведь, ребята, придется выбираться, – думал он в растерянности. – Вот так раз, выходит не зря мати-то про письмо дребезжала». Ему вдруг послышались слова, которые она сказала уже вслед автобусу, увозившему его на станцию: «Мотри, отец, не выхваляйся. Это ведь город, а не наш брат. Дай телеграмму». И Аким Ильич еще надеялся, что его встретят, хотя в голове все чаще мелькали мысли о том, что делать, если сын не придет.

– Так, так, – проговорил Аким про себя и начал приглядываться к людям. Выбрав глазами человека, которого он из окна самолета, может быть, принимал за сына, Аким Ильич подошел к нему и, откашлявшись, спросил, как умел, вежливо:

– Прости, как бы вам сказать-то, дорогой товарищ-гражданин... Сына тут вы моего не видали?..

Гражданин или товарищ вежливо усмехнулся и сказал:

– Пока не видел...

«Что же это такое? Как же быть-то? – подумал Аким Ильич. – Куда же живой-то человек девался? Ведь должен же он прийти?»

Потом недоумение сменилось тоскливой обидой, которую вызвала мысль о том, что «вот теперь сын женился, стал сам большой, а отца как и на свете не бывало».

Но в это Аким Ильич верить не хотел.

«Не греши, Аким, за глаза, раз точно не знаешь. Всяко ведь бывает, может, телеграмма взяла да и не дошла», – успокоил он самого себя и последним направился к зданию аэропорта.

Впереди него, жиясь под тяжестью чемоданов, торопливо семенила женщина.

«Тоже, наверное, не встретили?» – сочувственно подумал Аким Ильич и сказал:

– Товарочка, давай-ка я тебе подсоблю. Меня тоже не встретили, может и разговоримся, куда нам?..

Но женщина, полуобернувшись, ответила:

– Спасибо, я и без вас знаю.

Аким Ильич смутился и утер нос: «Фу ты, опять не так обратился. Как и разговаривать-то тут?»

У автобуса он остановился, осторожно, как к белке на густой ели, присмотрелся к маршрутной табличке. Но места все были незнакомые.

– Куда вам, папаша? – услышал он голос за спиной и обернулся.

– Да вот я сына не встретил, – охотно начал Аким Ильич, увидев лицо соседа по самолетному креслу. – Телеграмму дал, как следно быть, а никого нет. Наверное, не дошла, а как вы думаете, не знаю.

– А вы написали, в какой аэропорт прилетите?

– Нет, а сколько их тут?

– Да несколько... Ну ничего, вы адрес, конечно, знаете? – спросил сосед.

Аким Ильич расторопно схватился за карман суконных галифе:

– А как же? С собой, – и вытащил бумажку с адресом, который он уже давно знал на память, но перед отъездом, для надежности, выписал его на отдельный листок, тщательно сверив по конвертам последних писем сына. – Все честь по чести. На этот адрес-то и дал.

– Хорошо, – сказал молодой человек, взглянув на бумажку. – Вы легко доберетесь. Сейчас сядем в автобус, доедем до центральных касс, а там я вас посажу на трамвай... Впрочем, вы можете ехать и на такси.

– А вы-то как? Тоже на ём?

– Да нет... не на ём. На автобусе... по некоторым причинам, – сказал молодой человек, улыбнувшись.

Аким Ильич снова обрадовался, тоже улыбнулся и спросил:

– А по каким таким? Может, я вам, так сказать, помогу?..

– Нет, спасибо, обойдемся. Давайте на автобусе.

«Да, тут не скоро все обкумекаешь, только пошевеливайся», – подумал Аким Ильич по поводу некоторых причин своего провожатого и приткнулся на кресло для кондуктора вместе с чемоданом.

– Вы сядьте на другое место, – сказали ему.

– А ничего, не беспокойтесь, товарищ, здесь шибко удобно.

– Это место кондуктора, – сказал молодой человек.

– А-а, ну так я постою, не маленький, – спохватился Аким Ильич и быстро встал в проходе.

– Вон там еще есть место.

– А ничего, ничего, не беспокойтесь. Я постою, зачем людей беспокоить, постою, не маленький, сами видите...

Через несколько минут автобус тронулся. Аким Ильич отдал мелочь за билет и, полууспокоившись, ехал молча, любопытно приглядываясь к попутной местности за окнами: широкой, лишь слегка – крышами пригородных домов и перелесками – напоминавшей его дальний поселок.

Это отвлекало от мыслей о телеграмме, о сыне, и только постепенно приближавшийся гул чего-то огромного и запутанного возбуждал в нем смутное беспокойство.

Но Аким Ильич подавлял в себе это чувство. Ему было совестно оттого, что он, Акиша, который ни в каком лесу не заплутает, вдруг растерялся среди людей.

И чтобы окончательно избавиться от растерянности, он, поглядывая то на своего случайного попутчика, то на дома за окном, менявшиеся на глазах, уже думал о том, как, возвратившись в поселок, будет рассказывать, что «сам добрался до сына и хоть бы хны».

Правда, иногда он думал и о том, как объяснит, почему его не встретили, но заранее решил, что причина будет уважительная.

Когда автобус въехал в шумный центр города, он еще раз для уверенности посмотрел на молодого человека, тот успокаивающе кивнул, и Аким Ильич окончательно решил, что все заботы позади.

От здания касс Аэрофлота, где автобус остановился, молодой человек, как и обещал, повел его к остановке трамвая. Аким Ильич, боясь потерять из виду проводника, во всю хлюпал сапогами, за-

плетался в толпе то сам, то чемоданом и озирался на бесконечно движущийся транспорт. Уличная суета опять возбудила в нем чувство неуверенности, и все усилия его были направлены на то, чтобы не отстать. Но обстановка, в которой он оказался, была столь поразительна и неудобна, что в голове у него непроизвольно скакали посторонние мысли: «Вот куда забрался, екуня-ваня, ну и захлопался... Да, залез, ребята, хуже всякой чащи...»

Поравнявшись с молодым человеком, он сказал:

– Ну, брат, много же у вас тут всего... Не знаю, как уж и благодарность выразить, а много у вас тут всего, густо, парень...

С Акимом Ильичом согласились, и он, переведя дыхание, рассказал:

– Я, парень, в любой чаще куда хошь проскочу, штаниной не задену, а тут на ровном месте весь перезапинался.

– Ничего, бывает. Скоро дойдем.

– Бывает-то бывает, да неудобно... Женщине одной на ногу ступил, так она, поверите ли, нет, молодой человек, взвизгнула, как мой Лапик... Вы-то, конечно, не слыхали, впереди шли, – и Аким Ильич совестливо покрутил головой.

На трамвайной остановке молодой человек сказал:

– Ну, вот и пришли. Сейчас подойдет трамвай. Выйдете на пятой остановке, не считая этой. Она так и называется, как в адресе. Деньги, надеюсь, у вас есть?..

– Есть, есть, как нет, – уверенно ответил Аким Ильич и ощупал вшитые в карман галифе деньги на обратную дорогу. – Да вот и в запазушнике еще. Специально мелкие на то да на другое.

– Ну, вот и хорошо.

И Аким Ильич успокоился, но, пока трамвая не было, он подумал: «Может, заплатить надо ему? Много ведь человек для меня сделал. Надо же как-то отблагодарить его. И, подобрав в уме обходительные слова, Аким Ильич хотел предложить деньги, потом решил, что это нехорошо, лучше пригласить в гости. Но в это время из-за поворота показался трамвай.

– Вот и ваш трамвай. Значит, выйдете на пятой остановке, а там, если что, спросите. Всего хорошего.

Аким Ильич, опять растерявшись, сказал:

– Большое вам, большая благодарность, – не то, что ему хотелось, – и полез в трамвай, едва не застряв в створках дверей.

Народу было немного, и все сидели, глядя в окна, вдаль, в себя, иногда на шляпы, платки и затылки друг друга, так что на Акима Ильича почти не обратили внимания.

Он вошел, посмотрел направо, где, как ему показалось, должен быть кондуктор, потом налево, и, не увидев никого, похожего на кондуктора, остановился в правой половине вагона, у свободного кресла. Еще раз оглянувшись по сторонам, он достал деньги и в нерешительности, не зная, к кому обратиться, сказал негромко:

– Ак, кому тут деньги-то заплатить? Че, человека-то нет, или я не вижу кого следует?..

Пожилая женщина, сидевшая неподалеку от него, увидев в его руках рубль, показала на кабину водителя:

– Купите талончики, когда трамвай остановится.

Кое-как сообразив, о чем идет речь, Аким Ильич пошел к кабине водителя. По пути споткнулся о край резинового коврика, трамвай в это время затормозил, и кабина «налетела» на Акима Ильича, так что он едва успел поставить навстречу ей руки: «Это что же такое, ребята?.. На ногах не могу устоять».

Едва справившись, он сунул рубль в полуоткрытую дверь кабины. Водитель, повернувшись, сообразительно отсчитал талоны.

Вошло несколько человек, Аким Ильич, пошатываясь, отошел от кабины с пучком бумажек и поставил чемодан.

«А что же с ними делать-то? Куда отдавать-то?» – подумал он и хотел снова обратиться к водителю.

Но трамвай уже тронулся с места, Аким Ильич не посмел и стоял в смущенной растерянности. Весь вид его как будто спрашивал: «Как же мне заплатить за дорогу-то? Помогите, ради Христа, а то стыдно...»

– Папаша, – услышал он чей-то радостный голос и повернулся. Ему сказали:

– Вон туда суньте и дерните за ручку.

– Не надо, Женька! Не видишь, человек впервые...

– Да брось ты...

Из краткого диалога за спиной Аким почему-то особо выделил имя: Женька. Но разбираться в этом было некогда...

– Суда? За эту ручку-то? – переспросил Аким Ильич. – А в этот ящик-то нельзя?..

– Не, не, талончики туда не опускают, – ласково подсказал из-за спины тот же хихикающий голос. – Дерните за ручку и скажите, кто вы и откуда... А то будет недействительно.

Последние слова показались Акиму Ильичу сомнительными, но он уже так намаялся и настыдился, что обругал себя за подозрительность, и подумал: «А черт знает? Может, у них в городе так заведено? Скажу, не корову, как говорится, проиграю. Не скажешь, может, возьмут да и выфуркнут вместе с чемоданом...»

И хотя какое-то глубокое чувство сильно восставало против, Аким Ильич сунул в дыру всю пачку и сказал:

– Ну, я – Аким Черноков из деревни Данчи-ха ...нет, я сейчас-то с лесопункта...– Не договорив, Аким махнул рукой, сел, прикрыв шапкой вспотевший лоб, и, чувствуя вокруг разное оживление, сжался...

– Это еще не рассказ, портрет, что ли? Зарисовка, – повторила Муза Аркадьевна, перевернув последнюю страницу. – В вашем Акиме есть что-то трогательное, пожалуй, точные психологические моменты. – И, придав голосу искренность с оттенком болезненного сожаления, подытожила:

– Вы понимаете меня?..

– Да, ага, понимаю. А я думал, вышел рассказик, смешной, грустный почему-то...

– Это похоже, но что-то там с сыном? Хочется узнать...

– А разве в зарисовке, как вы сказали, есть на это претензия? – спросил Черноков и усмехнулся над собой: «О! Наконец-то задал вопрос толково. Учено». А она уже с некоторой досадой настояла на своем:

– Вроде и нет, но невольно просится. Такое впечатление, что вы лично как бы что-то утаили, что-то большее могли бы рассказать, чувствуется история как-то. Попробуйте дописать...

«Угадали, утаил, но я и не собирался рассказывать всю историю, не умею про любовь, про разные «треугольники и многоугольники»... Из-за моей лжи отец натерпелся... не хотелось рану ковырять. Настолько все нелепо, навыворот, что кажется неправдоподобно. Скорей всего, как-то косвенно всплыли собственные обиды...»

Но вслух Черноков сказал:

– Ну, если вы так считаете, для меня это очень важно, вы же...

– Да дело не в том, что я считаю. Жанр этого требует... Вы подумайте, – повторила Муза Аркадьевна. – Одного этого, ну, рассказика, что ли, мало, чтобы предлагать вас на рассмотрение. – Помолчав, она уточнила:

– Если уж допустить такую мысль,– и с натяжкой, загадочно, как Мона Лиза, усмехнулась...

На улице Черноков выдохнул так, будто сутки сидел под водой и вот наконец-то вынырнул. В висках ломило и стучало от волнения и радости: «Вы попробуйте дописать!» Это ведь что-то значит?! Намек? А что такое рассмотрение? Кого? Зачем?» – и страницы рукописи то и дело превращались в печатные листы. Домой, в каморку пещерного типа мансардной коммунальной квартиры, идти не хотелось.

Хотелось немедленно придумать продолжение... потом важно пройти ярко освещенным вестибюлем и сказать ей: «Вот, посмотрите!» – и наконец-то услышать: «Да, это совсем другое дело. Неожиданно. Рада за вас...» И внутри него, как шарики в барабане спортлото, толкались между собой разные воспоминания и «эффектные» мысли, а он словно испарялся от радости, которая ждет его впереди: «Поздравляю. В вас что-то есть» – и слегка плыл над асфальтом улиц...

На привокзальной площади, в которую со всех сторон впадали улицы, кишевшие автомобилями и суетящейся толпой, Черноков остановился. Он давно тут не был, и непрерывное движение, в котором кружилась площадь, опять изумило его, как и в тот раз, когда он впервые оказался в городе...

«А эт-то! Что такое?!» – вдруг совершенно отчетливо услышал он голос. И жалко усмехнулся...

Женщина из приемной комиссии, проверявшая его документы, сидела за каким-то увесистым столом, обитым посередине зеленым сукном, он в это время невольно разглядывал ее прическу, похожую на домик улитки, и дрожал от почтения: такого он никогда не видел на головах деревенских баб, даже в райцентре, и это его совершенно парализовало. Он еще не пришел в себя от первой в своей жизни встречи с городом, от поисков института, от шума, толчеи, от постоянной путаницы в переполненном транспорте, даже от вкусного, но незнакомого запаха институтского двора, как выяснилось много позднее – тогда пахло ванилью из кондитерской фабрики по соседству; наконец, от только что пережитого волнения перед белой мраморной лестницей: он не знал, можно ли по ней идти – на мрамор, рядом с ковром, ступить боязно: «Ведь это ж, как на сахар,– мгновенно мелькнуло в нем тогда,– неужели здесь ходят ногами и по такому?» А на сам ковер – и того страшнее...

Он поднялся только после того, как по ковру бойко пропрыгал в кедах парень его возраста, да и то побаиваясь, потому что и кеды видел в первый раз: «Наверно, в таких обутках-то и можно, а не в ботинках?..»

Правда, комнату, где находились документы, нашел быстро. Она оказалась на видном месте, сразу же после лестницы, и пройти мимо крупной стрелки-указателя было невозможно. Но опять! – все это находилось во дворце, перед которыми и на картинках-то Егор благоговейно робел. Люстры, канделябры... Важные портреты...

– Что это такое!? – уже явно повышая строгий голос, повторила женщина, не удержавшись от ухмылки при взгляде на него: на нем была старомодная – он сразу это почуял – голубая штапельная рубашка, черные брюки клеш, матросские ботинки... И дякоподобная прическа, хотя в то время весь мир уже давно стригся «под ежика».

– Я вас спрашиваю!? «Сделал самодельную штангу, тренировал ребят в интернате», – ехидно прочла она строчку из его характеристики и отшвырнула в сторону клетчатый листок из школьной тетради, как фальшивку. – Мы же – дважды орденоносный! – институт. Понимаете! Дважды!.. Вы понимаете, куда суетесь со своим?.. Вы откуда приехали?.. Впрочем, – и она сделала гримасу, не найдя своему чувству достойного выражения.

У него навернулись слезы: не оттого, что из документов была изъята обязательная комсомольская характеристика, а от обиды, что заподозрили в обмане.

– Ды, ды, ды... Честное слово, Шурик Мелехин сам писал... Он секретарь. Это было десять дней тому... Чего вы меня распекаете?.. Мы еще в колхозе работали, нас послали с лесопункта... лен полоть... Печать-то нельзя было, не у кого. Директор уехал в район. Ну, я, честное слово, правду говорю, у меня и почерк-то совсем другой.

– Вы что, идиот?! Или нас за идиотов считаете?!

Егор смутно догадался, что слово это оскорбительное, но на лесопункте, где он жил, и в школе, куда ходил за двадцать километров по узкой, зараставшей лесной дороге, ругались иначе – откровеннее...

«Ох, была бы ты мужиком!» – подумал он, вдруг вскипев. И бешеная картина пролетела в его воображении, но он только вспотел, и сжался в комок...

«Да ведь отец-то тогда попал точно в такую же ситуацию, – почти с радостью подумал Черноков... – Теперь понял, как надо. Понял».

Через неделю он снова стоял перед знакомым светофором...

Опять робея, он поспешно одолел ярко освещенный вестибюль с женщиной, причесанной на пробор, опять услышал: «Здсьте», нырнул в рукав, и в кабинете, в ответ на нерешительную улыбку Музы Аркадьевны, сказал:

– Вот, я принес... вы сказали... дописал, – попробовал пошутить, но не сумел и смято ухмыльнулся над собой, подумав: «Ужас, как плохо вышло. Гадость, ненавижу...»

Но делать было уже нечего. Принес...

По разноголосице в вагоне, по репликам, усмешкам и даже перебранке Аким постепенно стал догадываться, что над ним подшутили обидно, и закипел: заклокотало самолюбие, главное в его охотничьей натуре, задевать которое он не позволял никогда и никому. У него и собаки отличались тем же – ни перед какими кобелями хвостов не поджимали. Иных он и не держал.

«Надо что-то делать, – думал Аким. – Так не пойдет, ребята! А может, я опять чего-то не так понимаю? Не торопись, Акиша, удостоверься».

На следующей остановке в трамвай вошли две женщины. Не выдавая волнения, Аким Ильич начал за ними следить. Одна опустила в кассу монету, другая достала из сумки талоны. Аким напрягся. Женщина молча проштамповала один из них и села.

«Значит, надули! Ну, нет, ребятки! Посмеялись – молодцы, но теперь ваши не пляшут», – расходился Аким Ильич, попутно мгновенно вспомнил задиристую деревенскую частушку своей молодости:

А выходи плясать на пару, дроля кудреватая,

Ничего тебе не будет: ты не виноватая,

– и, еще не зная, что сделает, начал вставать, и пропал, как во сне, в котором завертелось все, что было и не было в его жизни.

«Вот только который из них?» – покосившись в ту сторону, где похохатывали, подумал он. Когда ему подсказывали, Аким Ильич видел лицо говорившего вполупорот и от растерянности не запомнил его. Чтобы дать себе время на обдумывание, он поднял в проходе чемодан и начал задвигать его между сиденьями.

«Папаша, вы что, на ходу будете прыгать? Еще не остановка...»

Шагнуть надо было раза два. В трамвае насторожились, Аким Ильич взялся за поручень кресла, где сидел один из указчиков, и

остановился так, чтобы отгородить его в направлении средних дверей: «Ежели не сделает, как попрошу, я его в аккурат сшибу под ступеньки. Так же, как Максю Кутькина счикнул. А этот против Макси-то – бурундук. Вот только как бы его на ноги-то поставить? А там уж я не сзеваю». И для уверенности вспомнил про себя: «Я, милоч, перед медведем один на один стаивал, а про другое уж не говорю».

Видимо, почувствовав перемену обстановки, парень поднялся.

«Маленько повыше меня», – оценил Аким и сунул свободную руку в карман с деньгами. Вытащила трешка, которую он и вложил в руку парня. Тот в замешательстве взял.

– Наклонись-ко ко мне, товарищ, не знаю, как по имени-отчеству.

– Иван Иванович, – ответил тот, забавляясь ситуацией, и наклонился.

– В аккурат, – опять примерился Аким и, сдерживая себя, шепотом, на ухо сказал:

– На всю бери и скажи, как я, кто ты и откуда? – и кивнул в сторону компостера. Парень выпрямился и, усмехнувшись, сказал, демонстрируя снисходительность:

– Вы что, папаша? Я же не идиот.

– Иди! – уже вслух угрожающе выдавил Аким Ильич и, чувствуя, что наступил момент, когда надо не сзевать, надежно сжал руку на поручне и чуть согнул ноги.

– Я?! – взвился парень, подавшись вперед.

«Ну ладно!» – мелькнуло в голове Акима, и в то же мгновение он, резко распрямив ноги, сунул затылком головы в аккуратный подбородок. Удар пришелся вертикально, снизу вверх, так что парень только чуть откинулся назад, будто хотел подняться на цыпочки, но обмяк и вяло опустился на пол. Его приятель вскочил.

– Молод еще, х.....т по пляскам! – матом огрел Аким и, дрожа от возбуждения, шагнул в сторону, к чемодану.

– Убил! – раздался испуганный женский голос. Водитель начал тормозить.

– Не беспокойтесь, не...– Аким не договорил: сбоку его настиг удар наотмашь, и в глазах запрыгали огоньки...

В отделение все благополучно шли своими ногами в сопровождении двух милиционеров и молодой старушки-свидетельницы, которая начала «показывать» еще в трамвае.

– Я все видела, – пронзительно убеждала она, – поверьте мне, я все видела. Исключительно все! Молодые люди просто пошутили. Ну кто бы мог подумать, что он поверит? А он, этот вот гражданин, чуть его не убил. А когда молодой человек упал, он еще и выразился... как бы вам сказать... неприлично.

«Чего-то врёт она», – подумал Аким Ильич и вставил:

– Никакого я неприлично не делал. Может, матом выругался... не помню.

– Вы сами слышите, сами слышите...

– Ой, да не дребезжи ты, – опять сорвался Аким и обратился к милиционеру:

– Это, товарищ сержант, когда в молодости дрались деревня на деревню. Из-за девок ли, так чего не уживались между собой, дак подзадоривали: слаб, мол, в коленках, а на пляске – дак «слабоват по пляске».

– Ладно, там разберемся, – усмехнулся сержант.

Аким Ильич истолковал усмешку по-своему. Он переложил чемодан в другую руку и, хлюпая ногами по раскатившемуся на тротуаре снегу, думал: «Ну, захлопался, ребята. Вот теперь настояще захлопался. Припаяют суток десять. Здесь точно припаяют. Это у нас подрались – да разошлись. Хоть бы сыну знать дали».

Парни, идущие впереди, перешептывались. Несколько слов Аким различил:

– Да ты что, Женька!.. По крайней мере, штраф...

«Штраф», – с облегчением подумал Аким Ильич и поднял голову, чтобы сказать им: «Хорошо, ежели штраф, ребятки. Перемахнулись, заплатили – и по домам. Зато потешились».

Но в этот момент те вдруг побежали. Сам того не желая, Аким тоже бросился вслед за ними, но чемодан заплетал ноги, и через несколько шагов Акима Ильича схватили: только теперь, как ему казалось, держало его уже полдесятка, а может, и больше, милиционеров, и не одна старушка, а будто весь город тыкал в него пальцами и гудел: «Вот видите – нахулиганил, а теперь бежать».

Потом откуда-то из-за решетки появился сын и глухо, как-то отдаленно сказал: «Здравствуй, отец». Аким Ильич взглянул исподлобья в сторону голоса, так что увидел только нижнюю часть лица и отвернулся: ему показалось, что подбородок у сына такой же, как у парня.

– Здравствуй, папа,– снова, уже другим голосом, повторил сын. – Ты как сюда захлопался?..

Аким расторопно вскочил и засуетился: «Неужель это ты, Егор?.. Ох ты, едрена мать. А я сперва слышу – голос вроде твой, а говорит «отец, здравствуй»... Раньше-то папой звал. А меня вот тут... – Аким Ильич долго не мог подобрать нужное слово, заикался, путался, потом сказал: «Заберут, наверное, меня... А я к тебе в гости. Не собирался, а попутшик попался хороший, говорит, я тебя в самолет посажу, а там встретят. А до района-то Валя-Морячок подвез – запчасти для лесопункта получал. Помнишь Моряка-то? Друзья были в детстве... Ну, я и свернулся живо... Да вот вишь, че наделал...»

– Не бойся,– сказал Егор и кратко обнял отца за плечи. – Я тоже когда-то ехал в первый раз. Точно так же... Мне говорят, садитесь в троллейбус, а я сажусь в трамвай, все равно, думаю, он в ту же сторону едет, куда показывали... Да и разницы между ними не знал. Я тебе рассказывал. А в поезд сел – жмусь в тамбуре с чемоданом, решил, что тут и поеду. Институтский адрес сутки искал. Но не беспокойся.

– Да нет, чего ты мелешь? Ты как в письмах – половину теперь в твоей писанине не поймешь. Адрес-то я точно записал. Меня один человек точно все натакал до самого места. А эти двое – сунь, говорят, и фамилию... А меня заело...

– Я о другом. Потом объясню. – И сын вышел из комнаты.

– Ты куда? – в отчаянии спросил Аким Ильич.

– Подожди, папа. Я и сам еще не знаю, куда. На дорогу вроде вышел, а куда она ведет, не пойму. Боюсь, придется возвращаться, искать другую.

– Фамилия? – спросил сержант, расправив бумагу.

«Ну, пропал, Акиша... Мариха! Лапика не продавай без меня. В лес пусть с Максим Кутькиным ходит»,– наспех подумал Аким и похолодел.

Но в тот же миг в нем все перевернулось:

«Э-э! мать вашу... Ежели повело – берегись, ребятки! Теперь все равно!» – Аким решительно выдохнул, сжал челюсти и... споткнувшись о чемодан, встал в проходе.

В трамвае было почти пусто и тихо. Парней не было, и, наверное, не было уже никого из тех, кто видел его с талончиками. Аким Ильич очнулся, поправил шапку и честно себе признался: «Остарел, Акиша, остарел... Рассуждать стал много. Надо было сразу по заушице, а ты всю милицию на ноги поставил, в тюрьме уж насиделся, запричитал:

Мариха, Лапика не продавай. Эх ты, туесок!» – и тут же, чтобы как-то смягчить боль обиды, попробовал подумать: «Да ничего такого, Акиша. Велика важность – какие-то «инженеры» подухнули», – и мелко, неутешительно усмехнулся почти забытому слову, вывернув-шемуся откуда-то из глубины памяти. Когда трамвай остановился, он взял чемодан и неправдоподобно уверенным, знающим шагом вышел, не зная куда. Навстречу ему, или обгоняя сзади, шли люди, иногда даже касаясь его плеча, но не замечая. «А слова-то сказать не с кем», – подумал Аким и, испугавшись непричастности, поднял голову к небу. От тепла солнечного луча, коснувшегося его правой щеки, он почувствовал себя надежней: «Значит, не один, не пропаду».

Около тихого, тающего сквера Аким Ильич огляделся. Надо было успокоиться и обдумать, как быть дальше. Сунув руку в карман с папиросами, он напрямую, по проталинам газона пошел к пустовавшей скамейке. За ним ревниво проследила пожилая женщина и, когда он сел, мимоходом упрекнула:

– Взрослый мужчина, а ведете себя как мальчик.

– Чего такое? – недоумевая, и опять мгновенно сробев, спросил Аким Ильич. – Вон на других-то диванах сидят ведь...

– А почему вы по газону прошли? Для этого дорожки существуют. Портите...

Не поняв, о чем речь, Аким Ильич взглянул на сапоги и ответил: – А ничего, я их обмою...

Женщина, капризно покачав головой, прошла, он прикурил, глубоко затянулся ярым табачным дымом и, выдохнув, сказал:

– Фу ты, екут-твой шнять! Где тут газоны-то? Земля...

Он огляделся, пожмурился на солнце, единственное, в чем он не почувствовал разницы, и закурил еще одну папиросу. Проходившие мимо люди больше не находили в его поведении ничего предосудительного, и Аким Ильич успокоился.

«Ну, надо двигаться дальше, – сказал он себе, уверенно встал, теперь уже по дорожке вышел к трамвайной остановке и тут спохватился. – Эх ты! А в какую сторону ехать-то? С «дракой-то» я весь счет забыл. Надо было на пятой с того места, а я сколько проехал? Ох ты, голова каракулевая!»

Аким Ильич достал бумагу с адресом и, нерешительно переступая, пододвинулся к стоявшим рядом мужчине и девушке.

– А мне вот, товарищи, на эту улицу попасть как-то надо?..

– О, это очень легко! Вам нужно проехать две остановки – я знаю этот дом, – участливо, дружелюбно ответила девушка, и Акиму Ильичу стало радостно от ее голоса, и, хотя дочери у него не было, ему показалось, будто он говорил с дочерью: «Хорошо бы и Лиля такая же оказалась... Как медичка наша лесопунктовская. Зря Егор не женился. Скромная такая, самостоятельная, не вертихвостка...»

– Большая вам благодарность, – залепетал он, – большое...

– Только перейдите на другую сторону, за трамвайную линию, и на этом же номере, – досказывала девушка, спешно входя в подошедший трамвай, и уже из вагона показывала рукой куда-то за поворот. Но от радости Аким Ильич счел это лишним, дополни-тельным выражением чувства, тоже помахал ей и, пропустив трамвай, с оглядкой перешел на другую сторону неширокой улицы. Ждал он недолго и еще раз пережил радость:

– Пожалуйста, пожалуйста...– повторял он в ответ мужчине, попросившему у него закурить, и потом про себя думал: «Так потихоньку и обживусь. Теперь уж и у меня спрашивают».

Когда из-за поворота показался трамвай, он метров с двадцати различил его номер и подхватил чемодан. Трамвай приближался, набирая скорость, Аким Ильич с надеждой взглянул на табличку, висевшую на проводе, выругался на шофера грузовика, гнавшего чуть впереди, дернулся с тротуара к несущемуся мимо вагону и махнул рукой водителю. В ответ раздался резкий звонок, и Аким Ильич испуганно отскочил назад.

– Да что такое, мать твою за ногу! Ведь вон висит же киотик. И номер этот есть. Чего он не остановился?

Аким Ильич снова озадаченно заозирался, но рядом никого не было.

«А и хорошо, – подумал он, – хоть никто не видел. Подожду другого».

Но второй трамвай тоже не остановился. «Это что же такое, ребята? Неужель и она обманула?! Ну, Егор, спасибо, сынок! Хорошо отца встретил. Вот так, Марья, сыновья-то! Растили, поили, ничего не жалели – только учитесь. Вот и выучили! Ну, бывало, драл я вас ремнем – дак за дело ведь. Лыж одних сколько переделал, санок, крючков рыболовных: не было ведь тогда. День и ночь в кузнице молотком махал, коней ковал, битюгов-то помнишь? С ног падал, а ни в чем не отказывал. Ну, хвостал ремнем – дак за дело же. Ежели бычка чужого запряг да чуть в канаве не уходил – дак что, за это хвалить надо было?

Так, по-вашему. А ежели бы уходился бычок? Кудряшка сдурела бы. Хоть и хитра, сама вертовата, да тут заприседала. Дал тебе взбучку... Потом какую-то книжку купил без спросу... Тоже, помню, взял ремень. Дак не за книжку, а за то, что наврал: книжку запрятал, а деньги будто потерял – карман дыроват... Ну, дак и за это нельзя! А ей-то зачем было меня обманывать?» – с обидой, оборвав воспоминания, подумал Аким Ильич о девушке.

– Вы что здесь ждете, папаша?

Аким вздрогнул и обернулся – милиционер взял под козырек.

– О, товарищ сержант! – обрадовался Аким Ильич. – Как я раньше не догадался... Мне, понимаете, вот на эту улицу попасть надо. Вот адрес...

– Все ясно. Но только остановка не здесь – за углом.

– А эта рамка-то зачем тут повешена?

– Это в другую сторону ехать...

– Ишь, ты? А у нас под автобусом одна на обе стороны...

За поворотом сержант посадил его в трамвай.

– А девушка-то, понимаете, показывала мне рукой, а я про-шляпил: думал, она так, – договаривал Аким Ильич. Милиционер улыбнулся и снова взял под козырек:

– Через одну выходите.

На отыскавшийся где-то в табачных крошках пятак Аким Ильич купил билет и посетовал: «Ах, мать честная! Нашелся бы в тот раз – может, ничего такого и не было. Сичас бы уж чай пил...»

Дом он нашел легко, подъезд показали, и с трепещущим от волнения сердцем Аким Ильич вошел в парадную. Он слышал, что в городских домах «ходят лифтом», и, увидев за решеткой двери какую-то кабину, остановился перед ней, – не для того, чтобы ехать – ногами надежней, – а из любопытства. Он давнул кнопку – ничего не произошло. Робко, не надеясь, повертел головку ручки, но дверь открылась. «Ох ты?» – удивился Аким и, увлекаясь удачей, пропихнул себя сквозь упругие створки. Огляделся, прочитал инструкцию и, хотя мало что понял, все-таки вернулся за чемоданом.

– Ну, теперь надо че-то нажимать. – Посомневавшись, Аким Ильич набрал пальцем первую кнопку снизу. Лифт не сработал. Он снова уткнулся в инструкцию, узнал только то, что запрещено делать, и покосился наружу: «А-а? Вот в чем дело. Железные-то двери у меня расхлебечены...»

Раздвинув прыгающие внутренние створки лифта, Аким осторожно, боясь что-нибудь сломать, прикрыл наружную дверь. Когда раздался слабый щелчок, он вдруг почувствовал себя в безвыходной заперти, испугался и резко повернул ручку обратно. Дверь открылась: «Нет, в случае чего выйти-то можно. Надо попробовать...» Опять раздался слабый щелчок, палец нашел ту же кнопку, но лифт снова стоял. Аким Ильич нажал другую, третью, все подряд... и выругался от стыда и досады: «Как же они тут все живут? Вот мать-то не зря дребезжала, – город, не наш брат. Ну, Егор, испытал ты меня всяко...»

Читая номера квартир, Аким поднимался по старинной лестнице, и удивлялся, и побаивался: «Важные люди, видать, живали...» Перед дверью он отдышался, даже вспомнил про расческу, припасенную в нагрудном карманчике пиджака, но только поправил шапку и весь приосанился...

«Папа, а ты как тут очутился?»

«Язык до Киева доведет. А ты че, телеграмму-то не получил?» – сказал Аким Ильич и быстро взглянул сыну в лицо. Ему показалось, что оно выражало то ли крайнее недоумение: «Что ты, папа? Мы бы с Лилей встретили», – то ли чувство трусливой виноватости. А сын, быстро изменившись, продолжал: «Да что ты, папа? Вытри ноги и проходи», – голосом, который отец помнил со встречи трехлетней давности.

Аким Ильич еще раз оглядел и ощупал себя и, едва сдерживая еще несостоявшуюся радость встречи, крепко прижал кнопку звонка...

Когда телефонную трубку сняли, мужской, заметно навеселе, голос сказал: – Аллешеньки! – Черноков помолчал и сказал сдержанно:

– Привет, Женя, – слегка растянув первое слово.

– А? Привет, «шурин»... Ну как там твой батя поживает? – Женька добродушно и беспечно рассмеялся, и Черноков подумал, что, наверное, так же вел себя Женька и тогда, когда отец оказался перед ним.

– Нормально, жив, здоров... Как ты – не спрашиваю: чувствую, что очередная партия футболок «Кэмэл» или «Лаки» уже подошла и ждет цыганку...

– Не угадал... На этот раз серия плакатов «Пьянству – бой»... Но тоже хороший заказ, – уточнил Женька и раскатисто захохотал. – Лилька обносила... Шубку опять присмотрела...

Черноков хотел сразу перевести разговор, но обронил:

– Еще не зима...

– А ты что, забыл, огорожанился?.. Готовь сани... Как у вас там говорят... Хочешь анекдот?

– Не надо. Готовь сани... Позови соседку.

– Которую?..

– Не ерничай...

– Да брось ты. Еще неизвестно, кому повезло...

Потом его голос улетел в глубь коридора... потом послышалось приближающееся шарканье шагов и знакомый, страдающий одышкой бас грузной старухи.

– Это я, Парасковья Ивановна. Здравствуйте.

– Что-то ты совсем пропал, Егорка? – сказала Парасковья Ивановна, поздоровавшись.

– Так теперь уж отец пишет напрямую. В мансарду. А так неловко бывает... Вот опять на Женьку попал. Может, и Лиля... Так что избегаю без надобности. А вас помню. Если что, звоните сами...

– Хорошо, пока ничего «если что» нет... Ты-то как?..

– Я сегодня по делу звоню, – ответил Черноков, уклоняясь от ответа. – Отец тут меду прислал и грибов сушеных. Наказывает в письме, чтоб вам передал... Мол, сушеные грибы она, то есть вы, будто бы любите, а меду для здоровья.

– Это ты, что ли, ему рассказал?

– Нет, не говорил вроде... Когда он разыскивал меня, вы же с ним чай-то пили... Ну вот.

– А-а, припоминаю... Так это же я просто к слову сказала, – и Парасковья Ивановна расчувствовалась в благодарностях.

– Да что вы, это нормально, обычно... Я тоже нормально. Мету пока, – усмехнувшись, сказал Черноков. – Сессию сдал хорошо... На пятом... Ага, теперь все знаю, ничего не умею... Как на факультете говорят: образование философское, специальности никакой.

Оба засмеялись.

– Парасковья Ивановна, мне сейчас надо зайти в одно место, так что вы спуститесь к подъезду, и я вам передам посылочку-то... Да нет, не беспокойтесь. Как-нибудь выживем. Питаюсь надеждами. «Роман» дописываю. Иду на свидание...

«Ну, что скажешь, Музочка Аркадьевна?» – развязно подумал Черноков по пути в редакцию. Но от этого состояния не осталось и следа, когда он вынырнул из людского потока и пошел к парадной двери, укрывшейся в нише, образованной телефоном-автоматом и

будкой электросети с надписью «Опасно для жизни». Рядом висела небольшая, яркая дощечка с названием журнала, которое было выписано художником двойным цветом: одна половина букв была в красном, а другая не то серая, не то салатная. Вся дощечка оставляла впечатление некоторой завуалированности: вроде заметная и выделяющаяся на фоне серой стены и в то же время как бы притаившаяся в нише и не желающая рекламности.

Входная дверь, туго тершаяся об оледенелый порог, негромко скрипнула: «Ну, возьми же себя в руки! Что ты трясешься, как косоглазая девица перед женихом?» – увещевал себя Черноков, поднимаясь по лестнице с напускным равнодушием на лице. Но взять себя в руки не мог.

– Здравствуйте...

– Здрсьте...

– Ну, при чем здесь город и деревня? Где вы усмотрели, что я ругаю город? Ну, где!? Это внешнее же. Муза Аркадьевна...– уже горячась, сказал Черноков. Хотел добавить: «Вы хоть когда-нибудь волновались?» – но промолчал.

– Ну, допустим. Но, в конце концов, дело совсем не в этом... Получилось совсем не то, как мне представлялось поначалу. И жестоко, и путано... Словом, я сказала то, что думаю... Попробуйте дописать уж совсем до конца. Может быть, тогда все объяснится, и все будет оправдано, – еще раз посоветовала она и улыбнулась вежливой улыбкой, в которой что-то обещающее можно было усмотреть только при очень большом желании...

Дверь Акиму Ильичу открыл Женька, который сначала опешил, а потом расхохотался: «Ты что, батя, бить меня пришел? Как разыскал-то? Ну, заходи...»

После получасовой остановки и чая в комнате Парасковьи Ивановны по новому адресу Аким шел почти спокойно, словно из лесу с охоты, уже израсходовав всего себя на радости ожидаемой встречи, на волнения неожиданности ее, огорчения и на разные удивления. Шел, прихрамывая, как охлажденный проливным дождем, уже зная про сына все и что это ВСЕ, оказывается, выглядит совсем не так, как он предполагал, садясь в самолет.

Идти оказалось недалеко, и найти улицу и дом – тоже просто. От предложения проводить он отказался: «Светло еще, найду сам теперь», –

и, перекладывая чемодан из одной руки в другую, шел немного-людным переулком деловито и независимо, никого не спрашивая, сам поглядывая на крупные цифры на старинных домах, и под нужным номером уверенно свернул под арку. Вспомнив объяснения Парасковьи Ивановны, подумал: «Ага, теперь направо», и, довольный собой, увидел дверь, похожую на ту, как ему описали, и синюю жестянку с белым столбиком цифр, и полуоторванную ручку. Приблизившись, Аким Ильич прочел на жестянке то, что ему надо было, и вошел внутрь.

Лестница была освещена слабыми лампочками, отчего казалась грязноватой. Ступеньки сначала круто вели вверх до третьего этажа, потом, будто устав, легли в повороте полого и дальше опять, словно передохнув, поднимались круто.

«Эта лестница-то не ахти против той», – подумал Аким и, переведя дыхание, остановился перед дверью с разорванной в разных местах обшивкой, в которую уперлась лестница. Налево она еще ныряла куда-то вверх, почти в потемки. Он туда просто взглянул, нажал кнопку... и стал прислушиваться к звукам за дверью, где, как ему казалось, должно быть темно. И еще раз потрогал кнопку...

– Папа? – сказал Егор, моментально вспыхнув от изумления: «Как он тут очутился?» – и от радости тоже, потому что от одного взгляда на отца в нем сразу ожило детство, запахло всеми запахами поселка, разговорами мужиков и баб, собакой, матерью, всем домом и тем прошлым, когда жизнь представлялась бесконечным, зовущим вперед кипением, которое он теперь часто жалел, как что-то самостоятельное, отдельное – уже не его жизнь, – но пропавшее по его, взрослого, вине. И тут же – от боли, родившейся от мгновенной догадки: отец уже знает многое из того, что он скрывал от родителей, раз пришел по адресу, который могла дать лишь Парасковья Ивановна, или?..

Жизнь только кажется дорогой, у которой есть настоящее и прошлое, а в критический момент оказывается вдруг плотно сжатой точкой, содержание которой, если без слов, можно мгновенно пережить снова...

«Почти десять лет жил, как трава, проросшая в подвале... Путаница, углы, невольная ложь...» Черноков лихорадочно соображал, как вести себя, как объяснить ситуацию, чтобы было и убедительно, и не так расстраивающе: «Ведь отец потом и матери будет рассказывать... Она так молилась, чтобы я был счастливым... Слез будет, причитаний: я говорила, отговаривала... не езди далеко, дитя... Но делать теперь нечего. Придется каяться».

Спалив в напряжении нескольких секунд встречи все поверхностное, Егор, будто впервые, почувствовал себя взрослым, способным отвечать и понял: единственно верная интонация, в которой можно будет рассказать отцу обо всем без драмы и «слез», убедить и в то же время умолчать о необязательном, – это простое, естественное отношение к тому, в чем придется признаваться. Даже чуть насмешливое...

И, чувствуя, что пауза уже затягивается, он сказал, как обычно в таких случаях говорили в поселке:

– Папа, ты как тут очутился? – И улыбнулся просто, будто отец вернулся из леса с охоты. Без суеты и радости.

И отец, сразу почувствовав в вопросе знакомое и родное, отозвался привычно:

– А язык до Киева доведет. – И добавил: – Че стоишь в дверях-то? Расщеперился... Пропусти-ко давай...

– Расщеперился? – повторил Егор, улыбаясь и слову, и добродушно-ворчливой строгости в голосе отца. – Не успел зайти, а уж слова какие – будто весь лесопункт ввалился. Расщеперился. Я уж стал забывать такие слова-то. Давай сразу еще и матом.

– А можно, пожалуй, и матом. Стоишь того... Ох, и упетался же я из-за тебя. Ох, едрит-твою...

– Да ладно, сразу уж... Успеешь, – сказал Егор, поняв намек, и, внеся чемодан в квартиру, сразу начинавшуюся маленькой коммунальной кухонькой, обнял отца за плечи. – Ну, проходи... За ремнем мне сразу идти или потом?..

– Обожди пока. А там уж поглядим.

Егор закрыл дверь, отец остановился посреди кухни, то ли оттого, что не знал, куда идти, то ли осматриваясь. Кухня была небольшая, похожая на бутылку с другим горлышком вместо дна: узкая у входа, потом она немного раздувалась, как змея, заглотившая яйцо, и, вместив три стареньких кухонных стола под клеенками, раковину, газовую плиту, опять сужалась, переходя в недлинный, заполненный потемками коридорчик. Когда-то у ней было окно, но его по неизвестной теперешним жильцам надобности, отгородили рыхлой, выкрашенной в зеленое, стенкой и сделали комнатку, в которой теперь жил Егор. Лампочка, заменившая окно, горела неярко, и потому кухня, хотя в ней было прибрано, казалась всегда грязноватой, замкнутой и нежилой. Лишь в туалете, шкафом выступавшим внутрь помещения, торчала тоненьким ручейком вода, чирикающая, как воробей...

«Ак, куда дальше-то?» – взглядом спросил Аким Ильич.

Егор вошел в начало коридорчика, в котором, кроме третьей, невидимой в темноте двери, высвечивались слева еще две, и открыл ближнюю, пропуская вперед отца. Тот, перешагнув за порог, остановился.

– Проходи, – подтолкнул Егор.

– Дак прошел... Куда еще? В стол уж почти и уперся... Эту кладовку и заслужил метлой-то?..

Егор был готов к такой шутке и, оставив незамеченным намек по поводу метлы, сказал, хохотнув:

– Ха, нормально. Десять с половиной квадратных метров. Ты что? Это же площадь, – и нарочито возмутился, чтобы надавить на отца и сразу покончить с одним из неизбежных объяснений – Ты, как барин, – нажился. Да мы же, пока свой дом не выстроили, вчетвером в такой жили. Забыл?..

И отец смутился:

– Ты че шумишь? Барин... Да Парасковья Ивановна, говорила старуха-то, ведомственная она какая-то. А так-ту дивья: и кран есть, видал, и плита, и уборна... Тоже есть? Ну, так! Все под руками... А отобрать-то могут. Я вот чего...

Егор взял у отца суконное полупальто с черным цигейковым воротником, в котором еще десятиклассником во время каникул и сам ходил на танцы в лесопунктовский клуб, и повесил его на гвоздь рядом со своей курткой. Шапку отец пристроил на верх шкафа с книгами сам, погладил лысоватую, седеющую голову рукой, пальцы которой полностью уже не разгибались от старости и постоянной работы инструментом, и повторил, оправдываясь:

– Вот я чего спросил...

– Могут, но не отберут, – ответил Егор уверенным голосом, опуская все спорные подробности. – Скоро закончу университет, поступлю работать в фирму... ну, завод, чтобы ты понял, которому она принадлежит... Обещают. Так что все нормально. – Егор усмехнулся, сделал паузу, взглянул на отца, присевшего на хрустнувший старыми пружинами диван, и, поддерживая то простодушное, насмешливое настроение, которого он решил держаться, сказал: – Впрочем, есть варианты... Женюсь снова. Есть тут одна бездыханная... нет, лучше сказать, спящая красавица. Тихая такая. Мы с ней уже давненько переглядываемся между делами.

Аким Ильич пропустил мимо все завитушки в речи сына, выделив только слово «женюсь», и заметно насторожился. И волнения дороги, и

те чувства и размышления о сыне, оттесненные минутами встречи, опять ожили в нем, и отец сразу же заикнулся спросить: «Как у вас с Лилей-то вышло?», – но Егор остановил его, обняв за плечи:

– Давай не сразу. Сейчас распакуемся, устроим ужин. Лучше ты расскажи, что там у нас, дома. Я то и дело тоскую, вспоминаю...

А потом они долго сидели около столика у маленького мансардного окошка, выходившего в глубокий двор, провалившись в тишину уже позднего вечера, как когда-то у лесной избушки после охоты, чаще – после сенокосного дня...

Пришли, повесили под навесом крыши котомку с едой, пристроили косы или грабли, осмотрели кострище. Отец, доставая из-за ремня топорик, сразу по-деловому распоряжался: «Я сейчас добуду огонь, а ты спустишься с котелками в ручей или речку, принеси воды. А потом подруби еще сушняк – этих дров-то маловато, да в запас надо будет оставить. И, отыскав свиток сухой бересты или смолья, всегда оставлявшихся где-нибудь в сухом углу, чиркал спичку.

Избушка стояла на высоком угоре, как утес, к которому с одной стороны примыкали пожни на берегах извивающейся речки, а с другой был глубокий лог с быстрым холодным ручьем, глухо ворчавшим в густых кустах смородинника и ивняка. А за ручьем, поднимаясь опять в длинную гору, рос старый, по вечерам черно-синий ельник и верхушками, как пиками, покалывал сухое, стеклянное после заката солнца, небо. Занимал он весь косогор, стоял плотно, взбираясь по склону с каким-то старческим ворчанием до самого горизонта, словно хранил какую-то тайну и отпугивал от нее. И Егору казалось, особенно когда он ночевал в избушке один, что в ельнике, напрямую совсем близко, всегда кто-то бродит: или бредет медведь, сопя и обнюхивая землю, или какой-то колдун, или шепчутся духи. Собака по несколько раз за вечер, а иногда и среди ночи, утробно рычала, взьерошив на спине шерсть, яростно бегала по косогору, подскакивая, но не решаясь, однако, броситься за лог.

Когда Егор приносил воды, костер уже разгорался, огонь быстро вырастал снизу, захватывая языками пламени поленья и сучки.

– Вот сейчас в одном чаю скипятим – сбегай-ко теперь сломи смородинника... а в другом каши лесной наварим, – говорил отец, подцепив котелки на крючья вешалов. – Пусть покуда вода греется... Ну-ко, чего там мать сунула в котомку-то?.. – и выкладывал на столик, вкопанный между костром и избушкой, сухари, хлеб, кусок мяса, иногда

пригоршню крупы, луковицу, несколько картошин. – Вот сейчас всего помаленьку в котелок... Хорошая будет лесная каша. А ты, пока засветло, сушняк-то еще приволоки. Не ленись. Я тоже устал. А я еще каменку подтоплю, а то комары заедят ночью-то.– И он уныривал в маленькую дверцу избушки, шуршал в потемках, ощупывая нары.

– Сенца надо беремце принести, посвежее. Это слежалось, – доносилось из избушки. Потом внутри вспыхивал свет от спички, потом потрескивала береста, выпуская в открытую дверь первую струйку дымка, потом загорались щепочки смолья, мелко наколотые поленца, и из двери, облизывая верх створа, уже во всю ширину ее, тянулся густой дым, из которого, закашлявшись, выбирался отец. Довольный тем, что теперь все сделано для ночлега, что впереди ждет сытный горячий ужин и отдых, он садился на лавочку к костру, не торопясь доставал папиросы и блаженно закуривал.

Натаскав и нарубив дров, к нему подсаживался и Егор. Поодаль лежала собака, обежавшая и обнюхавшая все вблизи избушки, и устало подремывала, уверенная в полной безопасности хозяев, и тоже ждала, терпеливо слглатывая слюну...

Привычно замечая, как розовеет по горизонту небо, как свежеет воздух, как зарождается беленький туман, густея в низинах, они сидели около костра, то подгребая в него раскатившиеся головешки, то подбрасывая свежих дровец; передвигали котелки вслед за перемещающимся огнем, потом, наоборот, когда все вскипало, убирали крючья в сторонку и кратко обсуждали дела прошедшего дня, прикидывая работу на завтра, или вспоминая...

Постепенно хмелея, отец расслабился и, откинувшись на валик поскрипывавшего от старости диванчика, пересказывал то, чем перемучался за день дороги, с почти детским изумлением. «Как я после взбучки за книжку», – подумал Егор, чувствуя настроение отца, и, поддерживая его, с любопытством подтолкнул:

– А потом?..

– Ну, я когда догадался, что ничего сказывать-то не надо... Как догадался? Смотрю, народ-то заходит, сунут талончик и молчат все. Тут я и заярился, и зарасходился. Ах, думаю, паназырь ты! Ну, и делать-то не знаю чего. Как бы у себя на лесопункте, тут меня такать не надо, сам знаешь... А тут, кто знает, чего делать? И все кипит во мне, а к сиденью-то будто прижал кто, ли прилип. Не могу встать, пошевелиться не могу, а все вижу перед глазами-то, как сон какой, то одно, то другое... Я его и

за шиворот брал, и головой где-то саданул... Кутькина Максю эдак-ту однава счикнул, помнишь, поди?.. Ты тогда еще первый, ли второй год, как из дому уехал. Ну вот и Женьку этого я так же «сшиб»... Кудряшка Анюха тогда еще сдуру-то заревела: «Убив! убив! Аким Максю-то!» Должен помнить, летом было... Да в карты еще играли на угоре у конторы... А Макся че-то все подковыривал, рядом стоял, смотрел. Ну, я потерпел, предупредил... а потом с чурки-то прямо и разогнулся. Он не ожидал, я не шибко ладил, да угодил, видать, хорошо, он и свернулся, как заяц... Нет, мы потом с ним на охоте не раз бывали. Он сам виноват. А тут я и это вспомнил... Ну, а дальше-то и повели меня «по тюрьмам». Охудал весь сразу, жаром да потом весь изошел. Забыл уж, куда мне и надо. Ну, добрался... А потом, на-ко? По лестнице-то поднялся, двери-то отворились... Да что такое? Думаю, мерещится мне. Этот самый Женька-то и стоит. В тельняшке. Тоже, парень, рот разинул, а после захохотал. Ты, говорит, чего, батя? Бить меня приехал? Как нашел-то?.. Ну, заходи... Зашел, чего делать больше?..

Отец замолчал, взглянул на сына: дескать, дальше сам должен понимать, о чем была речь. Добавил:

– Лили не видал, не было. А потом Парасковья Ивановна позвала чай пить, при мне и телеграмму принесли... А кто знает, где она сутки ходила? – Опять замолчал. И Егору стало неуютно.

Несмотря на то, что в первый момент встречи с отцом он решил спокойно, даже насмешливо рассказать ему о своей житейской ситуации, удержаться в этом настроении было трудно. И потому всякий раз, когда отец делал паузу, напряженно сжимался, боясь, что тот вот сейчас помолчит и спросит: «Ну, так чего у вас с Лилей-то вышло? Дальше что думаешь делать?..»

И, оттягивая этот момент, Егор расспрашивал отца обо всем: о лесопункте, обо всех мужиках, бабах, собаке, заставлял вспоминать разные подробности, особенно играя на рыбацких и охотничьих струнах. Отец охотно увлекался, и, пока рассказывал, Егор, слушая его, одновременно обдумывал, как он будет отвечать, когда отец, конечно же, найдет момент и спросит вслух: «Ну, так чего у вас?..»

«Да обычная история, папа. Так и начну, с усмешкой», – думал Егор, слыша, как отец рассказывает о рыбной ловле:

– С осени-то худо попадало. Пирого на два всего уловил: хариуса уловил, да щука килограмма на полтора в сурпу закатилась... А вода большая была, дожди. Одно время даже ловушки на берег выложил,

листом все забило. А зимой-то хорошо. Налима один раз набилось, не меньше, чем раньше, когда мы еще с тобой маленьким ходили по берегу...

— Конечно, помню, все еще забегал вперед тебя, чтобы самому поднять ловушку, — отзывался Егор и молча параллельно рассказывал свое, теперешнее, опуская все, о чем, казалось, не надо упоминать, сводя дело к бесстрастной схеме без чувств и переживаний, к пустяку: «Случайно познакомилась в кафе. Ее подружке покурить захотелось, и я, сидевший за тем же столиком, ничего не говоря, пошел к уличному ларьку и, как король, купил пачку на последний рубль... Я тогда еще приезжал из Н-ска на сессию, помнишь, писал, что учусь заочно? Ну, с этого и началось. Оказалось, влюбились, что ли? В общем три года так и жили: то я приезжал сюда, то она ко мне. Потом решили жениться. Она от счастья на крыльях, я вроде тоже, хоть и сдерживал себя. Расписались в январе, и я уехал — понимаешь, меня попросили доработать до лета. Должность у меня тогда была ответственная. Пока нового человека подбирали...»

— А зайца, того хорошо зимой половил в капканы. Морозы стояли крепкие, бегал зайчик. Тропы — хоть пешком ходи, не провалишься... — рассказывал отец, и Егор вспоминал, как и сам когда-то ходил с ним по капканам, как задиристо щипал мороз и как радостно было отыскать где-нибудь под елкой попавшего в капкан замерзшего зайца. И опять сбивался на то, что тяготило сейчас.

«Все было хорошо. За месяц до переезда, когда я уже окончательно рассчитался на работе, отказался от квартиры, которую мне предлагали, если я жену перевезу... От Лили очередное письмо: люблю, жду с нетерпением... В августе я, наконец, явился с чемоданчиком холостяцкого багажа и двумя ящиками книг. К самолету никто не пришел, — Егор усмехнулся, взглянув на отца. — И в комнате никого, все разбросано, как-то иначе. Хорошо, ключ был... И Парасковья Ивановна вроде странно смотрит на меня: «Не знаю, говорит, где Лилия. Иногда забегает. Устроилась в каникулы проводницей на поезда». В общем, только дня через два позвонила по телефону». Егор вспоминал и невольно иногда как бы уточнял за отца: «Ну и чего вышло?» И отвечал: «Да ничего особенного. Где-то на дорогах и встретила Женьку, а тот сразу, как потом похвастала, шубу какую-то подарил. Не в пример мне. Художник он. Футболки штампует разные». И будто отец поддакивает: «А? Видал я, у него в комнате сохнут. Все какие-то буквы не наши.

Бедовый парень, видать...» – «Да дело, наверное, не в шубе. Как она потом объяснила, будто я ее всегда подавлял, ей было тяжело рядом со мной, и все три года она хоть и любила, но тяготилась... Ну, как тебе объяснить? Ты, мол, все серьезный, думаешь... А я тогда, окончив институт, еще и в университет поступил через год. Да и жизнь нелегко шла. Еле выжил...» – «Так ты как ее подавлял? Ты чего, дрался, руками размахивал, руку на нее подымал, а?» – казалось, опять спрашивал отец. «Да нет. Не могу тебе объяснить эту метафизику. – Егор усмехнулся, представив реакцию отца, произнеси он такое слово вслух. – В общем, по телефону Лилия смущенно сказала, что уже подала на развод. А потом и Женька появился. Ну, я и пошел по людям: ни работы, ни крыши над головой, только чемодан на руках да сотни две денег. И назад в Н-ск тоже некуда: уволился, от квартиры отказался, да и совестно было как-то. Ну, вот так и живу второй год на перекладных... Мету дворы».

Егор тоскливо усмехнулся, и отец, заметив его усмешку, оказавшуюся неуместной к его словам, спросил:

– Чего усмехаешься? – И, будто почувствовав, что сын, расспрашивая его, думает о чем-то другом, замолчал.

– Давай, еще выпьем понемножку, – предложил Егор, разряжая молчание.

Аким Ильич неохотно согласился, сделал небольшой глоток морщась, опустил голову и, не поднимая глаз, явно преодолевая стеснение, сказал:

– Вот так мы и живем с матерью, – и по интонации его голоса сын понял, что за этими словами последует вопрос к нему.

– Да-а? – обронил отец, еще преодолевая остатки сомнения. – М-да?... Ну, а ты как живешь? Что дальше думаешь делать? А? – И в упор поднял глаза. И, как ни готовился Егор к этому мгновению, все-таки почувствовал себя застигнутым врасплох и ответил так, как было на душе:

– Не знаю, отец. Честно, не знаю! Что ни спроси, все вопрос. Жилья – нет. Я же здесь на птичьих правах. Соврал я тебе в первый момент встречи насчет перспективы. Работа? – тоже нет. Дворник, сам понимаешь. Только что крыша над головой. И совсем один. Но на что-то надеюсь – не знаю, на что?..

И отец, хотя и чувствовал положение сына, но все же хотевший услышать от него что-нибудь другое, как-то конфузливо поинтересовался:

– Ну, а ты чего-то, это?.. Вроде про какую-то другую девушку ли женщину помянул?

– А? Спящую красавицу. Да нет. Показалось, для твоего спокойствия брякнул. Тут самый трудный вопрос. Зовут ее Проза...

– Как зовут? Что за имя такое?..

– Да пошутил я. – Егор помолчал, опять, как в момент напряжения, ощутил и увидел ломаную кривую всей своей жизни и сказал то ли в утешение себе, то ли в оправдание перед отцом:

– Понимаешь, папа, все-таки, наверное, есть судьба. Я часто теперь оглядываюсь назад, и мне кажется, что жизнь все время меня сталкивала, или... подталкивала... к чему-то?.. Я ведь искренне хотел стать моряком, как Витька Бушуев. И не похвали меня один ленинградский геолог (бог весть, чего они тогда искали в нашем лесу?), вернее, не удивись он моим спортивным результатам, которые я показывал без всякой подготовки, я поехал бы не в институт, а в мореходку. И наверняка поступил бы... И в институт тоже. Как теперь понимаю, подготовлен я был хорошо. Растерялся только, перед всем дрожал, считал всех сильнее меня, все незнакомо. Один белобрысик в белых кедах, подтянуться не мог, бегун, а ядро толкнул дальше. Теперь мне смешно... Я не жалею, что так вышло. Теперь уже не жалею. Во мне надо было что-то сломать, встряхнуть, все представления перевернуть, чтобы я услышал свое... – он постеснялся договорить, что. – Я тогда и сломался на несколько лет, дважды не достигнув того, что хотелось. Еле выжил...

– Догадывались мы с матерью, – как-то посторонне обронил отец.

– Да нет, ничего, теперь в этом смысле выжил, – торопливо успокоил его сын, спохватившись, что зашагнул туда, о чем запрещал себе упоминать при родителях. – А после потянуло к книгам, оказывается, я ничего не знал о жизни. Из школы она так просто выглядела. К другим книгам, которых в школе почему-то не упоминали... Стал иначе и себя оценивать. Словом, голос какой-то, который будто бы сразу слышался, но я его не понимал...

Егор еще что-то хотел сказать, еще что-то объяснить, но заметил, что отец как-то вянет от его слов, то ли не понимая их, то ли нутром чувствуя их глупость, и быстро подытожил: – Вот так все нелепо сложилось, – и жалко ухмыльнулся.

– Ну, а в этом, в университете-то, ли как этот новый твой институт зовется, на кого еще раз учишься? – спросил Аким Ильич, как показалось Егору, безнадежно: так, на всякий случай. И сыну опять пришлось ухмыльнуться:

– Про наш факультет говорят: образование философское – профессии никакой...

– М-да?! – отозвался отец. – Доучился. Ни кола, ни двора. И дела, дела, главное, никакого делать не умеешь. А мы-то с матерью все выучить старались. Думали, в люди выйдешь. А ты, наверное, теперь забыл, как и топор в руках держать... Давай-ко обратно домой собирайся, пока не поздно. Сдавай метлу-то. Пока я жив, научу тебя и плотничать, и столярному делу, и по железу научу работать. Вот это дело – никто не отнимет и всем нужен, только не ленись... И дом не женитьбами и враньем, а сам себе выстроишь. Ты ведь тут весь извертелся, все врешь. Вот так, парень! – отозвался тяжело, безжалостно, будто выплыл откуда-то издалека, или из глубины, так что Егору показалось, уж не приснился ли он ему...

Улицу Черноков перешел под красный свет... В вестибюле на низеньком журнальном столике дымилась сигарета, положенная в выемку пластмассовой пепельницы. Женщина с пробором запечатывала стопку конвертов, меланхолично вкладывая в них фирменные листки... Сбоку от нее, на стенке, красовалось с полдюжину вычурных, размашистых автографов фломастером, оставленных какими-то знаменитостями, видимо, недавно посетившими редакцию. «Выплеснулись, как бутылку шампанского распечатали», – подумал Черноков с невольной завистью и негромко сказал:

– Здравствуйте.

– Здесьте...

– А Муза Аркадьевна у себя?..

– Нет... А вы не Черноков? – Женщина взглянула исподлобья.

– Да, я.

– Она просила вам передать. Вот...

– Спасибо, – сказал Черноков, взяв большой конверт, и сел к столику с догорающей сигаретой. Пробежал глазами по записке, приколотой скрепкой: ...не хочу морочить... голову... ваши рассказы... у нас безнадежно. Проза, кажется, живет в них... Только лирика... извините за сравнение, вы говорите так, будто у вас на лице подушка, которую кто-то еще и прижимает. Стон... О причинах можно догадываться... Но не уверена, что читатели захотят вслушиваться и расшифровывать подобный вашему голос. Впрочем...

Дочитав, Черноков терпеливо усмехнулся...

К О Т

По деревенской привычке она просыпалась рано и лежала на спине с открытыми глазами. Лежала в закутке комнаты на одноместном поролоновом диванчике, подложив подушку повыше под голову, глядя чуть в потолок и одновременно на противоположную стену, на которой висела небольшая икона Богородицы и старинный бронзовый подсвечник с недогоревшей белой свечой...

Собираясь на работу, Нарчужанов несколько раз проходил мимо матери из комнаты в кухню, видел, что она не спит, но не решался ничего сказать, или спросить, только всякий раз цепко замечал, что лицо у матери в то утро было какое-то особенное – старческое, но с будто разгладившимися морщинами, чистое и чем-то освещенное.

Такой же он увидел ее позднее, за три дня до кончины, уже в деревне, когда она впервые за последнюю неделю попросила поесть...

– Только сначала принеси мне умыться, – сказала она тогда, – а потом дай мне белых сухариков с чаем, да можно и молочка ленуть маленько. – И когда поела, снова перекрестилась, прошептала: – Слава тебе, Господи, – призналась: – Никогда, кажется, с таким аппетитом не едала. Как причастилась, – аккуратно перевязала на голове ситцевый платок в крапинку и с таким же посветлевшим лицом затихла...

«Надо бы запомнить ЭТО лицо. Хорошо бы никогда не забывать», – подумал Нарчужанов, взглянув на мать, сглотнул подступивший к горлу комок и снова прошел молча...

И мать тоже молчала. Молчала глубоко, расслабленно, с едва заметной улыбкой на лице, будто была совершенно одна и с удивлением вспоминала что-то, уточняя для себя, действительно ли было все это, или ей показалось?... И оттенки сомнения, проступавшие на лице, сменялись тихой какой-то радостью, и она будто говорила себе: «Нет, было. Я же видела...»

Наконец Нарчужанов не выдержал, как-то невольно подпав под ее загадочное настроение.

– Мам?... Ты что?

– А ничего, все ладно. Лежу вот, – простодушно отозвалась мать, не выходя, однако, из своего таинственного состояния, прикусив в уголке рта кончик указательного пальца, и, как ребенок, также простодушно добавила: – Лежу... Печки топить не надо, еще рановато,

да и нет у тебя тут печки-то. Батареи какие-то сами топят. К скоту идти тоже не надо, опять нету. Вот и лежу, как ба́роня...

Слова эти отозвались в Нарчужанове как глоток брусничного сока – и ущипнуло, и освежило, и заставило сморщиться, и будто погрело...

А мать, помолчав, наконец, решилась признаться:

– А мне вот сегодня Богородица во сне привиделась. – Подумав, уточнила: – не сама Матерь Божья, а только образ иённый. Лежу вот, не могу точно вспомнить какой?.. Нет, не тот вон, который у тебя на стене-то. Это Знаменная, я знаю его, а какой-то другой... Появилась Царица небесная из воздуха вроде, эдак как бы наплыла надо мной и остановилась над лицом... Ну, как золотое все стало... Наподобие, как солнышко вышло. Видал, помнишь, как оно у нас в деревне утром выходит из-за угора?..

– Ага, – отозвался Нарчужанов, не зная, как отнестись к словам матери. Подумал: «Она что-нибудь сказала тебе?»... А мать, словно угадав его молчаливый вопрос, пояснила протяжным голосом, подчеркнув этим и достоверность, и чистосердечность своего признания:

– Нееет, ничего Она мне не сказала. Только эдак икона-то зависла надо мной. Я вот так же лежала на спине, как сейчас. А Она высоконько остановилась, – мать потянулась рукой к потолку. – Нет, выше было. Рукой-то было никак не дотянуться, – и еще раз подтвердила: – А слышать, ничего я от Нее не слыхала. Дальше уж и не помню, как было. Заснула я опять...

Рассказав сновидение, мать снова также одиноко затихла, будто куда-то вышла... А осенью, почти безмолвно перестрадав мучительное течение болезни, ушла навсегда...

В конце октября, месяца через полтора после ее похорон, Нарчужанов, вернувшись в Петербург из деревни, на этом же диванчике спал сам, и ему никак не верилось, что матери он больше не увидит, и никогда не услышит ее голоса. Лишь через диванчик он будто ощущал ее присутствие. Но спал он спокойно, ровно, без каких-либо сновидений. От усталости боль утраты утихала...

И вот однажды под утро, когда уже наступало пробуждение, Нарчужанов вдруг услышал негромкий шепот. Он лежал так же на спине, как мать в тот раз, когда ей приснилась икона...

Шепот пролетел где-то около правого виска, даже не пролетел и не прилетел откуда-то, а словно возник тут же и сразу же вошел в него, мягко окутав изнутри и растворив в себе – теплый, как потом

вспомнилось Нарчужанову, словно дыхание. Около уха его будто прошелестела тонкая шелковистая штора, встрепенувшаяся как бы от влетевшего в открытое окно поезда ветерка, и Нарчужанов услышал, как материн голос окликнул: «Коооля...»

Прошептала мать его имя и только один раз. Он ощутил плотность этого шепота, как живой голос матери, из которого тут же, не ярко, будто подернутое дымкой, родилось лицо матери, окаймленное тем же платочком в крапинку, словно соткалось из воздуха, и – быстро растворилось в отлетевшем голосе, затихнув, как откатившаяся с берега морская волна...

Произошло это все так плавно и в то же время так мгновенно, что Нарчужанов даже не успел удивиться этому событию, и снова задремал...

Однако утром он вспомнил все подробности столь же явно, как слышал во сне. Подумав, он почти уверенно решил, что окликом своим мать не позвала его, ничего не сказала и ни о чем не спросила, а просто окликнула его для того только, чтобы подать голос, что она есть, жива и помнит о нем, только ушла...



Но позднее, уже спустя годы, когда голос матери опять вспоминался ему, Нарчужанов, снова вслушиваясь в его звучание, замечал в нем что-то вроде непоправимого сожаления, даже скорби, и сомневался в первом своем впечатлении: «Нет, мама все-таки хотела мне что-то сказать!? Хотела! И даже сказала! Вот только что?!..»

И чем тщательней вслушивался он в оттенки интонации последнего материнского слова, прилетевшего оттуда, откуда не возвращаются, тем безнадежно-отчетливей вынужден был замечать, что всякий раз душу его, выдавливаясь вязкими каплями, травят приступы едкого чувства неназываемой виноватости. Но мать больше ни разу с тех пор голоса не подавала...

— ... а, может, и правда, что эта земная жизнь всего лишь испытание, назначенное человеку для приготовления к той, которую называют то

загробной, то вечной?.. И никакого другого смысла у этой – «настоящей» – и нет?! – вдруг, неизвестно по какой логике, подумалось мне, когда я дочитал последние строчки некогда мною же записанного и уже забывшегося рассказика. – Она, эта реальная жизнь, которой мы так дорожим, за которую так держимся, всего лишь приходящая, где надо соответственно принарядиться, причесаться, галстук поправить, чтобы достойно войти в гостиную... А если пригостишься не так, тогда что тебя ждет там, в вечной гостинной?..

Или ничего не ждет? Нет никакой гостинной!? Сразу все оборвется, все исчезнет, будто ничего и не было никогда? Ты лопнешь, как мыльный пузырь, и – все. Не может быть? Невероятно, не вмещается...

Озадаченный, я облокотился обеими руками о стол, вложив голову в ладони.

...или она – чье-то сновидение? Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..

Я прислушался и насторожился...

... Еще от звука замочного щелчка около входной двери и от голоса, которым она ответила матери: «Не приставай ко мне, мать, со своими глупостями! Я вся устала и раздражена!» – и еще больше от молчания, установившегося в коридорчике, я сразу почувствовал себя опять словно провинившимся, и невольно съехался – так же, как ежился лет шесть тому назад, заслышав возвращение Аллы Эдуардовны – соседки по коммунальной квартире, в которой я тогда снимал маленькую мансардную комнатку...

Воспоминание вызвало и усмешку, и ощущение досады: «Сейчас что-то обрушится и на меня?!» Настроение жены не обещало ничего хорошего: то ли надо выйти, осторожно разведать, в чем дело и предотвратить возможное нападение, то ли покорно дожидаться естественного развития? И то и другое показалось рискованным. И так и не сделав выбора, я остался в комнате, только откинулся на спинку стула и без всякого желания закурил...

– Привет, Нарчужанов, – сказала жена, пройдя за моей спиной к бельевому шкафу с зеркалом, и остановилась, взяв расческу. – Токуешь? Ты бы хоть проветривал почаще...

– Так форточка же открыта. Как еще?.. Привет, Лилечка, – простодушно отозвался я, не реагируя на раздражение в ее голосе.

– А чем занят? Что-то уж больно мудро выглядишь? – Жена почти ехидно усмехнулась.

– Да вот, можно сказать, свои мемуары перечитываю, ошибки исправляю. Вдруг кому-нибудь на глаза попадутся – чтоб не очень стыдно было. – Я тоже усмехнулся.

– Не рано ли мемуары? Ты что, умирать собираешься?..

Соврать, или как-нибудь уклониться было бы спокойнее и лучше, но на душе держался едкий осадок разочарования прочитанными черновиками, и я сказал то, что мелькнуло:

– Так жизнь, считай, кончилась. Наступило время расплаты... За беспечно прожитые годы, – я ухмыльнулся. – Наступившей эпохе «общечеловеческих ценностей» я органически противопоказан. Впрочем, и она мне – тоже. А это еще только цветочки...

– Ну, поехали опять! – отозвалась жена, откровенно раздражаясь. Откинула голову и, рекламно расчесывая волосы, походая, поинтересовалась:

– Ну, и что вычитал?..

Мне хотелось поплакаться:

– К сожалению, практически ничего обнадеживающего. Так, отдельные абзацы, строчки, в основном начала чего-то: то ли рассказов, то ли?.. Иногда не верилось, что сам написал когда-то, – признался я. – Вот, полюбуясь, вычитал в одном рассказе изречение: «Времени нет, мы топчемся на одном месте из века в век внутри безначальной вечности. Меняются только декорации...»

Я хотел продолжить развернутое доказательство этой мысли, но жена опять отреагировала раньше и совсем не так, как я предполагал:

– Мдаа?.. Похоже, сторожем работать опасно. Тебе, Нарчужанов, надо либо искать настоящую работу, пока совсем не состарился, либо?..

Не договорив, она ушла в комнату матери, потом мимо моей двери на кухню, откуда вскоре послышалось:

– Ну, конечно!.. Я так и знала!

Потом что-то упало...

Собрав валявшиеся вокруг машинки бумаги, я уложил их в нужном мне порядке в розовую картонную папку, на обложке которой было написано: «Жизнь медленная шла, чего-то было жалко»... Мысленно процитировал: «...таинственно, как старая цыганка, мне шепчет жизнь заветные слова», – убрал папку в ящик стола и, повернувшись, сел поперек стула, навалившись на спинку руками, и выложил на них подбородок, как провинившаяся собака, в ожидании хозяйского решения...

Как оказалось, в тот день я действительно проштрафился, забыв сдать в прачечную белье, не убрав в квартире, хотя вроде бы обещал, да еще не посмотрел, что картошка кончилась. И еще что-то, и еще, и еще что-то...

Но главная моя вина, похоже, заключалась в том, что сапоги, которые жена недавно с восторгом нахваливала, опять не то!

– Они промокают! – сказала она, когда я вышел на кухню. – На, потрогай мои ноги. До сих пор холодные. А ты мне про свои мемуары плачешься...

– Зато у тебя духи из Парижа... Подарок от самой баронессы! – попытался утешить я жену, хотя чувствовал, что в данном случае и это напоминание опрометчиво. – А сапоги у тебя есть другие. Кажется, и третьи?..

– А ты, может, скажешь, с какими юбками их носить?..

– Ну, это уж, девушка, прости, – растерянно пролепетал я и даже рассмеялся. – Как говорится, извините за внимание. – Однако, после этого разговор уже окончательно перевалил за пределы невинного семейного препирательства и дал повод жене в очередной раз убедить себя, что на свете нет хуже человека, чем я, ее муж, а я снова узнал, что за мной тянется целый шлейф проступков, совершенных и пять лет назад, и три... и неделю, и даже вчера я тоже, оказывается, выразился обидно... Ну, конечно, все это потому, что я ее больше не люблю и вообще никогда не любил...

– Напротив, – сказал я, – люблю. Только не безумно. А кое-что и не люблю...

Это, конечно, жену не утешило. Оказалось, единственное, что оставляло за мной право на существование, так это якобы талант, который у меня когда-то якобы был, да и то она его открыла, а я его зарыл своими романами – имелся в виду забытый мною не литературный роман... Но и о таланте жена упомянула, кажется, только для того, чтобы не чувствовать себя уж совершенно обделенной судьбой... Не помню, что дало повод втянуться в прения теще, и хоть и негромко, но дело дошло до валерьяновых капель...

– Вот видишь?! Ты всегда так! Разве это не подлость? Ничего не сделал, довел всех и – наутек! – подытожила жена, увидев, что я одеваюсь. – Тоже в подвал, как кот!?

– Нет, чуть подальше. В «мавзолей», – ответил я, не задираясь, имея в виду торговый центр. Он был на противоположной стороне улицы и

во время гонений на спиртные напитки я не раз видел в окна обвивавшие его великие очереди, в которых и сам, бывало, сражался за право отоварить винный талон. К тому же, если напрячь воображение, то и без очередей в силуэте этой торговой точки с красно-зелеными буквами ТЦ можно действительно усмотреть очертания известного московского сооружения, особенно при ночном освещении...

Жена отреагировала сдержанней, чем я предполагал, и я пошутил:

– Пойду поживу напротив своего дома, – с усмешкой намекнув на старый анекдот о завмаге Грише, жившем напротив тюрьмы, а потом, после ревизии, лет на пять поселившемся напротив своего дома...

То ли анекдот уж слишком устарел, то ли юмора в нем вообще было недостаточно, чтобы снять напряжение, но примирение наступило ненадежное...

Посоветовав мне остаться «в мавзолее» насовсем, жена пошла из кухни в комнату с чашкой горячего чаю, в коридорчике столкнулась с матерью, которой именно в этот момент тоже понадобилось что-то на кухне... А тут еще пес, недавно подобранный мной на улице, подвернулся им под ноги и завизжал так, будто его ошпарили кипятком... И все свалили вину на меня, и с этим приговором я и вышел за дверь.

На улице моросил осенний дождь. Набухшие облака, уже несколько дней накрывавшие небо, будто терлись о крыши домов, навалившись на них своей тяжестью, и закатанная асфальтом земля, казалось, прогибалась под давлением, угрожая прорваться, как поверхность клюквенного болота под сапогом... Сам же город показался мне похожим на человека, мучающегося на смертном одре: то хрипло дышал, то молился: «Господи, помилуй, Господи...» и, теряя сознание, впадал в забытие...

Оглядевшись, я невольно втянул голову в воротник черного плаща с капюшоном и поежился. Вспоминались просмотренные за день рукописи, но ничего в них не утешало, лишь в нескольких небольших новеллах было что-то светлое, но кто услышит тихий голос во время драки, когда все взорвалось и все орут...

Мысль о драке мелькнула по поводу событий, почему-то именовавшимися перестройкой. И я опять поежился...

Пропустив на перекрестке несколько машин, обдавших лицо водяной пылью, я пересек трамвайные пути, неуютно остро блеснувшие под фонарями.

* * * * *

Стальная дверина с двумя тугими пружинами скрипнула так, что вызвала ощущение зубной боли и тяжело ухнула за спиной. Стеклопанная стенка содрогнулась, а меня словно ударом взрывной волны вбросило в зал... Одолев небольшой порожек, что называется с поджатым хвостом, я вдруг ощутил в воздухе что-то упругое, ударившее мне в лицо, так что на миг я будто потерял сознание.

– Вот это дааа?! – вслух выдохнул я и невольно остановился, озадаченный подобно Тарасу Бульбе перед казаком, спавшим при въезде в Запорожскую Сечь. И кто-то словно прошептал мне гоголевский текст: «Эх, как важно раскинулся! Фу-ты, какая пышная фигура!.. Запорожец, как лев раскинулся на дороге. Закинутый гордо чуб его захватывал на пол-аршина земли, а шаровары алого дорогого сукна были запачканы дегтем для показания полного к ним презрения...»

Вспомнить Гоголя заставил кот.

Он спал слева от входа в «Кулинарию» и не уступал запорожцу ни в важности позы, ни тем более в показании полного пренебрежения к шароварам «алого дорогого сукна». Только раскинулся он не на дороге, а на острых ребрах пластинчатой батареи, под стекляннoй стенкой, между раздвинутыми оранжевого цвета шторами, свисавшими почти до пола. Широкоскулая голова кота, будто чуть сплюснутая со лба, была вложена в передние лапы, и толстый хвост его занимал места не меньше, чем козацкий чуб. Голова хранила на себе следы многих схваток: кое-где были порваны уши, местами, похоже, не доставало усов, а некогда рыжая шерсть была продымлена и изваляна во всем, что может встретиться на путях, ведущих в общественные подвалы и чердаки, – скомкалась, напоминая то ли куделю, то ли пожухлую осеннюю траву...

Впрочем, подробности эти я разглядел и осознал позднее, твердо решив дожидаться момента его пробуждения, потому что вслед за восхищением фигура кота вызвала во мне такое же сильное чувство раздражения...

Был момент, когда мне показалось, что кота этого, или подобного этому, я уже где-то видел, но воспоминание было слишком слабым в сравнении со всем остальным, что излучала лежавшая фигура.

– Похож на того налива, – неожиданно подумалось мне.

Кот действительно спал как-то особенно. Можно сказать, дерзко, вызывающе отвернувшись от зала, будто все вокруг него отсутствовало,

или вообще не существовало. Да и сам он – тоже. О реальности его напоминало лишь едва заметное шевеление провалившегося живота, выдававшее глубокую усталость, в которой реальность существования становится сомнительной: лежит, как убитый. Однако, «убитость» kota вдруг вызвала во мне не жалость или сострадание, а зависть. Раздражающую зависть. И с ехидной усмешкой на лице я подумал: «Посмотрим, как ты будешь выглядеть, когда тебя погонят швабры?! Посмотрим, инопланетянин, действительно ли ты можешь выказывать такое презрение?! Посмотрим! Я дождусь этого момента. Обязательно дождусь! Мне спешить некуда...»

Из неумелых рук молодой, длинноглазо накрашенной буфетчицы, я взял тарелку с поставленной на нее чашкой кофе и сел за столик, откуда было хорошо видно kota и весь зал, уставленный столиками на выгнутых алюминиевых ножках с голубыми столешницами из пластика. Он был довольно большой, тускло освещенный ледяным неоновым светом, в котором все выглядело призрачным и плоским, как тени. Но «Кулинария» частенько торговала тем, что тогда было дефицитом, и не пустовала...

Начавшиеся реформы, обещавшие дней через пятьсот превратить всю страну в рай, пока только с успехом разваливали все, что было, напоминая войну, и довольствоваться приходилось тем, что еще оставалось. «Кулинария» была единственной в микрорайоне. Люди толкались в ней между столиками, отыскивая хвосты очередей, отставших от прилавков, и в зале держался безликий шум, который иногда прерывался диалогами покупателей...

– Не отпускайте ей так много паштета! Да, этой даме в шляпке! А то нам не достанется. Не отпускайте!..

– А вы вообще здесь не стояли! Вообще вас нет!

– Нет, не правда, я есть, и я здесь занимала очередь. Я еще тайно задумала... Да, заняла очередь за винегретом и за рыбой одновременно. А про себя подумала, узнаю, которая продавщица быстрее торгует. Да... А вы забыли, я вас предупреждала... И вот сейчас подходит моя очередь...

– Вообще вас нет, говорю вам! Зудит тут, муха. Зю-зю-зю...

«А может, и правда, нечто, называемое нами жизнью, – чье-то сновидение? Или наше собственное?.. А иначе, как назвать сцены из жизни, подобные этой? – подумалось мне с усмешкой. – Нет, лучше: «жизнь – обман с чарующей тоскою». Как восхитительно звучит!.. С

чарующей тоскою!.. А что же потом, когда нас повезут?.. Ведь повезут же неизбежно! Тогда наступит пробуждение? Или?.. Неужель – НИЧЕГО? Не может быть!?!.. Как странно? В детстве, да еще и совсем недавно, я никогда не думал об этом всерьез, будто родился с готовыми ответами. Знал, не задумываясь. А теперь? Нет, лучше сказать – не знаю... Но что-то там есть».

– Не мешайте мне! Разорались! Я же с деньгами работаю! Говорите, что вам?..

– А вы мне недодали!

– Нет, я все вам сдала, а вы сунули в сумочку и там все перепуталось...

– Вот, посмотрите в сумочку. Все на виду. Пожалуйста, смотрите.

– А где рубль с оторванным уголком? Я запомнила, что вам его сдавала. Вам... Потому что никто не брал, кроме вас не хотел. Рванный... Сами суют, а как брать, так не хотят.

– Не знаю, хотят, или не хотят. Может, вы перепутали?

– А вы, может, сунули, куда мужики лазят?!

– Хамка! Позовите заведующую...

– Я сама себе заведующая. Нечего было отходить от кассы. Натсе своей...

Дверь на скрипела и ухала. Иногда передавалась с рук на руки и – опять ухала, содрогая стенку... Кот спал, не реагируя ни на что, и все в той же позе запорожского козака, пытая мое воображение то восхищением, то завистью, то досадой. Наконец я решил, что все это мне снится в разыгравшемся воображении, и стал наблюдать за другими, в нормальности которых можно было не сомневаться... Вскоре выяснилось, что все, кому кот попадал на глаза, тоже будто спотыкались:

– О, Господи? А это что такое?..

Особенно дети. Пробираясь к столикам с воронками мороженого, они невольно тянулись к коту, чтобы погладить. Родители одергивали:

– Не лезь к нему! – И дети нехотя уступали, но ерзали на стульях, капали на грудь, вертелись и переглядывались между собой, даже знакомились, словно для решения какой-то увлекательной задачи.

– Мама, смотри, какой он? Ну, посмотри!

И мамы, еще молодые женщины, начинали подыгрывать:

– Ага, хороший котик. Интересный... Устал, бедненький, – пытались умиляться, и жалеть, как обычно жалеют домашних котиков,

но к спавшему коту все эти умиления не подходили, и мамы чувствовали это, и иногда раздражались:

– Не лезь к нему! Ешь быстрее, дома дел куча!..

И украдкой, хоть и стесняясь, тоже поглядывали на кота и друг на друга, словно завидуя чему-то, или сетуя... Иногда их взгляды пересекались с моими, и мне казалось, что на их лицах проступала то какая-то грустная усмешка, то горечь и недоумение, будто они вдруг вспоминали: «Как хорошо было когда-то: и все просто, и все понятно, и так романтично, свидания, цветочки... и все впереди представлялось сплошным праздником! А потом?.. Вроде еще были моменты, но только уж моменты, иногда дни, редко – недели... А так – одни заботы, суета, путаница... А теперь уж вся жизнь по кругу, как трамвай по рельсам: дом, работа, дом, детсад... И это не так, и этого нет... И муж?.. Разве что иногда забудешься, а после опять похмелье. И зачем живем?..»

Мне казалось, именно что-то подобное проступало на лицах женщин, и их сожаления и упреки относились будто и ко мне: «Куда все делось? Куда?.. Ведь он так любил меня, когда ухаживал! А теперь?..»

И разные, все они казались мне похожими на мою жену Лилию, и на наши с ней разговоры с выяснением отношений. Будто все мы, повзрослев, не получили никакого представления о жизни, или получили ложное... считали себя чем-то важным и вечным, предназначенным для счастья, и оказались захваченными врасплох: вдруг обрушилось все, и идеалы, и старые берега превратились в призраки и миражи, а новые изумляют бесстыдством... И жизнь стала как ноша, которая и с ног не валит, и разогнуться как следует не дает. Не живем, а будто что-то переживаем. Про себя же мне иногда думалось: «И вот теперь я будто не живу, а только вспоминаю...»

– Мама, можно я его потрогаю?

– Отстань, Феликс! Сколько раз тебе говорить!? Он бродяга! Грязный!

– Нет, он не грязный! Он? – Феликс тоже не мог выразить то, что чувствовал, но утверждал: – Он, видишь, особенный какой-то. Он на «энэло» похож. Я раньше видел такого же. Он упал...

– Сам ты упал. Ешь, «энэло», – мама засмеялась.

«Стар, бродяга, явно не молод. Бывалый... Не чесан, не мыт, но как-то аристократически пластичен, – подумалось мне. – Нет, Нарчужанов, ты не преувеличиваешь и не ошибаешься – именно «аристократически». Не лежит, а будто дрейфует. Дрей-фу-ет! Как лодка без руля и весел... Но самое главное?.. – Я подумал и все-таки согласился с мелькнувшей

мыслью – действительно спит, как инопланетянин, словно уже не раз бывал здесь и все, чем мы тут томимся и разгадываем, знает вечно и молчит, как восточный маг... «Дрейфует», повторил я про себя и, довольный удачно найденным словом, долго воображал океанскую зыбь, на волнах которой качало спящего кота, будто опять, вспомнив давнюю киноэкспедицию, оказался на берегу Тихого океана, на высоком скалистом обрыве, нависавшем над водами великими, словно над бездной. В темноте ночи самого океана не было видно. Он лежал где-то внизу, у подножья скал – звезды над головой казались ближе, – укрытый белым туманом, как саваном, устало ворочался в глубине, откуда доносилось его утомленное дыхание, накатывавшееся на берега, от которого в душе что-то трепетало, а сам скалистый утес словно покачивался, хотя океан всего лишь спокойно дремал...

– М-да?! – тихо, но невольно вслух произнес я, на мгновение ощутив прохладу первобытного дыхания вод, и, взглянув на спавшего кота, снова оценил чудившееся видение: «Так может заснуть только невинная душа. Или отпетая... Отпетая», – повторил я. Что-то странное послышалось мне в этом слове, и я вдруг подумал: «А я же помню себя еще до того, как родился! И потом не то чтобы родился, а вдруг однажды ночью вырос как гриб под елкой».

Мысль эта не придумалась, не появилась из какого-то размышления, а словно выпала откуда-то и была не моя, я даже и подумал не этими словами, и не удивился столь необычному утверждению, а воспринял его как нечто само собой разумеющееся. Будто я давно, хоть и бессознательно, томился размышлением об этом, наконец, осознал, передо мной разверзлась какая-то завеса, то ли туман, застывший это с детства жившее ощущение, и на душе стало легче. Я почти почувствовал, как нечто естественное, то, что знал я о своем существовании еще до момента рождения. Вспомнилось даже, что находясь в утробе, я удивлялся и даже возмущался: «Как же так? Ведь я же уже есть! Почему же меня не выпускают на свет?» – И будто расталкивал руками окружавшую меня темноту...

И вот, продавив поверхность земли, наконец, родился и опять удивился, потому что вокруг было снова темно. Как потом оказалось, на дворе была глубокая осень, то ли ночь, то ли раннее утро... А вокруг темный ельник, и под раскаты какого-то странного громахания, доносящегося из далека-далека, по узкой дороге, пробивавшейся сквозь лес, костлявой будто от комьев полустывшей грязи, в поселок втекают одна за другой телеги, запряженные лошадьми, и лошади устало

фыркают, звякая удилами... А за ними еще более устало плелось множество каких-то незнакомых людей, безмолвно шептавших: «Война, война!» И тут же знакомые бабы и мужики то охают, то матерятся: «Это высланные... Вакуированные... Финны, корелы, латыши тоже есть. Ойе! В бараках-то и места-то всем не хватит. Разве что стоя войдут. А с дитями-то куда?..»

И все это сливалось с тем, что много позднее рассказывал мне отец: «А поселка-то нашего первоначально на этом месте никакого не было и в помине, и никто и подумать не думал, что нам тут придется жить и умирать, а вам тут рождаться... А почему я так рассказываю тебе, что и в помине не было, так это потому, что первоначально-то здесь стоял только дремучий лес и ближе, чем на двадцать километров, вокруг никакого жилья не было, ни одной деревни, только избушка чья-то единоличная стояла. Сам видишь, и теперь нету, а тогда тем более не было. Только лес дремучий жил разный. А больше всего – могучий ельник стоял кругом. Под елкой-то, бывало, на охоте, от любого дождя скроешься, не бойся, не промочит. А еще как огня разведешь, так хоть постоянно живи, вот какой ельник рос... Да еще текла речка Нарчуга под угором – как и теперь, только тогда она была глубже, берега местами высокие, с пожнями, трава в хорошее лето по пояс вымахивала... Нет, нынче таких глубин уж нету и в омутах: заилило ее во время сплавов, берега-то разбило. А тогда в омутах-то, особенно выше кузницы, где я лошадей ковал, бывало хорошей жердью не везде дна достанешь. А рыбы-то всякой, у-у! И шуки, и хайруза, в низовьях-то даже семга заходила из Виледи. Виледь-то ведь большая уж река... Нет, не спорь, вашему брату такой уймы рыбы уж застать не привелось. А я в первые годы, когда ловушки в еза закладывал, так зимой другой раз ловушку-то из воды поднять еле-еле – вот сколько налима набивалось...

Это уж потом, когда лес запонадобился, в районе леспромхоз образовали, и вместо единоличной избушки на угорчике подле речки, срубили большой барак, конюшню с шорной, а вскоре и кузницу. Тогда уж место-то стало пошире. А все равно, первые годы, когда меня послали сюда кузнецом, неба над головой было видно не больше, чем в печную трубу. А кругом еще долго стоял лес дремучий, и зимой, бывало, волки по ночам пороги у барakov грызли. В тепло просились – вот какие могучие морозы тогда бывали. Могучие морозы! Воробьи на лету падали, дух захватывало. Ну, в такие холода и лесорубов десятник в делянку не выгонял из барака, – не успеешь высунуться хоть бы и за дровами, уж щеку, или ухо, глядишь, и прищипнуло...

А нет, норму-то кубометров все равно заставляли потом выполнить, в теплые дни. Тогда, парень, строго!.. Только что прогул в мороз не ставили и под суд не отдавали. Вот так было первоначально-то. Ну, а дальше-то ты уж сам помнишь...» Вспомнилось, что, рассказывая, отец всегда с каким-то особенным почтением в голосе произносил слова «дремучий» и «могучий», явно готовился к их произнесению, набирал воздуха и внутренне весь как бы вдохновлялся... Мне же всегда казалось, что манера его рассказывания о том, как зарождался поселок, чем-то напоминает библейскую, хотя Библию он по малограмотности не читал. Разве что слышал о ней от своего отца, будто бы читавшего ее вслух для всей семьи. Но, рассказывая, мой отец как бы чувствовал нутром древность момента сотворения земли, ощущал картину сотворения, от которой у него захватывало дух, и помнил, что: «В начале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водами...»

Мне поселок долгое время казался похожим на омут, в который сквозь темно-синий ельник, словно ручей, едва заметно пробивалась похожая на трещину, тележная дорога и, уткнувшись в здание конторы, заканчивалась – дальше ехать было некуда, – только обратно...

Но все детские годы поселок, теперь опять исчезнувший с земли, казался мне центром вселенной, особенно в звездные зимние ночи... Разные далекие страны, о которых я постепенно узнавал на уроках, и разные моря, и города... все это вращалось вокруг него и даже и меня самого. Он – неведомый никому, кроме тех мужиков и баб, зачавших его, ныне покоящихся по разным деревенским кладбищам, и тех, кто родился в нем, – он был столицей.

Летом в нем было тепло, пахло лесом, ягодами, грибами... и по вечерам, когда из лесу пригоняли небольшое стадо коров и коз, около земли светилась пыльца в лучах заходящего солнца, жадно жужжали овода и мухи, гнавшиеся за скотиной до самых хлебов, лаяли собаки, и во всех закоулках долго держалось какое-то радостное ликование... А в хлевах слышалось нюрканье коров и тугие звуки первых брызг теплого молока в чисто намытые подойники...

И так же радостно было попасть под неожиданную грозу с ливнем, и мчаться домой, расшлепывая лужи босыми ногами, чтобы укрыться в доме... А там, подпрыгивая то на одной ноге, то на другой, быстрее, быстрее переодеться в сухие штаны и рубашку, добытые матерью с добродушным ворчаньем из старого сундука...

Весной поселок весь журчал ручьями, азартно бежавшими с косогоров, и был похож на человека, только что вынырнувшего из омута. Набухла речка, готовясь взломать лед, а на угоре перед конторой уже давно светились свежевystроганные багровища – словые шесты для насадки багров, составленные пирамидками вершинка к вершинке, вокруг которых валялись кучки мелкой стружки...

С конца апреля весь поселок жил в тревожно-радостном ожидании сплава леса, мужики насаживали багры, гадали, какая будет вода, начальство на всякий случай запрашивало в леспромхозе водки, лучше спирта, а когда сплав заканчивался, опять наступало ожидание, теперь уже среди детей, только радостное и еще более нетерпеливое: «Ну, когда же спадет вода!? Ну, когда же?..»

Вода спадала и без того быстро, но каждый день мы по несколько раз бегали к речке, почти уговаривая ее: «Ну, быстрее же, Нарчужка! Давай, быстрее!.. Ведь у нас же давно все готово: и тонкие прямые рябинки на удилище уже давно облюбованы, срезаны, выстроганы, высушены... И поплавки готовы, даже не из сосновой коры, а настоящие, из бутылочных пробок! И крючки папа сделал настоящие – с зазубриной! Ну, быстрее!»

И вот, наконец, по поселку разносился слух, какой-то почти таинственный и словно шепотом: «Хайрус уже клюет!.. Никола уже одного выудил! Да!? И большого! И почти рядом, у самой бани! Да ну? Да там же никогда не клевало! Мы же там купаемся...»

И новость эта разносилась по поселку с тем же чувством, как колокольный звон на Святое Воскресение... И радости этой хватало на весь сенокос и до самой зимы...

Зимой поселок заваливало снегами до самых крыш, так что бараки напоминали снежные холмики, в которых по вечерам желто тлели маленькие окошки, освещенные керосиновыми лампами, и поселок был похож на охотничье зимовье...

Осень же словно подкрадывалась: во второй половине августа дни как-то незаметно становились все короче, короче, будто кто-то ходил по поселку с ножницами и потихоньку их отстригал... И вот уж и грибы не всегда успевали разобрать засветло, а белые грузди уж чаще всего чистили при лампах, в избе – сентябрь... И вот уж, кажется, и не светает вовсе. Поселок постепенно словно опускался на глубину: и просыпаешься темно, и засыпаешь – потемки, и днем, чуть облачно, тоже хоть лампу зажигай, если керосин есть... И тогда, помнится, казалось, что в это время года даже и медведи в берлогах горевали...

В одну из таких ночей сентября отец в первый раз взял меня в напарники бить острогой рыбу – «с лучом», как говорили в поселке.

Днем, пока еще было светло, мы заготовили и разнесли по берегу речки смолье, а поздним вечером поднялись выше поселка... Я сгорал от нетерпения, пока шли, отец курил, я надоедал ему расспросами: «А рыба спит?.. А зачем она выходит на мель?.. А видно ее будет?..»

– А вот сейчас все сам узнаешь, – отвечал отец.

Наконец-то разожгли «козу» – так называли мужики небольшую корзину из проволоки, привязанную к тонкому шесту метра в два длиной, в которой жгли мелко наколотое смолье...

– А почему это «коза»?

– А не знаю, – ответил отец. Потом спросил: – Не тяжело? Осилишь?

Я держал горящую корзину, осветив огнем почти до середины речки. Было тяжело для десятилетнего подростка, но я приврал: – Нет, хоть всю ночь буду носить...

– Ну, тогда пошли смотреть. Свети, только не торопись, тихо и слушай меня...

В ту ночь рыбы к берегу вышло много, и стояла она спокойно дремла, слегка пошевеливая плавниками, иногда чуть как бы двигаясь на месте... Ночь выдалась тихая.

Пройдя извилистыми берегами не больше километра, мы часа за два набили много: и крупного хариуса, и полдесятка щук, и уже собирались уходить домой, как вдруг на мелководье под самым поселком, где речку могла и курица перебрести, я увидел слева от себя что-то огромное и темное...

– Папа, смотри, какую корягу откуда-то вынесло? – сказал я отцу, чуть отставшему от меня. Сказал на всякий случай тихо. Отец, собиравшийся прикуривать, взглянув на воду, вдруг встрепнулся:

– Ты что, екут твой?! Стой, не шевелись! Поддай «козу» вперед по течению. Посвети, – отец почти прошепел.

Налим стоял посредине реки, и чуть бурлившая вода, кажется, не скрывала его спину. Я быстро подвинул корзину вперед, а отец, переложив острогу в правую руку, осторожно чуть заступил в воду, резко ударил острогой и быстро придавил что-то ко дну так, что скрипнул камешник. На короткое время вокруг остроги будто вскипела вода, разлетаясь брызгами, и отец потащил острогу на себя, едва не свалив меня вместе с козой, и исчез в потемках...

Когда я тоже выбрался на берег, он стряхнул налима в траву и сказал:

– Вот, видишь, какая коряга-то оказалась! Давно такого не попадалось!

– Уу, какой?! – выдохнул я от изумления. Отец взял у меня корзину и посветил сам, давая мне, как молодому гончаку, впервые поднявшему зайца, почувствовать вкус добычи...

Налим ворочался в скошенной траве, потом затих, и я взял его на руки. В окружении тьмы, прорывавшейся только пламенем горевшего смолья, я разглядывал обомлевшего налима, увесисто прогнувшегося между рук. Провис он расслабленно, словно не убитый, а улетевший куда-то, оставив на земле только это, лежавшее у меня на руках, склизко-темное тело с плоской головой, пробитой у затылка... Рядом на берегу догорали остатки смолья, вытряхнутые из корзины отцом, и вместо радости на душе у меня стало как-то незаметно нарастать ощущение тоски. Даже не тоски, а скорби, точно такой же, которая мучила меня всякий раз, когда отец с матерью начинали поговаривать о том, что пора резать поросенка...

Предчувствие этого события неотступно преследовало меня, и когда наступал назначенный день, я тайком заранее уходил из дома куда-нибудь подальше, чтобы нечаянно не услышать визг, и возвращался только в сумерках, когда был точно уверен, что все кончилось...

В доме вкусно пахло свежим супом, но чувство тревожной скорби не утихало в моей душе несколько дней, причины которой я не могу понять и до сих пор, а тогда казалось, от меня будто что-то оторвалось и кто-то ушел...

Эту же скорбь я ощутил и в кафе так же остро, дожидаясь момента, когда уборщица погонит кота. Он спал все также отрешенно, завораживая...

– Ну, фигура?! – подумал я, невольно усмехнувшись. – Может и ты способен поддеть вилкой маринованный гриб, как вóландовский Бегемот?..

Наблюдая за котом, я открывал в его фигуре все новые пласты, словно она была бездонной на впечатления, побуждавшие к самым неожиданным воспоминаниям. В распластанности его было столько размашистости, что я даже подумал о только что упавшем метеорите... Казалось, еще не остывшем, и не облежавшемся на земле, а словно

парившем вблизи ее на всколыхнувшейся от падения поверхности, как на воздушной подушке...

«Стар, явно стар», – с невольным уважением снова подумал я, взглянув на кота, развалившегося под оранжевыми шторами... Постепенно фигура его стала словно набухать, увеличиваясь будто от сознания своей важности, особенно живот... Уцелевшие усы его зашевелились, и мне стало казаться, что вот сейчас кот проснется и заговорит: «Вот ты, Нарчужанов, сидишь тут, тайны Бытия разгадываешь: есть ли, что там, после этой жизни, или нет? И если есть, то что? Как?.. А я, между прочим, знаю ответы на все твои вопросы... Впрочем, знаю их не только я. Знает каждый младенец, находясь еще в утробе матери, и до тех пор, пока не умеет говорить. Потому что ЭТО невыразимо. И по мере того, как человек овладевает способностью говорить, он утрачивает эту утробную мудрость. Она как бы отбирается у него. Взрослея, вы не приближаетесь к Истине, не овладеваете ею, занимаясь разными науками, а уходите от нее все дальше и дальше. Да, да, не усмехайся... Истина живет в иной плоскости... Если не веришь, объясни тогда, отчего тебе подумалось, что помнишь о своем существовании еще до рождения?..

Больше скажу: все интересующие тебя тайны знают деревья, животные, трава... даже камни. Безмолвно знают. Творец не случайно лишил их дара речи. Ведь и младенец ведает, пока безмолвен... И не зря же вот такие есть стихи: «Высшая поэзия – молчание, высшее молчание – моление».

А помнишь, как ты сам пристрастно цитировал: «Какое сложное явление дерево? Вглядитесь, в каждом облик утомленный... В нем жизни вековое волшебство!...» Ведь это же не выдумаешь. Это надо почувствовать. Не умом, нет, – духом...»

С волшебством деревьев мне было согласиться легко. Не раз я избавлялся от чувства одиночества среди городской толпы, встречаясь взглядом с деревьями в сквере. Они будто вылавливали меня. Помню, как однажды просто остолбенел, когда вдруг подумал: «А деревья-то ведь всю жизнь стоят на одном месте!? Как это непостижимо! Ведь сотни, иногда тысячи лет! Всякая другая движущаяся тварь, чуть ненастье, норовит шмыгнуть, где-нибудь укрыться. А они – хоть буря, хоть шторм, ни шагу. Они словно упрек людской суете... И неужели случайно, что Священное Писание, зашифровавшее в своих строчках и притчах все тайны Бытия, самым емким символом назначило дерево: Древо жизни, Древо познания Добра и Зла?..

– Что же касается сути этой Истины, господа, – вдруг неожиданно высокопарно возгласил кот, вызываясь взглянув мне прямо в глаза, будто уже прогуливаясь между столиками «кафе» и, словно профессор, читая лекцию: – Так вот, господа, – повторил он почему-то смущавшее меня слово, – Истина, которая действительно является самой главной для всякого человека, проста. Искать Ее не надо. Она известна: Она открыта уже две тысячи лет тому назад, и трудно представить сегодня человека, или какое другое существо, кто бы о Ней не слышал. Нет, наверное, таких. И потому все повторять Ее не буду... Вот только, если честно сказать, вам она не подходит и, может быть, даже и не нужна... Ибо вы предпочитаете жить в угождении себе, комфортно... А Она говорит: отвергни себя... И с первого же момента Ее явления и по сей день вы Ее ежечасно распинаете...

Кот будто задумался, безмолвно прошелся среди столиков и продолжил, снова взглянув мне в глаза так жутко, что мне захотелось очнуться...

– Клевещешь ты, кот, на людей, – невольно и неуверенно возразил я.

– Много званных, но мало избранных, – как бы мимоходом обронил кот. – А вот что ты скажешь мне на это? Слушай: «И Он, обратившись, сказал им: Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником; И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть Моим учеником....»

– Ничего я тебе на это не скажу. Промолчу. Не всякому дано разуместь столько... Могу лишь тихо признать: кроме Него в этом мире опереться не на что: всё призрачно, нечто вроде миражей...

– И даже если тебя будут ставить к стенке – либо отрекись, либо смерть! – ты всё равно будешь утверждать также?!

– А ты думаешь, я сам себя об этом не спрашивал? Ты же все знаешь!



Весело доедавшие мороженое дети, вывели меня из оцепенения. Я снова взглянул на спящего кота. А он будто иронически усмехнулся. Вдруг уверенно встал, сгорбился, как гусеница, не разошуривая глаз, повернулся головой в другую сторону, ощупью переставив лапки по ребрам батареи, и снова раскинулся так же размашисто и отрешенно, только на другом боку...

– Ишь ты? – вслух подумал я. – Даже не взглянул, что вокруг. Даже взглядом никого не удостоил... Ну, нет, брат, мораль читать – это легко. Вот посмотрим, как ты подтвердишь свою мудрость, когда тебя отсюда погонят? Посмотрим! Я подожду. Уже недолго осталось!

Подумалось опять с раздражением и завистью...

Кажется, лет пять тому назад, а, может, и больше – с недавних пор время стало проваливаться в бездну, годы полетели как дни, – когда мне еще не посчастливилось жениться второй раз, и я снимал маленькую комнату в старом районе города, самым ярким впечатлением этого периода было ожидание момента возвращения с работы соседки Аллы Эдуардовны...

Возвращалась она почти всегда в одно и то же время, происходило это почти всегда одинаково, так что я вскоре уже стал предчувствовать этот момент и, не глядя на часы, уже как бы втягивал голову в плечи, словно подросток под рукой, занесенной для подзатыльника, или как мышонок от запаха кошки...

Этот момент и вспомнился мне, когда я вернулся к своему столику с еще одной чашкой кофе...

Появление Аллы Эдуардовны начиналось с негромкого шуршания, доносившегося в узкий коридор со стороны ее комнат. Потом шуршание приближалось, появлялись новые звуки: щелкал холодильник, потом что-то перекладывалось, звякало, иногда под злобное шипение: «У-у, поблядушка ё...» Это относилось к дочери-десятикласснице. Потом все ненадолго затихало в глубинах коридора и комнат...

И вот звуки опять начинали возвращаться, и уже ближе, ближе... Наконец вскрипывала дверь в общий коридор, и Алла Эдуардовна, женщина крупная, после ухода мужа – он уехал куда-то в Сибирь, женившись на женщине с тремя детьми, – будто изнемогавшая от избытка сил, увесистой поступью начинала продвигаться в сторону туалета и кухни, нарастая как штормовая волна, и напротив моей двери,

обязательно напротив! – разряжалась могучим выдохом какого-нибудь ядерного выражения, которое я невольно относил в свой адрес и переводил: «У! Сидит тут, клопов давит!..» – и закрывал машинку...

Какое-то время рокотало в туалете, потом скрипели разошедшиеся половицы на кухне, звякали тарелки, кастрюли, сковородки, в которых всегда хлопотало, трещало, потом что-то уносилось в комнату опять мимо моей двери, обдавая тучными запахами...

Себя Алла Эдуардовна считала человеком культурным, книг в доме не держала ни одной, смотрела только телевизор, сидя перед тарелкой семечек, меня сдержанно не любила, хотя иногда относилась благодушно и позволяла себе откровенничать:

– Люблю покушать... Как возьмешь в руки, так сразу чувствуешь – маешь вещь! – и снисходительно глядела на мою тощую фигуру...

И в тот день, заслышав появление соседки, я уже приготовился сопереживать знакомую процедуру, но скоро почувствовал, что настроение в соседних комнатах какое-то иное: и шуршало что-то не так, и на кухню Алла Эдуардовна проследовала хоть и рельефной поступью, но без вздохов и грохота...

– Ой, ты мой халешенький! Халешенький мой, сладенький ты мой, – умильно приговаривала она, шагая коридором, и во что-то чмокала, чмокала, будто хотела кого-то затискать и никак не могла угодниться...

«Интересно, что это там такое?» – подумал я и решил выйти на кухню.

– Ты посмотри, кто к нам пришел?! Ты посмотри, какой халешенький!..

– Правда, хороший, – сдержанно отреагировал я, не желая втягиваться в чрезмерное ликование.

Посреди кухни, между столами и газовой плитой, озирался котенок. Был он длинноногий, чисто рыжего цвета с почти розоватым отливом, и маленькими, словно яблочные семена, голубыми глазами. Ноги он еще плохо чувствовал под собой, был похож то ли на соломенного козлика, то ли на ребенка, учившегося ходить, и когда пускался вскок, его заносило...

– Ты что, против? – спросила соседка, взглянув на меня, потому что я молчал.

– Чего против?

– Чтобы он тут жил?

– Да вы что, Алла Эдуардовна? Я очень рад. Я же вырос с кошками и собаками. Что за дом без живности? Я и сейчас помню, как деревенские старухи говорили, что если, мол, все таракашки из избы пойдут, так это уж не к житью. Торокашки, как они произносили...

– Ну, насчет таракашков, ты брось!

– А кто его знает, может, и правда! Тараканы, говорят, реликтовая тварь, дремучая... Мамонты вон вымерли, а они нет, хотя тоже вроде допотопные...

– Не надо!

– Кот? – спросил я.

– Говорят, кот. Мужик он у нас будет. Мы теперь с мужиком будем, – опять оживилась Алла Эдуардовна и залялькала. – Халешенький...

Потом на кухню вышла и гулливая дочь десятиклассница, и обе они, забыв междуусобицу, принялись тискать котенка: целовать в морду, лялькать и тютюкать за отсутствием слов, фальшиво, как с игрушкой, предназначенной для убажания...

Я спросил отстраненно:

– Вы где его взяли?..

– Он у нас не простой, а породистый, – зашебетала дочь вместо ответа на вопрос. – Не простой. Его мне друзья подарили. Да... Вот он какой! Ну-ка, покажись, какой ты? Он швейцарской породы! Вот!..

– Ишь ты? Теперь уж чуть что, так непременно какой-нибудь «швейцарской». Нормальный котенок, – сбивал я щебетанье. – Вот куда он будет по нужде ходить?

– Научится, он у нас умный.

– А звать как?

– Кеша! Мы его Кешенькой звать будем...

Кличка эта к котенку совершенно не шла, мне хотелось звать его как-то иначе, и поскольку котенку было приписано «швейцарское» происхождение, я стал кликать его Иностранцем.

Котенок скоро привык к обоим кличкам. Хозяевам он отзывался на Кешу, я же обращался к нему в зависимости от своего настроения.

В течение полугода Кеша превратился в крупного кота. За это время он дважды срывался за голубями на дно двора-колодца с карниза пятого этажа, после чего по несколько дней лежал на кухне с отбитыми лапами и кровоточащим ртом, а потом опять сидел на том же карнизе и

страстными глазами следил за птицами, напряженно выжидая момент для прыжка. Кот действительно оказался неправдоподобно умным. Вскоре после его появления в квартире я однажды заметил, как он крутится около посуды с песочком, поставленной на кухне, и посадил его в раковину унитаза...

– Ну-ка, попробуй, Кеша! Покажи, на что ты способен?..

После этого он стал ходить туда сам. Если бы постараться, он, наверное, научился бы и дергать за шарик на веревочке...

Игнорировать туалет Иностранец начал в возрасте, приближавшемся к году, и неистребимым запахом потянуло из разных углов квартиры. Однажды он пометил мои башмаки, стоявшие у входа в комнату, потом в мое отсутствие, забрался ко мне через форточку и так вспрыснул дорожную сумку, что она так и не выветрилась, вывернутой провисев за окном все лето...

Наказания он принимал с пониманием и покорно. Алла Эдуардовна опрыскивала углы дезодорантами, но как только запахи утихали, кот подновлял их в самых неожиданных местах...

– Волю ему надо. Он же молодой, огромный. Да еще и красавец. А кошки же во дворе стонут, – внушал я хозяевам, оправдывая кота.

– Ну да? Его же надо будет мыть. А он такой халешенький. А еще кошкадеры! Поймают в подвале, как бездомного... Или кастрировать его?..

На это я отрицательно морщился:

– Пусть уж метит. А лучше всего – дать ему волю...

Не желая этого, Алла Эдуардовна гладила кота, как плюшевую игрушку.

– Он больше не будет пакостить. Не будешь ведь, лапочка моя? Он умница. Он же нам конфеточки даже приносит. Конфеточки...

– А это еще что? – уточнил я.

– Да! И покурить тоже... У Наташки как-то сигарет не было, она изнывала весь вечер. Так чтобы ты подумал? Кеша на следующий день принес ей хапчик от соседей. Она в кресле сидела у телевизора, а он через окошко вошел в комнату с окурком в зубах и положил ей к ногам. А потом как-то денежку даже принес! Не веришь, спроси у Наташки...

– Как это он?..

– А так. Карнизы широкие, он по ним к соседям повадился. В форточку прыг... Конфеты на столе в вазе лежали... Они потом звонили мне. А пятерка, не знаю, где он ее стянул?.. Вот он какой у нас, лапочка.

Слушая, кот млел, со всем соглашался, а потом опять метил...

Наконец, получил вольную...

Первое время он по несколько раз в день возвращался в квартиру, и, ожидая у дверей, радостно вскакивал за порог, терся о ноги, съедал свою рыбу и надолго засыпал на подстилке в кухонном углу – чумазый, утомленный и утоленный... Вечером его отмывали в ванной, терли, сушили и он важно удалялся в апартаменты хозяев...

Однажды кот исчез надолго...

– Ну, вот! Я же говорила! Наверное, попал к кошкадерам?! Я места себе не нахожу!..

Я молчал, чувствуя себя виноватым. Однако через неделю Иностранец снова появился на мансардном карнизе, спустившись на него по крыше через чердак, но не вскочил в форточку, как раньше, а сел напротив моего окошка. Выглядел он усталым, грустным, изрядно запывившимся...

– О?! Кеша! Вернулся, родимый, – сказал я, открывая ему окно. – У тебя что, уже сил нет впрыгнуть в форточку?..

Кот муркнул под моей рукой, но в комнату вошел без прежнего азарта. У меня почти не задержался, запросился в коридор и ушел к комнатам хозяев. Там никого не было, дверь была закрыта...

– А тебя уже не надеялись увидеть, и мне, признаться, досталось за вольнодумство, – сказал я вслед.

Кот обнюхал дверь, вернулся на кухню, нехотя поел и лег на знакомую подстилку.

– Ты что? Ну, видать, и набродяжился? Хлебнул подвальной жизни! И дом родной уж не мил, – говорил я, заваривая чай.

Кот слушал, не реагируя на слова, дремал и будто мучился чем-то, размышляя. Чувствовалось, что думал глубоко, решая что-то важное. Потом приоткрыл глаза и вместо блаженного зевка, или даже опрокидывания на спину, которыми он раньше выражал признательность, будто буркнул: «Тебе не понять...» И скоро запросился на улицу. Я открыл дверь, он потоптался на пороге, как бы еще сомневаясь, уходить или нет, но вышел. Оказалось, навсегда...

После этого ухода в квартире долго держалось какое-то траурное настроение, словно мы кого-то похоронили, и в течение долгого времени не верилось, что Иностранец пропал...

Вспомнив об этом, я вдруг неожиданно для себя усмехнулся, но причиной перемены настроения было иное событие...

* * * * *

Ля-фуршет человек на сто в особняке знаменитого графа, заказанный в честь юбилея поэта, которого в торжественных речах называли и классиком, и пророком, и шаманом, густо облепив столы, расставленные в каре, азартно вознаграждал себя за терпение, проявленное в зале официального заседания... Крепко, видать, изголодавшаяся творческая орава утешалась все-таки уж слишком откровенно. Легкое смущение продержалось лишь до первой рюмки, потом бутылки начали быстро пустеть, с такой же скоростью разлетались бутерброды, их добавляли официанты, не раз появлявшиеся в зале с огромными подносами, но и они не долго задерживались на тарелках. И пили уже неизвестно по какому поводу...

Композитор Арсений Игнатьевич, еще до знакомства почему-то напомнивший мне о литературном персонаже Томаса Манна Адриане Леверкуне, такую откровенность галдевших собратьев по творчеству, похоже, не одобрял. Одинок потолкавшись около крайнего стола, он где-то к середине фуршета подлил в свой фужер немного водки, взял уцелевший бутербродик с колбаской и отделился от вспотевшего муравейника к стульям, расставленным вдоль стен с лепниной рококо...

Там уже толковали о чем-то несколько интеллигентных «слабаков» с рюмками и тарелочками в руках, кокетничали две-три пары... Уклоняясь от возможности напиться, и я оказался в этом околорюшетном пространстве рядом с композитором.

Обмолвившись какими-то идущими к ситуации репликами, мы, отхлебывая из фужерчиков, без всякого напряжения познакомились и довольно быстро добрались «до котов»... Возможно, еще и потому, что и в зале, где поэт читал свои стихи, особенно на родном мансийском языке, витал дух мистики. Никто этого языка не знал, но само звучание его обвораживающе шаманило, заражая...

– Да нет, что вы так? Сразу уж и ересь. Теперь вдруг все стали православными... Слова во простоте не молвят. Еще вчера парткомом командовали, а сегодня бороды все поотрастили, – с легким раздражением возразил Арсений Игнатьевич, когда я сказал, что не могу принять идею о переселении душ. – Вы дослушайте. Бессмертие же надо заслужить...

– А разве душа не бессмертна?..

– Да, но есть нюансы: оно может быть и в раю, и в аду. А люди, бывает, так проживают жизнь, что вроде бы не заслуживают и ни того, и

ни другого. К слову сказать, на старинных русских иконах о Страшном суде новгородского, кажется, письма есть изображение человека, где он привязан к столбу, помещенному между входами в рай и ад.

Я хотел сказать, что это просто указывает, напоминает человеку, что можно оказаться или там, или там, но промолчал...

– Так вот, – продолжал Арсений Игнатьевич, – на тот случай, когда человек не заслужил ни того, ни другого, ему дается как бы еще один шанс: то ли бессмертие в аду, то ли в раю...

– И что же это за шанс?

– Предлагается снова пройти путь на земле, только уже в другом облике, в другом теле... Скажем, в облике домашнего животного. Ну, к примеру, бывают же у автогонщиков, или на других соревнованиях, так называемые утешительные заезды. Если они их выигрывают, то получают право дальше бороться за призовые места. Вот что-то подобное и с человеком. Да, да, представьте себе...

Фуршет галдел и закусывал. Я пытался представить, но получалось плохо, а «Леверкюн» размышляюще прогуливался и продолжал:

– Вот еще что. Я упустил очень важный нюанс... Душа усопшего человека, вселившись в новое тело – кота, например, стремится поселиться в доме своих родственников. Потомков то есть...

– То есть, душа, скажем, деда может оказаться в доме его внука в виде кота? Или поросенка? – уточнил я и невольно засмеялся.

– Конечно, это выглядит фантастично, – согласился Арсений Игнатьевич, не смутившись. – Тут много вопросов: как котенок, родившийся неизвестно где, может отыскать то, о чем мы говорим? Котят же часто раздают кому угодно, лишь бы взяли, или продают любому. То же и со щенками... Но, во-первых, вовсе не обязательно, что в каждом котенке чья-то человеческая душа, не все люди подвергаются повторному испытанию. А, во-вторых, мы же не знаем, куда улетают души с земли? Не бесследно же исчезают. Даже капля воды превращается в пар... Но самое тяжелое в этом испытании то, что животное знает, что оно в доме своих родственников, а родственники – нет. И не догадываются об этом, – «Леверкюн» произнес это как-то особо, будто и сам только что осознал сказанное.

– Это тяжкое испытание смирением. Ведь с животными же обращаются по-разному!.. А вот дальше что будет, это уж совсем непостижимо. Жизнь ведь великая тайна. Банальные слова, но еще древние говорили: жизнь держится Тайной. Да, можно сказать, и

верой. Но и веруют-то в Тайну, потому что и Рождество Христово было, есть и остается Тайной, – Арсений Игнатьевич что-то явно цитировал: – «не посильной не токмо уму человеков, но и уму ангелов...» Это мы теперь упростили понимание бытия до пошлости. Ни смысла, ни благоговения перед жизнью... Даже непонятно, как же можно жить без аромата таинственности, – и Арсений Игнатьевич сделал плавный жест руками, обволакивая сказанное как бы мыслимым им таинственным туманом...

Размышлял композитор обстоятельно, неторопливо подбирая слова, не обращая никакого внимания на галдеж пьяневших коллег, говорил болезненно-тихим, мягким голосом, в затруднительных местах слегка заикаясь, и не навязывая своих суждений, а как будто размышляя вслух...

– Да, конечно... В сознание человека не вмещается мысль о том, что вселенная, в которой мы рождаемся и живем, кем-то сотворена и жизнь каждого из нас, каждой букашки до последней травинки, ведома Творцу. У нас же с головы и волос не упадет без Его ведома... Жутко, зашкаливает, как говорится, когда душа напрягается, пытаюсь вместить, так же жутко и при мысли о воскресении всех в жизнь вечную! Что это такое? Как?..

Но, согласитесь, ведь еще более несносна мысль о том, что никого, никакого Бога Творца нет. Представьте себе, что нет?! И все обрывается гробом и кладбищем бесследно?! Это же еще жутче. Ведь тогда жизнь просто бессмыслица. А бессмыслица – разве это не самое страшное? Представьте это на каком-нибудь обычном житейском деле. Если оно, вам известно, бессмысленно, разве будете вы его делать?

– Уж слишком невероятно ваше рассуждение, особенно «про котов», – сказал я, предлагая глотнуть из фужеров.

– Так я же и не настаиваю на этом, как на абсолютной истине. Предлагаю поразмыслить... Это не закон... это, скорей, исключение из правил, особый случай...

К теории Арсения Игнатьевича я отнесся все-таки как бы снисходительно и со спорным чувством. Однако на развалившемся под оранжевыми шторами кота стал смотреть с еще большим подозрением: «Уж не тот ли здесь случай? Прямо-таки излучает что-то? Будто действительно все знает безмолвно и усмехается... Не кот, а прямо-таки Париж! Там тоже, куда ни глянь, обязательно что-нибудь да вспомнишь...»

... Помнится, что еще в те годы, когда я только услышал о существовании Парижа, в воображении моем сразу зародилась какая-то солнечная, бурлящая яркими красками картина, и весь город представлялся мне сплошным Монмартром, где все только и делают, что пьют красное вино, рисуют и поют, поют и рисуют, где живут только Сезанн, Модильяни, Писсаро, Моне и Манэ... и Ив Монтан, и Эдит Пьав... и кругом месье, мадам, и всё исключительно учтиво и галантно... И бонжур, тужур, и шерше ля фам... и всё под непрерывный припев: Ля, Пари, ля, Пари...

И хотя я уже давно был достаточно отрезвлен прозой жизни, фантазии эти хранились в воображении, как нечто абсолютно реальное, и не хотелось, чтобы они исчезали...

С ними, хотя и глубоко загнанными в потемки подсознания, я и приземлился в кресле самолета, который долго-долго летел в облаках, наконец, словно выпал из них и покатился по дорожке. В иллюминаторах замелькало что-то серенькое: вроде поля, кустики, деревца, жалобно намокшие... То ли весна, то ли осень? Все было похоже на питерское межсезонье, и мне подумалось, уж не заблудились ли мы, снова оказавшись в Пулкове?... Но в воздухе было что-то иное, не столь развалистое и тяжеловесное, как на берегах Невы...

Потом внутри какой-то прозрачной трубы меня куда-то повезло вверх мимо лабиринта таких же прозрачных труб, в которых тоже ехали... Наконец куда-то высадило, и я оказался в залитом неоновым светом зале ожидания багажа, где было все четко расчерчено и расписано, только совершенно не понятно. И я, стараясь выглядеть непринужденно, пытался сообразить, что? как? где?..

А перед глазами, словно цыгане табором, текли люди всех возрастов – от стариков до младенцев, торчавших из мешков за спинами женщин... Текли, завернувшись в какие-то жаркого цвета одеяния, в сандалиях, с голыми пятками шоколадного цвета, мелькавшими из-под платьев, тоже не очень-то соображавшие, что к чему, но кем-то ведомые и уверенные, и я немножко завидовал их непринужденности, и думал, что передо мной шествует весь Индостан. Еще бы несколько слонов с пальмами, и тогда уж...

Не зная точно, из какого бокса выкатится моя сумочка, я остановился в сторонке, понимая, что самолет не заблудился, и я действительно в Париже, невольно напевая про себя: ля, Пари, ля, Пари...

прикидывая, однако, что буду делать, если Мирослав что-нибудь перепутает, не придет за мной, или просто не найдет меня в этой благоустроенной суматохе...

Надо попробовать разобраться самому, на всякий случай:

– Бокс!? – прочел я слово, написанное знакомыми буквами. – Ага, это по-нашему тоже бокс... Бокс тридцать четыре – стрелка направо. Бокс двадцать пять – стрелка налево. Ага!.. У меня на картонке бокс для нашего рейса тридцать восемь! Ага, значит, мне надо двигаться вправо. Попробую разобраться сам... По-немецки я кое-что понимаю. Правда, с немцами тут... По-французски? Силь ву пле... Это уже кое-что. Ничего, на «эсперанто» как-нибудь объяснюсь. Денег, правда, так себе. Но это тоже – ничего... Даже интересно, как я буду выпутываться, если Мирослав не встретит?!

Что еще подумалось мне в ожидании сумочки с водкой и скромными подарками, об этом даже фантастический сон kota мне не напомнил...

Но Мирослав не забыл, приехал, мы встретились там, где уговаривались по телефону. И под морозящим дождиком, и низким, как в осеннем Петербурге, небом, мы куда-то покатали в его «Митцубиси», довольно быстро оказавшись в сплошном потоке машин разных марок. Однако чаще других перед моими глазами мелькало слово, которое я по-русски прочитывал, как Ренуальт. Наконец, устал читать: Ренуальт, Ренуальт и спросил:

– Мирослав, что это тут у вас за марка машин? Вся Франция ездит на каких-то Ренуальтах? Ну, через одного... У нас теперь больше на «Вольво», «Мерседесах» норовят блеснуть. А такой я вроде и не видел...

– Сам ты Ренуальт! Это – «Рено»!

– Ах, «Рено»!? Это ж – «Рено». Ну, как же это я сразу не сообразил... У проходной этого завода в семидесятые годы будто бы пропагандировал свою философию, кажется, революционного экзистенциализма, сам Сартр... Да, помню писали наши газеты, что он в какой-то фуфаячке. Для шарма, што ли?.. А мне он тогда представлялся похожим на нашего зэка... М-да!.. Значит, это «Рено» едут. Столько букв, а оказывается всего-то – Рено. Ну, и дурак же я, сразу и опозорился. Да, это – Париж!!!

Мы куда-то катили, катили мимо полей с кустиками, ныряя в тоннели. Потом пейзаж начал меняться: дома, переулки, дворцы, монументы: «Ага, вот и начался собственно Париж!»

– Послушай, мне почему-то видится все петербургское? – обронил я Мирославу. – Только у нас все поувесистей, раскинулось все этак, что тебе казак на дороге перед Запорожской Сечью, – поделился я первыми впечатлениями, вспомнив, что он хохол, да еще и с Полтавы.

– Так что же здесь удивительного? – отозвался Мирослав, уже чувствовавший себя местным. – Так Петербург еще болотом был, а в Париже уж мазурки плясали давно. Строили-то кто? На манер...

– Ну, да, конечно, понял, – почему-то огорчился я. – А это что такое с нашими орлами в позолоте? Это что, мост Александра Третьего? Это вот тут когда-то был Русский павильон на Всемирной торгово-промышленной выставке?

– Уи, – отозвался Мирослав, глядя вперед.

– Ты че это? Уи, юи?.. Это значит – иес? Да? Так и говори! А то я могу напомнить, что в 1814 году комендантом Парижа был граф Воронцов... – Мы засмеялись.

– Просто тренируюсь. Сейчас усиленно изучаю французский. Даже водку не пью почти. И по утрам каждый день зарядка в садике. Да, брат, тут за жизнь надо сражаться. А для этого надо держать форму. Оказывается, мы так беспечно жили при... Ну, душили, цензурили... Так и деньги-то кто давал?.. Тут все можно, только и ты никому не нужен... Уи, месье...

– Так и у нас то же грянуло. В Петербурге я уже чувствую себя иностранцем. На улицах озираюсь, втягиваю голову, как на чужбине....

Мирослав кружил переулками, улицами, пробираясь на какое-то шоссе, чтобы ехать в пригородный дом, где жило его французское семейство... Я поглядывал в окна «Митцубиси», пытаюсь увидеть как можно больше, читал на ходу и на перекрестках названия площадей, улиц, надписи на памятниках, все еще удивляясь, что я в Париже, потому что поездке противилось все...

– Рье?..

– Не рье, темнота, а рюэ. Мягче, что ли... Просто – рю...

– Тоже мне Француз!

– Рюэ Хуго?! – продолжал я разбираться. – Хуго? Вроде что-то знакомое? Хм? – Наконец, сообразил. – А!? Это же площадь Виктора Гюго!

В этом я Мирославу не признался...

«Рюэ, рюэ... Оноре де Бальзак... Рюэ Тургенев... Ах, да! Как грустно и приятно... Бунин, Куприн... Где-то тут Тарковский похоронен?.. И

Муллен Руж где-то тут есть? Кажется, это название связано с Тулуз де Лотрек?... Рюэ Людовик...»

– Слушай, Мирослав. Только что мелькнуло название «Людовик». Это случайно не тот Людовик, который когда-то сватался к дочери Ивана Третьего? А княжна отказала: мол, тот Людовик был глуп и невежествен.

– Не знаю...

Еще ни разу не выйдя из машины, я чувствовал себя так, будто уже когда-то давным-давно был в этом городе. Он казался мне чужеродным, и веяло от него чем-то как бы беспечным, легким, вроде как бы поверхностным, но приятно щемящим...

– Во мне, оказывается, столько всего «французского»? – говорю я вслух. – Как ветром нанесло. Ведь точно, что в Париже я впервые, а еще чуть ли не в самолете показалось, что здесь я вроде бывал уже?.. Что-то почти по Платону... Не припоминаете ли вы, говорил он, что иногда вам кажутся знакомыми те места, в которых вы НИКОГДА не были?.. А знаешь, это почему?

– Потому что – Париж, – Мирослав ухмыльнулся.

– Потому что еще до вселения в тело душа уже созерцала сущее! М-да... – Я тоже ухмыльнулся, хотя к Платону относился с глубоким почтением. – Мирослав, а где Сена-то?

– Ты что, не видел? Мутную реку недавно переезжали... Кстати, как раз недалеко от того места, где генерал Чарнота однажды утром проснулся в белых подштанниках. Помнишь «Бег»? Ну, вот. Видел там спуск к воде, каменный такой, как в Петербурге? Вот тут Чарноту и снимали...

– Ладно, видел, не видел. Потом покажешь. Лучше приверни, если можно, к музею Помпиду... Хоть снаружи взглянуть.

– Так вон он. Видишь, впереди угол дома торчит?

– Вижу, такой ядовито-зеленый, что ли? Так приверни, рядом же...

Мирослав почему-то замялся.

– Недалеко, но...

– Что но?

– Да не припарковаться там наверняка. Ты что, не видишь, сплошь машины. Дырки не найдешь...

– Ах, да?.. Действительно.

Что-то с первого момента въезда в центральную часть города удивляло меня, но только после этой реплики осозналось, а в следующие дни и подтвердилось, что на улицах Парижа почти не было

пешеходов. Редко кое-где. Одинокие какие-то. Улицы будто пустые, чистые, как в музее. Вместо толпы сплошь машины едут, но еще больше стоят у тротуаров, словно забытые, или давно брошенные. А люди словно вымерли... И только около кварталов, которые Мирослав назвал, кажется, латинскими, где мы даже вышли, было похоже на оживление и толчею. Но там мне почему-то стало боязно одному.

– Машины стоят, а где люди? Что делают?

– Работают! Служат, деньги делают. А машины их ждут, чтобы вечером увезти домой...

Под вечер следующего дня мы влились в поток машин рядов этап в пять, катившийся в сторону маленького городка уже после рабочего дня. Сен-Мар, тихий, безлюдный, чистенький, весь из особнячков средней руки буржуа, с садиками во дворах, все словно игрушечное, или с рекламных проспектов. Домики, в основном двухэтажные, все были разных цветов, разной планировки, но все будто одинаковые... Когда я вошел в дом новых родственников Мирослава, первой мелькнула мысль: «А как же тут жить-то? Ступить боязно!»

На полах ковры, кругом пластик, цветочки, вазочки, на стенах этюдики, портретики... Боже? Все будто дистиллированное, безупречное, поставленное словно не для жизни, а для осмотра... И в садике такая же безупречно ухоженная травка, бледная еще, маленькие деревца, первые цветочки, и вокруг – тоже ни души, ни криков, ни соседей, хотя они кругом и близко. Только около ворот на улицу стоят большие пакеты с мусором, которые по утрам бесшумно увозит мусорная машина. Ни детишек, идущих в школу, ни собака не взлет, лишь птички чирикают, тоже незримые...

Но оказалось, что жить можно, только иногда хотелось безукоризненность эту слегка поворошить, поперепутать, и как-то по-своему одомашнить...

– Да? – сказал я по поводу парковки у музея Помпиду. – Мне казалось, что в Париже шумно, тесно, крутом поют, рисуют... – Про фантазии насчет «сплошного Монмартра» умолчал. Только аккуратно спросил:

– А Монмартр в какой стороне, если смотреть отсюда, где едем?..

– Ему сразу и Монмартр показывай. Вот поедem по делам, тогда и заглянем. Кстати, он теперь совсем не такой... А, может, и раньше был не такой, как нам мечталось?..

По интонации, с которой Мирослав об этом сообщил, я понял, что проситься туда особенно не буду, тем более в такую петербургскую

погоду. Такой он теперь, или не такой? А если не такой, то тем более туда ехать не надо – пусть он останется таким, каким он, да и весь Париж, чудился издалека: «Ля, Пари... Пари-и-и-ж?! – мечтательно пропел я про себя и, не зная, как объять необъятное, кратко подытожил, – словом, Париж!»...

– А с баронессой мы, кажется, в принципе договорились о встрече. Послезавтра, около пятнадцати. Надо будет еще уточнить по телефону. Не просто это оказалось. Если бы не знакомство Поповского с Гагариными... их сиятельствами, как ты говоришь, вряд ли она бы согласилась.

– Понятно. Хотя что ж такого? Я же, можно сказать, по ее кровному делу.

– Ну, да, конечно, – Мирослав усмехнулся, обернувшись ко мне. – Но «новых» русских побаиваются. Да мало ли что у них на уме?..



«Куда мне до нее, она была в Париже, и сам Марсель Марсо...» – вполголоса и грустно промурлыкал я, откинувшись на спинку заднего сиденья, и ощутил волнение, даже робость...

Слово «барон» почему-то ассоциировалось у меня со старинными германскими замками, толстозадymi конями, рыцарями и напудренными париками, а «баронесса» отдавало еще томностью, напыщенностью и шуршанием платьев, то ли шелковых, то ли бархатных...

Баронесса де... была отчасти потомком древнейшего русского рода, историю которого я начал изучать для работы над киносценарием. С первых же шагов знакомства я был восхищен и размахом деятельности, и огромностью заслуг первых поколений рода перед Русью, и какой-то почти мифической таинственностью этого древа, начиная с истории происхождения. Будто бы, как говорит один летописец, род сей ведет начало от татарского мурзы, изменившего своей вере, перешедшего на службу Московского князя Дмитрия Донского, в одном из сражений попавшего в плен к своим бывшим соплеменникам и застроганного ими за измену...

За выдающуюся деятельность род этотистики сравнивали с

родом Медичей в Италии, называли империей в Российской Империи и, вполне можно сказать, что приведением Сибирского ханства под высокую руку Русского Царя Россия обязана, прежде всего, деятельности этого рода. А, стало быть, и огромностью территории и богатствами ее...

Для меня же особо интересным было то обстоятельство, что знаменитость свою род начал обретать на Севере, рядом с теми местами, где я родился четыре века спустя. Как выяснилось из одного документа, земли эти когда-то принадлежали предкам баронессы, а мои предки, вполне возможно, были жителями этих уездов. Холопами... Ну, а я, стало быть, тоже...

– А почему баронесса де...? – Спросил я, едва выговорив фамилию.
– Де, а не фон? По-немецки лучше «фон»...

– Потому что муж ее, видать, француз. Хотя живет в Лондоне, а она в Париже... Дела требуют так... Да почему я знаю? – ответил Мирослав

– Ладно, не нервничай. А «фон» лучше, легче выговаривать...

Баронесса де ... оказалась совсем не такой, как мне представлялось. Не в бархатных платьях и не томной и величественной, а энергичной деловой женщиной невысокого роста, в короткой, можно сказать, юбчонке... И хотя не очень хорошо говорила по-русски – всерьез родной язык она стала осваивать недавно, – носила фамилию, никак не похожую на русскую, оказалась глубоко русской по духу...

Где-то уже в первые минуты знакомства, выбрав более-менее удобный момент, я сказал:

– Простите меня, Е.. А..., но вы истинно потомок своего древнего рода...

Она ответила держащим на расстоянии наклоном головы, едва заметным, но когда все дела, приведшие меня в Париж, были сделаны, она спросила:

– У вас, как я понимаю, есть жена?.. И у Мирослава тоже? – спросила, слегка картавя и даже произнося какие-то французские слова, пока не находилось русского. – Я правильно понимаю вас? ...Харашо! Тогда я могу... хачу сделать им маленький прэзэнт, падарак от нашей фирмы. Пройдемте, пажалуйста, чуточку туда...

Мы прошли среди зеркал огромного холла, уставленного дорогими стульями и креслами, среди великолепных штор, лепнины «барокко», словом, будто одним из залов Эрмитажа...

Там, куда пригласила баронесса, стояли две молоденькие девушки брюнетки, а на столике, перед которым юные француженки ждали, уже

стояло несколько каких-то шикарных коробочек со знаком фирмы, известной не меньше, чем Пьер Карден. Баронесса сказала:

– Я хачу вашим женам падарить духов?.. Духи, – поправились она. – Выбирайте, пожалуйста!..

Заметив, что мы с Мирославом смутились – и от неожиданного предложения, и еще больше оттого, что совершенно не понимали, как это будет, – баронесса начала помогать нам.

– Извините, я вас немножко спрашу... Вот этими обычно пользуются блондинки, как я, например. А этими – брюнетки. – Баронесса показала разные коробочки. – Вот ваша жена, месье Нарчужанов, она?.. Блондинка? Брюнетка?.. – Опасаясь обидеть «их светлость», я осторожно намекнул, что моя жена чем-то похожа... по крайней мере, цветом волос и, наверное, ей тоже подойдут духи, которыми пользуется баронесса...

– Харашо. Я вас, кажется, поняла, – сказала она. – Но вы попробуйте разные. Поню-хай-те, верно? Здесь три варьянта. Правильно я сказала – варьянта, да? Каждый попробуйте отдельно, – и баронесса на французском что-то пояснила девушкам, внемлюще стоявшим рядом.

– Уи, уи, мадам, – закивали они, и, открыв пробные флаконы, по капельке стали наносить духи на тыльную часть кисти. Потом подавали нам ручку, как бы для поцелуя.

– Пожалуйста, – подсказала баронесса, – подходите...

Процедура пробования, как мне показалось, длилась очень долго.

Помню, что я смущался, может быть, и краснел... Но девушки держали приглашающе-элегантно вытянутые ручки, наблюдая за нами, и мы подходили, прикладываясь то к одной руке, то к другой, а девушки наносили капельки из второго флакона, третьего, все по очереди, и мы опять прикладывались носами, и я помню, что запахи всех «варьянтов» перепутались, я почти их не различал, хотя на лице, видимо, выражалось что-то вроде: «О, да! Шарман!» И видел, что девушки крепились, чтобы не расхохотаться, но баронесса стояла рядом, и они вежливо только улыбались, а потом все же за-смеялись вместе с нами и, кажется, вполне добродушно. И баронесса – тоже. Трудно сказать, что она чувствовала, глядя на нас, потом подсказала:

– Теперь, пожалуйста, выбирайте...

В замешательстве я осторожно опять подтвердил, что моя жена почти блондинка и, наверное, ей подойдет... Баронесса подала мне указанный флакон – «свой» – немножко усмехнулась и сказала:

– Харашо! Я очень довольна, что все так получилось... Я родилась в Бразилии, выросла в Америке, потом еще много что было... Но я никогда не забывала, что я русская и православная... Я рада. Надеюсь, что и ваши жены тоже будут довольны подарком! – Баронесса улыбнулась. – И еще я хачу пригласить опять вас к себе в дом. На обед. Мы по-русски немножко пообедаем... Пардон. Нет, по-русски, кажется, будет лучше сказать: от-о-бедаем! Правильно я сказала?

– Уи, да. Отобедаем. Это значительнее звучит...

– Мерси. Бьян мерси. Спасибо...

Стол был накрыт в квартире баронессы, где-то в центре Парижа. На нем было много чего-то, с какими-то большими пирогами в центре стола, бросившимися сразу в глаза, – как оказалось, кулебяками с капустой и мясом, и, что самое страшное для меня – аккуратной россыпью столовых приборов из серебра по обеим сторонам тарелок.

«Помилуй, Боже!» – невольно подумал я. «Как бы это незаметно сообразить, что чем тут «хлебают»?

Когда все уселись, баронесса подошла к столу и спросила:

– Вы какое вино предпочитаете? Красное или белое?

Спросила, кивнув на графины, стоявшие на краях стола. Мы не нашли, как ответить: вроде, чего ж тут, любое пойдет...

Не услышав ответа, баронесса села на свой стул. Сзади меня безмолвно стоял то ли китаец, то ли сингапурец, служивший в доме баронессы, еще при входе проницательно наблюдавший за нашим появлением из глубины коридора, выходившего в прихожую...

Безмолвие его излучало мне прямо в затылок что-то похожее на презрение.

Напротив за столом сидела в строгом нарядном платье темного цвета очень пожилая мать баронессы с длинным жемчужным ожерельем на груди – княгиня К. А...

– Предпочитаем то, которое ближе, – усмехнувшись, ответил Мирослав. Мне его ответ понравился. Хозяйева сделали вид, что не расслышали его...

Около входной двери в «Кафе-кулинария» послышалась какая-то возня. Я обернулся...

Мужик с кочаном капусты, болтавшимся в сетке, – на руке, сунутой в карман куртки, – протиснулся в дверь незадолго до закрытия. Видно было, чтобы быстренько прихватить что-нибудь занюхать, но, увидев кота, вдруг остолбенел:

– Это че такое?! Уж не врезал ли мне кто? Искры из глаз! Во, дает, падла! Мы тут гланды рвем друг другу, крутимся! А он развалился, как...

Не найдя, с чем сравнить спавшего кота, мужик двинулся к нему с явным желанием закатить пинка.

– Не трогай его! – не громко, но внушительно сказал я.

Мужик остановился и подсел ко мне на свободный стул напротив.

– Ты че? Это что – твой!?

– Неважно. Он что, тебе мешает?

– Не мешает, но... что-то мне в нем не нравится!? – пояснил мужик, процедив слегка сквозь зубы, но в драку не полез, а повернулся на стуле, вытянул голову и уставился на кота.

– Хм? Ты посмотри на него! Ведь это ж надо так развалиться! А?!

– Я уже скоро час, как смотрю.

– Ну и что скажешь?

– Уже Бог знает сколько всего передумал и перевспоминал, но ответить на твой вопрос не берусь. Это не кот!..

– Не морочь голову. Сейчас как поддам ему, сразу котом станет!

– Хорошо, кот, только особый. И я его, кажется, знаю... Вот не скажешь ли ты, может взрослый кот обидеться и уйти из дома, когда в доме рождается маленький ребенок? Девочка в частности...

– Такого не слышал. Но сейчас скажу, чем он меня разозлил! – ответил мужик и прищурился, вперив взгляд в кота: что-то хмыкал, бормотал про себя, а потом придвинулся ко мне и почти заговорщическим шепотом спросил:

– Ты знаешь, что он излучает?

– Я же сказал... Самого то восхищение, то зависть терзают. Не понимаю отчего...

– Во! А я сейчас понял! Я поэтому и захотел его сразу же пнуть. – Мужик придвинулся ко мне еще ближе лицом, опавшим легким перегарчиком, вдруг снова откинулся: – Стоп! Дай еще взгляну... Теперь слушай! – и поманил уже меня придвинуться.

Я продолжал сидеть, откинувшись на спинку стула. Тогда мужик налег на стол сам:

– Понял! Он излучает презрение! Да, точно! Посмотри сам. Он всех нас презирает! Ты смотри, как он лежит, собака!?..

И мужик почему-то расхохотался...

– Интересная мысль, – сказал я и решил задать вопрос, который вдруг, кажется впервые, возник у меня. – То, что животные нас любят, или не любят – это, вроде, обычно. Но вот – презирать? На это, мне кажется, только люди способны. Что же, выходит, и собаки, и даже медведи в лесу – тоже?..

– Не знаю... А этот – точно презирает!..

– А за что?..

– Ну, ты дурак! Ты что, телевизора не смотришь? Ты посмотри, до чего мы докатились?! Ты сам-то кто?..

– Отребье общества, – молча ответил я.

И мужик опять расхохотался...

Несколько человек еще толкались около опустевших прилавков, кассирша пересчитывала выручку, сверяла чеки. Двое подростков долизывали мороженое, когда в зале появилась уборщица со шваброй...

Впрочем, слово уборщица к ней не подходило. Это была маленькая старушка, полненькая, курносенькая, одетая в чистый белый халатик с клеенчатым передником, и в платочке... Вообще, вся какая-то кругленькая. Из лабиринта подсобных помещений кулинарии она не вышла, а будто выкатилась, ступая ногами, обутыми в черные валеночки на резиновой подошве, с пятки на носок... Старушка была больше похожа на няню, чем на уборщицу. В ней угадывалась деревенская девушка, некогда приехавшая в Питер наниматься в горничные к господам, и в горничных она будто прослужила до старости, не утратив ни простоты, ни прежнего деревенского добродушия...

Оставив швабру в углу, она обошла столики, собрала последние чашечки из-под мороженого, пластмассовые полосатые стаканчики с остатками бумажных салфеток и унесла все в моечную. Вернулась она, также катясь, прошла между столиками еще раз, подбирая бумажки, встретила мой взгляд и сказала:

– Сидите, сидите. Не беспокойтесь. Я ваш столик уберу последним... У меня еще есть что делать, – и начала переворачивать стулья, опрокидывая их на столешницы вверх ножками. Укладывала ровно, аккуратно, так что столики становились похожими на ежей, свернувшихся друг подле друга. Наконец, взяла швабру и стала выметать углы. Около кота остановилась:

– Ты что, окаянненький, этак развалился сегодня!? Фу-ты, ей-богу!? Живой, аль улетел куда-то? – сказала она, выметая мусор из-под

батарей. – Вставай, миленький, пора... Я бы тебя тут оставила, да директор не разрешает на ночь...

Я усмехнулся, вспомнив, как когда-то пробирался на ночлег в студенческое общежитие, выжидая на улице момент, когда комендантша, с бельмом на глазу и голосом бандерши, уйдет хоть на минутку от проходной. Ждал, приплясывая в тоненьком рыжем пальтишке на сорокаградусном морозе, и если прошмыгнуть не удавалось, комендантша на все уговоры отвечала: «Ректор Хруменков запретил пускать на ночь посторонних!.. Да, я знаю, что ты учился, знаю, что сейчас в академическом отпуске и по болезни. Знаю! А Хруменков запретил!» – непререкаемо и почтительно твердила она, коверкая фамилию: Хруменков вместо Фруменков...

Я пересел с остатками кофе в чашечке за столик поближе и спросил:

– Давно у вас этот кот?

– Не скажу вам. Когда я нанялась, он уже тут был. Говорят, пришел откуда-то. То ли из дому выгнали, то ли сам ушел. Теперь вот греется около нас. А другой день, бывает, и не приходит...

– А почему вы его окаянненьким назвали?

– Да так, подвернулось слово... Слыхала, раньше старые люди говаривали. Которые Писание читали... – Она остановилась, перестав мести. – А потом, если посмотреть, так все мы окайные нынче. А говорят, будто вместе с нами и всякая живность и скотина мается...

Мне подумалось, что и эта добродушная старушка сорвется сейчас в обличительство, но она уже как бы про себя обронила:

– А скотина, что ж? Только что безвинна... – Няня слегка ударила шваброй по батарее снизу. – Вставай, странник! Перед смертью, как говорят, не надышишься. Пора...

Кот, наконец,отреагировал. Он приоткрыл глаза, приподнял голову, посмотрел на уборщицу, взглядом будто сказал: «Знаю. Но еще есть время. Вон кто-то еще сидит», – и снова откинулся на бок, опять словно затонув.

Старушка замела кучку мусора на совок, унесла ее, вернулась со шваброй, обмотанной мокрой тряпкой, и уже более решительно подошла к батарее.

– Ну, все, миленький. Уходи теперь.

Оскорбления шваброй кот дожидаться не стал. Подняв голову, он повернулся в сторону зала, увидев его утыканным щетиной

перевернутых стульев, и будто сказал себе: «Да, теперь точно пора!» – опять сгорбился гусеницей, бесшумно стек с батареи на пол, уныло взглянул в сторону подсобных помещений за буфетами и, встав головой к выходу, сказал: «Отворяй! Я готов!»

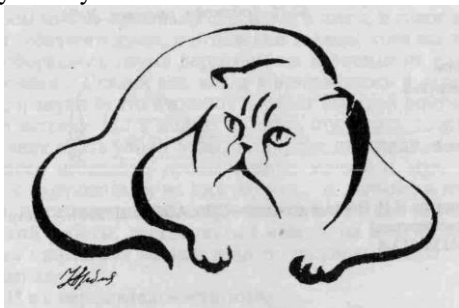
Старушка приоткрыла дверину. Опять стелющееся кот переплыл невысокий порог, словно накат волны через камень, и исчез за дверью...

– Ну, а теперь уж и вам пора, молодой человек. Мне уже ничего не осталось делать...

– Да. Спасибо вам...

На улице было все так же ненастно, пустынно и мутно. Моросил мелкий дождик. Даже и не дождик, а бусенец, так что было трудно различить, где земля, а где облака и небо, из которых сыпалась мелкая пыль, в которой вязли огни фонарей.

Я потоптался в нерешительности и, втянув голову в приподнятый воротник плаща, нехотя и перегруженно поплелся через дорогу к дому напротив, в морозящей мути тоже казавшемся без стен и обозначававшемся лишь разноцветными огнями люстр, висевших в воздухе... Плелся, пытаясь упорядочить хаос толкавшихся между собой мыслей, среди которого запомнилась лишь одна, совершенно не вытекавшая из размышлений, а выпавшая откуда-то: «Человеку некуда идти. Ему надо искать одну дорогу – к Богу. Все остальные искания – соблазны». Выпала и будто осталась позади, отстала, уступив место усмешке, вызванной предположением о возобновлении прерванного разговора с женой. Мне подумалось, что вот только я открою дверь и войду в квартиру, она иронически спросит: «Ну, что, в мавзолее решил не оставаться? Домой потянуло?» А я на это отвечу: «Ага, там места нет. Занято». И опять усмехнусь...



ОСВОЕНИЕ РЕМЕСЛА

ЛИСТКИ ИЗ НЕНАПИСАННОГО РОМАНА



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

... Уже далеко за полночь, почти в момент угасания, ему послышалась фраза: "еще не осень, даже не август, идет июль, самый разгар лета...", которая утром, едва вернулось сознание, сразу же застучала в мозгу, словно навязывая себя в новое начало, в первые строчки какой-то неведомой запутанной картины, чудившейся ему.

И Черноков то отбивался от назойливо вертевшихся слов, то пытался оценить фразу, чувствуя в ней ту самую *распутницу* сюжета, терзавшего его после того, давно закончившегося лета...

И он топтался около стола с раскрытой машинкой, слыша шуршание тапочек по линолеуму (оказывается, громкое), слонялся из комнаты в кухню, заваривая чай и вытряхивая окурки, под ритмически повторяющийся шум трамваев за окном слушая по памяти, как тихо должно быть сейчас в деревне, вспоминая свой дом, тёток, разговоры, поездку в Нарчук и опять не мог решиться сделать первый шаг: начать ли с этой фразы, будто подсказанной кем-то, или приберечь её впрок – есть ли в ней что-то?... пока вдруг не заметил, что на полке с книгами, где обычно лежала стопка чистой бумаги, чего-то не хватает...

Осознал – бумаги... Взвился мгновенно: "Опять!? Куда же ОНА её убрала?!" Сунулся в ящик стола – нет. В другой – нет.

Огляделся, даже под крышку расстроенного пианино заглянул – нет...

И готовый взорваться от раздражения и досады, вдруг так же мгновенно почти с облегчением подумал: "Как хорошо! Слава Богу, что нет бумаги. Писать не на чем. Это знак. Значит, сегодня начинать не надо... И вообще, лучше ничего не начинать, не мучаться, не сыпать соль на ... Пережить как-нибудь приступы воспоминаний о том лете, а потом уехать в экспедицию, всё забыть, стереть и жить как ни в чем не бывало..."

И снова начал шарить руками в ящиках стола, отыскивая бумагу, и найдя её в нижнем ящике, выложил на привычное место, ещё раз раздраженно мысленно попрекнув жену: "Опять что-то переустраивала!? Порядок наводила. Революционерка!.. А вечером будет доказывать, что хотела сделать, как лучше..."

И на волне раздражения ему вдруг послышался голос матери, то плачущий, то почти яростный: "Нет, не зря сказано! Не зря: ни один волос с вашей головы не падёт без Моего ведома. даже волос!"

А вы теперь думаете, что всем сами правите и управите. Всем правите, так вот сделайте-ко погоду. Шибко оно, христовое, ведро-то надо сейчас. Вон трава стоит – давно косить пора. Не выставим сена-то, так чем колхозных коров-то кормить? Опять солому собирать по району, как в прошлом году?.. Раз все такие умные, на ракетах летаете, на Луну, говорят, сажались..." Потом, не прекращая греметь ведрами возле печки, выходя из избы в хлев или кладовку и мысленно что-то пробегая, продолжает: "Легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому в царство небесное! Вот как сказано! А мы теперь только об одном и думаем, что о богатстве... У всех книжки ломятся от денег, машины, матациклы у каждого, а всё мало, всё хапаем... Вон у нашего Минакия, у дяди-то твоего, сам, поди, забыл, сколько тысяч, а с утра до вечера всё пластается на сенокосе, пенсия больше сотни. На свою корову сена наставил – осунулся, а ещё и на колхоз бежит варанкает... Ой, да не шуми, Фёклушка, не восставай за него. Никакой нужды нет. Эстолько-то механизму в колхозе! Он ведь сам говорит: то, чего он раньше на одном тракторе делал, теперь десятером пашут... Как настоящее-то работать, так и молодым-то теперь делать нечего. Они на поле-то выедут, а пятачку-то уж им отдай. И отдают... Вон Фаня Стафийкин с кулаками к бригадиру: чё мало выписал? А сами чего наработали?.. Спроси-ко у Бригадира, у Зосимы спроси-ко, как они лежневку строят?..."

От голоса матери, прозвучавшего словно наяву, в душе выпала ядовитая капля жалости и презрения к самому себе: "Я всё предал, даже детство"; попытался оправдаться, но вместо этого вспомнилось, как по вечерам всхлипывала мать, стоя на коленях перед иконами и прося прощения...

И, как обычно, робея перед белым листом бумаги, Черноков нехотя вложил его за валик пишущей машинки, и тут же с досадой, как от зубной боли, сказал себе вслух, словно отдал приказ: "Надо шагнуть! А там видно будет..."

... И оттого, что всю предшествовавшую отъезду неделю погода была солнечной, и оттого, что и день отъезда был жаркий, вечером весь город был словно раскален: и стены домов, и асфальт, и воздух... А переполненный вокзал, переживавший начало разгара курортного сезона, и даже привокзальные улицы выглядели кипевшими... потоки людей текли в разные стороны: студенты, туристы, интуристы, просто неохваченные никакой организацией граждане, просто дачники... Уезжали, приезжали, ждали, столпившись на площадках перед началом платформ, и когда объявляли посадку на очередной поезд, истомленная духотой и ожиданием толпа, заплетаясь в сумках, чемоданах, суетливо и тесно втекала в русла платформ, огражденных в начале чугунными барьерами, – мне казалось, словно косяки разной рыбы ломились в потоки, речки и ручьи во время уже нестерпимого назревшего нереста...

В отличие от разных фирменных поездов и высокомерно вежливых лощеных "Красных стрел", ходивших исключительно между двумя столицами, и потому воспитанно терпевших и жару и духоту, поезд, у которого мы с женой остановились где-то около середины платформы, напоминал рассоловевшего мужика, рукавом рубахи утиравшего вспотевший лоб, и, не скрывая своего нежелания ехать куда-то (подремать бы в холодке), хоть и добродушно, но ворчал: "Да ладно, давай, ребята, вали, пока пускают. Подвезу, тью-тью, на Воркутю... А ты, тетка, колбасу-то затолкни поглубже в сумку, опрокинется через край, где такую дубину отхватила?.. А ты ребенка за руку возьми, вишь, народу налипло, как мух... для мешков-то наняла бы носильщика... А ты, парень, не размахивай руками, не расщеперивайся, раз билет не нашего числа, надо было в кассе посмотреть... А вы?... О! С таким важным чемоданом вам бы в Москву разгонять тоску, но, пожалуйста, проходите и на Воркутю..." И поезд подымливал "грибками" на крышах вагонов, словно покуривал перед дорогой...

– Я пойду, Черноков. Не будем дожидаться воздушных поцелуев в вагонное окно.

– Ну, пока, – согласился я, а она сказала, что ей не понравилось, как я её поцеловал:

– Без нежности, – и, заметив мое раздражение, тут же отрекалась.

– Ну, что ты занервничал сразу? Пошутила я, – и когда на перроне соседи по вагону начали страстно обниматься, прощаясь будто навсегда, пошла в сторону вокзала. – Телеграмму я дам. Пока, Черноков,

– оставив после себя впечатление искренней улыбки и... все-таки явного недовольства...

Я пожал плечами, выражая этим и досаду, и в то же время признание её правоты: "А действительно получилось без нежности". Постоял, наблюдая, как она обходит пассажиров, шедших ей навстречу к поезду соседней платформы: "Какая она все-таки?.. – не сразу нашел слова – непреклонная, что ли? – упругая женщина. А походка? Не идет – несёт себя. И зачем только судьба свела нас на том перекрёстке?... "

Я опять взглянул вслед уходившей жене, еще раз мелькнувшей среди толпы с явно приподнятой головкой, подумал: "Что-то опасное в ней, как лезвие..." Грустно постоял в одиночестве, быстро как-то унырнув в самого себя, и когда поезд, лязгнув сцеплениями, покатился, шагнул в тамбур вагона мимо проводника с крапинками пота на лбу, державшего в руке закопченный красный флажок...

... И сначала плавно, а потом, по мере нарастания скорости, все быстрее и быстрее за поездом, летя над верхушками деревьев, гналось окруженное маревом вечернее солнце, а когда поезд в поворотах выгибался дугой, будто бежало наперерез. Бежало, то скрываясь за лесом, то снова выскакивало над ним, и не отставало, но и не приближалось, будто несло беспечно, никуда. И ликовало, восторгаясь самим процессом бега, расцепляясь вокруг периметра короткими, играющими лучами, и бежало, бежало, казалось, что взახлеб... Потом стало реже выскакивать из-за верхушек елей – лес становился выше, а оно будто оседало, потом, то ли наигравшись, утолив жажду бега, то ли устав гнаться, упало за лес насовсем...

Вскоре воздух, влетающий в окно тамбура, стал уже прохладней, а свет за окном тусклее, словно стал сдержанней, севернее... И я почувствовал, как в душе, постепенно нарастая, появилось какое-то непонятно откуда родившееся ликование, и только потом понял, что среди лиственных лесов и кустарников, видневшихся за окном в начале дороги, все чаще замелькал ельник, и лес почти точно стал напоминать тот, который с детства окружал меня каждый день. И тело, видимо, всеми клеточками с младенчества впитывавшее действие этого пейзажа, теперь теми же клеточками чутко улавливало оттенки и знакомые черты, и, узнавая в них свое сокровенное, долго страдавшее в нелюбимой среде асфальта, камня, железа и грохота, ликовало, не спрашивая меня, не считаясь ни с моим настроением, ни с моими житейскими заботами и тревожными предчувствиями....

После умывания, когда я снова вышел в тамбур, за окном был свежеевыкошенный косогор, кажется, даже через окно пахнувший ароматами всех трав, а на середину его будто упала большая ворона, подпрыгнувшая как мячик, и важно, по-хозяйски, поглядела вслед поезду. "Вот и началась моя местность", подумалось мне...

К полуночи, когда за окнами и в самих вагонах стало прохладней, все постепенно улеглись спать. Поезд, устало позевывавший на вокзале, словно взбодрился от ночной прохлады и довольно быстро с охотцей бежал будто б он один, сам по себе, как лошадь, которой ямщик отпустил поводья, уверенный в том, что дорогу домой она знает не хуже его, и через полтора суток, поскрипывая изрядно расхлябанными "суставами", прикатил к своей последней остановке...

На станции, пестревшей цыганами, сколько мне помнится, всегда почему-то любившими кочевать по югу севера, я пересел на пригородный, собравший в своих затертых купе помимо дальних пассажиров еще и путевых рабочих, ягольников, грибников... Обязанный останавливаться у каждого столба, а то и прямо среди дороги, где не было видно ничего, кроме леса, этот шел как настоящий пешеход, будто вразвалочку, лязгал, скрипел, изображая усердие. Лишь иногда, на более длинных перегонах, набирал скорость, словно забывшись – как скорый, – но тут же спохватывался и опять начинал ворчливо скрипеть тормозами, недовольный, что его одергивают:

"Вот только разбежался, хотел тряхнуть стариной. Не дают, не дают!..."

Он еще только притормаживал, приближаясь к нужному мне полустанку Шобья, а пассажиры, приготовив багаж, уже висели на подножках, держась свободной рукой за поручень, и как только заскрипели тормоза, один за другим посыпались под откос. Бежали в сторону маленького желтенького домика, под крышей которого, щурясь, горела электрическая лампочка, освещающая дощечку с названием станции. Начало цепочки быстро заворачивало за домик. В конце ее, торопясь, трусили две бабы и старуха в возрасте моей матери, которая испуганно отказалась от моей помощи.

– Ште ты? Посередь-то ночи! – хотя вид у меня вроде бы был вполне благонадежный. – Я уж сама доволоку, не тяжел мешочек-то...

Последний ночной автобус ждал в потемках между домом и густым ельником, близко примыкавшим к станции, светясь только кабиной

водителя, – будто тлел. Потом вспыхнул весь, пока в него взбирались запыхавшиеся пассажиры, потом опять погас, оставив только красные дорожные огоньки и фары, выхватывавшие в летней ночи гравий на дороге, песок, сосновые боры, иногда тропинки, отраставшие с обочины в лес, едва узнаваемые тележницы, кое-где еще заметные... трубы строящегося неподалеку от станции газопровода с Крайнего севера.

Километров через пятнадцать пошли деревни, в которых оставались то по одному, то по несколько человек. Осмотревши тропинку, они уходили в сумерки белой ночи, в сторону силуэтами видневшихся домов, оставив в салоне на некоторое время звуки случайных, не-охотных разговоров, которые быстро выветривались – словно их и не было.

По пути, длиной в пятьдесят километров, автобус обронил на коротких остановках больше половины севших на станции, и в райцентр привез маленькую кучку людей, собравшихся поближе к кабине, где меньше трясло, но ехавшую совсем молчаливо, как одинокий человек; то ли всем хотелось спать, то ли у всех были свои думы, не пересекавшиеся с другими. Багаж оставшихся, кроме моего рюкзака, состоял из "дипломатов" – патефончиков, как выразилась на станции старушка, – портфелей, модных сумок и двух чемоданов, стоявших в проходах и покачивавшихся на ухабах...

Остановившись ночевать в районной гостинице, я записал: "Быстрой стала езда, иной... Раньше для жителей этих мест дорога была событием, к которому готовились заранее, волновались, прикидывали. Молча езды не получалось. Оказавшись в дороге рядом, попутчиками, вскоре уже знали всю родословную друг друга, кто откуда, из какой деревни, кто куда выходил замуж или откуда брал жену – не женился, а брал – так что выяснялось в конце концов, что сосед с какой-то хоть дальней стороны, но почти родня. В дорогах я не раз замечал раньше такие "открытия" разговаривавшихся попутчиков: "У-у, так вот как, парень, оказывается. Из одного блюда суп хлебали"...

Теперь тем людям уже за семьдесят, ездят они редко, а если случается нужда, среди незнакомых тоже привыкают помалкивать. Коренных жителей везде разбавили приезжим и проезжим людом, и стало их словно меньше.

Как-то невольно думалось у автобусного окошка, за которым от скорости все только мелькало, что раньше человек имел точный адрес: жил в деревне Дресвянка, Березовце, Нылоге, Кочнихе, в лесопункте

Нарчуг, в районцентре Ильинское. Теперь, оставаясь приписанным к этим же населенным пунктам, живет будто в дороге. Течет. Во всяком случае, сам себе я представлялся после оседлого детства в глухомани постоянно едущим. Вот только куда?..

Развернувшись на небольшой площадке около столовой и старой осыпавшейся на углах церкви, превращенной в автовокзал, автобус как-то торопливо остановился, будто только притормозил, раздвинув одну переднюю дверь, чтобы дать выскочить, и опять погасил свет; уркнув мотором, нырнул под крутой угор, мелькнув еще раз красными огоньками уже на противоположном склоне оврага с маленьким ручейком, называвшимся почему-то речкой Горожанкой, и исчез в морозящих мелким, редким дождем в сумерках летней ночи.

Быстро исчезли и пассажиры. Отошли растянутой цепочкой, от которой по пути стали отделяться, как сучки от ствола, одинокие фигуры; утихали, удаляясь, шаги, фигуры превращались в силуэты, терявшиеся в проулках между домами.

Был третий час ночи, мягко, облачно, полусветло и полумнительно грустно.

Я посмотрел на небо, ощутив несколько капелек дождя, крапнувших на лицо, заложил рюкзак одной лямкой за плечо, огляделся. Хотелось пойти к первому попавшемуся дому, постучать в окошко, услышать сонный голос хозяина или хозяйки: "Кто там, крещеный?" – и попроситься на ночлег. Вспомнилось, потому что мать так же спрашивала, когда кто-нибудь поздно, в осенних потемках, стучался в наш дом в Нарчуге...

Дверь деревянной гостиницы с крышей, прогнувшейся как спина заезженной лошади, вопреки моим предположениям, была не заперта, даже открыта настежь, и вход тускло освещался лампочкой изнутри. Три крашенных ступеньки вышагнули на тесную площадку в полдесяток половиц. Прямо темнел вход в коридор первого этажа, из которого справа доносился храп, и с обеих сторон тянуло острым нашатырным запахом отсыревших туалетов.

Дремавшая дежурная виднелась расчесанной на пробор головой за маленьким окошечком, как из ямки. Услышав скрип, она приподняла голову, – увидев меня, начала нехотя как бы приходить в сознание. Поправила платок на плечах, взглянула дремлюще-любопытно и приосанилась для служебного разговора. Это была пожилая

деревенская баба, и получалось у нее это неумело-забавно. Мне казалось, ей хотелось бы уже спросить первой:

"Ну, чего, парень, начевать пришел?" – или что-то в этом роде. Но она ждала моих слов, блудя официальное положение.

– Здравствуйте, – сказал я, улыбаясь, и простодушно добавил: – Поспать охота. Пустите-ко до утра.

Сразу же было видно, что она отметила знакомые ей обороты речи, но взглянула еще раз мне в лицо. – "Не, парень, ты мне голову не морочь, вижу, что городской, дальний, не наш брат" – и ответила:

– Здравствуйте, – подумала. – Так давайте тогда паспорт или какой документ.

И я опять отметил, что почти заставила себя произнести "так? а не "дак", и "давайте" вместо "давай", и "или" вместо "ли". И здравствуйте-ко, и проходите-ко было у нее почти на языке.

Я достал паспорт, положил для поддержки служебное удостоверение (а вдруг все-таки свободных коек нет! Посмотрит документ из любопытства и скажет – нету местов, – русский характер трудно предсказуем), и, облокотившись на полочку перед дыркой, в которую можно было всунуть лишь маленький чугунок; стал наблюдать за ней.

Она протянула руку, привстав со стула, взглянула на красную книжечку, губами вроде шепнула окончание слова, выведенного на обложке "...фильм", отреагировала безразлично, отложила в сторону и взяла паспорт. Открыла, неторопливо полистала, будто ощупывая документ, вернулась на страницу с фамилией, озадаченно взглянула на фотографию, опять на меня. "Да, да, верно ты предполагаешь", – подумал я, видя ее сомнения. И не торопил, тем более не раздражался ее медлительностью, узнавая в ее поведении людей, среди которых прошло мое детство. Изучая документ, она будто уж и забыла про меня, а потом, медленно всплывая, рассудила:

– По фамилии-то ты... вы... вроде от нас будете?

– Да, от вас, – ответил я, поймав себя на раздвоенном чувстве: откуда я? действительно, от вас? или?.. – и поправился: – Не от вас, а от нас.

Она тихо усмехнулась.

– А по обличью-то, по лицу вас не скоро теперь признаешь нашо-ва-то. Черноков Егор Никифорович – все здешнее. А откудов родом-то? – спросила она, хотя держала паспорт, открытый на той странице, где было написано и год, и место рождения.

И тут опять смутился я сам. Откуда? Теперь надо в архивах справляться, да и то, может уж не найдешь. Разорили место – и вычеркнули. Волки теперь, говорят, прижились там.

– Не знаю, – ответил я, готовый вдруг разоткровенничаться от приступа боли, поселившейся в душе после закрытия поселка. – Одно название осталось. Пишу в гостиничных анкетах – родился в Нарчугском лесопункте.

– Я вот и сама читаю. В Нарчуге родился, а его уж поди лет семь как закрыли. Тут к нам нарчужан-то много переехало. Тосковали, говорят, первые годы. Да и теперь тоскуют.

– Ага... От Нарчуга остались холмики с лебедой, несколько старых прясел еще держатся, да обломки нашего хлева. Вместо избушки. Вся и родина... На могилу езжу...

– А дом-то где? – помолчав от неловкости, спросила дежурная.

– Дом перевезли в Рекрутино. Там живут мать с отцом. Мама и родом оттуда, отец селянец – охотник...

– Вот я и вижу, фамилия-то не рекрутинская. Я сама-то из Павловска, Анной зовут. Рекрутино-то раньше богата была деревня, славилась в районе, самые первые электричеством обзавелись. Станция была на колхозные деньги куплена. Где-то близко после войны сразу. Широко жили, – дежурная засмеялась. – Частушку любили: "Эх, гуляйте-ко, рекрутики, гуляйте, рекрута. А сами знаете, рекрутики, поедете куда!

– Знаю. Помню, к бабушке приезжал гостить... Дед тогда еще был жив. Сидел под образами в углу, борода, стрижен в кружок, – прямо святой. – Я усмехнулся, замолчал, а Анна, как потом я узнал, Клавдиевна, продолжая свою мысль, добавила:

– А потом пошли объединять всех в кучу, все деревни одинаковы стали. Порастерялись. Когда сами по себе, так гордось была, ште бы не хуже других... Да-а, а как ино? Ну, так ладно, давай, Егор Никифорович, заполни анкетку-то все равно, хоть и все теперь про тебя знаю. Есть одна коечка свободна, сначала думала, дать или не дать. Какой человек?..

Она подала в окошечко листок, сама открыла "амбарную" книгу, чтобы записать меня еще и туда, и вспомнила, пока я заполнял анкетку:

– Зосима Сергеевич еще первым электриком был в Рекрутине-то. По матери он родня дальняя. Да не гостимся теперь.

– Знаю его хорошо. Бригадирит. – Отозвался я, уткнувшись в бумажку, выписывая место рождения... опять с подступившим к горлу комком.

– Налево по коридорчику, давай, пройдите. Третьи двери. Любую из двух занимайте.

– А сказала одна кочка только?..

Анна Клавдиевна лукаво рассмеялась:

– Две оказалось... Старовата, память-то не шибко...

– Ладно. Мне часов до двух дня. Спокойной ночи.

Дежурная уковывляла в свою каморку, а я, вертясь на узкой койке, которая, пружиня сеткой, норовила скинуть на пол, долго не мог уснуть. Потом взял записную тетрадь, чтобы набросать в неё разговор с гостиничной дежурной, листая её, прочел когда-то давно сделанную запись, начало чего-то недописанного:

«... Он еще рос, строился, рожал, люто работал в лесу, обзаведясь мощными тракторами и машинами, выпивал, – не от безделья, а от тяжелой работы, – когда ему начали предрекать гибель. На первый слух поселок отреагировал негромкими разговорами. А молодые, крепкие тогда мужики, решительно: "Болтовня. Нас самих скорее под крышку заколотят. На наш век лесу хватит"... И потом года на два всё успокоилось. Лишь в сердцах укоренившихся здесь старух, особо чутких на всякие перемены, весть эта запала в душе и время от времени отзывалась озабоченностью:

"Раз булькнуло, значит, что-то где-то упало. Неужель под старость с кола начинать придется?... Ой, не приведи Господи. Тут теперь ведь все уж облежалось, нашло место. Приехали первыми в лес, к одной избушке, спали вповалку, голыми руками пни корчевали под каждую грядку, на себе и лес волочили для барака, вместо лошадей. В колхозе-то не шибко давали, их и там не хватало. А теперь сызнова всё перебирать да перевозить... Ой, и не говори, Милодорка, не бай лучше. Ой, не приведи"...

Старость оказалась то ли боязливей, то ли дальновидней беззаботной молодости. На третий год после первых слухов вышел приказ. Помню, как отец написал в письме: "А лесопункт наш Нарчуг решили закрыть окончательно", – как всегда, пропуская мягкий знак, если дело касалось чего-то решенного. – Последний год дали на переезды всем. Так что ты, Егор, приезжай перевозить дом срочно. Как сообщишь точную дату твоего приезда, так я сразу скажу начальству,

когда понадобятся лесовозы. Мне, как инвалиду, пенсионеру и участнику войны, дадут даже бесплатно. Только заранее предупредить. Вот так, все хорошо. Чего поделаешь. Мать все плачет, да причитает. Мне бы тоже, с переездом связываться, сам знаешь... да никуда не ускочишь.

Давай, приезжайте оба с Виталием дом родной разбирать да перевозить в деревню да опять строиться..."

Я написал отцу ответ, назначив день, когда прилечу, но, из-за нелетной погоды, задержался на сутки. АН-2 пролетал над Нарчугом, когда дом уже разбирали, и садился в двадцати километрах, откуда можно было подъехать на лесовозе. Была роскошная мартовская погода, морозная и солнечная. Летели низко, можно было разглядеть даже собак, синели леса, ослепительно искрились сугробы. Я видел из окна самолета, как разбирали крышу. Пишу и, как и тогда, сжимает горло, будто меня душат. Тёсу уже не было, его стянули, он упирался концами в землю, стропила с режью выглядели скелетом. Глядя на это, мне хотелось закричать пилотам, чтобы они или сели тут, или выпустили меня. Мне казалось, что это не просто дом разбирают, а будто мне рубят ноги, выкорчевывают корни, что нигде в другом месте мне больше не прорасти. И когда самолет стал уходить влево и удаляться, я уткнулся в ладони... И очнулся будто в тот момент, когда лесовоз высадил меня в поселке, и дом, разобранный по бревнышку, уже уложен был на тракторные волокуши, накрыт сверху тёсом крыши, увязан веревками и казался покойником, которого сейчас повезут на кладбище.

– Вот, дитя, не успел, – обронила мать, кукаясь глазами, и я отошел в сторонку, чтобы не заплакать у нее на виду.

– Ничего, все ладно. Мужики помогли разобрать, еще хватит работы и тебе. Завтра уж поднимать будем в деревне, пока погода хорошая, – сказал отец и тоже хмыкнул, чтобы не всплакнуть. А от него, бывало, слезы не дожدهшься...

Потом всю неделю с сумерек до потемок я, отец, брат, дядя по матери Минакий снова складывали дом, тяжело уставая. К вечеру последнего дня надрывно и густо загудели провода, как обычно перед ненастьем, и посыпался снежок. Но мать, днями толкавшаяся около нас, приглядывая, чтобы не положили чего не так, как было, уже успокоилась и сказала:

– Ну, теперь пушай и снежок. Под крышу, слава Богу, подвели...»

ГЛАВА ВТОРАЯ

Господи!.. Ну, как же она посмела?.. Ах, Лилечка, – с едкой досадой почти вслух выдал Чернок, закрывая машинку, и тут же приказал себе: "Всё!.. На сегодня хватит. Не надо никаких воспоминаний, даже радостных... Надо как-то избавиться от ломоты в пояснице и плечах... О, Боже, будто лес рубил!.. Избавиться от боли в висках и во лбу, где кто-то будто клюёт, как дятел. Расслабиться и заснуть бы", – но мысли продолжали стучать: "... И зачем я вышел тогда на перекресток?.. Пехотный капитан... А рукой-то для чего было махать?.. Будто кто-то подтолкнул... И вот и это лето прошло, и теперь выглядит будто из-за спины, грустно и простодушно усмехаясь лицом, похожим на теплое, неяркое вечернее солнце над кустами деревенской речки..."

Пытаясь заснуть, Чернок повернулся со спины на бок, натянул на себя одеяло, накрывшись почти с головой, чтобы унырнуть поглубже, куда-то зарыться от стучавших в мозг мыслей и воспоминаний, как от излучения... Но в темноте они мелькали ещё отчётливей, лопались как всплывающие пузырьки в стакане с газировкой... И опять слышался голос матери, так и не сумевшей успокоиться, звучавший то яростно, то смиренно и со слезами, но будто наяву: "А ты уж, Егор, как хочешь там решай, а только я перекрестилась, когда она уехала. Я эдак-то её ждала каждое лето... Я ей и клубнички насобирала и картошки молодой и напекла всего... Нет, всё своё торит. Сроду бы не поверила, если бы сама не насмотрелась. Всю избу осрамила. И меня всяко словами какими-то... Я таких и не слыхивала сроду: будто кликуша я какая-то,... и жадная я будто, и злая, только ряжусь в праведницу... А тебя самого и того басся: и бабник ты – не знаю, уж чего она имела ввиду? – и денег зарабатываешь мало, и домой приходишь, когда вздумается... Правду сказать, я не утерпела, скрывать не стану, отпела ей: "Ты, говорю, много ли детей-то нарожала? У вас ведь не семеро по лавкам, чтобы мужик-от возле твоей юбки сидел?" Ну, тут она и пуще того поехала и зарасходилась... Тут уж я говорю, вот ещё пикни, я тебя сковородкой посередь избы зашибу... Ой, как вы там и живёте, Егор? Она ведь тебя посадит, если чего... К Ульяне-то свинарке видал милиционер наживса? Видал?.. Сама разъярила мужика, да тут же милиционера вызвала из района... Ну, так вот и ты только пошире голос-то подними – вот как

бывает отец твой ярится на меня – так и за тобой приедут. У вас там в городе-то всё близко, живо подберут хлопотья-то....

Голос матери мучительно отзывался в душе, Черноков ёжился под одеялом, пытаясь заснуть, и словно в утешение, ему вдруг послышался по-детски изумлённый голос отца: "А я крадусь, чую, глухарь-то стоковал где-то неподалёку. Неподалёку сшабаркал. А я заметить-то сразу не успел, на какой ёлке, а он потом замолк. И долго молчит... Охота в то утро худо шла: согнать жалко и ждать, сколько, думаю?.. Ползком уж на животе хотел, но куда?.. Пригнулся, шагаю потихоньку в ту сторону, где показалось стоковал он... На-ко! А он вдруг над самой головой моей запел... А на ёлке, густая была ёлка. Ну, думаю, ежели не слетишь сейчас, я уж сам-то теперь не дрогну, хоть силой пихай, не спышкаю, не пошевелюсь, пока не замечу... Нет, парень, я в таком-то деле, о! Не всякий сумеет... А на зайца-то!.. Хоть на лету, хоть на бегу: ружьё-то только с плеча сдёрну – оно уж спело! Не долго целюсь, а редко смажу... Сам видал в детстве-то. Помнишь, как в Зверице я по зайцу стрелял из мелкашки у тебя с головы. Ты ещё и в школу тогда не ходил..."

А утром, выходя из сна, в который Черноков в конце концов был вынужден загнать себя снотворным, ощутил, ещё не понимая, почему, приближающееся откуда-то издалека, будто всю ночь преследовавшее его чувство тревоги... Организм, интуитивно знавший, что таит для него это чувство, как бы оттягивал момент пробуждения, и Черноков лежал в полудрёме, не открывая глаз, кожей лица угадывая, что в комнате, а значит, и на улице ещё сумерки, и он может ещё не вставать, не оправдываясь за леность, и лежал, прислушиваясь к звукам, определяя по ним, ушла ли на работу жена, и в то же время невольно уже следя за течением мыслей, начавших оживать. А они самовольно вспыхивали в ватном ещё мозгу, мелкими будто огоньками, как искорки, отскакивающие с горящего дерева. Иногда, словно поддерживая друг друга, они цеплялись между собой, оставляя светящийся витиеватый след, похожий на царапину, исчезали, а потом снова находили между собой какую-то связь и снова вспыхивали...

Полуосознавая этот процесс, Черноков наблюдал за ним как бы со стороны, как за чем-то чужим, не в нём происходящем действии, не интересном ему, и в то же время ловил себя на том, что пытается как-то

оценить самовольно кривляющую ниточку мыслей... Тянуло ещё подремать, хотя он уже понимал, что проснулся, что сознание уже включилось и со скрытым раздражением подумал: "О-о!? Опять! эта! каторга!" – и ещё раз попытался увильнуть, отвернувшись к стенке и закрыв глаза... Но уже ясно понимал, что избавиться от этой каторжной работы он может только одним способом – сделать её... И мысль эта тоже вызвала мучительное раздражение.

"Доконает меня эта путаница... Вот и сердце уже покалывает... Господи! Помоги мне изобразить этот хаос! хотя бы выговориться... Во имя чего я маюсь?.." – безответно мелькнуло в сознании, и Черноков почувствовал, как внутри опять выдавилась ядовитая капля жалости и презрения к себе... И сказал вслух:

– Всё! Надо вставать и идти! Другого избавления нет...

Сев на край тахты, он покосился на стол с букетом цветов в вазе,нисходятельно усмехнулся: "Ах, Лилечка, мне бы твои заботы..."

Надев синий халат в полоску: "Действительно, и халат как у каторжанина," – подумал он и побрёл в ванную, волоча тапочки по линолеуму, опять слыша громкое их шуршание и невольно думая: "Как же мне распутать этот клубок?..."

И уже в ванной, приготовив всё для бритья, вдруг с хрипловатым рычанием сдавленно прохрипел от напряжения:

– Ннничего, рас-с-с-погодится! – словно рассыпав слово... И пока брился, подтягивая кожу то на одной, то на другой щеке, напевал этот мотив, вспоминая из песни те строчки, которые особо любил, которые либо утешали, либо поддерживали настроение, казавшееся ему нужным на сегодняшний день, или опровергали что-то...

"Там и звуки и песни не те, только мне выбирать не приходится"..

Случалось, что в процессе мытья мотив менялся. Иногда вспоминались песни, о существовании которых он, казалось, совсем уже забыл – и по ним, как по камертону, он догадывался, что происходит внутри...

– Ах, ничего, что порой, как известно, наша судьба то гульба, то пальба... Не прекращайте стараний, маэстро, не убирайте ладони со лба, – уже мягким и грустным голосом напевал он приглушенно, выходя из ванной...

"Тоже мне, маэстро", – подумал и ухмыльнулся он.

Заварив большую кружку крепкого чаю, он расслабленно откинулся на стуле около кухонного стола, сделал несколько глотков, чувствуя,

как нарастает желание закурить, и прислушиваясь к тому, что происходит внутри... Наконец, прикурил папиросу, было уже не просто желание закурить, а почти жажда. Он любил этот момент за краткое состояние удовольствия, хотя бы такое, которых в последнее время, пожалуй, даже давно, в его жизни было не много...

После первой затяжки голову слегка обнесло в приятном кружении, мозг от прикосновения дыма будто встрепенулся, что-то вроде тонкой и мягкой, как туман, пелены спало с него и в открывшееся пространство уже отчетливо потекли разные мысли, будто осматривая сверху всё прошлое, как с самолета, высвечивая по произволу разные периоды жизни, события, лица, как бы всё подключая друг к другу. И он, хотя ему еще не было и сорока, утонул в воспоминаниях, как старик, подводящий черту своей жизни...

... Почему-то сама деревня казалась всегда светлой, кроткой, и мне не раз хотелось, шагая по ней, подойти и потрогать один дом, другой, или остановиться и поговорить с амбарами... Неизвестно, как и когда начавшись, — как жаль, что истории обыкновенных деревень не пишутся, — наверное, с какой-нибудь избушки, — она постепенно вытянулась и теперь выглядит длинно, даже как-то протяжно, словно спокойная осенняя ночь. Домá стоят ровно, будто плотники отбили их по одной нитке, глядя окнами передовых изб на дорогу, и только некоторые из них чуть вбежали вверх по пологому косогору, установились вторым рядом и живут чуть скрытнее...

Через дорогу, напротив первого ряда домов, взятых теперь под шифер, благо его можно расстараться, сиротливо стоят амбары. А засмотришься и начинает казаться, что из домов в амбары и обратно, пересекая машинную дорогу, будто то и дело снуют бородатые мужики и бабы в сарафанах: с мешком ли муки, или с решетом, или с теском или ушатом, А только кажется это... Двери амбаров открываются теперь редко. Замшели крыши, подгнили окладники, подкосились "ноги". Они почти совсем не нужны, и пользуются ими по привычке такие же ветхие старухи... И амбары словно благодарны старухам, что они дают им возможность, пока дышится, как-то годиться жизни и будто ждут, когда "ноги", неслышно крошась, совсем подкосятся, или крышу сгребет, зацепив тракторной волокушей сена, какой-нибудь молодой, не миновавший "сельпо" тракторист.

Надежно смотрятся только кованые вручную навесы амбарных дверей, врезные замки, обязательно с узором на оковке вокруг скважины для ключа, да сами ключи, кое у кого сохранившиеся, – большие, тоже сработанные с душой, будто не амбарные, а от целого города, – чувствуется, что раньше этим дверям доверялось все крестьянское добро...

Сейчас амбары стоят, как на коленках, ткнувшись к дороге, и как бы исподлобья, глаза в глаза, поглядывают на обновляющиеся дома, к каждому из которых теперь пристроены разноцветные веранды, и переговариваются с ними, спрашивают, или вспоминают что-то, как старухи и тетки, часто собирающиеся в нашем доме.

– Ой, сроду не забыть мне, – вспоминает Фекла Ивановна, – сроду не забыть того паренька. Беленький такой был, кудрявый, молодой. Из Питера будто. Когда в колхоз начали всех сгонять-то, он приехал из району, по теперешнему говоря, уполномоченным. До полусмерти его Тюлькичи излупсовали. Как сейчас вижу, лежит между прясом и амбаром. – Тетка выглядывает в окошко, чтобы показать, где это было. Но из кухонного окна не видно того места, и она говорит. – Ну, вот неподалеку от магазинчика-то, где теперь. Помню, он лежит, христовый, весь в крови, и часики карманные рядом выпали из пиджачка. Старший-то Тюлькич – это прозвище у них такое было, фамилию-то уж и забыла, – старший сын-то подошел еще к нему, пнул да и говорит: "Вот лежи теперь и агитируй"...

– А кто эти Тюлькичи-то были? – спрашиваю я.

– А богачи были, богатые. Торговали они много. Отец-то лавку держал в Кашине. Дом был двухэтажный, у-у-у!

Мать с теткой охают, ойкают... А Толик Листов, внук дяди Минакия, ожидавший моего отца, чтобы тот склепал ему какую-то деталь к мотоциклу, спрашивает:

– Это че, тетка, ты рассказываешь, это здесь, в нашей деревне и было? – и от удивления швыряет носом.

– А где ино, Толичек, мы ведь из книжек не вычитываем, – отвечает мать, и сама:

– А мне сроду не забыть, Феклушка, Степку, мельникова сына, когда отца-то у них окулачили... Отец-то мельницу держал, так всю семью так и звали Мельниками вместо фамилии. Ой, мужик был хороший. Ни у кого лишней копейки не брал, ли чего другого. А вся деревня у него жито молола, как бы он мельницу не держал, так не знамо, как и с мукой

было. Да еще и масло давить что-то приспособил – раньше ведь льну-то в деревне много сеяли, так и масло давили. Это нонь до травинки извели его, а прежде лен-то было основное богатство...

– А как вы мельнику-то платили, мама?

Но мать что-то замешкалась, и отвечает тетка Фекла.

– Да как? Когда сходишь на сенокос, когда жать поможешь, да разные деревенские работы. Когда и деньгами поплатишься. Смотри сколько жита на мельницу привезешь... Вот уж Мельника-то зря. Он все своим трудом построил, сам с утра до ночи работал, и дети не прохладжались... А линтяков-то и тогда было немало. Как пошли в колхозы объединять, да все в кучу собирать, вот они и зашумели: мол, у Мельника – мельница, лошади, коровы... Богаче нас, надо кулачить.

Нончи, слыхала, говорят, перегибом это звалось, а тогда-то все прямо считалось, все на стороне бедноты было, не спрашивали, работал ты, или на печке лежал – бенно жил, значит, молодец; передовик...

– Обожди-ко, Фекла, я доскажу, – перебивает мать и выходит от печки, протирая эмалированную кастрюльку. – Отца-то Мельника сразу выслали куда-то на Крайний север, а маленькие дети с матерью остались... А и работы долго время не давали в колхозе, как хотите, так и живите, и в колхоз не брали. Я как сейчас вижу, Степка-то бежит, ему тогда лет двенадцать было, вот бежит да на всю деревню: "Мама, мама, пушай Никитка собирается. Нам наряд на работу дали в колхозе. Овец караулить"... Голосок у него тоненький такой, бежит, штанёшка в заплатках: одна штанина до колен завернута, а другая раскаталась, лепещется... А потом на запани, нас тогда с девками гоняли лес плотить на Усть-Виледи. Прока, Прокопий Петрович еще у нас десятником был... Теперь, ишь проволокой да тросами, а раньше-то все вязали вицами. Ива, елка, черемуха. Чтобы связать-то, надо сначала измять их на деревянных куклах. Вот стою я как-то, то ли устала, то ли куклы свободной не было, а только Прока подбегает ко мне: "Ну-ко, говорит, ставь кулаченка-то вместо куклы, да на нем мни". И показывает на Степку. Тот стоит на бревнах, головку опустил на грудь, потом подходит. Прокопий-то мне: "Чего стоишь, думаешь? обматывай да мни!"... Нет уж, говорю, Прокопий Петрович, лучше я на то место стану, а ты на меня наматывай, сколько хочешь. А он, съярился: "Ишь какая, кулаченка пожалела!" – и пошел по берегу...

Теперь, глядя на деревню, эти рассказы кажутся чем-то странным, небылицами. Как говорит иногда в сердцах деревенский бригадир

Зосима Сергеевич: "Теперь у нас настоящий коммунизм. Каждый чего хочет, тот туда и ворочет"...

Все улеглось, отстоялось, будто и всегда так было. И каждый день происходит одно и то же, по окончательно заведенному распорядку. Особенно летом...

Рано утром, на восходе солнца, закружатся в трубах безмолвные спирали дымков, загремят чугунами, ведрами и ухватами еще немного сонные бабы, откашливаются мужики... Потом в разных местах скрипнут двери хлебов, занюркают коровы, заслышав хозяев, загудит колхозная ферма доильными аппаратами, захрюкают поросята...

Часа через полтора-два, когда в радиоприемнике, будто удары запыхавшегося сердца, раздадутся глуховатые стуки и сыграют гимн Советского Союза, кто-то скажет: "Доброе утро, товарищи", в деревне уже во всю начался день.

Мать уже варит, или подогревает завтрак. Отец, выкурив не одну уже папиросу, сходил в мастерскую, либо зуб в грабли поставил взамен сломавшегося, либо косы подточил и будит меня, заглядывая в отверстие на чердак, где я спал. Чувствуя, что с его стороны все готово для того, чтобы идти на пожню – хоть косить, хоть грести, смотря по погоде, – сидит, привалившись к печке, снова покуривает. Иногда спрашивает:

– Лиля-то, когда, говоришь, должна приехать? Нет ни письма, ничего?

– Да еще дней через десяток, не раньше, – отвечаю я, притворно-равнодушно утираясь полотенцем, и, как в детстве, хнычу, только нарочито. – Куда сегодня? Надоело, порыбачить некогда.

– В Сырное. Там, погрести наспело. Как погода... Успеешь нарыбачишься. Вот закончим с сенокосом...

А когда физкультурный голос предложит для следующего упражнения разостлать коврик в квартире, вдоль домов, по главной дороге, в правление колхоза идет рекрутинский бригадир Зосима, прихрамывая, кратко здороваясь и как-то исподлобья глядя на облака все лето ненадежного неба: "Сенокос ведь, а там все канитель какая-то. Косить, или грести? А с этими "пролеткультовцами" что делать? Если разломается день – гребь поспеет, тогда стафийцев этих надо снимать. А нет – пусть достраивают свой БАМ!" И вслух:

– Ить, едри вашу корень. Двадцать метров лежневки. – И одним пальцем в козырек сталкивает кепку на затылок, чтобы осмотреть небо пошире. – Вроде раскантителся.

– Ты что, Сергеич, уже сам с собой говоришь? – спрашиваю я. Ставлю ведра с водой. Он тоже останавливается:

– Да вот со строянкой счипивса. – Усмехается, – нанял тут работников лежневку построить в Зяблом логу. Грязь, машины сейгод не попали, дожди. А там косить много. Ну, вот назначил, место показал. В обед, думаю, съезжу посмотрю начало... Приехал – они все пятеро по кустам валяются... На другой день опять собрался проверить. Только до села доехал: двое опять уж у магазина... Я говорю, ребята, в вас совесть заговорит когда-нибудь?...

– А мужики-то здешние?

– Они, вишь, какие здешние-то: все родом-то наши, где-то ездили по всему государству, нигде, видать, не прижились, вот обратно в деревню и воротились...

Фаню Стафийкина спрашивал, говорит: "О-о! на совесть поработали". Да им верить-то. Вот выставим ближние полянки, съезжу, посмотрю...

В домах в это же время жители пенсионного возраста, те, кто держат своих коров, укладывают узелки с едой, заливают термосы чаем и под областную радиопередачу для работников сельского хозяйства уже приставляют к дверям метлы, коромысла, иногда вкладывают в пробой замки, редко закрывая их на ключ: косить, так никогда не рано, грести рановато, но по старому правилу в сенокос, да еще плохой, дома погоды не ждут... Да и пока дойдешь до пожен, "да шель-шевель расшевелишься".

Не раз я видел, как с узелком еда, волоча с собой маленькую лестницу, когда по радио призывно звучит труба "Пионерской зорьки", от домов, что во втором ряду, усердно топает Наталья Аполосовна. Идет шустро, серьезно. А еще одна моя тётка-Дуня, глядя на нее, – Наталья трясёт неподалеку от ее дома – степенно комментирует:

– Ополосиха-то вечер, выревела наряд-то у Зосимы. К машине куль-кочет – грести трясется. Все к молодым лезет. Какая же ты, Натаха, пара молодым? – И, будто вопрос этот задал кто-то другой, сама же отвечает: – Ак, ей ведь то и надо. С молодыми-то около машин день пропутаешься в ногах, а деньги-то все равно начислят, – и дальше рассуждает про себя: "Я вот сдала сейгод совсем, дак около дома и кукую. А ты раз владеешь, так шла бы одна, сама и косила и гребла. За чужой-то спиной ловко. Ишь, катит! Без лестницы и в машину не залезть... Ох, и хитра-же"...

А Наталья подходит к магазинчику, где в ожидании грузовика покуривает кучка мужиков, и, деловая, говорит:

– Че рассоловели? Вроде и не понедельник.

Фаня Стафийкин, выглядывая из-под кепки, сдвинутой почти на нос, за всех отвечает:

– А у нас каждый день с утра понедельник! Го-го-го...

– Матерь бы пожалел, – говорит Наталья, не найдя другого возражения.

А Фаня:

– А после одиннадцати – масляница "лучистая"! – намекая на то, что после одиннадцати, когда начнут торговать вином, пошлют за бутылкой "лучистого".

Довольные его находчивостью, слегка приоживают припухшие, в щетинке, страдающие лица мужиков, и вразброд раздается: "Го-го-го".

– Тьфу! – наспех подытоживает Ополосовна, расторопно хватая лестницу, подтаскивает ее к борту подъехавшего грузовика, пробирается в кузов и оттуда как сорока, шустря руками по бортам, командует:

– Ну-ко, узелок-то подайте-ко, да лисничу забросьте в кузов-то.

Мужики забрасывают лестницу, подают мешочек с едой, и Наталья спешно пробирается к скамейке около кабины, где трясет меньше:

– Не тащи шибко-то, Микита. Поглаже вези...

Встряхнув на несколько минут тихий свежий утренний воздух, грузовик выбежал из деревни к речке, по обе стороны которой находились колхозные сенокосы. Потом в ту же сторону прогрохотали тракторы с прицепами, и деревня надолго обрела вид пустующего жилья. Жизнь на время словно совсем вытекла из нее, переместившись в поля и пожни. Лишь изредка пересечет улицу старуха с охапкой травы, или старик Прокопий с грибной корзинкой, о котором старухи, его сверстницы, до сих пор говорят с каким-то двусмысленным почтением: "У-у, Прока!? Грамотей. Верховодил в деревне, особенно когда колхозы пошли... Во всю счетоводил... Чуть-чего – у-у!"...

В другом месте, где-нибудь на задворье, ширихнет пила – то опять старуха распиливает на дровца доску.

Раз-два в день, перебегая с одного поля на другое, пронесутся грузовики или трактор, шевельнется на окне занавеска – то векового возраста моя бабушка Евгения Васильевна встала с постели посмотреть, что проехало. Нет-нет да пробежит с поля в соседнюю

деревню – в село – местный дурачок Митя Моргунок, и ответит бабе, если встретится:

– А у их, говорят, душа горит. Послали. Сегодня на всю десятку возму. – И запрыпрыгивает, глупо и жалко дергая головой.

Если не выходной, под вечер остановится автобус из райцентра, на минутку раздадутся человеческие голоса, и полают на приезжих родственников собаки. Часов около шести деревня вдруг наполняется оживлением: то пригнали коров. Колхозных пастухи угоняют на ферму для вечерней дойки, а частные, их штук пять во всей деревне, бредут по улице неспеша, встречаемые вернувшимися с сенокоса хозяевами, и то и дело капризничают, как избалованные дети.

Встречает свою Звезданку и тетка Тоня. Корова перешла на противоположную от хлева сторону дороги и упрямо глядит на хозяйку большими печальными глазами, явно изображая нежелание идти в хлев. В глазах, когда корова мотает головою, отражается то луч солнца, то куст черемухи у дома Полинарьи, старухи, согнувшейся от возраста и работы, как коромысло. Зобня травы, с которой она, бывает, плетется к дому с задворья, лежит у нее на спине почти горизонтально, и не остановиться, встретив ее, невозможно. Однажды я попросил корзину, чтобы поднести. Не сразу сообразив, Полинарья остановилась, а догадавшись, чего я хочу, будто оттаяла в тепле и ответила:

– Спасибо, сердешной, Егор Никифорович. Мне сегодня нүжды нет, шагается. Всем нам не уносишь... Да и нельзя не ходить-то. Ляжешь, так не долго наживешь. У любой старухи спроси в деревне. Да хоть у своей матери... Спасибо. – И, подтянув веревку, чтобы круглая, плетеная из ивовых прутьев корзина – зобня, не свернулась со спины, обозначила благодарный за внимание поклон.

– Ну, моя милая, иди-ко, давай ко мне, – опять подает заискивающий голос тетка, чувствуя настроение Звезданки. А та отворачивается и отходит.

– Да ты куда? Сы, домой, сы, давай... Ну-ко, куды? Ой, ты моя милая, ой, ты мояжданая. Жданая ты моя, иди, давай, я тебя пойлом напою, хорошее пойло, – протяжно, словно поет, увещевает тетка, и корова смотрит, глаза вдруг послушные, даже вроде жмурятся от мягкого, заходящего солнца и лениво отмахивается от редкой еще мошкары. А гнет в сторону. И тетка Тоня подбирает с земли вицу и начинает яриться:

– Куды тебя несут все некошныя?! Ты чего там в яме-то не видела?! Э! Э! Сколь непопершенная лешачиха!

Но угрозы не помогают, и голос тетки опять нежнееет, она подбирает новые слова, всячески расхваливая корову:

– Ой, ты моя сухотная... Ой ты, христовая... Ну, ну! Иди, давай. Иди в хлев... Иди-и-и, мояжданая.

И, наконец, Звезданка уговаривается... Минут за пятнадцать весь этот переполох в разных концах деревни кончается...

Незаметно наступает вечер, и если не дождливо, во дворе дяди Минакия наодеколоненный внук Толик готовит мотоцикл, чтобы поехать в село, в Дом культуры в кино, или на танцы. Так же, как все мы когда-то...

– Анатолий, – спрашиваю я его однажды, облокотившись на оградку, разделяющие наши дворы, – ты в который класс перешел? С мужика вырос...

– В десятый надо бы...

– А почему «надо бы»?

– А неохота. Мне на машине интересней. Вот на силос сейчас возим траву, уже сам за рулем бывал. Да и в город не хочу. Там дымно, воняет комбинатом...

Меня забавляет разговор с ним, он рыжий, по-деревенски простодушный, долговязый, но широкоплечий.

– Значит, Анатолий, ты уже Толстого читал?

– Проходил, – как-то дипломатично отвечает он.

– А ну-ка, расскажи, кто такой Андрей Болконский?

Толик вспоминает, будто роется в памяти, как в багажнике мотоцикла, подбирая нужный гаечный ключ, и говорит:

– Че-то знакомо? – поднимает голову, шаря глазами по небу, молчит, а потом обрадованно, наверное так же, как бывало на уроках, отвечает:

– А-а? Это че, князь-от? Знаю. Только забыл...

– Нет, молодец ты, все-таки вспомнил...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Отойдя к окну, Черноков сначала услышал скрип двери, потом её голос, кроткий, словно извиняющийся, и вопрос:

– К тебе можно? – прозвучавший бережно, будто муж занят важным делом, сидя в дыму, как на поле боя, и она это понимает и готова безропотно служить ему – чуть ли не прислуживать...

Занятый своими мыслями, он почувствовал себя захваченным врасплох и не мог сообразить... Он показался себе голым на улице и хотел вроде сказать: "Чего это ты такая трепетная?" чтобы что-то ответить, потом чуть ли не разозлиться: "Ты как всегда, невпопад... Мне бы еще часик побыть одному, может, два, чтобы доделать... Ну, пусть не тем занят, не о том пишу... Но мне надо избавиться хотя бы от этой отравы, терзающей меня после того лета, от боли, хотя бы выговориться... Ты ещё и на юг сгоняла, учинив в деревне разнос, а я вот вспоминаю... Как увижу отца, хромающего с ведрами воды, или мать на коленях перед иконами, да у тебя же ещё и прощения выпрашивает... выть хочется. А ты?.."

Но Черноков сдержал себя, отворил балконную дверь, впустив в квартиру рычание промчавшегося грузовика, ответил:

– Не знаю... Почему нельзя?.. Можно, наверное...

Жена услужливо внесла и поставила на стол чашку чаю с бутербродом на тарелочке. От неуместности этого опять вспыхнуло желание накричать на неё, и Черноков попытался усмехнуться:

– Спасибо, Лилечка... Мне неловко, такие услуги... Побудь пока на кухне... Впрочем, ты догадываешься, над чем я маюсь?..

Жена на мгновение насторожилась и размышляюще, с оттенком притворства, ответила: – Ну, если ты так спрашиваешь... с такой интонацией, то, пожалуй догадываюсь, – и опять что-то быстро в себе переборов, – впрочем, если я правильно предположила, то не хочу продолжать разговор. Во всяком случае сейчас, сегодня. Потом поговорим... И ухожу, ухожу, – закончила жена в какой-то заигрывающей манере и по-актёрски, на носочках, ускользнула за дверь...

И какое-то время Черноков боролся с раздражением, болью, воспоминаниями о деревне, пока, наконец, удалось все семейные муки растолкать по разным закоулкам и заглушить хотя бы на оставшиеся дни отпуска...

И следующее утро начиналось робким топтанием около стола с машинкой, будто у дверей в кабинет зубного врача.

– Н-ничего, рас-сс-с-погодится! – сочно, с удовольствием и ненавистью прорычал он, остановившись посреди комнаты...

В тот день, когда Лиля позвонила из райцентра, мы только что вернулись с сенокоса. Широко отворив дверь в избу, споткнувшись от усталости о порог, отец вошел в избу, бросил на лежанку свежий номер районной газеты, положил, раздвинув занавеску, на печь холщевые рукавицы – ховшовки, как говорят в деревне, снял кепку, пиджак и, упёршись рукой в колено, медленно опустился на самодельный диванчик, приставленный к русской печке... Закурил и как будто глубоко утонул... Через несколько минут появилась мать с охапкой березовых дров. Мельком взглянула на отца и спросила:

– Устал? – положила дрова. – Ну, да как не устал. Много ли промежков наметалось?

Отец очнулся...

– Килограммов шестьсот наметали с Егором, – и довольный работой, приврал. – Да нет, ничего. Ноги только поутомились...

Мать, и сама убегавшаяся – день гребла с нами сено, потом выполоскала на речке бельё – пожалела его вздохом, а всё же сказала:

– Ну, так может кролика-то... Ли как? Одна-то солонина худо... Я сама-то вся упеталась, да ещё грибы вчерашние надо сварить, да за капустным листом в Наволок надо.

– Сейчас покурю, схожу осымаю. Долго ли мне? между ушей киянкой – чокну – и готово. Не поросёнок...

Неспеша, преодолевая усталость, отец докурил и ушел в хлев, там вытащил за уши из клетки кролика, сунул его в маленькую зобню и ушёл в столярную мастерскую, кликнув с собой и Шарика:

– Пошли. Сейчас накормлю и тебя.

– Мясо-то разруби помельче кусочками, – сказала ему вслед мать. Подняла крышку бачка, зачерпнула ковш воды, скребнув им по алюминиевому дну...

– А ты, Егор, учешишь да за водой сходи. Нагрёбся сегодня тоже, поди, весь не владеешь? Горожанин...

– Нет, ничего, уже привык. Втянулся.

Я учесал вскочившиеся за день волосы, напылил одеколоном зудевшее от укусов мошкары лицо, взял ведро и, пройдя огородами с высокой картовницей, поставил их около колодца, выкопанного между

двумя соседними домами. Взял большую чипню, отложив маленькую, которой черпают старухи...

– Сокóл! Сокóл, ну-ко помоги! – за спиной раздался плачущий женский голос. Я обернулся. С крыльца соседнего дома, не по возрасту быстро, сбегала незнакомая мне старуха, со вдавленной в спину грудью, как потом оказалось, Стафия.

– Ну-ко разменяй мне. Я на хлеб заняла...

– Что случилось?

– Разменяй-ко тройку, не то всю утащит.

– Ничего не понимаю... Что случилось-то?... Кто?..

Пока я соображал, старуха, видя, что толку от меня не будет, побежала куда-то трусцой... Вскоре из дома вышел здоровый мужик в кепке, расстроенный и злой. Растерянно оглядевшись среди двора, он встретился со мной взглядом, будто споткнулся, застыдившись чего-то, толкнул кепку со лба, протянул руку в мою сторону, будто хотел что-то спросить у меня, но вдруг зло выругался, махнул рукой и быстро пошел в ту же сторону, куда скрылась старуха.

Начерпав воды, я, озадаченный, медленно шел к дому, замечая приятное щекотание живой землею босых ног – прохладное, пока тропинка шла густым пыреем, росшим неподалеку от соседнего хлева, и теплое, шелковистое, когда на ней лежал мелкий песочек, – а мать уже стояла у ограды, нетерпеливо глядя на меня, готовая подбежать, чтобы самой утащить ведра, перепуганная, и радостно-возбужденная одновременно.

– Ты чего там долго-то вошкался? – воркнула она, когда я приблизился. – Пошевеливайся... Говорил, через ниделю. Все-то уж вы нонь врете, на каждом шагу.

– А что опять? – спокойно спросил я, уже привыкший к ее нагоням,

– А то. От Зосимы бригадира баба прибежала... Лиля в районе. По тилифону звонила. Побегáй-ко... да я вёдра-то сама дотащу...

– Как? – искренне удивился я, и обрадовавшись – уже скучалось иногда среди однообразных деревенских разговоров о коровах, о погоде... – и расстроившись, потому что на завтра уже был назначен выезд в Нарчуг. Все это как-то быстро переварилось в раздраженно брошенное вслух:

– Ну, вот опять номер!? Ну, как это она все умеет сделать хоть чуть-чуть, да некстати, не вó-время, а, главное, потом и докажет, что из благих побуждений, – и в мысль, мелькнувшую параллельно: "Вот,

наверное, с этого и начнется то, что на этот раз не сойдет мне с рук, то, чего я будто всегда побаивался во время ее приездов в деревню"...

Но, пожалуй, самой главной причиной раздражения была всплывшая в памяти мысль о том, что непредвиденный приезд жены может помешать поездке в Нарчуг.

– Ладно, – спокойно ответил я матери. – Сейчас пойду все улажу. Виташа появится, скажи, чтобы удочки готовил...

– Вот с удочками-то неладно вышло, – немного озабоченно отозвалась мать. – Ну, да не беда, не на гулянку собираетесь. Я тут ее сама ладом встречу, – и побежала в избу, наверное, тесто скорей творить...

– Лилечка, а ты откуда звонишь-то?

– Да вот из райцентра. Из гостиницы. Воняет везде, а в туалетах крышки от бачков на дырках. Представляешь? Ужас...

Для меня все это было обычным, а по сравнению с тем, что бывало, даже очень культурно. Поэтому я просто усмехнулся, сам хорошо помня этот запах.

– Ты что, в Париж, что ли, приехала? Не знаешь, откуда родом твой муж? Или первый раз? – вильнул я, оттягивал время, чтобы обдумать ситуацию.

– Ты меня завтра встречай, – радостно и несомненно говорила она в хриловатую телефонную трубку бригадирского телефона. – А то я тут не знаю, как доживу до завтра.

– Ты пойди к дяде... Помнишь, я в прошлый раз тебя водил? Да у любого спроси улицу, а там все его знают...

– Ну, вот еще, куда-то к чужим людям. Не хочу. – Какая-то капризность мелькнула в ее голосе, даже брезгливость, которую я будто и раньше чувствовал, и потому побаивался.

– Ну, как хочешь... – Я помолчал.

– Ты куда там пропал, Егор?!

– Ты, понимаешь.... как бы тебе это сказать? Я ждал тебя еще через неделю. Хотя бы телеграмму заранее... Ты же обещала послать.

– Ну, вот я так захотела. Раньше освободилась, не поехала, куда хотела сначала. В общем, встречай.

– Я завтра на рыбалку... не просто на рыбалку, а в Нарчуг должен поехать... Ну, во-первых, это Нарчуг, – подчеркнул я голосом, – А во-вторых, мы уже с ребятами договорились, собрали рюкзаки... Брат, я и еще один наш друг детства, тоже нарчужанин, Илья. Он уже приехал к

нам из райцентра, где ты сейчас, они свой дом перевезли туда... Да ты его должна помнить. Он еще однажды у нас в гостях был... Да, впрочем, это не важно, если не помнишь... Нельзя никак отменить, потом опять дела дома, собраться будет трудно. Далеко же.

– Это что же, выходит, ты меня не встретишь завтра? И тебя целых два дня не будет?! – голос жены был почти требовательным и возмущенным: "Неслыханно! Как это? – Я! Приехала – и меня не встретит муж?!" Да что я там буду делать среди?...

Мне хотелось положить трубку или предложить ей уехать обратно, но я сдержанно сказал:

– Среди кого?.. Мать, отец, тетки Фекла, Дуня, Тоня... Бабушка! Всех ты знаешь, даже любишь, говорила. А они тебя ждут не дождутся. Мама уж тесто растворила, чтобы угощать тебя.

– А она что, тебя отпускает?

– Смушена немного, что так вышло, но согласилась. В этом она никакого греха не усматривает. Почти во всем, кроме этого, – попытался пошутить я. – Для неё это обычно: мужик в лес собрался, да ещё в такое место. Я же тебе говорил, что пока не побываю в Нарчуге, будто до дома так и не доеду... У меня там родина, корни!.. Да, похоже стало на брошенное кладбище, но тем больнее... Помнишь, "любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам..." Для меня это не литература, а абсолютная истина...

– Возмутительно! – отозвалась жена, будто не слыша моих слов. – Так, значит, ты меня не встретишь?!

– Ладно, Лиля, приезжай. Завтра автобус оттуда в два. Всё будет в порядке, – уклончиво ответил я, избегая скандала – Всё нормально, ждём тебя.

– Ну, тогда всё. Я сейчас пойду посмотрю местный универмаг. До завтра.

Поколебавшись, я все-таки решительно подумал: "Завтра, Лилечка, мы с тобой не встретимся. Я хочу тебя видеть, но потерплю. И ты тоже. До встречи через два дня..." На душе было тревожно. Казалось, что не только от разговора с женой...

... Заметив, что буквы на клавиатуре машинки начали постепенно утрачивать резкость, окутываться мутной пленкой, как стога сена около речки в первых витках нарождающегося тумана – наверное, вот так же начинаются и сновидения – Черноков поднял голову: "О, уже смеркается; – скоро вернется Лиля", – с досадой подумал он... И, не

включая света, доклюкал на старой пишущей машинке последние предложения, с трудом считывая закорючки слов с рукописной страницы, – и, почти довольный работой, решил сделать передышку, выйти в город пошляться, как он говорил, чтобы отвлечься и попытаться хотя бы приблизительно заронить в себе "искру" для завтрашней работы...

"Нормально, даже не плохо для начала", – утешил он себя, чувствуя одновременно с тем усталость и какою-то безнадежную опустошенность, словно он уже умер, а страницы рукописи, казавшиеся ему слабыми, отзывались чувством стыда, будто их уже кто-то прочел посторонний и презрительно ухмыльнулся...

И вспомнил, как говорил отец: "Вечером кажется, что всё, завтра уже не пошевелиться, пусть все песканы пропадают вместе со шуками. Никуда не пойду. А к утру силы опять откуда-то соберутся..."

Утром же, с трудом раскачав себя умыванием, бритьем, чаем, куревом, он с робостью взял вчерашние страницы и, перечитывая, то ёжился, то просто со стыдом проскакивал целые абзацы, впадая почти в отчаяние...

– Боже мой!.. О, Боже?!.. Неужель эти пошлости казались мне чем-то? Неужель это я написал? – то и дело вслух шептал Черноков, словно обжигаясь...

Текст, когда-то казавшийся пластично уложенным, легко текущим от слова к слову, сегодня выглядел каким-то костлявым, как истоптанная осенняя дорога, схваченная крепким морозом, и при чтении даже глазами уже не стелился и не тёк, а то и дело спотыкался...

Лишь иногда он находил слова, фразы, предложения, иногда отдельные абзацы, которых было жаль, которые и сегодня отзывались в нем радующими мгновениями.

"И это все, что удалось высидеть в этом невыветривающемся дыму?" И он издевательски, и в то же время с сочувствием к самому себе, усмехнулся, взглянув в узкое зеркало, стоявшее в противоположном углу комнаты:

"Вот, взгляните, братцы, на "гения". Ну и лицо! А Лиля ведь правду говорит, что кончик носа у меня сворочен набок. И ноги кривые, как у футболиста. Во, портрет "художника" в ранней молодости: кривоногий, косоносый... Еще бы криворылый. Нет, этим пока не удался. Впрочем, если приглядеться, то?... Одним словом – "рококо" – ни одной прямой линии...

Исправленные несколько раз и перепечатанные на машинке главы

"повести" показались чем-то вроде отчета об отпуске со скучным, как он выражался для себя, "линейным" развитием сюжета, до конца которого мало кто дотянет, разве что под пистолетом...

В последовательности описания событий даже самая сложная жизненная ситуация все равно казалась ему как-то выпрямленной, не соответствующей картине реальной жизни, во всяком случае той его внутренней картине, которую с опытом и возрастом отпечатаала жизнь в нем... В его отпечатке картина эта всегда виделась как-то более захлавленной, неустроенной, не застывшей ни в каких более-менее устойчивых формах. Жизнь, чтобы продолжаться, как бы все время стремится перескочить в тот хаос, от которого она произошла, и все время как бы ускользает от притязаний разума на упорядочение ее, думалось ему.

Поэтому в последнее время он предпочитал книги, в которых не было законченности, вообще не было никакого сюжета, а только что-то просвечивало, угадывалось, ничего точно не выводилось в ясных формах и лишь заманивало и приближало к какой-то невыразимой тайне – напрямую, интуитивным дыханием внушая различие того, что хорошо, что плохо, не разделяя, – и минуя логику ясных "архитектурных" построений.

Такие книги казались ему больше соответствующими времени, в котором он жил, времени перехода и неустойчивости, почти разброда... И поэтому, когда он сам пытался что-то выразить, никак не мог заставить себя воспользоваться уже опробованными сюжетами – не из духа противоречия, или от желания во что бы то ни стало отличаться... а от несовместимости его ощущения жизни и четкости так называемых художественных форм. Он считал ненормальным то положение, когда люди берут в руки книгу для того, чтобы развлечься, убить время, быстрее узнать, чем все кончится, не интересуясь слогом, самым словом, то есть тем, что, по его мнению, является самым первым признаком литературы, и в погоне за развитием событий просто пробегают все это. И если не находят сюжетной остроты – приговаривают книгу, не дочитав ее.

Иногда ему хотелось видеть книгу, в которой бы события и люди описывались не на последовательно сложенных под обложку страницах, а как бы все на одном листе, как бы рядом одно подле другого, как на полотне живописца...

Или так: печатать текст книги сначала на одной только стороне

листа, и, дойдя до последнего, продолжение печатать на обратной стороне. Так что на обороте первого листа начала уже попадался бы на глаза текст конца произведения...

Он забавлялся этими вольностями воображения, относился к ним как к несерьезной игре, но тем не менее, испытывал непреодолимое желание построить все как-то не так, не ясно – сломать сюжет, хотя бы как-то изогнуть его не "по правилам", подзапутать – может быть, неосознанно привести его в соответствие с путаницей, творившейся в нем самом...

И это-то "не по правилам" казалось ему правилом. Все говорят, толкуют, что жизнь сложна, а пишут так ясно и правильно, что невольно получается все просто...

– Опять все плохо! – вслух грустно подытожил он результат, топчась около стола с разбросанными на нем бумагами и записными книжками.

По еще неостывшей деревенской привычке – видеть природу, тянуло подойти к окну, у которого он каждый вечер – всего лишь две недели назад, а кажется уж так давно – сидел, ужиная после сенокоса, или рыбной ловли, видя россыпь деревенских домов с шиферным блеском крыш; небо, полное необыкновенных, как горы, облаков, поземка ячменного поля, бегущая ветром по колосьям, – и стадо коров, рассыпавшееся по косогору, пронзительно чистому после дождя.

Косогор этот был нежно-зеленым, а от лучей заходившего солнца розоватым как младенец. Был он не очень крутой, но длинный, как бы неторопливой поступью взбиравшийся вверх, и вершиной, наконец, сливался с горизонтом, так что казалось, что коровы ходят под самым небом и некоторые из них иногда задевают спинами облака.

Картина эта возбуждала столь высокие и интимные чувства, что хотелось, чтобы никто не замечал твоего интереса, не хотелось ни с кем делиться; – не из жадности, а от какой-то первородной сокровенности, таинственности, при которой нельзя присутствовать еще кому-то... Он сидел с торца стола, напротив отца, ел суп из общей эмалированной миски и подглядывал почти украдкой: стадо паслось вдалеке, движения животных не различались, звуков никаких не доносилось, картина завораживала каким-то безмолвием, которое хотелось разгадывать. Иногда он слишком долго задерживал взгляд в окошко. Мать замечала это и спрашивала:

– Ты чего, Егор, рот разинул? Проволочешь ложку-то мимо, – улыбалась и, не дожидаясь ответа, привставала со стула, тоже

выглядывала в окошко, опиралась о его плечо, и говорила: – Ишь, коровушки-то христовые. Я тоже все лето поглядываю. Сердце обмирает, душа радуется, – и от благодарности и умиления перед кем-то, сотворившим такой пейзаж, крестилась, взглянув в угол, в котором стояла старенькая икона и висела на шнурке зажигаемая по праздникам лампадка. А отец, сидевший в углу, из которого неудобно было выглянуть в окошко, замолкал, как-то глубже обычного, громко схлебывал с ложки суп, будто сердился, и, оправдываясь, как это делают дети, говорит:

– Коровы-то?... А я тоже не раз видал, бывало, сядешь на Егорово место, – подолгу смотришь.

Мать ревниво, скептически усмехалась, считая, что отец говорит это из желания примкнуть, присириться, как иногда выражаются в деревне, к разговору:

– Ой-иё, сиди-ко, давай. Тебе бы охотиться, табак палить, да в мастерской строгать чего-нибудь. Особо как для других – вот это ты охоч, верно...

А нет, так в газетах вычитывать: "Равняйтесь на передовых..."

– А ты думаешь, этого я не понимаю? Хм?.. Да ежели хошь, я не смотрю, а сейчас отвечу, чего там видно.

– А чего же, ну-ко?

– А что тебе на картинке. По угору коровы разбрелись, а которые повыше поднялись, так те подле неба, считай. Когда на душу падёт, так не скоро слова найдёшь выразить... А только всё видишь...

– Вот то-то и есть... Не найдёшь... А ты вот хоть раз за свою жизнь перекрестился ли? – неожиданно меняет разговор мать, и они постарчески по привычке уже, некоторое время препираются друг с другом, незаметно расплываясь в разные житейские темы. Черноков, слушая их, поглядывал опять в окошко, видя пестреющее стадо, под ним домики соседней деревни в пойме речки, слева от неё белеющую машинную дорогу, взбирающуюся на другой холм, на верху которого стояла одинокая старая береза, при любой погоде казавшаяся грустной, невольно возбуждающая чувство сострадания, и будто замыкавшая основание холма с небом...

Пейзаж этот всегда располагал к размышлению. Его Чернокову и хотелось бы сейчас увидеть живым. Но теперь было другое окно – и окном-то называть не хотелось ему стену, застеклённую почти от пола до потолка – и другой был пейзаж...

Сквозь сеточку тюлевой занавески просвечивал блочный дом, по фасаду которого, словно корыта, висели грязные балконы. Слева и справа, где ещё лет пять назад рос вполне милый болотистый кустарник, виднелись такие же стены, только без балконов, окна которых, как Черноков ни пытался отбиться от этого впечатления, упорно напоминали ему урны с прахом.. Или клетки, составленные друг на друга, в которых отец выращивал кроликов...

Говорят, Гоголь жаловался, что по Петербургу без скуки можно идти метров пятьдесят, а потом всё повторяется, и глазу не на чём остановиться. Интересно, на какие б слова вдохновила гения сегодняшняя архитектура?

Черноков задернул окно тёмными шторами, заставив себя отключиться от этого пейзажа, который, как казалось ему, назойливо тёрся о его тело, появляясь то сбоку, то со спины, то нависая над головой, и вышел на кухню заваривать очередную кружку чаю...

... – Ах, ничего, что порой, как известно, наша судьба, то гульба, то пальба. Не прекращайте стараний, маэстро... – строчки эти запелись с утра как-то сами собой, и Черноков, делая паузы во время бритья, повторял их, не доходя до конца четверостишия: "Ах, ничего, что порой.... то гульба, то пальба," – хотя и смутно, но догадываясь, почему именно они, а не какая-то другая песня, или мотив, сразу же вынырнули из памяти, едва он проснулся и, по обыкновению, машинально натянув халат, пошлёпал в ванную умываться, массируя по пути виски и лоб, раскачивая воображение...

И бреясь, будто вдруг разрешив какие-то сомнения, вслух сказал себе: "Нет, ситуации с Лилей пока трогать не надо. Об этом где-то позднее... Надо сделать ещё несколько ходов. Ещё не август... Ага, понял, – заключил он и почти с радостью вышел из ванной... к столу с кружкой чаю...

... Ещё не осень, даже не август... Идёт июль, самый разгар лета... От этих слов во мне, уроженце сельских мест, Егоре Чернокове, оживает одна и та же картина. Сознание, делая поправки на время, невольно подновляет её иными лицами, иными звуками, но основа, какое-то главное настроение сохраняется в ней неизменно...

Перед восходом солнца, прохладная от росы, и от росы же чуть белая, чуткая стоит деревня. Ещё сонная, ещё сомкнувшая глаза, но уже чувствующая возвращение солнца. И вот оно сначала размытым заревом выглядывает из-за горизонта, потом появляется и само, еще

тоже сонное, и выпускает на землю свои первые лучи, в которых сразу сверкнет, зажжется роса – будто вся трава шевельнулась, – и потом уже так и не угасает, пока не высохнет. А солнце поднимается все выше, светит увереннее, теплее, потом уже жарче, жарче и, наконец, к полудню все это разгорается в какую-то пышущую здоровьем жизнь, когда весь мир, без управления и уговора, в своем врожденном согласии будто вышел на поля работать и расти, и от этого распирает его от радости, и это-то и кажется мне разгаром лета. Где бы ни настигали меня эти слова, в душе всегда происходит нечто подобное, не очень четкое, но волнующее, как умная и добрая фантазия, и зарождается в ней будто "Город Солнца", в котором молодые влюбленно и слаженно трудятся на земле, а за ними, довольные влюбленностью молодых, мудро приглядывают почтенные старики – разгар лета, в котором все живет неизбежно старательно и благополучно...

Идет июль. Самый разгар лета. Но разгара никакого нет. Лето будто не хочет разгораться и не подтверждает той картины, того чувства, которое когда-то зародилось в душе. Бывает, по утрам просыпающаяся деревня похожа на ту, что помнится, а потом, ближе к полудню, сутки куда-то сворачивают. Есть солнце, но нет зноя, в котором, бывало, неистово бунчали яростные овода, мухи, комары; в котором, казалось, даже речки страдали от жажды, и в разгар лета – будто межсезонье и распутица. Только в начале июня, когда, пожалуй, землю не мешало бы помочить, лето вспыхнуло жаркими днями, а потом как-то засутилось, и словно по поговорке "кто в лес, а кто по дрова" дотянуло до середины июля, но так и не смогло сделать выбора. Погода будто растерялась, мнется, как новичок, и не понимает, что происходит на земле, что надо людям и как ей себя вести. И жизнь, как ноша, которая и с ног не валит, и разогнуться как хочется не дает. Затяжных дождей нет, но нет и вёдра, и люди, тоже не понимая погоду, засыпают в сомнениях и надеждах и просыпаются с тем же. Утром смотрят бабы на небо и через улицу или через двор жалуются друг другу: "Нет, сегодня опять, видно, не гребь"...

– Ак, косить, может, дальше?

– Ак, бог знает, Милодора. Радио-то че шумит?

– Ак, волосся шумят. Говорят, переменная облачность какая-то. Местами дожди, а где местами?.. Теперь ишь все знают, а точно ничего не скажут...

Бывает, мимо нашего дома под такой разговор проходит в правление бригадир, Зосима, и моя мать по праву троюродной тетки сердито спрашивает:

– Ты чего, влась, думаешь?

– За меня газета думает, Милодора, – запасайся, Сима, силами и силосом. – А потом серьезно: – Не знаю. Будем пока ждать погоду. Двадцать гектаров повалено самоглавной травы, больше боюсь, – и ткнув пальцем в козырек кепки, оглядывается на небо, на поля – уже на ходу.

Моя бабушка Евгения Васильевна, смотрит из окна, будто догадываясь, о чем шел разговор, ворчит тетке Тоне, когда она возвращается в избу:

– Вы бы, Симушка, как ладом-то робили, робили бы как в сенокос-то полагается, так не лежали бы у вас эти гектары-то. Я ведь помню, когда Толик в тот день прибежал в избу-то. В шестом часу, а я еще его стюнула – опять чего-то забыл?.. А он умывается, да штаны выходные переодевает, совсем говорит с работы. Вся деревня приехала. Какая же это работа в сенокос, да еще худой. До росы надо было, до повечеря. Вот теперь эти гектары-то и преют...

– Ой, да ты, мама, не дотыкайся-то к мужику-то. Он не виноват.

– Такой распорядок нонь ввели, – вступается за бригадира тетка, уже давненько пенсионерка, а еще боевая, хоть на работе, хоть на пляске. В деревне говорят: Антонина споет, гармонист хоть весь устал, а сразу заиграет, будто только и гармошку взял в руки.

– Ты все ворчишь: сроду да сроду такого не бывало. А уж то время-то прошло, когда в сенокос пластались с восхода до захода. Я вон тоже, когда скотницей-то была, так мы и дрова на ферме сами кололи и носили, и воду грели сами, и навоз убирали, всё сами. А коров-то на одну скотницу тоже не мало приходилось. Вот как сроду-то было. А теперь всё конвейерты делают. Все нагреют, все подвезут, только брось на ленту да кнопку нажми. А воду, ту и подавать не надо, коровы сами мордой нажимают. Теперь доярки-то г...о из-под коровы не сгребут – на это опять другой сторож нанят. А у нас и на уме-то не было, что эдак можно. Так че сравнивать? Раньше на все стадо руками накашивали, мало где на лошадах, а нонь хохлака травы косой не тюкнут – все машиной, да приспособлением.

– А я вот об этом и баю, – не громко, сухим старческим голосом, но уверенно возражает Евгения Васильевна. – Эх не работают, не ладно. Вы так жись сравните. Лен в деревне извели, ржи на солод – и то не всем хватает. Весь колхоз на одних коров работает...

– Да ты, мама, чё поешь мне-то?

Бабушка, то ли не расслышав, то ли ей хотелось договорить свое, продолжала:

– Отбери сейчас у вас машины, вы сами себя не прокормите, у самой земли. Вы в поденщики на работу-то ходите, на чужое поле. Заботы настоящей нет, соки настоящие крестьянские киснут. Вам только это омрачение на уме. – И Евгения Васильевна показывает рукой на дверь избы, в которой стоит телевизор.

– Не знаю, мамушка, киснут ли нет, а мне об этом нечего пенничать. А молодые сами знают, – отвечает тетка Тоня.

Сын Минакий, за службу на флоте прозванный в деревне Моряком, прошлая зависть деревенских девок, вылез из гобца с ведром картошки:

– Чего опять критикуете? – усмехнулся.

– А вон мама шумит, Зосиму бригадир в окошко увидела. Рано, мол, с работы ходят.

– Да как не рано. Я вот говорю, Миня, что ты раньше-то из трактора не вылезал, уши оглохли, а они нонь в шестом часу уж все моторы заглушают.

– Я раньше-то на колеснике один все Задворье пахал, а теперь пять гусеничных. Распорядок теперь такой, охрана труда, – Миня уклончиво рассмеялся, пересыпал картошку в чугунок, напомнил жене:

– Кроликам травки потряси потом. – Посмотрел на меня. – А ты куда сегодня? – спросил мимоходом, как занятый человек.

– Да вроде никуда еще не нарядили. Пока дома. Вот бабушку зашел поприведовать. А ты?

– На пилораму надо. Обещали плах напилить. Привезу – так ко мне в работники. Надо повесть перебрать, сгнило несколько половиц...

– Ладно, договорились.

Минакий вышел в другую избу переодеваться. Тетка вышла за ним, и бабушка уже как бы про себя:

– В страду да сенокос кто когда охранялся. Это после.

И замолчала, глядя в окошко, через дорогу, за поля, куда-то в даль, уже далеко дальше происходящей жизни. Долго смотрела, будто запоминая это навсегда, потом встала, повернулась к столу, положила на него руки – в жилах, как в синих ручейках, – и, помогая ими ногам, пошла боком. Кончился стол, чуть нагнулась к широкой старинной лавке, на которой в углу, под образами, сидел когда-то мой дед, и, добравшись вдоль нее до кровати, села. Хрипло отдышавшись,

взглянула на меня – я сидел на лежанке, зашитой сбоку досками с отверстиями для кур, зимовавших когда-то давно, еще при бабушке, в избе.

– Верно, Егор? Землю теперешний народ не любит. Поденщики... За деньгами только на работу и выходят, будто все не свое... Вот и Миня наш. Свое-то сено сушит, а на колхоз и непросух в зарод положит. Хоть и глуховата, а чула. На казну, мол, так и не шибко сухое можно метать. Хоть и смехом говорили, да мысли-то, видать, у вас провертываются...

Я ничего не ответил старухе, только подошел и обнял ее за плечи. Она расчувствовалась:

– Мало мне осталось, наверно. Ты, Егор, возьми от меня полотенце, я сама вышивала концы-то. Я тебя шибко жалею. У тебя тяжело на душе-то, по глазам вижу...

Бабушка легла, опустившись сначала на бок, подобрала ноги.

Тетка Тоня, собираясь уходить из дому за травой для заболевшего теленка, которого они кормили для сдачи в колхоз, налила в термос чаю и подошла к постели свекрови. Поставила чай на стульчик у изголовья, положила печенья, спросила:

– Может, еще чего солененького, мама?

– Антонина, ты истопи-ко завтра баню, – попросила свекровь. – Меня чего-то прижимает. Охота еще попариться...

– Ой, мамушка, на неделе-то?.. Да ты чего это баешь? Ну-ко, Христос с тобой, не выдумывай...

Бабушка, словно не слыша голоса невестки, не ответила, только откашлялась и, повернувшись лицом к потолку, глубоко затихла, будто не только от всего, но и сама от себя отделилась...

"Ну, все на сегодня. Больше не могу, – устав от долгого молчания, вслух выдохнул Черноков. – Надо как-то осознать, есть ли я на свете?"

В голове чуть позванивало от глубокой, стойкой тишины, которую вплоть до полуночи рвал трамвайный грохот, оставляя в ней, как плуг в земле, широкие борозды, не успевавшие затягиваться до появления очередного вагона. Он замечал этот шум, будто тершийся о его левое плечо, когда отвлекался на обдумывание фраз. Теперь он исчез, и тишину изредка царапало шуршание редких такси, но не разрушало ее, и она напоминала ему что-то лесное, располагая к размышлению. Но сил больше не было.

Он посидел, уткнувшись горевшим лбом в пальцы ладоней, чувствуя на висках пульсирующие жилки. Все-таки записал для памяти:

"Нарчуг, избушка, возвращение в деревню – там около дома будто взорвалась бомба... Потом о разговоре теток в доме. Дальше пока не знаю"... И, взглянув на стрелки часов, опустившиеся вниз по циферблату, как ножки циркуля, тихо побрел в ванную, чтобы не разбудить жену, чтобы остудить воспаленное лицо и как-то заставить себя расслабиться...

В последний момент он видел, как в памяти, словно угли в прогоревшем костре, затухали едва осознаваемые мысли, и, наконец, заснул...

А утром, когда в полуотдохнувшем мозгу, как в окнах дома, снова начал брезжить рассвет, он, еще сквозь желание не просыпаться, осознал свое недавнее засыпание, как уход куда-то навсегда, лежал, не веря в свое существование на земле, и, как бы еще отсутствуя, уже замечал внутри какую-то мучительную заботу, будто неотступно возвращавшуюся вместе с ним. Ему не хотелось ничего этого, но она заставляла его оживать. И вот он уже знает, что от нее не избавиться, и понимает, что избавиться от нее надо, но для этого надо что-то делать... А это что-то представлялось ему истязанием, на которое он, Черноков, хочет идти сам... И там, как мочалка, будет висеть под струей воды, поддерживающей сознание, и кто-то будет выпытывать у него то, чего он и сам не знает, доказывая, что это не правда...

И вот, еще отсутствующий, он встал, отрешенно замечая предметы в квартире, и побрел, все еще норовя оттянуть время. Нашел синий в полоску халат – мелькнуло: "как у каторжанина", поволынил с умыванием, чаем, постепенно с облегчением поняв, что никого в квартире нет, что никто ненароком не вспугнет едва зародившиеся в душе чувства, что не надо искать какие-то положенные слова.

"Господи, – мелькает, – как трудно теперь бывает произнести, хотя бы просто: Здравствуй, Лиля..."

И двигаясь будто украдкой, вздрагивая от всякого резкого звука на улице, заставлял себя прислушиваться, куда же клонятся оживающие мысли?... Готовый уцепиться, как щука за блесну, за каждое слово, а тем более фразу, обещающую пригодиться, чтобы сделать необходимый первый шаг: "Отпуск-то, наверное, скоро кончится, а у меня, как говорят в деревне, не у шубы рукав..." И тут же, испугавшись такой оценки своей работы, попытался успокоить себя: "Ну, нет, Егор, ты уже дальше, – успокоил себя иронией и усмехнулся, заметив облегчение от подтрунивания над собой. – Но теперь уж, брат, делать нечего, надо

грести вперёд. Назад плыть поздно, теперь уж туда ещё дальше. А впереди вроде берег брезжит". И вдруг опять обеспокоенно: "Вот только – куда я плыву? Что за берег?.. Что же за картина вырисовывается у меня?" – И вообразив всё, что уже вылилось на бумагу, и, хотя и смутно, но представив себе чудившееся окончание, Черноков впал почти в отчаяние.

"Вырисовывается, похоже, выкидыш, – подумал он. – Но делать нечего: и выкидыша надо тоже рожать. Не разлагаться же ему в утробе... О, Господи, какой позор! Как же я посмотрю в глаза тем, кто меня рекомендовал... Боже, помоги мне выпутаться из этого разорения. Я больше никогда не буду..."

И с этими мыслями Черноков уныло поплёлся умываться.

"...Ах, ничего, что порой, как известно, наша судьба, то гульба, пальба... Не прекращайте стараний..." Начав чистить зубы, он замолк, а потом, уже переходя из ванной в кухню, как бы невзначай, напряжённо выдохнул: "А из грехов своей родины вечной не сотворите кумира себе", – и пока грелся чайник, повторил строчку несколько раз, постепенно умолкая и топчась около письменного стола с открытой машинкой...

... Весь июль и начало августа стояла облачная погода с дождями, лишь изредка, и как-то наспех, нервно, перебиваемая солнечными днями, не разрушавшими ощущения утомительности затянувшегося ненастья...

Только июльские ночи, особенно безоблачные, оставались белыми – тогда почти не смеркалось. Природа словно не ложилась спать, а будто дремала – на ходу, стоя, либо ненадолго прикорнув, и опять вставала работать, торопясь чем-то запастись, помня о долгой северной зиме. Казалось, что просила у Творца ещё чуть-чуть солнца, ещё чуть тепла, чтобы успеть что-то вырастить, дать всему созреть, обдумать что-то...

Но наконец солнце, и так редко радовавшее, начало чуть раньше ложиться за синюю в зубчиках ёлок линию леса, окружавшего деревню. День становился всё короче, будто его понемногу незаметно отстригали.

И вот уже грибы, случалось, не успевали прибрать засветло и ужинали при включенной лампочке. А мать, собирая на стол, начала вздыхать чаще обычного и озабоченней поглядывать на меня. Иногда,

казалось, едва сдерживала слезу, уходила за занавеску, будто ей что-то там запонадобилось, и возвратившись к столу, избегала моих взглядов, брала ложку, отмывала кусочек хлеба и нехотя жевала, утишая томившую её боль...

[— Это недурно, — мимоходом, но вслух подумал Черноков, закладывая в машинку чистый лист бумаги. — Теперь будет уместно вспомнить тот день. Не понимаю, почему, но здесь... — Он порылся в записной книжке, отыскивая в ней нужную запись...]

Отец вошёл в избу, поставил на кухонный стол тазик с кучкой мяса — ещё полчаса назад это был неумоимо жующий кролик — и сказал:

— Ну, вот и готово. — Сел на лежанку, и чтобы время зря не пропадало, начал шлёпать мух, нехотя препираясь с матерью по поводу хозяйственных дел...

— Ты, Никифор, уж всё наперёд забегаешь. Не успеешь сегодняшний день прожить, а уж на десять вперёд планируешь, — говорит мать и, доказывая свою мысль, привлекает все Евангелие сразу. — Мы полагаем, а Бог располагает-то. О хлебе насущном вперед не думай, ибо трудящийся достоин пропитания, вот как сказано. А ты все планируешь.

— А ум-то на чего человеку даден?

— А на то, чтобы пользоваться им с умом.

Отец хмыкает:

— Че с бабой спорить?! Дикая баба, дурость, — и размышляет посвоему: "До середины августа надо как-то дров на зиму напилить, а то вода в речке подниматься начнет — еза тогда будет худо забивать, а места я хорошие присмотрел, должна рыба попадать. Да и Егор покуда дома. Потом охоту откроют, хоть маловато дичи, а попытать счастья надо... до картошки успеть. С копкой свяжешься, там не до охоты, ног не хватит — сама-то (это матери) мешки таскать не будешь, шуметь только владеешь, да Писанием потыкать..."

— Послушай, папа, давно хочу спросить, все забываю. В доме, справа от колодца, что за старуха живет?

— Стафийка. А чего?

— Черпаю как-то воду, вдруг выбегает из дома, плачет, вроде тройку разменять просит, говорит, все утащит... Пока я соображал, убежала к тетке Дуне, к дому.

– А-а, так это Фаня, наверно. Сын. Видать, походил по деревне, ни у кого не занял – к матери нажился. Есть их тут петухов – полдеревни: Петя, по отцу прозвище Тюлькич, да Венямин – токарь, хороший токарь. Ульяна-то в милицию заявила. Правда, теперь и сама не рада. Поездили где-то по городам, видать, прогнали отовсюду – теперь обратно домой. Вроде тебя.

– Меня же ниоткуда не прогнали.

– Запьешь – так прогонят.

– Ты, вроде, как-то легко...

– А чо, мать их... Я ведь их не пою... Раз подал Вене кружку ханжи – втулку к мотору выточил – да закаялся.

Отец взял с лежанки резиновую хлопушку и огрел муху: "Попалась, аридовка!" – и продолжал: "Ульяна ни свет ни заря прибежала. Он где-то добавил, разодрался. Дочь в милицию написала. Милиционера теперь ждут – разбираться". Спасаясь от хлопушки, мухи разлетелись по углам. Отец подошел с хлопушкой к печке; "На-ко, побей там над печкой, брось читку-то. Ли пишешь чо-то? Ты чо все пишешь?.."

Не получив ответа, отец огрел муху на моей ноге, сел, привалившись к печке. Потом, не торопясь разул сапоги, закурил, потянулся: "Ну, на сегодня все" – и взял свежую районную газету. Не так, чтобы пробежать глазами: ттец он неважный, но добросовестный. И потому не бросился сразу шуршать страницами, а взял с каким-то внутренним подходом, будто собирался на глухаря. Передовую осмотрел, но читать не стал – вроде длинновато, да и не совсем понятно, и сделал выбор по-хозяйски:

– Сорев-но-вание кол-хозов и сов-хозов на за-го-товке кормов.

Читывал он и раньше такие заголовки, но, видимо, не запоминал, и потому каждый раз прошагивал их вцело – по слогам.

Прочитал, помолчал, потом опять вслух, чуть приблизив газету:

– В процен-тах к плану. Хм? – и подробно по всей таблице, то поднимая голос до значительности, то буднично, заковылял дальше.

– Номер пэ-пэ. Чего это каждый раз пишут какие-то пэ-пэ?

– Номер по порядку, – подсказал я с печки.

– А-а, вот оно что. Наименно... – запнулся, слово длинное, потом догадался, – наименование хозяйств, – уже быстро дочитал: наименование кормов – силоса, кормовой муки, сена, – бойко прошелся по знакомым словам, – в кормовых единицах... В кормовых единицах каких-то? – и опять задумался, запнулся, спросил у меня.

– Я тоже не знаю.

– И ты не знаешь? Чему учился-то?.. Ну-ко посмотрим? – сказал он значительно. – Кто кого?

– Чего опять "кто кого"? – спросила мать, забежав в избу за мясом.

– В газете пишут. Соревнование.

– Ак, кто же кого?

– А вот сейчас узнаю, только дошел... О! Первое – колхоз "Россия". Ваня Филимонков там правит. Механизированное звено... Он тебе, Мивка, кто будет?

– Тетка Фекла ему двоюродная тетка... Так кто он мне?.. Седьмая вода на киселе, – ответила мать, уже заранее недовольная соревнованием и готовая сорваться в брань: "Делать нечего. Надо работать, а они вместо этого соревнуются..."

– Да я так-ту спросил. Че шумишь? Фотографии не раз были в газете... – отец отбил от матери и читал дальше:

– Силоса – 93 процента...

– А ну-ко сена-то много ли?

– Сена? Тоже хорошо: 85. Вот сколько.

Мать перемывая мясо, уточняет: – А мы где?

– А вот дойду... Второе, – отец повысил голос и, будто с трибуны возгласил: – Колхоз "Дружба". О, так это мы, едри твой корень, на втором-то! По силосу на первом. По муке? О, муки мало. Кормовой муки маловато...

– А ну-ко, по сену?

Отец ищет столбик с нужной цифрой.

– 72% – не много – не мало... А вот сколько... Да!

– Неужель больше половины? Когда и успели?!... Врут.

– Так на той неделе три дня-то подходящие выстояли. Да ведь август, считай...

– Ай да Сима, молодец! – хвалит мать бригадира. – Чехникой-то живо, парень, убрались. Вот как бы только солому опять не поехали собирать весной, как в прошлом году...

– Равняйся на передовых! – опять трибунно читает отец, но мать не отзывается, я тоже, и он остается с газетой один на один. Закуривает, переворачивает страницу, долго и задумчиво разглядывает фотографию, одними губами шевеля, читает заголовки покрупней, и потом выходит на последнюю страницу, провозглашает: – Юмор! В ресто-

ране. Посетитель: "У вас палец в супе". Официант: "Не беспокойтесь, он не горячий". Ишь чего... Не азартно рассмеявшись, отец опускается по странице вниз, и я с печки вижу: "Театральная афиша Краматорска" – Кому это здесь интересно? – думаю я. А отец читает:

– Корр. ТАСС. Адрес редакции... – протяжно зевнул. – Че-то про охоту не пишут. Сейгод, видать, поздно откроют. С весны-то холода...

– Сиди-ко давай! С твоими ногами только на охоту, – опять вмешалась мать.

В это время дверь отворилась, показалась тетка Дуня, широкая, как сани-рôзвальни, старуха. Порог для нее, когда-то ядреной, а теперь отяжелевшей телом старухи, высоковат, и пока она перебирается через него, я гляжу, отодвинув занавеску над печью, как она, навалившись на дверную ручку, вышагивает левой ногой, упирается в нее рукой и только потом уж заносит в избу правую ногу, – вспоминаю фотографию, однажды попавшуюся мне, на которой тетка была снята со снопом льна. Сноп лежал на руке, она держала его и просто, как бы



невзначай, и бережно, словно на руках был не лен, а выношенный ею ребенок, и смотрела куда-то вперед откровенно радостно, гордовато, будто потряхивая выбившейся из-под платка прядью волос, но опять же просто... Выцветшее от времени худенькое, не черное, а какое-то серо-беловатое изображение выглядело похожим на солнечный августовский день, когда все созрело и налилось чуть-ли не избытком силы...

– Ты же тут как Матрена Тимофеевна, – держа фотографию перед собой, сказал я от восхищения, а тетка Дуня, не вникая, какую Матрену я упомянул, сразу, будто в ней всколыхнулось на мгновение прошлое, приказала:

– Ох, этот ленок-то, христовый, шибко нам всем доставался. Уходу-то, работы-то с ним!.. От жатвы спина еще не отойдет... А вот нажни-ко

двадцать суслонов ржи, да серпом... Суслон-то? А по десяти снопов в каждом – девять кругом тычки, десятый сверху, чтобы не мокли, вместо шапки.

Тетка улыбается, словно смягчая свое оханье, и досказывает:

– Тут ленок-то сразу и подходит, опять некогда разогнуться: вырвать, подсохнет – стелить опять, по снегу, считай, а потом опять собрать, а потом трепать. Оешеньки. – Она замолкает, а я по ее словам вспоминаю, как сам каждую осень после уроков ходил вместе с классом на поле "ленок теревить". Часто в непогоду, поле чавкает, ленок разметало ветром и дождем. Боязно руку сунуть сначала, чтобы нарвать пучок, потом уж не холодно, пальцы набухают, костеня от постоянного напряжения и потом начинают саднить от надрезов в сгибах суставов, которые протираются стеблями льна, как ниткой.

– Тогда ведь лен-то главным доходом в колхозе, у меня за него одних грамот, хоть печку топи. Медалистка я. Вот тебе, Егор, и Матрена, не знаю, какую бабу-то назвал. – Тетка снова улыбается и с добродушным задором добавляет:

– А я и плясала раньше-то побойчее вашего... Топтанье ноне одно.

...Вошла. Не набожно, а, пожалуй, на всякий случай, пере-крестилась в иконный угол:

– Живите богато.

Под материно: "Приходи-ко, богато", – приткнулась на лавку рядом с отцом, пожаловалась:

– Вся сейгод занемогла, – тут же, прищутив глаза, весело спросила:

– Чего вычитал в газете-то? – передала матери бачок, в котором принесла молоко: корову держат на двоих.

– А ничего. Все хорошо...

Тетка Дуня осмотрелась. Чувствовалось, что на этот раз она пришла не просто занести бачок молока, посидеть, а еще с какой-то заботой. Но если дело негорящее, в деревне деловые разговоры редко начинаются без раскачки. А потом уж, потом уж как Бог пошлет...

Отец курил, мать молчала, и тетка Дуня мягко спросила:

– Че-то все в рот воды набрали?

– А нет, ничего. Все ладно, – за всех ответила мать. – Ждем, может, ты чего интересное скажешь... ли спросишь...

– Есть чё и сказать, да сперва спрошу. – Тетка рассмеялась. – В лес в разные стороны ходите, каково ягодок-то видаете?

Отец, привыкший оценивать лесные богатства аршином своей молодости, сказал:

– А худо. Малины, так той не опятнало нигде. В цвету всю убило...

– Нет, а черничка-то вроде синее, – подправила мать. – Подсаживайся-ко, Евдокия, чай пить ко столу. Я, ишь, теперь по пяти раз кипячу. Устану – все бросаю, да кипятильник и в самовар.

Тетка, по обычаю посомневавшись, подседа:

– А ты чё, горожанин, скажешь?

– Черника-то есть; но далековато, В основном, по суболотям... Да и брусника, пожалуй, будет. Теперь еще не видно, зеленая...

Отец, уязвленный моим ответом, опять вмешался:

– Да какие это ягоды? Ты настоящих-то ягод не видал...

– Так уж и не видал. Я же не вчера родился. А на лесопункте когда жили? В Нарчуге.

– На лесопункте... – Отец хмыкнул. – Ты бы посмотрел, чо раньше, когда тебя и в помине не было. – Я засмеялся, бабы поддакнули: "Да, да"...

– Вот и смейся. Может, скажешь, что и грузди есть?... Ну так. Ты с мое по лесу-то походи, а потом суйся. Охотник нашелся. По три раза в белку стреляешь, – поддел меня отец, вспомнив позапрошлогодного охоту.

– Высоко, папа, сидела, в сучьях... А брусничка завелась. Малины нет и груздей тоже... Ты же теперь меньше моего по лесу ходишь.

Отец добродушно, чуть снисходительно отступал и сопротивлялся: – Меньше не меньше, а не мажу. Хоть на лету, хоть по зайцу на бегу. – Помолчал и не удержался: – Я, парень, только ружье-то с плеча сдерну, а оно уж и спело. Сам не раз видел... Ну, вот то-то.

Тетка с матерью сидели за столом, аппетитно швылькая, пили чай с блюдец, макая в него райпотребсоюзовские калачи, и мирно уже гадали о том, какова сейгод нарастет картошка, и наперед уж охали:

– Как только и копать будем. Егор уедет, сами едва бродим. Ох, господи, кормили детей, поили, а теперь, случись, слег – воды подать некому.

Напилась, перекрестилась, после чая всегда всем довольная, мать сказала:

– Ну, вот сердце опять пошибче запостукивало, – и ушла за чем-то на улицу, а когда вернулась, чуть рассоловевшая тетка Дуня спохватилась:

– А я ведь по делу пришла-то. Едва не забыла... Моего Михаила-то бригадир опять в пастухи сватает.

– А чего с Петром-то доспелось? – Петр – местный пастух, сухой, как сучок, мужик, вернувшийся в деревню тоже после дальних странствий. Не злясь, не возмущаясь, но громким по привычке голосом тетка объяснила:

– А запил опять. Говорят, уж два дня Косая Любовь-то его сама гоняла, а сегодня и она облучилась, ли озеленилась, как Зосима говорит. И уж, сказывают, в канаве за речкой едва не утонула. Пала головой-то в яму, чуть и не захлебнулась...

Охнула и сразу запричитала мать:

– Вот дожили. Ну и докатились.

– Ты не расходишь-ко пока. Каково владеешь? Если походишь с моим Михаилом, так он займется, – остановила ее тетка Дуня.

Мать помолчала, прогремела посудой, сбежала на улицу, где топилась плита под кастрюлей грибов и ужином, вернулась и спросила у отца:

– Неохота бы мне. Поработала раз в колхозе. Грех один. Опять ведь чего-нибудь доспеется, – ответила мать, но спросила у отца.

– А ты чего думаешь?

– А сама знаешь.

Мать подумала и согласилась. И опять:

– Вот наказание какое. Вот не зря говорил Федор Питерянин. Еще в первые годы, только коммуны начались, все говорил: доживете, вам уж полена никто без бутылки не привезет. Всего много будет, все богаты, и машин разных будет, а не привезут. – Мать передохнула, вспоминая то ли слова неизвестного Питерянина, то ли свои мысли, и продолжала запальчиво:

– А еще и воровать будут, лицемеры начнутся и в семьях раздор и блуд. Вот так и есть, к тому оно все и катится. А потому что в душе никакой остротки не будет. От Господа Бога-то отказались, а чем заменили-то? Книжники и фарисеи. Вон у меня сын-от... Оба с невесткой по второму разу сошлись, а какой толк? – Мать осеклась, вздохнула, всхлипнула. Наступило неловкое молчание. Тут, видимо, из намерения замять неожиданный поворот разговора, зарасходилась тетка Дуня. Сначала она поддакивала, а потом и сама пошла сочинять:

– Мне вон Володя, Васюхин-от сын, ну да тот, еще крышу у Феклинова амбара сгреб волокушей... Дрова в прошлом году возил:

утром забежал в избу, стоит, кепку на голове теребит. – Догадалась – налила. Крякнул, рукавом утерся. За возом съездил, опять в избу. Думаю, чо надо? опять на всякий случай подала – из избы как сдуло... Пять раз ездил и все забегал. И парень только из армии пришел, баской парень, хороший, а вот уж всю забегает... А не налей, так в середине дня у трактора часть какая-нибудь изломается: и по наряду за весь день заплатишь, и в другой раз уж никого и не найдешь. Вот так.

Мать, выслушав сестру, постепенно опять включалась в разговор, и воспоминания пошли по второму кругу.

Отец прижег новую папиросу "Север", закачал головой:

– Ну, бабы, все охали. Да пьют, да работают. Дело-то идет, вон колхоз на втором месте. Все, значит, ладно...



– А нет, Никифор, не ладно, – сбавив голос и уже без всякого задора возразила тетка Дуня. – А здоровье? А дети-то какие рожаются. Да много чего. Вон бригадир сказывал, как лежневку строили... Да не в лежневке дело, а к добру это не ведет. Порча...

Мать, куксившаяся за занавеской, собирая сепаратор, подскочила к двери в другую избу.

– Ладно, говоришь!? – отворила. – А это чего? – Показала в дальний угол, где около этажерки стояли в разные времена опустошенные бутылки – прежде эстолько-то за год не выпивали, а мы теперь за два месяца!

– Так что, и я, по-твоему, пью? – тоже повысил голос отец. – Когда стопку с устатку, когда две – с Егором.

– Не говорю, что пьяница, а говорю, что можно и реже.

– Да я с устатку, – отец хмыкнул, взял газету и затворил за собой дверь. Оттуда:

– Повыше вас есть головы. Вот они пусть и решают, ладно ли. – В отчаянии...

А у порога уж крестилась тетка Фекла, сухошавая северная старуха с каким-то странным сочетанием в характере набожности и чуть ли не озорства.

Искренне помолилась в иконный угол.

– Чего, благословясь, такое? В том конце деревни ревут, и тут рев. Живите хорошо...

Тетка Дуня засмеялась:

– В пастухи нанимаемся, то и ревом. А у вас кто?..

– Ульяна Веню опять митузит. Распьянехонек явился из гаража. Я из окошечка вижу – заносит его. Пал у крыльца. Улька-то выскочила, за кудри сразу оттаскала, а потом с ногами забралась, избегала вдоль и поперек.

– Есть по чему бегать-то. Едреный мужик, – рассмеялась тетка Дуня.
– А мы о том же.

– А теперь все об одном. – Тетка Фекла, костыляя, прошла к столу:

– Ты, Егор, не поедешь ли в село? Пост скоро, а у меня маслица растительного нету. Вот как Феклушка под старость-то. Евангеля читаю, а сама коровьим маслом пощусь... хотела уж Моргунка просить, да он, наверное, вина купит. Привык, христовый, у Фани-то. Парфейну принесет, лучистое окаянное...

Я пообещал завтра съездить и в тон ее речи сказал:

– Не молода, то и ноги отказали. Много ли тебе?

– А и сама недавно узнала. Вот сосчитай-ко. Буду рассказывать, как паспорт выправляла. Всю жись без его жила, а в Северодвинск к дочери поехала, так запонадобился. Приехала в милицию, спрашивает, когда родилась, бабушка? У вас, говорю, спросить лажу. Ну, годов-то, мол, сколько? Сама-то считаю, семисят шесть скоро – это я им. А в каком месяце родилась? А слушай, говорю, в каком. До рождества Христова – точно помню, от мамы слыхала, и через неделю после Воздвиженья Креста – это бабушка сказывала. Вот и считайте теперь. Начали с начальником устанавливать, он бумаги поднял, установили. Вышло, что на два года старше я. Так и в паспорт записалась – с девяносто шестова. Того веку я, прошлова.

– Тетка, а какой сейчас месяц?

– А вроде тот, который перед сентябрем. Начало... А день-то, Бог знает. Мне незачем. А понадобится – спрошу.

Тетка досказала, поддернула кончик платка, переложила палку, посмотрела под лавку, где стояла обувь, поправила очки.

– Ну-ко, Дуня, подай мне тапочки. Ой, сколько не б́аски! Где такие достала, Милодора? Отдай-ко мне.

– Тебе-то куда ходить?

– А в гроб. Платье запасла, а на ноги ничего подходящего нету.

Фекла помолчала, погладила тапочки по передкам, повертела.

Вспомнила:

– Егор, ты когда мне крышу-то на амбаре поправишь? Сволок ведь этот Васюхин молодец-то. Сволок, и не остановился, спасибо не сказал, а хороший парень. Передовик в колхозе, фотография на доске.

– Вот дров нарубим – тогда и поправлю.

– Ну, ладно. Так отдашь, Милодора?

Мать, не переставая крутить ручку сепаратора и не оглядываясь, сказала:

– Самой пригодятся.

– Мне-то раньше понадобится.

– Гадай, кому раньше. Вон у нас мама-то. Уж пять раз за последние годы всех к постели созывала, а вон опять Антонину баню топить наряжает. Хоть все бросай – да топи: ей париться надо. В баню ее на тележке возем, а обратно нас двоих с Тоней надо везти.

У нас сердце захватывает, а она говорит: холодно, да еще и пенничает: вы меня, мол, простудить ладите, чтобы я умерла. Ухаживать-то вам за мной надоело. Это же у вас сердце захватывает? В каком оно боку? Вот ведь как говорит! Да еще все и указывает Антонине-то: то тесто не так замесала, то пиво не так наварила. Лежит на кровати, глаз не спускает. Гадай тут...

Тетка Дуня вздохнула, выглянула в окно – вроде, пора расходиться.

– У-у, это куда Фаня Стафийкин эдак резко вышагивает? Э!..

Подошла к окну и тетка Фекла:

– Дак, к бригадиру, верно. Наряды закрывать...

Фаня, заложив руки в карманы, иногда оступаясь с узкой тропинки, проложенной вдоль машинной дороги, зло шагал в сторону дома бригадира, и, словно подогревая, что-то бормотал про себя, иногда вытаскивая из кармана сжатый кулак...

– Ну, давай, и нам пора по своим лежанкам.

Медленно смеркалось, природа, устав от перипетий не-надежной погоды, казалось, смыкала глаза и начинала дремать коротким, неглубоким и беспокойным сном, чтобы не проспать нужное для созревания время. Отец, целый день помогавший строить веранду отдыхавшему в деревне полковнику, остался в доме, одиноко сидел в другой избе и отрешенно, как бабушка Евгения Васильевна, смотрел через окошко за реку. Вновь появившиеся там стога сена, о которых он дня через три опять прочтет в таблице районной газеты, разбрелись по просторным полянам, окруженным старыми, уже осевшими валами, как табун лошадей в бледном, тоненьком тумане.

Улеглись и облака, весь день метавшиеся на беспокойном ветру, и небо, в котором уже второй месяц жили космонавты, было тихое, в чистых голубых просветах, сухое, обещающее ведро. Однако тетки, расходясь по домам, по какой-то врожденной крестьянской привычке огляделись, обнюхали едва заметно живший ветерок и невольно обмолвились, между собой, что "ветерок-то все-таки воротит в гнилой угол, с сивера, из-за угора", а это, по их давним наблюдениям, означает направление, чреватое дождями, и на ведро можно надеяться только потому, что они ошибаются в своих безграмотных приметах и что пока не осень, а только вот-вот август...

От усталости Черноков едва дотягивал последние слова, замечая, как рука невольно мельчит буквы, будто торопился побыстрее записать фразу и получить возможность для передышки. Наконец – точка.

Нащупав ногой перечень, соединяющий ножки стола, он уперся в него, расслабленно повесил руки на спинку стула, как пиджак, и, толкнувшись, перевел стул в качающееся положение. Как нечаянно вспомнившийся мотив старой песенки, в раскрутившемся от возбуждения мозга повторялась строчка: "Еще не осень... еще не осень"... Для сохранения ритма он прокладывал паузы какими-то невнятными звуками или словами, смещая акценты ударений то на "еще", то на "осень", и слушал по слогам, словно любовался печальным и щемящим шелестом звуков: "0-о-сень... о-сеень", – как шелестом осыпающего листву леса, или мелкого, густого, затянувшегося теплого дождя, будто сидел не в жесткой бетонной комнате, а где-то там в деревне, около крылечка дома и смотрел вслед уходящим к своим домам теткам...

Вот спустились со ступенек крыльца, пооглядывались, обмолвились по поводу ветерка и погоды и, поступывая одна за другой по доскам, вросшим в траву двора, словно стали утихать... А за оградой уж стали совсем другими, поглощенные пространством природы. Будто соприкоснулись с чем-то таким, от чего все только что умолкшие разговоры, в которых они искренне и горячились, и сетовали, казались мелкими и суетными. Все, о чем говорилось – что-то наносное, временное, а главное – это вот то, что вокруг, о чем они не думали, но всегда чувствовали...

Тетка Дуня, выйдя на тропинку, сначала заложила одну, а потом и другую руку за спину и пошла, от полноты тяжело переваливаясь, как большая утка, Фекла Ивановна чуть позади, сбоку, чтобы при случае

было удобно молвить слово по пути, шла чуть ссутулившись, почти прямо, но аккуратно, даже как-то бережно ступая по земле и травке, сначала ощупывая ее сухим бадожком, чуть обстроганным, и дотертым до гладкости такими же сухими ладонями...

Вспоминая, Черноков будто слышал, как она, ощупывая землю кончиком палки, то ли объясняя свою бережность, то ли оправдываясь, говорила: "Худо, как глазами-то совсем не попала. Боюсь ступить ладом-то: ли ногу свихнешь, нет так растопчешь зря живность какую маленьку"...

Покачиваясь на стуле и механически считая иногда по грохоту колес, сколько прошло за окном трамваев, Чернооков вспоминал, как тетка Дуня рассказывала:

"Я в школу-то один год и походила только, да и то до морозов... А валенки одне на троих были с Минакием да матерью твоей-то... А и дура тоже была, так чего зря лавки-то занимать. Это теперь всякого учат, а тятя у нас учил только того, кто с умом, да сам радел. У меня вон внучка-то все на одне тройки учится, а заставляют. Да и тройки-то, поди, авансом ставят"...

Не хитра, не жадна, а своего не отдаст и до чужого не охоча: дядя Минакий попилил день дрова с Михаилом Павловичем – ее мужем – и вечером тетка к нему уж с денежкой:

– Поплатиться иду к тебе, брат...

– Не трясись-ко, давай. У меня своих хватает.

– А и мы не бенные. Михайло сказал, сажени две напилили, так давай-ко возьми...

"И ко мне тоже", – усмехнулся Черноков, вспомнив сенокос.

"Ак, ужинать-то севодни ко мне, Егорушко".

"Мама накормит, корова-то ведь все равно общая".

"Обща, да это наша доля-то, так ко мне, давай. Я и рюмку выставлю, – тетка усмехается, но зовет настойчиво. – И погостимся заодно. Я к вам хожу, а ты мало не бывал"...

Он вспомнил, как в тот же день тетка, очеснув граблями стог сена, который он дومتывал, сказала: "Глядите-ко, мужики, облачка-то какие? Вон где сено-то лежит"... – и долго "смотрел" в небо, на котором ровными рядами, проложенными друг от друга голубыми полосками, расстелились легкие ситцевые облака, похожие на валки сена: будто по небу, как по огромному лугу, от горизонта до горизонта только что ходили покосами мужики...



Взгляд в небо всегда уносил его куда-то, заставляя думать и прислушиваться к чему-то, как к ветру, воющему в печной трубе по ночам, и он вспомнил себя вечерним студентом, терзавшим книги мудрецов всех времен и народов, допытываясь у них ответа на вопрос, без решения которого все морали и науки

выглядели для него в "безопорном положении"...

"Ну, допустим, что смерть есть? – вспоминал он рассуждения студенческих лет, – Тогда ведь все можно, тогда делай на земле, что хочешь: грабь, убивай и лги.

Придет она и все унесет с собой, как ничего и не было – и хорошее, и дурное... Стало быть, прежде чем рассуждать о том, как жить, что хорошо, что плохо, людям надо решить, как относиться к ней, к смерти? Признать, или не признать?"... И вспоминал, как однажды говорила Фекла Ивановна:

"Я новóй день встану утром, помолюсь, чаю напьюсь, в избе приберу, устану, прилягу на постелю опять. В деревне тихо, только птички чичикают, солнышко в окошко заглядывает, рябинка... Тебя как и нет самой-то. Помню, думаю, вот так бы Господь и прибрал насовсем. Незаметно кануть бы"...

"А тебе не боязно, тетка?"...

"Не знаю, я не думала... Да мы ведь никуда-нибудь пропадаем, тут же и остаемся. Травка вон каждый год умирает, а опять встает. Вот то боязно, что слягу, своими ногами не дохожу. Вон у нас молодича-то?"...

Он улыбнулся, вспомнив, что молодичей она зовет бабушку Евгенью Васильевну...

"Вот, бабушка-то, говорю, пятый год от койки до окошка едва бродит, так ловко ли Минакию с Антониной?... А у меня и воды подать некому – дити-то, ишь, все вы разъехались"... Фекла кротко вздыхает, видимо, вспомнив что-то из молодости, когда она одна осталась с двумя дочерьми и сыном. Не раз сватали ее деревенские мужики – дети погибших солдат не повод для ревности, но брат, молодичын муж, отрезал: "Буду помогать. А выйдешь, Фекла, замуж за другого – отрекись!"...

"А я и не каюсь, ни разу не пожалела, а шибко тяжело было первые годы. Это нонь... А мы такого распорядка не знали, у нас это грешно считалось – венчают-то на всю жизнь. Да мне только Иванушко и виделся"... Говорила Фекла Ивановна, как обычно не жалуясь, не имея ввиду вызвать сочувствующий вздох, а тем более "покрасоваться", дескать вот мы какие... Голос ее сочетал в себе и какое-то озорство, и строгую мораль, и в то же время естественную осторожность в несогласии с тем, как живут другие люди...

Хотелось упасть на диван, "даже лучше бы в обморок", чтобы от всего отключиться, распластаться, но на душе было как-то беспокойно, неуверенно, в возбужденном мозгу мелькали мысли то о старухе у колодца, то обрывки телефонного разговора с женой перед поездкой в Нарчуг. И думалось, будто надо еще что-то проскочить обязательно сегодня, и только уж потом передохнуть, сколько бы на это ни ушло времени – хоть всю ночь. Иначе можно выбить себя из сложившегося сегодня настроения, – нужного, соответствующего чему-то тому, о чем надо обязательно сказать...

Отметив, что в городе уже опять смеркается, Черноков вышел на кухню, чтобы поставить чайник и снова заварить, только теперь уже не чаю, а ту же кружку черного кофе...

– Хорошая пенка, – с издевательской веселостью сказал он вслух, глядя на мелко пузырившуюся поверхность варева, дымившегося в пузатой, почти полулитровой кружке: "Ну, этой-то "бомбочкой" я прошибу свой глиняный лоб, я заставлю себя заговорить. Заряд увесистый", – он поставил кружку на ладонь, взвесил ее, как кирпич. И услышал, как словно вздрогнув от предстоящего удара, робко и просительно простукало сердце: "А может не надо так, Егор?"

"А ты потерпи, милое, потерпи... Это мнэ! надо!"

"Зачем?"...

"А затем, что пока я не избавлюсь от того, что во мне наболело и напуталось, я ведь все равно не дам тебе успокоиться. Так что, давай, попробуем сегодня еще что-то сообразить"...

Заказав себе искать что-то неясное, он взял из нахально сверкавшей полировкой "Моники" книгу, которую купил по пути из деревни, мельком взглянув на заголовки статей, один из которых тогда явно заинтересовал его.

Найдя статью, он зажег маленький свет...

"Россия стояла на девятом месте... на первом месте стоит Дания, где

приходится 1,72 ведра на человека в год... Указание на малое потребление спирта в России не представляло ничего успокоительного, ибо не количество, а способ его употребления... С 1886 по 1906 год население Русской империи увеличивалось на 20%, а питейный доход – на 133%...

Глубоко несчастно то время, когда о злоупотреблениях говорят все, а победить их никто не хочет... В законе и отдельных проектах предполагалось: уменьшение процентного содержания алкоголя и увеличение размеров посуды...»

"Какое же это время? – мелькнуло у него в мозгу, и хотя он и знал, что книжка давнишняя, все же заглянул на последнюю страницу: кажется, что меры эти были уже на его веку. – Нет, 1906 год"...

«Устройство театральных представлений и разумных развлечений, если и служит на некоторое, очень короткое время... В кинематографах, где большее место отводится изображению борьбы с ловкими преступниками, кончается все же торжеством порядка, но попутно наглядно преподается методология и систематика грабежей и убийств...»

"Не может быть" – выдохнул он, и от желания с кем-то посоветоваться, порассуждать, невольно оглядел комнату. Но время же течет необратимо?... Как утверждает новейший энциклопедический словарь."

"Боязнь ораторов нашей Верховной палаты лишить, коснувшись корня зла, наш бюджет одной из самых существенных статей, – снова читал он, – побуждала их наряду с оплакиванием результатов народного пьянства идти на различные уступки и компромиссы. Между тем в городах пили в три раза больше, чем в сельских местностях... В таком виде застала вопрос о народном пьянстве война"...

Услышав шуршание и щелчок замка у входной двери, он невольно вздрогнул, сначала от неожиданности появления звука, а потом и от мысли, мелькнувшей сразу же: "Она. Интересно, в каком настроении? – подумал он и прислушался, угадывая его по характеру шорохов и движений, доносившихся в комнату. – Если в хорошем, значит, ненавязчиво заглянет, поинтересуется им и займется собой, не "карябая" состояния, не помешает. Хорошо бы..."

А если чем-то недовольна?... О, не дай Бог. Только не сегодня. Даже если тихо войдет и тихо что-то скажет, все равно вышибет... От этих, даже тихих слов веет уж слишком... Такое излучение, будто насквозь...

Пытаться не заметить ничего бесполезно. Молчание и тихость будут так "орать", так требовать, чтобы занялись ею немедленно, что хочешь не хочешь, все забудешь... Удивительная, сильная женщина. Надо же, заставила меня, хоть и скрытно, но бояться, не дай Бог узнает об этом, – беспомощно и удивленно подумал он, прислушиваясь к звукам. – Ведь сама же, можно сказать, пробудила меня и заставила сидеть у стола, ловко и тонко поощряя первые опыты, что-то усмотрела ведь в их полной беспомощности... И сама же настаивала, когда он еще пытался отнекиваться: "Не могу, не мое дело, бездарно"... Сама же утверждала обратное, позволяя такие слова, как талант, одаренность. И... вот теперь, когда я уж и сам волей-неволей увяз в этом омуте сомнений, когда сам стал относиться к себе серьезней, сама же будто хочет всё и разрушить... Может, потому, что я стал больше заниматься не ею, а делом? – Он хмыкнул, вообразив, как она бы отпарировала: "Если бы делом... Ты любовницами стал заниматься"... Или она, толкая меня в эту пучину, думала, что все будет легко, и она будет опять, назло "своему Игрю", оставившему ее, – "блистающей в свете"? Или?"...

Он еще раз прислушался. Потом она вошла, и по ее походке он понял: "Сегодня ничего, сносно"...

– Привет, – ласково сказала она, подходя к нему на цыпочках и явно заигрывая, как бы оправдываясь за что-то. – Ой, закурил ты тут все... Умрешь – и я не дождусь твоих гонораров. А у меня сегодня лекции хорошие были. Слушатели все благодарили, даже цветы подарили. Вот... – сбегав к дверям, поставила в вазу букет флоксов...

– Хорошие цветы, – вяло отозвался он. – А гонораров моих ты все равно не дождешься, даже если жив останусь... Не о том пишу, не так... законов ваших литературоведских не наблюдаю, – намекнул он на домашние споры, случавшиеся не раз и, как правило, сворачивавшие на выяснение совсем других отношений.

– А ты напрасно иронизируешь. Они есть, законы композиции, законы развития сюжета. И их надо знать, – ответила она убежденно, но не задиристо.

– Если их можно узнать, то, значит, можно и штамповать, – тоже благодушно возразил он. – А по-моему, так вы путаете законы всяких там композиций с инструментами, необходимыми для строительства домов. Инструменты надо знать, какие открыты, и владеть ими, чтобы не изобретать велосипед... А законы? У каждого настоящего "архитектора" свой материал, который и диктует законы организа-ции

его, материала... Если он будет оглядываться и подгонять его личный материал под известные твоим коллегам законы, то вы первые же расшумитесь, что ничего оригинального не вышло: старо, известно и прочее. Вы же сами не делаете, а критиковать – о! разъяснять – ого-го!...

– Ты как всегда упрямо прешь против очевидных истин. И напрасно...

– Наверное. Только меня никто пока не убедил, а сами поэты, у которых я не прочь учиться, высказываются хоть и не столь ясно, как вы, но более привлекательно. И потому... – смиренно возражал он, – а потому я добиваюсь только одного: как можно точнее выразить накопившийся во мне и лично мой материал. Иногда даже больше – ощущения, связанные с ним... Выразить так, чтобы это выражение устраивало опять мое же, врожденное, наверное, "понятие", как хотите, – гармонии.

– Ну, ладно, хватит. Мне эти твои вечные сомнения и рассуждения уже надоели. Ты никогда не переубедишь меня. Ты бы лучше по редакциям почаще ходил и не падал в обмороки, когда там тебе наподдают. Ну, ладно, шучу же я. Пойдем лучше попьем хоть чайку вместе...

И он опять пил чай, ведя легкие разговоры, точнее не ведя, а только поддерживая их, то шуточкой, то вопросом, дававшим время помолчать, и одновременно следил за мыслями, вившимися в мозгу, словно мошкар на закате солнца... "На следующее утро, после того, как она позвонила из райцентра... Утро было какое-то чистое, сухое и гулкое, так что рокот мотоцикла рассыпался в воздухе отчетливым, крупным горохом. Где-то далеко"...

Кое-как дотянув семейную церемонию до того момента, когда жена стала укладываться спать, он собрал свое имущество, состоявшее из записных книжек, обрывков листков, на которых он во время работы записывал то, что мелькало попутно и казалось возможным где-нибудь сгодиться, тихо, чтобы не вспугнуть что-то, уже бродившее внутри, будто приближаясь, притворил дверь на кухню... И то ли про себя, молча, то ли вполголоса вспомнил: "Некий чужак и поныне за правду воюет, правда, в словах его правды на грош... Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то, что коварная ложь... Если проделает то..."

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Последние два с половиной километра, оставшиеся до места, где был когда-то поселок Нарчук, мы пошли пешком, закатив в кусты мотоциклы: изрядно потрепанный спортивный ИЖ, на котором мы ехали с братом, и "Москвич" почти послевоенной марки, извлеченный из соседского сарая и вновь поставленный на колеса Ильей. Первая машина за капризность характера и диковатую мощь была окрещена Мустангом; вторую за ветхость и безропотную готовность трудиться из последних сил можно было бы назвать лошадежкой, но как-то раньше подвернулось другое слово, и Москвич стал макакой...

Закатали их на росстанях, где расходились старая машинная дорога с тележничей, зараставшей травой и кустарником, по которой мы все трое ходили когда-то в среднюю школу; и над которой теперь, сомкнувшись вершинами, нагнулись тоненькие березки, сосенки, елочки – от снега ли, от ветра, от неокрепшей молодости...

Взглянули в затягивавшийся просвет среди леса. Всем, кажется, вспомнилось одно и то же, и всем, наверное, хотелось сказать что-то: на этой дороге с одиннадцати до шестнадцати лет каждый из нас натер много мозолей никудышными, часто не по размеру, сапогами и валенками; и на плечах – лямками котомок, набитых матерями недельным запасом еды, сменным бельем, книжками... Но в мгновения, когда видишь перед глазами свою жизнь, не имеешь, как перед могилой, и вместо слов в душе ворочается лишь бессвязный лепет и безмолвные вопросы, не доходящие до сознания, – будто смотришь в бездонную глубину, в синеве которой просвечивают, как призраки, твои глаза, твое лицо, но вроде бы уж и не твои...

– Ну, пошли, – сказал Илья, отвернувшись. Поправил очки, кепку, лямки рюкзака, чуть поерзав спиной, чтобы он улегся удобно. Шли рядом, шаркая голенищами резиновых сапог и пыля машинную колею. Через Нарчук ездили в районный центр из дальнего, еще существующего лесопункта, поэтому дорогу поддерживали. Шли, оглядываясь, то отмечая взглядами знакомые старые елки, березы, пни, то не находя чего-то. Спустились в речку, постояли на бревенчатом мосту, застланном лежневкой, глядя на камни, обросшие темно-зелеными, как налим, пучками тины, которой тут почти не было, когда по речке сплавляли лес, и сказали друг другу очевидное:

– Зарастает речка, будто меньше становится...

– Хвоща по берегу больше, в воде даже, потому и уже кажется...

– А пониже-то яма была с бырью. Помню, я тут впервые вытащил хайруза четверти на две, еще в начальной школе учился. – В детстве у нас мерой рыбы был не вес, а четверть – расстояние между вытянутыми до предела пальцами, большим и указательным.

– Ну, осталось еще пять угоров, – сказал брат, когда мы поднялись из речки и вышли на боровину с невысоким, но заметно подростшим и загустевшим сосняком.

– Пять угоров и три поворота в логах.

– Считали, помните, когда из школы шли. Двадцать километров, под конец ноги едва волоклись. Вот у этого говорили: "еще выйдем".

У следующего: "как-нибудь тоже выйдем", у третьего: "ох, как бы еще вышагать", у четвертого уж: "падú сейчас на бок, не пойду, кто бы сбегал лошадь запряг". А у последнего опять отлегал: "Ну, в этот выберусь ползком, а с него уж кáтом можно, как бочка. Почти до дверей"... М-да?

– Осенью особенно, или весной в распутицу. Грязь чавкает, как засосет! Я один раз ногу из сапога вытащил, а сапог едва нашел в потемках. – Илья рассмеялся и весело, и чуть грустно.

– А факелá? Меня мать однажды не узнала – все лицо в саже. Бересту жгли...

– А потом, когда трактора появились, солярку в консервных банках, помните? тряпки пропитаешь, долго горит, а когда погаснет в лесу, да осенью, друг друга рядом не видно после света...

– Да и так осенью-то тьма. И ничего, ходили, не боялись вроде. Да нам ничего особенного в этом и не виделось. Обычно. А как иначе? Мы же ведь так все воспринимали. Это теперь выглядит чем-то...

– И девки с нами ходили. Галька, моя сестра, пятиклассницей совсем ребенком выглядела, да еще худая... Я смотрю иногда на своих студентов – не хотят учиться, кочевряжатся – то не так, это тяжело. Думаю, рассказать им – не поверят.

– Да теперь и деревенские не поверят. У нас вон в Рекрутине за пять километров возят туда и обратно. В автобусе: из дверей в двери высаживают.

И каждый из нас, кажется, грустно подумал, замолчав: "И зачем мы ходили? Во имя чего? Что хотели?.. Все ведь оказалось не так, как представлялось... А может, мы слишком много хотели, слишком

счастливой учили нас видеть жизнь? И потому кажется теперь, что обманулись?..

– Витька, а ты помнишь, как шаньги здесь рассыпал? – вспомнил Илья, когда мы дошли до третьего угора, и хлопнул брата по плечу. Тот смутился, улыбаясь, а Илья, оживившись, рассказал. – Вышли мы вот сюда, на самую верхушку, идти неохота, в шестом классе мы вроде учились? Витька вдруг говорит: "Мне че-то легко стало?" Я остановился, смотрю, а у него узел на котомке развязался – набита была доверху – и две шанежки...

– Колобушки, – поправил брат с детской задиристостью.

– Ну, ладно, колобушки... Так смотрю, внизу штук пять уже лежат кружочками на снегу, а две от него колесиком катятся под гору, а третья уж из мешка выпрыгивает...

Мы все расхохотались, забывшись, будто приближались, как тогда, к дому, где ждет мать, топится печка с булькающим чайником на плите, кастрюля свиного супу, сковородка с жареной картошкой; потом баня, клуб с танцами и кино, и отдохновение, и радость, что впереди целая ночь дома, и что обратно идти надо будет только завтра, опять двадцать три километра до интернатской койки – но это только завтра, и во второй половине дня, – еще далеко и можно не помнить...

И все эти радости, с которыми мы жили за те годы, будто и сейчас светили в лицо где-то недалеко, за оставшимися впереди не крутыми, скрытыми бульдозерами, двумя угорами, будто обогревали тело, как поднимающееся солнце. И хотя мы, почти каждое лето бывая здесь, все знали, не верилось, что теперь нас ждет другая картина. Не верилось, хотя помнили, как сами разбирали и перевозили дома, хотя оттуда, где раньше стоял поселок, исходило какое-то совсем другое излучение, чем прежде, и давило. Будто там, за оставшимися двумя угорами и лесом, уже сам воздух стал разреженным, и цвет его, казавшийся разным, когда горели окна в домах и лаяли собаки, стал одинаковым: темным. Хотя день был солнечный, взамен когда-то светившегося радостью встречи Нарчуга, кто-то будто мрачно смотрел навстречу старческим усталым взглядом, и наблюдал за нашим приближением, то ли спрашивая что-то, то ли сетуя. Иногда, забывая воспоминания детства, будто что-то завывало, по-собачьи вытянув во тьму лицо. Или ветер в трубе во время ненастья: то вспоминалась контора с выбитым окошком мезонина, стоявшая неразобранной еще два года после того, как поселок весь уже умер, и остатками печей, прясел, сгнивших срубов – будто валялся на земле, разоренный...

– Смотрите, – как-то хладнокровно, будто запрещая себе напрасно мучаться и готовясь к предстоящей встрече, сказал брат и резко окликнул дернувшегося вперед Шарика. Но тот и сам быстро остановился, подняв шерсть на спине.

По середине предпоследнего угора дорогу переходила тощая волчица с отвисшими сосками живота. Переходила спокойно, непуганно, лишь обернулась в нашу сторону, посмотрела и, словно не найдя ничего интересного, по-хозяйски упрыгнула в придорожные кусты...

– Не зря говорят, что тут волки прижились. Теперь опять они хозяева, как в первые годы... Помните, рассказывали мужики, что двери у барачников грызли...

– Только теперь уж не скоро их потревожат люди – километров на тридцать вокруг все леса повырубили. Новые когда-то нарастут? Да и нарастут ли такие?..

С вершины последнего угора, с которого спускалась белеющая песочком дорога, и раньше, когда стояли дома, как в колбу втекала в поселок, теперь открылось что-то вроде небольшого холма, с ощущением остатков чего-то брошенного...

– Раньше казалось много места, широко...

– Раньше это был центр земли, – обронил брат.

Мы входили в начало поселка, откуда он раздавался вправо, постепенно отеснив лес, и влево несколькими домами и огородами спускался по косогору почти к речке, где стоял и наш дом, от которого до дома Ильи вроде надо было бежать да бежать. Теперь, казалось, что площадь и все само пространство сжалось. Дома, когда-то стоявшие на большом расстоянии друг от друга, теперь лежали почти рядом, маленькой кучкой, чуть бугрясь остатками, как могилки на сельском кладбище. Только без крестов, заросшие лебедой, красноголовником, иногда кустиками малинника...

– Еле нашел, где стоял дом. С каждым годом будто затягивает, как следы в трясине, – пожаловался Илья, спустившись к нам.

И мы с братом уж негромко спорили:

– Вот здесь стоял дом, видишь ямку от столбов под углами заметно... Вон стоит отцовская мастерская, часть хлева. Значит, здесь был парник...

– А точило тогда где стояло? Оно же у входа в ограду было.

– Ну, может быть. Где-то тут еще летняя кухня была?..

– Куда же место-то исчезло? – Мы помолчали. А что-то будет тут после нас? Хорошо, если опять лес.

– А я вот... – Илья поднял в руке махонький детский ботиночек, – Каким-то чудом уцелел, под доской в траве. Дочка когда-то в гости приезжала... Да, всего шесть лет прошло, как закрыли, а уже... Потом вообще лесом зарастет. Кустарником-то точно...



Блуждая, как погорельцы, мы обошли поселок кругом, как духов, вызывая в памяти бывших нарчужан, повспоминали, кто куда уехал, кто еще жив, а кто уже умер; оказалось, что в первые же годы после закрытия поселка начался какой-то падеж, особенно среди мужиков: переехав на новые места, несколько сорокалетних мужчин спились, трое удавились... Мы заглянули в нахохлившуюся от одиночества мастерскую: две нары стояли по бокам печки, сахар, две кружки...

Два каких-то незнакомых мужика косили вдалеке пожню у реки, и будто усиливали пустынную и безмолвие...

– Ну, что?..

– Ничего...

– А что делать?..

– Надо?.. Только сначала червяков подкопаем...

– Да, в кочках их много...

– Потом нальем, кусок хлеба разломим, помянем, как полагается на могиле. Кто тут похоронен-то?.. Беспризорники мы теперь...

Сейчас, когда я вспоминаю, и тогда, на развалинах, мне кажется, что какие бы слова ни говорились, они были не те и, произнося их, мы все будто думали, стесняясь признаться, об одном: "Хорошо бы все начать сначала. Снова построить Нарчуг, снова родиться и никуда не уезжать"...

– Никак не пойму, – о чем-то сказал Илья, держа в руке побелевший от дождей детский ботинок.

– Ага, – ответил брат, тоже непонятно к чему.

– Я нежно болен воспоминаньем детства... Похоже? И это, оказывается, уже знакомо...

Закурив на прощанье, мы спустились к речке, по пути вырезав на бору удилища из тонких сосенок. Вытянувшись метра на четыре, они так и не выросли в сосны – то ли не удались здоровьем, то ли соседи оказались старательнее их и сильнее, – и засохли, достигнув в основании толщины мужицкого пальца. Очистив их от шелушившейся уже коры, мы привязали лески и пожнями, на протяжении почти десятка километров лишь кое-где выкошенными, пошли берегом.

– А когда-то колхозники все до травинки косили.

– А нарчужан судили, если кто осмеливался накосить тут травы для своей коровы.

– Да, в лесу собирали по копне. На старых вырубках...

– Так на тракторе тут не развернешься, а кос в колхозе теперь и нет даже. Да и рядом у деревень начистили полянки. Под окошком... И то убрать как следует не могут.

– М-да, доставалось нам молоко. Каждое лето... Где-то пионеры по лагерям, по Артекам... Помните, песенка была: "Есть местечко в Крыму". Мы же ее и разучивали на уроках пения и радовались за всемирных пионеров, будто они были с другой планеты, а нас это совсем не касалось.

– А теперь каждый год из района посылают туда отличников приобщиться к международной солидарности...

– Без тапочек теперь не только по лесу, по деревне не бегают...

– Как жаль ребят, невинно хилеют, все строим, все под руководством...

Нет, кажется, не говорили и не думали мы об этом, ощутив все краешком памяти, и, выбрав для начала рыбалки каждый свое местечко – брат убрел высокой травой в поворот речки, где ему помнился

глубокий омуток около нагнувшейся старой елки, Илья спустился чуть ниже по течению, высматривая ямку для первого заброса; я, перейдя речку вброд, ушел к другому изгибу речушки, откуда доносилось бульканье проглядывавшей в ивовых кустах быри, – мы надолго распались в одиночестве, растворившись среди природы. Ближе чем на двадцать километров никакого жилья... Лес, трава, речка, над головой светлая голубизна неба, по которому в разные стороны разметались облака, будто по нему, вылетев откуда-то из-за леса и горизонта, пронеслась огромная птица и разбросала по воздуху свои перья... Глубина, тишина, покой, недоумение и затаенное дыхание с невольным учащением пульса перед каждым забросом крючка, и ожидание удачи, как во сне...

Лишь иногда во время переходов от одного омутка к другому, от одной бырцы к другой и когда долго не клевало, я, осознавая себя, думал: "Как странно, что где-то есть города, скопища машин, шума, толкотни, где все бежит, где решают какие-то проблемы, запускают космические корабли, где говорят, что планета может погибнуть", – и невольно оглядывался: "Вот эти пожни, трава, лес, речка?.. Безумие. Мы что, ошалели? понастроив каких-то бетонных клеток. Утратили все земные чувства, зарвались, забыв, что нас родила мать... И мы дети... Странно? Да есть ли вообще это?"...

И в этом недоумении мне опять хотелось что-то разгадать, будто истина, объясняющая все самое главное, бьется внутри тебя же, как родник из земли: вот еще чуть-чуть напрячь мозг, напрячь все тело и родится звук, и откроется, мелькнет какое-то напрашивающееся само собой слово – одно, два, – надо не больше, чтобы выразить приступ этого чувства и все разгадать...

Но слова, которых, казалось, надо всего-то один-два, как раз и не произносились. Их будто только чувствовала душа, а сознание вязло в немоте. И фразы, которыми мы обменивались, время от времени встречаясь на берегу, были другие.

– Ну, как?

– А вот смотри!

– О?! Это уже рыба настоящая. Где ты его зацепил? Даже жаль, такой красавец.

– А у тебя?

– Да в одном местечке тоже... Из-под куста. Еле забросил...

– Где чисто, там хариус не живет, туда любой дурак забросит крючок.

– Да, хариуса надо добывать. Честно, трудом добыть... Красивая, страстная рыба, когда клев. Всю жизнь ловлю, охочусь до упаду. И кажется, сколько себя помню, всегда жаль, особенно большого, еще прохладного и яростного, мечущегося на берегу. Будто еще не верящего, что на берегу, будто речка еще и сама бурлит на нем...

– Ну, еще разойдемся... Избушка уж не так далеко, вечереет... А Илья впереди?

– Ага, кажется, к ручью подался. Помнит, там ниже-то бырь глубокая. Всегда что-нибудь да клонет...

И опять исчезли в безмолвии, как кусты, трава, лес. И на закате солнца около избушки долго чувствовали себя будто всплывшими из глубины. Окружив костер, пили чай: из стаканчика от сломанного термоса, из крышки от солдатского котелка, всполснутого после ухи, из кружки. Сидели, пристроившись, как кому пришлось по душе: брат на ветхой скамеечке, вкопанной в землю, Илья на окладниках избушки, специально выпущенных из-под сруба, я на доске перед лазом в избушку, изнутри которой тянуло дымком каменки, окутивав-шей помещение от комаров.

Избушка стояла на сухом берегу, у подножья крутого, заросшего старым ельником косогора, будто привалившись к нему спиной. Пала роса. Тишина и тонкий, как простыня, виток тумана в низинке... Небо освободилось от облаков и по горизонту светилось от неглубоко закатившегося солнца, которое будто стало ближе, чем днем, где-то вот за речкой внизу прилегло за лесом только чуточку подремать. И над тем местом, где оно садилось, словно дежурила маленькая звездочка, смотрела сверху на солнце и следила за тем, чтобы оно не проспало время своего восхода.

Мягко, почти бесшумно, трепыхались язычки полуночного костерка, как косынка, выскакивая то с одной стороны, то с другой и занимаясь на вновь подброшенных сучках и щепках.

Тепло, прохладно, чуть влажно...

Внизу под берегом булькала, катясь по камешнику, речка. От тишины вокруг воздух казался наполненным шепотом искорок, и от этих, может чудившихся звуков, будто чутко вибрировал.

И опять от недоумения перед чем-то тянуло оглядываться...

– Да, красота...

"Нет, не то хотел сказать Илья", – думал я. – И, судя по взгляду, брат тоже, наверное, отметил это же. Да и сам Илья понял, что сказал не то. А где взять слова?... И мы сидим, пьем чай и то ли молча, то ли вслух

говорим друг с другом, пропуская что-то, недоговаривая, нестройно, все разные. Но?... И еще друзья детства, будто тоже витающего здесь...

– Давай, вернемся насовсем, а?... За что мы там держимся?...

– Да, действительно. Все в чужих домах, дворовики, на птичьих правах... Лиля чуть что, мол, деревня... Либо ты будешь вести себя прилично – читай: как ей надо, – либо на все четыре стороны... Восемь лет женаты... Потом кается, утверждает, что сгоряча. Но как говорит бабушка Еня, мысли-то, значит, провертываются... Какая-то страшная вдруг дистанция, пропасть. Вот и сейчас тягость, будто в деревне что-то произошло. Она же хотела, чтобы я ее встретил...

– А кто-то сказал, что людям давно уже пора чувствовать себя не русскими, не немцами и американцами.... а просто землянами...

– Логично, естественно, если уж ищем братьев по разуму в галактиках. – Кивнули в сторону звезды, светящейся над солнцем, осевшим в лес. – Только это ложная мечта, от лукавого...

– А что мы тут будем делать? Это ведь в отпуске... а постоянно – это другое...

И откуда-то из глубины, как от человека, кричащего уткнувшимся в землю лицом, голос:

– Мне иногда кажется, что я бы стал крестьянином, земледельцем. Только самостоятельным... И науку современную освоил. Набрал бы бригаду из этих же мужиков, или молодых – странно звучит, будто мы, еще не дожившие до сорока, уже старые, – ребят. Уверен, они бы стали работать не по расписанию, а как требует земля... Они же сейчас не чувствуют плода. Работа раздроблена, как на заводе. Деньги знают, а они – не Хлеб, не пахнут... Даже председателем колхоза стал бы, но тоже самостоятельным, чтобы мне не указывали откуда-то издалека... С этими же людьми согласился бы.... А государству платил бы за аренду техники, полей, удобрений... Точно по договоренности, исходя из возможностей земли, из науки земледелия, а не по огульному: давай! – признался Илья.

– А я не уверен. Мужiku дай землю, скажи – работай – он не согласится... Потому что тогда надо будет работать! Работать! Ни за чью спину не спрячешься. Так же, как вы на строительстве дома: сколько надо, до упаду. И чтобы точно в срок, и чтобы хорошо, и точно так, как надо. Вам делать поблажки комиссия не заинте-ресована... Деревню уже развратили...

– Ну, почему у нас все не так?... У меня, ладно... А у тебя-то, Илья, вроде все хорошо складывалось. Помню свадьбу в "Астории". Ее высокопоставленные родители тосты за твою мать: спасибо за то, что такого сына воспитала. И вот через одиннадцать лет – развод.

– ... сказала еще в самом начале, что хотела, чтобы я был ее братом, а не мужем. А Витька? Ты тоже вроде дважды женился? Уж забыл, прости...

– Да. Мы что, плохие, что ли? Уроды? Ничего не умеем?..

– Вроде и нет... Тебя на работе не любят, не ценят? А тебя?..

– Нет, кажется, напротив.

– Так что же, жены плохие?

– Да нет, вроде тоже нормальные бабы...

– Может, в этом и дело, что мы продолжаем говорить "бабы"?..

– Они хотят видеть нас мужчинами из романов, не желая замечать, что положение-то мужчин совсем иное...

– Странно, смешно, забавно... Боролись за эмансипацию... за равноправие... Нет, просто перепутали равноправие с равенством. И вышло женовластие, – как сказал один историк, вспоминая XVIII век России.

– Нет, у нас корни другие, мы слишком старомодно воспитаны, посельски. Они же не могут по-настоящему почувствовать, что значит для моей матери закурить. Это не просто сигарету выкурить – это посягание на основы... На нравственность. На самого Господа Бога.

– Дело уже не в них, в нас. Мы как взрослые деревья, пересаженные... мы асфальт не можем принять.

– Но и без городского грохота через два месяца тоскуем...

– А назад? А куда?..

Словно ерш, нехотя приподнявший спинной плавник, посреди выкошенной поженьки дремал стог сена в будто наброшенном на него сверху колечке тумана...

Рядом, чуть нависая, на нас смотрела последняя на всей речке старая избушка со съехавшей с одного боку крышей – опустила ее, как птица надломленное крыло...

Уже неподдерживаемый костерок тихо играл маленькими клинышками огоньков, перескакиваемых в поисках еще не до конца выгоревших углей, и сразу же азартно вспыхивал и оживал, облизнув уцелевшую на головешках сухую, смолистую древесину...

Спокойно рос вокруг лес. Чуть потускневшая, белая северная полночь. И опять желание оглядеться вокруг в странном чувстве недоумения. Словно все это снится...

Уже по внешнему виду, по жесту руки с граблями, которым дядя Минакий просил нас остановиться, сосупив на обочину дороги, я понял, что тревожное предчувствие, всплывавшее во мне в течение обоих дней рыбалки, кажется, подтвердится.

Деревня уже виднелась за полем густого, низкорослого ячменя.

Брат заглушил "мустанга", улыбаясь и готовясь похвастаться уловом, но дядя, как бы откладывая это, подходил без обычного в таких случаях, интереса и сразу взглянул на меня. Все-таки для раскочки, хотя и без присущей ему жизнерадостности, спросил:

– Ну, как, рыбаки? – потоптался, постукивая полусогнутыми, натертыми работой пальцами по фаре мотоцикла.

Брат молчал, удивленный таким вялым интересом любимого дяди, а тот, подняв в неловкости глаза, снова выбрал ими меня.

– Ое-ей, Егор... Вы как там в городу-то поживаете?..

– Так и знал, – обронил я, ничего не уточняя.

– Никакого, парень, спасу, – дядя попытался всхотнуть. – Тебя ждем. Иди давай, умиряя жену. – Мать, та хоть и с дому рада сойти... Да чего, чего?! Не встретил её, вот с этого и разговелась...

Во дворе и вокруг дома стояла пустота, и дом стоял словно в воронке, в которую засасывало. Во дворе никого не было, даже кошки; будто все разбежались, оставив в воздухе следы паники, и перепуганно выглядывали из-за углов. Пес Шарик, обнюхавшись во дворе, выжидающе улегся за поленницей дров.



Потом откуда-то выпала мать. Увидев нас, только взглянула – опять на меня – и скрылась в хлеву. Обычно в такие минуты она не могла скрыть обрадованности, которую чаще всего выражала ворчаньем: "Уж все вы допоздна по лесу ходите. И отец раньше, и вы такие же", – тут же, оценив состояние охотников, принималась хлопотать, как хозяйка: если вымокли, уж не спрашивая убегала в дом за сухими штанами, рубашками, если сухо, интересовалась, "шибко ли промерлись?" и уж

по взглядам понимала, что делать: подогреть ли заранее приготовленную еду, или можно подождать, "дрогнуть" и пока разобрать охотничьи мешки...

Потом как-то нехотя, словно испуганный ребенок, шурясь в землю, вышел из дверей мастерской отец – будто из-за угла – и не сразу двинулся навстречу, а остановился на полдороге около смородинового куста, росшего вдоль оградки...

Мы переглянулись.

– Ну, я пойду...

Брат что-то буркнул, принимая с плеч мой рюкзак.

В крыльце, а потом и в кухне дома тоже как-то неуютно, словно тут уже давно никто не жил. Где же Она? На чердак, что ли улезла?..

Ежась от боязни встречи, я заглянул через стеклянный верх двери в передовую избу, желая не увидеть никого и там, и с надеждой подумал: "Может, дядя не встретился, а приснился?.."

Изба с голубым потолком, заходящее размытое солнце в боковых окнах, в углу иконка с лампадой... сигарета, маленькая стриженная головка, на которой еще чувствовались не знавшие мозолистой работы услужливые пальчики молодого столичного цирюльника... Тонко вытянув шею, упруго подавшись навстречу, Она сидела на диванчике и нервно курила, глядя на меня вызывающе, и несмотря на отделанность стройной фигуры, напоминала разъяренную медведицу, в пасти которой полыхало пламя. "Ну, что?! Ну, что смотришь!? Плевала я на твою родню. Да, курю и больше не собираюсь подделываться под заповеди твоей матери. Ну что ты сделаешь?! Только тронь!.. Завтра же окажешься в милиции. Я пешком до райцентра уйду"... Мне казалось, что все это было на ее лице, в ее осанке, в поддрагивающих пальцах с сигаретой, а может Она что-то такое и говорила когда-то раньше, только другими словами...

От невозможности что-либо исправить – боль, стыд и обреченная тоска, и мелькающее желание действительно ударить, боровшееся с каким-то подсознательным приказом не делать этого: "Ничего этим не исправишь уже... Только больше шума, зла..."

Она сидела, напрягшись, будто следила за моими мыслями, не сдаваясь, я стоял перед Ней в старой выцветшей штормовке, еще пахнувшей лесом, рыбой, дымом избушки, не зная, как поступить, только ощущая иногда увесистую тяжесть в набухшей кисти руки. "Если ударю, эта славная головка разлетится или покатится по половичкам, как шанежка"... И чуть нависнув над Ней, глядя в упор, я

пытался сломать ее вызывающую осанку, осанку невозмутимо правого негодования, своим взглядом, в котором, пожалуй, больше всего было отчаяния и бессильного терзания.

"Ну, как ты посмела, Лиля?! При матери закурить!? Да для нее же это смертный грех. Она же и других курящих женщин с болью терпит. А ты ее невестка, моя жена... Да еще и уселась в передовой избе... И почти под иконами, перед которыми мать утром и вечером стучит коленками об пол. Ты думаешь – за кого? За нас же, в том числе и за тебя. Вымаливает она что-нибудь, или нет, но молится за нас же. Она же в этом воспитана, так же, как ты в безбожии. Искренне верит, искренне. Ты способна понять, что такое искренне? А интеллигентность, знаешь, в чем заключается?.. В умении уважать другие убеждения. Ведь мать в твой дом со своим уставом не лезет. Впрочем, даже если бы и попыталась, ей простительно – а с нас спрос должен быть выше...

Кажется, в этот момент я выдохнул больше того, что думал, и даже то, о чем и не думал никогда. Она чувствовала этот напор в моем взгляде, напряженно молчала, глубоко затягиваясь сигаретой, но сдаваться не хотела, даже, казалось, ждала от меня каких-то извинений, не догадываясь о той тяжести, которую я чувствовал в руке. Лишь усталость и заторможенность, которая обычно размягчает человека после долгого общения с глубокой, нетронутой природой, смягчала нервы...

Вокруг дома будто все затаилось, как после бедствия или, наоборот, в предчувствии его. Я чувствовал это телом, особенно спиной, когда мать зашла за чем-то в кухню, и быстро ускочила топающей походкой... Во дворе отец и брат стеснительно как-то перебрасывались фразами. Отец, как охотник, обычно всегда заинтересованно расспрашивавший все подробности ловли, стоял, как утонувший, и через окно были слышны его вялые слова, говорившиеся не из интереса, а, скорее всего, от несносной тяжести молчания...

Мне хотелось без всяких объяснений тут же купить Ей билет и завтра же отправить обратно навсегда. Но вместо всего я выдал из себя:

– Ты что? – чтобы подать и услышать свой голос.

Она, видимо, недовольная таким началом и чувствуя мое смятение, чуть ли не угрожающе, словив что-то в себе, спросила:

– Ты почему меня не встретил?! Я вся вымокла, чуть не замерзла.

– И это причина для такого разбоя? – мне захотелось то ли рассмеяться, то ли...

– Повод!

– А причина? Убери, пожалуйста, сигарету!..

Она затаилась, как бы заставляя себя вспомнить все, что необходимо для ответа на мой вопрос, будто смутилась, но ответила зло:

– Мать чуть сковородкой не убила. Я что, должна терпеть!..

– Так сразу со сковородкой и вышла тебя встречать к автобусу?.. Насколько я помню, перед моим отъездом в Нарчуг она была настроена совсем иначе...

Она молчала.

– Ну, нет... Я спросила, где ты?.. Уехал. Как? А твоя мать говорит: а чего в этом такого, Лиля?

– «Лиленька», я думаю, она сказала. И добавила, наверное: «да ште ты, христовая, я тебя сейчас и накормлю, и напою, и обогрею и клубнички свежей пособираю, натолку со сметаной...»

– Ну, *Лиленька*, наверное. Не помню. А мне тебя хотелось увидеть. Да! Я соскучилась! Да!?..

– И этого было достаточно, чтоб оглушить скандалом всю деревню?..

Она явно не сдавалась, чувствуя за собой все основания и для возмущения мной, "променявшим" встречу с ней на какую-то рыбалку, и для того, чтобы чувствовать себя совершенно правой по отношению к матери, и я не знал, что делать...

"Так тебе и надо. Вам обоим", – вдруг послышался мне давно знакомый голос, будто когда-то принадлежавший мне, и, напрягшись, я понял, что это голос того мальчика с наголо стриженной головой, только теперь не радостный, хвастающий первой пятеркой по чистописанию, а сердитый и жалеющий одновременно. Он будто смотрел на меня исподлобья, как младший брат на обидевшего его старшего брата. – Так и надо тебе, Егор Никифорович, – продолжал он упрямо с какой-то детской издевкой. – Да. А потому что вы всю правду переврали.

"Ты что, Егорка? Откуда ты это знаешь?"

"Я не знаю, я это чувствую, хоть я и маленький. Ты че, думаешь, зря раньше-то жениха да невесту в церкву водили? Зря, думаешь?.. А ты маме даже не сказал, что женился. Оба раза не сказал. А мама-то,

знаешь, как переживала это... Да знаешь, не притворяйся, ты ведь ее точно чувствуешь, и она тебя, да только молчит, терпит... Да и Лиля-то твоя такая же..

"Про меня говори, что думаешь, Егорка. А про нее не надо, ты же не знаешь ее. Может это я один во всем виноват. Ей ведь тоже тяжело, поэтому она и воюет. Такой у ней характер"...

"Оба вы хороши. Вот потому и попались друг другу... Ты думаешь, что вы оба случайно вышли тогда вечером на тот перекресток-то и сели в один трамвай, и приглядывались по дороге? И ты ведь вышел раньше, и вы могли бы и разехаться насовсем... Так нет, тебе почему-то захотелось помахать ей рукой... Ей почему-то тоже захотелось выйти, почти в полночь, к незнакомому. Вот и вышли, чтобы потерзать друг друга за рассуждения ваши о жизни да и всем остальном... Вот и терзаете. И разойтись бы рады, да никак уж не выходит. То тебе ее жалко, то ей тебя. Да, наверное, уж и не надо. Вы должны отмучаться за свое вранье..."

Да ну вас!.. Вот маму только жалко, она и так-то часто плакала из-за тебя, чувствовала: в тяжелое положение ты попал, а теперь и того больше. И папу – он только молчит, охотой спасается, да работой...

Вот так, Егор".

"Нет, Егорка, не правда. Этого я не смогу простить!"...

Взорвалось на момент отчаяние и, выплеснувшись, как вскипевшее молоко, медленно стало оседать, снятое с огня...

Голова поплыла, как перед обмороком, и Черноков, чтобы не упасть, оперся о кромку стола, наклонившись. Измученное кофеем и табаком, будто подвешенное в пустоте, как бы отдельно, тукало сердце.

За окнами уже давно горели ночные огни, и бисер мелкого дождика трясся вокруг уличных фонарей, как рой мошек.

Часы, израсходовав завод, не тикали, и в квартире стояла пугающая тишина. "Все! Надо бы выжить как-то?"...

Превозмогая отвращение и запрет больше ничего не делать, он все-таки подумал: "Что же дальше?" Переждав головокружение, он, чтобы вернуть ощущения тела, смял пустую пачку "Беломора", положил в пепельницу и вместе с окурками вытряхнул в мешок для мусора, умыл лицо, пустив струю на лицо, и, вздрагивая от резких звуков за окном, уговаривал себя вслух: "Ничего, все нормально, Егор, Держись!" и подбадривал, как когда-то в детстве: "Для этого нужна братва отважная,

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В тот день, оказывается, было воскресенье, кончался отпуск, и утром, наспех прийдя в себя, в роли "отдохнувшего отпускника", да еще за два года сразу, Чернооков, тоскливо думая: "А мне бы, братцы, сейчас в санаторий", – явил себя в учреждение, на работу...

– О, Черноков? Егор, привет, – обрадованным возгласом встретила его молоденькая диспетчерша, когда он, побаиваясь, проходил мимо всегда растворенной двери. – Хорошо, что ты появился. Тут тобой интересуются. Я уж телеграмму хотела посылать.

– Но я же вышел точно в срок.

– Все равно хотели. Дело горящее...

– Вечно что-то у нас горит. А что? – поинтересовался он, не разделяя радости шустрой диспетчерши, норовившее побыстрее свалить с себя заботу.

– Сегодня вечером выезжает группа на съемки. Тебя назначили ассистентом... Хорошая экспедиция...

Чувствуя себя психически совершенно не готовым куда-то ехать, или лететь, он пошел просить помилования у более высокого начальства, относившегося к нему с плохо скрываемым женским любопытством...

Особенно после того, как о его романе и семейной "ссоре" каким-то сарафанным путем стало известно и на студии.

"А вы, оказывается, Егор Никифорович, не такой уж и ангел целомудренный, как выглядите? – однажды мимоходом обронила заместитель директора. – Я никогда не верила, что такой молодой, интересный... м-да, интересный весьма... ни с кем у нас ни в каких связях не замечен... В побочных, я имею ввиду"... И она, лукаво усмехнувшись, удалилась, подхватив кого-то, подвернувшегося в конце коридора, под руку...

– У меня к вам, – сказал Черноков на ковре, пытаясь шутить, – у меня к вам, Лидия Серафимовна, прошение с размышлением... То есть, если вы избавите меня от компании, которая сегодня же куда-то должна уехать. Хорошие ребята, я знаю. Но... "по семейным" обстоятельствам. Нужно хотя бы несколько дней передышки.

– Это после отпуска-то!? Да еще двухмесячного? Ну, Черноков?.. – Но в конце концов зам радушно рассмеялась, посмотрела в свои бумаги, нажала кнопку в кабинет начальника отдела и пошла навстречу.

– Тогда через три-четыре дня в Москву, потом, кажется, Владивосток... Впрочем, если желаете, можно в подшефный совхоз. Туда охотников мало, скоро грязь, дождь...

Он хотел было сказать: "Хорошо, в совхоз", но тут кто-то позвонил, и он, не ответив, думал, невольно вспоминая о деревне: "Там вообще-то и без меня можно бы обойтись, если работать по-настоящему. Помощь, это когда раз, два, при чрезвычайных обстоятельствах, а когда каждый год – это уж больше похоже на иждивенчество, а оно ведь портит... Вон в Рекрутине... Мы по инерции все Русь имеем в виду: ах, земля, ах земледелец, труженик. Воскуриваем... А в столовых, где этот труженик обедает, развешиваем лозунги со стихами: "Берегите хлеб, наше богатство"... С сотворения мира это было в крови у человека, а теперь, оказывается, надо убеждать... Вот лучше бы подумать, как случилось, что земля осталась без земледельца, без хозяина. И кто в этом виноват?... На колхозника свалить просто. А по сути он-то и не виноват. Крестьянин всегда был практичен и смекал свое... Если ему платят за добросовестную работу, значит он вынужден будет так и работать. А если платят за норму, которую добросовестно не выполнишь, он и халтурит. Вот, мать рассказывала, как свеклу полола колхозную..."

Да колхозник-то и не зависит от урожая. Это город зависит... А он себя прокормит личным хозяйством. Деньги-то нужны на машину да шкаф подороже... И не виноват он – ему дают, он берет, чего не брать, если дают... Вот только как это случилось?"...

– Ну, что, Егор Никифорович? Решили? – прервал его мысли вопрос зама.

– С удовольствием бы в совхоз. Люблю сельскую местность. Но ладно – Владивосток. Никогда не был – хочется взглянуть...

И вот опять, усталый от бесконечных разъездов и съёмочных дел, немного жалеющий о том, что любопытство загнало его в этот "сверхтрансконтинентальный" рейс, сидел он в самолетном кресле... Почти сутки непрерывных взлетов и посадок. Владивосток – Чита: перекур. Чита – Томск: ох, опять, слава Богу, можно хоть закурить...

Томск – Уфа, но уфы!... Невидимая стюардесса произносит перед сотней пассажиров, померкших в усталости и ночном свете салона, неотретированный текст:

– Уважаемые пассажиры! Наш самолет после взлета в Томске совершит посадку в аэропорту города Новосибирска.

"Вот тебе раз!" – подумал он, а стюардесса продолжала:

– Экипаж корабля от имени Аэрофлота приносит вам извинения. Посадка вынужденная. – Испугавшись слова "вынужденная", летчица зашепила:

– По техническим причинам, по техническим причинам...

Но технические причины утешали еще меньше – может, шасси должно отвалиться, и она открытым текстом объяснила причину, по которой на глазах томящихся пассажиров вокруг самолета больше часа тянулась какая-то суета:

– Дело в том, что в аэропорту Томска не оказалось горючего. Не подвезли. – В тусклом салоне раздалось усталое безропотное роптание...

Было сонно, но не спалось. Чтобы отвлечься и занять себя, Черноков вспоминал разные мелочи, которые оставили след, или следок, пытаясь по этим крупичкам сложить общее впечатление, которое произвела на него земля Дальнего Востока. Листал записную книжку...

«Я побывал на берегах многих морей, но Тихий океан, видимо, не зря называют Великим. С берега Японского моря глаз видит не дальше и не больше, чем с берега любого другого моря. Но с его берега пространство, которое перед твоим лицом, кажется огромнее, впереди ощущается что-то беспредельное. Разливающейся воде словно не хватает места, чтобы выплеснуться еще дальше, и где-то там впереди, будто видно, как она закругляется, уходя под горизонт, как с кручи водопада, и начинает вырисовываться земной шар..

Под обрывом, на котором я стоял, лежал густой серый туман, моря почти совсем не было видно, но в лицо будто дышало какое-то необъятное тело, возбуждая невольный трепет, и, когда волна подкатывала к подножью обрыва, тело это будто тяжело вздыхало и охало...»

Черноков усмехнулся, вспомнив выцветший от дождей и ветра лозунг, который он прочел из окна электрички: "Советские геологи! Быстрее осваивайте несметные богатства нашей родины!"... И уличную газету в порту, удивившую его изобретательностью художника. На ней было написано так:

ПРОГУЛЯЛ

О – путевку в санаторий

Т – очередь на жилплощадь

Е – очередь в детский сад

Р – 13 зарплату

Я – премию за месяц

Л – уважение коллектива.

Рядом с "кроссвордом", в стакане с голубенькой жидкостью, сидя по уши, купался лохматенький мужчина. На верху газеты были обведены рамкой места для кандидатов, пока пустовавшие...

И объявление гастронома: "Сливочное масло продается ежедневно: по четным числам с 8 часов, по нечетным с 17", – ему показалось, тоже не уступающее в находчивости портовому художнику. И группа нажимала на маргарин...

«Почему-то запомнились большие, как осенние листья, рыжие стрекозы, и бухта Золотой Рог, вечером горевшая, словно костер, золотыми огнями кораблей, каждый из которых напоминал огромную люстру, подвешенную где-то в ночном небе за кончик главной мачты судна, светившейся круглыми, как шарики, желтыми огнями...

Стояла сухая, то прохладная, то теплая солнечная осень, и дальневосточная земля уже давно шуршала золотом дубовых листьев... Под обрывом, изрытым оврагами, между двумя пирсами, глубоко врезавшимися в неестественно голубую поверхность Амурского залива, асфальтированная площадка – пляж. Был солнечный день, но все-таки уже октябрьский, потому было не жарко, и ровными рядами расставленные лежанки пустовали, напоминая о чем-то грустном. Лишь кое-где, рассыпавшись поодиночке, их занимали люди. Словно все они были приезжие, не разговаривая друг с другом, глядели в даль моря, как немые. И на воде тоже безмолвная рябь: волны живут абсолютно тихо, и даже накатываясь на берег, не издают никакого звука, будто сила движения их точно рассчитана кем-то настолько, что надо лишь коснуться берега, без всплеска лизнуть его и безмолвно откатиться обратно в море... От сопок вдали тоже не доносится никаких звуков. И от двух крупных торговых судов, грузно осевших на корму, тоже, будто и они безмолвные, поставленные на мощные якоря и забытые... Даже всегда крикливые чайки, редкие, затерявшиеся в огромном пространстве, бесшумно машут крыльями, словно еще не разлетались спросонья.

Дым из трубы стоял прямо, как карандашик...

Минимально надув паруса, как барышни в Летнем саду, беспечно гуляли вдалеке белые яхты.

Иногда они собирались вокруг маленького катерка, дрейфовавшего среди них, о чем-то шушукались, кивая друг другу косынками парусов, будто вежливо раскланиваясь, и опять расплывались по безмолвной голубой ряби моря...

Со стороны города, отгороженного обрывом, тоже не доносилось никаких звуков. И звяканье тоненького ручейка, падавшего с кручи, казалось, было единственным реальным голосом.

В голове у меня то и дело мелькали слова: покой... какая удивительная, таинственная, непохожая, манящая и... все же инородная для моего сердца, будто "чужая" земля...

Сидя в самолете, Черноков подумал, что этот пейзаж надо будет записать для коллекции пейзажей, которую он собирал, бывая в разных местах, и вспомнил, как тогда же на пляже подумал, что как бы ни восхищала его экзотика, он всегда искал в пейзажах то, что напоминало о его севере. Вспомнил даже, как во время поездки по Италии, он, ослепленный восторгами, преследовавшими на каждом шагу и в каждом городе, где-то дней через десять почувствовал в душе глубокую тоску, будто точившую... И когда осознал, признался: "Егор, а тебя ведь уже домой тянет, в Россию"...

И как только маленький автобус, выпутавшись из лабиринта столичных улиц, вырвался на шоссе, уходившее в сторону Рязани, Черноков, еще не осознавая, отодвинул занавеску и почти всю дорогу не мог оторваться от окошечка. Равнина, равнина... Деревни, погосты. То и дело из кустов вдалеке, из перелесков выглядывали купола, только часто без крестов, над ними, кружась, кричали грачи... А при въезде в Коломну – от куполов будто колокольный звон, разносившийся над затаившимися, рожающими полями...

И деревни, дома, резные наличники вокруг окон: то как корона, то как птицы плавно текут от окошка к окошку. И на всех будто колышутся тяжелые кисти и негромко позвякивают, словно их покачивает ветер... У каждого окошка свой взгляд, свой характер, и взглядами окошек на дорогу будто смотрят сами хозяева домов, и то улыбаются, то хмурятся, то ворчат...

Вечером из-под облака выпало томное малиновое солнце. "Вот вечер, жидкой позолотой закат обрызгал темные поля"...

Он ехал, и пил из окна автобуса, как человек истрадавший от жажды, все это ему казалось его домом, его домами, в каждом из которых будто ждет и вот сейчас выйдет встречать, его мама...

Томск – Новосибирск, перекур. Новосибирск – Уфа... Перед взлетом на площадке у трапа опять какое-то шушуканье. Кто-то все-таки подслушал, и теперь уже в салоне шушукались о том, что по неизвестным причинам опять не будут кормить: не оказалось завтраков, или обедов, или ужинов – как это назвать, когда самолет, пересекая временные пояса, все время летит ночью, на самой грани перед восходом солнца. Не хотелось верить, потому что уж очень хотелось хотя бы поесть.

Стюардесса, когда люди повисли в воздухе, вежливо сообщила, казалось, даже невольно ухмыльнувшись, укрывшись от пассажирских глаз в своей воздушной келье:

– В полете вам будут выданы прохладительные напитки... – Это людям-то, уже почти часов десять изматываемых бесконечными ожиданиями, взлетами, посадками. И не выпускаемых никуда из-за постоянной неопределенности... И тут чья-то идейно не выдержанная душа испустила дух:

– Ну, если в Аэрофлоте так?!.. Ведь бездна под ногами. Мы же сами-то тут беспомощны. Все в чьих-то руках, а они что делают?.. Бар-р-дак!

Пытавшийся безмятежно спать салон шевельнулся, и несколько человек повернулись на голос, возбудивший в сонных умах какие-то личные жизненные понятия. Дама, звякнув богатыми серьгами, повернула только голову и отвернулась всем телом осуждающе. Было понятно, что молча прозвучала решительная отповедь:

"Только и смотрят, чтобы придаться. Безобразие"...

Военный моряк, оборачиваясь назад, довел свой взгляд только до "сережек" и, насмотревшись, снова принял положение, удобное для полета. Еще несколько человек, слышавших голос впереди, любопытно, с непонятным отношением к событию, вытянули головы и вскоре сели смирно, чуть позднее попросив двойную порцию прохладительного напитка.

Сосед по креслу, опрокинув свой стаканчик, хрустнул свежим номером "Литературной газеты" и, видимо, устав молчать, обратился:

– Музыкой не интересуетесь?...

– Да как вам сказать? – проямлил Черноков и, взглянув на лист, прочитал: "Все билеты проданы". – Неужели Роллинг стоунз пожаловали?

– А вы почитайте.

Он взял газету. Там рассказывалось о том, как один декан-музыкант устраивал в училище искусств любого, пожелавшего соответственно заплатить. Бездари собирались со всей страны, а по отбытии срока опять разъезжались, теперь уже учить искусству других. Черноков прочел и молчал.

– Ну, как?! – спросил сосед, не дождавшись ответа.

– Что происходит? Вы можете объяснить, что с нами происходит?

– Просто болезни роста. Все меняется, старое что-то утрачено, новое еще вызревает. Переходный возраст. – Вспомнив о своей рукописи, он хотел добавить: "Деревню возьмите, тоже старухи галдят: то не так, это иначе, не желая или не умея понять, что деревни в старом смысле слова уже нет. Хотят возродить ее, а как возрождать, когда она уже вся пропахла чем-то другим." Но сказал:

– Не знаю...

Сосед был достаточно вежлив, только скрипнул, иначе сев в кресле, отвернулся к окошечку в густую тьму, которая по всему гори-зонту, словно радугой, была украшена разноцветной полосой, рожденной светом никак не успевающего взойти солнца. И сосед опять буркнул:

– Вот где-то здесь текут реки, которые хотят повернуть вспять.

– Не понял? – слукавил Черноков.

– Ну, как же. Уже есть проекты всерьез. И Северную Двину тоже, и Онегу. Говорят, в Волгу, для Каспийского моря.

Да... А Сибирские на юг, в пустыни. Там воды мало, а тут лишняя.

Восхищавшийся в школьные годы всякими разговорами о преобразовании природы, Черноков отнесся к этому заинтересованно.

"А я думал, это уже уткло все, – подумал он. – Действительно, у нас много воды, а там мало. Вроде разумно поделиться?... И сосед, словно подхватил его мысли:

– Но ведь природа-то не цистерна. Это из цистерн можно переливать. А она ведь – организм, живое тело с прочно сложившейся организацией. Вот если бы у авторов проекта пустить кровь в обратную сторону... А? Как бы они себя почувствовали?... Да поймите же вы, что дело не в жалении воды, – наседали на Чернокова, трясая искалеченной, чуть сплюснутой кистью левой руки, будто он, Черноков, был автор этой грандиозной идеи. – Гора не может идти к Магомету... Всегда, естественно, люди двигались к воде. Селились там, где она была. Иссакали источники – перекочевывали, искали новые. Но не наоборот же...

Уф! Уфа. Курильщики, еще не миновав запретную зону, зашарили по карманам. Засветились кончики папирос, за клубился дым, шумно выдыхаемый из настрадавшихся тел... Ну! Еще один перегон. Близость конца утомительной дороги придавала силы усталому организму. Возвращались и мысли, забытые и на время как бы оставленные дома. И Черноков постепенно ловил себя на том, что сознание хаотично странными путями подбирается к заботам, связанным с неоконченной рукописью, кружит около них и прикруживает. Память быстро просеивает разные картинки, останавливаясь на тех, которые ему кажутся нужными...

... На пожне душисто и мягко. Пласты сена хоть и шуршат, но все-таки по-настоящему не просохли – трава была густая. А погода стоит ненадежная, из-за леса то и дело выплывают лохматые вороха туч, застилают солнце – вдруг темнеет и кажется, что разразится ливень.

– Чехнёт сейчас, ой, чехнёт, – причитает тетка Тоня, чувствуя, что вокруг потемнело. – Сгноим, если сегодня не сгребем...

Ее поддерживает свояченица, тут же шуршит граблями соседка Полинарья, согнувшись коромыслом, и все не по возрасту бойко загребают сено в валки. Но ветер не стихает, растаскивает тучи, и опять появляется солнце, светит ярко, но как-то торопливо, будто подгоняет.

Минакий воткнул стожары, и начал укладывать сено в промежки. Рубаха выбилась из-под ремня и уже прилипла к спине, потемнела. Заложив сено в копны, Черноков подсовывал под них носилки – два гладко выстроганных шеста – и с помощью баб – то тетки Тони, то свояченицы – подтаскивал к стожбю.

– На другую сторону ставьте, – командует дядька и прямо с носилок забрасывает сено в промежки. – Давай, давай, шевелитесь...

К вечеру погода успокаивается, тучи осели в лес, небо стало суше и гребь пошла спокойно. Поднеся к стожбю очередную копну, Черноков остановился, глядя, как работает дядька. – Потом сказал:

– Минакей, – по-деревенски, сознательно протяжно, и чуть ехидно, – ты что-то туговато тузишь. Сено-то ведь непросух, согреется. – Дядя понимает намек. Вальнул, изогнувшись от натуги огромный пласт и, выбирая из копны другой, сказал:

– Ак, это ведь не свое. На казну. И согреется, так не беда, – лукаво рассмеялся. И словно опасаясь за свою репутацию добро-совестного земледельца, добавляет серьезно, не прекращая орудовать вилами:

– Начнет греться, так перемечу потом. А сейчас некогда. Хуже, если опять под дождь попадет.

И это верно...

Бабы, уже загребая вокруг стожъя, слышат разговор и поочередно поддакивают:

– А ладно и непросух маленько. Запашок, конечно, не тот будет, да живет.

– Ты, Егорушка, не радей об этом шибко-то, христовый. Не мы одне эдак-ту делаем... – Тетка взглянула в небо и с умилением сказала: Ох, облачка-то как разлеглись, рядками, как трава на покосе...

Под самолетом лежит темная, почти без очертаний земля, иногда мерцающая скоплениями огоньков, похожих на созвездия, а над самолетом настоящие звезды – кажется совсем близко – и по горизонту полоса никак не наступающего восхода. Земля вращается навстречу. ТУ-154 летит над людьми и районами, о которых, вспоминал он, отец, читая газету, сказал: "Э-э, выходит, такое-то творится не только у нас?"

До конца пути он уже не упускал из памяти деревенских картин. Они снова ожили в душе, вернув тоску, радость, тревогу... "Июль, дом, облака: ... Коровы, бабы, озимь, июль... Облака клубятся, всплывая из-за горизонта, восхищая и пугая величиной природы.

Июль. Цепочка картинок хаотически мелькает в сознании, он чувствовал, что под ней зарождается строчка, годная превратиться в начальную фразу новой главы, и что в созвучии "июль" слышится какое-то ранее не произносимое им слово... Вертится, вертится рядом – почти на языке. В уши врывается иной гул – самолет лег на крыло, качнулся и пошел на снижение. "Ну, что там с июлем? Что с ним может быть? Давай раз... Ага!" – и бросив слово на полдороге, он сразу положил его в строчку, петлявшую в хаосе картинок: «Обещанное прогнозами ведро в конце июля не состоялось, июль так и не разиюлился»... Следующих слов он не знал, но в "июлистой" строчке почувствовал настроение, которое было нужным для продолжения, и, приземляясь пристегнутым ремнями к самолетному креслу, уже думал: "Ну, за сутки как-нибудь отлежусь, и пока группа раскачивается после экспедиции, можно будет поработать"... Но тут же вспоминается дом, и Она...

Кажется, разговор начался с отцовского письма, которое отец, писавший почерком первоклассника, не зная ни знаков препинания, ни заглавных букв, мучительно, подытожил, как обычно: "а так Егор больше никаких новостей у нас нету а все постарому сам знаешь недавно был а только вот мать давно просит обязательно написать что у неё сердце болит а от того болит что с Лилей нашей и твоей женой она поругалась и укорила дитями мол не семеро по лавкам и просит у Лили ее простить дак ты Лиле обязательно передай это а так никаких новостей у нас нету и остаемся живы и здоровы"...

– Я, между прочим, Лилия, когда вернулся из деревни, тоже ждал от тебя... Надеялся, что ты хоть как-то обозначишь...

– А я-то тут при чем?.. Это ты же во всем виноват...

– Ладно... Я виноват. Не встретил, не то, не так... обманул, оскорбил... Все, что угодно. Я и поплатился за это... Но мать-то?! Мать за что? Она-то ведь... она же ведь тебя ничем не оскорбила...

– Как же!? А сковородкой, она же чуть не ударила меня...

– Прямо так, сразу... Ты вышла из автобуса, а она на тебя со сковородкой?..

– Да какая разница!! – Жена взвилась, закулив сигарету. – Я не чувствую себя виноватой ни в чем. Ни в чем!.. Это ты!.. Но не в этом дело... – И долгое молчание. – Теперь я понимаю, почему ты всегда на стороне своей матери.

– Насколько я помню, с древности считалось похвальным, когда сын предпочитает мать своей возлюбленной...

– Вот именно, возлюбленной. А ты, потому что не любишь меня..., или не любил, или разлюбил...

– Все почти не точно, потому что гораздо посложней...

– С чем?

– С любовью, во здравие которой даже войны, говорят, начинались...

– Может, это просто ловушка, крючок с наживкой, заброшенный в нас Природой?.. Она подбрасывает эту страсть вовсе не для того, чтобы люди всю жизнь ею упивались, а "думая" о детях, о продолжении жизни. Она требует возвращения аванса за любовь. Брак – начало ответственности перед законом Природы?..

Кажется, слушать это ей было не под силу, и ему тоже было неуютно, и потом он не мог вспомнить, как развивались мысли.

– ... потому что прошлое нельзя зачеркнуть, оставить позади, оно

не проходит и не исчезает. – То ли Она это говорила, то ли он утверждал. – Что наделал в жизни, в том и грешен. Нельзя чувствовать себя чистеньким, если.. Прошлое нельзя зачеркнуть, его можно только переосмыслить, переоценить, изменить отношение к нему, покаяться.

Все дается один раз. Не сберег, на второй раз уж не претендуй, будь доволен тем, что осталось...

– А я на счастье уже и не претендую.

– А я претендую...

– Вот только матерей жалко...

– ... Знаешь, что я скажу в утешение: пока люди ссорятся, спорят, значит, они нужны друг другу.

Самолет шел на посадку, в салоне стояла тишина и томительное ожидание... Самолет столкнулся с землей, и, подрагивая, покатился между огоньками аэродрома.

Он спускался по трапу. Город, который он то любил, то ненавидел и в сердцах обзывал последними словами, упрекая его и за то, что... и за то, что... и т. п., теперь, через полтора месяца, показался родным. Он жил ранним утром уже поздней осени, влажный, но мягкий, и Черноков чувствовал, что истосковался по нему. Огоньки аэропорта поблескивали в сумерках утра, как светляки. Тянуло побыстрее в центр, на любимые улицы, а мысли по инерции продолжали обсуждать длившийся наедине запутанный разговор, обдумывая выход... Пронеслась туча, отбушевал дождь и превратился в мелкий бисер, потом и он перестал. Запроглядывало солнце, крупные капли, набухая, срывались с веток деревьев. Над лесом, вблизи полей, испарялся грустный туман... Мелькнули фразы из последнего разговора с женой:

– Хорошо, давай разойдемся. Я теперь согласна. Не бойся, в обмороки больше падать не буду. – То ли вспомнил, то ли придумал он ее ответ. Ему хотелось к Ней, домой, в тепло. Хотелось бы кому-то родному пожаловаться на усталость...

– Нельзя уже иначе. Отношения, в которых мы оказались, не спасти, не исправить. Их надо разорвать. Спасать надо человеческое достоинство. Если уж дело дошло до того, что ты попрекаешь меня деньгами, значит конец... Хорошо, хорошо, они нужны. Но если деньги будут смыслом жизни, люди передерутся...

Комнатка-чулан, которую он снимал до встречи с Лилей, сменив нескольких жильцов, снова была свободна. Хозяйка ее, ало-губая женщина Вера Сироткина, в ней по-прежнему не нуждалась, и в ожидании капитального ремонта дома, аккуратно сдавала ее... Одна из бывших соседок Чернокова жила наконец-то замужем, и встретила его появление сочувственным сожалением... От другой соседки муж переехал жить куда-то в другое место, оставив ее с дочерью, ставшей явно невестой. Последний съемщик его, черноковского, чуланчика, аспирант, которого Черноков не видел, кажется, удачно женился...

Кот постарел, погрузнел, но вроде бы вспомнил его, как обычно вытянул шею с белым сердечком и дал погладить. Все так же и днем, и вечером горела под потолком лампочка, только светлее...

– Ну, пора заканчивать каторгу, Черноков, – сказал он самому себе, устроившись за полурасшатанным столиком. – Пора. Близится праздник... Он нужен. В нем главный смысл моей путаницы... И начнем с начала... "Где-то на остановке конечной скажем спасибо и этой судьбе"...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Обещанное прогнозами ведро в конце июля не состоялось: июль так и не разиюлился и отошел как-то втихомолку, неловко, не подавая на прощание руки, как расходятся люди, обманувшиеся друг в друге. Несколько солнечных дней, провернувшихся среди переменчивой, в основном, серой погоды, почти не запомнились. Не почувствовав лета, по инерции еще ждали его наступления, а оно между тем проходило невозвратно. Конец июля будто бы не был замечен, его просмотрели и осознали это, прожив уже неделю в августе.

– Где же погоды-то? – то и дело с изумлением выдыхали сильные задним умом бабы и рассуждали, встречаясь:

– Ведь август уж. Мне еще сена на корову не хватает. А в лесу грузди, говорят, запровертывались, – хлопчет одна.

– И бруснику надо караулить, а то оберут, – поддакивает другая, неизвестно кого подозревая.

– Не говори, девка. Вон Прока каждый день с корзиной, спит с ней. Говорит, ничего нету, а сам, как филин все чего-то шнырит...

Разойдясь по своим домам, подытоживают: "Это какой и народ теперь пошел? Раньше в эту пору о бруснике-то и не думали – красна, да зелена, никакого вкуса, кроме кислого. Ее когда морозом охватит, заморозками помнет – вот она когда настоящая-то ягода"... У одних разговор на этом кончается, иные рассуждают дальше: "Только бы друг у друга урвать – белобоку ягоду готовы домой тащить, в корзине, мол, дойдет... Только портим, уж только все портим"...

Твердела, старея, трава, и голос ее на ветру становился сухой и прощальный. Остывала и будто сжималась вода в речке, плыли по ней первые сорвавшиеся листья. А по опушкам полей то и дело завспыхивали осины.

Повзрослел на полях коренастый ячмень, распустил тугие усы колосьев, налился зерном, и когда носился над полем ветер, не шалил с ним, крутясь веселой поземкой, как летом, а будто ворчал – теперь не время, теперь я зерно, хлеб, надобность, – и стойко крепился под дождями, и пыжиком важно сиял на солнце. Беспутные ветра раскачивали в разные стороны рожь, закручивая и лохматя стройное и нежное поле. Созревая, рожь теряла беззаботность, бледнела, как носящая женщина. Открытое пространство, то дождливое, то ветренное, стало ей непосильным, и она, казалось, начала уставать. Стебли в рост человека покосились, колосья аркой сомкнулись над тропинкой, протоптанной поперек поля, и, будто желая что-то шепнуть, тыкались мне в лицо, когда я пересекал поле по пути к речке, невольно задерживая. И я останавливаюсь в смутном желании что-то сделать, как-то ответить ей. Руки трогают щекочущие колосья, а они ускользают, как будто ты делаешь что-то не то, и от этого в душе грусть огорчения и томления невозможностью договориться. В то же время несомненное ощущение родства, будто сам вот так же растешь в открытом поле, только ходишь, и также меняешь цвет, голос, так же устаешь от непогод. А руки снова ловят качающиеся колосья, пытаюсь через прикосновение понять голос растения, вслушиваешься, что в тебе происходит, чувствуешь, как земля будто пульсирует под подошвами, а по телу растекается какой-то общий ток, и в душе что-то назревает... И вдруг совершенно отчетливо осознаешь, что хочется обняться со всем полем, собрать в горсть, или охапку и сунуть за пазуху, обогреть, погладить, и кажется, что это возможно, и это и происходит. Бесспорно любящий вздох опять зарождается в душе и хочется остановиться в этом

мгновении насовсем, или зашагать по тропинке навсегда, чувствуя безмолвную к тебе причастность. Но на маленькой и огромной общей земле тропинка длится не долго и узеньким, как строчка, ручейком выныривает из ржи на спешную машинную дорогу...

Рубахи еще потели на сенокосе, а уже подпирала уборка хлебов. Вперемешку, угрожая и подбадривая, расхваливая хозяйства за малейшие успехи, иначе сказать – за самое обычное дело – районная газета трубила: "Убрать все без потерь! Идет зерно нового урожая. Равняйтесь на передовиков!.. Испытание жатвой!"

– Пример зовет!

– Успех бригады... Бригада деревни Рекрутино первой в колхозе "Дружба" выполнила план заготовки сена. Успех достигнут в результате хорошей работы колхозников, умелого руководства сеноуборкой со стороны бригадира Зосимы Сергеевича Байбородина"...

– "Взять урожай с полей!"... Чтобы отстоять урожай, хлеборобы ведут битву за хлеб... – На передовых страницах газеты то в смущении, то в излишней напряженности, застыли лица героев... Вчера на бункер передового механизатора секретарь парткома Н. И. Махнеткин нанес вторую звезду... В районном центре в его честь взвился красный флаг..."

Район покрупнее, чем княжество Лихтенберг, но на страницах газеты каждая деревня чем-нибудь да отмечена...

– "Лидер жатвы"... Немало опытных механизаторов вывело свои комбайны на поля... И мало кто думал, что первенство захватит молодой комбайнер В. А. Губкин. Для него эта жатва третья. Но, видимо, отсутствие должного опыта не всегда служит помехой на пути к высоким результатам. Владимир Губкин берет личным мастерством, хорошим знанием техники, да еще одним качеством, которое в народе называют настырностью... Конечно же, не на голом месте рос Губкин... – С фотографии смотрел белокурый молодой парень, стоявший на подножке комбайна, и как будто стеснялся своей известности...

– Да ведь это Володя Васюхин, – с удивлением и оттенком удовольствия заметил отец, прочитав заметку и разглядев фотографию. – Чтобы удостовериться наверняка, или посвятить в новость, спросил у матери:

– Васюхе-то ведь Губкина фамилия?

– Губкина. А чего?

– Да вот Володя лучший комбайнер.

– Молодец! Попивает, говорят, так это вот неладно.

Отец, чтобы не распространяться на эту тему, перевернул страницу.

– "Преодолеть отставание". Итоги за десять дней августа, – читает он и рассматривает таблицу, рассматривает подробно, строчка за строчкой, а потом восклицает:

– О! наш колхоз опять на первом месте!...

– По чему теперь?

– А меньше всех задолжал государству. – Отец цитирует, – "по производству и продаже молока государству"... Снизил удой.

– Чего хорошего-то? – мимоходом спрашивает мать, обряжаясь у печи. На первом, да снизили. Дальше-то чего?

– А вот читаю, в чем причина... Не о-прав-дал надежд живот-новодов пастбищный период. В результате недостатка хороших участков для выпаса стада, порой плохого отношения к работе пастухов, в эту благоприятную для отрасли пору получен значительный недобор продукции..." Вас с Мишей ругают. Худо коров караулите. Отец рассмеялся:

– Вот нанялись тогда, уговорила Дуня...

– Пастбища худые. Да какие еще надо?.. У Федорки на все отговорки, – сказала мать, не отреагировав на шутку отца, и пошла в хлев к поросенку.

Отец свернул газету, еще раз просмотрел фотографии и пламенные заголовки первой страницы, а потом как будто невзначай, и в то же время как бы обращаясь ко мне, обронил:

– Какую-то битву выдумали? Какая битва!? Обыкновенная уборочная. Раньше никто не шумел, а все убирали. Теперь каждый год одно и то же читаю. Худая погода – битва, и хорошая – тоже битва. А где, какая битва? – и чтобы удостовериться, не рвутся ли где снаряды, выглядывает в окна. – Раньше нас никто не агитировал, сами шевелились... А ты чего скажешь, "писатель"?..

Я молчу.

Что бы там ни утверждала газета, к чему бы ни призывала, жизнь, не возражая, просто и упорно шла своим путем. В деревне стало заметно прохладнее, осенней и еще тише – разъехались отпускники, дети, внуки. Длиннее становились ночи, пустынной. Жители будто стали молчаливей и, казалось, ничего вокруг не происходит. Деревня напоминала омут, в котором и течение, и воронки выюнов проглядывались не сразу.

Милиционер приехал в деревню во второй половине мутненького дня по нижней, не главной дороге, навел необходимые справки и через полчаса тем же путем укатил в райцентр. Казалось, что никто его и не видел. Однако к вечеру Наталья Ополосовна уже спрашивала:

– Вы, бабы, слышали? Говорят, к Ульяне-то свинарке кавалер приезжал. – Усмехнулись. – Кавалер-милиционер на письмо реагировать... Дочь-то старшая нажаловалась на отца... А неделю тому назад бузовал.

– Чего теперь с ним, поди заберут Вениамина? – Наталья сделала затравку и в ожидании ответа сощурила любопытные глазки. Завалина старого амбара, приспособленного под магазинчик, пестрела людьми, как седала курами. Пожилые женщины и старухи в платках и широких юбках сидели нахохлившись, уткнувшись локтями в колени. Несколько мужиков привалились к поленнице, подсунув под себя ящики из-под тары. В ожидании продавщицы все негромко переговаривались между собой. Вопрос Натальи был встречен сначала молчанием, потом любопытным ожиданием.

– Он не больше других пьет, – негромко обронила Полинарья, соседка Ульяны. – Она сама-то тоже хороша змейка. А дочь-то не лучше. Думат, завклуб, так и это ей не так, и то не эдак.

– А ничего не будет. Лишний раз напьется. С горя.... – хохотнули мужики.

Подошла к магазину занять очередь тетка Тоня. Поздоровалась, послушала, о чем разговор, и сказала:

– А я недавно Веньямина-то в сельпо видела. Из всех карманов горлышка смотрят, как грибочки белые. На поруки, говорит, братья – к председателю.

Бабы заохали, запричитали, захохотали. Прокопий Петрович, до этого посторонне читавший газетный подвал под заголовком "Почему пьяницам вольготно?", поправил очки и степенно вмешался в разговор:

– Его уже брали однажды на товарищеском суде, – и будто плеснул на горячие камни.

– Все хороши, все сами себе хозяева...

– Все хороши, да он попал.

– А чего делать-то? Деньги есть, жить – да и не топнуть?!

Поднялся галдеж, в котором слух постепенно обростал подробностями.

– А ну, так уведут, – выждав паузу, заключила со знанием дела Наталья, – Жалко, хороший мужик.

– Без него в гараже гайку никто по-настоящему не выточит...

– Ничего не будет. Ульяна-то, чуешь, сама стала отказываться... Мол, сгоряча подписалась... Теперь подпись свою обратно берет.

– Одумалась, лешачиха. Ишь, сколь не резка. Это какие и бабы нонь молодые? Мужик пошумит, а они уже бумагу в сельсовет пишут. Дали им потачку... Вот обожди, поживешь без мужика-то, тогда узнаешь...

– Так, значит, пусть пьет? – опять серьезно вмешался Прокопий Петрович. – Вот вы почитайте, что пишут...

Полиарья, ругавшая Ульяну, не нашлась, как возразить, замолчала, а потом сказала:

– Писать-то пишут... А в магазине что есть или нет, а вино всегда стоит...

– Ты, Полиарья, и в школе худо училась, и остарела – не поумнела, – как-то двусмысленно рассудил Прока. – Я помню, как записывал тебя в кружок политграмоты, а ты все на пляску.

– А и не каюсь. Как бы не согнуло, так и сейчас бы поплясала, – задорно отозвалась Полинашка, и, увидев на дороге продавщицу, встала. Бабы тоже зашевелились, поправили платки, одернули юбки и кучей столпились у двери магазина...

На следующий день стало известно, что Веня ходил к председателю, "а Иван Павлович его завернул, – коллектив только решать может...", и дело утихло в дознании временем. Но вскоре в мирном деревенском быту снова раздались громкие голоса.

Муж тетки Дуни Михаил Павлович, не любивший говорить зря и тем более громко, на этот раз разошелся.

Услышав во дворе его голос, тетка Дуня вышла из избы и, чуя неладное, осторожно спросила:

– Чего доспелось, Михайло?

– А то! – Михаил Павлович стянул через голову пастушью сумку и бросил на крыльцо.

– Чего то-то?

– Мовчи, а то и тебя сейчас понюжну, – Михаил Павлович тряхнул кнутом и, не отвечая на вопрос, продолжал: – И Милодорку еще уговорила. Занимайтесь, денег заробите маленько. Заробили. Чуть без глаз не остался...

– Да ты чего меня костишь? – держась поодаль, опять спросила тетка. Но муж снова огрызнулся, отряхнув намокшую под дождем

кепку, и пошел. Тетка Дуня проследила за ним взглядом, и когда муж свернул к дому бригадира, недоумевая и ойкая, заморосила в противоположную сторону, к сестре.

Мать, сковыривая с сапог налипшую глину, причитала около хлева, почти примыкавшего к дому:

– Бог с ним и с коровушками. Ты уж, Симушка, решай, как хошь, а я больше караулить не пойду. Я думала помогу, на добро занялась, а тут на-ко: шары чуть не вытыкали. На содом...

– Милодорка, хоть ты ладом обскажи, чего у вас вышло? – спросила тетка, открывая воротца ограды. Мать помолчала, соображая, с чего начать. Вымыла сапоги в тазу, стоявшем под потоком, вытерла о фартук руки. Плюнула и, размахивая руками, начала рассказывать:

– Любава-то Косологовская проспалась, видно, да вот сегодня на нас и выехала. Мы еще последних коров-то за речкой подгоняем, а она по мосту и несется к нам с колом, ей-богу. На Мишу сразу наскочила: ты такая-растакая мать. Страмно слушать – зачем занялся пастушить? Кто тебя просил? Мы все лето караулили, а теперь месяц остался, нас с Петром с работы сняли. Да матюгом, да всяко...

– Так ведь сам бригадир просил...

– Миша так и сказал.

– Ну!

– Чего нукаешь?! А зачем, говорит, согласились. И просит, да не ваше собачье дело. Вы нарошно. Петра с бригадиров сняли, а теперь из-за вас и с пастухов... И приступом на Мишу, как собака наскакивает... Ну, вот это и вышло... Мать замолчала, села на лавку у крыльца и сняла сапоги. Из мастерской вышел отец, потом появился Минакий. О случившемся им рассказала уже тетка Дуня. Потом молодой пес Шарик бросился за кошкой, заярился отец, и во дворе поднялся шум и лай, не доносившийся разве что до самых крайних домов деревни...

А тут еще, не дальше, как дней десять тому назад, Наталья Ополосовна сказывала:

– Я тогда видела Фаню-то Стафийкина. Резковато, думаю, куда-то вышагивает и кулак нет-нет да из кармана вытаскивает... Мотрю, к бригадиру свернул. А дальше-то мне Зосимова баба говорила... Фаня-то будто бы начал с того, что запросился на отгул: мол, люди грибы да ягоды носят, а тут все некогда... А чтобы было к чему придраться, если не отпустят. А ясное дело – откажут: силос да сенокос, да погоды такое.

Зосима и отказал, а Фане того и надо: ах, так! И Фаня-то зарасходился – тебе работай, а как наряды закрывать, так по рублю в день. Это он про лежневочку-то в Зяблом Логу. И кулаком по окосячке... У Симы характер – тоже не задежи, но стерпел. Я, грит, вашу работу председателю показывал, специально возил его на объект, а он сказал: справься в леспромхозе, сколько стоит такая работа, все замеряй и опиши... В колхозе сроду не строили лежневок-то и рас-ценок нет. А теперь тоже машины везде – пришлось. Ну, вот Сима так и сделал, справился в леспромхозе, сколько такая шалашка стóит. Вышло, что по рублю в день с копейкой... А где больше-то выйдет? – каждый день Митю Моргунка в сельпо посылали. А Фаня свое: мол, Петро как-то выписывал... Тут Сима ребром – а я приписывать не буду! Вот-те раз. И пошли-поехали. Фаня и заехал Симе в переносье. Вот Сима-то нонь фонарик и носит под глазом. Вот на и возьми, девоньки...

А девонькам в основном за шестьдесят, и они, в силу возраста, склонного к излишней панике, а может, по неграмотности сознания, все еще боящегося всемирного потопа, они, когда-то главная деревенская сила, теперь при встречах друг с другом то и дело коряво выдыхали шёпот недоумения: "Это ште же эко-то творится на белом свете? В космос каждый день летают, а на земле-то как? Ли все на Луну собираются?..."

На следующий день коров на пастбище гонял кто-то. А под вечер бригадир пошел по домам свергнутых пастухов.

Зосима Сергеевич вошел в прихожую избу и, слыша, что хозяева в передовой, сел на отцовскую лежанку около печки. Ткнул в козырек кепку, потом снял и положил рядом.

– Вроде как пришел кто-то? – сказала мать и встала посмотреть.

– Здорово, Милодора.

– Вот ты, Симушка, молодец, – ответив на приветствие, сказала мать.

– В аккурат угодил. Я все вино-то браню, а вот и сама перед рюмкой сижу. Опять повод, опять мужики выставили – сегодня Егор где-то хайрузья наудил... А ты, давай, проходи-ко, проходи, – и взяла на кухне тарелку, а отец потянулся к самодельной этажерке...

Посомневавшись, но без излишеств, бригадир подсел к столу. Похлебали, нахваливая уху, выпили за рыбака и подружнели.

– А я, Милодорка, к тебе нажился... – Бригадир не успел договорить, как мать, сразу же однозначно истолковавшая приход, заотпевалась:

– А зря, пожалуй. Я еще с весны зареклась связываться с тобой. Одно расстройство.

Не помня за собой никакого греха, но чувствуя, что для успеха своего дела надо дать матери выговориться, бригадир удивленно спросил:

– Это когда же я тебе не угодил?...

А мать, уже по инерции, продолжала:

– А весной, когда мы репу с Натальей Ополосовной пололи. Стали мы по грядкам-то, травы много, хоть коси... Я тереблю, тереблю, все с места сдвинуться не могу. Маленько вокруг-то себя отеребила, разогнулась. Смотрю – Наташка-то уж на другом краю поля... думаю про себя-то, может, на лесопункте-то пока жила, грядки полоть разучилась. Пойду-ко посмотреть на Натальин ряд. Ой! Ой!

Я говорю, Натаха, ты чего эдак-то чистишь? Мотри-ко, половина травы стоит, как и не шевелено. А она разогнулась над полоской-то да и говорит: "Милодорка, ежели по-настоящему-то делать, так ты в день-то двадцать копеек заработишь... Поле-то запустили, травы наперло, а норма в бухгалтерии осталась, как ежели бы вовремя полоть..." Я стою над своим рядом и думаю, чего делать? Худо чистить, душа не лежит, а хорошо, так зря только спину гнуть... Ну, так вот, теперь понял расстройство-то? То я и зареклась, а ты опять пастушить подначиваешь...

Зосима Сергеевич подождал, пока мать выскажется. Когда она снова принялась за уху, шутиливо сказал:

– Во-первых, весной я еще не бригадирил...

– Все одно, тот же колхоз.

– А во-вторых, – продолжал бригадир, не обращая внимания на реплику, – я пришел к тебе не в пастухи подначивать.

– Ну-ко, интересно, зачем же? – спросила мать все еще возбужденным голосом.

– А помнишь, ты жаловалась, что у тебя в гобце свет худо горит?... Ну, так вот, я, как бывший колхозный электрик, пришел наладить.

– Ох, и хитер же ты, Зосима. За этим и прикатил? – иронически спросила мать. – Хитро начал, да не с того конца. Иди-ко к Михаилу сначала...

– У него хорошо горит, – продолжал простодушничать Зосима, – а ты жаловалась. С сеном теперь убрались, хлеб тоже жнем по-маленьку, вот и вспомнил. Это одно. А другое, пришел к Егору остатками "фонарика" похвастаться, да посоветоваться, как дальше бригадирствовать...

– Боевое у тебя место, серьезное.

– А вот сам суди, – Зосима Сергеевич усмехнулся, намекая на все еще заметную синеву под глазом. Отец, как бывало в молодости, высказался круто:

– Колом бы по башке-то саданул, а потом сдал, куда следует...

– А дальше-то што? Их надо половину за нарушение трудовой дисциплины сдавать. А кто у меня работать-то будет?... Фаню припугнул, теперь на все готов... Долго ли, не знаю?...

Но уходить не собираюсь. Они же, дай волю, всю деревню по миру пустят. А у меня тут отец жил, у отца отец, сам тут и дочери дом выстрою. Вот замуж пойдет – и выстрою.

Мать ойкнула и согласно закивала:

– Вот верно, Симушка. А то вон Егор у нас в городах путается, своего угла нет. Дворовик. Жена выгонит и сунуться некуда. Не дай бог такой жизни.

Помолчали в неловкости. Мать посмотрела на меня, Зосима Сергеевич взглянул на часы и, отодвинув стул, вышел из-за стола.

– Так я тебе, Милодорка, свет на днях сделаю. Любаву с Петром поставим на свое место, а с Михаилом Павловичем я уже пере-уговорился, успокоил его... А сейчас мне надо идти.

– Да посиди, – напористо возразил отец. – Пошумим, не часто заходишь.

– Шум-то у меня еще впереди. В правление надо еще. Председатель собирает бригадный подряд обсуждать. Внедрять надо...

– Какой подряд? Хватились – все убрано, считай, – скептически встряла мать.

– Так ведь весна-то опять наступит. А на ферме-то можно и теперь начинать.

– Я чего-то такое чула от Капитолины. Сказывала баба-то, все доярки сообща будут. Ли как?...

– Приблизительно, Милодора, эдак. Я и сам еще примерно предполагаю, а мысль вроде неплохая.

Мать махнула рукой...

– А нет, хорошо, – азартно поддержал отец Зосиму. – Мы вот раньше с мужиками, я еще холостой был, у купцов подряд брали на заготовку леса, так тут, парень, лодырничать некогда. Надо к точному сроку, да чтобы лесок-то был окорен, да укатан. У купца-то зря денежки хрен получишь. А как сделаешь все честь по чести, по уговору, тебе и премия. Да! Чего смотришь?... Да я сам на первый-то костюм сукна получил за подряд. Вот ты, ребята...

– Ой, сиди-ко, давай, Никифор. Нонь все не так, – ответила мать. Помолчала и как бы совсем не к месту сказала: "Нет, ребятки, навряд ли вы чего переделаете... Порча-то у всех нас в душе..."

– И ты права, Милодора. Теперь посложней. Но надо искать выход. Сукном теперь не заманишь, – опять поддержал Зосима Сергеевич. – Вот пойду думать... Ну, и ты, Михайловна, к утру-то передумай. Без пастухов-то, сама знаешь, нельзя.

– Ладно, – согласилась мать. – Доживем уж до утра-то...

Я вышел на улицу проводить Зосиму Сергеевича и, попрощавшись с ним, остановился на крыльце. Он притворил воротца ограды, повернул направо и, помелькав некоторое время в свете кое-где уже зажженных окошек, скрылся в конце деревни. Деревня, словно укутанная теплым облачным вечером, стояла, как обычно, мирно, уютно, зажиточно. Перед светящимися окнами длинной новой фермы весома разлеглись огромные скирды сена, вывезенные с полей на тракторных волокушах. Белела в сумерках быстрая машинная дорога и не было видно ни на ней, ни вокруг никаких ни раздоров, ни слухов, ни вопросов и, казалось, никак не может и быть их в такой глубокой и откровенной чистоте природы...

"Да?.. Поизвалялись мы... Порасхлябались... Позачумазились... В волю... По-российски!.. – думал Черноков, мысленно окинув всё то, что незаметно накапливалось в нём и, наконец, прорвавшись, выплеснулось на бумагу..."

Невольно слыша обрывки кухонного разговора соседей, Черноков лежал на стареньком диване с промятыми, упирающимися в спину пружинами, сложа руки на груди. Измученная выковыриванием слов, их зачеркиванием и перестановками, душа представлялась ему похожей на расклеванную птицами гроздь рябиновых ягод: "Теперь уже не каторжанин. Скорей покойник. Еще бы тетку Феклу с псалмами в изголовье". Отравленный никотином мозг не хотел работать, он заставлял себя расслабиться: "Все, сегодня конца не могу придумать", – и все-таки продолжал просматривать по памяти содержание страниц рукописи, как рюкзак перед дорогой: не осталось ли вне его что-нибудь важное?... Какое-то событие, будто бы логически завершающее все сделанное им, вертелось среди вспоминавшихся разных картинок совсем близко и ускользывало...

"Ах, да!? Как же я сразу не догадался? – наконец подумал он. Точка – это именины". – И еще приблизительно, без подробностей представив

тот вечер, Черноков почувствовал, как в душе начало что-то светиться, оживать, возбуждая радостное волнение, будто он всплыл из омута и увидел, что берег-то – рядом и очень похож на тот, который вырисовывался из всего пережитого им...

Вот подтягиваются к дому бабушки мужики в новых рубашках, освеженные, попахивающие одеколоном и, кажется, совсем другие, чем обычно. Подходят к дому чуть раньше и закуривают во дворе, здороваются, подавая друг другу руки, будто знакомятся впервые...

Вспомнив это, он почувствовал близость долгожданного облегчения, словно после тяжелой болезни, и, уверенный в неопровержимости только что почудившегося ему открытия, подумал, торопясь запомнить хотя бы вывод: "Главное – не разбрестись, не утратить ощущение друг друга. И радости жизни... Гармонь оставим. Оставим именно гармонь. Значит, есть и вера, и сила. Как жаль, что Лили тогда уже не было"...

Он еще долго лежал, сверяя свои мысли с содержанием рукописи. Ощущения долго качались, спорили, не сразу признавая такую концовку естественно вытекающей из всего предыдущего. От волнения тот вечер оживал в памяти ярче, ему хотелось, несмотря на усталость, описать его сегодня же, но, чтобы остудить себя и подумать, он отложил работу до утра...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Накануне дня своего рождения особенно рьяно хлопотал дядя Минакий: раздавал наряды и без того расторопной жене, учил, как бывший флотский кок, что и как варить, бегал к бригадиру звонить по телефону родственникам, жившим по деревням чуть ли не всего района, а возвращаясь, пробовал кушанья, стряпал сам и опять раздавал наряды... На плите трещало, шильчало, клубилось парами. Вокруг пахло грибами, мясом, луком, картошкой. Из жестяной трубы, похожей на голенище сапога и просунутой сквозь крышу над уличной печкой, дымок струился почти с полудня, и по двору то и дело сновали бабы. Даже бабушку Евгению Васильевну усадили чистить грибы – а она и рада, сидит на крыльце среди тазов и корзин и, довольная, ворчит:

– Вот, парень, все не доверяли, не доверяли – худо вижу, червяков пропушу. А как зандобилась, так и старуха сгодилась... А я всегда

годилась, глаза-то у меня еще крепкие, да вы слушаетесь нашего брата, когда вас приспичит...

Вечером, чуть сумерки коснулись деревни, Минакий, намытый в бане женой, наодеколоненный, с разметавшимися кустами бровей, именинником возглавлял застолье. Стол накрыли в лучшей передовой избе-горнице с желтыми прохладными полами, широкими старинными лавками подле стен. Тут же стояли полированные сервант и комод, на стенах киотики с семейными фотографиями, обряженные рукотерниками прежней работы, телевизор...

Мужики – все родственники: то зять, то сват, то племянник зятя, сидят степенно, будто все друг для друга новые, и смущаясь, неловко накладывают еду на отдельные тарелки, выставленные на этот случай городской дальней родственницей. На столе и так тесно от графинов, блюд, сковородок. Брякают вилки, руки мужиков, не привыкшие к отдельным тарелочкам, трясутся, и они, постепенно смелея, затевают складчину. Отец, робко наколупав на свою тарелку кучу разных закусок – ломтик селедки, кружок лука, грибок соленый – не знает, куда что приткнуть, и вполголоса говорит:

– Ну-ко, Михаил Павлович, давай, мы с тобой одну на двоих тарелку-то...

А Михаил Павлович и сам уж давно рад:

– Вот точно говоришь, Никиша. Ты, парень, не зря мастер на все руки...

Подложили еще кое-что к отцовской кучке, составили тарелки одна на другую.

– Вот теперь ладно, – подводит черту отец.

– А то бы еще лучше без всяких тарелочек – из общего блюда. Супу-то на ее ведь не нальешь.

– А суп-то самоглавна еда, – поддакивает отец.

– Ну, ничего, дальше видно будет, докумекаем... Девки-то, ишь, городские стали, а это дело не учли. – Муж тетки Дуни смеется и кивает через стол, где сидят наряженные, целый день ходившие в бигудях мои двоюродные сестры. Тоже в сомнениях от своей затеи: убрать бы, правда, тарелочки-то, да всем из общих блюд и латок; да вроде бы как некультурно: мы-то не как городские, недалеко уехали, а вот Егор чего-то молчит и улыбается.

Прислушиваясь к суете вокруг, но самостоятельно, особым несколько миром, сидят пожилые женщины и старухи во главе с бабушкой.

Праздничная суета, вроде лишняя и вроде необходимая – ибо и она уже создает особенность настроения – тянется до тех пор, пока Минакий не вмешался с решительностью хозяина:

– Ну-ко, вы там чего-то все запутались. Давай, раскошеливайтесь. Вино-то хоть у вас есть?

– У всех, у всех, Минюшка, – с угождением мужу ответила тетка Тоня, живо оглядев стол. Мужики поддерживали.

– Ну, так поднимайте. Обождет, так с закусками-то сразу разберетесь.

Застолье, в предчувствии облегчения от всяких неудобств, – выпьем, а там все станет на место – дружно оживилось. Минакий, словно торопясь отвести неизбежный тост в свою честь – и смущение, тоже неизбежное, поднял стопку:

– Ну, давай, выпьем за все хорошее в жизни, да чтоб худого поменьше было. В общем, за Великий Октябрь, – добавил он, усмехаясь.

– Ты, Минакий, нас не понюжай, – не растерялся Михаил Павлович. – Ладом. Мы первую-то стопку за тебя выпьем. А ежели еще раз нальешь, так за все хорошее – мы вторую, да и не одну. – Все засмеялись и потянулись к имениннику со стопками. Чинно встал муж свояченицы, директор школы в областном центре, и складно похвалил дядьку, пожелав, что положено.

– Ладно, все хорошо. Здоровья бы только, да все бы мирно, – в смущении отозвался Минакий и азартно снова пригласил выпить. Тетка Тоня наклонилась к бабушке, своей свекрови, из-за глуховатости только догадавшей о том, что говорилось, и на ухо громко сказала:

– Ты, мамушка, тоже пригуби,

– А я пригублю, Антонина. Да я еще и в себя опущу. Мне-то у нас много ли стало сегодня?

– А шестьдесят пять. Глонí давай, маленько.

Мужики выпили, крикнули, пожилые женщины пригубили. Сестры, чувствуя на себе взгляды родителей и мужей, тоже пригубили, чрезмерно поморщились, и все потянулись к закускам.

В краткой тишине зазвякали тарелки, вилки, стаканы и кружки с домашним пивом. Только бабушка Еня, отхлебнув водки, не притронулась к еде, а поднесла ко рту ладонь, одернула ей губы и задумалась, будто оценивая на вкус что-то незнакомое или забытое. И

еще раз пригубила, и поморщилась сдержанно, и, поставив без спешки граненую рюмку, обронила: "Крепко".

Тетка Тоня, пока закусывали, присела к столу, захлебнула глоток водки рассолом заварной капусты и опять встала – хозяйке некогда расслаивать. Подлила в кружки пива и начала потчевать:

– Ну-ко, груздями-то закусывайте, прошлогодни, а ишь каки бѣлы. Специально на холоду хранили. Мясо-то волочите из латки – там кролик ведь, свининки-то маленько, для жирку... Тамара, подай-ко Никише-то шаньгу, я знаю, он любит картофельные... Киселя овсяного попробуйте, а суп-то хлебайте... Ну-ко и драчену, чего никто не починает? Михайло, Веня, вы там ближе всех – волочите...



Вторую стопку выпили-пригубили уже без прежнего смущения, и лица молодых женщин прошиб обжигающий румянец. Зашевелились в глазах огоньки. Тетка Тоня под общее уже одобрение начала собирать отдельные тарелочки...

Пригубили третий раз: "Ну, так будем-ко все здоровы", – закусили быстро, подгоняемые каким-то нетерпением. Переглянулись молодые, возбужденные сестры, и это возбуждение передалось всем. Нужно было только чье-то слово. И тут муж тетки Дуни, умевший сказать его вовремя, хмельно и весело, как в молодости, растянул:

– А все пропьем, гармонь оставим... – и за столом запритоptyвали даже старухи.

– Ну-ко, Егор, вылезай. Не отнекивайся... Забыл, так вспомнишь. – И уж кто-то сует в руки забытую гармонь, а я робею и отказываюсь, и отказываясь, беру ее в руки, а пальцы, вспоминая, ощупывают пуговицы...

Задвинули в угол стол, развернули вдоль стен стулья, а бабы уж притоptyвают и вполголоса распеваются – только нажми голоса... Эх, была – не была!..

Первый несложный перебор пальцы вспоминают быстро, минута-

две – пробую другие голоса – пальцы слушаются. Теперь можно попробовать и посложнее – только не сбиться бы. Прошелся по пуговицам сверху вниз и обратно. Получилось, а бабы, чувствуя нарастающую уверенность в игре, тоже смелеют, и от пляски все горячают, голоса звонче и азартнее, уже не опасаются за гармониста. Поют: одна начинает, все подхватывают и широко, и звонко доводят частушку вместе, и тут же впляс: а ты следи – пока поют, гармонь приглуши, перебора не меняй, чтобы не сбить, а уж когда допоют – нажми позвонче, да тоже не осекись ни на секунду, поймай момент. А они подробят и снова запоют, но когда, кто начнет? – никто тебе команды не даст, а сам почувствуй – на то ты и гармонист. А ошибешься, они с тобой сами поправятся и простят, но лучше уж угоди... И я стараюсь, захваченный пляской, чувствую ее, не глядя, весь поглощенный гармонью. А бабы вычекотывают каблуками на желтом полу, поют, и, кажется, конца этому никогда не будет. В круг завыскакивали мужики и пошли по избе, кто вприсядку, кто сразу в обнимку с женщинами. Пальцы начинают уставать, я изредка мажу. Устали и руки, и кажется, вот еще раз разведу меха, а сжать не хватит сил. В этот момент из другой избы вбегает тетка Тоня: "А это кто такой играет, это кто откудова? Далеко ли эта ягода живет отсюда?.." Она знает, как поддержать гармониста. Какой я ягода, а только начавшие заплетаться пальцы снова забегали азартней...

– А девушки красивые, не будьте гордоватые. Любите раненых ребят, они не виноватые. – Бабы спели, повернувшись пылающими лицами в круг, и рассыпались по избе, выстукивая на полу узорную дробь. Все вдруг легки на ногу и в нарядных, облегающих платьях, оказывается, совсем иначе выглядят. Я устаю, и гармонь захлебывается чаще.

– А много сена накосили, много и накучили. Девки совести не знают, игрока замучили, – опять вступает за меня тетка Тоня. – Вам только бы плясать, понеси вас все некошны... Давай, Егорушко, отдохни... перепышкайся, жданой. Шибко хорошо играл.

Успокаивались вздрагивавшие в пляске груди, обадали теплом разгоряченные молодые женщины. Одобрительно переговаривались азартно наблюдавшие за пляской пожилые. Хозяева начали обносить гостей: тетка Тоня с графином пива, сам Минакий с бутылкой водки. Потчевали всех, каждому доливая посуду до полна. Но теперь по полной не выпивали даже мужики. Наскоро закусывали, подсаживаясь к столу,

или запивали пивом. А чаще отказывались: "Хватит, Минакий, уважили тебя". Бабы обмахивались и обтирали лица платочками, доставая их из-под рукавов или из-под выреза платьев на груди. Чистенькие новые платки находились и в глубоких мужицких карманах: "А как же? Это на поже некогда с ними – рукавом, а в гостях дело другое..."

Слегка хмельной, на огонек и гармошку, в избу зашел Фаня Стафийкин. Потоптался сначала около порога, поздоровался с бригадиром, курившим с мужиками: "Ты на меня, Зосима Сергеевич, не сердись. Ладно?" Потом робковато подошел к хозяину:

– Поплясать охота, Минакий Иванович. У меня с собой...

– Ты, давай, с бутылкой-то не трясись. У меня вина-то хватит на всех вас... Только чтобы все ладом. Рук не расщеперивай, дело знай, – строго, по-хозяйски предупредил Минакий.

– Не-не, ну ште ты, Минакий Иванович! поплясать баба отпустила...

– Фаня засмеялся, а потом досказал, – тут со мной еще Петя, на улице... Можно и ему?... И Веня тоже...

– Всех бы еще друзей навел, – недовольно сказал дядька, а потом махнул рукой, – ладно, только смотрите, чтоб! Давай. Без пляски какой праздник.

Через несколько минут Фаня уже плясал вместе со всеми.

– А это кто такой играет, это кто откуда?.. – опять разжигая обессиленного гармониста, спели бабы, и в течение вечера еще не раз вспоминали эту частушку...

Наплясались только к полуночи, и на круг выходили теперь поочередно. Казалось, веселье, которому не виделось конца, иссякло и сейчас уныло разбредется. "Пьем вино мы, пьем – и не морщимся. Завтра по миру пойдем – растопорчимся", – вяло спел кто-то из мужиков,

– Ну-ко, Егор, играй по деревне, – вдруг раздалось несколько женских голосов.

– Не дичайте, девки, разбудите всех, – одернула, но не очень строго, тетка Тоня.

– О-о-й! Мы не часто и собираемся. Какой праздник, если по деревенке не пройти. Давай, Егор!

Сестер поддержали мужья. И через несколько минут над деревней, утонувшей в тишине ночи, раздался протяжный звонкий голос: "А из деревенки в деревенку ходили табунком. А наши хромовы ботиночки сияли огоньком".

Мужики, захмелевшие от водки и воли, через раз рьяно начинали одну и ту же частушку: "А все пропьем, гармонь оставим, пригодится нам она", – и никак не могли допеть до конца, то ли забыв окончание, то ли его не было... то ли суть их настроения полностью выражалась спетыми словами.

И тогда снова запевали мои двоюродные сестры: "А по деревенке пройдем, по левой половиночке. Веселых песен попоем на память ягодиночке".

А мужики в обнимку, уже явно задоря баб, опять начинают заядло и дружно: "А все пропьем, гармонь оставим", – и тут уж и жены, поняв задиристость, подхватывают звонкими, смеющимися голосами: "А пригодится нам она"... – и от силы слившихся вместе голосов вдруг все почувствовали, что слов не хватает, надо еще что-то выдохнуть. И тогда сестрин муж, механик теплохода, обычно заикавшийся, вдруг без единой запинки взревел: "А не такое мы видали", – так что и остальные, угадав продолжение, успели поддержать его, будто слова эти уже давно жили в каждом. И развеселившиеся от игры бабы уже одни добавили: "А не пропали все равно", – на ходу пристроив строчку из другой частушки. Но теперь уже мужикам, распираемым азартом, чего-то не доставало, и они, попав в момент, когда я, меняя перебор, нажал многоголосый аккорд, яростно рыча, выдавили: "Э-э-х! Ра-ра-ра... мать вашу"... – как перед атакой.

И потом все захохотали: "А пригодится нам она! Давай, Егор, не тужи! Нажимай... Фаня! Веня! Петро! Давай, девки!" – требуя играть веселей... И замелькали в пляске на окраине деревни, протяжно выстроившейся вдоль белеющей в предрассветных сумерках широкой машинной дороги, под талым, негреющим огоньком электрической лампочки, матово светившей с верхушки покосившегося деревянного столба...

А в последнюю ночь перед отъездом, лежа на чердаке дома, я сквозь думы и дрему слышал, как чикали колени матери и слышал ее шёпот в избе под иконным углом:

– Господи, Иисусе Христе. Прости меня, Господи мой, за Лиленьку... Пожалей заблудших... Вразуми... Прости и помилуй! Благослови их, деточек наших!!

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

... И было предчувствие, что этот осенний день, в котором опять не произошло ничего обнадеживающего, просто так все-таки не закончится. Ощущение это было не сильным и не навязчивым, лишь иногда осознававшимся чем-то вроде неясной тоски, наплывавшей откуда-то издалека, появление которой я скорей всего связывал с представлением о том, что вот сейчас сяду в трамвай, через полчаса выйду из него, еще через пятнадцать минут неторопливого хода по respectable проспекту сверну в полутемный переулок, окажусь в старой коммунальной кухне без окон, в которой в силу этого постоянно тлея банным светом слабая электрическая лампочка, желто освещая два соседских столика, накрытых старенькими клеенками, газовую плиту, раковину, огромного черного кота, который встретит меня усталым, все понимающим взглядом, примет моё сочувствие в одинокости, чуть вытянув для поглаживания лохматую голову, обнажив при этом небольшое белое пятно на шее в форме сердечка; потом я, Черноков, вскипачу чайник, съем, если окажется в хлебнице, остаток какого-нибудь никогда не портящегося пирога или обломок засохшей булки, закурю – и, почитав что-нибудь на ночь, лежа на старом, с промятыми пружинами, чужом диванчике, засну, загнав внутрь неуютное чувство шаткости и неопределенности своего положения...

Вечер был уже довольно поздний, движение машин достаточно редким, так что переходить улицы можно было без всякого риска, не обращая внимания на светофоры. Но торопиться в свой одинокий чулан, как я называл про себя снимаемую комнатенку, мне не хотелось, и я подождал, остановившись на кромке тротуара, когда загорится зеленый свет, и только после этого перешел на другую сторону проспекта, к перекрестку двух центральных улиц, на котором в течение всего дня, как рыба во время нереста, кишела толпа. Теперь перекресток почти пустовал. Лишь не-большая кучка разрозненных людей, в основном мужчин, будто тоже чего-то не дождавшихся от прожитого дня и тоже тосковавших об этом, стояла на тротуаре в районе остановки трамваев, кратко прогуливаясь около стены углового кафе, уже давно закрытого, негласно носящего название одного из азиатских городов, в свое время постоянно мелькавшее в репортажах радио и газетных журналистов...

В течение всего дня, и на самом перекрестке, и внутри кафе, особенно в часы обеденного перерыва, постоянно толпился разный народ: люди обоих полов и разных возрастов, продавщицы соседних магазинов и галантерей, служащие близлежащих контор и просто прохожие, и просто проезжие, заходившие сюда, чтобы перекусить бутербродами, выпить соку или поболтать за чашкой кофе, который здесь делали сразу на нескольких кофеварках, и потому, даже при большом наплыве людей, довольно быстро и чаще всего – хорошо...

Но всегда, от начала работы и до закрытия, кофейную публику развлекали, а точнее сказать – составляли основу ее – люди трудно угадываемого образа жизни, тоже разные по возрасту и полу: то какие-то праздные, будто ничем не интересующиеся, то, наоборот, от самого входа пристально оглядывающие состав посетителей, глазами перебирая лица, как четки пальцами, будто явившиеся откуда-то, чтобы навести какую-то справку, и опять исчезнуть. То подчеркнуто деловые, одетые не без шика и поглядывающие на всех, как на жалких пьянчужек, свысока, сдержанно изображая на лице что-то вроде безразличия: "Ну, эти отбросы общества мне не чета"... И совершив проход между густо облепленными круглыми столиками, иногда с тростью, выходили обратно, никого не удостоив личным вниманием. Иногда за этой надменностью и действительно чувствовалась крепкая состоятельность, впрочем, опасаясь внимания милиции, иногда – и это гораздо чаще – надменность была будто взята на прокат или в рассрочку, как и костюм с галстуком.

Случалось, что в зал, желая слегка шокировать обывателя, являлись молодые люди, скажем, в высоких, черных, шелково блестящих цилиндрах, в манишках и с моноклем и, сорвав любопытные взгляды, шествовали обратно.

Часто встречались просто несчастные люди, с откровенно болезненными, страдающими лицами и, наверное, такой же страдающей душой, занимавшие друг у друга на чашку кофе, или рывшиеся в своих карманах, заранее зная, что нужной суммы там не наберется. Иногда, судя по репликам, за столиками собирались мелкие спекулянты (а, может, и крупные) вещичками, маклеры, "книжники"; то девочки и мальчики, имеющие, видимо, весьма неплохое жалованье от родителей, и начинающие практиковать вкушение запретного плода; то, опять же, судя по репликам и выражениям лиц, непризнанные художники, поэты, но все, как казалось мне, томящиеся неуверенностью, каждый своей, живущие в основном кое-как, может быть, просто бездомные люди,

коротающие время, надеющиеся на что-то, переживающие то дождь, то холод, то одиночество, здесь, среди общественного, всем доступного, но временного тепла, – такие же, каким я чувствовал себя и сам.

Заходил я сюда довольно часто, но в основном из любопытства, и, как провинциальный человек, недавно оказавшийся в огромном городе, в котором особых знакомств не было, приглядывался ко всему, что было доступно. Тем более, что в кафе обитали люди, чаще всего нуждавшиеся в простом участии, хотя близких знакомств я ни с кем не заводил и лишь иногда здоровался с печальными завсегдатаями кафе, невольно знакомыми в лицо, и, как правило, кому-нибудь из них добавлял недостающий на чашку кофе пятак или гривенник, – и от этого было грустно...

Подойдя к остановке, я посмотрел на разобщенно ожидавших своего трамвая людей, будто огорченных этим и потому каких-то унылых, и, тоже одиноко, встал чуть поодаль, взглянув на город, по-казавшийся мне тускло-желтым, с налетом тинно-зеленоватого цвета на каменных стенах домов и сухом асфальте, по которому временами налетавший ветер гонял опавшие тополиные листья, шуршание которых чем-то напоминало голоса шепчущихся деревенских старух. Ветер гнал их то в одну сторону, то в другую, и листья, устав от этого, словно оглядывались, ища на лету, где бы укрыться, и успокаивались, расстелившись вдоль основания стен домов, или в закоулке, где их доставал уже не всякий порыв ветра. Иногда листья вставали на ребро и колесиками катились, напоминая, как казалось мне, детишек, переходивших улицу под надзором невидимой няни, или утиный выводок, перекочевывавший из гнезда к озеру...

Молодых женщин на остановке не было. Лишь старуха с палкой и кошелкой, да еще какая-то женская фигура, которой никто из десятка мужчин, кажется, ни разу не поинтересовался.

Когда же подошла Она, выйдя из-за угла, но как-то сразу попав всем на глаза, я отметил, что по мужчинам будто прошло какое-то особое молчание. Они и до этого молчали, лишь трое о чем-то негромко переговаривались, но теперь молчание стало откровенно напряженным, каким-то затаённо-охотничьим.

Она подошла и, чувствуя явное внимание к себе, остановилась подчеркнуто независимо. На ней было почти белое, явно импортное, дорогое пальто, модные сапожки того же происхождения, и косынка, умело подобранная к цвету всей одежды и повязанная вокруг тонкой длинной шеи. Была она высокого для женщины роста, с маленькой

балетной головкой, на которой были гладко причесаны волосы, шнурком связанные на затылке в недлинный хвостик, упиравшийся в приподнятый воротник пальто. Ощутив перемену настроения, я со стороны поглядывал за мужчинами и заметил, как кое-кто из них, будто с сожалением сказал себе: "Нет, это не про нас", и, утешая самолюбие, отвернулся, как бы не увидев ничего, достойного внимания.

Она, чувствуя молчаливое оживление вокруг себя, тоже не могла скрыть невольного напряжения.

"Гетера... но породистая, не просто... высокого класса, знающая себе цену, очень дорогая, которую почему-то не оставили и не проводили... Или не осталась и даже отказалась от провожатых, как "инфанта", решившая покапризничать под простолюдинку"... – почему-то подумал я с ухмылкой, незамеченно понаблюдав за ней издали и отдавшись игре воображения. Подумал, но одновременно с этим почувствовал, что все слова, которые мелькнули, были не совсем точными, даже больше, чем не совсем, но ощущение – "гулящести", опытности и разборчивости, знания себе какой-то высокой цены, появившееся с первого взгляда, все-таки упорно оставалось, вызывая боязнь и влечение одновременно. И я тоже сказал себе молча: "Нет, это, конечно же, не по тебе. Такие не для бродяг, безденежных и бездомных", – но сказал все-таки не так обреченно, как те, что сразу отвернулись, якобы за отсутствием интереса, и продолжал наблюдать...

Трамвая не было довольно долго, и, наконец, от кучки из трех мужчин, стоявших вместе, отделился военный в форме пехотного капитана. Был он явно пьяненький, но пьяненький как-то уныло, без отваги, когда все нипочем, и потому отделился трусовато, даже с какой-то жалобностью, почти гарантировавшей обреченность поступка, на который он все-таки осмелился. Капитан, возможно, тоже решил, что вышла одна "из таких", хоть и дорогая, и опасная, но из "таких" все же, и решился подкатить: "А чем черт не шутит?". И я с некоторой завистью: "Вот он все-таки решился!" и сожалением одновременно: "Уведут сейчас такую интересную женщину", стал наблюдать за развитием сюжета...

Капитан приблизился к ней, явно неуверенный в себе, и по его губам видно было, как он что-то сказал, скорей промямлил, и промямлил, видимо, что-то пошленькое, то ли в соответствии со своей натурой, то ли от растерянности и стеснения.

Она, даже не повернув в его сторону головы, что-то тихо ответила, так что я, стоявший в пяти-шести метрах от них, даже не услышал ее

голоса, а капитан раздавленно отступил, как-то полубочком передвигаясь обратно к своим друзьям в штатском, тоже, казалось, застеснявшимся такого поражения своего товарища.

Сцена эта была сыграна так четко и быстро, без всяких лишних движений и звуков, что все, видевшие ее, будто ничего и не видели и просто скучно ожидали трамвая.

"Нет, а она сейчас выходить не будет... Хотя, вроде бы?" – подумал я, чувствуя ее боковым зрением. Она оглядывала меня, видимо, уверенная в том, что это незаметно, и, видя это, я, как только трамвай остановился, вышел подчеркнуто независимо, по пути "визгнув" молнией модной куртки, и, чувствуя, что она, возможно, наблюдает за мной, вдруг, как деревенский мальчишка, задиристо поддернул вельветовые джинсы, сунул руки в карманы и неторопливо, чтобы пропустить мимо трамвай, пошел по кромке тротуара. Но трамвай почему-то задержался на остановке дольше обычного, и, я, дойдя до перехода, остановился...

Потом, уже много позднее, осозналось, что и эта задержка, якобы вынужденная тем, чтобы пропустить трамвай и спокойно перейти улицу, была вызвана сожалением о том, что вот сейчас эта загадочная женщина уедет куда-то навсегда...

И когда трамвай поехал мимо, входя в поворот, я, поймав ее взгляд за окно, помахал рукой, как бы на прощание, ожидая какой-нибудь обидной реакции, но она улыбнулась и, как показалось мне, с каким-то сожалением, и тогда, чуть подбежав за трамваем, я снова помахал рукой, предлагая выйти на следующей остановке... Она быстро догадалась, и по ответному жесту ее было件нятно, что она согласна и даже рада этому...

И я пошел вслед за трамваем, все-таки не совсем уверенный в том, что она выйдет, но по приближении к остановке увидел знакомую фигуру...

– Здравствуйте... Меня зовут, – я почему-то хотел сказать Игорь, но сказал, – Егор. Я вас принял за инфанту, разогнавшую всех своих сиятельных поклонников. А вы вот принимаете приглашение от случайного попутчика...

– Так и должно быть. Логично для раскапризничавшейся ... только не инфанты, а чего-то более скромного, – ответила она, немного смутившись, но непринужденно. – Погода нравится, теплая, грустная. Погулять еще хотелось, но одной как-то неудобно... Да и рискованно. Сами видели на остановке. Вот я и решила принять ваш вызов...

– Можно. Мне тоже не хочется в свою камеру... Она взглянула вопросительно.

– Это я так называю чулан, который снимаю тут, неподалеку...

Как будто с хорошо скрытым сожалением отреагировала она на эти слова, а я, чтобы не изображать из себя кого-то и не играть в прятки, без лишних эмоций признался:

– Я все еще студент, которого жена перевезла из другого города, где я работал. А здесь учился заочно... И когда я появился, объявила мне на пороге, что уже подала на развод и выходит замуж за другого.

– Как же это?

– Да так... За месяц до моего выезда прислала страстно любящее письмо с заверениями в несносной любви, – я взглянул и просто-душно, слегка иронично усмехнулся, – и пока я укладывал свой хлам в чемодан, так же несносно влюбилась в какого-то железно-дорожного проводника. Сказала, что я её подавляю какой-то тяжестью, и она все время чувствовала себя душой... Ну, вот потому я уже год в чулане... Хлам – это слово понимаете?

– Догадываюсь. Это ваше "богатство"...

– Ага. А я люблю деревенские слова, родное...

– А я неплохо знаю деревенскую литературу. Так что не думайте меня удивить, – ответила она, слегка осяживая меня, но дружелюбно. – Пойдемте парком...

– Можно, – ответил я, чувствуя рядом не простушку, а фигуру, и твердо запретил себе какую бы то ни было "пижонскую" игру. Шел спокойно, не тяготясь молчанием и не собираясь придумывать что-либо для разговора.

– А чему вы учитесь? И где? – спросила она, не выдержав *его* хладнокровного поведения.

– В университете... Дотягиваю...

– А почему "дотягиваю"?

– Потому что можно и бросить. И так уж все ясно...

– А диплом?

– Так он мне знаний уже не прибавит, – ответил я искренне, – так, как действительно чувствовал и думал. Она вроде бы хотела сказать насчет того, что, дескать, без бумажки... но сдержалась, сообразив, что эта банальность, наверняка, известна и мне. И спросила:

– Так чему же вы научились?

Я назвал факультет и добавил с усмешкой: "Все знаем, ничего не умеем".

– Тогда зачем же вы поступали?

– А я не жалею. С чего это вы взяли сочувствовать? Я получил то, что хотел.

– А что хотели?

– Хотел узнать, в чем смысл жизни. – И я повернулся к ней, заранее уже зная вероятную реакцию, и взглядом дал понять, что смущаться своей наивностью не собираюсь; и даже больше – не нахожу это наивным. Напротив, каждый человек должен прежде всего этот вопрос решить для себя. По крайней мере всерьез об этом подумать и желательно кое-что почитать основательное...

Но она все-таки засмеялась, пожалуй, именно потому, что усмотрела наивность, и, кажется, еще от уверенности в том, что для нее-то уж вопрос этот решенный.

– А вы читали "Буллет-парк"?.. "Незабвенная"? – спросила она, немного флиртуя иностранными именами.

Я не читал ни того, ни другого, но, не дрогнув, ответил:

– Нет. Я читал другие книги... Ну, например, если хотите "Критику практического разума"... Еще кое-что в таком духе.

Она расхохоталась: "И как?"

– Ничего. Когда вынырнешь, не сразу сообразишь, где ты, – спокойно ответил я, не реагируя на ее несколько издевательский смех. – Не буду вас спрашивать, читали вы, или нет... Не могу удержаться от восхищения, раз уж коснулись таких материй... Так вот, однажды в Афины пожаловал из Абдер сам Протагор! Мудрец главный. Афинские граждане за ним... Шептались: Протагор, Протагор... Это тот человек, который сказал: "Человек – мера всех вещей"... Естественно, все непрочь поживиться мудростью. И вот самые знатные из них устроили в честь его обед... Расселись, как свободные граждане, но с почтением друг к другу, как подобает... Вина разбавленного подали, чтоб не особенно хмелило и не портило мудрой беседы. И слово давали по очереди... И каждый сказал что-нибудь достойное размышления. И все, конечно же, ждали, а что-то скажет Протагор?... Но когда настала очередь говорить ему, Протагора вдруг охватила такая икота, что он не мог произнести ни одного внятного слова. И, видя свое такое положение, он не смутился, а, как и подобает мудрецу, собрал все свои способности и сказал своему молодому соседу, знатному аристократу и особо расположенному к мудрости: "Послушай, друг Каллий, или ты прекрати во мне эту проклятую икоту, или говори сам!" Каллий взял слово, но все желали помочь Протагору. И кто-то осторожно посоветовал выпить воды... Но это не помогло Протагору. Тогда сказали, что надо взять гусиное перо и пощекотать им ноздри. Что Протагор и сделал... – Еще не дорассказав, я захохотал. – Но от щекота-

ния мудреца схватила чихота. Он чихал, чихал, так что афиняне уж забеспокоились... Но вот, наконец, способность говорить вернулась к Протагору, и он сказал: "Фу, как много надо надеть шуму, чтобы привести бременное тело в приличествующее состояние."

– Какая прелесть, – сказала она, улыбаясь. – Это что, из критики какого-то разума?

– Не, – ответил я, снова спокойно. – Это из Платоновского диалога. Давайте, перейдем на другую аллею...

– Ну, и узнали вы, в чем смысл?.. Жизни, конечно...

– Узнал, – подчеркнуто независимо ответил я, как будто не ей. – Узнал, что его никто не знает, кроме Кого-то... И для себя каждый должен искать его сам.

– И какой же тогда прок?..

– Корысть от этого, конечно, не велика. Но зато как-то спокойней себя чувствуешь перед теми, кто так уверен, что будто бы действительно все знает. И вообще спокойнее. Особенно, когда у тебя ничего нет...

– А вы, между прочим, далеко не похожи на неимущего, – она повернулась, окинув взглядом мою одежду.

– Я как-то туристом бывал... Это остатки прежней роскоши...

– Ну, и как же теперь? "Все знаем, ничего не умеем?"... И не имеем? Не обижайтесь...

– Не знаю. Пока работаю дворником, правда, на должности механика кафедры, но все равно что дворником. А там, не знаю... Уповаю: не думай о завтрашнем дне, ибо трудящийся достоин пропитания. – Я рассмеялся...

– Да, на всякий случай, меня зовут Егор, – сказал я.

– А меня Лиля, тоже на всякий случай, – ответила она, усмехнувшись иронически.

Вернувшись после полуночи в свою квартиру, я погладил кота, поставил чайник и записал на отклеившейся около кухонного столика кромке обоев новый, легко запомнившийся номер телефона...

=====



КНИГА ТРЕТЬЯ

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ



КРУГ

Возвращалась весна, время от времени напоминая о своем приближении запахами далеких оттепелей, уловимых лишь чутким настроением. В начале марта стало заметно, как подножья сугробов, словно лишайниками, стали покрываться тонко свитыми кружевами, которые к полудню подтаивали и, осыпаясь, роняли на снег едва слышимые прозрачные звуки...

Это оживление природы в тот вечер невольно коснулось и меня. И я, оставив в квартире со всеми удобствами умнеть перед телевизором родню, снова погнал себя из дома.

Я положил на полку равнодушно читаемую книгу, потом заставил себя встать и пошел к шкафу с одеждой, взглянув по пути на комнату с телевизором, за дверью которой, сквозь мутный пластик, виднелся силуэт то ли жены, то ли ее матери.

«А может быть, тоже посмотреть? – Я остановился, маясь сомнением. – Рухнуть бы вот так же в кресло?!»

Но прошел мимо.

Насилуя себя, я нехотя и долго разыскивал в свалке обувного ящика старые лыжные ботинки. Потом сходил в другую комнату неизвестно зачем – скорей всего для того, чтобы во время хождения малодушно передумать и никуда не выходить, но все же снял халат и начал переодеваться.

– А где шерстяные носки? Таня!?

– А ты куда? – робко переспросила жена, выглянув в дверь.

– Куда-нибудь! – ответил я, не взглянув на нее.

Жена принесла носки, пояснила словно в оправдание:

– Я их стирала, – и тяжело замолчала. За окнами дома иногда посвистывал тугой ветерок, и я решил надеть куртку на теплой меховой подкладке, так как потеть на лыжне я не собирался. Видимо, уже давно прислушиваясь к возне около выхода, ко мне подскочила кошка и сладко выгнулась от желания прогуляться. Недовольная этим, за ней суетливо вышла теща.

– Ты куда?! Ты куда, паршивка. Сиди дома. Опять блохастить рвешься? – отчитала она заботливо-строгим голосом любимую кошку и унесла ее ласкать на своих коленях.

– Да пусть идет. Она же не человек. Ей воля нужна... Весна к тому же.

– Хватит, я ее уже водила сегодня. Коты опять всю изваляют в подвале...

– Ну и что? Животные же не для того, чтобы нас ублажать...

Мать хмыкнула и правомерно замолчала...

Раздражение, возникшее от разговора, возбудило меня лишь на короткое время, и я ушел на улицу, по-прежнему превозмогая сонливость.

Сложив одна на другую, я зажал лыжи под мышкой и, дремля на ходу с открытыми, опущенными в землю глазами, поплелся на окраину новостройки к полю...

Лыжня, проложенная за железнодорожным полотном по обеим сторонам длинной канавы, по которой летом текла ржавая жижа, была замкнута на поворотах двумя мостиками, перекинутыми через нее на расстоянии почти километра друг от друга, и неумело, «с заусеницами» накатана школьниками ближайшей восьмилетки. Около нее в полуосвещенном придорожными фонарями пространстве, отдельно, как-то отсутствующе, прогуливались по шпалам владельцы собак. Иногда, словно для того, чтобы убедиться в своем существовании, они бросали в снег разные обломки, приказывая собаке приносить их обратно, и снова бросали. Собаки, обнадеженные появлением цели, доверчиво и жадно бросались в сугробы, возвращались, радуясь, что полезны хозяину, и снова бросались, и наконец уже без всякой охоты лезли в снег, поняв бессмысленность занятия... Я наблюдал за ними, узнавая себя.

Поставив лыжи, я нехотя присел, чтобы загнать под «петушки» дужки креплений. Они были подогнаны плохо, я давно собирался переставить их, но все откладывал, и теперь и в этом усмотрел подтверждение своей обреченности: «Знать, действительно доживаю. И коленки скрипят, как у старика, и сплю на ходу, и брюзжу», – и вдруг ощутил подступившую к горлу ядовитую каплю жалости и презрения к себе...

Двигаться не хотелось и, встав на лыжи, я лениво поволок их, оступаясь на твердом, обледеневшем снегу. Потом подтолкнулся палками, чтобы въехать в колею, оттопырив зад, как девица, только что не взвизгивая. Но даже при таком усердии катило неплохо. Я толкнулся еще раз, заставив напрячься безвольные, словно чужие, мышцы, и, опустив палки, уперся руками в колени.

«Нет, не хочу. Не могу... Лучше умереть, вот здесь прямо растянуться на лыжне, задремать и незаметно исчезнуть. Ну что за жизнь?.. Мучительное пробуждение для поездки на работу ради пропитания и будущей пенсии, оскорбительная езда туда и обратно в набитых людом автобусах, жратва, посещение туалета, разговоры о каких-то переменах, о детях, которых не было, и, казалось, уже и не надо. Потом равнодушное спанье. И завтра все то же с ничего не меняющими вариациями: анекдот, сплетня, возмущение бесхозяйственностью, скандальный слух...» – годами накатанная модель жизни качнулась, как тина от набежавшей на берег волны, и опять безнадежно улеглась около дна.

«Господи, если бы я знал, покупая первый билет в этот легендарный город, что через пятнадцать лет вот так буду жить!.. Ходить и отворачиваться от дома, в котором живу, как от сплошного забора!»

Я подумал об этом не словами, а только узнал давно знакомое ощущение и, разогнувшись, посмотрел в сторону поля... Изуродованное с краю гусеницами экскаваторов, кучами вырытой земли и давно валявшимися бетонными трубами, светившимися навывлет как тоннели, оно долго не могло оторваться от наседавшего на него города и только постепенно превращалось в настоящее поле. Во время последних февральских метелей вздымавшееся в воздух вместе с вихрями густой снежной пыли, поле теперь будто опало, как парус. Почти нетоптанное после выюги, оно расслабленно покачивалось, тихо шелестело, улегшись в свои берега, и задумчиво размякло в предчувствии приближающейся весны. Вдалеке его окружал тонкий березовый лес, сливаясь с синью, перед которой мерцали редкие огоньки маленькой деревни, уже обреченной на снос! Когда ветер подул сильнее, оттуда донесся собачий лай: сначала тявкнула одна собака, помолчала и, уточнив, взлаяла уверенно. Тут же ей откликнулась другая, третья... Потом разноголосо повыли все, словно обороняясь, и замолкли. Кто-то, видимо, прошел вблизи.

«Надо идти,– приказал я себе и снова толкнулся палками, кряхтя, но как только скольжение затухло, опять опустил руки. – Не хочу. Что меня держит в этой жизни? – машинально, как во сне, мелькнул вопрос, я попытался на него ответить, усилием воображения заглядывая в себя. – Не знаю. Ничего не радует. Осталось умереть...»

Но возник страх, я увидел ревущую над моим остывшим телом мать, отца, безмолвно плачущего сухими глазами, жену... даже недоумевающих знакомых: «С чего бы это?» – и в душе что-то шевельнулось, обнаружив там тлеющие жизнью закоулки. Вдруг я ощутил, что мне еще хочется удить рыбу в речке, около которой я родился и вырос, и хочется ходить по лесу. Он почему-то представился мне во время ранней весны и поздней осени – жалобным и терпеливым.



Это было живое чувство, и я пошел чуть быстрее: «Надо двигаться. Куда?.. Нет, надо!»

Бег не ладился, я сбивался с ритма: то валяло из стороны в сторону, то лыжи насакивали одна на другую, и я продвигался в основном за счет палок, наваливаясь на них, как на костыли, и раздражался. Наконец, когда начался отрезок лыжни, проложенный хорошо, без «заусениц», я взял палки за середину, чтобы заставить себя сосредоточиться, восстановить координацию и технику. Двигаясь не торопясь, я старался контролировать каждый

элемент ходьбы.

«... Толчок, скольжение, толчок... Не забывай расслаблять толчковую. Не загружай рано маховую ногу. Следи за руками, не забывай дышать... Так, хорошо. Не спеши. Пока главное – техника движения, ритм... Эх ты!? Какой позор. Бывший перворазрядник. Я теперь как новичок... Отдача, опять отдача... Это потому, что опоздал толкнуться. Внимательней...»

Получалось плохо, сознание то и дело отключалось, забывая следить за движением тела, я останавливался и начинал снова.

«...Толчок, скольжение, толчок...» Постепенно отрезки лыжни, которые я проходил с хорошей координацией, удлинялись, ритм бега стал почти автоматическим, и к середине круга я почувствовал, что уже хочется пройтись по-настоящему, хочется пробежаться. И на ходу просунул руки в ремешки палок.

Я катил, пробуя разные способы бега на лыжах, и с удовольствием отмечал, как теплеет и оживает тело и уже вспоминается то, чего не мог вспомнить всего несколько минут назад, а теперь вот оно во мне, не как прошлое, а как сейчас живущее. Все стекалось в меня, как ручейки в речку весной, возвращая моему «я» забытые или задавленные ощущения. И даже мысли, которые сопутствовали им тогда.

Я бежал в среднем темпе, легко принаравливаясь к выбоинам на лыжне, и от радости оживания заставлял себя вспоминать все, лишь бы поддерживать задымившийся костерок – в том числе глупости, когда-то казавшиеся открытиями.

«...Людам нужна не истина, а вера». Тут же, как отголосок теперешнего настроения мелькнуло: «Жизнь не борьба, а возня». И опять: «Разум никогда не правил жизнью, ибо он производное ее. Он способен лишь анализировать то, что уже случилось. Он всегда поспевает к шапочному разбору...» Особо подчеркнуто вспомнилось: «Кто никуда не плывет, тому никогда не бывает попутного ветра», – чиркнуло, как по живому, будто слова эти точно объясняли мое состояние, но желание вспомнить больше, чтобы засвидетельствовать свое оживание, толкало дальше. «Самое трудное быть естественным, как животное. Самим собой... Уже не время злорадствовать, обличать и высокопарно лгать, что все хорошо. Уже не время. Надо спасать дом», – вынырнуло опять неизвестно по какой логике, будто с середины прерванного спора. – «Надо искать ценности, не подвластные моменту времени...»

Вспоминая, я, словно крепкий морозный воздух, вдыхал в себя уверенность, и азартно бежал по лыжне здоровым, забывшимся, готовым жить дальше. Но постепенно наступала усталость. Тяжело дыша, я сбавил темп. Возбуждение, а вместе с ним и старые чувства, утихали. Я уже не хотел просто бежать по скучному, без опасных спусков и пригорков, кругу и катил кое-как, находя этот круг очень похожим на свою жизнь. Сойти с него было можно, но я не видел, ради чего надо топтать новую лыжню. И даже поежился, вообразив, как колко будут тереть ноги шерстяные носки, когда они промокнут от растаявшего в ботинках снега...

Он появился на лыжне неожиданно, выйдя на нее из сумерек поля, когда я шел по противоположной стороне канавы, вдоль узенькой полоски жиденьких кустиков вербы и молодых березок, будто не росших из-за несносного отаптывания корней...

Я вспомнил собачий лай и подумал, что, наверное, это он проходил недавно около деревни... Напрямую нас отделяло метров пятьдесят, по лыжне – около пятисот, то есть половина круга, похожего на фасолину, с километровым периметром...

Жизнь в городе невольно приучает человека к безразличному отношению друг к другу. Тут и рождаются неведомо, и неведомо растут, занимая место в толпе, и неведомо умирают. Здесь не шепчутся всей деревней, расспрашивая, кто родился у соседей, и не горюют сообща на поминках. Из толпы на проспектах и улицах каждый день навсегда выпадают люди, но толпа не редет, а просто смыкается, как круги над утонувшим в омуте камушком...

На улице мы бы и прошли мимо, а на фоне пустынного поля – всяк человек фигура.

«Примерно моего возраста... Как же его зовут?» – подумал я о нем и скоро забыл, разбираясь в причинах своей неприкаянности. Но минут через пять он снова попал на глаза. Мы перешли по мостикам в разных концах «фасолины» и опять катили навстречу друг другу – теперь он около березок, а я по кромке поля. Его поведение задело: ни в тот, ни в этот раз он не взглянул в мою сторону, и теперь в свете придорожных фонарей я разглядел его подробней: он был в хорошей спортивной одежде, в которую, взамен мастерству, любят одеваться чаще всего люди, не занимавшиеся спортом всерьез, и катил, хоть и не торопясь, но с претензией на лыжную подготовленность.

«Взглянуть даже не соизволил. А техника-то у тебя, брат, похожа на дамскую... Интересно, кто же ты такой?..»

«Ссориться» мне, однако, не хотелось, и я усмехнулся над нелепостью своей обиды, но какая-то скрытая пружина все-таки сработала: «Сейчас я покажу тебе, Боря, – почему-то я назвал его так, – что дело не в одежде. У меня и лыжи – доски, но ты увидишь у них расколотые задники...» И, оборачиваясь назад, пока было видно, я еще раз прикидывал его лыжную подготовку: «Нет, класс группы здоровья... Уставший от умственной деятельности молодой кандидат. Без базы... А ты-то своей лыжней, считай, земной шар опояшаешь», – подзадоривал я себя и невольно набирал скорость. «Отрыв метров пятьсот, чуть больше. Круге на четвертом можно достать», – окончательно оценил я обстановку и теперь уже откровенно бросился в погоню.

Очень быстро выяснилось, что на лыжне было гораздо больше выбоин, заусениц и замерзших комьев земли, кое-где проступавших

около лыжни, которые не замечались при спокойном и, главное, бесцельном беге. Теперь же они словно выросли, вызывая чувство раздражения и досады. Заметив это, я приказывал себе не нервничать, внимательней вглядываться в лыжню, особенно там, где она вбегала в мутно освещенное пространство, менял темп и способы ходьбы в зависимости от рельефа ее, но складного, скользящего бега не получалось: то лыжи забегали в стороны, то насакивали одна на другую, то вдруг – отдача, сразу же выбивавшая из ритма, и скорость приходилось поддерживать за счет напрасного растрачивания сил...

После первого круга силы почти иссякли, расстояние между мной и парнем не сократилось, показалось, что он даже оторвался. Из последних сил я еще раз толкнулся палками, не разгибаясь безвольно выдохнул, расслабил руки, подобрав палки, чтобы не волоклись по снегу, и покатил в наклоне. Когда скорость начала гаснуть, я выпрямился и, задыхаясь и захлебываясь начавшей густеть слюной, медленно побрел вперед, волоча лыжи тоже в двухопорном скольжении, и уже каялся, что затеял этот спор. Но когда отдышался, ощутил, как сыграло уязвленное самолюбие и изнутри опять выдавилась ядовитая капля жалости и презрения к себе. Шагая, я попытался подсказать, что никто моего пари не видел, никто не знает, а, стало быть, можно сделать вид, что его и не было, что это просто детская выходка, достойная взрослого осмеяния – раз некому уличить, значит, и не грешен, – но от этих мыслей стало еще противней, и я, сплюнув, почти вслух сказал:

– Подлец! Лишь бы за руку не поймали, так, что ли?! – А потом мелькнул вопрос: «А если бы от того, догонишь ты этого парня или нет, что-то зависело?...» Так бывало в детстве, когда я, страдая от жары, оводов и мух, косил с матерью пожню маленькой, чуть больше серпа, косой-горбушей, специально для меня выкованной отцом. Он работал в кузнице, во время сенокоса ему отпуска не давали, и он прибегал к нам вечерами, в основном для того, чтобы сметать сено в стог, или по воскресеньям. В желании помочь матери я стремился накосить как можно больше, и когда от работы в наклон спина околевала так, что, прежде чем разогнуться, приходилось сначала упасть на колени, я загадывал про себя: «Если дотерплю, пока мама первая предложит передохнуть, тогда в воскресенье меня на сенокос не поведут и можно будет идти рыбачить», – и, воображая себя Павкой Корчагиным, махал косой. Чтобы не сдаться, вспоминал: «Для этого нужна братва

отважная!» – и с восхищением, и с жадностью, будто упиваясь сочностью слов и их звуков, повторял: «Братва отважная! Братва! Отважная!..» – дожидаясь, когда мать устанет и скажет: «Давай, Егор, перепышкаемся», – и похвалит: «У-у-у, молодец, больше меня накосил...»

Зимой же, катаясь с крутого обрыва, да еще с трамплином, я внушал себе: «А Сережка Тюленин не побоялся бы!» – внушал, охваченный высоким чувством, и повинаясь ему. Иногда, как послевоенное дитя, – подбадривал себя кличем, долго не утихавшим в душах деревенских мужиков, вернувшихся с разных фронтов: «Вперед! За Родину!» – и, отчаянно оттолкнувшись самодельными палками, выломанными из тонкого елового тына, бросался с кручи, как на подвиг...

И теперь даже слабое, остуженное временем ощущение того задора, донесшееся как звук сквозь вату, все-таки возбудило во мне зависть и желание поступить по-детски. Но кто-то взрослый ухмылялся, подсматривая за мной со стороны, и я шел медленно. «Если от того, догонишь ли ты, зависит?.. Например, если догонишь, то, значит, сможешь и выкарабкаться из своего состояния», – все-таки загадал я серьезно и одновременно с трудной усмешкой на замерзшем от ветра лице, но опять кто-то ухмыльнулся цинично, и я, споря с этой ухмылкой, вдруг вспомнил: «Идеал человека позади, то есть в детстве, а не впереди», – мысль, в свое время ослепившая меня как откровение. Вспомнил даже, что строчка на странице была набрана особым шрифтом и среди остального текста светилась подобно щели в стене темного сарая. Ища глазами парня, я посмотрел вперед...

Он подходил к мостику в другом конце лыжни, сделав явный отрыв, и довольно быстро, но в том же двухопорном скольжении, которым грешат неумелые лыжники, катил вблизи придорожного фонаря. Потом обернулся. При виде фигуры, бегущей по лыжне с жестко полусогнутыми коленками, меня опять зашло: «И вот такого-то ходока ты не можешь догнать?!»

– Не может быть! – уже вслух сказал я, почувствовав мгновенный прилив сил, и решительно продел кисти рук в ремни палок.

Покатило хорошо. Сильно толкнувшись, я вбежал на маленький бугорок и, подхватив скорость, перешел на размашистый попеременный шаг. Первой разминки и последовавшей за ней передышки оказалось достаточно для восстановления сил, движения

были легкими, но я сдерживался, чтобы как следует войти в ритм и только потом уже наращивать скорость.

«Такого ходака и не догнать?!» – подзадоривал я себя и, проехав по жесткому, обледеневшему мостику, быстро взглянул вперед. Парень почти силуэтом маячил в реденькой темноте, переходя другой мостик, и вроде снова оглянулся в мою сторону, когда зацепил палкой за железные перильца.

«Первоначальный отрыв, кажется, восстановился», – отметил я и прибавил.

К середине второго круга расстояние между нами сократилось еще, но держать такой темп я уже не мог. Вдруг усилился встречный ветер, вроде стало тупить лыжи – есть такой снег, который хорош для неторопливого скольжения, но не годен без смазки лыж для настоящей гонки, – и я занервничал. Стал замечать, что и палки то и дело проваливаются в снег, дергая назад, что опять начало вязнуть во рту, сбиваться дыхание, ломить в пояснице... Снова хотелось бросить все, сказать себе: «Глупость! Детство. Не выкарабкаюсь, ну и бог с ним. Мое здоровье, как хочу, так и распоряжаюсь», – хотелось остановиться и с облегчением рухнуть на палки. Но мелькнули глаза матери, плачущие надо мной около дома с голубым подзором, выцветшим от времени и дождей, и даже послышался ее причитающий голос: «Где же ты, дитя, эдак угробил себя?.. Рано шибко, в такие-то годы...» – и я не смог остановиться, только сбавил темп, разогнулся и покатиł медленнее, на ходу сплевывая вязкую слюну, расслабляя мышцы, восстанавливая дыхание и давая отдых сердцу, сначала грозившему выскочить из-под полы куртки, но постепенно утихавшему, оседая вглубь, словно возвращаясь на свое место. Вскоре я перестал слышать его удары, зачерпнул на ходу горсть снега, освежил рот и снова огляделся...

Парень выкатил из затемненного участка лыжни и лесочка по противоположной стороне канавы, и я впервые точно заметил его взгляд, брошенный в мою сторону: мне показалось, настороженный и неприязненный, словно он не ожидал встретить меня тут, а где-то позднее, и сразу резко, но неловко дернулся и заторопился убежать. Мелькнуло: «Неужель и он тоже?..» Однако в тот момент я еще не понимал, что происходит, но столь близкое появление цели, как дичь для собаки, сразу же подхлестнуло меня, и я, сначала все-таки заставив себя раскатиться, опять бросился в погоню...

Через два круга после этого момента мы уже бежали по одной стороне, и, приближаясь, я иногда слышал, как впереди, на твердых участках лыжни торопливо стучали задники его лыж. Но опять задыхался и сам.

«Если догоню... если догоню... то?» – теперь уже помимо моей воли отстукивало в мозгу, и я, возбужденный до предела, торопился вспомнить все самое сокровенное, самое желаемое, чтобы загадать это совершенно всерьез, как тогда в детстве...

«Если... то я выздоровею». – Это, может быть, было самое главное и решало все остальное в жизни. Но в тот момент я не почувствовал действия этой мысли и ворошил себя, скорее вспоминая что-нибудь другое. Любимое и болевшее: «Мама... Она не переживет, если со мной... Речка... Лес. Отец... Жена... болезнь излечима, и тогда – родится сын! Господи!.. Если догоню, то?.. Значит, я не бездарный человек. Просто устал. И только поэтому ничего не хочется. Верю...» – думал я и терпел, поддерживая скорость, ловя мгновения для передышки и расслабления мышц на кратких, едва заметных уклонах лыжни, и одновременно с этим, кажется, постоянно спрашивал себя: «Почему же я бегу? Откуда силы?..» Потом как-то само собой промелькнуло слово «цель», которое я увидел точечным огоньком, бежавшим впереди меня... «Ага, я утратил веру... Я никуда не плыл... Значит, нужна цель! Иначе жизнь бессмысленна... Но в чем?.. Где?.. Но есть же! Есть! Что?..» Я чувствовал себя как перед трамплином. И бежал, задыхаясь, но в каждый момент, когда казалось, что вот еще раз толкнусь и все – не выдержу, находил силы для следующего толчка, будто все происходящее не выдумка и не игра, а реальное, на самом деле обещающее исполниться – надо только не сдаться и догнать.

Парень упорно поддерживал отрыв, уже не скрывая своего намерения убежать, и к концу круга в правом боку я вдруг почувствовал приступ тупой, непреодолимо сковывающей боли, словно в животе набухал и давил, распирая, камень. Узнав в этих приступах «мертвую точку», я почти застонал от бессильной ярости и, невольно разогнувшись, покатил медленней, держась за живот правой рукой.

– Ничего, потерпи, это пройдет, – приказывал я себе, поглядывая вперед, имея в виду уже не парня, а то воображаемое, во имя чего стоит не жалеть себя, и, поддерживая азарт, задирался: «Теперь

достану. Только бы ты с лыжни не сошел... только бы тебе домой не захотелось».

Парень заметно укатывался вперед.

«Если?.. Если?.. Неужель уйдет?» – Боль не проходила, и я, боясь упустить его, снова занервничал: «Все, не могу шагнуть!» – и заставлял себя еще вспоминать, пока в памяти не мелькнула фигура отца. Сначала он появился около дома, а потом на позже. Я будто вижу боковым зрением, как он, стоя в сторонке от стояжы, свертывает сигарку, правит пальцем махорку, и прищуренным взглядом смотрит, как я первый раз мечу сено вместо него, и говорит: «Вот этот пласт хорошо, на место положил. А крайний-то промежек в бок увело... А посмотри-ко? Нет, я вот сейчас покурю да сам. Ты пока поучись...» А потом я вижу, будто он опять около дома, уже постаревший, но все с тем же требовательным и строгим прищуром видит меня теперешнего, отчаявшегося и готового сдаться: «Эх, нет, сын. Слаб ты, жидок. Позоришь, не в меня...»

Длилось все это мгновения, но внутри словно обжигало, и я, еще чувствуя болезненные уколы, снова начал набирать скорость. «Если... если?.. Отец же смотрит», – опять мелькнуло под шуршание лыж. И я бежал, яростно работая палками, заставляя утихнуть боль, вдруг заметив, что и ветер не такой уж сильный, и лыжи почему-то не тупит, – может, это просто казалось, – и слышал, как то послевоенное дитя будто кричит мне с обрыва: «Вперед! За Родину!»

Еще через круг я уже «сидел» у парня почти на запятках, различая его новенькие лыжи, даже видел, как в полосах света, пересекавшего лыжню, мелькали под каблуками его ботинок бугорки налипшего снега, и чувствовал, как он, уже явно из последних сил, пытался снова оторваться.

Пристроившись в хвост, я чуть сбавил скорость, чтобы передохнуть и сделать последний рывок для обгона, а он, толкнувшись палками под уклон, вдруг резко осел грудью на колени, словно сломался пополам...

По инерции чиркнув во время объезда по задникам его лыж, я проскочил мимо и услышал, как он захлебывающимся в одышке голосом что-то прохрипел...

Я не разобрал его слов, они донеслись до меня уже сзади, со спины, но в интонации голоса успел все же расслышать что-то похожее и на вызов, и на досаду, и на отчаяние...

Я не стал тормозить, толкнулся еще раз палками, укатившись вперед, и, когда лыжи остановились сами, так же, как он, в изнеможении лег на колени грудью. От усталости сознание на мгновение выключилось, и я, ничего не понимая, долго чего-то ждал...

Когда дыхание успокоилось, я выпрямился и оглянулся: хотелось попытаться пошутить, что ли?.. Но сзади никого не было, только короткий отрезок лыжни виднелся в полосе придорожного света, постепенно размываясь в синеватой полутьме поля. И я жалко усмехнулся.

Переткнув палки поудобней, я снова обмякше навалился на них, как в пустоте – будто только что проснулся, – и посмотрел на другую сторону оврага. Там кто-то учил послушности молодого, кажется, боксера, бросая в снег обломок чего-то, и пес азартно мял сугробы, возвращая брошенное хозяину. А за ними, словно мираж, светился многоэтажным маревом одинаковых окошек огромный квартал нового города. Туда мне идти не хотелось...

«Надо назад. Домой...» – неуверенно подумал я. Посмотрел на небо, в котором не сразу увиделось несколько мелких звездочек...

«Но куда? Где он теперь, мой дом?..»

И, поеживаясь от холодка, забравшегося под взмокшую рубашку, я свернул с лыжни в нетоптанный снег широкого синеватого поля, мерцавшего вдалеке редкими огоньками деревни. Пошел вброд, проваливаясь и чувствуя на груди встречный, то ли одинокий, то ли вольный ветер...



ГАРМОНЬ

... **И** солнце ещё не светило, а только робко мерцало, пробиваясь сквозь утреннюю дымку, и воздух был прохладно-влажный, словно ещё не просохший от росы... Ещё не было толпы ни на площади, ни на близлежащих улицах, и замечался каждый человек, появившийся перед глазами; ещё не стёрлись на лицах следы умывания, и не выветрился запах духов от проходивших мимо женщин... И утро, хотя и прохладное, хотелось назвать утречком и погладить по головке, как маленького ребенка.

Но где-то неподалёку играла гармонь... Играла негромко, задумчиво, иногда с чуть заметным надрывом, будто по слогам выговаривая мелодию, неизвестную разве что тем, кто ещё не родился...

И хотя на мелодию я отвлекался не больше, чем на присутствие воздуха, которым дышал, всё же строчка: "словно ищет в потёмках кого-то, и не может никак отыскать..." невольно беззвучно повторялась где-то внутри меня, и в памяти всплывали ночные пейзажи с далёкими, едва мерцающими огоньками, как дырки, простреленные в темноте, только потёмки в этих пейзажах виделись синими, как вечерние горы Грузии, или мартовские снега в оттепель, и не разрушали почти беспечного утреннего настроения...

Но вдруг тихо, и словно невзначай, подумалось: "... а жизнь стала, как ноша, которая и с ног не валит, и разогнуться как следует не даёт..."

Положив рядом полутотый рюкзачок с термосом и свертком еды на день, я сидел на ящике из-под апельсинов в сторонке от выхода из метро, привалившись к прохладной стенке. Сидел дремлюще в ожидании брата, чтобы ехать в пригород достраивать дачную баню давно знакомому штангисту, неизвестно как вдруг разбогатевшему, сидел, казалось, совершенно беззаботно и если и думал о чем-то, то без какого-нибудь принуждения и только потом заметил, что душа томится какими-то рассуждениями без моего ведома... Что-то решает...

Мысли рождались как бы сами собой, возникали из ниоткуда и уходили тоже в никуда – как строчки под изображением на экране: безмолвно появятся из-за пределов телевизора, проплывут перед глазами, я их автоматически прочту, не отвлекаясь от картинки в

кадре, и они погаснут. Иногда надолго, а потом снова выплывут, и я, слушая, как гармонь выговаривает: "Словно ищет в потемках кого-то", считываю:

– ... И жить стали будто не всерьёз... И не живём, а что-то будто переживаем... И "Новости" словно вести с фронта... Убили, взорвали, опять взорвали, убили... опять взяли в заложники, опять... Ну, это уж неслыханно!.. Что ни точка на глобусе, то "горячая"... А войны мировой никто никому почему-то не объявлял. Все поют и пляшут, разгул... Хоть бы постыдились... А, может, я сплю, и всё это мне думается во сне?.. и вообще, вся жизнь чьё-то сновидение... Или – нечто вроде прихожей, где надо приготовить себя надлежащим образом, чтобы вступить в истинную жизнь – вечную?.. Не знаю... Нас рожают – не спрашивают. Родят, а ты, если захочешь, разбирайся, что это такое вокруг тебя и для чего?..

Рассуждение прозвучало с иронической усмешкой, словно вдогонку чему-то, и я опять забылся. Мысль погасла, и на "экране" долго ничего не проплывало... Более того, иногда я совершенно не ощущал своего тела, будто растворялся, становился неосязаемым, как воздух, а реально существовала только бесплотная душа, будто совсем не нуждавшаяся в нём, чтобы быть, чувствовать и думать...

Вдалеке от меня, возвышаясь над крышами домов, в голубой просвет неба едва заметно дымилась тоненькая труба, похожая на ствол только что выстрелившего ружья. Сбоку, и тоже далековато, висел на стене дома недавно появившийся плакат, рекламировавший сигареты, которые я когда-то покупал у фарцовщиков, и с надписью: свидание с Америкой...

– Думай и богатей, – вдруг вспомнились слова на обложке книги, которую читала в метро молодая женщина. – Какая мощная формула! Истинно наполеоновская!.. Впрочем, и автор её – Наполеон. Только то ли Халл, то ли Хил, – подумал я тогда с ощущением какого-то жуткого восхищения и неуютно поёжился. – Ну, разбогатеешь! А потом что? Все перед тобой на задних лапках!?.. Ну, это еще как придётся – могут и застрелить... Впрочем, известно и другое: что толку, если обрящешь весь мир, а душу свою погубишь?.. Ах, это сказки! Ну, хорошо, сказки, а потом-то всё-таки что? Когда – потом?.. А когда тебя на кладбище повезут! Не дай Бог – в крематорий! Ведь повезут же!.. А туда ничего и не надо: этим вся игра и оборвётся, как отрежет... Не может быть! Неужели после ничего и не будет, исчезнешь и – всё!? Бесследно? И никто ни за что не спросит?!.. Так что же – жизнь это процесс,

явившийся из НИОТКУДА и уходящий в НИКУДА?.. Бессмыслица, что ли?..

Мысль натолкнулась на что-то непреодолимое и оборвалась, и я подумал уже о себе: "Впрочем, нормальные люди, видимо, не утруждают себя такими вопросами. Это привилегия неудачников. Таких, как ты, Нарчужанов. Во всяком случае – в наступившие времена. Так что – думай и богатей. А там, может, ничего и нет. Кто оттуда возвращался? А здесь всё реально..."

Почти рядом со мной на ступеньках лестницы из-за кусочка хлеба и щепотки семечек, брошенных мною, ссорились между собой голуби, в то же время отгоняя стайку воробьев. Бродячий пёс кусок хлеба только понюхал и разочарованно отошёл, презрительно взглянув в мою сторону, и уступил подачку чумазой дворняге...

"Словно ищет в потемках кого-то..." – повторила гармонь и на какое-то время замолчала, а потом снова подала голос, выговаривая опять же по слогам, но уже другую мелодию, и ключевая строчка песни вспомнилась тоже будто сама собой: "Сол-да-ту лиш-него и-муще-ства не надо, махнём не глядя, как на фронте говорят..."

И вот уже упругие двери метро начали мотаться всё чаще и чаще, выталкивая на улицу толпу. Утро ещё казалось ранним, как вчера, позавчера... год назад и, может быть, было таким же утром, уже много раз повторявшимся ещё задолго до Рождества...

А южане подкатывали к ларькам и стеллажам под навесом тележки с ящиками, коробками, и один из них гортанно-каркающим голосом командовал грузчикам:

– Бамдоры!.. Давай суда!.. Это тоже давай! Здесь черешня ставь!.. Ха- рашо! Зельнь!.. Её тоже давай суда. Здесь. Харашо!..

– Почем помидоры?

– Ещё не торгуим!

– А черешня?

– Ещё не торгуим!.. Слушай, пагади, тебе говорят!.. Видишь, раз-гружаемся! Слушай, тебе гаварю, дарагой!?..

Около хозяев вились подростки, предлагая свои услуги.

– Пагади! Сделаем, подработаем!..

На ларёчке, окошечком смотревшем прямо на выходящих из метро, было написано чем-то черным: "куплю ваучеры, золото, ордена". На соседнем – тоже чем-то черным по фанере, ещё короче: "Купим фсё!"

– А слово "Отечество" мы, похоже, вычеркнули из сознания, и публично радуемся, доказывая, что это хорошо... Даже будто кто-то великий когда-то сказал, что чувство патриотизма отвратительное, – опять проплыла строчка под изображением на экране и, не остановившись, потекла дальше. – А мать, отца тоже не надо?... Нет, это не сон... "Жизнь – обман с чарующей тоскою! Оттого так и сильна она, что своею грубою рукою, роковые пишет письма"... Господи! Как восхитительно звучит! "Обман с чарующей тоскою"... Роковые пишет... Да, наступившие времена – не ненастье, которое надо переждать. Пошел ледник. Измена климата! Наша эпоха кончилась, наступила ещё одна "новая эра"... Ну, как назвать время, когда самая плёвая цена – жизнь человека?! Вот ведь уже поговаривают, что маленьких детей продают за доллары. Выговорить жутко – "на запчасти"... Причём, сами родители... Не верю, Господи!?! Россия?! Какая мука! Будто над матерью на глазах глумятся, а я всё это вижу и не знаю, что делать и не делаю... будто связан по рукам и ногам, сам тут же валяюсь... Куда-то надо бы уехать? Пора... – строчка вдруг оборвалась, и в душе ознобисто запощипывало...

У желания этого не было никакого точного географического адреса, и когда я попытался уточнить это "куда-то", появилась картина потёмков, внутри которой не было никаких огоньков, а только мерцало пугающее всех слово... Сознание будто зашкалило, на мгновение всё отключилось, я вдруг почувствовал себя моментально осиротевшим, будто вокруг меня не было ни одной живой души, только тени... И чтобы не упасть в обморок, и подтвердить своё существование, я достал из бокового кармана рюкзака записную книжку и мелкими буквами, и будто шепотом, как бы таясь и от самого себя, начал записывать: "Давно чувствую я, что атмосфера наступившего времени мне органически противоестественна, будто дышу отравленным воздухом. Впрочем, и я новой жизни также отвратителен... И вот теперь я будто не живу, а только вспоминаю... Лежу, словно камень на дне реки, даже сомневаюсь в своём существовании, надеясь на что-то такое, чего жизнь уже не может пообещать..."

– Солдату лишнего имущества не надо, – снова напомнила о себе гармонь, и я встал, не закончив ещё какую-то мысль...

Сунув блокнот обратно в боковой карман рюкзака, я затянул пряжку, и едва разогнув затёкшие ноги, поковылял посмотреть на гармониста, чирикавшего где-то за углом, словно воробей... Звуки казались мне

прозрачными, как пузырьки, которые в детстве, вскоре после войны, я выдувал соломинкой из мыльной пены, и они, звуки эти, будто лопались под пальцами гармониста...

Играл мужик примерно моего возраста, может быть лет на десяток постарше, и сидел он действительно подобно воробью на жердочке, примостившись на выступе, ограждавшем станцию метро...

Одет он был в старенькую выгоревшую фуфаячку на-голо, и играл, припав к гармону, словно обнявшись с ней, и, казалось, таял от каких-то воспоминаний: и мучался, и утешался ими, и будто оплакивал что-то, переживая – как мне почудилось, то же самое, что, наверное, переживали солдаты после проигранного сражения.



Лицо его мне показалось знакомым, будто похожим на моего отца, и на всех мужиков, уцелевших и вернувшихся в посёлок после войны, и мне хотелось подойти к нему, но утешить его было нечем, и я в нерешительности топтался на месте, озираясь вокруг...

И мгновенно думалось обо всём сразу, и в ответ на это "всё сразу", не выразившееся никакими словами, с пронзительной досадой подумалось: "Россия?!.. Какое белое слово! Как метель..."

И повторяя, я вслушивался и вглядывался в это слово, как в картину, как в омут с невидимым дном, и оно незаметно будто тихо рассыпалось забытыми родными звуками: то голосом метели в каком-то необъятном поле, то шелестом густого снегопада, неторопливо, словно промывая воздух, осыпавшего землю, и завораживая...

– Ты чего? – спросил гармонист, взглянув на меня.

– Слушаю... Уж больно ты сыграл в душу!

– Хочешь ещё сыграть? – спросил он и, не дожидаясь ответа, рьяно рванул гармонь и нажал, помогая себе и голосом: "А степь да степь кругом, пуууть далёек лежит..."

ГАДАНИЕ С ИГОЛОЧКОЙ

...Кажется, он ни разу не уходил со своего места, всю дорогу просидев на нижней полке, аккуратно застланной тюфяком, простынями и клетчатым одеялом, сложенным вдвое... Сидел, свесив между колен маленькие руки с тонкими сухими пальцами, словно отсутствовал и никого не замечал. Но если соседям по плацкартному купе надо было что-то достать из багажника под его полкой, он вставал всегда чуть раньше, чем его просили, будто угадывал желание...

И я ни разу не видел, чтобы он сделал что-нибудь невпопад, или помешал кому-то и, казалось, вообще не занимал никакого места в пространстве... Услуживал ненавязчиво, не отвлекая внимание на себя, и в то же время органично участвуя во всём, что происходило в купе вагона. Пил чай, слушал разговоры соседей, толковавших о жизни, о том, что всё так ужасно переменилось, о заработках, безработице, скандалах и ужасах, вычитанных из газет, или услышанных по радио и телевидению; трепали фамилии известных политиков, упоая то на одного, то на другого: "Вот, если этого выберут, то он... А вот если бы этого назначить, то он навел бы порядок!.." И ахали, и охали...

Он всё слышал, потому что когда его спрашивали, отвечал уместно, иногда даже сам ронял реплики, и также легко опять выпадал из разговоров, словно в осадок, и кротко глядел на всех каким-то внутренним зрением... Впрочем, мне казалось, что во взгляде его проскальзывало иногда нечто похожее на жалость и презрение...

Реплики его на попутчиков не производили впечатления, в них не было ни остроумия, ни злободневности, будто он ничего и не знал о ней... И слова его были тихие, привычные, как смена времён года, как восход и заход солнца, как дожди, наконец... А много ли теперь сыщется людей, замечающих и задумывающихся над этими вечно повторяющимися явлениями?..

Лишь однажды он спросил, как бы возражая кому-то из споривших.: "Если истин много, у каждого своя, то как же возможен тогда общественный порядок, о котором вы так радуете?.." Но вопрос этот тут же замаячил гвалтом о молодёжи, о распущенности... Он как-то виновато усмехнулся и молча будто сказал: "Выбирать нам в этой игре краплёными картами до второго пришествия..."

Особенно ярился старик, ехавший в соседнем купе:

– Вот, курррвы! Такую страну развалили! Мне шоб к матери поехать, визу надо! Это ж надо суметь, шоб в одночасье! В бане трое по пьянке всё обтыпали...

Нервничая, старик то и дело выходил в тамбур курить, где я однажды заметил, что докуренную почти до пальцев сигарету без фильтра он ни разу не смял, уткнув её во что-нибудь, а напускал слюны между указательным и большим пальцами, макал в неё горящий окурочек и только после этого бросал его в пепельницу – консервную банку, приделанную к дверям вагона...

Старик был невысокого роста, чуть ссутулившийся, с маленькими цепкими глазами, с черной в проседях бородой и такими же волосами – густыми, жесткими, слегка вьющимися...

– Шшакалы! – презрительно ворчал он, вернувшись из тамбура, видимо, не выговорившись. Ехавший вместе с ним молодой парень успокаивал его, обнимая за плечи:

– Ничего, профессор, очуаемся... – называя старика то по фамилии – Якубович, то по отчеству – Иваныч, или паном профессором. Пан, слегка куражась, отбивался и продолжал яриться:

– Да шо ты меня успокаиваешь?! Шо ты?.. Я шестьдесят три дня просидел под вышаком!.. И пятнадцать по лагерям... Ты знаешь, шо такое ждать вышки?! Так я тебе скажу!.. Сидишь в камере – гадаешь, с вещичками тебя придут вызывать, или без?.. О чем только не передумашь... А ты говоришь, очуаемся!.. О-оёёй!.. Та самое главное, я ж, дурень, сам первый в деревне агитировал, глотку драл с бабами: империя зла! империя зла!.. Долой! Кровопийцы!.. А шо ж вышло?.. Ну, кто бы мог подумать, шоб мой зять, работяга, каких поискать надо, семью прокормить не может... Так колхоз же развалили!.. Так на нашу с бабушкой пенсию живут!.. А они, эти шакалы, с преступностью не знают, как бороться?! Ой же, курвы!.. А ты мне про свободу слова! Та кому она нужна?.. Кто меня услышит! Галди тут сколько хочешь... Референдум же был, восемьдесят процентов за Союз, а где он?.. Свобода – нищенствовать, валяйся на улице сколько хочешь!

Та я ж только что из Днепропетровска еду! Раньше повалялся бы, попробовал...

Старик мотал головой, усмехался, надолго закашливался, надевал на голову панаму цвета хаки с широкими полями, какие когда-то выдавали войскам СССР, стоявшим в Средней Азии, и, ехидничая, опять смеялся и кашлял:

– Не знают, так у Сталина бы спросили, если хотят бороться!.. Та можно и у меня – я б им рассказал, как меня три раза в облавах загребали. Я ещё пацаном был... Сотню загребут, девяносто выпустят, если документы в порядке... Но и те, кого надо упечь, тоже тут...

А они не знают, как? Ой же лицемеры ж!?

Профессор опять крутил головой, тихо повторял любимое словцо "курва" и, мрачняя, вопрошал никому:

– Это за шо же России такое глумление досталось? Это ж слов нет.

Потом задумывался и уже явно про себя вспоминал не громко: – "Может, правы были "исусики"? – Так профессор называл христиан, сидевших вместе с ним в лагере под Воркутой. – Ой, как же они терпели?! Как они за веру стояли! Я ж, дурень, смеялся, над ними. Ай-яй."

Неторопливо катившийся на Север поезд ронял на остановках пассажиров, и вагон постепенно пустел. К середине дороги в нашем купе я остался вдвоём со своим странным соседом, и мы долго сидели молча: он, облокотившись на столик и глядя в окно, я – полулёжа...

Потом сосед как бы про себя сказал, усмехнувшись:

– Полегчало... Будто телевизор выключили.

– Ага... А то мы тут галдели. Всё в кучу свалили, – тихо, но охотно отозвался я, тоже усмехнувшись. – А вы, как мне показалось, хотели что-то возразить, но соглашались...

– Что ж толку возражать, когда каждый уверен в своей правоте и совсем не слышит, что говорит другой...

Что-то симпатичное, необычное и таинственное чудилось мне в этом человеке уже немолодого возраста, как-то простеcki, по походному одетого, и хотелось поговорить по душам...

– А по-вашему, что же происходит у нас теперь? – осторожно намекнул я на недавние разговоры.

– На этот вопрос можно ответить и открытым текстом... Но, если хотите, лучше расскажу, как мне гадала цыганка...

Так вот точно также происходит сейчас и с Россией... Помню, в Архангельске... Давно было, а до сих пор сохранилось восхищение от того, как она меня морочила... Летом в скверике сижу на лавочке, навигация уже давно открылась, на рейде корабли. Тепло, сумеречки такие уютные перед белой ночью, американскими сигаретками пахнет – тогда это было диковинкой, соблазном, как и жвачка, девочки наши шмыгают по кустам сирени. Иностранная речь,

хохоточки, ну, и тому подобная обстановка... А мне что-то грустно было, и в кармане последняя трёшечка. Нет, не из-за денег была печаль, но всё же это существенная деталь, ибо на эту трёшечку мне надо было дотянуть до очередного жалования... Так вот, подкатила она ко мне – издали я увидел, что она меня облюбовала, и будто подумала: "Этот-то точно мой. За него надо взяться..." А я в ответ ей подумал, что ни при каких обстоятельствах я тебе, девушка, не клюну. Подумал так и сижу равнодушно... Подплыла, наконец, поближе, вся в юбках и шальных, и ещё ребенок за спиной привязан. Хочешь, говорит, погадаю?.. Всю правду скажу, и научу, что тебе делать?.. Нет, не хочу!.. А я тебе всю судьбу расскажу... Не хочу, я и сам её знаю, и казенные хлопоты тоже знаю: и те, которые были, и те, которые будут... И вообще, я с детства знаю, что жизнь моя закончится плачевно. Сказал, чтобы обрубить ей все подступы. Так что спасибо, не надо...

"Ну, тогда просто дай на ребенка, сколько можешь..."

На ребёнка как не дашь? Чувствовал я, что уловка это, для наживки, а всё-таки дал гривенник, завалившийся у меня в карманах... Она взяла монетку, разблагодарилась, потопталась около меня, а потом говорит: "Ты мне денег дал, не пожалел, я тоже хочу тебя отблагодарить. Я вижу, ты человек хороший, только через плохих людей много страдаешь, доверяешься им, они обещают много хорошего, а потом обманывают, но у тебя всё будет хорошо..."

– Не будет, упираюсь я, у меня и так всё хорошо. Я же сказал тебе что счастья мне не надо. Я его боюсь...

А она в ответ: "Слушай меня. Раз у тебя нет денег больше – не надо, я тебе и так, за эти деньги погадаю на иголке. Всю правду открою..."

И начинает гадать... Я сижу так, как будто меня это не касается, но уже как-то невольно слушаю: так интересно говорит, каналья, заслушаешься, да к тому же и очень правдоподобно...

И вдруг просит просто как бы поддержать какую-то иголку, и уже не только рассказывает про мою судьбу – у всех людей судьбы что ли одинаковые? – но и спрашивает, и я уже ей отвечаю... Однако, про себя думаю: денег я тебе больше не дам! А она вдруг говорит: "Положи ещё копеечку на руку мне. Так надо, чтобы закончить гадание", а я отнекиваюсь: нет у меня больше денег. А она и глазом не моргнет: "Положи, положи, я знаю, что у тебя есть..."

И я, наконец, выкладываю ей на ладонь последнюю свою трешечку. А она успокаивает: "Не бойся, я тебе верну. Ты же видишь,

всё на глазах", — и протягивает ко мне ладони, на которых действительно лежат мои денежки.

"Ни за что не упущу их из виду", — думаю я. Двадцать копеек оставляю, а трешку, прости, цыганка, возьму обратно"... А она всё рассказывает, как будет у нас всё хорошо, обещает, поглядывает вокруг, опять обещает, как теперешние реформаторы, что-то иголочкой крутит и ласково просит меня смотреть на неё, на иголочку, якобы в этой иголочке всё счастье... И я уже искренне смотрю, как замороженный, и, помню точно, лишь на мгновение взглянул мимо — в ту же сторону, куда смотрела и она...

Повернулся, спохватившись, вижу — никаких денег у неё на ладони нет, и она крутит передо мною пустыми ладонями и весело улыбается...

— А деньги где? — спрашиваю. — Ты же обещала?..

— А нету. Видишь, нету! улетели куда-то, — и действительно дунула куда-то в воздух... Нет, я не разозлился... Всё это было проделано столь восхитительно, что я захохотал... Но самое удивительное, что точно такой же сюжет повторился со мной в Москве, на самой Красной площади! Уж тут-то я думал!.. Нет, тоже улетели на той же иголочке. Дивная работа. Впрочем, и соблазнять нас не так уж и трудно.. В двадцатом столетии мы дважды наступили на одни и те же грабли: в семнадцатом году клюнули на лозунги "Земля крестьянам", "Фабрики рабочим", обвинив во всех бедах самодержавие и частную собственность, а в девяностых, наоборот, клюнули "на ваучеры" — дескать, причина всех бед — отсутствие частной собственности...

Слово "ваучеры" он произнёс с каким-то брезгливым выражением лица, прошамкав его как жвачку и замолчал.

Не скажу, что мысль его о "граблях" была для меня открытием, но рассказ о гадании цыганки мне понравился, особенно как-то чиркнула по душе мимоходом оброненная фраза: "Я же сказал, что счастья мне не надо. Я его боюсь". И почему-то очень захотелось узнать имя этого человека.

— Ну, а если открытым текстом? — напомнил я, надеясь, что в продолжении разговора он как-то обмолвится и о том, что меня интересовало...

— Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива, — как-то почти равнодушно отозвался он, будто продолжая течение своих мыслей.

Мы теперь всё виноватых ищем, врага... да, и враги тоже. Но если ты идешь в лес, должен знать, что в нём не только зайцы, но и волки живут,

а, значит, надо быть готовым к встрече и с ними. И если отвлечься от частных дел, то глубинная причина сегодняшнего разорения – безбожие! И мы получаем по заслугам... Россия – категория метафизическая, ибо смысл существования России с момента её Крещения, то есть уже больше тысячи лет, был в одном – хранении Православной веры. Об этом говорит вся её история. ЭТО только и делало её ОСОБОЙ страной, которую умом не понять. При всех ужасах и падениях народ России в душе своей больше пёлся не о комфорте жизни, а о вечном, о царстве небесном. И потому и удивлялся цивилизованный Запад; как же так? Страна богатая, а народ живёт кое-как, к тому же талантливый народ... Да вы вспомните хотя бы тульского Левшу... А объяснение очень простое: "Где сокровище ваше, там и сердце ваше"... И самое тяжкое ныне не нищета и разорение – нам не привыкать – а бесстыдство и утрата самобытности, утрата религиозного смысла существования и страны, и каждого отдельного человека, стремление жить на манер Запада – комфортно... Но на этом пути нами будут только помыкать и указывать, как жить. И если мы не осознаем своё назначение, от России останется одно только название да, может быть, территория. Да и то как сказать?... Мы забыли, а возможно и не замечали, что, пожалуй, только в русском языке слова родник, родина, природа, народ, рождение, наконец, Рождество – слова однокоренные. Возможно, поэтому большинство истинно русских людей всегда чувствовали себя за границей неуютно. Исключения бывают везде... А нас теперь и народом-то назвать можно ли? Все врозь, каждый за себя... Словом, если оценивать ситуацию рационально, то мы всё предали, продали, промотали... Какое ещё годится слово? И если история будет продолжаться долго, то за нами останется слава поколения, сдавшего Россию, и без религиозного смысла мы скатимся в разряд обычных цивилизованных государств и об "умом Россию не понять" надо будет забыть...

«Век расшибанья лбов о стену... Век акций, рент и облигаций... Конгрессов, банков, федераций... Век буржуазного богатства (Растущего незримо зла!) Под знаком равенства и братства Здесь зрели темные дела... Но тот, кто двигал, управляя Марионетками всех стран, – Тот знал, что делал, насылая Гуманистический туман... Там – вместо храбрости – нахальство, А вместо подвигов – "психоз"...» – вспомнил я строчки из поэмы, написанной почти сто лет назад, но вслух сказал, обозначив сомнение:

– Ну, вы нарисовали картину?... Совсем уж безнадежно.

– Отчего же безнадежно? Надежда, как и прежде, в Том же, от которого мы отреклись, и даже расстреливали за Него, или в тюрьму сажали. Старик тут недавно вспоминал: исусиками называли...

Он отвернулся к окну и замолчал... Если о гадании цыганки рассказ его был эмоциональным, с различными оттенками интонации, то рассуждал он совершенно бесстрастно, даже почти равнодушно, нисколько не заботясь о том, согласятся с ним или нет. Произносил всё сжато, как математическую формулу, явившуюся в результате глубоких и долгих размышлений, в которых все страсти уже сгорели. Лишь лицо его, кажется постоянно выражало состояние сожаления, даже иногда скорби, будто изнутри его подтачивала какая-то скрываемая боль, или досада на что-то, которые он периодически прикрывал печально-иронической усмешкой...

– Признаюсь, мне иногда хочется оставить всё, – снова размышляюще сказал он, видимо следуя за своими мыслями, – уехать к речке, на место исчезнувшего посёлка, в котором я когда-то родился, развести там костёр, кормиться, пока можется, от речки и леса, и там как-то незаметно растаять, что ли... Иссякнуть, как маленький ручеёк в песочке.

Чай мы пили молча...

Поезд, угрожая развалиться, медленно кряхтел где-то между Вяткой и Пермью. По пустеющему вагону на каждой остановке мимо нас топали в сторону вагона-ресторана жители маленьких станций и полустанков, рыскавшие что-нибудь прикупить: кто водки, кто колбасы, кто конфет или печенья... И потом также быстро ссыпались с подножек вагонов, иногда уже на ходу поезда выхватывая из рук рестораничков втридорога оплаченный товар...

Прощаясь, уже перед выходом, в пустом полутемном тамбуре он сказал:

– А зовут меня Феофан, – усмехнулся почти по-детски. – Помню, лет двадцать тому назад, когда я был "бугром" у лесорубов, мужики, подтрунивая, звали меня Фанфан-Тюльпан...

Мы оба простодушно рассмеялись, и он вышел в потёмках с одним полutoщим рюкзаком, на каком-то безымянном полустанке с единственным огоньком около дежурной будки, едва большей собачьей конуры...

Мне ехать было еще далеко, и я остался думать...

РЕДЬКА НА МЕДУ

/исповедь прихожанина/



... **П**остоянные прихожане храма, и особенно его духовные чада, отца Павла обожали, а то и просто боготворили, так что мне иногда казалось, что молятся они не Господу Богу, а отцу Павлу...

Боготворили столь откровенно, что я почти всегда чувствовал себя неловко: смущался, морщился, недоумевал и, тяготясь этим, держался среди почитателей отстранённо, внутренне даже высокомерно, видя, как женщины самых разных возрастов, да и многие из мужчин, ловили каждое его движение, внимали каждому его слову, взгляду, жесту, истолковывая всё как откровение, во всём усматривая знак свыше... И словно пчёлы за маткой, следовали за ним, когда он шел по храму – будто висели на нем, норовили попасть на глаза, прикоснуться к нему, а если он сам кого-то называл по имени, привлекал к себе и слушал, что-то советовал, все остальные вокруг будто таяли от умиления, словно Сам Христос Бог касался их и что-то говорил. А если отец Павел чем-то угощал, приглашал попить с ним чайку, а на прощанье благословлял ещё пирожком или конфеткой какой-нибудь, то это уж воспринималось как святыня...

И вопросы, которые иногда удавалось расслышать, меня тоже озадачивали, и я думал про себя: "Неужели и по таким пустякам надо тормозить священника? Ведь он же и так целыми днями на ногах! Да ещё в таком возрасте!.." У почитателей и на это был ответ: Ему Бог даёт силы. И...

– Батюшка, а мне на дачу можно поехать?...

– А у меня сын плохо учится...

– А мне, батюшка, увольняться с работы, или нет?

– Отец Павел, батюшка отец Павел, а у меня вот муж гуляет, так что мне делать?...

– А мне, отец Павел, идти домой, или как, благословите?.. – И каждый норовил пробиться сквозь толпу со своим вопросом.

К кому-то отец Павел наклонялся, привлекал к себе, что-то уточнял, спрашивал, иногда задумывался и потом отвечал вопрошавшему, иногда обещал помолиться, а иногда весело и во всеуслышание говорил:

– Поезжай, Анна, на свою дачу, копай там землю поглубже, во всю лопату. Езжай, говорю тебе, не трать тут зря время, – и добродушно усмехался, и ещё что-то неразборчивое говорил про себя. Потом снова:

– А ты, Дуня, дуй домой! Какое тебе ещё благословение? Я уж давно тебя благословил. Дуй, говорю, домой!..

И в храме возникало оживление, все отыскивали взглядами вопрошавшую старушку Дуню, а та смущалась и была рада, что с ней так весело обошёлся сам отец Павел, сам батюшка!.. А батюшка уже продвигался дальше, пробираясь из правого придела храма к амвону и алтарю, а его опять вопрошающе преследовали – и взглядами, полными умиления, и голосами: "Батюшка, благословите... батюшка... батюшка..."

Отец Павел вдруг словно отключался от всего, уходил в алтарь или уводил кого-нибудь на клирос для беседы, и все, не успевшие узнать его мнение о чём-то своём, теснились около амвона, ожидая его очередного выхода...



Не раз слышал я, как наиболее ревностные почитатели шептались о том, какой благодатный старец отец Павел, знал, что среди его духовных чад есть люди, считавшие, что только молитвами батюшки они исцелились от тяжких болезней, что он не раз давал советы, оберегавшие от опасных поступков, что не дай Бог ослушаться батюшки... Сам видел и женщин и мужчин, приезжавших со всех концов России и даже из-за границы, чтобы посоветоваться с ним... Знал также, что Псково-Печерские старцы Питерским паломникам говорили: "Вам незачем к нам ездить. У вас там есть свой старец", и отсылали к

отцу Павлу. Наконец, и по собственному опыту знал, что не было случая, когда б я уходил от него без облегчения в душе – необъяснимого, иногда и неосознаваемого сразу, но как-то обгревался, словно около тёплой печки. Даже после самых тяжких приступов уныния и окамененности я чему-то безотчетно радовался...

Однако относился к нему как к обычному священнику, и беспрекословного благоговения у меня не складывалось. Кто-то будто подстрекал меня сопротивляться, и искреннее почитание его прихожанами храма, в котором он был настоятелем, толковалось мною как лицемерное, фальшивое подобострастие толпы. И раздражало....

"Взваливают на человека все свои глупости!" – думал я про себя, и часто стеснялся подойти к нему, чтоб ещё и самого себя не взвалить на него же, и в то же время молча "выговаривал" ему: "Ну, что же вы, батюшка, никого не одёрните?.. Ведь не можете же вы не видеть нашей пошлости, не видеть без всякой меры слюноотделения?.." И мучался от этого угрызениями совести: ведь сказано же, что не судите да не судимы будете. И оправдывался: да не сужу я, а рассуждаю, ведь надо же как-то различать... И боялся признаться в этом самому отцу Павлу, и в то же время вполне допускал, что он и без моего признания знает о моих тайных монологах. И чувствовал, что основания для этого, какие-то неумовимые, но есть, и при мысли о прозорливости отца Павла горел от стыда...

Однако ко мне он неизменно, с первых дней знакомства, можно сказать, благоволил, и довольно скоро я и сам оказался среди той "элиты", поведение которой меня раздражало. Причин этого благоволения не знаю, помню только, что вскоре после знакомства я простодушно признался:

– А я вас почему-то сразу полюбил.

– А я тебя тоже. Сразу влюбился, – ответил он и загадочно рассмеялся...

Года три спустя после этого отец Павел прочёл книжку моих рассказов, неизвестно как оказавшуюся у него – сам я боялся показывать. И когда однажды пришёл я в храм, он, словно поджидая меня, встретился мне у самого входа, как обычно в окружении свиты, и весело сказал:

– О!? Писатель земли русской пришёл. Скрыть от меня хотел, а? Не получилось, Николай Иванович. Ты, наверное, не веришь, что от меня не скроешься...

Я, можно сказать, похолодел, сразу сообразив, что речь идёт конечно же о книжке, перепугался и, опасаясь разгрома, попытался вильнуть:

– Не понимаю, отец Павел, о чём это вы?

– Как о чём? О твоей книге.

– Так я же вам её не показывал.

– Ты не показывал, а я её прочитал. Вот она у меня и сейчас здесь лежит. Хочешь, покажу? – и отец Павел весело хлопнул рукой по карману черной рясы.

Все вокруг умильно затаились, слушая наш диалог, я обмер, испугавшись публичного обличения, и что-то замямлил, оправдываясь...

– Не оправдывайся. Я и так тебя понял. Молодец, живое... Ты через природу говоришь, – пояснил отец Павел. – Ты каждую травинку чувствуешь. Благослови, Господи, талант! – и больше не было никаких подробностей, это была самая краткая, но точная рецензия на все мои рассказы: они действительно были не о природе, как поверхностно толковали мирские критики... Да и сам я чётко осознал написанное после его слов...

Признаться, я и теперь сомневаюсь, читал ли он мою книжку? Вряд ли при его занятости, может быть пролистал. Во всяком случае, в его руках я её никогда не видел, и была ли она в кармане его рясы в тот день – тоже вопрос...

Сам же он после этого не раз говорил в храме во всеуслышание, когда я просил его благословения:

– Благослови, Господи, талант! – и прижимал меня к себе, иногда накрывал мою голову рукой, будто передавая мне что-то.

Как правило, после общения с ним я чувствовал в душе необъяснимое ликование, иногда длившееся несколько дней. Во мне жила какая-то беспричинная как бы радость. Но относился к этому обыкновенно – вот только уходя из храма, явно чувствовал на себе ревностные, почти завистливые, как мне казалось, взгляды его беззаветных почитателей, наблюдавших за тем, как отец Павел обласкивал меня...

Постоянные прихожане стали меня замечать, я скромно здоровался при встречах. Иногда мы оказывались за одним столом в пономарской комнатке, приделанной сбоку алтаря, где отец Павел угощал "особо" приближённых чаем. Опять чаще он обращался ко мне, заметно подтрунивая: дескать, писатель ты, знаток душ, как думаешь? – а я смущённо отговаривался, и однажды кто-то из близких сказал:

– Вы бы вот книжку написали о батюшке! А так, чё болтать-то?..

Я в это время в очередной раз хандрил, чувствовал себя безнадежно богооставленным, бесталанным и почти огрызнулся в ответ:

– Мне нечего сказать!.. – Молча же раздражённо подумал: «Сами и писали бы... Словечка в простоте не молвите. Всё "ах, ох, батюшка не

велел, батюшка не благословил, он всё видит, всё знает, ему всё открыто!.." Он что, святой?! Пророк? Моисей?! Вот и убедите, откройте и мне глаза. А то как фанаты: только те визжат, а вы слюну пускаете.»

Наконец, и сам отец Павел однажды шутиливо обронил: "А ты, Николай Иванович, написал бы про нас с тобой". – Сказал мимоходом, с усмешкой...

Меня это озадачило, я не обратил внимание на формулировку: не "про меня, то есть отца Павла," как мне подумалось, а "про нас с тобой"...

Естественно, что писать я не бросился, как это сделал бы любой из его беззаветных почитателей... Не бросился и потому, что в практике личного общения с отцом Павлом я не видел ничего поразительного, чудесного, что ли?.. И ещё потому, что в этот период много читал святоотеческой литературы, особенно о монашестве, начиная с первых веков, и, тщательно вглядываясь в себя, думал, что мы понимаем христианство как-то прагматически, так как не раз слышал от разных людей, ринувшихся в начинавшие открываться храмы: "я походил туда (или походила), в церковь, да никакого толку. Всё осталось, как было".. Что и теперь не понимаем сути христианства, ища в нём земных благ, да ещё в обществе, дух которого откровенно антихристов, что мы не живём по-христиански, а "играем" в него, что христианство для нас не смысл жизни, которым оно должно быть (единое на потребу), а нечто вроде приложения к мирской жизни, которую мы ведём реально, что именно её, эту нашу земную жизнь, считаем главным, а вероисповедание наше как бы "должно" обслуживать её. Что по нашей жизни нам и христианами-то называться должно быть стыдно. Ведь и Христос сказал: "Когда приду второй раз, найду ли истинно верующих в Меня?"...

Судил я, конечно, по себе...

Мы знаем, рассуждал я, что Христос сказал: "Царство Мое не от мира сего", что "Многими скорбями можно войти в царство Небесное", что "Ищите прежде всего Царствия Божия, а всё остальное приложится вам", что "В мире сем скорбны будете", а мы всё просим и плачемся, плачемся о земном, знаем притчу о богатом юноше, и о том, что "легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому в Царство Небесное", а жить бедно не желаем, и не стремимся тем более... Наконец, почитая как великого избранника Божия Серафима Саровского, будто не читали его бесед с Н. Мотовиловым, где Серафим

языком, доступным каждому, с несомненностью Божия избранника говорит: "Вот я, убогий Серафим, растолкую вам теперь...", что "истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжании духа Святого Божьего... Ведь вы, ваше боголюбие, понимаете, что такое в мирском смысле стяжание? Цель жизни мирской обыкновенных людей есть стяжание, или наживание денег, а у дворян сверх того – почестей, отличий и других наград... Стяжание духа Божия есть тоже капитал, но только благодатный и вечный... Бог Слово, Господь наш Богочеловек Иисус Христос уподобляет жизнь нашу торжищу и дело жизни нашей на земле именует куплею... "Купуйте, дондеже прииду, испускующе время, я дни лукави суть", то есть выгадывайте время для получения небесных благ через земные товары. Земные товары – это добродетели, делаемые Христа ради, доставляющие нам благодать Всесвятого Духа...

После чтения "Беседы" я уже не смел называть себя христианином вслух, а если приходилось отвечать, говорил: стремлюсь хоть немного стать им... Естественно, что и на свою "христианскую" жизнь, да и на окружавших меня, смотрел я сквозь дух и смысл "Беседы" и не верил никаким ахам и охам, и разговорам с придыханием о благодати, о духовности... Просили-то мы у отца Павла совсем другого...

И в самом отце Павле мне хотелось усмотреть что-то Серафимовское. Ну, не в такой хотя бы мере, а все-таки чего-то такого...

И вроде что-то чувствовал, и рассказы других слушал, но всего этого было мало, чтобы захотеть что-то написать...

Впервые к мысли о том, чтобы отозваться на предложение отца Павла и написать что-нибудь "про нас с тобой", подтолкнула меня "Аннушка", оказавшаяся после знакомства Валентиной Ивановной...

* * *

Старуху эту я много раз видел в храме ещё до намека написать что-нибудь "про нас с тобой". Иногда она стояла неподалеку от иконы Николая Чудотворца, иногда – на солее, около тумбочки псаломщика, приклонившись к иконе Богородицы, и тихонько, весьма неважным голосом, подпевала хору... Иногда – в пономарской, куда отец Павел, случалось, и меня приглашал попить с ним чайку...

Невысокая и неприметная внешне, она запомнилась мне какой-то особой самостоятельностью, почти дерзкой... Понятно было, что в храме она свой человек, давно укоренившийся тут, что её все знают, и она тоже, однако, я ни разу не замечал в её поведении никакого

подобострастия ни к кому, в том числе и к самому отцу Павлу. Смотрела она на всех как бы с некоторой внутренней ворчливостью, отстраненно, и если и говорила с кем, то немногословно, коряво как-то, без каких-либо признаков того внешнего благочестия, которым меня раздражали и ревностные прихожане, и кое-кто из женщин, работавших при храме...

Глядя на слишком уж лебезивших, она будто говорила про себя: "Уж такие все верующие, что и словечка в простоте не молвят... И глазки опустят, и всё со вздохами да ахами... Такие смиренные все да кроткие... А из храма уйдут, где на улице, чуть чего поперёк – всё как ветром сдует... А тут прохода батюшке не дают: благословите да помолитесь... Молились бы Богу сами... Он ведь такой же человек..."

В тот день мы с ней оказались одни в пономарской, куда отец Павел шутиливо, но приказал мне явиться попить чайку, а сам вышел к прихожанам, как обычно толпившимся около амвона после окончания литургии, которую он служил сам...

В пономарской было тепло, укромно, всё будто расслабленно отдыхало после служения Литургии, еще топилась аккуратно отделанная красным кирпичом чугунная печка, на которой постоянно подогревался чайник. На маленьком столике стоял самовар, вокруг которого лежали разные пирожки, домашнее печенье, яблоки, недорогие конфетки, принесенные кем-то в храм, и несколько разных кружек. И, против обычного, никого кроме нас с "Аннушкой" – так я называл её про себя, – не было. Лишь изредка заглядывали молодые иереи, перекусить между служением треб на кладбище, подогревались чайком и опять убегали служить то панихиду, то молебен...

Раза два, подчеркнуто по-хозяйски, зашла Алевтина, заведовавшая в храме хозяйством – молодая женщина, как мне давно казалось, не любившая меня за благосклонное отношение ко мне отца Павла, что-то необязательное передвинула на столике, вымыла две чашки, одарила меня неласковым взглядом, в котором читалось: "Если бы не батюшка, я бы тебя отсюда давно попросила", и ушла...

Я неторопливо допивал предложенный мне чай, дожидаясь отца Павла., боком ко мне, облокотившись на столик, сидела "Аннушка" и молчала, тоже будто внутренне ворчливо...

Через какое-то время в комнатку вошел юноша, видимо, алтарник и, разжигая кадило, спросил, смущаясь молчанием:

– А ты, баба Валя, чего тут сидишь? Уже сторожить пришла?..

Непонятно было, что значил этот вопрос. "Аннушка" же вместо ответа заметно обиженно воркнула, теперь уж вслух:

– Чего это, какая-то баба?.. Придумали слово какое-то? Колотушка, что ли?.. У меня есть имя и отчество...

Алтарник смутился, а я решил осторожно поддержать:

– Мне тоже не нравится это обращение... Плохое слово. Гораздо лучше «бабушка»...

Однако поддержку мою "Аннушка" приняла не особенно, и так же вяло продолжала ворчать:

– Заладили: баба да баба... Жили-были дед да баба, ели кашу с молоком... Вот Клава-повариха, как увидит, тоже – баба Валя... Сколько раз говорила, не зови меня так. Нет, всё своё!..

– А вы не отзывайтесь, когда к вам так обращаются, – подсказал я. Алтарник разжег кадило и вышел, довольный, что уклонился от разговора, а "Аннушка" взглянула на меня чуть благосклонней.

– Да всё равно толку никакого не будет.

– А вы попробуйте. Упорно не отзывайтесь, и привыкнут. Будут звать по имени и отчеству, – настоял я на своем и, чувствуя некоторое потепление к себе, добавил: – А как вас зовут? На всякий случай... Может, и мне придётся обратиться к вам. А то я вас самовольно окрестил Аннушкой... У друга моего детства мать звали так. Чем-то вы на неё похожи. Бойкая была в молодости, а под старость ещё и мудрой оказалась...

– Валентиной Ивановной меня зовут, – отозвалась "Аннушка", не отреагировав на мой рассказ. – Вот уже семьдесят пять лет...

– Я вас тут часто вижу. Вы тут?..

– Сторож я тут! – Валентина Ивановна опять будто воркнула.

– О?! Так вы же здесь главный человек.

На лесть Валентина Ивановна отреагировала почти сердито:

– Сигнализация тут главная, – и нехотя показала рукой на окна. – А я тут сижу только, мне велено никого, никаких самых раззнакомых не пускать сюда после вечерни: хоть сват, хоть брат. Не пускать...

Буркнув ещё что-то, Валентина Ивановна добавила: – Сижу, на телефонные звонки отговариваюсь. Отбиваюсь... Ой, народ! Ой, народ?.. Среди ночи звонят, требуют: дай телефон! Телефоны им?! Ночью! Звонить будут!.. Он, что, железный!? Что ли?..

– Не понял? Какой телефон? Чей?

– Да известно чей! Домашний, отца Павла.

"Ах, вот оно как?" – удивленно подумал я.

– Не Богу молятся, а будто отцу Павлу. Будто он Бог!.. Я им всем это говорю... А я не так: я сначала Богу молюсь, – Валентина Ивановна осенила себя крестом, – а потом уж отцу Павлу-то плачусь. Когда совсем припрёт. – Старуха заметно взволновалась.

– А отцу Павлу вы эту "дерзость" тоже говорите? – спросил я с усмешкой.

– Всегда говорила и говорить буду! Ему-то в первую очередь, – почти задиристо подтвердила Валентина Ивановна. – Чего тут скрывать, это истина... Он меня уж пятнадцать лет знает... Я за ним по всем храмам: куда его переведут, туда и я хожу. С Кулича да Пасхи началось... да ему и говорить-то не надо. Он и сам знает. От него все равно ничего не скроешь...

"И эта туда же", – хмыкнул я тайком.

Тут в боковую дверь, открывавшуюся прямо в пономарную комнатку, вбежал отец Анатолий, потом отец Юстиниан и попросил налить ему чайку. Замёрз на панихиде... Потом опять вошла Алевтина, почти торжественно внеся на тарелке огромную черную редьку, верх которой был срезан, как у ананаса, и поставила её с того края стола, где обычно, под иконами в углу, сидел отец Павел, и всем своим видом сказала мне: "Это нашему дорогому батюшке, а тебе даже и смотреть-то на неё много чести будет!" И с придыханием пояснила:

– Это! редька! на меду!..

Потом она взяла другую, маленькую редечку, величиной с луковицу, очистила её, разрежала на маленькие кусочки и уже и мне предложила:

– Угощайтесь. Она тоже на меду, легкие очищает. – Видя, что я сомневаюсь в чем-то, пояснила: – От неё запаха не будет. Не табак, – и попотчевала Валентину Ивановну. Та засмеялась:

– Чем я её есть-то буду? У меня же ведь ни одного зуба нету, – однако кусочек взяла.

После этого Валентина Ивановна как-то незаметно исчезла...

* * *

... Отец Павел. появился в пономарке, когда я уже допивал вторую кружку чаю...

– Колька, писатель... Фомушка, – заявил он сходу и, пробравшись в свой угол под образами, потребовал, чтобы я придвинулся к нему поближе. Обнял меня за плечи, как обычно, будто норовя отдать мне что-то от себя, принялся угощать всем, что лежало на столе, так что я только много времени спустя вспомнил, что он

назвал меня как-то странно – Фомушкой, и сидел смущенно, а Алевтина усердно засутила с чайником. А отец Павел вдруг весело спросил у меня:

– А где твоя сумка-то? Где? Не вижу я.

Я догадался, к чему этот вопрос, хотел как-то уклониться, сказал, что сегодня пришел без сумки, хотя заранее сунул её под стул в углу поглубже, чтобы не бросалась в глаза, а отец Павел сказал, что этого не может быть, дескать, что же это за писатель без портфеля, и велел подать...

– Она полная. Там места нет, – вильнул я.

– Давай её сюда. Найдется место, – сказал отец Павел; выбирая на столе огромный пирог, испеченный, видимо, кем-то из почитательниц специально для него и завернутый в прозрачный пакет...

Алевтина напряжённо замкнулась...

Я вытянул из-под стула пустую сумку, почти покраснел, но отказываться от того, что даровал сам отец Павел, считалось дерзким святотатством и глупостью...

– Отец Павел, вы, однако? – залепетал я, – что вы?.. Пропитание у меня пока что есть...

– А это не пропитание, Николай Иванович, это гостинец, – отшутился отец Павел: – Гос-ти-нец... Понимаешь? – Заглянул под столик:

– А что у нас там? – Под столом лежал пакет с яблоками. Он кивнул Алевтине, стоявшей наготове: – Ну-ка, клади ему в сумку! Клади, клади, всё складывай... – И вдруг так же простодушно и будто между прочим спросил:

– Так ты когда напишешь про нас с тобой?.. Ты бы написал, а?..

Разное подумалось мне в этот момент. Если бы я мог допустить, что отец Павел прочитал мои мысли и переживания, жившие во мне со времени нашего общения, я, наверное, сгорел бы от стыда...

В ответ я пролепетал что-то жалкое... К моему счастью, в комнату опять завывали. В створе уличных дверей появился благоговеющий Саша, которого, говорили, отец Павел исцелил от тяжелой болезни ног, а с ним молодой майор, которые, как оказалось, принесли отцу Павлу большую бутылку какого-то особого бальзама, и он отвлекся на них:

– А эта бутылка-то меня не свалит?

– Нет, батюшка, это для здоровья полезно...

Потом вошла какая-то женщина средних лет с бумагами на подпись, потом его позвали в алтарь – пришел выздоровевший священник храма, и было слышно, как отец Павел радостно и шутливо возглашал ему:

– О!? Богомудрый отец Димитрий посетил нас, о?..

Я сидел как на иголках рядом с набитой гостинцами сумкой, и когда отец Павел вернулся из алтаря, я тихонько пробрался к нему:

– Благословите на дорогу, отец Павел... В пятницу хорошо бы мне причаститься. А то я пустой совсем, – признался я и, услышав: «Давай, давай, буду ждать тебя на раннюю», – с облегчением протиснулся в боковые двери мимо Саши и почему-то оробевшего майора.

На улице было бело. Березы на кладбище тихо словно горели мелкой красной листвой, с каждым порывом ветра посылая тонкий слой свежевывавшего первого снега...

* * *

Наверное, я бы всего этого так и не написал, но минут через двадцать после моего ухода из храма я опять встретил Валентину Ивановну.

Старуха, укутанная шалью, пыталась втащить в дверь трамвая ручную тележку, нагруженную какими-то узлами...

– О! – сказал я, – старые знакомые. Давайте я вам помогу.

На этот раз Валентина Ивановна отозвалась добродушно...

Старуха что-то шамкала во рту, обдавая с близкого расстояния запахом "редьки на меду", но пахло только редькой. Виду я не подал, она все-таки оговорилась:

– А я вот тот кусок редьки мусолю, мед ищу... – И мы слово за слово разговорились. Пока мы ехали в трамвае до станции метро, я узнал, что родом она из Ижоры – по отцу, а по матери – из Гдова, что с отцом Павлом она знакома со времен "Кулича и Пасхи", где он когда-то служил, – то есть лет пятнадцать...

– Что-то не знаю, где этот храм? – сказал я.

– А на Пролетарской, – пояснила Валентина Ивановна и сама уточнила: – Когда батюшку перевели в этот, Серафимовский храм, и я сюда стала ездить. Хоть и далеко...

– А в "Куличе-то" вы с батюшкой были близко знакомы?

– Нет, не сразу, – ответила старуха как-то особо многозначительно. Подумав, признаваться или нет, добавила: – Я ведь и креста-то долго не носила. Мда-а! – Усмехнулась, заметив мою озадаченность, и разговорилась. – Не носила... А мама покойная, так та почти до самой смерти не надевала. У нее языческое поверье было, что, мол, крест если

найдёшь, так не к добру... Нет, верующая была, но не носила. Я ей уж на восьмидесятом году подарила крестик на Покров, так она и то сильно переживала.

– Но приняла всё-таки? – уточнил я осторожно, чувствуя, что касаюсь чего-то сокровенного.

– Приняла. Она же верующая была. А было время, и отрекалась... Потом глаза у неё заболели, в гражданскую войну это было. Так она к кому только и не обращалась, ничего не помогало. Глаза всё гноились и гноились. Так когда уж совсем незавидела, тогда только – сама рассказывала мне – пошла в храм, да пала на пол перед иконой, да Господи, Господи, помилуй. Со слезами... И на другой день, говорит, всё как рукой сняло... А то до того дело дошло, люди уж отворачивались от её глаз. Да, отворачивались...

– И после всего такого, все равно не носила крестика? – изумленно переспросил я.

– Нет, не носила... Вот такая же и я была, яблоко от яблони... К отцу-то Павлу пришла тоже без креста. А тоже верующей была... Я рано стала думать про это. В пионерах была, а когда до комсомола дошло время, я уж задумалась: как это получается? Ленин добрый, Сталин добрый и Бог тоже добрый: все добрые, а они двое против Бога. Как же это?... Крещена была, а креста не носила. Я танцы любила, кто бы ни пригласил в клубе, со всеми танцевала.. А как откажешь – нехорошо ведь обидеть человека. Бывало кто пригласит, и не нравится он, а все равно шла. Как обидеть?.. Вот так и дотанцевалась. За колдунов Степанчиковых замуж вышла. В семью колдунов попала...

– Давайте я вам помогу выйти из трамвая? – предложил я, заинтригованный рассказом.

– Так вы же сказали, вам дальше, – возразила Валентина Ивановна

– Так ничего. Я помогу вам подняться по ступенькам у метро, а потом вернуться.

На площадке перед станцией метро мы и остановились по разные стороны от тележки с её узелками, лицом к лицу среди обтекавшей нас с обеих сторон толпы, под тихим и редким снежком, сыпавшимся из низко опустившихся облаков...

– А как вы дотанцевались-то? – осторожно возобновил я разговор.

– Так он, когда из армии пришел, Степанчиков-то сын, тоже

пригласил меня на танцах в клубе. Мне и не хотелось с ним, да... пошла, как обидишь?... Так он потом ещё мне же выговаривал, что я сама к нему приставала. Вот как повернул! А сам четыре года за мной, как собачий хвост, волочился. Уговаривал. Ну, я и пошла за него.

– А вы знали, что семья-то? Ну, колдуны, что ли?..

– Так все знали. Велика ли Ижора?

Валентина Ивановна рассказывала об этом просто, без сетований, лишь иногда усмехаясь то иронично, то загадочно, дескать, сам суди. Удивление моё нарастало с каждой её фразой, многое мне хотелось уточнить, но я боялся, что разговор уйдёт в сторону, и я спросил то, что меня вдруг больше всего заинтересовало:

– А отец Павел обо всём этом тоже знает? Вы ему рассказывали?

– А как же не рассказывала? – ответила старуха, пошамкала во рту кусок редьки, обдав меня в очередной раз её "медовым" запахом, и опять, как в храме, повторила: – Да ему и рассказывать не надо. Он и так все насквозь про нас видит!

Неожиданно у меня внутри стало как-то нехорошо: про каждого из нас? То есть и про мои терзания относительно его благодатности? – подумалось мне. Но я сказал иронически:

– Ну, уж?! Так всё насквозь и видит?

– А как вы думаете? Знает! – уверенно возразила Валентина Ивановна и весело сказала: – Да вот мы с вами тут стоим толкуем, а он в храме там, ему уж известно...

Я тоже засмеялся, не веря, но поёживаясь...

– Не верите? Да вот я к нему приду в следующий раз, он мне об этом разговоре напомнит сам. Я уж и сама забуду. Точно говорю...

Не знаю почему, но после этих слов во мне вдруг будто что-то разверзлось, и я ощутил, что действительно так может быть, и будто ощутил, почему все так благоговеют перед батюшкой... Что это не от фальшивого подбострастия, что все эти намёки написать об отце Павле не случайны, что я просто маловерный, колеблющийся интеллигентишка... Что его намёк написать "про нас с тобой" – не от тщеславия, и не о нём, священнике, надо бы рассказать, а о чём-то совсем другом; обо мне, скорей всего, и о таких же, как я...

Мне было одновременно и совестно, и радостно...

А Валентина Ивановна, словно масла в огонь:

– А я вам ещё пример приведу. Слушайте... Вот так же, как мы с

вами, я недавно разговорилась в трамвае с одним пожилым мужчиной, вы юноша рядом с ним, а понравился он мне чем-то. У меня с собой фотография была, какая я в молодости... Вот захотелось похвастаться перед ним, не знаю, отчего, а захотелось хвастнуть – и всё тут. Я её и вытащила, и показала... Да нет, он совсем незнакомый был человек. Я никогда раньше его не видала. – Валентина Ивановна почти засветилась от удовольствия и досказала:

– Так в следующий раз, когда я пришла в храм, отец Павел увидел меня, да издалека мне уж и кивает: "Ну, что, Валентина, похвасталась, какая ты в молодости красивая да хорошая была? Похвасталась, девушка, знаю, похвасталась. Красивая, красивая..." Я не мог скрыть удивления.

– А я и другое еще могу вам рассказать, – добавила Валентина Ивановна. Но еще что-нибудь слушать я отказался. Уже стало смеркаться, и гуще повалил снег...

– Нет, спасибо, Валентина Ивановна. Вы и так на меня столько обрушили! Я почти потрясен. Мне надо переварить, подумать. Похоже, мы с вами еще продолжим разговор. Хотя я все-таки не могу поверить...

– А как хотите, – ответила Валентина Ивановна, дошамкивая остаток редьки на меду.

Я проводил её до входа на эскалатор, и мы расстались.

Домой я вернулся усталым, возбуждение от рассказа старухи не утихло, и я решил его записать – раздражавшим меня подобострастием Валентина Ивановна не грешила, и если слова её подтвердятся, это можно будет считать чудом, что называется, из первых рук... И я, можно сказать, затаился в ожидании.

Однако очередная встреча с Валентиной Ивановной не подтвердила ожидаемого: мы поздоровались, на минутку остановившись на дорожке к храму, она ничего не сказала, я не стал напоминать, и мы разошлись. Мне отец Павел тоже ничего не сказал по поводу имевшего место разговора ни в первую встречу, ни в следующую, и сомнения мои относительно его прозорливости опять вернулись, и когда почитатели батюшки подобострастно шептались: "Да отец Павел и так всё про нас знает. Он все видит, от него ничего не скроешь..." – на лице у меня опять запоявлялась ироническая усмешка...

* * *

... Пожалуй, впервые в своей литературной практике я не чувствую себя способным описать свое состояние своими словами, и для изображения его воспользуюсь текстами из Добротолюбия, где Иоанн Римлянин говорит о "всепожигающей печали". Что-то нежное, тихое и мудрое всегда слышалось и подразумевалось мною в этом мягко звучащем слове. Но оказывается, что этим же словом умудренные старцы выражали и совершенно другое настроение. Печаль бывает и светла, и не светла. И эта – вторая – на этот раз меня и настигла, "душу всю низвергну с высот святого благонастроения, расслабила и подавила в конец: ни молитв не дает ей совершать с обыною сердечною живостью, ни чтению Священных книг не допускает прилежать, и отняв всякое здравое рассуждение и возмутив сердце, сделала душу как бы обезумевшею и опьяненною, сокрушив и подавив пагубным отчаянием... Иногда болезнь эта бывает без всяких видимых причин, могших ввергнуть нас в эту пропасть, по воздействию лукавого врага, и внезапно схватывает нас такая прискорбность, что мы не бываем в состоянии принять с обыною приветливостью даже самых дорогих и нужных нам людей... и не дается им никакого приятного ответа по причине преисполнения всех изгибов сердца нашего желчной горечью."

Не скажу, что обычно сердце мое было полно "святого благонастроения", но всё же бывало хотя бы сносно; не скажу, что не было и никаких внешних причин, чтобы впасть в отчаяние – не буду их называть – но всё же я был в силах умиряться с ними.... Не скажу, что и "изгибы сердца моего были преисполнены желчной горечью" – но горечь комком стояла в горле, не проглатываясь, в сочетании с окамененной нечувствительностью ко всему, как асфальт. И по цвету будто состояние это было похоже на асфальт: и в будущем, конечно, виделось все асфальтом, и даже в прошлом, где память моя хранила много теплых мест, тоже всё стало асфальтом... Состояние это подкралось незаметно и держалось этак с неделю, если не больше, все во мне и вокруг будто умерло: и друзья, и знакомые, и дела, и память, и деревья, и собаки, и все попытки молиться завершались тем же асфальтом. И отец Павел, одно воспоминание о котором раньше уже утешало меня, теперь будто тоже перестал быть. И даже еще страшнее – воспоминание о нем вызывало раздражение, будто даже этакое злорадное почти раздражение.

И, наконец, я не выдержал..

– Выпью-ка я, пожалуй, – буркнул я жене, – масленица завтра.

Она немножко удивилась... После тяжелой операции водку я, можно сказать, не пил, даже не столько из-за болезни, сколько из-за того, что теперь и она не утешала даже и на малое время. Вместо радости, веселья организм отзывался на рюмку туповатым каким-то головокружением.

На этот раз рюмка слегка подействовала утешающе, захотелось вторую, и после третьей стало как-то полегче и беззаботно ехидней...

– Ты же завтра к отцу Павлу собирался со своим другом, – напомнила жена.

– Очень хорошо, – я сделал паузу, и почти с удовольствием, признался: – Ты знаешь, я ему завтра скажу, что больше не люблю его!..

– Ты что с ума сошел?

– Нет пока... И еще скажу, что он ко мне стал относиться равнодушно... Скажу, что на исповеди меня ни о чем не спрашивает, будто и так знает обо мне всё, или не хочет... И вообще скажу, что вокруг него подобострастные кликуши создали миф о его прозорливости и млеют от своей глупости, просто им некуда деться, все полуболящие, неприкаянные люди, несчастные, несостоявшиеся бабы, и ему это нравится... И еще что-то в таком же духе... так что жена только еще раз повторила:

– Не сходи с ума. Ты что?...

– А, может, и не скажу. Успокойся...

Наутро с равнодушно каменным выражением лица, на котором таилась слегка заметная усмешка, я поздоровался со своим близким другом, заехавшим за мной на машине, и с таким же настроением явился в храм.

К началу исповеди в храме собралось довольно много народу – на последнюю перед Великим постом литургию.

Отец Павел долго не появлялся, прихожане уже шушукались: "Может, сегодня не будет?..."

Наконец он вышел: с Евангелием и Крестом, но в каком-то, как мне показалось, странном настроении, будто строже обычного, с заметно воспаленными глазами, будто внутренне обессиленный и огорченный. Не остановившись около анаоя, он положил на него Крест и Евангелие и пошел в гущу прихожан, взглядом выбирая, кого пригласить к исповеди. Увидев моего друга, сказал: "А, Василек пришел. Василек?" И по интонации голоса было понятно, что причащать его он сегодня не будет...

Я следил за отцом Павлом взглядом, сквозь окаменелость свою и скрываемую ехидность, всё же надеясь, что он, увидев меня, скажет, как обычно: "А, Николай Иванович, писатель мой," – и хоть на мгновение, да приветливо улыбнется, как было раньше...

Но когда наши взгляды встретились, лицо его даже не дрогнуло, будто он увидел перед собой что-то отдаленно знакомое, или незнакомое вообще, – а если прямо сказать – взглянул, как на врага, и, протиснувшись боком, вернулся к аналою. Благословив человека три к причащению, он еще раз протолкался среди прихожан, выбрав еще несколько человек, еще раз взглянув на меня – не увидев, и, как мне показалось, с болью в душе, удалился в левую дверцу амвона и дальше в алтарь.

Всё еще внутренне задираясь, я то ли усмехнулся, то ли ухмыльнулся и подумал: "Слава тебе, Господи!" – несомненно увязав поведение отца Павла с моей вчерашней "исповедью" за рюмкой водки. Хоть и тупо, но я почувствовал, что пахло чудом.. что отец Павел действительно прозрел меня насквозь.

К окончанию литургии меня заметно отпустило, и когда отец Павел вышел в храм для общения, я протиснулся к нему, тронул за локоть и, наклонившись к его плечу, сказал тихо:

– Со мной, батюшка, что-то небывалое...

– Так что же ты мне не позвонил? – отозвался он, на мгновение прервав разговор с женщиной, однако со строгостью в голосе, словно ещё страдая от горечи никому неведомого диалога со мной... Мне показалось, что он ещё хотел что-то сказать. И сказал, но только неделей позже, когда я снова пришел в храм уже в другом состоянии: отец Павел стоял посреди храма с кисточкой миропомазания, и едва я переступил порог, он взглянул в сторону входной двери, будто ждал меня.

– О-о, Николай Иванович пришел... Обличитель мой, – сказал он, добро-душно усмехаясь, когда я подошел ближе. – Ты давай, пиши, пиши!.. Перевоспитывай меня, перевоспитывай, не стесняйся. А то я молиться разучусь, – и, макнув кисточку в мирро, благословил меня крестом во весь лоб, начиная с затылка...

– Мне бы вам, батюшка, два слова сказать надо, – пробормотал я, прикладываясь к его руке.

– Что так мало?.. А я бы на твоём месте двести сказал... Ах, Колька, Колька?.. Ну, что ты воюешь? Науськивают тебя "эти", а ты поддаешься, тяжбу ведешь, – ответил отец Павел и, шутя, ткнул в мой

живот "рогатиной", составленной из двух пальцев – указательного и мизинца...

Окружавшие нас прихожане смущенно переглядывались, впитывая каждое его слово, а он, сделав паузу, добавил, изображая как бы стариковскую ворчливость: – Не обижай меня, старика. Не уходи... я люблю с тобой чайку попить... А ты потом наши тайные разговоры опишешь. Я тебе уж давно намекаю. Водка-то у тебя ещё есть?.. А ты всё не слушаешься...

Я улыбался в ответ смущенно и радостно.

... Я написал этот текст несколько лет назад... С тех пор отец Павел не-однократно удивлял меня, явно подтверждая в глазах всех его почитателей репутацию благодатного священника. Он даже водку однажды "усмирил"... А мне как будто ещё чего-то не хватало для незамутненного, благоговейного почитания его... Но вот когда я представлял себе, что однажды батюшки не станет в храме, душа моя холодела... И все-таки не боялся этого "однажды" – мне казалось, что оно никогда не наступит. Так же, как не боялся, что однажды не будет мамы, папы да и меня самого...



ЧЕРНЫМ ПО ЧЕРНОМУ

...Ребенок стоял в искореженном ремонтом переулке, на утоптанном сугробе грязного мартовского снега отрешенно-обомлевший... Белокурый, без шапки, в старой нейлоновой куртке с чьего-то взрослого плеча, из-под которой виднелся расстегнутый ворот рубашки цвета сугроба. Рукава куртки свисали ниже колен, чуть ли не до земли, рук в них не чувствовалось, словно рукава были пустые, и ребенок был похож на огородное пугало...

– Ты что, дитя? Замёрз, что ли? – спросил я, невольно остановившись.

Он не мог не слышать моего вопроса, но не отозвался и не пошевелился.

– Ты что, потерялся? Или что с тобой? – переспросил я, наклонившись к нему.

Будто нехотя ребенок ожил и, не взглянув на меня, пошел через дорогу в сторону сломанного шлагбаума с обрывками колючей проволоки, всем своим видом буркнув: «...а пошел ты! Че пристаешь?»

Как выяснилось позднее, это был первоклассник Сашка...

Усмехнувшись, я посмотрел ему вслед, а он, отделившись от меня, вдруг крикнул, неизвестно кому:

– Витька!

Однако на голос его из щели между контейнерами выскочили трое подростков чуть покрупнее, и один из них, кивнув Сашке, решительно направился в мою сторону.

Это был крепыш, ростом едва выше табуретки, но двинулся он настолько агрессивно, что во мне невольно шевельнулось ощущение страха, подобного тому, который возникает при виде ощерившегося волчка. Этот был одет в какое-то пятнистое пальто, черноволос и курчав, и нечёсан одновременно...

– В чем дело?! – отважно спросил «волчонок», словно за спиной его была стая, во владения которой я нечаянно заступил. Остановился он в метре от меня, насуслено глядя снизу с чуть будто почтительным наклоном, словно вызывая меня на дуэль...

– Не понял? – переспросил я простодушно. – А в чем дело?..

В поведении моем подросток, видимо, не усмотрел опасности, перед товарищами, наблюдавшими за нами, он показал себя достойно и дальше лезть на рожон было необязательно.

– Тогда всё в порядке! Вопросов нет! – он слегка отмахнул рукой, сделав жест из криминального кинобоевика, и, опять будто раскланявшись, пошел к дыре между контейнерами, куда ушмыгнули еще трое. Они помахали ему поднятым вверх батоном хлеба:

– Витька, давай сюда!

Огромная территория вблизи одной из центральных площадей города была плотно уставлена коричневыми контейнерами, запертыми наглухо, как гробами. Лишь изредка среди них проглядывали окошки торговавших консервами ларьков, которые, однако, не оживляли пейзаж. Скорей, наоборот...

Территория была огорожена бетонными блоками, высотой метра два, иногда рваными проволочными сетками и, по сравнению с кишевшей людьми площадью, выглядела пустой. Лишь иногда на нее въезжали фургоны с товаром, сопровождаемые грузчиками, иногда заглядывали покупатели, или охотники выпить пива и справить нужду, укрывшись за забором...

В закоулке между алюминиевым ангаром и контейнерами тлел костер, около которого четверо подростков ели батон, разрывая его на куски... Подойти незаметно, как мне хотелось, не удалось, дыра оказалась ближе, чем я думал. И двое мальчиков сразу отделились. Встав впереди, опять двинулся ко мне «волчонок», как вскоре выяснилось, второклассник Витька...

«Похоже, идут бить», – подумал я с усмешкой.

– Тебе чего надо? – угрожающе выдавил Витька, остановившись передо мной на расстоянии пинка. Взгляд исподлобья, с прищуром, увесистый, как выстрел в упор. Чуть сзади стоял Сашка, свесив пустые рукава, но тоже будто щипал меня взглядом. Еще двое, оставшихся у костра, настороженно повернули головы, соображая, ринуться на помощь, или разбежаться?..

Сунув руки в карманы пальто, я думал, как ответить. Ясно было, что передо мной дети, которых кашей с ложечки не кормят.

– Это почему же я тебе должен отвечать?! Ты что, у всех спрашиваешь?

Вызов Витька почуял, напрягся до предела, но ответил, не сдвывая позиции:

– А чего преследуешь?..

Сзади кто-то тронул меня за плечо:

– Разрешите прикурить.

Обернувшись, я увидел мужика средних лет, без шапки, с прилизанными на пробор волосами, сидящими на висках.

– В ней кончается газ. Так что чиркайте побыстрей. – Я подал мужику зажигалку.

– Вот, видишь, до чего дожили, – сказал он, прикуривая, взглянул на мальчиков и подался вглубь закоулка к забору, как-то плотнодно облизнувшись...

«А этот что тут делает?» – настороженно подумал я.

Витька отважно ждал ответа на свой вопрос, и мне вспомнилась детская фотография, на которой я был снят во весь рост, на табуретке, в таком же, как у Витьки, наглухо застегнутом пальтеце, только черном, и вопрошающим о чем-то также решительно...

– Откуда ты взял, что преследую? Просто вы оба мне понравились, и я вернулся, чтобы познакомиться. Вот и все, – сказал я, стараясь не ущемить самолюбия подростка. Видно было, что на душе у Витьки отлегло.

– Ну, тогда другое дело. А то тут... – намекнул он на что-то, а Сашка по-детски простодушно заулыбался.

– Пойдем поближе к костру, погреемся, что ли, – предложил я.

– Конечно! – Витька повернулся к костру, кратко махнул рукой, и я увидел, как с облегчением закрылись напряженно разинутые рты у дежуривших там еще двух подростков...

У костра мальчики быстро перемешались между собой, уже совершенно не смущаясь моим присутствием. Теперь они показались мне почти одинаковыми, словно стайка воробьев, слетевшаяся вместе после испуга: будто все одинакового возраста, характера, все одинаково егозливые и одинаково чирикающие между собой...

– Закуривайте, – по-свойски предложил Витька, как мужик мужику, вытряхнув из пачки «Кэмэл» сигарету.

– Да вы что, братцы? – удивился я. Хотелось сказать «деточки», потому что Витька терся около меня где-то на уровне пояса. – Вы что, всерьез?

– Конечно! Курите!..

– Неудобно, вроде. Да и сигареты дорогие. Да и вообще...

– Берите, не стесняйтесь. Я угощаю! – настаивал Витька.

Угощал он вежливо, но по-хозяйски, и не взять сигарету было невозможно...

– А вы в чем меня заподозрили? Чего-то боитесь? – спросил я, чувствуя рискованность вопроса.

– Да ментов!..

– Я и стрелять-то не умею.

Мальчики всхохотнули.

– Нет, но на всякий случай...

– Чего боитесь? Убили кого, что ли?..

– Не боимся, но гоняют. Думают, что мы тоже нюхаем...

– Ну, клей или еще что. Разное нюхают, сами знаете... Потом санитара одного, бля, пришлось... Ну, это, сами понимаете... Пристал, сука, бля... Мы его палками. Сигареты хотел у нас стырить...

От запровертывавшихся в рассказе словечек меня стало ёжить, хотя я и сам вырос не с песнями у пионерских костров...

– Санитары, это кто?

– Не знаете, что ли?.. Ну, эти, которые в помойках роются. Или картон тут собирают. Бомжи...

– А меня тоже можете палками?..

– Ну, нет. Зачем? Вы же нам пока ничего такого не сделали. Те ж ханыги, бля...

Рассказывал Витька, Сашка дурашливо мотал пустыми рукавами, еще двое постарше то поддакивали, то ухмылялись. Я понимающе кивал, иногда ронял уточняющие реплики, вертел около губ неприкуренную сигарету «Кэмэл», замечая, как в горле зарождается сгусток досады, и озадаченно оглядывался, словно хотел кого-то увидеть и сказать...

– Витька, а тебе не холодно без шапки? Март же...

– А мы закаляемся. Мы во дворе холодной водой обливаемся.

– Не может быть?..

– Да... Только это не Витька, кого вы спросили, а Николай...

– Вы уж простите, что перепутал. Все перемешались. Давайте познакомимся снова...

Первым ко мне стоял Сашка, а за ним тянулась изогнутая вокруг костра цепочка, будто слегка подраставшая от головы к голове.

– Это Сашка, вы уже знакомы! Я – Витька... Этот вот – Валерка. – И Витька дружески смазал белокурого подростка по голове.

– Его кличка – «Гусак». Из-за него у нас вечно разборки.

То он кого-нибудь набьет, то его, то стырит что... Отвечать на все приходится.

«Гусак» покорно согласился, а Витька добавил, кивнув на самого рослого: – Ну, а это Николай...

– Ага, спасибо. Больше не перепутаю. – Я сделал паузу. – Ну, а в школу вы, конечно не ходите?..

– Как же? Ходим, – возразили все, хотя и вразброд. – В первый, во второй, в четвертый и пятый. – Представил всех Витька, возрастая от Сашки до Николая. Только про себя сказал как-то неуверенно, но школьную тему я развивать не стал, лишь слегка выразил удивление, вообразив эту компанию за школьными партами...

Костер представлял из себя огромную кучу утоптанного пепла, на верху которой дымился деревянный поддон с выгоревшими средними досками. Внутри прогоревших досок валялись стекла, немножко старых угольков, смятые импортные банки из-под пива и разных сортов водки, вокруг всего – пивные пробки, усеявшие подтаявший снег...

– Так, давайте закурим! – напомнил Витька.

– Вроде нечем прикурить. Ни одной головешки...

– Так у вас же зажигалка есть. – Витька взглянул в угол тупика, где мужик готовился справить нужду...

– Нет, Вить, прикурить я тебе дать не могу. Прости, рука не поднимается...

Витька что-то неумело съязвил по поводу – «не поднимается», но мой поступок, похоже, вызвал у него уважение.

– На месте твоего отца, я бы дал тебе взбучку...

– Так они... они же знают... Сами у нас стреляют иногда.

Я заметил, что ребята смутились, и неуютно замолчал.

– Ну, что ж, дело ваше. – Витька нагнулся и прикурил от дымившегося обломка доски. – Куришь, зато пьяницей хоть не станешь! Лучше уж курить!

– Но можно и не курить!..

– Уже нельзя. Привыкли...

Гусак с Николаем глуповато заржали, Сашка невинно хохотнул, мотнув рукавами... Витьке что-то не понравилось, и он, разогнувшись с прикуренной сигаретой, закатил Гусаку пинка, выбив из его рук кусок недоеденного батона... Я вздрогнул:

– Ты что, Витька!? А ну, стой!

Но Гусак на Витьку нисколько не обиделся...

Мужик, справив нужду, подошел к костру, остановился за спинами мальчиков и неуютно молчал, поглядывая на меня. Как бы про себя сказал: «Петербург – город для богатых», процитировав телевизионное откровение красноречивого мэра города, а потом что-то шепнул на ухо Гусаку, ткнувшись губами в его пухлую щеку. Гусак смутился растерянно...

– А вот за эти штуки на «Черной речке» хорошо платят. Есть там одно местечко, – сказал Витька, подняв с кучи пепла смятую банку «Коффе».

– В долларах или в рублях?

– В долларах лучше, но плохо. Не выгодно. В обменке паспорт требуют. А кого просить, сами должны понимать: обменяют, а деньги себе в карман, или в драку...

Мальчики почему-то повеселели, а мужик, оглядываясь, отошел в переулок...

Взглянув на важно дымившего Витьку, вдруг выхватил из кармана пачку и Валерка Гусак. В ней было четыре сигареты, и одна из них упала на землю.



– Ой, бля, «мальборину» замочил. А я их сейчас все сразу закурю.
– От слова «замочил» все засмеялись. – Смотри, Гуся, замочишь, вышака схлопочешь!..

Мальчики азартно наблюдали, как Валерка ерзал на коленях, пытаясь прикурить сигаретную обойму от дымившейся доски, и галдели.

– Дурак. Давай я... Да ты сразу всеми затягивайся! Что ты сучишь?

Я огляделся. В прорези одной из улиц, упирившихся в торговую площадь, мутно тлел купол Исаакиевского собора...

Поддон дымился, но не грел. Стало смеркаться и холодать. Надо было расходиться, либо еще что-нибудь выдумывать.

Вдруг в переулочек к одному из ларьков подъехал «Вольво».

– Пойдем, подгрузим что-нибудь? – сразу сообразил Витька, и все бросились к машине, оборачиваясь ко мне и делая ручкой: «Привет! До встречи у костра!» И мальчиков сдуло, как листву с дерева порывом ветра.

– Приходите завтра на костер!..

Около меня остался один Сашка, опять увядший, словно птенец, выпавший из гнезда...

– А дайте мне на семечки? А? – стесняясь, попросил он. Отказать было невозможно, и он, моментально ожив, закричал:

– Эй, Витька!

От «Вольво», где ребят «подгрузить» не наняли, быстрее всех подскочил Гусак. Взяв деньги, он отошел, позвав к себе Сашку, они пошутукались, и Сашка вернулся ко мне.

– А на это только один стакан дадут, а нас четверо. А?..

Я прижал Сашку к себе, мне давно уже хотелось погладить по голове и его, и Витьку.

– Можно завтра, Саш?.. Мне надо еще хлеба купить. Я тебе не вру. Завтра приду и дам. Договорились?!

Сашка робко поддержал меня за рукав, я почувствовал, что ему хотелось прижаться, а он шмыгнул носом и отвернулся, уходя...

Стесняясь глянуть Сашке вслед, я потоптался, озираясь среди развалин переулочка и, с приступами жалости и презрения к себе, пошел в сторону метро...

Уже явно смеркалось, переулочек тлел тускло-желтым светом, напоминая плацкартный вагон ночного поезда... (в котором я недавно уезжал на Север).

* * * * *

Старуха, едва я вошел в вестибюль метро, взглядом сразу же выловила из толпы именно меня. Взгляд её был настолько сильный и вызывающий, что меня будто притянуло к ней, и я снова полез в карман... Да это я делал уже дважды: дал сторублевку мужику, стоявшему у подъезда, как метла, которую прислонили в угол, и еще одну – безногому...

Она стояла в углу на коленях, подложив под них клеенчатую подушечку, ерзала, неумело и небрежно осеняла себя крестом и протягивала руку. Я положил в ладонь замусоленную сторублевую бумажку – тогда счет денег шел на миллионы – и сказал:

– Прости, мать, не могу побольше. Только что детям на семечки... Возьми хоть это, Христа ради, – сказал, отметив, что последние слова произнеслись почему-то в смущении.

Смутилась на мгновение и она, будто услышала их впервые, но быстро справилась и прямо-таки воззвала:

– Постой! Я вижу, ты человек другой. Я тебе сейчас такое скажу! – так что я невольно притормозил и даже подумал, что, наверное, она пророчица и сейчас что-то такое проречет, может, даже и про конец света, против которого я уже и не возражал.

И действительно, заговорила она возбужденно, невнятными фразами и междометиями, заговорщически озираясь по сторонам и приглушая голос, так что мне пришлось этак бочком полуприсесть...

– Ну, так вот!.. Нет, вот вы сами подумайте... Ведь эти, которые сейчас нами правят, ведь они настоящие бандиты, вору, грабители, душегубы настоящие...

«Ну-у, «пророчица». Это даже и в телевизоре говорят», – уныло подумал я.

– Да вы не знаете... Я ведь к чему это вам говорю. Вы только послушайте меня. Поближе подойдите... Ведь вот этим, которые в колясках детей катают по вагонам, вы не поверите, им же ведь по пятьдесят тысяч платят! По пятьдесят тысяч так и кладут, и кладут... Да, да... Я же знаю. А они мафи, они на мафи работают... А я вот сегодня уже на пятом месте сижу... Настоящие душегубцы! Да ведь видно же, что ребенок-то, девочка-то здоровая, ведь по цвету же лица ведь всякому видно. А их, эти матери-то посадят в коляску, закутают ноги-то тряпьем и ездят, собирают, мол, то беженцы, то на операцию... Нет, мне не жалко, пускай собирают... А им так и отваливают, по пятьдесят тысяч так в руку и кладут...

Тут старуху вдруг словно впервые озарила мысль, от которой она ужаснулась:

– Да даже и по СТО тысяч сразу кладут на коляску! По сто!.. Так они по МИЛЛИОНУ на день берут...

Старуха перевела дух и скорбно замолчала. Я подумал – все, а она вдруг ожила с новой силой:

– Или вот старичок есть один. Он такой, с беленькой бородкой, и головка вся беленькая, ну, седая такая. Видно, что, видать, из... профессорами раньше таких в кино играли... Так тот на «Восстания» сто тысяч взял. Сразу! Подошел какой-то: кашне белое, нараспашку и – бух! Я сама видела... Так старичок мне сказал: так давай, вставай на мое место, садись вместо меня... А мне не дали. Мафи... Нет, вы подумайте сами – им полные коляски... Я сегодня уже здесь на седьмом месте, а вот смотрите, всего-то...

Старуха сунула мою бумажку и какой-то мешок, висевший у неё под мышкой, взглянула на меня по-прежнему вызывающим взглядом и продолжила уже со слезой:

– Ну, как же не грабители?!. Ведь я же всю жись работала водителем трамвая. Всю жись по городу колесила, всех возила... Бывало, пока выручку сдашь ночью в кассу, да пока дома че поделаешь, поспать-то один час и остается. Надо опять на маршрут выходить. Всю жись так. И вот теперь посмотри на меня, молодой человек: сижу ли, стою ли – все с протянутой рукой... Ну, ты сам посуди, не воры ли? А этим, с колясками, по пятьдесят тысяч... Уж хоть конец света...



Не договорив фразу, старуха опять опасливо заоглядывалась, опять приглушила голос:

– Только вы никому не говорите, что это я рассказала про коляски. Не говорите. Узнают они, мне нигде места не оставят... – И опять готовая всплакнуть, – а мне вот только такие, как вы, – старуха опустила глаза с моей головы на полуботинки, забрызганные жижей, и застеснявшись, повторила: – А мне вот только и дают такие... как вы – бе-е-деньки...

Я хотел как-нибудь утешить старуху, но вместо этого вдруг вспомнил, что мне уже пора подумать и о себе...

* * * * *

«Отче наш...» и «Царю небесный Утешителю...» я прочитал еще с утра, на подходе к станции метро несколько раз повторил шепотом молитву мытаря «Боже, буди милостив мне грешному»... Вспомнил «Заступнице усердная»... и «Трисвятое», и еще что-то.

Причина, заставлявшая шептать молитвы, казалась мне недостойной обращения к помощи Божьей, поэтому мне было стыдно, однако я это как-то оправдывал про себя, и последнее: «Господи, помилуй!» – произносил на ступеньках вестибюля, когда уже были видны турникеты...

В виду их я заставлял себя моментально постареть хотя бы лет на десять... Слегка подволакивая вдруг начинавшую прихрамывать ногу, и изображая на лице мировую скорбь, я доставал из наружного кармана тощей сумки пенсионное удостоверение, выданное на имя инвалида Отечественной войны Копейкина Мирона Ивановича...

Удостоверение это синело от штампов многократных освидетельствований здоровья: на каждой страничке от первой до последней одна печать лепилась на другую... Такого-то числа пенсия назначена и по такой-то причине, и такого-то года и такого-то числа подтверждена, а такого-то года и числа произведено повторное освидетельствование, и такой-то диагноз... Словом, видно было, что и сто лет спустя выхлопотать пенсион ветерану было не легче, чем всем известному гоголевскому капитану Копейкину. А мне воспользоваться им было и того трудней...

Подхрамывая к турникету, я старался выбрать момент, когда контролерша разговаривала по служебному телефону, и, приближаясь к ней, как во сне, еще раз мысленно спрашивал: «Господи, помилуй!» И вспыхивал от волнения...

Всякий раз мне казалось, что вот только я сунусь в проход, девушка срочно бросит телефон и закричит на всё метро: «Эй, гражданин хромой!.. А ну-ка, вернитесь! Аtkройте-ка вашу книжечку!..»

И воспламенившись от стыда и страха, я воображал, как меня хватают за шиворот, хохоча, тащат в пикет милиции и начинают допрашивать: что? как? где взяли? кто такой?.. А я, не зная, что делать, будто объясняю, что еду по просьбе старого человека в аптеку, потому что он одинокий инвалид, что шайку разбойников в окрестностях Рязани, которую он вынужденно возглавлял, взяли, и он остался не у дел, без средств ижживания... А это все-таки человек, хоть и пролетная фигура, по выражению господина почтмейстера... К тому же, как ни верти, можно сказать, за Отечество пострадал, кровь проливал в некотором отношении, без руки остался, да, кажется, и без ноги тоже...

А мне, ясное дело, не поверят, может даже кто-то вспомнит, как же

ехать по просьбе капитана Копейкина? Ведь он уж давно должен скончаться. Да и пенсионера-то ему так и не назначили вроде?..

И тогда я дерзко скажу, что вообще-то мне эта книжечка и самому уже полагается (хотя бы для проезда в метро), так как из сорока восьми лет я сорок лет уж непрерывно отработал. Да!.. «Это как же, спросят? Ты что, с соской во рту уж работал? Как так?» А так!.. А потому что в восемь лет я уж сено косил, корову кормить надо было, в четырнадцать – лес рубил... да и по трудовой – тридцать три года... Вот так... Да, именно так, ваше превосходительство, товарищ сержант. А теперь вот не имею никакого иждивения. Безработица, сами понимаете...

– Ну, хватит, гражданин!.. – угрожающе напомнит сержант, и тогда я скажу правду: книжку эту я нашел около вокзала, только неделю назад решил ею воспользоваться, до этого даже и в голову не приходило, а тут нужда в некотором роде, шоковая терапия, сами понимаете... Хотел сдать в милицию, да все никак не получалось... а инвалиду этому, Копейкину, думал, новую выдадут, если он жив...

– Ах, вот так!? По чужому документу катаешься!

– Так, нужда же, службы нет, не по умыслу, – лепечу я подобно Червякову, чихнувшему на лысину генералу, и мне опять хочется сказать сержанту «ваше превосходительство», и совсем честно, пока сержанты шуршат какими-то бумагами и шушукуются, посмеиваясь, признаться: «книжку нашел, искренне каюсь» – и обреченно опущу голову: делайте, что хотите. А потом спохвачусь – книжку-то ведь отберут! Как же я ездить буду? Ну, да Бог с ней! Хоть бы в тюрьму не укатали...

В воображении моем мелькают будто всегда загадочно усмехающиеся лица молодых сержантов из милицейского пикета, которые периодически появляются около будки позубоскалить с молоденькими контролершами, и один из них, развалившись в кресле, «по-свойски» этак, ослепив меня вспышкой золотой фикса, начинает расспрашивать снова:

– Так как твоя фамилия-то?

– Чичиков, – дерзко отвечаю я.

– А я вот тут читаю совсем другую! Копейкин. Как это понимать!? Ты знаешь, что полагается за подделку документов?

За этими словами, с детства вызывающими священный ужас, мне уже чудятся решетки, этапы, рудники, будто я грабанул всю страну и ни с кем не поделился, и за это мне ничего не остается, как сесть на нары...

– Честно говоря, не знаю, что полагается? – отвечаю я опять обреченно.

– Сейчас мы тебе разъясним. – И сержанты, уже вместе, что-то разъясняют, пишут бумаги, потом один спрашивает: – Ты дурак, что ли? Или идиот?

– Наверно, – искренне отвечаю я, подтверждая сразу оба предположения.

А они весело переглядываются и, отложив бумаги, вдруг говорят великодушно:

– Работать надо, гражданин, как тебя... Чичиков, говоришь? Интересная фамилия. Где-то я слышал такую? Где-то слышал?... Запросика, Серега, не значится ли такой по нашим каналам?..

– А я работаю, товарищ... – охотно отвечаю я, моментально расчувствовавшись от начальнической ласки. – Летом вот туалет одному бизнесмену построил. На даче. Целый котлован пришлось вырыть. Лопатой, конечно. Ни одного кустика не повредил. Забетонировал. Сиденье мягкое. Утеплил, в любой мороз... Он доволен. Обещался в свое время ассенизатором пригласить... А пока жду – котлован же не скоро заполнишь, хоть бизнесмен и большой человек... А вообще-то я и сейчас работаю. Только...

– Если работаешь, тогда че едешь, как инвалид?

– Так, видите ли, – подобострастно разъясняю я, – теперь новые издатели наши платят с килограмма... Вон и у вас вижу книжку... Такой толщины мне и за всю жизнь не написать... Да и читатель пошел лихой... А у меня такого слогу нет...

А, впрочем, – вдруг опять перехожу я на дерзкий тон, – у меня должны были быть деньги. И не только на проезд. Даже и есть... – Боже, что я мелю!? Ведь готовы уж были отпустить, – думаю я, но продолжаю дерзить: – Да, есть. Только меня недавно ограбили...

– Заявление на грабеж писали? – интересуется помощник главного сержанта.

– Нет, конечно. А на кого?.. Ну, как это вам сказать? Заявление писать некуда. Сграбили, но законно... Они даже и лежат на книжке, в сберкассе. Книжки, говорят, храните до смерти... А я как раз накануне получил большую сумму... Гонорар, извините. Мне бы года на два хватило. А тут их отпустили. Деньги отпустили, цены. Рынок... Честно говоря, я сегодня совершенно не понимаю, какие есть законы, а каких нет... Например, если вы скажете, что за использование книжки

капитана Копейкина полагается смертная казнь через повешение, я вам поверю.

– Из этого моего бормотания сержанты слышали, кажется, только последние слова и засмеялись:

– Ну, ладно, повесить тебя не за что. Разве что за... Ха-ха... Ты хотя бы скажи, где такие работают? Кем?..

От этого вопроса я немею. Скажешь, писатель – обидится, или в дурдом отправит. И я молчу.

Переживания подобного рода то отчетливо, то скомкано и в разных вариантах, терзают меня около каждой станции метро. И в створ между турникетом и стеклянной будкой контролерши я прохожу словно сквозь простреливаемую зону. Глядя на меня, она будто думает: «Подозрителен этот инвалид Копейкин!» – но ничего не говорит.

И... «Слава те, господи!» – думаю я, когда она позади. Думаю, сгорая от стыда, и тут же жалко радуюсь, что меня не окликнули, сержанты никуда меня не утащили, ничего не расспрашивали... Что я стою уже на ступеньках эскалатора, хотя еще и оглядываясь, не бежит ли кто вдогонку? и чувствую себя так, будто не еду вниз, а падаю, падаю. И, мучаясь, прошу:

– Господи, выпусти меня из этого сна!

И наконец, будто просыпаюсь...

* * * * *

По шорохам, раздавшимся в дальнем конце вагона, и еще по какому-то особому затишью, возникшему там, я сразу же догадался, что опять идут ОНИ, и я, едва усмирив переживания, связанные с турникетом, снова заерзал: дать мне было уже нечего, а не дашь – совестно и неудобно... «Вот через несколько мгновений захлопнутся двери вагона, поезд наберет скорость, под ровный стук колес граждане затихнут тоже в неловком молчании, и послышится...» Мысли эти мелькнули во мне невольно, и я, будто с ежом внутри, напрягся в мучительном ожидании. И вот послышалось:

– Люди добрая, прастите, что мы вас беспокоим, патаму что войдите в наше палажения, люди добрая... Памагите, кто сколько может, на каляску, сами видите, люди добрая, на каляску для инвалида...

Несколько человек, стоявших в проходе вагона, неохотно посторонились. Молодая женщина, сидевшая от меня слева, полезла в сумочку, достала две хрустнувшие бумажки, что-то прошептала,

покачала головой и, держа деньги наготове, страдальчески уткнулась лицом в руки...

Сосед справа поглубже уткнулся в страницу романа, который в рукописи весил, наверное, не меньше килограмма...

Несколько пенсионерок, молча сидевших напротив меня, заерзали, запереглядывались между собой, видимо тоже чувствуя внутри себя ежей. Потом негромко запереговаривались, так что я слышал, как одна из них сказала:

– Да бароны ихние посылают, шайка – и все.

Другие вроде не совсем согласились с этим и кивали в сторону приближавшихся к ним людей. Кивали нервно, раздражаясь:

– Ведь еще совсем недавно, до мокрухи этой (мокрухой, как я понял, женщина назвала перестройку) ни одного нищего на улицах. А теперь, как мыши из всех подвалов хлынули. Не было их раньше? Или держали где?..

Несколько лиц в другом конце вагона выжидающе повернулись навстречу, тоже молча. И молчание это напоминало тишину самолета, падающего с заглохшими двигателями...

На этот раз ОНИ были в несколько обновленном составе...

Первым по полу вагона полз молодой, черноволосый парень в грязно-голубой майке, похожий на цыгана. Он полулежал на правом бедре, и длинными мускулистыми руками, которые он выкидывал вперед, словно костыли, проталкивал себя вперед. Поверх солдатских штанов на правом колене был намотан какой-то ком, похожий на бант, и нельзя было понять, имелась ли у него нижняя часть ноги, или была так хитроумно подвязана к бедру, что выглядела как пустая штанина. Левая нога, обутая в солдатский ботинок, вытянуто волоклась сзади...

Иногда парень садился вертикально, оборачивался назад, говорил что-то женщине на непонятном мне языке и полз дальше. Женщина была лет тридцати пяти, с вьющимися волосами, дававшими, хоть и отдаленно, повод подумать о посещении парикмахерской, но грязноватая лицом. Это она говорила: «Люди добрая...»

На руках у неё был настоящий грудной ребенок, за спиной в мешке тоже что-то шевелилось и в ногах путалось ещё двое мальчиков лет пяти – оба босоногие. Ступни, мелькавшие из-под штанин, были пропитаны таким слоем грязи, что пятки детей показались мне похожими на картошины, только что выкопанные из земли...

– Памагите, люди добрая, сколько кто может, – изредка подавала голос женщина, равнодушно принимая подаваемые бумажки.

– Ну и работа, – буркнул сосед, читавший роман.

Соседка слева сунула в руку ребенка свои тысячерублевые бумажки и уткнулась чуть не со слезами на глазах.

«О, Боже!» – подумалось мне, когда инвалид припал к моему колену, выкатив огромные черные глаза с бычьей печалью и, подавая ему последнюю сторублевую бумажку, я тихо сказал:

– Прости, я сам нуждаюсь, прости.

– Как мышей из подвалов навывползало, – повторила пенсионерка напротив, и её соседи на кого-то ворчливо заругались, злобно шепча: – А все по телевизору толчат: свобода слова, свобода, свобода, как бомбят...

При выходе из метро в другом конце города мне уже дать было нечего, и около подростка, державшего картонку со словами: «Умерла мама», я прошел мимо...

Сразу же за дверью, в углу двора-колодца, лестница будто немного потопталась тремя пологими ступеньками и круто взяла вверх. На третьем пролете ступеньки шли еще круче, но вдруг будто устали, остановившись на маленькой площадке, с которой в разных сторонах виднелись две квартирные двери... Следующие одиннадцать ступенек, тускло освещенные из маленького оконца, лежали полого. Потом опять перешли в крутой подъем, словно страдая одышкой, и, наконец, уткнулись во входную дверь с разодранной в клочья ватной обшивкой. Это была моя дверь... Выше была еще одна площадочка для выхода на чердак, откуда тянуло вонью и иногда слышались голоса бомжей, невидимых в потемках – только точки горящих сигарет, словно дырки, простреленные в темноте...

На всех пяти этажах мне почти никто никогда не встречался, все двери выглядели как бы наглухо замкнутыми, будто за ними никто не жил...

Лишь однажды навстречу мне бесшумно проскользнуло что-то похожее на тень Родиона Раскольникова...

Весна не наступала, будто топталась. Небо было мутное, словно обмерло, облака не шевелились. Солнце, скрывшееся за ними две недели назад, больше ни разу не появлялось на небе, и казалось, вообще не существовало. Не появлялись по ночам и звезды, и нельзя было понять, где мы живем и почему...

Наконец, что-то вроде начала меняться. Однажды утром, когда я проснулся, на небе вместо солнца вяло светила Луна...

...Солнечное мартовское утро после полудня превратилось в серенький день, похожий на тихие сумерки. Площадь, покрытая липкой жижицей подтаявшей копоты, как всегда напоминала разоренный муравейник...

Толпа роилась около ларьков, изучая цены на консервах, банках масла, надписи на лацканах одежд: «Куплю медали, ордена, золото... Продам, сдам, куплю...» На одном из ларьков было написано: «Куплю всё!»

Чтобы спуститься в метро, приходилось пробираться сквозь шеренги женщин, державших в руках кофточки, платья, колготки, трусики, самодельные чепчики... Тут же, опустив лицо, обвязанное платком, старуха продавала пожелтевшую от времени книжку «Как закалялась сталь» и два граненых стакана, подстелив под них обрывок картонного ящика из-под сигарет «Винстон». Неподалеку от нее, стоя на коленях с иконкой Богородицы, просила милостыню тоже старуха...



Во втором ряду толкучки стояли пластиковые чехлы с цветами роз, гвоздик, нарциссов, обогревавшихся горящими свечками, а рядом старики и дети встряхивали пучками мимозы, взывая купить...

– «Фонтанку», пожалуйста, дайте, – сказал я кому-то, сунув в дырку одного из ларьков шестьсот рублей. В ответ высунулась волосатая мужская рука, подтолкнувшая мне пачку сигарет.

– Спасибо...

На интересовавшую меня территорию я шел на этот раз с противоположной стороны, пробираясь по грязным тропинкам, вытопанным среди куч мусора, ориентируясь на алюминиевый ангар, чтобы выйти к тупику, где был костер. Шел, опасливо озираясь вокруг...

Территория оказалась устроена гораздо сложнее, чем мне увиделось в первый раз.

Взойдя на пригорок из щебня, я огляделся. Над ограждением территории с проломами, искореженными шлагбаумами и обрывками кабелей, торчали будки для охраны, но пустые, и все пространство напомнило мне заброшенную зону...

Лишь кое-где контейнеры, вчера наглухо запертые на стальные вертикальные засовы, сегодня были открыты, оказавшись не гробами, а торговыми точками. К ним иногда подходили покупатели, искавшие товар подешевле, и толкались мужики всяких возрастов с гиблыми небритыми лицами, будто выпущенные на волю эски, не знающие, куда податься, или просто не желающие покидать зону, ставшую родной...

Я невольно озирался, и мне казалось, что все вокруг заговорщически шепчутся, косятся мне вслед, а за каждым углом шушукуются какие-то люди, от которых пахнет поножовщиной.

Мне казалось, что тут, да и не только тут, а всюду, все боятся друг друга: и ларечники, и покупатели, и хозяева, и охрана хозяев, и охрана охраны...

...На куче пепла на этот раз полыхал маленький деревянный ящик, а около костра ползали на коленках четверо подростков, издалека тоже походивших на воробьев, в которых я не узнал никого из моих знакомых, хотя одеты они были вроде так же, но как-то иначе. Трое из них были в шапочках «петушок», а четвертый, самый маленький, в кепке с длинным козырьком, напоминавшей буденовку. Разорвав какую-то книжку, они старательно разглаживали листки на подмерзшей земле, загибали бумажные самолетики и, подпалив на огне, запускали их в воздух... Видно было, что спалили они уже не одну эскадрилью, потому что в разных местах вокруг костра валялись самолеты с обожженными крыльями...

Один из запущенных самолетиков, дымясь, полетел в мою сторону, а подросток, погнавшийся за ним, вдруг радостно закричал:

– Эй! Привет! – и побежал ко мне.

Лишь по голосу я узнал, что это Сашка – в «буденовке» и пятнистом наглухо застегнутом пальтеце, в котором вчера был Витька. Это я отметил сразу, но не успел сообразить, что это значит, а Сашка, выпутав из рукава маленькую, словно птичью, руку, протянул ее мне и сказал:

– А вы вчера обещали еще дать на семечки. Ага?..

– Давай сначала поздороваемся, а потом уж... я же вас не узнал. Одеты вы как-то странно...

Витька подбежал ко мне еще быстрее, наворачивая ногами словно футболист, получивший пас вблизи ворот, так что капюшон его куртки нахлестнулся на голову...

– Привет! – взросло поздоровался он, протянув руку в красной

перчаточке. Я пожал покрепче, почувствовав, как его ручонка тут же уперлась в ответ, так что мне невольно подумалось: «Этот, случись драка, не дрогнет, не сдаст!» Остальные подтянулись вяло, и Гусак кивнул:

– Здрасьте...

– А семечки-то купите? – повторил Сашка. Витька промолчал.

– А где тут?

– А вон туда...

Окружив меня, мальчики засуетились, и мы двинулись к площади через территорию, но каким-то иным путем, мне не знакомым...

Уже внутри лабиринта навстречу нашей компании заулыбались два молодых мужика – оба помятые, с болезненно блестящими глазами, похоже, недавно опохмелившиеся то ли пивом, то ли водкой.

– О-о-о! Привет, бродяги, – прохрипел мужик в выцветшей цигейковой папахе, модной в шестидесятые годы, и начал здороваться по кругу, называя имена: – Это Витька... Никола, привет... Валера, кажется, тоже привет... А это? – Парень замешкался...

– Сашка, – пискнул Сашка, приподняв козырек буденовки.

– Здорово, здорово, шпана. Ну, как?..

Также по кругу поздоровался и второй, подавая руку с татуировкой на пальцах, спросил: – А это что за пахан с вами? – неуютно кивнув в мою сторону.

– Нет, это наш товарищ, – решительно сказал Витька и выступил впереди меня.

– Тогда другое дело, – мужик двусмысленно хмыкнул.

– А вы закурить нам не дадите? – спросил Гусак. Мужики сунули руки по карманам.

– Не давайте им! – твердо сказал я. Мальчики притихли... На меня был брошен запоминающийся взгляд, но разошлись мы благополучно.

У первой же бабы, торговавшей семечками тыквы и подсолнечника, мы остановились.

– Каких вам?

– А этих, черненьких...

– Разделите, пожалуйста, два стакана, – попросил я хозяйку, увидев, что мальчики оттопыривают карманы. – Постарайтесь поровну.

– Хорошо, хорошо, щас я сделаю. Щас, ешьте, щас, деточки...

– А можно всем по стакану? А?..

– Не могу...

Получив долю, деточки заглядывались: тогда, дескать, все, мы полетели...

– У костра опять встретимся. Мы там каждый день...

Чуть приотставший, Сашка обернулся на ходу и подтвердил, выплюнув шелуху: – У коштра! – и бросился вдогонку в гущу толпы, словно в кусты, шлепая по грязи хлябавшими сапожонками...

Я закурил и поплелся домой...

На душе было гадко, внутри что-то накаплило и злобно травило, то опускаясь до беспомощного уныния, то нагреваясь до яростного возмущения... В мыслях невольно провертывались Витькины словечки, которыми он злился на «санитаров», хотя ничего ранее неслыханного от мальчиков я не узнал: все это я уже много раз видел и слышал... Но, может быть, именно поэтому внутри что-то вопило...

Вдруг над пустырем, где стоял самосвал, нагруженный металлоломом, раздался перепуганный девичий визг...

Обогнув забор, я остановился на тротуаре переулка, напротив ворот с высокой аркой для въезда фургонов. Там, размахивая обломком доски, здоровенный мужик гонял по пустырю кучку девочек-подростков, словно кур. Те визжали и матерились:

– Это они первые туда залезли! Вон тот, сука... Он меня палкой с гвоздем е.. !

– Пошли вон! Сами вы сучьи отродье, – рычал мужик.

– Иди ты, х... моржовый, – истерично огрызались девочки, уползая к воротам по пояс в снегу...

В другую сторону от самосвала отлетела стайка моих подростков и остановилась, укрывшись за Витькой. Тот отбивался от мужика за всех:

– Это они сами залезли! Это не мы, – и глаза его искали подмоги.

Вдруг он увидел меня, и в обход мужика тоже ринулся к воротам и вместе с товарищами укрылся за мной...

– А ты, курва, скажи своему сынку! А не то я ему!.. В ментовку захотел!? Да!? Забери своего сынка!..

Вопила девочка, обвязанная черным платком, в каком-то длинном балахоне. Зрелище было жуткое. Сообразив, что этот лай относится ко мне, я тихо спросил:

– Что они вам сделали? – Прохожие любопытно оглядывались.

– Да? Что?!.. Он, сука, меня палкой с гвоздем. Понял!? Ты скажи ему, а не то и тебя... – визжала вторая.

Третья стояла в длинном пальто с капюшоном на голове и смотрела на все взглядом наркоманки.

На визг из подворотни вышла дворничиха с фанерной лопатой, косо взглянула на меня и подсказала:

– А вон как раз и милиция идет...

Двое коренастых милиционеров с дубинками на поясах, прошли мимо, даже не взглянув. Однако, и девиц, и всю мою ватагу будто сдунуло. Только Сашка не успел. Я заметил, как он дернулся в испуге к углу, куда вильнули мальчишки, понял, что не догонит их и прижался к моей ноге...

– Ты что? Не бойся. Ты знаешь, где ты живешь?

– А вон там. Недалеко отсюда.

– Тогда все в порядке. Не дрожи. Если не вернутся, доберемся сами.

– Я положил ему руку на плечо, не сразу ощутив его под плечиками пальто, и сказал:

– Хочешь калачик?

– Давай! – Сашка сразу повеселел.

– Послушай, «буденовец», – я рассмеялся, – каким образом на тебе оказалось Витькино пальто?..

– А мы п-переоделись, – ответил Сашка после длинной паузы. Тут я впервые заметил, что он слегка заикается.

– То есть? Тогда почему на Витьке не твоя куртка? Ну, та, которая была на тебе. – Сашка то ли не понимал вопроса, то ли преодолевал заикание. Потом сказал: – Она дома...

– Вы что, братья, что ли? – наконец, догадался я.

– Аг-га. – Сашка закинул голову, чтобы взглянуть на меня. – А ещё нету? – Я дал ему второй калачик, обломок третьего стал грызть сам: «Ах, вот в чем дело!...»

– И Колька тоже, – продолжил Сашка. Ещё-еще сестра т-тоже есть, только маленькая. И Мишка... – между фразами он делал длинные паузы, словно выковыривая слова. – Он в ПТУ учится... А Витька в школу не ходит...

Про маму, вдруг обросшую в моем воображении оравой мал мала меньше, я спросить уже и побоялся...

Мы молча грызли калачики на жижистом асфальте, озираясь, как воробы на изгороди... Уже явно смеркалось, переулочек пустел, и Сашка все чаще швылькал носом. И уже не понимая почему, я спросил в никуда:

– А ты, Саш, кем хочешь стать, когда вырастешь?

– Не знаю-к, – Сашка опять замолчал. – А у меня по азбуке пятерки есть.

– Иди домой, деточка, – выдавил я. – Или тебя проводить?

Сашка мотнул рукавами, что означало то ли отказ от провожания, то ли нежелание уходить.

– Иди. Уже холодно. – Кто-то сдавил мне горло.

Сашка потоптался и пошел, пятясь ко мне лицом, потом отвернулся, нехотя перешел на бег трусцой, пальтецо заболталось на нем; как на спичечной крестовине. Отбежав, повернулся, помахал рукой, я услышал:

– У коштра, – и потрусил дальше... Еще раз обернулся, выглядывая из-за спины проходившей мимо одинокой женщины, и, пятясь спиной, будто свалился за угол ближайшей арки...

...Когда я в следующий раз принес с собой три шоколадных конфеты, которые я выудил из коробки, подаренной жене на восьмое марта, обрадовались оба: и Витька, и Сашка, оказавшиеся у костра вдвоем. Только на костре ничего не горело, куча пепла выстыла, была похожа на оскверненный могильный холмик, и свет вокруг был какой-то лунный...

Две конфеты одинаковой формы, завернутые мной в светлую фольгу, они разобрали быстро. Третья в форме треугольника, их озадачила.

– Я же думал, что и Кольку встречу, – пояснил я и отдал конфету Сашке. Тот схватил, удержав ее за спину, но вернул Витьке. Витька взял, зыркнул на меня и отозвал брата чуть в сторонку, где они шушукнулись, и Витька сунул конфету во внутренний карман, сказав сдавленным голосом брату:

– Это маме. Ты не донесешь. Мы же хотели ей подарок... – И Сашка уступил.

Я сделал вид, что ничего не заметил, а Витька вдруг блатно сунул руки в карманы штанов и спросил:

– Закурить не дадите?.. Хапчики, сами знаете, грязные...

– Ты, Витька, на попрошайку не похож. А я вам сразу сказал, что сигарету вам не дам. Запретить, к сожалению, не могу...

– Согласен, понятно, – отозвался Витька... Закурить ему предложил тот же мужик. Только сегодня он был пострижен с пробором, будто ещё сохранившим укладку с феном, и лишь на затылке топорщился маленький хохолок. Да ещё и галстук...

Появился он опять как-то неожиданно, будто уже давно тихо стоял за нашими спинами, и каким-то самодовольным отеческим голосом сказал:

– Что вы тут мерзнете? – положил на кучу пепла маленький деревянный ящик и стал причитать: – Я вас сейчас обогрею всех. Я научу вас, как надо жить. Сейчас всем будет тепло...

– Послушай благодетель! – сказал я, едва сдерживаясь. – Если я тебя еще раз здесь встречу! Пóнял, голубоглазый?! – И во мне запровертывались Витькины словечки. – Пóнял, говорю?!.

– А тебе какое дело? – бархатно прошипел мужик и двинулся на меня, схватив начавший глеть ящик...

Но тут вперед шагнул Витька, слушавший наш разговор, и, сунув руку в карман с третьей конфеткой, вытащил оттуда короткий нож с зубчиками, как у пилы, тот, который исчез с моей мансардной кухни после посещения ее мальчиками.

– В чем дело? – сказал он, решительно упершись взглядом в «голубоглазого» мужика также, как при первой встрече – в меня.

– В чем дело?

Тут испугался я, увидев Витьку с ножом, моментально ослабел и, будто очнувшись, сказал, тихо дрожа:

– Не надо, Витя. Я сам с ним разберусь...

А ночью приснился мне мой осиротевший дом в деревне, около которого я сидел со стаканом водки, словно на поминках, и дом казался мне не реальным, а будто нарисованным каким-то неизвестным художником. Во сне я превращался в мальчика, похожего на Витьку, пытавшегося драться с какими-то разными людьми, оравшими с трибун о правовом государстве, о свободе личности, о... о... моментально взрослел и беззвучно все рвался крикнуть, что на Руси издревле чтили святость и святых, а не юристов и адвокатов, что жить стремились прежде по совести, и судов боялись больше, чем тюрьмы: «Затаскают. Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло!»...

А от меня отмахивались, презрительно усмехаясь, и мне хотелось заплакать и покаяться – как солдату, осознавшему, что сражение он проиграл, так и не вступив в бой... Будто проспал по пьянке, и с похмелья, ничего не соображающим, оказался в плену: уже без оружия, без погон, с расстегнутым воротом гимнастерки, болтающейся без солдатского ремня, как подол бабьей юбки...

"ИСКУШЕНИЕ"

Литературный сценарий документального фильма



... Напоминая проявление фотографии, на фоне воды появляется название фильма: "Искушение" и медленно тонет в глубине колодца.

Вода смыкается над ним, как над упавшим в омут камушком, и пространство наполняется тихими таинственными звуками... А потом, доносясь издалека, за кадром слышится усталый старческий голос:

– Диагноз?..

Через короткую паузу он снова повторяется – уже ближе – но также устало и негромко:

– диагноз?... Диагноз?..

Интонация, с которой произносятся эти слова, невольно напоминает работу радиста, посылающего свои позывные, прося отозваться где-то во вселенной затерявшуюся радиостанцию... Но она пока не отвечает.

И снова повторяется: "Диагноз?", только теперь в интонации голоса уже чувствуется прошение: "Прошу, ответьте мне", – хотя слова эти не произносятся вслух... Еще раз:

– Диагноз?..

И слово это, реверберируя, улетает в эфир, в Галактику... Это не метафора, ибо, как станет понятно позднее, слово и мысль говорящего улетают именно туда. И на экране наплывом появляется силуэт

сидящего человека, снятого со спины. И более отчетливо – старческая рука, покрытая венами, лежащая на затылке рядом сидящего мужчины средних лет.

С затылка пальцы опускаются ниже, едва заметным движением, но чутко, ощупывая шейный позвоночник. Вдруг чуть вздрагивают...

– Так... Есть диагноз, – что в переводе на язык радиста означает: "Ваш отзыв услышал"...

И начинается работа. самого старика мы пока не увидим, только будем чувствовать его дыхание за кадром, сбоку от сидящего мужчины. Лишь на втором плане, в глубине кадра, виднеется женщина средних лет, внимательно наблюдающая за происходящим. С медицинским атласом, авторучкой и листом бумаги. И тот же негромкий голос, даже будто сонливый, но то и дело прерывающийся напряженными вздохами:

– Так. Нервная система: центральная нервная система? Центральная?.. Нет... В порядке... Симпатическая нервная система?.. Вегетативная?.. Периферическая?... Так, Нина, запиши: Симпатическая нервная система... Лечение потом скажу... Так. Опухоли?.. Качественная? Злокачественная? Опухолей нет... Радиация?...

Так... Ну-ко, теперь в другой точке послушаем... Радиация?.. Инфекция?..

И слова эти, опять реверберируя, улетают из деревенского дома в Галактику: к кому?..

Еще как будто сумерки, но даже не выходя из избы, а только выглянув в окошко, сразу чувствуется, что не смеркается, не вечереет, а наступает раннее утро, и вот-вот готовится взойти солнце, влажно, сквозь кусты у оврагов холмистого поля подсвечивая то ли мглу, то ли дымку, и чуть синя зернистую поверхность сугробов... За кадром кто-то негромко, как прозу, читает: "Когда пробьет последний час природы, состав частей разрушится земных. Все зримое опять покроют воды, и Божий лик отобразится в них".

И через паузу отзывается уже знакомый старческий голос:

– Да... Хорошие слова...

А в пространстве, опять даже на взгляд, чувствуется морозец, но заморозок не зимний. Ранняя весна. Вокруг все чутко, хрупко, настороженно, так что любое движение становится далеко слышимым явлением, почти что вселенским звуком... В этой атмосфере камера находит крупную деталь окружающего деревню пейзажа – например, одинокую травинку прошлогоднего багульника... осматривает простор-

ные пологие склоны холмов, замечая на них вытягившие из сугробов корявые прясла изгородей, уводящие в даль, как тропинки, и поднимающиеся по снежному склону прямо в небо.. Куст вербы, осыпанный проклюнувшимися почками... баньку на окраине. За ней в разных местах зароды сена в стожарах, напоминающие ершей, расправивших плавники, и неторопливо-важно расплывшихся по облюбованным уголкам большого омута... Старый, пропылившийся дорожной пылью дом с заколоченными крест-накрест окнами, будто зачеркнутыми... Амбар с подгнившими окладниками, будто ткнувшийся на колени. А через дорогу ухоженные дома: с верандами, балкончиками, резными наличниками вокруг окошек, резные подзоры, тонкая я сложная резьба которых похожа почти на кружева или вышивку... первый, одинокий пока, дымок над трубой только что затопленной печи, и потому еще не вертикальный, а плавно стелющийся над скатом крыши: будто мающийся, "осознавая" свое существование в пространстве и постепенно выпрямляясь над трубой. Потом трубы начинают дымиться чаще... И вот уже в разных концах деревни запоскрипывали двери, подали голоса хозяева и коровы в хлевах...

Старуха у холодца черпает воду в бидончик – ведро ей уже не под силу. У другого колодца молодой мужик с ведрами, поторапливающийся, видимо, чтобы не опоздать на работу...

А по одному из деревенских переулков неторопливо шагает пожилой человек в старомодной каракулевой шапке, шагает осторожно, опасаясь оступиться на обледеневшей дороге. Особо никак не акцентируя, камера видит, как старик, опрятный на вид, напоминающий прямо-таки бывшего районного чиновника на пенсии, достает из бокового кармана плащевого полупальто пачку конвертов и опускает их в почтовый ящик. И оглядывается, как анонимщик, и тем же переулком возвращается обратно, взглянув на часы. И вслед ему то и дело со странным любопытством глядит какая-нибудь баба, навалившись на ограду своего дома. Или мужик, тоскующий с похмелья: "У него что ли занять трёшку?" Видно, что все старика знают, знают, кто он такой, и тем не менее всякий раз смотрят на него с нескрываемым любопытством, и то и дело с каким-то опасным прищуром. Иногда окликают и здороваются. Старик отвечает добродушно и, взглянув вокруг, опять впадает в задумчивость.

Теплее становится солнце и прозрачней дымка. И вот солнце уже вошло и будто подало земле какой-то таинственный голос...

— Я думаю, что это дело-то мне от отца досталось. Честный, чистый был человек, — слышится за кадром знакомый старческий голос, возникающий на кадрах весенней природы, и звучит так, что лишь предположительно соотносится с фигурой описанного выше районного "чиновника-пенсионера". Пусть зритель остается пока в сомнениях относительно того, кто это говорит, к чему, и вообще, о чем речь. А Николай Семенович — так зовут героя фильма — продолжает:

— Отец рассказывал, как в молодости его черти морочили, — с усмешкой говорит Н. С. — Шел как-то под хмельком из села в деревню. Вижу, говорит, на пригорке девки баские сидят и куделю прядут... Ну, я, говорит, к ним с тропинки сворачиваю и напрямую, забыл, что и озеро рядом, глубокое озеро, метров пять в яме-то...

В себя-то пришел, когда почувствовал, что тону. Сразу в голову-то, говорит, пришло: "Господи, помилуй!" И мысленно перекрестился, и на ноги сразу встал, дно почувствовал... Выбрел на берег, хмеля-то как не бывало. Огляделся, никаких девок, только солнышко садится... Со всего течет, нагнулся он, чтобы воду из сапог вылить, картуз-от с головы и скатился, А отец от радости-то, что живой остался, опять и говорит: "Ну, черт с ним и картузом!" Голову-то поднял — картуза и близко нигде не видать, осенью этот картуз-то мужики из ямы в сетях выволокли... Ну, отец говорит, я еще раз перекрестился да домой тихонько... С тех пор он ни одной службы в церкви не пропускал, до самой смерти казначеем был. Все бросал, какая бы ни была работа — хоть сенокос, хоть жатва — он шел церковь на службу, и уж ни одной копейки от храма не взял. Честный... Вот, я думаю, мне из-за него этот дар-то и открылся, — последнюю фразу Н. С. произносят не смело, как бы стесняясь, и добавляет: — Я только к семидесяти годам убедился в этом окончательно, а до этого только у мужиков зубы лечил случайно. На рыбалку, бывало, едем, кто-нибудь жалуется: зубы, мол, болят. Я посмотрю на того, а через несколько минут он и говорит: "Чего такое случилось? Зубы-то не заболели". А мне и в голову не приходило, что из-за меня.

Я ведь техником на радиоузле работал. Потом у какой-то другой бабы пятно красное на колене завелось и болело. Она чё-то мне и пожаловалась в избе. Посмотрел я, мне вдруг так тоскливо стало и жалко ее, я возьми да и погладь ее по колену-то. Уж не молодой был, так можно. На другой день у нее ни пятна, ни болезни, как рукой сняло... А потом у другой бабы же голова много лет болела. Я и ее пожалел — опять выздоровела. Ну, тут стал задумываться над собой. Нет, о воде я узнал позднее...

Теплее стало в воздухе, и прозрачней дымка. И вот солнце взошло, и будто подало земле какой-то свой таинственный голос. И вскоре на припеке источенного весеннего сугроба тихо блеснула первая капля, и тихо звякнул первый обломившийся хрусталик льдинки, скатившись к подножью. А потом капли, лениво набухая, стали срывать чаще, и чаще звон осыпающихся льдинок, и вот уже откровенно потекло с потоков крыш... Ожили ручейки на дорогах, ручьи в оврагах, чуть подернутые ледком ночного заморозка, и речка, и готовая разлиться посиневшая река... И вот уже половодье... И ключ родника, бьющего из-под земли, выбрасывая на поверхность белый, промытый песочек: в него камера вглядывается особо пристально...

Описанное изображение не надо понимать, как буквально подлежащее перенесению на экран: в нем надо прежде всего сохранить настроение, интонацию. Но к нему и нельзя относиться как к проходным лирическим кадрам, нужным лишь для того, чтобы иметь пространство для звучания какого-то текста. Планы должны быть сняты так, чтобы в каждом кадре за кадром чувствовалось таинство бытия, и камера должна видеть и как-то доносить это настроение до зрителя, чтобы ни было реального в кадре: хоть травинка, хоть овраг с ручейком, хоть глазающая баба, хоть капля, сорвавшаяся с сосульки. Настроение изображения должно быть сложное: и радостное ликование весенней жизни, и что-то смущающее /весна, вопреки традиционному представлению, мутное время/, исподволь настораживающее, настраивающее на размышление над обычным. Должно быть окрашено какой-то тоской, что ли... "Тоской жизни, – как выразился Поль Валери, – Не тоской от чего-то известного, понятного, а тоской совершенной, чистой, чей источник не в горе, не в немощи, а той, что уживается с самым счастливым на вид уделом, – одним словом, тоской, у которой нет иного содержания, кроме самой жизни, и нет иной причины, кроме ясновидения живущего... Тоска эта, в сущности, не что иное, как жизнь в своей наготе, когда она пристально себя созерцает". Кроме этого – особый звук, который подмешивается, лучше сказать – просачивается а обычные реальные звуки: капли, ручья, колодца... Станный, вселенский, тихо сокрытый в каждой капле, звук как бы доносящейся до нас внутренней, молекулярной что ли? жизни воды, ее животворящий голос, внешнее, художественное выражение которого надо найти... Может быть, возможно как-то изобразить "шелест" электронов?...

В неярко освещенной комнатке со столом, на котором медицинский

атлас, пара блокнотов и несколько распечатанных конвертов... кроватью, телевизором, будто пропылившимся от забытости, пожилой человек в рубашке и шерстяной безрукавке берет гармошку, садится в полуоборот к экрану и, будто вспоминая забытое, пытается сыграть деревенскую плясовую. Видно, что когда-то играл хорошо, и басы не сидели на лавках, а теперь пальцы то и дело заплетаются, и старик смущается. Сжимает мехи гармони, а потом затевает иную мелодию, в которой с трудом, но узнается мотив "По Муромской дорожке"... и старчески то ли бормочет, то ли подпевает слова... Угадывается, что это тот же старик, который утром опускал в почтовый ящик письма.

Но не будем все-таки торопиться выводить его на экран в открытую. Попробуем поддерживать интерес зрителя к происходящему косвенно. А потому на описанном выше изображении за кадром прозвучит несколько новых голосов, иногда рас-сказывающие люди будут появляться на экране в разном житейском и географическом интерьере – и явно южном и крайне северном – и мы услышим рассказы примерно такого содержания:

– Мне тридцать семь лет. Пятнадцать из них я болела. Сначала операция на легких, потом заболело все... Пять лет жила, как инвалид первой группы, по несколько раз в году летала в Сыктывкар на облучение, на химию – уколы разные. У нас в Сосногорске таких процедур не делают... Ничего не помогало. По слухам узнала о Н. С. Послала письмо о просьбой принять. Он ответил... И вот теперь чувствую себя гораздо лучше...

– А у меня был рак пищевода... Меня долго лечили от другой болезни. Объехал все больницы. Ничего. Еле дышал, хуже, хуже... Врачи просто отказались лечить меня, как безнадежного... Тогда от знакомых узнал о Н. С. Через восемь сеансов стало легче. Дышать по крайней мере стало легче. А то ведь на второй год едва поднимался... Еще осталось четыре сеанса. Верю, надеюсь... Я ведь не первый, кого Н. С. исцелил...

Монологи прервет закадровый обрывок диалога:

– Н. С. А вода исцеляет любая?

– Нет, только колодезная. Но из любого колодца земного шара.

– А из водопровода? озера, реки?

– Можно и ее сделать целебной. Но ее надо очищать, Я стар, это тяжело. Мне открылась готовая. Я знаю теперь, когда можно пойти и зачерпнуть целебную. Схожу к колодцу – и все. Надо только точно узнать диагноз. Иначе лечения не будет...

– Как же вы лечите:

– Не я лечу. Лечат планеты...

И снова слышится рассказ: "Я служил подводником. Потом работал токарем в депо. Через три года уже не мог стоять у станка, а мне было всего двадцать шесть лет. Пошёл в сторожа. Болели все суставы, кости. Словом, лучевая болезнь. Мать уговорила обратиться к Н. С. Я отмахивался, не верил – не излечимо же это! Наконец, согласился... Теперь мне двадцать восемь лет, чувствую себя нормально. Завтра улетаю в Армению..." Камера, слушая рассказ бывшего подводника Игоря Б., наблюдает, как мы с Н. С. играем у него дома в шахматы. Старик в чистой рубашке, чисто выбрит, как всегда, в очках с обломленной правой дужкой...

Во всём облике Н. С. чувствуется какая-то особенная чисто-плотность, чистоплотность не выхолненная, а органическая, деревенская, что ли... Ничего показного, только один глаз как-то странно прищуривается, возможно, после какой-то давнишней травмы, да мягкий, как бы чуть подтрунивающий надо всем голос, и манера эта тоже предельно естественная... Иногда вдруг прорывается нервность, краткая, словно укол, и в такие мгновения странный прищур глаза напоминал мне об истории Гётевского Фауста...

В шахматы старик играет простодушно, как ребёнок. Мается перед доской, трогает фигуры, обдумывая ход, чешет затылок теми руками, которые чувствуют чей-то голос, доносящийся из Вселенной... Утирает губы, волнуется, бормочет: "Ну, некуда сходить... Все фигуры спёрты в кучу... Совсем разучился, всё забыл, а раньше сильных обыгрывал..." И подтрунивает над собой, и явно хочет выигрывать, но утверждает, что выигрыш для него не главное, главное поиграть, азартен, и потому делает иногда рискованные, явно эмоциональные ходы... И сетует на неудачу, и говорит, что за игрой отдыхает. И рад, что подвернулся партнер... А я, наблюдая за его поведением, вспоминал его сеансы диагностирования, невольно думал: "С кем же я играю?" И мучался, когда не удавалось незаметно для него проиграть партию. И с облегчением подавал ему руку, поздравляя его с победой, а Н. С. напоминал: "А ещё хвастался, что на двадцатом ходу мне мат поставишь. Больше не будешь?..."

Иногда во время игры Н. С. вдруг глубоко утопал, будто слушал голоса тех, кто о нём рассказывал, и какое-то время дышал напряженно, как во время сеанса диагностирования, потом опять становился простодушным восьмидесятилетним стариком...

Случалось, что в паузах между ходами я давал волю воображению, и мне становилось жутковато от мысли, что сижу перед человеком, общающимся с какими-то неведомыми планетами, хотя сам Н. С. производит обратное впечатление... Рядом с ним да и во всей квартирке с печным отоплением, в которой всё хозяйство ведёт женщина лет пятидесяти Надя, некогда излеченная им от какого-то недуга, уютно, спокойно, словно в потоках мягкого струения теплого воздуха... И ощущение упорядоченности, не сразу осознающейся, – будто кто-то тихо шепчет тебе что-то, оглаживает чуткими руками, укладывая спать, как ребёнка, и хаоса дневных переживаний будто касается дыхание гармонии...

– Ну, хватит на сегодня, – говорит Н. С., вставая из-за шахматного столика. – Нам ещё с Надей надо на письма отвечать. Утром я сам уношу на почту, вечером почтальон приносит ещё больше... Не знаю, чего делать? Сил нет. А люди всё пишут, просят... Как откажешь?! Все болящие...

За окнами щитового домика облачный день сменила звездная весенняя ночь. Окна железнодорожного поселка почти во всех домах темные, только у Н. С. светятся то и дело за полночь: он и Надя разбирают почту, просматривают записи больных на завтрашний день: кто-то завтра придет впервые, кто-то на консультацию после курса лечения...

В северной деревне Елезовская морозное весеннее утро. В небе редкие звезды и вонзившийся в бездонность след реактивного самолета, с коротким, как у кометы, хвостом... Изба в деревенском доме: кровать с пирамидой взбитых подушек, этажерка с посудой, русская печь, на стенах киты с разными фотографиями, в том числе и Николая Семеновича – от мальчика до сержанта-связиста, прошедшего во время войны всю Европу, не подозревая за собой ничего особенного. Лишь однажды ранение комом земли от взрыва, оставившее след в области левого глаза... В иконном углу лампада перед иконами, не шедеврами иконописи, но давнишними, домашними, вжившимися в плоть избы, в старый уклад её жизни. Перед иконами лежат несколько свечек, давно не зажигававшихся, как и лампада. Иконный угол и киты с фотографиями оправлены вышитыми полотенцами, и всё это будто обмерло в забытии...

Уже давно Н. С. живёт километрах в ста от деревни, где родился, в железнодорожном поселке, в двухкомнатной квартирке, где икон не видно.

И это кажется странным, потому что в разговорах о том, как же он лечит, Н. С. неохотно и как бы уступая моему любопытству, признаётся: "Не знаю, что куда исчезает. Не моё это дело знать, куда девается болезнь... В общем, Святой Дух лечит, а я ничего больше не знаю..." И чувствуется, что Н. С. о чём-то умалчивает, будто боясь лишиться чего-то, и веришь его словам, и робость подкрадывается, и невольно оглядываешься на привычный уклад вещей – будто всё видится впервые и иначе, и будто кто-то смотрит на тебя: "Господи?! Что же это?.."

Ну, так что же у тебя болит, девушка? – спрашивает Н. С. у вновь приехавшей женщины средних лет. Слегка шутиливый голос прозвучит сначала за кадром.

– Ой, лучше сказать, что не болит, – болезненно отзывается пациентка.

– Ну, ладно. Я попробую сказать поточнее. А вы меня поправите, если не угадаю. Я ведь немного тронутый... А если угадаю, то вы подтвердите, – с простодушной усмешкой говорит Н. С., пододвигается чуть ближе и кладёт левую руку на затылок женщины... На мгновение он вдруг затихает и громко дышит. Потом неожиданно меняется и весело говорит, как бы подтрунивая над собой:

– Нет, сразу-то шибко серьезно не буду. Не смогу, не получится, стар стал, – и следит за реакцией пациентки. Та чуть улыбается, и Н. С., довольный этим, оживляется, поддерживая в ней хорошее настроение...

И на экране в это время появляются коридоры и кабинеты поликлиники, в которых люди проходят разного рода обследования: сдают баночки... кровь, меряют температуру, давление, а потом лаборатории, где все это хозяйство колбочек и пробирок медсестры подвергают процедуре анализов.

А за кадром будем слышать продолжение диалога:

– Давайте сначала попроще. Я вам сейчас давление померяю... сделаю анализ крови, – говорит Н. С., и опять испытывающе глядит на женщину. – Это для того, чтобы вы не сомневались, что я маленько кое-чего умею. Знаете свое давление? Меряли в больнице?..

– Знаю.

– Ну и я попробую узнать. Согласитесь ли со мной... – Н. С. кладет руку на вену, где обычно меряют давление врачи. Иногда где-то около виска. И секунд через пять говорит пациентке, какое давление должно

быть в ее возрасте, и какое на самом деле, в настоящую минуту... Потом, не убирая пальцев с вены, также в течение нескольких секунд делает анализ крови: эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, РОЭ и т. п. – и, словно читает по писаному. Сунув пальцы под мышку, тут же говорит температуру, и если надо – в течение десяти минут сам, или его ассистентка Н. Н. снимают ее. И можно тут же проверить это с помощью термометра: ошибки не будет.

– У вас малокровие. Ну, это я попутно, – говорит Н. С.

– Да вроде говорили в больнице, – соглашается женщина, затихая от удивления и надежды.

– Ну, давай, теперь посерьезней посмотрим... Так... Диагноз... Диагноз... – Когда Н. С. получает откуда-то ответ на диагноз, тело его чуть вздрагивает, как: бы от внутреннего толчка. Это хорошо видно. И начинается диагностирование. После многократного присутствия на приемах Н. С. логика диагностирования мне стала понятна без объяснения. Она проста, как таблица умножения, но этим еще более чудесна: кто? И где находится тот, у кого спрашивает Н. С.?

Получив отзыв на диагностирование, Н. С., как правило, прежде всего интересуется, есть ли заболевание нервной системы. Если слышит утвердительный ответ, начинает уточнять, какие конкретно отделы нервной системы дают о себе знать: центральная нервная система? Симпатическая? Вегетативная? И т. д. Тоже самое, когда полупшепчет: опухоли? радиация? инфекция? общее заболевание?... Если на опухоль идет отзыв, он уточняет: качественная или зло-качественная? И – следует толчок, в зависимости от характера опухоли. То же самое с любым другим органом тела: сердцем, почками, желудком...

– Ну-ко, зайдем к терапевту, – говорит Н. С., обследуя внутренние органы. – А теперь ж хирургу. – А ну-ка, еще раз к невропатологу.

И за несколько минут "обходит" все кабинеты. Найдя болящие места, опять вопрошает: "Лечение?... Лечение?.." И просит ассистентку Н. Н. записать, что и где должно лечиться. Как правило, точки лечения определяются на разных отделах позвоночника и коре головного мозга – центральном управлении человеческого организма. А поскольку диалог идет вселенский, то у меня невольно возникает мысль об аналогии устройства человека и космоса. Тут нечто фантастическое: если по диагнозу больной нуждается в диете, то Н. С. тут же может запросить все конкретные продукты, которые можно есть больному: – Хлеб? Хлеб?... Можно, только белый... Сухари?... – говорят он старухе,

у которой болезнь тонкого кишечника. – Картошка? Нет... нельзя. Каша, каша? – спрашивает он, ощупывал ее живот. – Можно, какую? Гречневая?... Манная?.. – Пшенная, – подсказываю я.

– Нет, пшеничную тоже нельзя... Рисовая? Рисовая? – опять спрашивает Он тяжело дыша. – Рисовая жидкая... лучше отвар рисовый... Ягоды?.. Черника?.. Нет. Брусника?.. Можно бруснику... – И так до деталей.

Старик продолжает сидеть около стола боком к пациенту. Левая рука ощупывает позвоночник, или другие части тела. На правую он облокачивается, приложив ладонь к виску /видно даже, что волосы на этом виске зачесаны неестественно вверх/, будто держит в руке телефонную трубку. И слушает, что в нее доносится от левой руки. Или откуда?... В особо сложных, запутанных ситуациях старик напряжен, просит тишины, углублен в себя и громко тяжело дышит, расшифровывая то, что доносится в "телефон", то ли из пространства, то ли изнутри его самого... И сразу осознаешь, что присутствуешь при вселенском общении кого-то с кем-то, и бессознательно тонешь в этой атмосфере, и в воздухе будто что-то неслышимо вибрирует, и, наблюдая, не замечаешь, что и сам начинаешь дышать также тяжело, как старик... Еще мгновение напряженного вслушивания и – вдруг все тело старика вздрагивает, словно от неожиданного ожога, или острого укола и даже покачивается на стуле. И голова Н. С. невольно втягивается в плечи. И лицо, как от ноющей зубной боли, ёжится от досады, сожаления. И даже раздражается, а из себя Н. С. выходит редко.

– Ой! – невольно вырывается у старика. – Почки. Почки какие больные! Нина, запиши: почки. Правая?.. Левая?.. Левая. Нина, а теперь возьми тетрадку, где у нас записаны все болезни почек... Чтобы мне не вспоминать названия их и не отвлекаться.

Нина открывает тетрадку, находит то, что просит Н. С. и начинает перечислять:

– Камни в протоках?

– Нет.

– ?

– Нет, далеко.

– ?

– Нет, вроде не это. Ну-ко, повтори еще раз...

Нина повторяет. Пауза. Старик зримо уходит в себя. И, очнувшись, говорит: – Нет, не то...

– Пиелонефрит.

– Ага, это ближе, – Н. С. заметно оживляется, опять вслушивается, держа левую руку в соответствующей точке тела /их, оказывается, несколько, в разных местах, сигнализирующих о состоянии здоровья одного и того же органа/.

– Повтори!

– Пиелонефрит!

– Так... Так. Точно. Это. Пиши: почки: пиелонефрит левой почки. Лечение... Написала слово "лечение"? – Н. С. то и дело уточняет, как надо запастись то или иное заболевание и лечение, причем запись должна быть точной: без помарок и исправлений, ибо это тоже важно. Н. С. раздражается, когда Нина ошибется в записи, ворчит: "Ну, ты все время отвлекаешься, не хочешь учиться по-настоящему делать. А мне надо начинать все сначала..." Нина хорошо знает этот мотив, и покорно замолкает.

– Написала: лечение... – Н. С., ощупав позвоночник, называет точки и способ лечения. При обычных заболеваниях – это приём его очищенной воды в течение месяца, примерно через день. В сложных – в сочетании с сеансами, которые проводит ассистентка, а он потом проверяет...

Таков в общих чертах процесс диагностирования. Реально же сеансы протекают с множеством нюансов, иногда в процессе диагностирования возникают краткие, но интересные диалоги между больным и Н. С., которые обогащают картину множеством житейских штрихов. Поэтому, прежде чем снимать сеансы диагностирования, необходимо дня два посидеть рядом, чтобы ощутить атмосферу происходящего, чтобы при съёмках не вмешиваться в процесс, а чувствовать его и помнить, что на глазах происходит нечто таинственное, что в маленькой комнатке с диваном, столом и запылившимся телевизором, на виду у притихшего больного и родственников, присутствует тайна мироздания, голос которой слышит и комментирует деревенский старик, заработавший себе пенсию техником на сельских радиоузлах, лишь на семьдесят первом году осознавший в себе дар...

Прекрасные северные реки Виледь и Вычегда – притоки Северной Двины – с крутыми берегами и широкими песчаными плесами. Деревни, рассыпанные около них, словно горсти семян. Идиллическая картина, если бы не ручьи, переполненные навозной жижей, несущиеся в речку, и уже даже в Виледи вода признана официально не пригодной для питья в сыром виде. Не говоря уж о Вычегде. На высоком берегу ее вот уже тридцать лет дымит чудовище, называемое целлюлозно-

бумажным комбинатом. В бывшей деревне Коряжма, ныне превратившейся в город, редкий день в воздухе не стоит вонь, в сравнении с которой даже запахи общественного туалета на автобусной остановке приносят облегчение. В ветреную погоду вонь эта разносится вокруг на десятки километров. Кроме этого, огромные лужи целлюлозных отходов затопили гектары соснового бора в километре от города. В Вычегду же уходят тысячи кубометров стоков, иногда совершенно не очищенных, и летом, случается до полудня, по поверхности воды плывут сплошь серые комья пены. Город такой же серый: блочный, пятиэтажный и от запаха будто заживо гниющий вместе с населением, среди которого множество клиентов Н. С. И еще особенно часто приезжают из Кировской области – из Кирово-Чепецка. С началом навигации Вычегду круглосуточно мутят буксиры, поставляя плоты леса в чрево комбината, и вода в реке будто мучается от перенапряжения, задыхается от потоков грязи. И это настроение кажется усиливает еще осколок разоренного Коряжемского монастыря, смотрящий на реку с высокого берега. И почему-то просится послушать на этих "пейзажах" рассказ Н. С. о секрете воды:

– ...Сначала-то я лечил только с помощью личных контактов. Ну, наподобие того, как зубы у рыбаков, или пятно у бабы свел с колена... А про воду узнал от одного полковника из Москвы, он тоже родом из наших мест. Так полковник этот все давал воду бабам....

Я все думал, как это он водой лечит?.. Брал воду, сидел перед ней и так и этак, смотрел стакан со всех сторон – ничего не находил, а потом как-то случайно стакан-то взял между ладоней... Что за чудо? Руки-то у меня задрожали. Я ино испужался, но держу, смотрю, что будет дальше... Тише, тише... Минут через десять руки утихли, успокоились...

Вот тут-то я и вспомнил о полковнике, и стал думать: не так ли и он готовил воду? Оказалось, что так, я много опытов провел, брал воду в разное время, из разных мест, всегда руки дрожали. И эту-то воду я стал давать больным вместо сеансов: диагноз поставлю, и не сам лично лечу, а даю воды. Постепенно все продумал и узнал, по сколько надо пить, когда и сколько времени. А потом проверял больных... Оказалось, что люди выздоравливали также, как и при личном общении со мной...

Дальше – больше. Очищать воду требовалось время и силы, а мне уж к восьмидесяти пошло. Тогда я и задумался опять – может, мне кто и подсказывал, не знаю, – /при этом Н. С. усмехается загадочно/, а не существует ли вообще готовая целительная вода? Опять случай /снова

усмешка/ помог. Как-то принес я воды из колодца, взял в руки, что бы очистить ее, а – руки-то молчат: Я еще раз обнял банку – не дрожат. Ну, думаю, слава Богу, я больше не "эксенс", хоть отдохну от людей – к тому времени-то ко мне уж многие ходили... Но на уме-то все-таки держу: как же так? было и не стало... В другой день опять принес воды, – опять руки затряслись... В чем дело? Вот тогда я и стал замечать и день, и час дня, в которые брал воду, чтобы узнать, когда же мои руки на нее не реагируют – а не реагируют, значит она уже целебная... Много, много раз брал, просил из разных областей привозить... А еще больше спрашивал и думал... Теперь точно знаю. Оказывается, целебная вода существует ежедневно, круглогодично, но для разных мест в разные часы дня... По всему земному шару... Но только колодезная! То есть из подземных источников... Речную или озерную надо обрабатывать, очищать. Теперь особенно – грязи столько... Может, она теперь вообще не годится, не знаю, не пробовал... Вот я хожу к колодцу, надираю, когда нужно, и даю... У кого обычные заболевания, тех эта вода и лечит, но только если я правильно поставлю диагноз...

– А рак? Радиация?...

– Эти нет... Для них нужна особая вода, я ее и теперь сам очищаю. А кроме того, рак одной водой не лечится, надо еще сеансы лично проводить...

О секрете особо целительной воды Н. С. уклоняется рассказывать. Чувствуется, что при этом вопросе ему неловко, и, преодолевая себя, он тихо выдавливает: "Не надо об этом. Пока рано..."

– А время, когда вода в вашем поселковом колодце целительная, вы кому-нибудь говорили?

– Нет... Нина вот знает, когда я скажу идти.

– А если кто-то случайно узнает, может ли он воспользоваться водой, минуя вас?...

Не знаю... Ведь надо сначала поставить точный диагноз и записаться на лечение, – объясняет Н. С., но как всегда чуточку уклончиво.

– Записаться у вас?

Не буду отвечать на этот вопрос, кажется, что в ответ Н. С. опять тихо усмехнется, в мыслях куда– то мгновенно слетав: "Планеты лечат!", и переведет разговор на что-нибудь житейское: "Не знаю, а только от рака-то я многих вылечил"...

Дар?... Несомненно... Но не будем навязывать определенной точки зрения на это явление...

Ныне покойный, а когда-то знаменитый на Севере хирург Василий Петрович Харитонов, друг Н. С., говорят, как-то сказал, что перед

концом все-таки появятся средства, с помощью которых будут и рак лечить. Н. С. в то время только начинал исцелять, и трудно сказать, что имел ввиду покойный хирург. Он же, узнав о способностях Н. С., дал ему для образования три книжки по гипнозу...

– Две-то я с интересом прочитал. Про Меснера опыты читал. Слыхал, в Вене был такой врач?.. – спрашивает меня Н. С. – две-то книжки я прочитал, понял, что у меня не гипноз. А третью-то только посмотрел немножко, и не стал... Вижу, там, как про Бога, так с подковыркою, а нет, так с хулой какой... Я ее сразу и отбросил в сторону...

После сеанса обследования Н. С. выходит – на кухню, устало садится на стул и, случается, ворчит, как обыкновенный старик: "Не знаю; чего делать? Не знаю... Весь устал. Вот опять без записи приехали, издалека, не откажешь же. А где мне сил-то взять!? И так каждый день, каждый день"... Нина готовит ему обед, молчит, чувствуя, что эта песня коснется и ее, и, действительно, Н. С. приворачивает:

– Вот ей хоть бы что... Мало ты жалеешь людей. – Нина с улыбкой возражает, но дает старику излиться. А он: "Вот вчера, надо отвечать на письма, а она говорит: ночь! надо отдыхать. А как отдыхать, когда люди ждут ответа?"

– Да я же пошутила, все равно ведь ответили всем. Вы же сегодня утром унесли на почту письма-то.

– Ответили, да разговору-то сколько было, – уже добродушно закругляет Н. С. А потом опять с огорчением затевает совершенно неожиданны для меня мотив:

– Вот ты, Н. И., скажи, куда мне с деньгами деваться? Вот что меня еще мучит.

– Да вам ведь лучше знать, – уклоняюсь я, а потом говорю: – газеты учат, что можно сдавать их в разные полезные фонды.

– Дураком посчитают в любой деревне, дура-а-аком, – не задумываясь, реагирует Н. С. – А я не хочу дураком-то. И так-ту маленько не хватает... Ведь какая штука: у меня тысяча людей перебивала. Я ведь никому ни словом про деньги-то не заикнулся. А дают: суют в карман, кладут на стол. Че делать? Деньги – это зло, я точно знаю, а куда деваться?.. А, главное, вот ведь что: ежели не возьмешь, а еще хуже, – который человек ни копейки не предложит и никакого угощения, так тот ведь и не лечится. Не идет лечение – а все тут. У меня об этом интересный случай был на опыте. Потом расскажу...

Да, да. Не идет, – Н. С. явно озадачен этим фактом, и не то чтобы в оправдание, но припоминает:

– Вот раньше в деревне, котенка в дом уносят, и хозяину обязательно хоть копеечку да кладут за котенка. А иначе, сколько не бери – все котятадохнут... Благодарность, что ли, надо как-то выразить?...

– Купцы раньше свои миллионы на храмы завещали, – припоминаю я, хотя чую, что своими вопросами Н. С. скорее испытывает меня. И ответ он будто знает. Но после купцов говорит:

– Да? У меня, конечно, не миллионы, – и замолкает в задумчивости. Тогда я пытаюсь "достать" его напоминанием о колодце:

– Знаете, если из колодца воду не черпать, он ведь заплесневеет, загниет...

– Да-а?... Не слышал сроду такого, – простодушно притворяется Н. С. – Не слышал... А мне-то ведь по улице походить охота, на свет божий поглядеть, на природу, по лесу походить... На рыбалку... А вот который год, изо дня в день только и спрашиваю: диагноз, диагноз... лечение...

Его уклончивость увлекает, не поймешь, что он думает на самом деле. Я припоминаю притчу из Евангелия о талантах, чтобы рассказать ему...

Но в дверь негромко стучат.

– Да, заходите, – отвечает Н. С. И в комнату робко входят три человека. Здравуются, оглядываются, топчутся в тесной прихожей, высматривая доктора... По возрасту вошедших догадываешься, что приехало, видать, целое семейство: молодые муж и жена, и старухамать. Или ребенок. Иногда по одиночке. И снова начинается...

На экране наплывом идет вереница кадров, сменяющих друг друга, в которых разные моменты обследования, разных людей, в разной обстановке /иногда Н. С. выезжает к тяжело больным/. И вздрагивающее тело Н. С., и слышится: "диагноз?... диагноз?... лечение...?" Иногда фразы из диалогов с болящими. И камера, наконец, показывает сеанс *заочного* диагностирования. Начинается он с очного обследования больного. Н. С. поставит диагноз "инфекция", что означает не заражение микро-бами, а наговор на человека. Порча... Это не бабушкины сказки – из десятка приходящих Н. С. у двух-трех обнаруживает именно инфекцию. Чаще всего это связано с половой жизнью. Если у человека инфекция давнишняя, у него может болеть все, что угодно: голова, руки, живот, мужчины зачастую с выпивкой... и т. п. Везде болит. Врачи лечат там, где болит: колют, облучают. Больному не легче, часто даже приобретаются

побочные заболевания. К примеру, радиация от частого облучения или рентгена. Н. С. ставит диагноз: инфекция. Как правило почти, это означает половую недостаточность у кого-то из супругов. Ситуация деликатная. Часто болеющие начинают возражать, особенно женщины:

– Не может быть?.. У нас с мужем все хорошо... да ведь у нас много детей...

– Это еще не доказательство /Н. С. то и дело вынужден доказывать, что беременность может происходить и при половой неудовлетворенности женщины. Приводит факты из жизни, из книг/, вот смотрите, – Н. С. кладет руку на затылочную часть, иногда в другом месте, и говорит: инфекция?.. инфекция!.. – и видно, как рука и тело его вздрагивают. – Видите, показывает, так что я поделаю?...

– Не знаю, не верю, – возражает женщина и в доказательство пускается невольно в откровенность: – У меня муж такой темпераментный... и я ... Нет, у нас с этим делом все хорошо...

– Нет, не хорошо. Он вас не удовлетворяет... простите. Не верите, так могу сейчас доказать. Мужа проверю...

– Его же нет, он далеко.

– А неважно, – устало отзывается Н. С. и, облокотившись на стол, сосредотачивается. – Я его сейчас найду сам... вы знаете его другие болезни?

– Кое-какие знаю точно...

– Ну, слушайте... Только возраст его назовите... Хорошо... Сначала я назову вам те болезни, о которых вы знаете, чтобы вы убедились, что не вру и про инфекцию.

Н. С. поворачивается к столу, кладет левую руку перед собой, правую как обычно прикладывает к виску, через несколько секунд тело его вздрагивает.

– Вот он, нашел. Да, это он.– И начинается диагностирование на расстоянии, – где бы мужчина названного возраста ни находился и что бы в этот момент ни делал. /Вообразим себе эту ситуацию! Так же, как в ситуации с моим другом./ Женщина постепенно затихает в изумлении, слушая, как Н. С. перечисляет болезни ее мужа, иногда и те, о которых не подозревала... После этого Н. С. спрашивает "инфекцию" и – вздрагивает. Но он продолжает: "Так. Инфекция. Где?"

Через секунду опять вздрагивает и добродушно смеется: "О!? Куда посадили... Хотите, скажу?" – спрашивает не обидно, по-стариковски... Женщина сдается, стесняется, молчит.

– Вот от этого у вас многое болит... На муже наговор, по-деревенски выражаясь... Скоро он с вами совсем спать перестанет.

– Да и теперь уж уклоняется, – признается жена.

– Ну, так. Но не все болезни от этого... А фиброма матки только из-за мужа. Надо записать на лечение его. Сниму с него инфекцию, а потом уж с вами...

А иногда и весь день Н. С. распутывает семейные и любовные интриги.

По признанию Н. С., от инфекции страдает и он сам. – Был случай, не мог дойти до своего дома от соседей, куда меня позвали для обследования тяжело больного...

Ноги подкашиваются, и все! Шагнуть не могу, ног не чувствую. Довели под руку. А теперь вот опять привязалось, – рассказывает Н. С. – Ночью сплю хорошо, просыпаюсь, тоже силу чувствую, встану, валенки надену, умоюсь, и весь ослаб... Искал, откуда это? Все предметы в доме проверил, чтобы найти, на что поставили заразу... Вот сегодня только обнаружил. Вместо валенок случайно сунул ноги в тапочки. Умылся, чувствую себя хорошо... Тут я вспомнил про валенки. Вот эти, в которых сижу.

– А инфекция как же?

– Так я ее снял. Водой опрыснул. – Н. С. встал и сходил за второй парой точно таких же черных валенок, как на ногах. Швырнул их на табуретку:

– Проклятые! На них тоже есть. Вот, смотри. – Он навел руки, как локатор, в сторону валенок, сосредоточился и – руки задрожали.

– Видишь! – Потом набрал в рот воды, как перед утюженьем, и прыснул. – Теперь все! Хотя одна капля попадет – достаточно. – И смеется:

– Для этой силы одной капли достаточно. Святого-то она боится...

Поздно вечером он и Нина опять садятся в маленькой комнатке, читают письма, пишут ответы. А утром Н. С. снова уносит их к почтовому ящику. И все начинается сначала...

+++

– Н. С., все-таки я не до конца понимаю, как и кто лечит? – Мы пьем на кухонке растворимый кофе.

– Так я же вам говорил, что не я лечу: лечат планеты. – И опять какая-то двусмысленность в интонации.

– А какие? Это можете сказать?..

– Могу. Только точно не назову, какие?... Не знаю, как они называется... Но не наши... То есть, те, которые находятся за

пределами солнечной системы. Только само солнце чуть действует. Давайте поставим опыт, – предлагает Н. С. и просит меня налить в стакан воды.

Я беру чистый стакан, зачерпываю ковшом из того ведра, в котором вода обыкновенная – очищенная в соседнем ведре – и ставлю стакан на кухонный стол. Н. С. берет его в ладони:

– Ну, теперь называй все планеты солнечной системы, какие знаешь, в любом порядке. И смотри за руками...

– Луна, – говорю я, плохо осознавая себя от изумления: не вмещается вселенная в воображение. Руки его молчат. – Венера... Марс... Юпитер... – Руки опять не шелохнулись.

– Ну, теперь давай назови солнце.

– Солнце, – повторяю я. – И вижу, как руки встрепенулись. Вздрагивание это нельзя сымитировать, настолько оно органично и похоже на вздрагивание при обследовании больных.

– А теперь, давай, я попрошу за пределами. – Н. С. на мгновение умолкает, и руки опять начинают вздрагивать, а вода, стало быть, на глазах превращается в исцеляющую.

– А где это за пределами-то? И что там?..

– А не знаю, – опять простодушно отзывается Н. С. Простодушно и загадочно одновременно. – Может, и не далеко.

Мыслью-то ведь не долго слетать туда и обратно... Она ведь со скоростью света летит, так хоть куда – везде но далеко...

В дверь опять робко постучали... Близился вечер. Меркнул дневной свет. Садилось солнце за лес, похожее на смятую ягоду малины... На небе стали проступать звезды, среди которых по хвосту Большой Медведицы пролетел искусственный спутник. Нарождалась Луна...



СОЛОВЕЦКИЙ СЛЕД

(документальная повесть)



2^й Макарий,
Самсонов отъезжа-
ет с отцом.
А. Маву.
Эта Карпачева
Маву.

Отголоски жизни Кучина Николая Ивановича, в иночестве иеромонаха Никифора, были у меня на слуху с раннего детства. По разного рода поводам о нём часто вспоминали в кругу родственников: он был старшим братом моего деда по материнской линии Кучина Михаила Ивановича, а я, стало быть, прихожусь ему внучатым племянником...

Правда, о том, что он брат моего деда, я узнал много позднее, потому что в семейных разговорах его называли дядей Николой и часто произносили при этом какие-то таинственные для детского слуха слова: монах, Соловки, келья,.. Архангельск,.. сожгли обоих... и ещё что-то про Сибирь и самокур,.. И все воспоминания всякий раз заканчивались охами, вздохами и невольными слезами, утираемыми втихомолку кончиками платков, а мать и тётка Фёкла, и бабушка Евгения Васильевна крестились... И при следующем упоминании дяди Николы опять всё повторялось тем же чином, разве что в другом составе тёток – родни по материнской линии было довольно много.

Будучи ребёнком, я в эти разговоры не очень-то вслушивался, слова запоминались мимоходом, когда вертелся около взрослых, занимаясь своими делами, но ощущение какой-то тайны с привкусом непонятной тревожности сохранилось в моей памяти до сих пор, и ощущение это почему-то всегда соседствует с воспоминанием о том, как меня крестили: со слов матери было мне тогда около года, а я помню, будто то ли стою, то ли сижу голенький в бочке с водой и надо мной возвышаются два каких-то огромных человека, в каких-то незнакомых разноцветных одеждах, тут же стоит мать, ещё кто-то, а эти двое что-то шепчут над моей головой и поливают из кружки водой и опять шепчут какие-то слова, и на этом воспоминание обрывается...

Много лет спустя, со слов матери я узнал, что крещение происходило в бараке лесопункта Нарчуг, где у нас была выгорожена маленькая комнатка, крестили тайком, а два великана, возвышавшиеся надо мной, были высланные из Западной Украины: священник отец Василий (стоит упомянуть, что и первым священником, с которым я встретился по возвращении к церковной жизни после долгого перерыва, оказался настоятель Серафимовского храмов Петербурге – тоже отец Василий) и дьякон, имени которого я не запомнил...

Они уехали из лесопункта в начале пятидесятых, после войны, а я пошел в начальную школу с маленьким крестиком на груди под рубашкой, поверх которой после первого класса мать же помогала повязывать пионерский галстук, старательно выглаженный ею же, и

крестила меня вслед при выходе из барака, а я пытался увернуться от этого и мучился, когда в школу приезжали из районной больницы давать таблетки от глистов, осматривать нас, заставляя раздеваться, а я иногда не успевал спрятать крестик и краснел, терзаясь: и перед учительницей стыдно, и матери жалко, и послушаться её не хотелось..

В связи с историей дяди Николы в детской памяти сохранилось ещё упоминание о каком-то старце Вениамине, которого тоже сожгли, а потом все эти сведения лет на двадцать выпали из моего сознания: по окончании сельской средней школы я в поисках светлого будущего, обещанного в 60-е года нашему поколению, отправился в Северную столицу – мне казалось, что это светлое будущее где-то там, в городах, а на лесопункте только мужики да бабы лес рубят...

Там меня, конечно, не ждали... В светлом будущем я довольно скоро усомнился и лет на двадцать отправился в вольное "философствование", и жизнь моя не раз повисала на волоске...

Но! Именно в эти годы скитаний я иногда почти физически ощущал, что будто кто-то стоит за моей спиной, чувствовал какую-то особую плотность воздуха, что позднее осозналось как действие чьей-то молитвы. Я так и думал: за меня кто-то молится...

В эти года я лишь изредка приезжал домой, в деревню Карино, куда родители перевезли дом после закрытия лесопункта, и скорей всего в эти же годы я узнал, и осознал, что с иеромонахом Никифором был убит и его старец архимандрит Вениамин. И с тех пор, когда подавал записки "О упокоении" поминал обоих как убиенных...

Упомянутые мною семейные разговоры вполне могли бы так и остаться семейными...

ОБЕТ

Однако, как говорила тётка Фекла, мы полагаем, а Бог располагает.

В 2007 году мне на глаза попал журнал "Русский паломник" №11-12 за 1995 год. Показал мне его иеромонах Христофор, родом из Подмосковья, который ныне подвижнически трудится над возобновлением церковной жизни в Вилегодском районе Архангельской области, в том числе и среди жителей той деревни – Карино, из которой был родом и иеромонах Никифор. Дядя Никола. Из статьи в журнале я узнал, что архимандрит Вениамин, последний настоятель Соловецкого монастыря, и иеромонах Никифор уже давно причислены к лику святых как преподобные новомученики. День их памяти установлен 17 апреля по новому стилю. Если об архимандрите

Вениамине в статье есть хоть какие-то сведения, то иеромонах Никифор только упоминается – Кучин... Поскольку теперь это уже история не только семейная, но и церковная, я решил, наконец, записать то, что рассказала мне мама, племянница о. Никифора.

Кроме этого в семейном альбоме сохранилось четыре фотографии разных лет обоих мучеников и ещё Соловецкий патерик, изданный в конце XIX- столетия, видимо, присланный в деревню с Соловков... Так же, как и архимандрит Вениамин, иеромонах Никифор родился в Архангельской области, только не в Шенкурском районе, а в Вилегодском – в деревне Карино, приблизительно около 1880 года или немного раньше... Семья Кучиных была довольно многодетной. Кроме него, Николая, старшего сына в семье, был ещё брат Михаил (мой дед по матери), сестра Фёкла, скончавшаяся пятнадцать лет назад, и ещё две сестры, видимо, младшие – обе были монахинями. Мирские имена их моя мама упоминала, но я, к сожалению, не запомнил. Известно только, что одна из них во время гонений на церковь вышла замуж, жила где-то под Архангельском и кончила жизнь умопомешательством. Судьба другой мне совершенно неизвестна, так как после монастыря жила она тоже где-то далеко от деревни... До замужества и сестра Фекла тоже была трудницей в одном из северных монастырей...

Была ещё сестра Текуса, о которой мне известно, что она под старость ушла к баптистам, о чем сокрушалась вся родня, и в последние годы, когда она приезжала в деревню из Коряжмы, скрепя сердце принимали её в своих домах...

Как видно, семья, в которой родился иеромонах Никифор, была глубоко религиозной, православной. Особенной набожностью отличалась мать Никифора Мария, моя прабабушка. Я не раз слышал, как моя мама говорила про неё:

У-у! Бабушка-то у нас была! Кроме духовенства да побирашек ни с кем не гостилась. Нищие да странники в избе не переводились: то один то другой, то ещё кто-нибудь греется, хотя особого богатства в дому и не было.

Все эти сведения накапливались в моей памяти в течение десятилетий, во время моих приездов в деревню Карино, и только когда мне предложили написать сценарий документального фильма о новомучениках, положив в основу сюжета семейную историю, я попросил маму вспомнить всё, что она знает. Было это незадолго до её

кончины в 1989 году... Мама тяжело болела, я жил с ней все лето, периодически делал обезболивающие уколы и, когда становилось ей легче, расспрашивал...

– О дяде Николе ты особо подробно Расскажи. Всё, что помнишь сама или слышала от кого. – просил я (сохраняю стиль рассказа, характерный для деревни). Как дядя Никола в монахах-то оказался?

– Да я уж тебе не раз говаривала, да вы нонче не шибко слушаете нас, – грустно попрекнула мать, помолчала, потом потихоньку разговорилась.

– А с вина всё началось, ещё задолго до переворота, до революции, по- вашему говоря... По воле Божьей, вот как оказался...

– А вино-то тут при чём? – осторожно подтолкнул я к продолжению рассказа.

– А ребенком лет десяти самокуру напился с товарищем. Нашли в гобце. К празднику какому-то самогону маленько запас был. Не знаю, чего им на ум взбрело, много ли выпили, не знаю, я ведь это со слов бабушки Марии рассказываю. Меня самой-то тогда ещё и в помине не было... Ну вот, напился, и оба с вина-то и загорели... Худо обоим стало, заумирали. Но товарищ-то быстро отошел, оклемался быстро, а Николу-то никак не могли выходить – и молоком поили, травы какой-то заваривали и всяко отваживали, ничего не помогало... Вот тогда бабушка Мария и дала обет – она у нас шибко набожная была, только со священниками да побирашками и гостилась. Говорит: ежели выживет Николай, так отправим его в Соловецкий монастырь, когда в возраст войдёт. Ну, так и вышло, выжил Никола. Когда по возрасту стало можно брать в монастырь, он и уплыл на Соловки, трудником, на монастырь поработать по обету бабушки... Тогда из нашей деревни много ходило народу туда. Обе тетки мои монашенками были, да и крестная моя, Феклушка-то, тоже до замужества была трудницей, чуть ли не там же. Ну, а потом это разоренье-то пошло, погнали всех... Ну, бабушка-то и поплакала за ту тетку, которая из монахинь-то замуж вышла, с коленок не вставала, молилась за нее...

– А дядя Никола что?

– А он до самой армии и жил на Соловках, не знаю, сколько годов, а потом подошел возраст на царскую службу, его и призвали в армию... Из армии-то от него фотокарточка была; баской такой парень, русоволосый, с погонами, видно, что крепкий был... После службы в армии он воротился в деревню, пожил немного тут у нас, дом-то у тяти тогда на угоре стоял, это теперь его сюда перевезли, – мать показала

рукой на окно, из которого был виден дом моего деда, её тяти, как она говорила, и продолжала:

Пожил недолго и говорит, что в деревне ему не живется. И поехал по белу свету: и в Сибири, говорят, везде поездил, из разных мест письма посылал, и ещё Бог знает где бывал, опять в деревню воротился и говорит тятё: ты, мол, Михайло, оставайся здесь за старшего в хозяйстве, всё тут твоё, мне ничего не надо. Нигде мне не глянется жить, везде побывал, посмотрел – нигде лучше Соловков нету. Я поеду обратно в монастырь проситься... Ну, вот с тех пор мы его и не видели. Только, говорят, с начала весточки были... Не могу точно сказать, много ли лет он жил на Соловках... Ну, а потом это-то разоренье везде пошло. Мне уж тогда самой было лет пятнадцать, в девках ходила, уж на лесопункт гоняли в Нарчугу, лес рубить да на сплав каждую весну... А когда слух пошел, что Соловки закрывают, монастырь Соловецкий, дядя Никола прислал к нам в деревню, тятё, письмо. Спрашивал, нельзя ли как-то устроиться жить в деревне, где-нибудь, хоть в баньке. В этом же письме написал, что если можно, то он приедет не один, а с каким-то старцем, у которого он давно служит, а старец этот, вроде как по имени Вениамин, главный, чуть ли в монастыре, архимандрит, – мать по неграмотности споткнулась, выговаривая слово "архимандрит". И в этом же письме была и фотокарточка – сходи-ко потом к Шуре (это моя двоюродная сестра, тоже внучатая племянница иеромонаха Никифора), у неё в доме эта карточка-то, на ней оба они сфотографированы...

Тятя на это письмо ответил, что ежели один, то приезжай, как родственник, вдвоём нельзя, потому что теперь и здесь в деревне за веру Христову преследуют. А дядя Никола в ответ коротенькое письмецо послал, что без старца он не поедет, никогда не бросит его, и сказал, пойдут они вместе куда-нибудь под Архангельск, что он теперь иеромонах Никифор... На этой весточке ниточка и оборвалась...

Потом пошел слух, что вместе с дядей Николаем на Соловках был отец Модест. Он потом был священником в Вилегодске, так тятя после войны ездил к нему спрашивать. Оказалось, что о. Модест монашествовал не на Соловках, а в Лузе, потом был долго в заключении, с иеромонахом Никифором не встречался. Я у отца-то Модеста, не раз исповедовалась в Вилегодске, – добавила мать и надолго замолчала.

– Мама, а я слышал, вроде сожгли...

– А Бог знает. После последнего письма-то уж поди не один год прошел, опять пошёл слух, что будто бы ночью к ним со старцем какие-то высевлонцы (что-то вроде разбойников) нажились, денег да золота требовали, ночью. Ну, ате говорят, что монахи мы, нам никаких денег не полагается, да и откуда? Избушка одна, всё на виду. Не поверили, всё перерыли, не нашли ничего. Заперли их в кельечке где-то да и подожгли обоих. А место только что где-то под Архангельском... Вот и вся история...

Мать вздохнула и, перекрестившись, затихла. Потом, спохватившись, добавила:

Да, вот ещё чё вспомнилось... Будто бы когда грабить-то их пришли, дядя Никола-то был на улице, около избушки, самовар сапогом раздувал. Так к нему, видать, первому подступили, а старец-то Вениамин будто бы в келье был, лежал. Так ли было, а только слух, помню, был такой... Мать опять затихла, пожаловалась на боль и усталость и вскоре ушла насовсем...

После похорон я отыскал в семейном альбоме моей двоюродной сестры Шуры и те фотографии, о которых говорила мама. Их оказалось четыре: на одной из них дядя Николай ещё в форме какого-то царского полка, на другой

уже иеромонах Никифор, очень похожий на всю родню по матери, в том числе и на меня; на третьей – в полный рост и в монашеском облачении, скорей всего архимандрит Вениамин в возрасте лет сорока, судя по фотографии, опубликованной в "Русском паломнике" за 1995 год. Наконец, начетвёртой – они оба, снятые по пояс на фоне какого-то деревянного строения из бруса, вполне возможно, на фоне той избушки, где они жили последние годы после ухода с Соловков. Тут видна разница в возрасте: Никифор лет пятидесяти (что примерно соответствует предполагаемой дате его рождения), архимандрит Вениамин значительно старше, с особенным крестом на груди (возможно, игуменским), седой... На обороте этой фотокарточки аккуратным крупным почерком написано (воспроизвожу подлинник); "2-й на карточке со мной тотъ старецъ с которым я живу. Эта карточка маме".

Это всё, что сохранилось в семейных кругах. Я думал, точка. Оказалось – многоточие.

Как выяснилось позднее, об этой соловецкой истории известно гораздо больше. Но это уж особая глава, связанная с намерением снять кинофильм о новомучениках.

ПУТИ...

Продолжение рассказа об истории жизни архимандрита Вениамина и иеромонаха Никифора, о том, что не сохранилось в семейном предании, я вынужден начать с повторения всем известной истины о неисповедимости путей Господних. Поскольку в данном случае на путях этих, приведших в конце концов к получению сведений о последних днях жизни соловецких монахов, пересеклось множество разных событий и людей, живших до этого вразных местах России и не ведавших друг о друге, я буду рассказывать о них практически "телеграфно", лишь с внешней стороны, тем более, что некоторые события примыкают к сути дела лишь косвенно...

Отпевал маму иерей Николай Емельянов. Родом он из Москвы, выпускник механико-математического факультета МГУ, из профессорской семьи, сам отец большого семейства, на тот момент в возрасте лет сорока... Священнический сан принял в 1986 году и был направлен служить в село Вилегодское, в Богоявленскую церковь, единственную во всём районе, которая не закрывалась в советские годы. Храм этот в двадцати километрах от деревни Карино, куда он периодически приезжал по требам и всегда останавливался в нашем домике: как потом он сказал мне, что Лидию Михайловну (мою мать) будет поминать, пока жив... Говоря "о путях", не могу не упомянуть о 12 рублях...

Где-то в середине сентября, когда я жил в деревне, ухаживал за больной мамой, отец Николай приехал туда по требе: несколько старушек просили соборовать их, потом были крестины маленьких детей, потом приносили записки на поминание в храме, и всё это происходило в нашем домике, и я невольно оказался кассиром. К концу дня я отдал всю выручку священнику, и он уехал в Вилегодск, а вечером я обнаружил, что каким-то образом на столе затерялось ещё 12 рублей... Надо сказать, что в то время связь между деревнями была непростая: телефон то работал, то не работал, автобуса из Карино на Вилегодск не было, только с пересадками, и эти 12 рублей терзали меня каждый день, как заноза: это же не просто деньги, а церковные деньги... Наконец, я не выдержал и решил обязательно позвониться. Позвонился...

Батюшка, у меня тут деньги, которые я не передал вам после соборования. Не понимаю, как они затерялись. Замучили меня, как бы передать?

Отец Николай рассмеялся, успокоил меня, а потом спросил:

А как себя чувствует Лидия Михайловна?

Тяжело, отец Николай. Наверное, недолго...Было это в последний день сентября...

Я завтра поеду в район и по пути заеду к вам. Возьму с собой всё, что надо... Причастимся...

Хорошо бы... Я сам об этом думал, да стеснялся звонить вам. Если бы неэти 12 рублей, не позвонил бы сегодня...

Отец Николай приехал, как обещал.

Ой, батюшка... А я давно думаю про вас – тихим, обрадованным голосом сказала мать, когда отец Николай её окликнул. – Умру, думаю, без причастия.

Он подсел к ней на край кровати, я вышел из избы. Заплакал...А через два дня мама скончалась...

Знакомство с отцом Николаем, как оказалось, было первым шагом по следам Соловецкой истории...

Где-то около 1980 года после окончания ВГИКа на киностудию "Леннаучфильм" приехал молодой кинорежиссёр Дмитрий Д., с которым я довольно скоро подружился, и он, можно сказать, вернул меня в Православие из вольного философствования... Вместе с ним и кинооператором Сергеем Л. мы сняли несколько документальных короткометражек, для которых я написал сценарии, и ещё фильм "День поминовения" об истории Валаамского монастыря, получивший на первом кинофестивале православных фильмов (Москва, 1989 год) приз "за оригинальное решение монастырской темы".

После Валаама Дмитрий Д. предложил мне поработать над сценарием о новомучениках – тема, которую мне надо было осваивать практически заново, но я рассказал ему семейную историю об иеромонахе Никифоре и архимандрите Вениамине. И ещё упомянул об отце Модесте, хоть косвенно, но причастном к истории иеромонаха Никифора, и протоиерее Николае из Москвы и ещё кое-что присказал. Сюжет режиссёру понравился, он попросил всё это записать в сценарной форме под условным названием "Венец" для официального утверждения киностудией и финансирования. Мы так и сделали. Было это в 1988 году.

А снимать поедem на студийном автобусе. По следам твоей семейной истории. А дальше будем ориентироваться по ходу дела. Как Бог даст...

Но в этом же 1988 году скончался мой отец Иван Ильич, а в октябре следующего года и мама, которая, как предполагалось, должна была в фильме рассказывать историю дяди Николы... И в Ленинград я вернулся

только в ноябре месяце. Понятно, в каком состоянии. Погоревали мы вместе с Димой Д., но съемочную группу собрали...

Николай Иванович, все равно поедем по следам твоего дяди. К отцу Николаю... Тоже интересно: москвич, сын профессора... Чего-нибудь да даст Бог...

И в начале декабря мы приехали на своём полухолодном ПАЗике в деревню Карино, кое-что сняли и отправились в Вилегодское...

Отец Николай, узнав, о чем мы снимаем фильм, сразу же сказал, что нам надо обязательно поехать в Лузу, это недалеко от Котласа, к архимандриту Модесту. Он много знает на эту тему, сам отсидел где-то на Мурманке лет десять, лес рубил, зимой у костра под открытым небом спали. Говорит, я только молитвой тогда согревался. У него ещё друг есть по лагерю, откуда-то с Украины, старец Парфений, вместе они сидели... А Модест сейчас в Лузе, храм восстанавливает, разрешили... Правда, он не очень-то жалуется незнакомых, большевиков побаивается, – отец Николай усмехнулся. – Но вы скажите, что от меня, я дам вам точный адрес...

Простите, батюшка, это не тот ли отец Модест, к которому после войны ездил мой дед спрашивать об иеромонахе Никифоре? Мама его тоже знала...

Да, тот.

А вы откуда его знаете?

Так он же готовил меня к рукоположению в священники...

Вот те раз!? Как же это? Вы москвич, он в Лузе, тысяча вёрст...

Так пути Господни! Долго рассказывать.

Вы хотя бы кратко расскажите, как же в данном случае выглядят эти Пути?

Если кратко, то было так... После окончания МГУ я работал в одном московском НИИ зав. сектором и одновременно служил алтарником в храме Пимена Великого... Официально служил, мне тогда было двадцать пять... А в Псковской епархии у меня был знакомый священник, я к нему частенько ездил, которого по каким-то причинам перевели служить в Архангельскую епархию, в Великий Устюг... А в Великом Устюге жил тогда отец Модест, он уже был выведен за штат. Восстанавливал очередной храм на Севере. К слову сказать, после заключения отец Модест, вся его жизнь, состояла в восстановлении разрушенных храмов: как только начнут служить в храме, его переводят на восстановление другого... Больше десятка храмов теперь

восстановлено по Северу его трудами... Так вот, возвращаюсь к Пулям Господним...

Известный мне псковский священник, естественно, познакомился в Устюге с отцом Модестом, а когда я приехал к нему, он и меня познакомил... Я несколько раз приезжал, отец Модест со мной беседовал, я же всё-таки алтарником служил, и в очередной мой приезд из Москвы сказал, что в Котласе сейчас епископ Архангельский и Мурманский Исидор:

Давай, поедem к нему. Это недалеко, – предложил отец Модест. Поехали, он представил меня епископу. Тот долго со мной беседовал,

пригласил съездить вместе в Вельск, ещё один небольшой городок в Архангельской области, и там предложил мне рукоположение в священство... Во дьяконы меня рукополагали недалеко от Сыктывкара, владыка увез подальше от начальства из управления церковью, там возражали: как же, сотрудник НИИ в религию... Дьяконом я полтора года служил в Хибинах, а после принятия сана священника меня направили сюда, в Вилегодск, и здесь яс 1985 года... Вот такие «пути» в моем случае. Так что – поезжайте...

В ЛУГЕ

В Лугу мы приехали в середине декабря в тридцатиградусный мороз.

В этом большом селе из множества деревянных домиков, разбросанных побольшему пространству, с улочками и закоулками, в такой мороз не просто было встретить живого человека – только дымки над трубами – чтобы узнать нужную улицу. Храм был закрыт, его-то мы быстро усмотрели... После полудня, наконец, нашли и улицу, и дом. Маленький деревянный домик. Но он был наглухо закрыт. И мы часа два прыгали на морозе вокруг своего выстывшего автобуса под окнами этого домика, гадая, где же теперь искать архимандрита Модеста... Кто-то из прохожих подтвердил, что тут действительно живёт какой-то монах, но хозяйка этого домика женщина, кажется, Людмила. Ждите, она придёт...

Наконец, хозяйка появилась, мы к ней нижайше:

Здравствуйте, Людмила, мы вот кино,... Ленинград,... нам сказали, что здесь живёт отец Модест..

Кто это вам сказал? – женщина подозрительно прострелила нас взглядом, открыла входную дверь и наглухо заперла её изнутри. И в домике опять восстановилась глубокая тишина.

Да вы нас послушайте, Людмила...

И мы опять остались на морозе подпрыгивать примерно на полчаса...

Наконец за дверью послышались шаги.

Кто вам адрес дал этот? – спросила Людмила.

Так мы же вам говорили: отец Николай из Вилегодска...

Шаги опять удалились куда-то вглубь домика, а потом за дверью щелкнуло, и она приотворилась, и мы вдвоём бочком и робко втянулись на запах тепла, а вслед и ещё трое наших оказались в прихожей погреться...

В одной из маленьких комнаток, боком к столу, перед иконным углом, сидел пожилой монах в рясе, кажется, и в епитрахили почему-то...

Туго проходило знакомство, долго шли расспросы, что да как, да почему, пока Людмила, всё время стоявшая на страже у нас за спиной, пошла ставить чайник... Оказалось, что о.Модест рассматривал нас в окно, пока мы на морозе припрыгивали около автобуса...

ОТЕЦ МОДЕСТ

В Луге мы жили два дня, ночуя в стареньком деревянном доме приезжих. Архимандрит Модест внимательно приглядывался к нам, прежде чем согласился рассказать о себе перед микрофоном и кинокамерой. При пересказе этого разговора я полагаюсь отчасти на сохранившиеся расшифровки записи на магнитной ленте и на то, что сохранилось в памяти...

...Батюшка, а вот я от своих тёток и от мамы слышал, что вы тоже были на Соловках, и они полагали, что вы могли знать и иеромонаха Никифора.

Нет, дорогие мои. На Соловках я не бывал тогда... я был послушником в Лальске, здесь вот. С десяти лет меня отец увез из деревни, босиком даже, потому что мы так жили бедно. Отец у меня на войне был, на гражданской, а пришел да два года болел, раненый пришел. А меня ведь надо кормить, да главное-то не кормить, а одеть, чтобы я ходил в школу, а школа-то далеко была от нас, одна на несколько деревень, так я поэтому и остался неучёным совсем, только полтора класса отходил. Правда, мужики говорили: "Ой, учить бы этого парня!" Удивлялись, башковитой, говорили. Так мне пришлось самоумком доходить до всего. А мне так хотелось постигнуть все Священное Писание и службу, и устав церковный... Самоучкой пришлось. Ученьем мне нельзя похвастать, а чему научился потом, так

всё приписываю я милости Божьей. Не стыдно мне сказать, что я с хорошими священниками могу разговаривать и закон Божий, Ветхий и Новый завет могу рассказать. Вот так, к слову сказать...

Простите, батюшка, вы сказали, отец увёз...

Не сам отец, у нас своей лошади не было, одна корова была, да и ту с матерью каждую весну верёвками поднимали, встать сама не могла, сена-то было мало... Ну, так вот, отец отправил меня с мужиками, они на ярмарку ехали, завалили меня сеном и увезли сюда, в Лальск, в монастырь. А в монастырь-то уже не принимали, в 1926 году было, разгонять начинали... И в монастыре осталось только уже двенадцать монахов, да и то жили они в складе под церковью, дом у них был уже отобран... А мне они сказали, раз отец привёз, возмём тебя: полезай, говорят, на печь да спи, а если затоскуешь, так домой-то дорогу знаешь? Знаю, говорю, убежу! А какое домой... Мне тут хотелось остаться. Вот тут у них я два года и прожил... А потом монастырь закрыли совсем, меня взяли в собор кадило подавать, алтарнику помогать, полы мыть, печи топить... А в свободное время я всё на книгах сидел, выше-то я говорил про Священное Писание и прочее. Читать-то я умел. А потом я ещё в разных других церквях жил, у пустынников тоже, там, там и там, где придётся да понравится. Так вот я скитался до тридцать второго году. А в 1932 году, мне уж было шестнадцать лет, духовенство начали забирать на высылку. Украинцев привозили сюда множество, на Печору: и их и наших, кого на три, кого на пять лет, свободная высылка была. Ну, и меня прихватили...

А вас-то за что, отец Модест?

На допрос увезли в Котлас. Редькин какой-то, оперуполномоченный ГПУ ли НКВД, забыл. Увезли, раз с духовенством знался.

А духовенство будто бы агитировало народ против колхозов. Взяли меня ночью, я в то время у одной старушки жил. в два часа, да и опять босиком, весной, да весна-то ранняя была да холодная. Посадили меня в барак, и ночей пять сидел я без хлеба и воды... На допросе-то я еле жив да ещё пока вели, слякоть на улице, холодно, так когда меня привели к следователю, с меня лужа воды набежала на полу, я за стол держуся, стою. Так следователь говорит: "Ты что, заболел?" "Не, говорю, только замёрз шибко". Наверно, хороший мужик попался, может, у самого дети такие же оборванцы, как я. "Не могу, говорит, я тебя допрашивать", – и ушел. А потом пришли двое каких-то, левольверы на стол, а я между ними, и говорят: "Мы тебя в тюрьму посадим, рассказывай, сколько у

отца лошадей, сколько коров, сколько десятин земли?" Они, видать, приезжие были, ничего не знали про моего отца... "Что такое десятины, не знаю, а корова одна, а лошади не было..." Они не верят. "Так позвоните, говорю, в сельсовет за рекой Куровайко. А тюрьмы не боюсь, хоть отогреюсь там, да и кусок хлеба дадут..." Отпустили меня и велели идти ночевать в деревню, рядом с Котласом, а утром снова на допрос явиться к девяти... А мне один мужик, к которому я попросился ночевать, узнал, в чем дело, и говорит: "Хоть и велели тебе завтра прийти, ты не ходи. Они с твоим отцом спишутся, а раз отец у тебя на религиозную тему косо смотрит, так он согласится на всё, что скажут, а скажут они, чтобы забрать тебя в колонию, как сироту и бродягу, будут кормить и поить, чтобы тебя от попов отучить и от церкви..." Так и сделал я, сбежал. "Благослови, говорю, Христос, помолился, большим крестом себя осенил, чтобы не догнали, и пошел по шпалам от Котласа к дому, босиком да ещё от голоду шатает, а идтиверст сто, и боюсь на мужиков нарваться, чтобы не вернули. У одной только старушки, на огород вышла из маленького домика с краю деревеньки, спросил: «Бабушка, дай мне кусочек, Христа ради». Она вынесла хлебца да две картошки. Узнал я цену этому хлебушку»...

Батюшка, а когда вас на Мурманку-то?

Перед этим я ещё в Устюге послужил, узнал, что там нужен был псаломщик, уж петь научился, ну, опять и полы мыл, да ещё звонарем, печки тоже... Никакой платы не было, а только кормили, да по праздникам побирался, кто картошку, кто хлеб, а то и пирога давали, а что оставалось, на сухари... Три раза в год мне разрешалось собирать: на Рождество, на Пасху и на Престольный праздник... Еще у монахов лальских побывал, которые меня учили АБВГД... Они служили только по приходам, кто где. А в 1937 начали всех замечать: всё духовенство забрали, со всего района, 150 человек. Всех увезли в Устюг, в собор монастыря Михаила Архангела: в нём с 1925 года тюрьма была.

В Устюге мы просидели два месяца! Хорошо было, большую камеру дали. Верхнюю церковь. Просторно, высоко. Воздуху много. Мы ещё не работали, авсе-таки кормили нас, слава Богу...

Мне до сих пор помнится, что об этих двух месяцах отец Модест, тогда ещё послушник Андрей Мелентьев, рассказывал с заметным почти удовольствием: дескать, хоть и в тюрьме мы сидели, да все-таки в храме и просторно, и воздуху много, да ещё еду давали...

— А потом что?

– Ну, а после нам зачитали постановление особой тройки. Нас заочно судила областная тройка. Её решения-то мы и ждали два месяца...

Всем дали КРЭ, КРА, КРД.

– Это что такое?

Контрреволюционный элемент, контрреволюционная деятельность, контрреволюционная агитация... Всем по десять лет. Кое-кто падал в обморок, а большинство нет, спокойно... Расписались мы за то, что услышали, а когда река замёрзла, в аккурат было в Рождественский пост, вот в это же время, как сейчас вам рассказываю, погнали нас в Котлас на станцию, это за Северной Двиной. Погнали по льду-то россыпью, лёд ещё качался под ногами... В Котласе уж в тюремном бараке три дня, а оттуда пошли грузиться в телячьи вагоны. Грузовые. По пятьдесят человек в каждом, на нарах, и обязательно человек десять жуликов, уголовниками нас разбавляли. Так же после и в лагере было... Ну, вот и поехали на Мурманку: шестьсот грамм тюремный паёк да щепотку камсы, мелкая такая рыбешка, солонущая! Так её мало кто и брал, а то без воды-то, лучше уж поголоднее... В этой дороге-то я иподружился с отцом Парфением. Я-то худой был, хилый, а он мужик здоровый, крепкий монах, всё умел, так весь срок меня поддерживал... А поподробнее хотите узнать, как в лагерях жилось, так некоторые писатели, говорят, описали это и без меня... А мы давайте-ко передохнём, чайку попьём. А после я коротенько ещё повспоминаю. Настасья, поставь-ко на плиту чайник побольше да кружек, какие есть, штук пяток... Мне ведь уже семьдесят пятый.

Работавшая при храме пожилая женщина расторопно налила воды из ведра, подбросила в топившуюся печку дров, поставила на стол разные кружки, тарелку с сухариками: "Сейчас, батюшка, живо подогреется..."

Мы перезарядили магнитофонную кассету...

– Вот так, ребяташки, и приехали мы на Медвежью гору, лес рубить, – сказал отец Модест, допивая свою чашку чаю. – Это за Кандалакшей. Там даже и барakov нет. Прямо на снегу были поставлены на каркасах палатки, нары сплошные из круглых жердей в два этажа, не всяк и запрыгнет, и по двести человек в каждой палатке – и две буржуйки круглые на всех. А, главное, палатки все дырявые, можно звезды считать... Лежим, кто в чем прибыл, котомочки под головами, втесную,

а как бок околеет, друг-дружку спрашиваем: ребята, может, на другой бок повернемся, по одному-то никак, коленки тычутся... Бывало пробудимся утром, будили в четыре часа утра, а на нас снегу намело. И свету никакого, так что "завтракали" в потёмках, на ощупь... А потом по четверо в ряд и в лес: охрана вся в черном, с собаками, шаг вправо, шаг влево... Враги народа! Так мы ходили, держась друг за друга, чтобы кто не качнулся влево-вправо. Ведь и старики были да слабые все... Вечером суп-чечевица пол-литра, мороженая картошечка нечищенная, мелкая-мелкая... А главное, что посуду надо было свою, так у кого не было, по очереди ждали... Ой, сейчас вспоминать не можется, а одежда вымокнет, сушить на себе, пока сам теплый... Так это ещё ничего: вот когда довоенную дорогу строили в Финскую войну, надо было протоку-речку замостить, так и без палаток, только у костров, на ветках еловых ночевали. Скалу взрывали, а мы обматывали руки тряпками и таскали камни в воду...

Слушая отца Модеста, я не раз замечал удивленные переглядывания моих коллег по киногруппе и молодого тогда кинорежиссера Дмитрия Д., будто говоривших: "Немыслимо. Не может быть. Неужели так было?" Меня это не так потрясало: в аналогичных условиях рубили лес мои покойные родители и большинство лесопунктовских мужиков и баб, когда их сезонно, зимой и весной, гоняли на заготовку леса по разнарядке колхозов. И спали они тоже вповалку на сплошных нарах, часто и промокшую одежду сушили под собой, потому что у печки места не хватало – хомуты для лошадей сушили прежде всего. Правда, все-таки в бараке, и котелки были свои, ну, и без овчарок с охранниками... И тем не менее иногда мне было неловко подталкивать отца Модеста к продолжению рассказа. И все-таки...

Вы уж простите нас, батюшка, за... Ещё немножко... А к духовенству было какое-то особое отношение? Вот вы говорили, что вас обязательно развлекали жуликами, уголовными?

Нет, жулики нас особо не трогали: так, когда отберут, что получше. Своруют, у кого что припасено... А что мы молились, так понасмеются одну недельку, а потом и перестанут. Даже уважать будут... А от начальства особенного притеснения не было. Нас не били... Говорят, по другим районам на допросах ножкой от стула били, рассказывали священники. Только остригли всех...

– А как, где молились?

Так, по два человека уйдём за барак в лес, молитвы читаем. Или где картошку хранили, не заперто, туда уйдём... Если захватят, так только разгонят. Мы вот с дьяконом Иваном Федоровичем на пару и в тюрьме служили, только лёжа, не то, что под одеялом, а подо что-нибудь пододенемся... Под тряпки какие... Надо сказать, что нам ничего не выдавалось, не только что матрац. Все годы ничего. Под голову принесем полено дров, так каждую ночь обыск: найдут полено, акт напишут – значит, найдено холодное оружие. Холодное оружие – полено дров!

Вы вначале сказали, что в Устюге всего духовенства взяли сто пятьдесят человек. Не знаете ли, сколько вас уцелело?

Знаю. Это я уточнил, когда после освобождения служил в Селянах и Вилегодске... Отец Парфений, мой друг по лагерю, как мы освободились в 1945 году, служил в Вилегодке, а я в Селянах. Потом он уехал к себе на Украину, я стал на его место в Вилегодске... Узнал: вышли только пять! Да. Из ста пятидесяти только пять человек!

Да, да, да... не ослышались вы. Пятеро. И то парализованы, никуда не гожи. Кто-то служил маленько, с язвами да с болезнями, пенсии так и не заслужили, умерли. Вот только до таких годов, всё ещё жив...

Отец Модест рассмеялся хриплым, старческим голосом.

И на этом всплеске как-то невольно мелькнувшего облегчения, отвечая на мой последний вопрос, вспомнил, что к нему, когда он служил в Вилегодске, действительно приходил какой-то старик и спрашивал о своём брате Никифоре, даже причастил нас в восстанавливаемом им храме после воскресной литургии. А в проповеди сурово напомнил своим лальским прихожанам, как они по кирпичикам да по бревнышкам растаскивали этот вот храм на свои нужды, и те, присмиревшие, слушали, иногда покаянно вздыхали, иногда тихонько оправдывались: дескать, время-то какое было, а он в ответ: "Ну, а теперь вот, братие, дорогие мои бабоньки, давайте собирать всё заново, кто чем может..."

И на прощанье, немного посомневавшись, как будто что-то преодолевая, сказал нам: "Вот, про себя я всё рассказал, что знаю и испытал, и про моего друга Парфения тоже кое-что вспомнил, – и опять в чем-то посомневавшись, добавил: – А если вы такую тему взяли, так к отцу Парфению обязательно съездите. Вот даю вам его адрес на Украине, под городом Овручем есть маленькая деревенька, по нашему говоря, деревеньку точно не помню, там спросите Парфения у православных людей..."

В ОВРУЧЕ

С этим напутствием, довольные поездкой и снятым материалом, мы вернулись в Ленинград и числа двадцатого декабря запланировали поездку в Овруч, а там искать какую-то деревеньку и отца Парфения, друга отца Модеста... И тут опять, как не вспомнить Пути...

За несколько дней до нашего отъезда в Овруч нам позвонил иеромонах Роман, песни которого мы использовали в фильме о Валааме "День поминовения". С какой-то просьбой. Он тогда жил в Кярово и между делом сказал, что собирается на Украину, что его духовный отец Николай Гурьянов благословил съездить к одному старцу...

Уж не в Овруч ли, батюшка? В Овруч.

Уж не к старцу ли Парфению в неизвестную деревеньку?

Именно к нему. Только, почему неизвестную? Я точно знаю её название.

Батюшка, тогда возьмите и нас с собой. Мы собираемся выехать двадцатого декабря. Возьмём вас на иждивение съёмочной группы фильма "Венец"...

Только не курите в вагоне... Тогда согласен...

В Овруче мы поселились в гостинице и, наняв микроавтобус, поехали искать деревеньку, где жил старец, не раз спрашивая, как туда проехать... Деревенька оказалась небольшим украинским селом, состоявшим в основном из мазанок с голыми фруктовыми деревьями вокруг... В одной из таких мазанок, помнится, с ветхой и прогнувшейся крышей, и находился старец Парфений. Мы оставили автобус поодаль и, пустив вперед отца Романа, подошли к калитке тоже ветхой оградки...

Однако стража у старца Парфения оказалась ещё суровой, чем у его друга Модеста. Если бы не облачение иеромонаха Романа и его тихий голос, с нами, наверное, даже не стали бы и разговаривать: какие-то тут приехали из кино, нету тут никакого старца. Примерно так говорила украинка среднего возраста, которая вышла из мазанки к воротцам, а потом ещё и соседки подошли...

Мы жалко топтались за спиной у отца Романа, он что-то объяснял, ссылаясь на отца Николая (Гурьянова); женщина, оборонявшая хату, ушла внутрь её, потом вышла, разрешила войти во двор, на всё село заявив, что никакого "кина". никаких магнитофонов и так далее. Наконец, впустила в хатку. Старец Парфений лежал на продавленной кровати, как в ложбинке, в старенькой рясе и камилавке, худенький, маленький, как мне показалось, хотя отец Модест и говорил о нем, как

высокорослом мужчине, сильном, мастером на все руки, (ремонтировал в лагере всё, и благодаря его ремеслу, они и подкармливались в лагере). Голос у старца был тихий и слабенький: ему было больше восьмидесяти... Как потом узнали, он был уже слепой. Неизвестно, что сказала ему хозяйка Анна, прежде чем впустила нас в хату, но когда мы вошли, робко топчась в какой-то звенящей тишине, старец негромко, будто слегка с усмешкой, сказал:

Туристы, значит, приехали?

Такое начало совсем озадачило, но кто-то дерзнул подойти к кровати, встать на колени и попросить благословения, в чем старец не отказал, и мы все понемногу осмелели. Помню, когда я встал на колени около кровати и назвал своё имя, он сказал: "Значит, ты Николай, Победитель, значит", – и после того, как я приложился к его руке, сухонькой, маленькой, как у ребенка, он этой же ручкой, только что благословившей, шлепнул меня по щеке...

У отца Романа он, кажется, спросил неожиданно: "А как вы думаете, отче, какого рода душа? женского или мужского?"

И пока старец беседовал с отцом Романом, мы все-таки решились: ну, если уж ничего нельзя снять, так попробуем хоть что-нибудь записать из наших разговоров с ним. И Сергей Л. кинооператор, прежде чем подойти под благословение, повесил на грудь маленький магнитофончик, тщательно скрыв его под курткой...

А ты, значит, Сергей Радонежский? – слышалось нам, стоявшим чуть поодаль. Потом они говорили о чем-то тихо... Сбоку от нас, как на посту, не спуская глаз, стояла хозяйка Анна. И вдруг она говорит:

Батюшка, а они тебя снимают.

Мы переглянулись, дескать, откуда вы взяли? Анна замолчала. От старца никакого ответа не последовало... А она через некоторое время опять, прямо-таки язвительным голосом:

Батюшка, а они тебя снимают.

Да что вы, Анна?

А она снова через некоторое время свое:

Батюшка, а они тебя снимают...

Как потом признался Сережа, после третьего "Батюшка, а они снимать", его охватил ужас, потому что последовала реакция и старца: – А того, кто это делает, подвешат за ножки как козлёнка и шкурку снимут...

Не помню, в какой момент о. Парфений рассказал притчу о кузнеце, выковавшем из железа волка, который потом съел самого кузнеца...

Магнитофон работал абсолютно бесшумно, абсолютно ничего не было видно под курткой, и мы так и не могли понять, чего это нашло на Анну, только потом Серёжа не знал, что делать с тем, что записал магнитофон.

Сотри всё и успокойся, – сказал отец Роман...

Опускаю другие подробности этой поездки, поторапливая себя к продолжению рассказа о Соловецкой истории. Упомяну еще, что благословляя нас в дорогу и на продолжение работы над фильмом, Парфений обронил, неизвестно в ответ каким своим мыслям:

Эх, выдал меня мой друг Модест, – и замолчал в какой-то таинственной усмешке, появившейся на его светлом, детски озадаченном лице...

Получив благословение, мы молча посидели около кровати старца, чувствуя вокруг него будто дыхание светлого покоя, ощущение которого сохранилось в моей памяти до сих пор...

Вернувшись в Ленинград и разобравшись со снятым в этих двух экспедициях материалом, в конце марта следующего 1990 года, мы отправились в сторону Архангельска искать возможные следы последних лет жизни архимандрита Вениамина и иеромонаха Никифора. Надежд было мало, след в Овруче вопреки нашим ожиданиям, оборвался. Реально зацепиться было не за что. Разве что на благословение старцев Модеста и Парфения...

По пути мы заехали на несколько дней в Суру, на родину Иоанна Кронштадтского; а вдруг через батюшку что-нибудь подскажется? Но увы...

В АРХАНГЕЛЬСКЕ

И в Архангельск мы ехали с весьма вялой надеждой на какие-нибудь архивы... Но ведь в них надо рыться, нужно много времени, а у нас его не было.

И вот снова Пути...

На третий, кажется, день нашего пребывания в Архангельске ассистентка режиссёра Люда Семичева прибежала вечером в наш гостиничный номер, сияющая от счастья... – Вот, братцы, посмотрите, что я нашла! – и положила на стол два листка ксерокса с какой-то старой газеты.

Оказалось, что в Областной публичной библиотеке, где она начала поиски чего-нибудь нужного, она то ли встретила кого-то из старых знакомых, то ли с кем-то нужным быстро подружилась и в поиск включились люди, что-то слышавшие об интересующей нас истории. Я полностью перепечатаваю оба эти текста, опубликованные в

Архангельской областной газете "Волна": (единномер газеты за 12 июля 1928 года, второй – за первое сентября 1928 же года). Газета "Волна" за 12 июля 1928 года:

«ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Раскрытие убийства монахов на Волкозере.

"Два монаха 6. Соловецкого монастыря Кучин Николай и Кононов Василий в 1926 году поселились с разрешения властей у Волкозера в 32 квартале Беломорского лесничества, в 40 верстах от ближайшего населенного пункта от деревни Коровкинской Часовенского сельсовета. При помощи крестьянина Подгородней волости Антонова Степана они построили избушку и там проживали. Необходимый для пропитания хлеб им ежегодно завозился Антоновым. Занимаясь рыболовством, монахи в своей избушке имели разные вещи, как из одежды, так и из домашнего обихода. При посещении Антоновым этой местности 12 июня он нашел лишь обгоревшие бревна избушки и кости её обитателей.

Произведенным на месте происшествия дознанием установлено, что убийство монахов и сожжение избушки произведено с целью ограбления гражданами Подгородней волости Ивановым Влад. Мих. и Ярыгиным Степ. Данил. Это подтверждается и вещественными доказательствами, отобранными у Иванова и Ярыгина. Задержанные Иванов и Ярыгин в своём преступлении сознались и сообщили, что убийство монахов они произвели весною этого года с целью воспользоваться их имуществом. По пути ими были совершены кражи вещей из лесных избушек, принадлежавших лесорубам, работающим от Северолеса. Иванов и Ярыгин заключены в исправдом».

Та же газета "Волна". Суббота, 1 сентября, 1928 г.:

«СУД И БЫТ. Вооруженный бандитизм.

Глядя на них, невольно удивляешься. Как мог молодой, жизнерадостный бывший комсомолец Иванов так сильно подружиться с меланхоличным, глуховатым Степаном Ярыгиным, который сейчас пытается всю вину пере

Как зачем? Хотел разузнать и сообщить властям.

Так было, по словам Иванова. В действительности же было немного иначе. Иванов и Ярыгин, прежде чем пойти на "дело", взяли с собой винтовку, украденную у одного охотника, и отправились в лес. Подойдя к первой попавшейся избушке, они ломали замки, забирали всё "баракло", направлялись к следующей.

Конечным этапом столь странного "туризма" была избушка, где проживали двое монахов, а затем и скамья подсудимых.

Я вовсе не хотел убивать, – оправдывается сейчас Иванов, но потом, когда увидел старика, который, как видно, нас испугался, я из жалости // выстрелил.

Но Иванов стрелял не один раз. Он выпустил четыре патрона подряд. Не слыша из избышки криков, бандиты подперли дверь колом, забрались на чердак, забрали вещи, облили избышку керосином и подожгли. На вопрос суда: – Для чего подожгли избышку, Иванов показывает:

Мы с собой, говорит он, взяли малость, ерунду взяли: бахилы, дождевик, две фуфайки, а подожгли монахов для того, чтобы их вещами никто не воспользовался.

Губернский суд, разбиравший в течение суток это дело, приговорил Иванова к 10 годам заключения, Ярыгина к восьми. Энка.

К материалу опубликованы два карандашных рисунка с профилями подсудимых: один молодой совсем, другой явно постарше. И подпись: "убийцы Иванов и Ярыгин".

Тут я надолго умолк...

В ДЕРЕВНЕ КОРОВКИНСКАЯ

...Справляясь по карте пригородов города Архангельска, по разбитым дорогам до Коровкинской все-таки добрались. Да ещё не по-мартовски сильная пала оттепель, да ещё около деревни работала крупная геологическая экспедиция, готовившая к разработке залежи алмазов, открытые в тех местах, так что на подъезде всё было разрыто гусеницами тракторов и экскаваторов, а деревня чуть в сторонке, кажется, совсем пустовала. Первым встретился нам молодой добродушный парень лет восемнадцати, назвавшийся Астафьевым, работавший в геоэкспедиции. Помня, что в газетной заметке упоминалось Беломорское лесничество, мы спросили у него, нет ли в деревне лесничего.

Так это мой батька. Только его сейчас дома нет. А вам чего? Мы рассказали ему, зачем приехали.

Так вы тогда к Алексею... Он старожил, сам сидел по пятьдесят восьмой лет десять. Говорит, лесу повалил в зоне, пеньков не пересчитать, со счёту собьёшься... Он точно вам чего-ненабудь расскажет. А если чё надо будет, мы вам поможем. (Подумал.) – Только сейчас до Волкозера не добраться, хоть и набэтэре. Летом приезжайте. (Опять подумал, надвинув кепку на лоб и почесал затылок). – Только...

Я сам-то давно не бывал на озере, с геологами работаю. А батька говорил, слышал, место, где была избушка, теперь вспахано под лесопосадку... Нет, само место-то батька точно покажет, метр в метр. Да и я знаю...

Спасибо, Астафьев. До встречи летом.

Пока... Наш дом вот этот с краю, а через дом – Алексей живёт. У него два окошка впереди белые...

Алексей встретил нас без церемоний. Это был крепкий мужик лет семидесяти, с черной, чуть с проседью окладистой бородой, глубоко посаженными острыми глазами и перебитой переносицей...

По какому делу, гражданин начальник? – с усмешкой сказал он, едва я поздоровался. – Вижу, человек приезжий...

Мы объяснили, кто, откуда и по какому делу.'

Хо!? Так чё, Никифор-то твой дядя был?

Он старший брат моего деда по матери...

А ты, выходит, внучатый племянник... Так я твоего дядю-то видал! Здоровый такой мужик был, высокого роста... Так он же с этого озера часто к нам в деревню приходил. Он у тебя мастер был бахилы,, ну, это монастырские сапоги такие, монахи их всё носят. Вот он и тачал их там, а в деревню приносил на продажу, а взамен брал хлеб да продукты какие, ну, разное. Там жили-то они совсем дикое место, ближе нас ничего нет... А про убийство я только слышал, сам в лагере пеньки считал...

Потом мы пили чай, Алексей непрестанно курил какую-то махру, рассказывал свою эпопею, а потом начало смеркаться, шофер нанятого такси запотрапливался, и мы только по пути обратно в Архангельск вспомнили, что забыли спросить, может быть, о самом главном для нашего кино: об Антонове Степане, упоминавшемся в судебном следствии, который помогал инокам и строить избушку, и ежегодно завозил для пропитания хлеб...

Ничего, – успокаивали мы себя. – Всё равно же летом снова сюда приедем. Пусть всё вспахано, где была избушка, место-то осталось. Может, в том, что мы забыли об этом, есть тоже Промысел?

Чей-то промысел в этой истории, похоже, действительно был; после этой поездки группа распалась, кино с трудом доделалось, вышло совсем не таким... И на распаханную под лесопосадки землю на берегу Волкозера, политую кровью мучеников, мы так и не вернулись...

Однако и этим история все-таки не кончилась. По крайней мере, для меня.

Недавно, то есть в апреле месяце 2009 года, возвращаясь из Новгорода вместе с кинооператором той киностудии Сергеем Л., мы

увидели в одном из пригородных храмов Петербурга икону последнего Соловецкого игумена, новомученика архимандрита Вениамина, очень похожего на фотографию из моего семейного архива и из "Русского Паломника". Более того – с частицей мощей преподобного! Значит? Кто-то? Значит, на том, что уже известно, Пути Господни в этой истории ещё не закончились. И придется попытаться найти, может быть, ещё кого-то "внучатого"...

В ВЫРИЦЕ

...В Вырицу, в день памяти Иова многострадального и день рождения Царя-мученика Николая Второго, я ехал в вялом настроении. Окутанный для меня таинственностью вопрос, кто же заказал и передал в храм Петра и Павла икону архимандрита Вениамина, да ещё с частицей мощей, была приоткрыта: оказалось, что несколькими днями раньше в этом храме по каким-то другим делам был уже Сергей Л.

И как бы мимоходом поинтересовался у настоятеля храма о. Владимира, каким образом появилась у него в храме икона Соловецкого мученика, на что о. Владимир ответил, что икону написали по заказу храма, но что инициатором этого был некто Александр Кроленков, что он же принёс и частицу мощей, что этот Александр Кроленков вообще-то прихожанин Вырицкого же храма Казанской иконы Божией матери и что его там все знают... После этого Сергей Л. позвонил ещё одному нашему знакомому, много лет служившему в Казанском храме, и он сказал, что знает Кроленкова Александра, что последний когда-то служил где-то в Северодвинске, хорошо знает те места, где были убиты архимандрит Вениамин и иеромонах Никифор и вполне возможно, что он был на месте преступления и мог каким-то образом обрести мощи святых новомучеников... Но что человек этот, Александр Кроленков, странный, нервный, закрытый и ещё что-то в этом роде...

И обо всё этом Сергей Л. радостным голосом сообщил мне по телефону.

– Ты меня не обрадовал, – холодно отреагировал я. – Если уж ты горишь желанием сделать фильм об этой истории, то лучше было, если бы мы приехали к о. Владимиру, рассказали бы ему о наших намерениях относительно фильма, и мой разговор с ним ты бы сразу и снимал: так было бы естественней. А так, приедем мы сейчас, а он уже практически знает, о чем пойдёт речь. Сам понимаешь, человек уже поведет себя иначе... Словом ты перебежал дорогу прежде всего самому себе.

Отчасти Сергей Л. согласился, и мы решили, что, приехав в Вырицу,

Сергей пойдёт к о. Владимиру просить благословения на съёмку и укажет на меня, как человека у которого есть интересные сведения, касающиеся истории Соловецких новомучеников...

Если, конечно, отец Владимир будет в храме...

Естественно, настоятеля в храме не оказалось.

Он уехал, – вежливо сказала пожилая женщина, чистившая подсвечник около иконы "Сошествие во ад Иисуса Христа", и как-то очень участливо посмотрела на нас.

Простите, матушка, нас интересует икона Соловецкого архимандрита Вениамина. Не может ли кто-нибудь кроме настоятеля рассказать, как она появилась в вашем храме? И почему именно в этом храме? Она ведь, может быть, пока что единственная... И на иконе только один архимандрит Вениамин, а прославлен он вместе с иеромонахом Никифором – 17 апреля у них день памяти...

Я думаю, что есть такой человек кроме батюшки. Это наш реставратор... Игорь Алексеевич. Он сейчас у себя. – Матушка показала в окно на какое-то здание во дворе. – С торца вход. Первая дверь открыта, а вторая, там ещё может быть решетка, закрыта, но вы постучите...

Я думал, что это мастерская реставратора и видел соответствующую обстановку. Оказалось, что реставратор работал в храме, освященном в память отца Иоанна Кронштадтского, да там ещё и икона с епитрахилью святого...

Игорь Алексеевич, пожилой человек невысокого роста с аккуратно подстриженной чисто седой бородкой, встретил приветливо. Я кратко рассказал ему причину нашего появления, показал семейные фотографии, потом дал прочесть ксерокопированные вырезки из Архангельской газеты...

Скорей всего, это было преднамеренное убийство, – размышляюще сказал он, когда прочел обе заметки.

У меня тоже мелькала такая мысль, но никаких сведений на этот счет...

Так дух того времени... Какие ещё свидетельства? Жили они по разрешению властей, все знали, судя по тексту газеты. Чтоб народ не смущали... А эти двое – Ярыгин с Ивановым – отсидят год-полтора и выпустят... Да ещё, может, и к награде представят, – он едва заметно усмехнулся. – Да и к чему четыре раза стрелять, как говорит следствие? Два старых человека. Если б просто ограбить хотели, так и так могли все отобрать...

Уместное рассуждение, – поддержал я. – К слову сказать, хотя и не могу вспомнить, от кого я это услышал, но будто бы, когда эти люди подошли к избушке, Никифор раздувал на улице самовар. Сапогом, как тогда это делалось, а Старец Вениамин лежал на кровати в келье. Ну, а дальше уж, один Бог знает, как всё происходило...

Посчастливилось вам, Николай Иванович. Такого сродника обрели, есть кому молиться...

А он, мой сродник, ныне причисленный к лику святых, может, и не ведаёт о моём существовании?

Вы сомневаетесь? – Игорь Алексеевич взглянул на меня серьёзно. А выверующий? Православный?

Подобные вопросы меня всегда смущают: какой же я верующий, если весьпогряз в мирской жизни?

Не знаю. Точнее сказать, стремлюсь стать христианином. Естественно, что православным, – отозвался я. – А теперь, если можно, я хочу спросить, каким образом икона архимандрита Вениамина появилась в Петропавловском храме? Кто её написал, кто заказал? И почему она оказалась именно в Вырицком храме?

Написал её мой зять, Виталий Грошев. Он живёт в Гатчине... А инициатива написания и мощи святого пришли через Александра Кроленкова.

Я слышал об этом человеке... Мне почему-то кажется, что он мой родственник.

Родственник он или нет, вы можете сами узнать. Я дам его телефон. Я знаю, что он человек разнообразно и широко образованный, жил когда-то на Севере и о тех местах, где всё произошло, знает не понаслышке, – Игорь Алексеевич мягко улыбнулся. – Только советую вам, не спорьте с ним!

Слава Богу, этому я немного научился.

А вообще-то, если вы хотите узнать по-настоящему, надо поехать на Соловки. После прославления там эту историю наверняка изучали... К слову сказать, мы собираемся поехать туда с иконой Серафима Вырицкого. Она уже пишется. Может, вместе с нами получится?

На обратном пути в Петербург, в пустом тамбуре электрички буйно разыгралось воображение Сергея Л., который был очень доволен материалом, снятом во время нашего разговора, уже воображал, как мы поедем на Соловки, как потом или раньше Соловков доберёмся до деревни Коровкинская, найдем там знакомого лесничего, который приведёт нас на то место, где жили святые новомученики – неважно, если оно теперь распаханно, а, может, уже и лесом поросло, и то и дело повторял: "Ты

представляешь, Колька, какое великое дело? Ведь это же всё не случайно, что икона оказалась именно в Вырице, а наш сегодняшний разговор произошел в храме Иоанна Кронштадтского: Ты видел, какая там икона Иоанна? С его епитрахилью! Ведь мы же тогда, двадцать лет назад, когда не доехали до Волкозера, мы же фильм-то сделали фактически про отца Иоанна Кронштадтского, а теперь вот опять у Него оказались! И здесь же пишется икона Серафима Вырицкого, которую повезут на Соловки! Ты только вдумайся! Вдумайся!"

Вдумываясь, я думал о том, что при нашей нищете добраться до Волкозера и, тем более до Соловков, будет очень не просто. И в то же время, осмысливая все пути и пересечения людей, оказавшихся причастными к соловецкой истории, почти осязаемо чувствовал, что и Пространство, и Время будто сжались в маленький комоч, вмещавшийся в ладонях...\

У АЛЕКСАНДРА К.

На встречу с Александром Кроленковым мы поехали 2 июня, накануне праздника Владимирской иконы Божией Матери, в день памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия, св. Алексия, митр. Московского, блгв. кн. Довмонта Псковского, ещё одного мученика – Аскапона, препп. Завулона и Сосанны. Словом, целый букет самых разных святых. Читать же в этот день полагалось из Евангелия от Иоанна гл. 16, 2-13, где говорилось: "... даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня... Ещё многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придёт Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину..."

Не пытаюсь как-либо толковать прочитанное, я всё-таки почувствовал некое соответствие цели нашей поездки с важностью прочитанного текста. Мне казалось, лучше было бы поехать в день празднования чудотворной иконы, но место и время назначали не мы.

Сидя в полупустой электричке, идущей на Вырицу, а точнее сказать, на остановку "Платформа №3", где нам была назначена встреча, Сергей Л. опять буйно фантазировал о том, как всё не случайно в этом мире, как всё таинственно связано, пуская в ход уже не раз слышанные мною аргументы, и, забегая вперёд, воображал, какое будет у нас кино, которое мы должны снять с Божьей помощью, хвалил чей-то фильм о причинах гибели Византийской империи, о последних временах, одновременно призывая меня писать сценарийо Владимире Мономахе... Зачем? Если времена последние, то надо думать о другом – о спасении

души, молча недоумевал я, хотя с нескрываемым уважением относился к бескорыстной кинематографической деятельности Сергея. "Во славу Божию",... – такой смысл придавал он этой работе...

В не случайности же всего происходящего меня убеждать было не надо, однако относился я к этому сдержанно и потому слегка иронически поддакивал и переводил разговор на то, как вести себя в предстоящей встрече с Александром Кроленковым, который представлялся мне таинственным человеком неопределённого возраста: то немножко "новым русским", то дремучим анахоретом, обросшим бородой, отрeksiмся от мира сего, странствующим по святым местам... Наконец, Третья платформа...

Минуты через две после того как отошла электричка, к быстро опустевшей платформе подъехал серебристый "Шевроле", из которого вышел мужчина лет шестидесяти с черной в проседях бородкой, изрядно полысевший со лба, в черной футболке безрукавке и направился в нашу сторону. "Взгляд спокойный, уверенный, без каких-либо признаков наигранной вежливости, деловой", – подумалось мне.

Христос Воскресе, Александр! – сказал Сергей, шагнув навстречу.

Мне показалось это не очень уместным, но как потом признался Сережа, он сразу почувствовал в Кроленкове своего человека.

Воистину Воскресе! – они троекратно расцеловались.

Здравствуйте Александр Вячеславович... Это вы со мной вели переговоры о встрече. – Мы поздоровались, он подал мне руку – также естественно, как только что христосовался с Сергеем...

Сделав несколько поворотов по асфальтовым переулкам, Александр Вячеславович повернул на узкую, чуть шире машины, проселочную дорогу, по обеим сторонам которой рос ельник, густой кустарник, а за ними мелькали заборы и крыши дач. Дорога была прямая, другим концом упиравшаяся чуть ли не в горизонт, и пустынная. Только слышно было, что в каждом кусте пели птицы.

Хорошо что я не отказался от вашего предложения встретить нас на машине. А то мы тут нахлебались бы в поисках вашего дома. Это что, всё Вырицей считается: первая платформа, вторая, третья?

Да. В справочнике ещё советского издания говорится, что Вырица по площади чуть ли не самый большой посёлок страны...

А улица Островского? Которого? Николая? Александра?

Ни того, ни другого, – ответил Александр Вячеславович и кратко рассказал о третьем Островском. Добавил: – Большевики, видимо, не

знали, кто он такой и не переименовали... И к слову вспомнил ещё одну анекдотическую историю, связанную с переименованием улиц.

"Похоже, действительно, широко и разносторонне образованный человек, подумалось мне. А говорили, что замкнутый. Прекрасно общается. Умно, естественно. Хотя именно за этим-то легко укрыть что-то большее..."

Где-то в середине бесконечно длинной и пустынной улицы Островского Александр Вячеславович остановил машину, открыл ворота и, въехав во двор, пригласил в дом, стоявший в окружении ельника и таких же густых кустов, как и на всей улице. Сменив обувь на домашние тапочки, коих было пар десять различных размеров, прислонённых к стенке внутри крытого крылечка, мы вошли в просторную кухню, отделанную деревом в основном, безупречно чистую и прохладную и хотя мне больше по душе простота деревенского дома, в этом интерьере было тоже уютно. Незаметно откуда-то появилась пестрой масти кошечка и потёрлась о мою ногу.

О! А вот и хозяин. Или хозяйка?

Хозяйка. Зовут Скрипка. Ласковая...

Мы присели около стола. Сережа готовил видеокамеру, хозяин включил чайник, поставил на стол горшочек с сахаром, печенье, шоколадные пряники, чай в пакетиках, кружки...

А теперь помолимся...:

Хороший у вас дом, – сказал я, когда мы после молитвы разливали чай. – Сами строили?

Брёвна, конечно, не сам закатывал, а внутренняя отделка в основном своя. За исключением плитки, её тоже не я, – пояснил Александр Вячеславович и неожиданно добавил: – Я вообще-то сначала пытался построить дом в Павловске. Уже и фундамент начал делать, но что-то там не получалось... Продам я тот участок и купил здесь, в конце девяностых это было нетрудно. И здесь всё пошло...

Я вопросительно взглянул, как бы подталкивая к продолжению рассказа, видя, что Серёжа уже включил камеру.

Отец Серафим... Я как начал строить здесь, каждый день читал ему акафист... Каждый день ездил к нему на могилку, она тогда ещё открыта была, без часовни, и читал в любую погоду. Один раз зимой было градусов тридцать, я стоял и читал без шапки, без рукавиц. И вы можете представить, пока читал, никакого мороза не чувствовал, а как только закончил, не успел до машины дойти, всё заприщипывало: и руки, и уши...

А были какие-нибудь трудности при строительстве?

: – Были, конечно, но они благополучно разрешились...

Вот так, Скрипочка. Видишь, какие чудеса, – сказал я кошке, облюбовавшей меня, и то ласково тыкавшейся в ладони, требуя погладить, то выпускавшей коготки, остро пощипывавшие колени...

Александр Вячеславович, мне конечно же уже хочется переплыть к главному предмету: имею в виду Соловецкую историю и в частности – историю мощей на иконе архимандрита Вениамина... Но для полноты рассказа, если можно, про себя что-нибудь. Чувствую, по тому, как вы говорите, молва о вас, как человеке разнообразно осведомлённом, в этой части, справедлива. Например, откуда вы родом? Ну, и дальше, что сочтёте нужным...

Можно было усмехнуться витиеватости моей речи, но Александр Вячеславович ничего такого словно и не заметил.

Конечно, можно. Я теперь корни своей родословной по отцу знаю до 1740 года. А сам родился в пятидесятом году в деревне Чернушко Пермской области. Правда, прожил там один год, потом отца перевели в Пермь... Говорят, на второй день после рождения, тетки меня выкупали, было тепло, вынесли на солнышко, и я схватил двухстороннее воспаление легких. Смертельный случай! Практически без шансов, но как видите...

Это вас Бог сохранил, чтобы вы обрели мощи архимандрита Вениамина и заказали его икону, – осторожно обронил я, но Александр Вячеславович отреагировал на это только взглядом...

Как видите, мне уже скоро шестьдесят... С 1968 года по семьдесят третий учился в военно-морском училище им. Дзержинского и потом служил на Северном флоте, в Заполярье...

"О! Заполярье! Это особая планета, там плохие люди долго не задерживаются", невольно вспомнилось мне, потому что довелось пожить там в то же время, когда Кроленков служил офицером подводником...

И дальше удивление от рассказа неуклонно нарастало...

Оказалось, что практически всё было не так, как нам говорили: и даже фамилия его несколько иная, хотя и звучит похоже, что начиная с училища, он был активным комсомольцем, а потом даже членом парткома на флоте и ушёл в отставку по выслуге лет, "снял погоны", как он выразился, в звании капитана первого ранга, одновременно с этим сдал и партийный билет. Было это в 1991 году, накануне распада СССР.

Интересно, как же начальство отреагировало на ваш партийный рапорт?

А я сказал, что ещё во время службы начал всерьёз заниматься наукой, что решил заняться бизнесом, а это противоречит моральному кодексу коммуниста. Несовместимо... В общем, разошлись с миром. Правда, долго не давали капитана первого ранга, но потом как-то оформили через службу безопасности...

Ничего себе! – вслух удивился я. Да о вас же надо отдельно повесть писать...

Но, как выяснилось, это было только начало моих удивлений...

Оказалось, что в настоящее время он является членом Нью-Йоркской академии наук, хотя американцы его не любят за его взгляды, что он профессор, доктор экономических наук, выступал в ООН, и ещё что в этом роде... И вопреки молве, вовсе не замкнутый, а просто умеющий держаться с непринужденным достоинством, ничуть не подчеркивая этого...

Однако, никаким "внучатым" родственником, как мне думалось раньше, архимандриту Вениамину он не приходился, мне тоже не родня, хотя корни его деда по соседству с Архангельской губернией – Вятские... И на Волкозере он тоже не был, историю Соловецких новомучеников узнал не так давно, а мощи святого Вениамина пришли к нему совсем иным, неисповедимым Путем...

А вы крещены с детства? – спросил я, несколько сбитый с толку.

Я крестился только в восьмидесятом году... Стояли мы под Таллином. А крестил меня отец Вячеслав... Кстати, он теперь епископ Таллинский Корнилий...

Гм?

А это-то правда, что вы инициатор написания иконы архимандрита Вениамина?

Да. Только первую икону я заказал написать для себя. Вторую – для Соловецкого монастыря. А та, которую вы видели в Петропавловском храме, написана по заказу настоятеля, на деньги храма... Я только подарил отцу Владимиру мощи...

Наконец-то! Понятно... Но мощи-то как у вас оказались?

Очень просто: мне их дал отец Вячеслав... Нет, не тот, который меня крестил. Он теперь епископ, как я сказал... А этот отец Вячеслав из Архангельска. Он был настоятелем храма в Лявле, под Архангельском есть такое место...

Вы уж воистину Вячеславович: и родной отец Вячеслав, и крестил отец Вячеслав да ещё и святые мощи принёс вам отец Вячеслав, – не удержался я от обобщения. – Но как вы с Архангельским-то отцом Вячеславом познакомились!? Где?

Так здесь. Где мы сейчас находимся, на моем месте сидел. Всё очень просто... У меня дочь в Северодвинске. Однажды она позвонила и сказала, что надо устроить на ночлег троих. Я сказал, пусть приезжают. Здесь, в Вырице, я их и приютил. Один из них и был о. Вячеслав... Кстати сказать, до меня только сейчас начинает доходить, что здесь, где мы сейчас находимся, возможно, сидел святой человек... Его со временем точно прославят...

Александр Вячеславович, давайте ещё раз чаю заварим. Вы столько на нас обрушили, надо передохнуть... А потом вы уж про отца Вячеслава Архангельского...

Чай мы пили молча, наблюдая в окно за белкой, прискакавшей из леса к кормушке, установленной во дворе дома...

Я почему говорю, что прославят.. Конечно, это дело Господне... Но о нём уже давно рассказывают... Вот, например: три молодых женщины несколько лет никак не могли забеременеть, ни врачи, ни доктора ничего, говорили – безнадежно... Они где-то прослышали про отца Вячеслава и к нему на могилу, где совершили литию с прошением о чадорождении... Через год все трое забеременели... Или вот тоже известно.

У крёстной моей дочери был безнадежный тоже рак легких. К нему опять... Он сказал, согласен, только молиться надо втроём: ты сама, я и кто-то третий из родни. Мать, хорошо... Не могу сказать, за какое время, но рентген не показал никаких следов... Да, много чего народ потихоньку собирает, для канонизации надо же факты иметь...

А он сейчас в Архангельске?

Не знаю где, но не в Архангельске точно... Дело в том, что ему начали завидовать, как обычно бывает, да к тому же храм, в котором он служил, будто бы,, ну, как вам сказать? хотели сделать для богатых что ли? Чтoб известная публика тут паслась... А отец Вячеслав твердо возражал: для Христа нет разницы... Ну, естественно, староста, да и его подручные кляuzu за кляузой к архиерею... Тот долго сопротивлялся, а потом не выдержал и решил уволить,, назначив день последней литургии, после которой – отставка... Отцу Вячеславу было всего тридцать девять. Накануне он отслужил вечерню, а когда утром прихожане стали собираться на

литургию, священника не было. Туда-сюда... Нашли в келье, где они ночевали с послушником Андреем: оба лежат мертвые, держа в руках свечки на груди... Нет, медэкспертиза показала, что никакого насилия, никакой болезни...

Вы как-то толкуете это событие?

Думаю, что Господь их взял к себе... Не попустил посрамления. Как это такому! священнику и последняя литургия... В общем так... Мы заварили чай в третий раз...

Александр Вячеславович у меня уже кончаются силы. Последний вопрос: ведь мощей на месте пожарища было от двоих: Вениамина и Никифора. Так ведь! Как же отец Вячеслав определил, что он привёз именно мощи архимандрита Вениамина?

Я верю, что он не ошибся. – Александр Вячеславович достал из-под футболки свой нательный крестик. – Видите, обыкновенный крестик. Так вот, когда о. Вячеслав сидел здесь рядом, вдруг сказал, что у тебя, меня то есть, за крест? От него исходит энергия какая-то... Не знаю, мол, батюшка. Может потому, что я его прикладывал ко Гробу Господню...

Да, ниточка оборвалась. Мне так и не узнать, а где же останки дяди Николы?

Отчего же? Я дам адрес его матери в Архангельске. Она много знает... Да, наверное, не только она. А от нее след, может быть, поведет и дальше...

И СНОВА МНОГОТОЧИЕ...

– Опять? Опять не доехать. Как и двадцать лет назад, – вопрошающе и спривкусом досады думаю я дождливым осенним днём, вспоминая разговор с Александром Вячеславовичем. – Мать-то покойного отца Вячеслава, наверное, много знает, да только вот опять не доехали мы до Архангельска и тем более – до Соловков...

Я иронически усмехаюсь над фантазиями моего друга Серёжи, чувствуя себя следователем, которому казалось, что после поездки в Вырицу можно будет ответить на все вопросы, а оказалось, что след мистически, со смертью о. Вячеслава, вдруг оборвался, и вопросов появилось ещё больше...

– Давай рассуждать, что имеем, – просматривая "материалы дела", т.е. черновую рукопись семейной Соловецкой истории, думаю я.

"Всё, что мне было известно из домашних разговоров, я вспомнил, записал. А теперь о вопросах, которые возникли после рассказа А. Кроленкова. Например, каким образом мощи архимандрита

Вениамина оказались у покойного отца Вячеслава? Он сам ездил к Волкозеру, на место сожжения монахов, и там, спустя много лет, обрёл их останки, при чем толькоодного архимандрита... Допустим, что у него были останки и иеромонаха Никифора, но он о них почему-то не упомянул? Конечно, такие чудеса бывают на свете, что и не снились нашим мудрецам, друг Горацио... Однако, и личная поездка к Волкозеру, и обретение мощей архимандрита Вениамина там, где всё распаханно, уж слишком невероятно! Но ведь как-то же они у него оказались?! А не мог ли быть ещё кто-то ТРЕТИЙ? А, может быть, целая цепочка? Но как она могла образоваться? Из каких людей?"

Опять тупиковая ситуация. Может быть, об этой цепочке знает мать отца Вячеслава, он ей рассказывал, может быть, знают нынешние Соловецкие монахи – не могут же они не интересоваться вновь прославленными насельниками,.., но мне до них пока не доехать...

В этой тупиковой ситуации мне вдруг вспомнилась публикация в Архангельской газете "Волна" за 12 июля 1928 года, в которой упоминается крестьянин Подгородней волости Антонов Степан, тот самый Степан, о котором мы забыли спросить двадцать лет назад у лесника Астафьева... Ведь он тогда ещё мог быть жив! Эх, ты! Вот уж чей-то промысел! Во всяком случае, дети его могли быть в той же деревне Коровкинской... Какая досада! Ведь именно этот Степан Антонов помогал монахам строить избушку для жилья и ежегодно привозил им хлеб. И ведь именно он ПЕРВЫМ оказался на месте убийства, вскоре после него, где "нашел лишь обгоревшие брёвна избушки и КОСТИ ЕЕ ОБИТАТЕЛЕЙ".

Не мог этот несомненно благочестивый православный христианин не взять с собой останков сожжённых иноков! Не мог! Значит, мощи у него и оказались, значит, он первый в цепочке, по которой они дошли и до отца Вячеслава, потом до Александра Вячеславовича и, наконец, оказались на иконе архимандрита Вениамина...

Рассуждение это показалось вполне убедительным...

Только вдруг стало мне до обидной слезы грустно, горестно: "А где же в этой цепочке затаился след останков нашего дяди Николы? Или и мне пора прокладывать путь к Соловкам?"



Из сборника «РАССКАЗЫ»

СИРАНО

«А нынче все умы в тумане,
Мораль на нас наводит сон,
Порок любезен...»

Из «Евгения Онегина».

...И реденький дождик, едва осязаемый только лицом, моросил нехотя, будто сомневался, и ветер тоже мучился чем-то: возникнет, шевельнет ветки деревьев, взглянет вслед сорвавшимся желтым листьям и надолго затаится, словно решая про себя, надо ли возвращаться снова... И сам день, безвольно превращавшийся в ранние осенние сумерки, выглядел как-то жалобно.

В настроении дня, так же нехотя, как и дождик, я "моросил" по Загородному проспекту в сторону Невского. Шел в никуда, обдумывая продолжение забуксовавшего киносценария, и с тайной надеждой, даже почти предчувствием, встречи с чем-то необычным, хотя и без каких-либо реальных очертаний этой надежды. Было лишь необременительное желание где-нибудь подешевле поесть...

– Брат! – воззвал каркающе-хриплым голосом мужик лет пятидесяти, догнавший меня у перекрёстка со светофором. – Брат, дай на сто грамм, хорошо бы с килечкой. А?

– Ты, брат, уже третий: одного только якобы выпустили из милиции, другому на пиво не хватало... Я что, выгляжу самым богатым на улице?

– Так видно ж человека. Богатые не дают, они на танках, – мужик кивнул в сторону потока машин. – А я врать не могу, прошу на сто грамм. – И мужик жалобно поёжился.

Поделившись с ним, я обогнул площадь со стороны Кузнечного рынка, потолкался возле грибников, разложивших кучками свою добычу на фундаменте решетки, ограждавшей сквер, и около Владимирского собора, недавно возвращённого церкви без крестов на куполах, остановился в нерешительности: на двух фанерных щитах, составленных домиком, как две карты, было объявление: «Выставка "Оптина пустынь" с изображением иконы старца Нектария в клобуке и черной мантии, обрамлявших светловолосый лик.

Идти на выставку тоже не хотелось, но дверь в храм была слегка приоткрыта, за ней почудилась какая-то особая плотность воздуха, и меня будто кто-то тронул за рукав...

По узенькому коридору нижнего этажа храма я прошел в довольно большое выставочное помещение, оставившее впечатление притона, обитатели которого под угрозой облавы спешно разбежались, прихватив с собой что получше, оставив только обшарпанные стены, разбитый паркет, расхлябанные стулья и столы, а вернувшиеся хозяева, охая и крестясь, едва успели выгрести кучи мусора, наспех намыть полы влажными тряпками и затопить печи, ещё не успевшие как следует обогреть освободившийся дом...

В середине зала стоял длинный фанерный стол, на котором, как показалось моему рассеянному взгляду, было много чего-то разного, хотя это были всего лишь несколько экземпляров небольших церковных книжек, и множество разостланных по столешнице одинаковых брошюр и просто сложенных вдвое типографских ЛИСТКОВ с какими-то текстами... И ещё нательные крестики, маленькие или совсем небольшие иконки, выложенные для приобретения, и человек десять посетителей...

Всё с той же внутренней волокитой я рассеянno читал названия книжек и брошюр, выделив среди них "Не участвуйте в делах тьмы", "Таинство покаяния" и "Правила благочестивой жизни".

Каждое из этих названий оставило в душе какой-то след, но я ничего не бросился покупать, продолжая блуждать взглядом по столешнице.

За столом сидел молодой парень с профессорской бородкой и услужливо, почти навязчиво, рассказывал что-то двум женщинам, наверняка уверенно чувствовавшим себя в очередях магазинов, а тут явно оробевшим... Смущаясь, они потихоньку отодвигались в сторонку, и парень досказывал уже мне одному:

– А это вот Державный образ Богородицы... Обратите внимание, что он явлен сразу после свержения царя, Помазанника Божия, и вот видите у Ней в одной руке скипетр, в другой держава... Она приняла Россию под свое покровительство... И пока весь российский народ не покается в грехе цареубийства...

Я слушал его, склонив голову, поддакивая и сдерживая раздражение от безудержного рвения. Потом осмелился взглянуть: молодое лицо показалось мне вымоченным что ли, и весь он каким-то засушенным,

прихваченным заморозком – ни морщинки, ни кровинки, и какой-то фальшью отдавало от его аскетического лица.

Взглянув на парня, я скептически усмехнулся, заплатил ему за «Не участвуйте в делах тьмы» – рубль и за «Таинство покаяния» – ещё сорок копеек. И ещё рубль за право посетить выставку...

На сорок копеек за «Правила благочестивой жизни» я уже хотел поскупились. Сложенные вдвое четыре страницы мелкого текста не хотелось брать, кажется, из опасения, что вряд ли они писаны «про меня», и в то же время что-то притягивало, и я почти заставил себя взять брошюру.

Пропустив чье-то маленькое предисловие, где мелькнуло имя Нектарий, автоматически пробежал взглядом первую строчку: «Принуждай себя всегда вставать рано и в определенное время...»

И теперь не пойму, от какого эликсира или дуновения, заключенного в этой обычной фразе обогрелась душа, но сразу же почувствовал, что все клеточки во мне, будто спавшие тягостно, встрепенулись. Взгляд побежал дальше по тексту, и буквы в строчках ожили, зашевелились, словно я их видел не глазами, а трогал, перебирая кончиками пальцев. От строчек исходило струение, подобное дыханию, и сами они текли на какой-то воздушной подушке, увлекая и шелестя, как листва, а меня тянуло читать и читать дальше, не останавливаясь, – тянуло как жаждущего к воде... И чувство это напомнило мне о том, что было давно, в детстве, когда меня, ещё подростка, тянуло с разогретой на солнце сенокосной пожни привернуть, загребая сено, в тень деревьев в закоулочке, обдуваемом мягким ветерком, а там присесть на кочку или валёжину, отложить грабли, утереть рукавом пот на лбу, встряхнуть прильнувшую к телу просторную рубаху, выбившуюся из-под ремня, неторопливо и жадно напиться прохладной водички. Ещё лучше – припасть бы к маленькому ручейку, безмолвно пробирающемуся в лесном логу где-нибудь поблизости... А потом зажечь маленький костерок, бросив на него комок влажного мха или сырой травки, словом, «бросить дымку», чтобы утихомирить яростных оводов и мух с комарами, ожидая, когда солнце и ветер подсушат влажные от росы валки сена. И хотелось, чтобы время этого ожидания длилось долго, отодвигая момент, когда мать напомнит, что пора загребать сено в копны...

И в этом блаженно-детском состоянии мне хотелось дочитать все "Правила" до конца, испытать всё до последней строчки, до утоления – как воду из родника, и в то же время хотелось оторваться, чтобы продолжить это упоение наедине, но все же продолжал бегло читать, отмечая особо коснувшиеся строчки: "Одеваясь, помни, что находишься в присутствии Господа Бога и Ангела-хранителя... Испрашивай у Него также сил к благодушному принятию всего того, что Ему будет угодно в тот день послать – слова эти я выделил в уме особо как откровение... – Прими твердое намерение всё принимать от отеческой руки Его, размышляй так: может быть этот день есть последний день моей жизни – и всё делай так, как бы готовясь предстать теперь на суд Божий... Каждое утро думай о себе, что только теперь начинаешь и хочешь быть христианином; а прошедшее время напрасно погибло..."

– О-о-ей?!.. – Вот так правило!?

Наконец, дочитав абзац первой страницы, я, подстрекаемый вопросом, "А что же там говорится дальше?", всё-таки удержался от соблазна заглянуть на следующую и сунул листки в сумку. Потом долго сидел в выставочном зале, с каким-то иным вниманием слушая рассказы того же парня посетителям выставки, глядя на большую фотографию с иконы Оптинского старца, забыв обо всём: о своём брюзжании, времени, хаосе, только периодически предвкушая что-то такое, что ждёт меня сегодня вечером дома, на мансарде, и это что-то такое "нечто" теперь при мне, и я в любое время могу к нему прикоснуться.

И все эти нечаянные переживания были связаны с лежавшей у меня в сумке простенькой брошюрой, напечатанной меленьким шрифтом.

* * *

Вечером, ближе к полуночи, когда всё вокруг мансарды утихло, я снова прочёл: "Принуждай себя всегда вставать рано и в определённое время..."

И опять строчки и буквы ожили и потекли и заструились, увлекая за собой, вбирая в себя, обволакивая теплом и прохладой, как вечерний ветерок после знойного дня, заставляя удивляться и кротости, и точности выражения мысли, и поражая мягкой строгостью советов... Я читал, восхищаясь тем, что в тексте нет ни одного лишнего не только слова, но даже буквы или неточного знака и что читать это всё необыкновенно легко, несмотря на непосильность "правил" для моей растрёпанной

жизни, что не надо делать никаких усилий мысли для понимания читаемого, а смысл сам, будто минуя голову, напрямую втекает в тело и там где-то, где, должно быть, обитает душа, от этого смысла становится просторней, тоньше и светлее. И представление о протяженности жизни, обычно казавшееся мне как горизонтальное, линейное движение от детства до сего дня, изменилось и стало вертикальным, тяготеющим не вперед куда-то, куда меня звали с детства, а вверх, и жизнь, вовсе не протяженность, а нечто сжатое воедино – в точку...

И хотя времени на чтение трех страниц, даже с остановками и размышлением, ушло не так много, было ощущение, что длилось чтение вечность.

Как-то незаметно, но явно – в моем состоянии что-то изменилось, я почувствовал себя словно остановившимся перед чем-то. И вдруг осознал, что очередной абзац читаемого текста никак не начать, а в воображении почти назойливо стоит картина того сна, казалось, забывшегося навсегда, будто и не снившегося...

* * *

Не могу припомнить, что предшествовало этому сновидению. Первое, что стало осознаваться мной прежде всего, был далёкий ветер, который трепал низкорослые деревца с шарообразными кронами, только на тонких, подростковых каких-то, стволах...

Ветер лохматил кроны деревьев, как волосы на голове, захлестывая их то за спину, то на лицо, и я постепенно осознал, что это были березы и, главное, что росли они, по ощущению сна, на чужом, каком-то скалистом обрыве в глубокую пропасть, пространство которой было заполнено холодным, вязким и мрачным туманом. А ветер непрестанно трепал деревца с зеленой листвой, сгибая стволы у самых корней, так что они почти горизонтально стелились над пропастью, а потом вдруг ветер резко менял направление – будто это был не тот же ветер, а его двойник. И взмахом, не дав березам встать прямо, откидывал их в противоположную сторону и снова вздымал, разметывая кроны во все стороны, и вертел их, кружась над ними...

Видя это глазами и ещё больше лицом, я ощущал терпеливое стенание деревьев, похожее на материнское, глубоко озабоченное чем-то, и пытался сообразить, что же это такое?..

Справа от меня, чуть в отдалении, из глубины пропасти высывалась

какая-то четырехгранная пирамида, которая осознавалась как азиатский шпиль, и это сочетание берёз и азиатского, вроде бы «буддистского» шпиля меня озадачивало ещё больше...

Смотрел я на всё это с верхней точки, в повороте какого-то виадука, наподобие тех, по которым въезжают такси в аэропортах, только виадук этот приворачивал не к аэровокзалу, а был противоположным краем пропасти, отделявшей меня от терзаемых ветром берез. Стоял, чувствуя подавленное сострадание к стенающим березам, и в то же время равнодушно оцепенев: что же это происходит? Что значит? И ждал, чем всё это кончится...

Вдруг!.. Раскинутые вразброд и взлохмаченные ветром, как трава, почти обречённо прижатые к земле, деревья на моих глазах начали распрямляться, плавно выстраиваясь по кромке обрыва в один безупречно стройный ряд, на ходу превратились в высокие стройные березы и, откинувшись назад, упруго замерли, а потом весь ряд дружно спружинил и, пролетев вертикальное положение, замер в глубоком земном поклоне. Таким же точно, каким девушки русского хоровода завершают концертное выступление, и в точно также наряженных девушек превратились и склонившиеся над пропастью березы...

И какой-то знак был на платках во время поклона, но я его никак не мог разглядеть. А лица девушек, что было особо отмечено мной, были совсем не концертные, не искусно улыбающиеся публике, а тихо, сосредоточенно молящиеся и по-сельски простодушные, какие и мне ещё приходилось встречать в отдаленных российских поселениях...

Увидев это превращение, я беззвучно охнул, а девушки снова превратились в ряд берез, которые снова начал терзать тот же, неизвестно как вернувшийся ветер, потом снова все повторилось, потом ещё раз...

Наконец оцепенение мое прорвалось – зрелище захлестнуло меня растерянностью, восхищением, восторженным изумлением – и я стал оглядываться в поисках кого-то, суетясь и досадуя, что не знаю, что делать. А потом понял и беззвучно крикнул, едва сдерживая ликование и боясь, что увиденное больше не повторится...

– Сирано?! Быстрее! Сюда, березы! Ну, быстрее же, – немо вопил я во сне...

Сирано возник быстро, будто соткался, в маленьком просвете тумана у подножья виадука и, едва взглянув в сторону пропасти, сразу же

встрепенулся, засуетившись около растопыренного штатива с кинокамерой, и потащился по виадуку, подпихивая штатив коленками. По жестам моих рук, взгляду и выражению лица он сразу догадался, что происходит нечто неслыханно важное, чего никак нельзя упустить, что есть достойный кадр. Картина, зрелище! А ради редкого кадра он готов был броситься куда угодно. Сирано был истинно кинооператором, живописцем... Высокого роста, тощ, с длинными ногами, которые он, кажется, плохо чувствовал под собой, у которых суставы напоминали мне расхлябанные шарниры, особенно в коленках. При ходьбе ноги его иногда подвигивались, и потому двигался он мелкими быстрыми шажками, как бы боясь потерять землю... Но самым привлекательным в его внешности был нос – большой, с горбинкой, заостренный, который в моменты его творческого азарта вытягивался как-то особо стремительно. Однажды, увидев его в такой момент, я окрестил его – Сирано...

В неожиданно возникающих ситуациях, а они в документальном кино не редкость, он ориентировался моментально, сразу чувствуя, где кадр, стоило только подсказать, куда надо взглянуть, после чего от любых попыток пояснить ему, что самое важное в происходящем, он скороговоркой отбивался: «Вижу, вижу... Всё понял, не мешай», – хлопотал около камеры, устанавливая нужную оптику, композицию, прикидывая освещенность, лишь в редких случаях пользуясь экспонометром, досадовал на помехи, тут же обходя их, и ликовал от предвкушения удачи... Когда всё было готово, впивался в глазок камеры, будто сливался с нею, трепетал, истекая слюной, как собака, близко почуявшая добычу, и, казалось, испарялся... И только когда заканчивал съемку, возвращался: "Достойный кадр!" – и молитвенно заклинал: "Только бы. Только бы пленка не подвела!..."

– Что?! Где? – беззвучным голосом, а больше взглядом, вопрошал Сирано, приближаясь ко мне...

– Там!.. Ветер! И березы. Никогда такого не видел, – растерянно и взволнованно объяснял я, показывая на пропасть. Сирано всё как-то не мог дойти до меня, застряв где-то на середине виадука, я подался ему навстречу, чтобы помочь, и мы потащились с камерой вместе, наконец добрались почти до верхней точки виадука, размытого туманом, где Сирано сказал:

– Ага! Чувствую, сейчас...

А я вдруг ощутил какое-то смущение, которое терзало меня, и пока

Сирано привинчивал камеру к штативу, с какой-то болезненностью в голосе признался:

– Понимаешь?.. Только там из тумана выступает какой-то странный столб, «буддистский» что ли? Усечённая пирамида, он в глубине пропасти, торчит только макушка... Главное – поклонны берез. Вот только не пойму, почему и кому они кланяются? Или каются?.. Не понимаю, в чём тут смысл? Но это точно – кадр для нашего фильма...

А Сирано почему-то необычно долго возился с установкой камеры, и азарт его вроде бы поостыл:

– Ничего, ничего, я слышу тебя, я выбираю точку.

– Но это не всё. Чуть не забыл самое главное!.. Там ещё откуда-то из глубины тумана возникли монахи, стояли в профиль ко мне, когда я наблюдал за березами. И с азиатскими лицами. Глаза монгольские, но одежда на них такая же, как у наших монахов: в черных рясах и на головах камилавки. Нет, они ничего не делали, смотрели куда-то вдаль мимо... между мной и березами, будто висели в воздухе. Да! А потом я разглядел, что лица монахов как бы вырезаны на осинах... Видал, на стволах деревьев бывают места, где высохла кора? Так вот, будто бы их лица вырезаны на этих высохших местах, как медальоны – полу-круглые, овальные... – Я рассказывал, добиваясь точного выражения того, что только что видел, не понимая, зачем это надо, и чувствовал, что Сирано около меня вянет...

– Монахи? На осинах? – озадаченно отозвался он. – Э, брат? Ведь мы же снимаем фильм о новомучениках. Куда же пойдет этот фантастический кадр?

– А пророчества? А Россия?.. Но ведь главное-то! Березы! – попытался убедить я. Чувствуя, однако, что тоже скисаю...

– Не-ет, тут что-то не то, Егор. Надо бы посоветоваться. А то зря пленку тратить.

Сирано посмотрел вниз по виадуку, где в тумане будто бы маячила фигура режиссера.

– Да ты что, Сирано?! Он будет только рад такому кадру. Давай снимем, а после разберемся, – возразил я, но чувствовал, что и восхищение от увиденного мною зрелища вяло, и желание снимать – тоже. И мы оба расплылись в тумане...

* * *

– Ну, брат, вот это да?! Загадку ты загадал! – признался Сирано глубоко озадаченным голосом, когда я, вернувшись из деревни, пересказал ему сновидение. – Нет, это неспроста. Тут есть какой-то намек о смысле нашего фильма. Придется менять акценты...

Чувствовалось, что мой рассказ его серьезно заинтриговал, и он заметно волновался, как вблизи места, где можно снять достойный кадр, и начал допытывать меня разными вопросами вразброс, не зная, как подступиться...

– А ты вообще часто видишь сны-то?

– В том-то и дело, что уже много лет не видел, а если они и виделись, то я их не помнил или тут же забывал...

– Березы, пожалуй, понятно. Это, скорей всего, символ России. А вот к чему тут этот столб? Ты случайно не кришнаит? По Невскому с бубенчиками не ходишь? А? Не йог ли ты?

– Нет, не йог, – засмеялся я над его предположением. – Знаю только, что Будда в переводе на русский язык означает "просветленный". А я ленивый, мне этого пути не осилить. Хорошо бы обрести просветление даром, милостью Божьей.

Сирано задумался, видимо, перебирая в памяти все слагаемые моего сна. Усмехнулся:

– Да, прямо-таки фараонский тебе сон приснился. Тут без Иосифа Прекрасного или пророка Даниила не растолкуешь...

Мы шли по Московскому проспекту, переходя мост через Фонтанку...

Стоп, Сирано! Видишь справа от нас столб?

– Ну, да. Это верстовой столб. Да ещё с солнечными часами,

– Так я ж именно такой столб и видел торчащим из пропасти. Один к одному!

– Ах, вот как?! – вдруг, словно его осенило, обрадовался Сирано и пока я ему пояснял какие-то подробности, слушал меня отстраненно, скороговоркой поддакивая: "Так-так, интересно", а потом спросил:

– Ты хоть догадываешься, какое важное это открытие?.. Ведь это же знак пути. А вот березы? А кому они кланялись? Монахам что ли?

– Да нет, вроде. Поклоны были в сторону, куда-то или кому-то... Припоминаю, что вместе с удивлением меня мучило и чувство стыда: я как бы чувствовал, что (!) всё это значит... Они как бы каялись за всех, оттого мне и стыдно, что не понимал, в чем каяться.

Мы осматривали верстовой столб, рассуждая, каким образом можно было по нему ещё и время определять...

– Да, брат, я всяких снов насмотрелся, – снова вернулся к снам Сирано. – А однажды по пьянке в воздух поднялся – сам вроде лежу на кровати и в то же время чувствую, что завис... И поплыл по квартире. Лечу и знаю, что плыву к форточке на кухне и думаю, ну, конец тебе Серега, если форточка открыта, уплывешь в неё, как струйка дыма. Подлетаю – форточка точно открыта, только марлей затянута. Марлечка-то эта и задержала – ткнулся в неё и обратно поплыл. Ну, думаю, слава Богу... Но со мной всё понятно – пьянка, коматозное состояние. А у тебя?

– А может это просто бред вроде твоего полета к форточке?

– Понимаешь, знаки какие-то уж очень говорящие, – не согласился Сирано. – А ты, кстати, что делал накануне?

– Ты же знаешь, недели две жил в деревне, за мамой ухаживал... А буквально накануне картошку сажал. Впрочем, чуть не забыл – было это в родительскую субботу. Помню, старухи около хлебного ларька толковали, на кладбище собирались сходить, я тоже... Но тут как раз нашей деревне трактор выделили, радость. Колхоз – то фактически развалился. Ну, естественно, все всё бросили и по огородам. Моя очередь подошла где-то уж под вечер. Допоздна с ведрами картошки и лопатой таскался один. Умаялся. А откладывать было нельзя, так как через два дня мне надо было уезжать. В общем, где-то на закате уж маму покормил, чайку попил и – провалился.

– Слушай, – вдруг опять встрепенулся Сирано. – Ты что, не осмысливаешь, на какой день тебе сон-то приснился? Помнишь, что было в Иерусалиме две тысячи лет назад?

– Забыл я тогда...

Мы оба впали в молчаливое размышление, а потом Сирано снова возбужденно заговорил, обхватив меня за плечи:

– Троица же, понимаешь, Троица! Ведь именно в этот праздник храмы украшают березками, а Дух Святой сошел на апостолов!

– Однако, я-то ведь не апостол.

– Да это же неважно, Дух дышит, где хочет, – и даже впервые за всю прогулку назвал меня по имени, – теперь я точно уверен, что березы на обрыве пропасти – это Россия, а верстовой столб – это знак дороги, знак

пути. Иначе: путь России к возрождению – в покаянии! В покаянии! А все эти телевизионные орева только раздор... Россия без царя не Россия, а проходной двор. Она как храм без престола. ..

– После такого открытия не мешало бы и выпить, – съехидничал я. – Давай зайдем где-нибудь чайку или кофе выпьем... Не беспокойся, на это у меня наскребётся. Прохладно вроде стало. Погреемся...

Я втянул голову в поднятый воротник плаща. Дойдя до Технологического института, мы свернули на Загородный проспект, в начале которого, я знал, была дешевая кондитерская.

– Сирано, я в восторге от твоего толкования. Но как мне известно из курса обучения на философском факультете, древние мудрецы в таких случаях говорили: «Желаю возражать, чтоб знать potvrждение!» Ты что, серьёзно думаешь, что из этого разорения выход только один – в покаянии? Ты что полагаешь, ограбленный народ, которому месяцами не выдают пенсии и даже зарплаты, не говоря уж о многом другом, должен ещё в чем-то каяться? В чем?

Сирано весело засмеялся.

– И ты такой же... Помню, где-то в начале девяностых мы шли со студии с одним известным режиссером, ты его хорошо знаешь. Он кипел от негодования: грабеж, бандитизм, разврат... Вопросал, кто виноват, что делать?.. Лев Васильевич, говорю, каяться надо и молиться. А он в ответ: Головы «рубить» надо! А ты – каяться. В чем мне каяться?! Я блокаду пережил, честно жил и работал, не подличал, не крал, не убивал! В чем?! Я переждал, когда он по остыл, говорю: а в безбожии, Лев Васильевич. В том, что мы Бога отвергли. Дурак ты, говорит, Сережа, талантливый человек, а дурак...

Я ещё хотел сказать, что русский народ должен в первую очередь глубоко покаяться в великом грехе царевубийства и его семьи, но промолчал, побоялся, – кулаки видал у него какие!..

– Ну, если уж ты толкуешь о покаянии, – задиристо отреагировал я, – то человечеству за богоотступничество надо каяться со времен Адама и Евы. Именно тогда был сделан первый шаг. Однако не помню, чтобы человечество валялось на коленях... Даже когда Господь Бог Сам воплотился и первое, что сказал – "покайтесь" – мало кто на это отреагировал. А те, кто отреагировал – единицы. Но они теперь – иконы; им молятся. Но это, повторяюсь, если их даже и десятки тысяч, все-таки единицы. Да, единицы на фоне миллиардов человек, пребывавших с тех

пор на земле... Да и как это реально ты представляешь?.. Все вместе однажды упадут на землю или на асфальт и возопят: "Помилуй, нас Господи!?" Или поодиночке?.. Да ведь нынешнее просвещенное наукой и техникой человечество вряд ли всерьез верит, что небо и землю и всё, что на ней, – сотворил Бог... Большинство даже не понимает, какая разница между царем и президентом... Да и как теперь восстанавливать династию?

Возражая, я чувствовал, что не точно реагирую на слова Сирано, и говорю что-то противное и самому себе, в задиристости забыв, что речь идет о том, что лежит за пределами человеческого ума и если и постигается, то скорей всего иным путем...

Сирано, усмехаясь, молчал. Терзаясь от досады, вероятно, вызванной моим рассуждением, он сидел напротив меня, гоняя по доньшку чашки остатки кофейней гущи, а потом, как бы выплывая из неловкого положения, тихо обронил:

– А я уверен, что цареубийство – великий грех на русском народе, "кровь его на нас"... За это у нас и сегодняшнее разорение... И если все рассуждают так, как ты – тогда пропасть, приснившаяся тебе, – наша участь. Помнишь, как у Есенина: "А все это значит безвластье, прогнали царя – так вот – свалилися все напасти на наш непутевый народ..."

– Тогда лучше всем покаяться, – предложил я. Давай, подумаем, успокоимся, может, на сегодня хватит, – хотя мне вдруг захотелось ещё спросить у Сирано, почему он в моем сне не захотел снять тот фантастический кадр с березами, верстовым столбом и монахами на осинах среди туманной пропасти, но промолчал...

На улице нехотя моросил мелкий дождик, такой же, как в тот день год назад, когда я купил на выставке "Оптина пустынь" так поразившую меня брошюру.

* * *

«...Убегай даже самых малых грехов», – снова вернулся я к тексту "Правил", несколько расстроенный воспоминанием сновидения, – ибо не удаляющийся от малых непременно впадает в большие и тяжкие. Если хочешь, чтобы не тревожили тебя злые помыслы, то со смирением принимай уничтожение души и скорбь телесную»...

И опять чтение затягивало меня, не давая остановиться, словно несло течением, и после каждой прочитанной строчки непременно мелькал вопрос: "А что дальше?.. Что же ещё этакое, неслыханное?.."

«Принимай уничтожение души и скорбь телесную не в одно какое-либо, но во всякое время, во всяком месте и во всяком деле. Всякий помысел, удаляющий тебя от Господа, изгоняй из сердца как можно скорей, как сбрасываешь с одежды и одну искру, попавшую на неё... Но среди искушений не смущайся. Кто посылает случай к сражению, Тот даст и силы к победе... Если Бог за тебя, то кто против тебя? Испрашивай у Бога, чтобы Он отнял у тебя всё, что питает твоё самолюбие, хотя бы для тебя было это и горько очень... Когда потерпишь какое-либо бесчестие от людей, то подумай, что это послано от Бога к славе твоей, и таким образом в бесчестии будешь без печали и смущения... Никогда не спорь и слишком не защищай себя и не извиняй; ничего не говори против начальников и близких без нужды или обязанности. Будь искренен и прост сердцем, с любовью принимай наставления, увещания и обличения от других, хотя бы ты был и очень умен...»

В этом абзаце мне хотелось подчеркнуть почти всё.

Я тёк глазами по строчкам, словно догоняя их одну за другой, как по натоптанным тропинкам, вьющимся среди захламленного буреломом леса, проросшего в душе, и мне казалось, что вот-вот я выскочу на чистую полянку, ещё увижу и прочту какие-то слова из "Правил", которые объяснят и причину моего тягостного состояния, и смысл сновидения, и смысл моей беспутной жизни, и, вообще, смысл жизни, и ещё что-то, и ещё...

И в этом страстном ожидании я дочитал до слов: "Творя сие, будешь, — после которых пошел типографский брак, слова и строчки стали непрочитываемо бледные, лишь иногда с трудом проступали "имя Иисуса Христа всегда имей... уме и сердце... на сей земле и блаженную..." Мне казалось, что ещё что-то надо бы прочесть, что это "ещё" где-то тут рядом, должно быть в следующей строчке, но следующей строчке места не нашлось — лист был обрезан совсем...

1993 год.

РОМАН БЕЗ ЛЮБВИ



ПРЕДИСЛОВИЕ

Если на Севере среди зимы разразится гроза с проливным дождем, а на экваторе вдруг ударят морозы со снегом, вряд ли найдется человек, который никак не отреагирует на эти явления.

Скорей всего, африканец содрогнется. Глядя на небеса, содрогнется и северянин. Верующий перекрестится, и в душе, даже не привыкшей размышлять, невольно шевельнется вопрос: «Господи, что же это значит?»

В социальном климате, без малого столетие державшемся в СССР и казавшемся незыблемым, ЯВЛЕНИЕМ, аналогичным ливневой грозе среди зимы, был «гром» 1985 года, когда человек с кляксой на голове, будто оброненной ему на лысину из-под хвоста птицы, огласил с государственной трибуны о начале какой-то перестройки. Огласил, не обозначив ответов на естественно возникающие вопросы: *кто?* и *как перестраивать?* А лишь лукаво намекнул, что перестройка должна быть основательной, «надо прямо сказать, товарищи», просто революционной и смыслом её должна стать ориентация на «общечеловеческие ценности». Содержание их не расшифровано с высоких трибун до сих пор. Будто за ненадобностью – дескать, они и так всем известны. Действительно, они издревле известны всем. Но скоро выяснилось, что оглашавшие ориентацию, подразумевали иное. А перемены климата тогда мало кто не хотел...

И «процесс начался»... Потом он «пошел», а когда «углубился», на улицы городов полезли нищие, как мыши из подвалов, и главными словами в русском языке стали «миллион и доллар» и «секс и шоу»... К тому же начали убеждать, образно говоря, что лучше пить «керосин», чем водку. Тех, кто не соглашался, начали убеждать дубинками. Смысл «общечеловеческих ценностей» запроглядывал отчетливей, и вопрос: «Что же это такое происходит?» – наверное, не миновал даже самую твердокаменную душу... Среди же чутких и мыслящих тоже, наверное, не нашлось никого, кто не попытался бы осмысливать начавшееся углубление, ибо оно по эффекту потрясения не уступало снегопаду на экваторе земли... Отзывались различно...

Одни с восторгом, невзирая ни на что, как о желанном настоящем и как начале пути в новое светлое будущее России. Другие с недоумением. Третьи – с восторгом, быстро перераставшим в искреннее неприятие ни настоящего, ни грядущего будущего. Четвертые сразу учуяли в «громе» погибель. Пятые, вздрогнув, принялись выживать из последних сил в предложенных обстоятельствах, не обременя себя размышлением над тайнами глубинных перемен...

Кто имел возможность, высказывался публично: на телевидении, в газетах, журналах. Большинство же такой возможности не имело, или не умело высказываться. Но терзались вопросом все, каждый по мере сил...

И ещё терзаются, потому что «процесс» продолжается, хотя, кажется, близок к завершению...

Я терзался в числе третьих, потом окончательно скатился к четвертым, чующим погибельность «процесса» – не в смысле экономическом, тут, скорей всего, будет порядок...

Положение четвертого варианта делает в сущности бессмысленным и ненужным всякие размышления о происходящем. Оно призывает уже думать не об «общечеловеческих ценностях», а о вечных, и о жизни не текущей, а вечной...

Однако пока человек дышит на земле, он надеется, что ещё может быть лучше, чем ему кажется. Я – не исключение. Тем более, что «процесс» ещё не завершился и, как знать, может быть ещё отпущено время для чуда. И вполне возможно, что для свершения его, надо кому-то ещё раз пошевелить, все-таки, хотя бы пальцем: ещё раз сказать то, о чем уже всё сказано, напечатано и прочитано. Еще раз. Ведь оказалось же достаточным всего лишь мышки, чтобы дед с бабкой вытянули, наконец, репку...

Очерк мой никому не откроет ничего не слыханного, или «совершенно секретного». Разве что другие слова... Он – исповедь о терзаниях одного, никому неизвестного человека, именующего себя отребьем общества...

С самого начала «процесса» я заставлял себя молчать, изо всех сил пытаюсь опровергнуть дурные предчувствия, или думать о вечности. Теперь думаю, может, и хорошо, что однажды сорвался и выговорился хотя бы бумаге: может быть, хоть колебания воздуха, неизбежные даже при безмолвных терзаниях, до кого-то незримо донесутся и сыграют роль, ну, не мышки, а какого-то еще более мелкого животного...

Заставило же сорваться рядовое для «реформ» событие. Произошло оно в ночь с 12 на 13 декабря 1993 года. Его могли видеть на экранах телевизоров все. И, наверное, уже глубоко забыли, потому что теперь события следуют непрерывно, смывая друг друга...

Меня же оно взорвало наглостью что ли?., заставив вспомнить /выкричать/ хоть часть того, что передумалось в первые годы начавшегося разгула демократии...

1. ЛЕСОПОВАЛ, ОКТЯБРЬ -- ДЕКАБРЬ, 1993 ... В воздухе ещё не выветрился октябрьский запах пороха, доносившийся из Москвы, ещё плакали на поминках друзей, ещё дети бредили во сне и каждый день по привычке ждали, когда вернется домой папа, брат, сестра... Еще не хотелось возвращаться из панихидного состояния даже тем, чьего дома поминки не коснулись, а за «кулисами» уже слышались шорохи, шепотки, музыка в оркестровой яме, напоминавшие, что горевать некогда, что пора начинать следующее действие «спектакля».

И вот «над сценой» все уверенней начал подниматься огромный бархатно-брусничного цвета занавес, открывая на площадке приосанившихся «женихов» – депутатов. И в тревожных предчувствиях, в полутемном будто партере, затаилась усталая РОССИЯ. Затаилась, ещё утирая слезы, как подневольная ВДОВА... Иногда истерически хохоча.

Незаметно засасывая в трясину, опять возвращались обреченные надежды. Любопытство к очередному «сватовству», именовавшемуся выборами, смешалось с ощущением лживости спектакля...

–Ты что, Нарчужанов, тоскуешь по прежней власти? Не наработался настройке светлого будущего? Опять хочешь лагеря, парткомы, которые мне только что под юбку не заглядывали, чтобы за свои деньги выпустить меня в дружественную Болгарию? Или тебе мало вымотали душу в редакциях журналов? Ты что тоже брусничного цвета? – вопрошала жена в ответ на мои подозрения, запуганная разговорами о красно-коричневых...

Хоть и выматывали, но оставляли пространство и для меня. Были честные люди, которые ценили и тихое слово. Теперь же оно никому не нужно, и я просто выбракован, как заезженная лошадь. На рынке же тихо не говорят, там кричать надо, если хочешь что-то продать. А я вообще торговать никогда не умел. И учиться не буду – нельзя же, чтобы все занимались торговлей... Ты знаешь, каким я был «строителем», хотя и не бодался с ДУБОМ, как теленок. А те, что «бодались», кусали, кстати, за малым исключением, не выше колен. Они и сегодня галдят опять громче всех, толькоуже сетуя на развалинах | Отечества: мол, мы этого не ожидали! Так, значит, надо было думать глубже!.. А они, вместо того, чтобы покаяться, опять пугают парткомы! Да не будет их. Просто это НЕВОЗМОЖНО! А вот как назвать то, что происходит сегодня? По-моему, это ИГРА на изматывание под благими лозунгами, но с далеко идущими мистическими соображениями. Хочешь, назову? Или А. Блока процитирую!?

Дурак! Тебе во всем мерещится мистика! – негодовала жена.

Если обмен мнениями не превращался во «всемирную» дискуссию на кухне, я умолкал и, насмотревшись выступлений «женихов», ерничал иногда наедине с собой. Не глубоко. Не мистически...

* * *

Хорошо ли, вопрошал я, иметь возможность в любое время дня и ночи купить водки, пива и чего угодно? Хорошо. Бывает, очень уж хочется. Да если и водка окажется настоящей – совсем хорошо...

Хорошо ли иметь возможность приобрести любую одежду, обувь, духи, ананасы, машину, бананы – словом, все, что существует на свете! Мне столько не надо, но не плохо. Раньше такое лишь снилось, да и то в очередях, да и то не всем!

Не плохо, пожалуй, иметь возможность приобрести себе заграничный паспорт и без всякого просвечивания тебя на предмет идеологической надежности сесть в самолет до любой точки земного шара? Точно, хорошо. Особенно, когда тебе едва перевалило за двадцать, и всюду тянет, все хочется увидеть, узнать, потрогать, понюхать... Свидетельствую – очень хорошо, потому что среди множества претензий к почившему режиму – эта была одной из самых яростных...

Перечень вопросов с ответом «хорошо» иногда получался гораздо длиннее. Но чаще, замечал я с сожалением, мои попытки полюбить происходящее и вытекающее из него будущее, наталкивались на более длинный перечень вопросов совершенно иного смысла...

Хорошо ли, когда огромное имущество, нажитое несколькими поколениями, вдруг на глазах переходит в собственность юных почти «мальчиков», неизвестно откуда взявшихся, и как ни в чем не бывало, возглавивших какие-то концерны, фирмы, СП с миллиардными капиталами?..

А те, кто по тридцать, сорок лет честно отработал за минимальное прожиточное вознаграждение, вдруг оказались отверженными, не зная, как и где заработать на пропитание? Профессия упразднена, сами не достаточно молоды, чтобы начинать с нуля вместе с двадцатилетними. И недостаточно старые, чтобы претендовать хотя бы на пенсийку! Но достаточно СОВЕСТЛИВЫ, чтобы вертеться мелким бесом! По-моему, не хорошо.

Ведь если бы мы начинали «приватизировать», даже грабить, жульничать, действуя, скажем, в условиях дикого Клондайка, тогда другое дело: кто сильнее, удачливее, наглее, умнее – пусть будет владеть всем и заказывать музыку остальным. Жестоко, аморально, но хоть честно, что ли? А в ситуации с Россией?.. Так хорошо ли должно

себя чувствовать огромное число граждан, обретших право приобрести все, не имея никакой возможности осуществить его?

Хорошо ли, когда великую культуру страны на экранах ТВ представляет кучка одних и тех людей во всех жанрах? Да ещё, как правило, цинично глумящихся, будто в этом мире нет ничего СВЯТОГО, а жизнь – просто некий процесс, идущий ИЗ НИОТКУДА В НИКУДА?..

Хорошо ли, что книжные полки заполнили мастера грязного романа, экраны – чужеродные сериалы с неодушевленными героями, а все российские писатели и кинематографисты то ли вымерли, то ли их никогда и не было? Наконец, что должны думать граждане, если вокруг России вот уже несколько лет будто кто-то раскладывает костры, периодически поджигая их то здесь, тотам? А хохол с москалем в устах «освободившейся» прессы выглядят чуть ли не заклятыми врагами. А русский язык чуть ли не самым великим злом для всех народов?..

Кто ещё не утратил память, тот должен вспомнить тот период «перестройки», когда пресса разъясняла малым народам (на русском же языке), что они утрачивают свои языки и культуры из-за засилия русского языка! Ну, и из-за русских, конечно!.. Будто именно русский язык! запрещал, или мешал помнить и изучать свой национальный. В лукаво построенных контекстах так и выходило – виноват русский язык...

И последнее из бесконечных вопросов. Хорошо ли, когда Россию вдруг объявили чуть ли не обреченной, если Запад не даст в долг какие-то 24 миллиарда долларов, а народ поставили в скандальные очереди за «гуманитарной» помощью с Запада же, где и шага-то не сделают, пока прибыль на компьютере не посчитают?

Не подозрительно ли, что под предлогом истребления прежних политотделов на народ обрушили пропаганду повальной деидеологизации всего на свете? И – особенно – армии!? Милиции! Службы безопасности! Не пахнет ли здесь той самой – мистической! – идеологией, прикрываемой заботами о переустройстве экономики?.. Ведь человек с ружьем без морали – просто наемный убийца! Зачем такая армия нужна? Если для защиты отечества, то это армия идеологизированная, патриотическая!

Если же имеется в виду защита государственных интересов, неизвестно в 'чем сегодня заключающихся, или же защита властителей с блудливыми лицами, тогда, конечно, лучше деидеологизированная!...

А свобода слова? А свобода вероисповедания? Нет, я не забыл об этих козырях! О том, как выглядит свобода слова, я промолчу. Это

видят все. Свобода совести?! Какое жуткое словосочетание! Совесть не может быть не свободна! Она у человека от Бога! И свободным можно быть только от совести!..

А вероисповедание в свободе не нуждается. Веру невозможно запретить или закрыть. Наоборот, она сильнее, когда её запрещают! И для христианина, например, пострадать или умереть за веру во имя Иисуса Христа – Благо! Ине надо отождествлять вероисповедание с массовым «христианским» или «мусульманским» движением в восстанавливаемые храмы и мечети. Это ещё не означает ИСТИННОЕ верование. Верующие истинно в разрешениях властей не нуждаются!..

Да простят меня реформаторы, поименовавшие себя демократами, за то, что неугодных для них вопрошений в моей душе оказалось больше... Их, конечно же, можно списать по поговорке: «Лес рубят, щепки летят!»

Конечно! Но кто из «реформаторов» объяснил гражданам: во имя чего летят такие щепы? Когда и какие плоды принесет России этот лесоповал? Хоть на что похож будет плод, которому приносится в жертву все? И совесть, и мораль и буквально человеческие души! На западный образ жизни!? Так хотеть его могут только заживо умершие люди, или те, кто рекламные витрины принимает за живую жизнь. Да разве что омраченные «керосином» юноши! Взрослые и думающие люди ведь знают, что такое «запад» За-пад.

Значит, надо было продолжать гнить в плановой советской экономике? Нет, не значит! Но только РОДНОЙ ДОМ, живущих в нем людей не перестраивают с повадками, напоминающими войну! Да и почему ВСЁ сводится к заботам об экономике!?

Вопросов задавать можно бесконечно много. Но под дымовыми завесами трагедий, сенсаций, перестановки министров, референдумов и дискуссий специалистов ОДИН из ответов проглянул довольно скоро и убедительно: весь этот «дым» нужен для того, чтобы узаконить за кучкой избранных некогда «общенародную собственность». Этого вроде и не скрывали. Скрывали только кучку, объявив, что общенародная собственность будет теперь ЛИЧНЫМ достоянием всего народа! Но как сделать, чтобы собственность эта досталась все-таки ИЗБРАННЫМ?!

А очень просто...

Надо, например, выпустить якобы ценные бумаги, вроде ваучеров! Громко натемнить относительно их мифической стоимости! Потом, будучи твердо уверенным в бесшабашности русско-советской натуры и атрофированности её любви к частной собственности, расставить около станций метро болванов с карточками на груди: «Куплю ваучер» и –

почти гарантия, что треть ваучеров окажется в нужных руках, знающих, что к чему! Расходы на скупщиков – пустяковые!..

А как выудить остальные семьдесят, скажем, процентов?

Похитрее, но тоже не трудно. Надо создать целую обойму крикливых фирм вроде питерских «Блицев» и «Реваншей», они соберут свое и смоются, как аферисты. Народ, конечно, пошумит, но государство за это ответственности не несет. В том и перестройка! Свобода предпринимательства...

Для остальных же граждан, не упустивших на дурика свое «достояние» и уже побаивающихся обжечься, создадим фирмы солидные: Алмаз-инвест, Гермес, Нефть-инвест, Русский дом, МММ и дадим мощную рекламу! На «алмазы» и «нефть» не могут не клонуть! Ведь это же звучит увесисто!.. Но они тоже, помухлевав с бумагами, незаметно обанкротятся! Мы найдем, чем отвлечь граждан от посягательства на «дивиденды»! Войнишку какую-нибудь затеем в «Татарстане» или даже и на Балканах!...

Зато уж после этого сбора большинство ваучеров окажется там, где им положено быть – в кучке, которая и будет дальше править бал. Останется только оформить все в соответствии с новыми Законами. Ну, а нужные законы мы уж как-нибудь протащим!.. Юристов достаточно.

Если граждане пороются в своих воспоминаниях о хождении в «фирмы» с ваучерами, они легко усмотрят такой сценарий...

Однако усмотрели немногие. ИМ деликатно и всенародно намекнули, что они алчные дураки...

А тут опять ВЫБОРЫ! На этот раз не в расстрелянный Верховный совет, мешавший торжеству реформ, а в Государственную Думу, выбираемую, наконец-то по демократическим правилам!

О, Боже, – думалось после поднятия над сценой бархатно-брусничного занавеса. Если уж суждено России скончаться, то произойдет это от рекламы «перхоти с тапаксами» и выборов...

Но делать нечего. Да и хотелось все-таки поверить ещё раз! Я опять пытался избавиться от мистической подозрительности и рассуждал...

Демос – народ. Кратос, кажется, власть. Стало быть, демократия – это власть народа. Выходит так! Стало быть, народ властвует сам над собой? Выходит – да! – толковал я себе, довольно быстро скатываясь в стилистику разговора парткомиссии, принимавшей платоновского Фому Пухова слесарем для ремонта черноморской развалины «Шаня»... Как это осуществить реально?

С помощью волеизлияния на выборах за кандидатов, выдвинутых различными партиями и блоками! Но их же развелось, как шампиньонов

на навозной куче, и они никогда не объединят общество в народ, а только растерзают его! А это ещё страшнее классовой борьбы!

Демократия – это равенство всех перед законом, разъясняли мне в газетах. А законы откуда возьмутся? Их разработают народные избранники, а Президент, может быть, утвердит!..

А если кто нарушит закон, как я буду добиваться равенства?

Через суд! – отвечают мне... Нет, боже упаси! Лучше бы как-нибудь иначе улаживать. А то ведь со всяким пустяком – в суд. А я, помню, оказалось, что даже заявления не мог написать по форме. Почеловечески изложил, говорят, надо по форме! А как? А для этого есть юристы! Заплати и – напишут! Да вы что? мне и на сигареты уж не хватает!. Нет, не пойду голосовать! Может, тогда отменят! Пусть уж правят те, кто уже правит!..

Бесполезно! Желающих голосовать наберется достаточно, особенно если назначить проходимость в Думу такую, при которой два с половиной человека могут решить дело за десятерых...

Ага, значит, надо идти голосовать! Но за кого!? Их так много, и все они такие говорливые, умные, а главное, вертлявые. Все обещают, обещают, а когда выберешь, тут же про него пишут, что избранник уже строит себе дачу незаконно и счет в швейцарском банке открыл. А обещать начинают другие, рвущиеся туда же...

Или ничего не обещают, кроме того, что будут преобразовывать общество по единственно верным и неизблемым законам экономики. Как учение Маркса-Ленина! А единственно верным оказывается то программа «500 дней», то «шоковая терапия», длящаяся годами. Ничего себе шок?! Умереть же можно?!.

Не умерли бы, если бы был простор для приватизации! – отвечают.

Да, это серьезный аргумент! А если бы дали простор и ничего хорошего не получилось? Тогда что по закону?.. Суд?.. Скорей всего – ничего. Всегда можно сослаться на иные причины и капризно уйти в отставку!..

Нет, не пойду голосовать ни за кого! Ну, их всех к черту, прости Господи! Пусть сами себя назначают, грызутся между собой,.. пусть делают все, что угодно, пусть возьмут себе все, что хотят! Пусть оденут меня в фуфаячку с номером вместо имени, как присвоили номера линиям Петербургского метро, якобы для удобства иностранцев!? (Не видел, правда, чтобы на случай возможного приезда русских в Лондоне или Париже что-то переименовывали и писали на русском названия шопов?) Но пусть! Пусть поворачивают все, как на западе! Пусть превращают Россию в безликое экономическое пространство, а меня в

скотину! Только бы прекратился этот галдеж с шабашами, шоу, полями чудес, миллион-лотто, парламентскими дебатами, с принципом разделения властей – не понимаю, почему это хорошо? Но помню, что если царство разделится внутри себя, оно падает!.. Не хочу, не пойду 12 декабря никуда! Тоже роковой месяц для России. Как и октябрь! Специально выбирают их, что ли?..

Нет, Россию жалко! Ой, как жаль! Шатаешься, окровавленная, как мамонт. И со всех сторон рвут тебя, зубками щелкают! Не волки даже – шакалы. Не понимают, что если переделают тебя по своему образу и подобию, не долго продержатся и сами..

«Вы, что русские именем, а с виду заморские щеголи! Девизом – свое на чужое выменим, вы виды Отечества трогали!..»

И хотелось просто заплакать...

А вечерами, «в час назначенный», на сцене опять появлялись «женихи» и, откашлявшись, от волнения начинали заходить и так, и этак, заботливо обещая какие-то коммунальные услуги. За исключением одного – тот с яростной убедительностью обещал вернуть ИМПЕРИЮ!

И почти «ностальгически» думалось: «Легче было при старом режиме: пойдешь не туда, сделаешь не так – посадят. Скажешь не то – упрячут!.. Хоть кто-то да чувствовал себя надежно...»

А тут? Иди куда хочешь, делай, что угодно. Никто никому не нужен. Хорошо. Вот только радости нет... За пропитание душу надо клакладывать! иливался на улице...

И с друзьями, ринувшимися в предпринимательство, уж и поговорить стало не о чем – в их недавно трепетных душах все заняли комбинации сделок, тонны, доллары, будто все остальное вдруг перестало существовать... Друзья уплывали к другим берегам, и по улицам города я ходил, поживаясь, втянув голову в воротник пальто, как шпион в тылу врага...

Опять вспоминался А. Блок: «Век буржуазного богатства, растущего незримо зла. Под знаком равенства и братства, здесь зрели темные дела... Но тот, кто дергал, управляя марионетками всех стран, тот ЗНАЛ, что делал, напуская гуманистический туман...»

Двадцатый век... Еще бездомней. Еще темнее жизни мгла. Еще чернее и огромней тень Люциферова крыла... Там вместо храбрости – нахальство, там вместо подвигов – психоз...

Стихи хотелось читать до конца «Возмездия». И опять думалось, что жизнь человеческая никогда не стоила столь плёво, как под новыми гуманистическими лозунгами о свободе личности...

2. ЖРЕБИЙ

Насколько помнится, ни одного из случавшихся внутри меня монологов то ли о демократии, то ли о людях, поименовавших себя демократами, ни разу не удавалось довести до завершения хладнокровно. Всё захлестывали эмоции, порождавшиеся «демократическими» преобразованиями, подачу которых продумывали столь изощренно, что самые тяжкие злодеяния, сообщенные сегодня, к послезавтрашнему дню уже совершенно забывались. Или даже мгновенно стирались разудалой рекламой, вырабатывая в душе привычку к ненужности сострадания и существованию без смысла. Даже больше: если новости не приносили ничего скандального, день казался прожитым «не интересно» – невкусно, как суп без перца и соли...

Жизнь каменела, рассыпавшись на одиночек, люди будто переставали ощущать друг друга, и с обреченной надеждой ждали чего-то «от телевизора». А там повторялись те же новости, или эксперты разъясняли, что демократия – это равенство всех перед законом, без исключения... Я, помню, думал, что закон, как дышло, куда повернешь, туда и вышло... Что они, эти юридические законы, даже самые нравственные, по сути и способу действия безразличны к нравственности. От них надо только уметь увертываться: увернулся, откупился, не доказано, значит, не убийца, не вор... А доказать практически невозможно, а Раскольниковых, терзающихся убийством старухи-процентщицы, теперь сыщешь не скоро. А значит? Увернуться нельзя только ОТ СОВЕСТИ. А о ней-то в желаемом правовом обществе, как раз и не говорится...

Именно поэтому на Руси издревле чтили не юристов и адвокатов, а СВЯТОСТЬ И СВЯТЫХ. И жить стремились ПО-БОЖЕСКИ, ПО СОВЕСТИ.

Не так уж хорошо это получалось, но и не заблуждались на тот счет, что совесть можно изъять из обращения, если будут написаны точные юридические законы, и что можно обезопасить себя, разрешив всем держать в карманах пистолеты и газовые баллончики.

Понять же, что такое демократия, так и не удавалось. Наконец, на Санкт-Петербургское радио вызвали то ли из Голландии, то ли из Дании доктора социологии, посвятившего изучению этого феномена всю жизнь...

Именно так представили – всю жизнь.

Минут десять он морочил эфир, гораздо скучнее наших мудрецов, но в заключение блеснул:

Демократия – это когда вопрос решен, когда решение уже принято, а ДИСКУССИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!..

Вот теперь понятно, отозвался я, но грустно подумал, что гонят Россию опять куда-то не туда!? Будто по второму кругу, после 1917. Гонят опытные гончаки, изошренные, вовремя подпугивая лаем, вовремя умолкая, но настолько, чтобы опомниться времени не было... Что похожа Россия на огромную рыбу, снова клюнувшая на блесну, заброшенную опытным спиннингистом, прекрасно владеющим снастью да ещё с электронной катушкой, чутко чувствующей напряжение «лески»...

А тут ещё разудевшаяся пресса, словно запущенная чесотка, с приближением 12 декабря прямо-таки угрожала, что если не выбрать «демократов», единственно верно знающих все, то вы, граждане, пропадете!.. Пропадать, вроде, не хотелось. Но за кого?! И вообще, идти ли?

Голосовать хотелось за что-то ТРЕТЬЕ! Но его ни в чьих бюллетенях не значилось...

И неожиданно для себя, я решил бросить жребий. Загадал: «Если завтра Россия явным большинством проголосует за тех, кто больше всего предлагает «в мужья» себя, России больше нет! Её уже преобразовали! Наконец, с ноль-ноль часов запретили всякую агитацию. Всё! Завтра! Я затаился в ожидании результатов!..

3. «НОЧЬ ПРИМИРЕНИЯ! ШОУ»

Кажется, что вечно мятежная петербургская погода накануне события присмирела, может быть, обессилев, как человек, долго метавшийся в жару лихорадки. Кончились дожди, затих ветер, слегка подморозило. На мрачный Петербург посыпался неторопливый, будто усыпляющий снежок, в квартале новостройки раньше обычного наступило затишье, и, как мне показалось вроде бы даже и спать все улеглись пораньше, заснув в радостно-тревожном ожидании утра...

Утром же, прокладывая тропинки по свежему снежку, к избирательному участку с разных сторон потянулись люди: и врозь, и с детишками за руку, также дружно, как в минувшую недавно эпоху – явно принарядившись и посмотревшись в зеркала...

Тянулись не шумно, не суетливо, а все-таки с заметным волнением, приглядываясь друг к другу, не споря, будто тоже соблюдая установленный запрет на агитацию, но оставаясь себе на уме...

Получив бюллетени, уединялись за столики – тут уж не как прежде – вчитывались, уточняли, и вот – ОПУСКАЛИ!?

Опускали, заглянув по привычке в буфетик с пивком, пепси, кола,

все честь по чести. И расходились восвояси, с усмешкой будто думая про себя: "Ну, теперь надо только подождать. Больше уж делать нечего. Мы свой долг исполнили по всем правилам. Интересно, ребята-демократы, чего мы выдвинули? Но надо подождать! Нет, не десять дней, как по закону, чего столько темнить-то? Мы же только вступаем на цивилизованный путь! Но хотя бы сутки-то потерпеть придется!..

Однако, страсти разыгрались непредвиденно. Пожалуй, даже и для тех, кто, несомненно, голосовал за то, к чему призывали настойчивей всего: выбор России – это «Выбор России».

Проясниться стало все непредсказуемо рано. Да ещё как?! ШОУ!.. Вечером, когда тихоокеанская волна результатов голосования ещё только наполовину одолела Сибирь, на экране телевизоров появились банкетно накрытые столы с шампанским, салфеточками, словно яхточки с парусами! И какой-то шумок, в котором между столиками опять прогуливались «женихи» и без того замучившие больше, чем реклама...

Что это такое? Свадьба уже что ли? Неужель уж известно, кто высватал Россию? – спросил я с незнакомым уже чувством удивления. Кто теперь хоть чему-нибудь удивляется, глядя в телевизор?..

И вот на экране появилась Ведущая, всемирно известная по телемарафонам в пользу бедных, увенчанная золотым колокольчиком из рук тоже всемирно известного ювелира, заскочившего на этот вечерок по пути к Испанской королеве... – это он обронил как бы мимоходом.

Сияюще Ведущая разъяснила, что шоу на этот раз посвящено наступлению «нового политического года». (Это ещё что за диво?..)

Пусть эта ночь станет ночью примирения – разъяснила Ведущая.

«Точно: днем мужик с бабой ссорятся, а ночью мирятся. Неужели уже и свадьбу сыграли?»...

Честно говоря, после этого я почувствовал себя проигравшим «пари».

Видать, все несомненно, если уж в прямом эфире транслируют?!

И почему-то все в куче: и коммунисты, и демократы, и либералы, и «женщины»? Они что, вдруг объединились все, переодевшись в футболки одного клуба? Решили признаться, что вся предвыборная борьба была всего лишь эффектной аферой на манер одноименного американского фильма?.. – «Афера».

Потом начал что-то показывать порядочных размеров экран компьютера, на котором даже в моем телевизоре 70-х годов различалось мелькание строчки цифр. И кругом таинственные шорохи, шарканье, шепотки...

И сияла Ведущая, уверенная в неотразимости своего таланта управления телемассами, призывая общаться активнее:

Ведь сегодня же встреча нового политического года! – напоминала она гостям, вскидывая микрофон, смущаясь только одного: как обращаться? Товарищи, или господа? И как-то умело маневрировала этими словами, обходясь без них.

Кандидаты выпивали и закусывали, как гости на свадьбе у Бени Крика, нисколько не внемля призывам, лишь искоса поглядывая на соседей...

Ведущая же, не теряя надежды, что гости «ночи» или вспомнят привычку реагировать на призывы, или сработает выпивка, начала зачитывать приветственные телеграммы, будто бы полетевшие в адрес «ночи» со всей России. Зачитывала одну пошлость за другой, опуская их в «ларец пожеланий», будто бы тоже оказавшийся тут чудесным образом!

Гости выпивали умеренно. Ведущая запоглядывала на компьютер... Тот показывал, но что-то не то!

Ну, что это он показывает?! Ну-ка, еще раз запросим Центризбирком?!

Что это у них там происходит?! – и запрашивала.

Компьютер добросовестно показывал то, что в него закладывали, и его убрали за кулисы. Потом вернули. Он – опять свое показывает!..

И на экране вместо него испуганно засновал помощник Ведущей – нарядный молодой человек, видимо, ждавший этой «ночи», как своего звездного часа. И вот – угроза совсем иной славы!..

С микрофоном он выпрашивал у каждого, кто соглашался хоть что-нибудь сказать, и по каким-то бумажкам зачитывал избирателям, сидевшим теперь перед телевизорами, результаты их дневной активности! Сообщал, ерзая, и все повторяя:

Результаты предварительные! Предварительные!.. Но все-таки, что же это происходит?.. – Господа!? Товарищи? Ну, что же вы на меня совсем не реагируете? Ведь сегодня же ночь примирения! – уже в отчаянии взывала Ведущая со своего накалившегося тронного места.

Но на помощь ей высказывали только «запасные игроки»... Высказывали таким мелким бесом, что-то рассказывали, толковали, даже пели, давая Ведущей возможность если уж краснеть от срама, то хоть за кадром...

Компьютер и за кадром продолжал сообщать не то: настолько неуютное инеожиданное для организаторов торжества «демократии», что воздух в банкетном зале, кажется, шипел, как масло на раскаленной сковородке:

«Шириновский! Шириновский!.. Больше всех голосов собирает! Опять больше!..»

И все чаще замелькал сам обладатель фамилии – причесанный игриво этак, но со вкусом. В галстук под воротничком до голубизны белой рубашки, он важно отхлебывал Шампанское, слегка маневрируя указательным пальцем. Хорошо двигал, эффектно..

И свадьба запаниковала: невесту уводили не те «мужья»! Выбор России склонялся не к «Выбору». Над залом витало уже что-то вроде ужаса: «Боже мой! Все пропало! Шириновский?!..»

Ужаса, которого один из противников побеждавшего претендента не выдержал, то ли от отчаяния, то ли расслабившись шампанским...

Россия!? – сказал он, старческой походкой добравшись до микрофона. – Россия! Опомнись! Ты одурела!..

Неловко как-то стало. Помню, в суматохе чувств без злобы и радости подумалось: «Возможно. Есть отчего!»

Мое предвыборное пари подтвердилось: «Значит, она еще жива. Ошибается опять, однако дышит по-своему...» Но приговор прозвучал:

«Одурела Россия!»

После этих слов над банкетом повисло оцепенение, будто дернули за шнур пушки, стрельнувшей по снежной лавине. И все замерли в ожидании, когда она пойдет в сторону ущелья? И пойдет ли!?. Она пошла!..

Я видел, как расстреливают набухшие лавины снега на горных вершинах, чтобы предотвратить их СТИХИЙНОЕ сползание...

Вот снаряд улетел, через мгновение вдалеке, у вершины горы, появилась темная ранка и облачко снежной пыли, как дымок, из-под которого покатались маленькие комья снега, постепенно превращающиеся в валы, сметающие на пути все без разбору. И – гул...

Это жуткое по своей беспощадности зрелище – даже издалека, – и вспомнилось мне в тот момент, когда прозвучало: одурела Россия. Только эмоции были иные: досадно, жалко и стыдно, как бывает при виде человека, обмочившегося публично...

Но оказалось, что случившееся в ту притихшую ночь было лишь «дымком» над ранкой в снегу. Лавина же хлынула утром и сползала, накручивая валы, кажется, дня три непрерывно...

4. «ФАШИСТЫ»

«Ночь примирения», говорят, закончилась как-то странно. Будто кто-то, где-то глубоко за полночь вырубил щит, питавший банкет электричеством.

Караул устал!..

К сожалению, я не имел возможности досмотреть «бал» до наступления С"-, этого момента. Жена, колеблющаяся, но демократка, вдруг непререкаемо заявила, что маме-пенсионерке нельзя смотреть телевизор так долго. Раньше смотрели и дольше. Но жена не шутила и противостоять этому не смогла и сама мама, дремавшая под шумок: «Смотрите, мне нисколько не мешает. Все равно ничего не понимаю. Какая-то новогодняя ночь 13 декабря?! Господи! Ни по какому стилю не проходит...»

Ты, девушка, зря колеблешься. Ты истинная демократка, – смирно отреагировал я и, покурив на кухне, заснул, когда за окнами опять потихоньку опускался в потемки редкий снежок. Одинокий, неторопливый такой, будто успокаивающий, что ничего особенного и не произошло... Но оказалось не так!

Утром первого дня нового политического года – выбрали же 13 число! – едва я включил радио, стало понятно, что выстрел был точный – ЛАВИНА ПОШЛА. Около радиомикрофонов стоял уже ажиотаж, от которого ящичек на стене кажется нагревался.

В эфир, словно вороны, заслетались политологи, социологи, юристы, журналисты, словом весь цвет «демократической мысли». Казалось, в бой, кто-то бросал отборные силы – гвардию, что ли?

И все время – Шириновский, Шириновский. И с небольшими перерывами все о том же, так что первые дня три и включать-то что-нибудь было боязно...

Демократы должны срочно принимать меры! Ещё есть время! Фашизм не пройдет! Надо объединяться в антифашистский Фронт! Все, довыбирались – война! Россия одурела!..

Кому объединяться, против кого? Хотели демократических выборов, они состоялись. А, может, одурели те, кто вопит?..

Об этом не говорилось...

5. ОДИНОКИЙ ВОЛК

Первая ассоциация от слушания ораторов и аналитиков – будто собаки в деревне заголосили, почуяв приближение волка... Причем, ОДНОГО, как утверждали голосившие. Без стаи. Он один, твердили будто заклиная. То ли действительно знали, что один, то ли говорили из склонности к вранью, понять было невозможно. Но говорили все так,

что даже у меня, вполне безопасного для великих преобразований гражданина, невольно закипала ярость:

Да вы что, братцы!? Вам что не терпится затеять драку?! – Слова мне, естественно, никто не предлагал, – я не «демократ», и обращался к какому-то стоглавому существу, воплотившемуся в этом слове,

Хватит, – отвечали мне по радио. – Мы слишком либеральничали, мы вели себя слишком демократично! Разделились на блоки, амбиции,.. граждане запутались. И вот результат! А этот одиночка раздавал безответственные популистские обещания, спекулируя на низменных чувствах народа. Хватит! С волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру!.. Есть ещё время, надо срочно вразумлять народ!...

И трескотня эта напоминала пулеметную, не утихшую ещё с минувшего октября... Ту стрельбу, которой ораторы больше всего боялись... Слушая, я снова закипал. Молча...

Вы что, господа?! Решили, что российский народ без оглядки бросится в объятия к вам, воочию видя, как лидеры ваших движений, занимая ведущие посты в государстве, без смущения рассуждают: да, мы, я, вступали в КПСС, в том числе и во время перестройки! А как же было не вступать?! Без этого же невозможно было стать профессором, тем более заведовать кафедрой. Что же было делать? Время было такое. Тогда и слесаря для ремонта «Шани» пропускали через парткомиссию...

А ведь именно в таком духе рассуждал публично профессор-юрист, мэр и лидер какой-то демократической подсекции. Перед управляемыми им горожанами! Не только не краснея, но, кажется, даже и не подозревая никакой гаденькости. Все так поступали!..

А если завтра, В.В., действительно окажется не один и заткнет даже саму мысль о карьере всякому, кто не член его партии!? Где гарантия, что мэр- профессор-демократ не станет убежденным либерал-демократом!?.. Все так поступали! Нет, не все! Даже среди тех, кто состоял в КПСС, большинство исповедовало иные принципы. Ваши же исповедовали те, кто и от красных билетов заотказывался – громче всех, почуяв поживу в «демократии»... Да вы хоть понимаете, что для честного человека – это тоже, что в лицо ему плюнуть?! Такой вертлявости на Руси не чтили никогда. Могли простить, но не чтили. Оказалось, что и сегодня ещё чтят не все!..

А вы сразу – одурела Россия!

Россия – категория метафизическая. Это прежде всего – ДУША...

«Россия – лев, Россия – синь, Россия – брошенный ребенок! В стихах Россию вознеси...» Россия! Какое белое слово! То ли снегопад, то ли метель...

6. ВДОВА

Странно, все вроде есть: Президент, Дума, армия, флот... А не покидает ощущение, что ОНА как заблудшая незамужняя женщина. С венчанным Самодержцем развели! Большевик силой взял, даже погоревать не дал!.. Теперь вот пошла по рукам. Через каждые четыре года – новый муж. Не венчанный, но законный. А все равно будто – ВДОВА...

К вечеру 13 декабря феномен «Жириновского» был, кажется обмозгован, хотя и эмоционально. Событие трогали со всех сторон, кроме той, где «виды Отечества»...

А именно этими видами проигравшие и вызывают сильные сомнения. И, собираясь на выборы, Россия уже инстинктивно ЧУВСТВОВАЛА, что с ней делают что-то не то?! Не так! Что её опять будто насилуют!.. Почувствовала, ещё не осознав – по лености, по глупости, по доверчивости и склонности к долгой раскачке, – кто? во имя чего? Но сопротивление, робкое и не точное ещё, на всякий случай обозначила!.. Как деревенская вдова вдруг неожиданно бьет по лицу заезжего столичного красавца, возмнившего себя неотразимым и лезущим в постель, когда захочется, почти не скрывая, что она для него – явление временное: так, пофлиртовать в командировке... И она это чувствует, и стесняется, и терпит – что делать? впуталась в историю. А красавец, не давая очухаться, развлекает её шаловливыми разговорчиками, хвастая знакомствами, непрестанно советуется о чем-то со всеми заграничными, преподнося оттуда диковинные подарки в невиданных оберточках... Играет фальшивыми, но вроде как бы бриллиантками, на что-то намекает в будущем – ну, если не женюсь, то озолочу – и все умничают, умничают. От этой ларешной мельтешни уж в глазах рябит, и голова кругом. И хоть чует баба дурной запах, но уж стыдно и признаться провинциалке. Да и неловко - а вдруг я по простоте и необразованности ошибусь, и хорошего человека обижу?!

А красавец, наглея, того и гляди уж и родителей пожилых, и детей из дому удаляет, когда у него страсть... И так раз, два..

Наконец, вдова не выдерживает и грубым жестом выпроваживает красавца из дома. Резко, ещё не безнадежно, сохранив шансы на ухаживание... Но выпроваживает, инстинктом чувствуя, что даже если красавец и одолеет её, и будет делать все, что угодно, она все равно никогда не согласится и не утешится его «бриллиантками» и удобствами, на которые он намекает. Никогда! Все это хорошо, наверное, там, в цивилизованном мире. Может и вообще хорошо. Но мне этого мало! Я посложнее беспечного благополучия, которое ты мне обещаешь. Оно мне СКУЧНО! Я же не блудница! И не Дама,

именуемая рыночной экономикой, отдающаяся каждому, кто больше заплатит!..

И перед выбором 12 декабря Россия будто завопросила:

– Да и вообще, кто же этот «демократ»? Что у него за характер! Кто он? Хлестаков? Чацкий? Репетилов? Бобчинский?.. Павел Иванович Чичиков?.. Да на всех, вроде, похож красавец! Довыбиралась ты, Матушка! Ведь если приглядеться, то и не Чацкий, и не Чичиков, а сам Люцифер?! Во всех лицах. Ведь умен же, как черт, помилуй Господи! Вот и стихи давно написаны на такой случай: «Служил не Богу ты, и не России, служил своей лишь суете! И все дела твои: и добрые, и злые – все ложь в тебе, и призраки пустые. Ты был не царь, а лицедей!»

Хм? А вдруг, и правда, лицедей этот – просто сатана?!.. Пожалуй надо призадуматься, куда клонятся эти попойки с политесами на иностранный манер? Вертляво до бесстыдства!.. А я ведь ещё помню себя Русью Святой. У нас в цене была совесть, целомудрие... Материальную нужду-то я бы потерпела – не привыкать! Особенно, если понимаешь, во имя чего?! А от «демократа» ответа на этот вопрос никак не дождешься. Он его как-то ловко обходит. Ясно произносит лишь одно визгливое на русский слух слово:

«Приватизация! ...зация!» Да имя «дамы» – рыночная экономика. Вот если их осуществить, тогда все будет хорошо...

После 1985 года жизнь в России полетела будто под откос, и в полете этом трудно что-либо осознать глубоко – все громоздится, подминая друг друга. В том числе трудно осознать и суть рыночной экономики.

По инерции в обывательском сознании подразумевается, что рыночная экономика – понятие, относящееся исключительно к сфере производства товаров, и опирается на здравый, вроде бы принцип: кто быстрее, дешевле и надежней делает сапоги, или космические ракеты, тот пусть и процветает. Этомы, пожалуй, и до сих пор подразумеваем по простоте, когда реформаторы убеждают нас в спасительности рыночной экономики. Ну, а если хоть и «в полете», но оглядеться?! Так ведь ясно же, как божий день: товарами, подразумевающимися рынком, оказываются отнюдь не только сапоги и ракеты, а буквально все: почки, сердца, женская красота (и мужская, наверное), талант, совесть, словом, душа человека. То есть, все то, что во все века, если и пускалось на рынок, то либо нелегально, либо со стыдом. Когда же эти «товары» становились нормой, народы стирались с лица истории. И Римскую империю разрушили не варвары, а РАСТЛЕНИЕ, ставшее государственной идеологией. А какая сегодня идеология в «государстве» Российском? Если иная, то как назвать «конкурсы

красоты», если не аукционами товаров из ЖЕНСКИХ Тел?.. В подробности этой стороны наших «реформ» я углубляться не буду. Подчеркну лишь то, что мало кем имеется в виду: красота в любых её проявлениях, талант, совесть, вообще жизнь, – это ДАР БОЖИЙ! За торговлю им, этим товаром, взыщется, при чем не только с тех, кто торгует – со всего народа, попустившего эту торговлю. И не случайно именно БОЖБЕ тоже стало товаром. Правда, только у «демократа»...

Напомнят мне умные: «Не продается вдохновение, но можно рукопись продать!» В ответ я тоже напомню: «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!»

Но, спросят, а Пушкины где?.. Отвечу: – На навозной почве успешно плодятся шампиньоны, а БЕЛЫЕ ГРИБЫ, к сожалению, не родятся!

7. ЛЕС

Что-то подобное, пусть смутно, нелепо, непричесанно, но похоже, бродило, наверное, по просторам России, когда она стекалась к урнам для голосования. И странно было наблюдать за экстренно организованным «торжеством демократии». Странно! Тем более, что на глазах у неё прохаживалась весьма заметная фигура... И выражается эффектно, и указательным пальцем поигрывает весьма внушительно. Хотя очень уж ЛИБЕРАЛ! Я вам обещаю, граждане, что восстановлю Россию в границах империи! День 12 декабря 1993 года для меня то же, что 22 июня 1941 для СССР! Жутко, но внушительно звучит, если, конечно, и это не блеф той же «экономики». А потом ещё что-то насчет компенсации вкладов в Госбанке, и на счет водки что-то.

Хмельная, должно быть, брага ходила внутри россиянина?! Что же делать? Одни умные, но с блудливыми лицами! Другие, вообще без лица! А этот?!

Ну, если и не голосовать рискованно, то сделаем, братцы, так: ухнем в этот, пусть и темный, омут! Хоть дух захватит! Хоть пугнем кой-кого!..

И ухнули! Если бы не оказалось Шириновского, «эта демократия» все равно не получила бы его голосов. «Его» миллионы отсиделись бы дома... Промолчали бы. И молчание могло вынырнуть и более опасно...

Против, значит, за! – слышу реплику.

По какой это логике? Да и за что – за? За фашизм? Так русский человек и узнал-то об этом от «демократов». Так что, если уж и бояться чего, так только тому, у кого совесть в «демократических» играх явно не чиста.

Впрочем, в азартной игре с огромными ставками на кону, уместна ли вообще совесть?..

Но ясно: 12 ДЕКАБРЯ РОССИЯ НИКАКОГО ВЫБОРА НЕ СДЕЛАЛА? ОНА ТОЛЬКО ПРОГОЛОСОВАЛА ПРОТИВ ЧЕГО-ТО!? Приподняла

брошенную ей перчатку, дав почувствовать, что обращаться с ней, как с БЛЮДНИЦЕЙ, опасно. Хотя и наблудила....

Но, на то она и Россия. Это не Европа, где все, словно в сквере, уложено, ухожено, подстрижено, размечено стрелками-указателями, так что непредвиденное почти невозможно...

И если уж пользоваться метафорами, то Россия по-прежнему «дикий» лес. В нем можно заблудиться, нарваться на дикого зверя, и один Бог знает, чем может закончиться такая встреча? Но зато непроторенные тропинки в лесу в любой момент могут блеснуть невысказанным дивом: «Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит!»

И Россия, хотя и глубоко изуродованная, ещё не утратила интереса к недостижимому и непредсказуемому. К ТАЙНЕ БЫТИЯ!

А без таинственности, что за жизнь? Имитация, что-то вроде игры в оловянные солдатики.

А судя по повадкам сегодняшних благодетелей, именно этих черт лица её и хотят лишить. Не согласится она на это. Во всяком случае, пока она помнит ОТКРОВЕНИЕ одного из своих поэтов: «Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю!»... Может, в этом она и «одурела»?

А, может, как раз опомнивается?!

8 ЭТА СТРАНА

Как бы там ни было, метафора, рожденная в ночь на небывалый новый год, сделалась крылатой, моментально облетев, наверное, все эфиры...

Через пару дней её осмысливали не только эмоционально, но и по самой тонкой науке – науке психоанализа. Почти дословно, по радио это звучало так: можно сказать, что 12 декабря в России чувства победили разум. При чем, низменные чувства. Иначе даже не предполагались. Вместо них была лишь подчеркнута честь институтского мундира: мы же предупреждали, что результаты могут быть именно такие, как получились. Но чувства победили разум...

Не знаю, ведомо ли профессору, что в России издревле дискуссионный вопрос: что лучше – ум ума, или ум сердца? Что русский человек прежде всего верующий – несмотря на весь его блуд, для ума всегда отводил место скромнее: «Мы полагаем, а Бог располагает». Но психоаналитику должно быть точно известно, пространство чувств в человеке гораздо больше занимает места, чем то, что он назвал разумом. Чаше всего ЖИВОЙ человек и не сможет

объяснить, почему так поступил? Чувствовал, что надо так! И все!..

Если уж чувства и победили, то вовсе не Разум, а всего лишь расчетливый ум экономического человека, корыстного, как точнее говорили на Руси. Такой ум не может удовлетворить даже шахматиста, играющего неодушевленными фигурами с точно зафиксированными функциональными возможностями. Великому шахматисту нужна еще интуиция.

Чувство это, или нет, не берусь определять, но точно, что не тот ум, которым хорошо считать деньги... «А сердце чувствует, есть туманы, движение смутное лесов. Неотвратимые обманы лилово-синих вечеров...»

Ну, а если по уму, то скажите, каким умом можно измерить содержание людей, называющих Родину «этой страной»? Публично, в эфир. Норма.

Не хочу строить догадок о дурных намерениях, продолжающих жить в «этой стране». Уезжали бы к другой матери!? Но попробуйте прийти домой и к родной матери обратиться в третьем лице?!

Умом этого не понимаю, но чувствую, что такое может зародиться только в душе не любящей. В ЧУЖОЙ!..

Так что же и сожалеть, что чувства победили «разум»? Не много и надо, чтобы победить его. Только не надо торопиться с упреком в изменности. А вдруг – высокие?! Те, которые пытаются задушить «этим умом»?..

И способен ли «этот ум» понять другое: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить!» Хотят ли понять правящие умы, что это не поэтическая метафора страны, зовущейся Россией, а тоже ОТКРОВЕНИЕ ещё одного её поэта! Что это – ИСТИННАЯ правда!..

Я вижу разные глаза и лица людей, хлопочущих якобы о благе России. Лица, невольно засевшие в памяти от постоянного мелькания на всех экранах, лишь ненадолго, до нужного момента, унывающие то якобы в отставку, то «фонды». Вижу усмешки: «Давай, валяйте, непостижимые», – то же усмехаюсь. Только иначе. Грустно...

Ясно же, что картежники! шулера, играющие крапленными картами! Никакого им дела нет до России. Пожиться бы... Может, все даже из одной команды, переодетшейся в разноцветные футболки?!.

Но хватит об «эностранцах»... Злое вдохновение, порожденное отравой «ночи», кажется, утихает. Ой, как хочется тихого слова! Как хочется, чтобы все это приснилось. Россия: шелест, шепот, боль, скорбь – все в одном слове. Россия! Какое белое слово. Снегопад. Метель. Но не приснилось...

9. СКУКА

... Подстреленная лавина наглого переполоха, постыдного для человека с чувством собственного достоинства, рушилась в эфир верных трое суток. На третьи грохот её стал вроде бы пореже, дно к пятому перешел как бы в подземный гул – залёг в недрах умов, не изменив сути и не утратив глубочайшего интереса к совершившемуся в короткие дни декабря шоу- событию...

Умы, чувствовалось, по-прежнему работали напряженно. Моментально образовалась даже какая-то новая партия в защиту какого-то среднего класса!?. Напряженно работали: размышляли, сетовали, явно провоцируя на какую-нибудь публичную реакцию главную «демократическую» фигуру – Президента. ..

Но Президент, за которого я вместе с большинством народа мерз на митингах, переживал и восхищался его терпением, когда ему почти бесцеремонно и пошло прямо-таки плевали в лицо, а он не позволял себе ни одного лишнего жеста, – Президент этот молчал...

Несмотря на то, что теперь на митингах в его защиту я мерзнуть не буду, не могу столь же откровенно не признаться, что, на мой взгляд, в ситуации переполоха он опять вел себя безупречно и единственно верно. У него точно есть то ли чутьё, то ли вкус. И, наверное, тоже не ум, а интуиция. Потому что если бы и он в своем поведении уподобился своим активным сторонникам, тогда бы уж срам был в последней инстанции...

У нас демократия существует как бы в верхах что ли – среди журналистов, партий, блоков... Это я кратко пересказываю размышление по радио петербургского писателя Ч. Михаила... Так вот, рассуждал он с чувством несомненной глубины мысли, демократия должна быть снизу. Или внизу?..

Вот представьте себе, если бы все мужчины какого-нибудь микрорайона, квартала, или хотя бы одного дома, а их, считай, наберется сотни душ... Вот если бы собрались они вместе, разбились бы на группы и каждую ночь по очереди дежурили бы на улицах, разве было бы столько хамства и хулиганства в этом квартале?

Конечно не было бы! А ведь дежурить-то пришлось бы раз-два в году. Вот тогда бы, конечно, и на выборах был иной результат...

Большого писатель, предложивший пустить в оборот квартальную демократию, не сообщил: то ли уж очень торопился ещё где-нибудь высказаться, то ли минут десять эфирного времени пролетели слишком быстро...

Не сказал, подойдут ли для охраны «порядка» безработные и нищие, или голодающие подростки для поддержания безопасности соседей по

дому, преуспевших в приватизации? Не сказал, предполагаются ли в условиях рыночной экономики отгулы за ночные дежурства, как некогда членам ДНД?...

После такого вразумления я долго ничего не смотрел, не слушал, не читал, ни,, ни-ни... Думал, все утихло. Ну, да?!..

А Шириновский-то ведь бил когда-то Гдяля! А какая-то его миловидная спутница приснула из чего-то газового в лицо кому-то! И это было в самом Кремле, где сотрудников госбезопасности было больше всех остальных! И никто, ничего, потому что всех отеснили мальчишки с бицепсами! Смешно? Нет, не смешно!..

Это уже сообщала по радиоэфиру всемирно известная демократка Бэлла.

Над Адольфом ведь тоже сначала смеялись, а что вышло потом?! Так что, граждане, не смейтесь. Не теряйте бдительности!

Правда, не теряйте! Только чего ещё надо бояться-то? Что ещё может быть страшнее происходящего? Лагеря, тюрьмы, парткомы, возвращением которых пугают обывателя на каждом шагу? Или возобновление строительства коммунизма?!.

Опаснее то, что так яростно защищается – «свобода!» Это «сладкое» слово... И при умелом употреблении его, оказывается, можно вполне разваливать государства и вполне законно работать на довольно быстрое удушение народов, не прибегая ни к лагерям, ни к тотальным мобилизациям в армию. Вполне интеллигентно: надо только с помощью рекламы на каждом шагу превращать любой пустяк – перхоть, или леденцы – в жизненно важнейшее событие, а любой СРАМ, то есть то, чего человечество всегда стыдилось, сделать публично почитаемым. И все! Продержаться в этой «свободе» надо лет пятнадцать, максимум двадцать. За это время люди, еще помнящие о стыде! вымрут, а двадцатилетние, с младенчества надышавшиеся воздухом «свободы», будут вполне цивилизованные люди, и – все царства лягут к вашим ногам. То, что сатана предлагал Христу, искушаемому в пустыне!.. И не увидеть этого в сегодняшнем дне могут только слепые, или уже СОБЛАЗНЕННЫЕ...

Получить же в свое политическое распоряжение срок в пятнадцать-двадцать лет в одурманенном пост-советском обществе, похоже, возможно: надо только разорение назвать перестройкой, и любое отклонение от её плана, любую попытку осмыслить что-то, объявлять гибелью – одурением России.

Наконец и Президент из недр своего могучего молчанияотреагировал на случившееся...

– Против бедности голосовали. Это те, кто беденькие, выкинули. – Отреагировал с усмешкой на лице. – Ничего страшного...

Мда? Достойная реплика!? И перепуганные интеллектуалы перестройки не замедлили отозваться новыми подробностями...

А Шириновский-то был ведь завсегдатаем общества «Шолом»! – продолжала разоблачения Бэлла.

Ах, вот оно что?! Вы, Бэлла, что, узнали об этом только после выборов? Знали ведь, наверняка, раньше! Так что же не разоблачили хотя бы уж до подсчета голосов? А этот «Шолом» что, очень опасен?

Не знаю, кто такой Шириновский? С кем так эффектно играет? Но только после этого слушать поствыборные разборки я перестал – впереди на эти выборы теперь будет уходить полжизни, и еще куча бумаги, денег, времени, здоровья, которые будут гореть в пред'и пост выборов муках.

Мне же услышанного было достаточно, чтобы невольно возникла

10. ПОСЛЕДНЯЯ АССОЦИАЦИЯ

Вспомнился Владимир Маяковский. Вернее, написанное им на смерть Сергея Есенина: «Отчего, зачем? Недоуменье смяло! – цитирую по памяти, как и все остальное. – Критики бормочут, этому вина: то да сё... А, главное, что смычки было мало! В результате много пива и вина. Дескать, к вам приставить бы кого из напостов, стали б содержанием премного мудреней. Вы б писали в день строк по сто – утомительно и длинно, как Доронин!.. А, по-моему, осуществись такая бредь, на себя бы раньше наложили руки. Лучше уж от водки умереть, чем от скуки!»...

Точно! Лучше уж от водки!

Впрочем, Россия умирать пока не хочет! В том числе и от водки.

Но, главное, по-моему, Россия не хочет умирать от СКУКИ, хотя радость, кажется, напрочь ушла из жизни... Сдается мне, что нет её не только у беденьких, но и у богатеньких: они все плачут, плачут...

Наверное, самые сентиментальные телезрители не смогли доприсутствовать на этом плаче до конца... Думаю, что и у тех, кто стал вдруг неслыханно, фантастически богатым, тоже радости нет. Все есть, кроме неё... Да и можетли она быть в постоянном присутствии телохранителей, за стальными дверями и решетками на окнах? Разве что не на нарах? Впрочем, не утверждаю этого, – знакомых такого рода у меня нет.

А СКУКА – это не отсутствие развлечений, а как раз прямо наоборот: это когда РАЗВЛЕЧЕНИЕ И БОГАТСТВО возводятся в

достоинство смысла жизни. Скука – это серьезно: ЭТО КОГДА ИЗ ЖИЗНИ ИЗЫМАЕТСЯ ВЫСОКОЕ. НЕБЕСА! СВЯТОЕ!.. И при всей сегодняшней мельтешне, и якобы разнообразии жизни, все это – блеск фальшивых бриллиантов, попойка без веселья в душе. Именно ЖИЗНИ-ТО И НЕТ. Для неё и места-то не предполагается...

Как выразился один историк-демократ, демократия – это как езда на велосипеде: едешь, пока крутишь педали! Чуть отвлекся-упал!

Крутить же означает следующее: все силы и душу в предложенных реформами обстоятельствах надо отдать за то, чтобы прокормиться – это для бедненьких! Богатеньким надо отдать всё то же – только для того, чтобы остаться ими!

И все?

Думаю, да! А спросите сами у тех и у других. Или просто задумайтесь! А в чем же смысл жизни-то?..

Уклонюсь от ответа. Кто думает об этом всерьез, тот уже сделал выбор. Кого действительно это интересует глубоко, пусть ищет ответа не в газетенках или новых романах...

По запахам же, насаждаемым вот уже скоро десяток лет, ответ напрашивается простой: чтобы из бедненьких перебраться в богатенькие, понаслаждаться «жизнью» и кануть куда-то во тьму. Можно даже и без панихиды. Зачем она, если все обрывается кладбищем?..

Этот-то идеал, судя по всему, И ЕСТЬ ТО НОВОЕ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ, ради которого надо принести в жертву И ЗЕМНОЕ ОТЕЧЕСТВО, И НЕБЕСНОЕ.

А именно ради такого будущего «демократ» так и вьется около России, среди огромных и могучих держав, может быть, единственной, где ещё сомневаются в чистоплотности таких «идеалов». Вьется страстно, изощренно и опьяняюще нашептывая ей: ну, покорись мне, доверься, я сделаю счастливой, как всюду, где уже покорились. Нашептывает, сдерживая шипение от непокорности вдовы: ну, соглашайся же! Не упрямься, дура!..

И угрожает голодом, развалом, предсказывая «по звездам» астрологов даже даты – дни и месяцы нарастания разных социальных потрясений, действительно сбывающихся почти точно в указанные сроки. И опять ластится...

И народ – боюсь уже употреблять это слово, есть ли он? – дивится «мудрости» прорицателей, не успевая под натиском задать себе

наивный вопрос: а не планируют ли эти потрясения те, кто предсказывает их?.

А Россия уж и правда напоминает иногда одуревшую: и соблазняется, и уступает, и... клопочет, выдавая «непредсказуемые» выбросы, вроде декабрьского голосования, и её тут же объявляют страной фашизма, не неся никакой ответственности ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ...

И снова уламливают «вдовую бабу», напоминая то ли Великого Инквизитора, то ли уже самого антихриста из «Трёх разговоров» Владимира Соловьёва: Ну, доверься же! Ведь я же, в отличие от большевика, разрешаю все: свободу слова, свободу совести, свободу вероисповедания!.. Лучше, правда, если веровать ты будешь не очень серьезно, внешне, музейно, что ли? Восстанавливай храмы, мечети, почитай иконы, но лучше все-таки, чтобы это не мешало богатеть и развлекаться!.. Даже монархию можно восстановить. Конституционную, скажем. С регентом-президентом, пока «наследник» – в Париже где-то сохранился, – малолетний. Можно восстановить! Только спасителем, истинным благодетелем почитай меня, демократа. А не Христа!.. Ну, перестань, Россия, упрямиться. Перестань помнить о небесах, нет никакого бессмертия и жизни вечной, никакой загробной жизни. Выдумка все это! Посмотри вокруг – во всех цивилизованных странах уже давно предпочитают не думать и не помнить этого. А ведь, как живут!? Соглашайся!..

Иоанн из «Притчи об антихристе», возглавивший горстку верных, что-то неладное заподозрил в подобных нашептываниях, и был тут же повержен насмерть. Правда, вскоре воскрес...

В демократически избранной думе ругались и дрались. «Роман без любви» «углубился». Завершение его окутано тайной. Дискуссия продолжается, правда, это еще не означает, что вопрос решен. В соответствии с законами природы в России начались холода,

Россия! Какое белое слово...

Декабрь 1993 г. Журнал «Второй Петербург» №24. 2014

ЭТА ЛИ или ДРУГАЯ ЖИЗНЬ?

Читая Н.И.Тропникова

Кирилл КОЗЛОВ
О творчестве Н. ТРОПНИКОВА
(Отрывки из монографии)

Не только в каждой эпохе, но и в каждом десятилетии существуют имена, без которых русская литература не могла бы стать эталоном духовности и первоосновой для понимания истинно русской ментальности. Поэтому мне будет особенно приятно говорить о русском писателе Н. Тропникове. Когда-то Николай Иванович посоветовал мне: «Будь то поэзия или проза – просто ищите и находите *новое слово*...». Несколько позже, припомнив «длинноглазо накрашенную» буфетчицу из повести «Кот», я понял, насколько Тропников был прав. Возможно, тогда всё и встанет на свои места, а всем нам известный тезис «так делать нельзя» будет ещё раз грамотно опровергнут. Признаюсь, писать о Н. Тропникове сложно, но безумно интересно.

...Главная особенность произведений Н. Тропникова заключается в том, что на фоне всей российской детективной, фэнтезийной и прочей псевдолитературной агонии они призваны не гнать на баррикады, а успокаивать, не делать резких и потому ошибочных выводов, а учиться размышлять, и даже если вывод всё равно будет неверным, не бояться этого. И я, не забывая о негласном правиле литературоведов о том, что начинать нужно с конца, вспомню ироничный и в чём-то обнадеживающий конец уже упомянутой мной повести «Кот»: «...Мне подумалось, что вот только я открою дверь и войду в квартиру, она иронически спросит: «Ну, что, в мавзолее решил не оставаться? Домой потянуло? А я на это отвечу: «Ага, там места нет. Занято». И опять усмехнусь...». Хочу обратить внимание на то, что это очень важный момент для понимания образа главного героя Нарчужанова, к которому я вернусь позднее.

Описанная мной сцена, где впервые появляется Кот, может служить блестящей реминисценцией последних походов Коровьева и Бегемота у Булгакова. Поводом для размышлений может послужить тот факт, что времена-то меняются, но в России (в повести «Кот» речь идёт о 90-х годах) по-прежнему остаются убогие продуктовые магазины, хамство толпы, разруха и – несколько ироничных свидетелей происходящего. И если только Воланд и его свита смогли справиться с НКВД, а с разрухой не только в стране, но и в умах, может справиться только ирония, то, быть может, Нарчужанову встретился тот самый

Бегемот («Стар, явно стар», – с невольным уважением снова подумал я, взглянув на кота, развалившегося под оранжевыми шторами...»), который в молодости развлекался, поджигая шикарный ресторан массолитовцев.

...Да и Нарчужанов, собственно, вполне может быть спутником Кота, как рыцарь своего времени, он будто не стоит в этой богомерзкой очереди, и, как преждевременно списанный со счетов философ, посреди криков покупателей, недовольных тем, что кому-то отпускают больше паштета, думает о том, что же такое жизнь...

А что же кот? Делает ли он что-нибудь для думающего о нём Нарчужанова или нет? Делает. Именно благодаря этому коту Нарчужанов вдруг вспоминает детские годы, отца, посёлок, и что-то необыкновенно чистое и светлое согревает его уставшее и заблудившееся сознание. И Нарчужанов благодарен за это коту. Но вот мы подходим к моменту, где ирония, породившая этого кота, сама им отрицается и начинается философия: «Я знаю ответы на все твои вопросы... Знает каждый младенец, находясь ещё в утробе матери, и до тех пор, пока не умеет говорить... Да, да, *не усмехайся*... Все интересующие тебя тайны знают даже камни. Безмолвно знают...». А затем, что уже совсем любопытно, кот цитирует Библию (!), и Нарчужанов охотно соглашается: «...кроме Него в этом мире не на что опереться...». И он, Нарчужанов, верит словам Его, несмотря на то, что лично их не слышал и не мог слышать, точно так же, как и не слышал и не мог слышать слова дерева, травы и камня, но эти слова кажутся ему гораздо более реальными, нежели то, что он сейчас, в эту конкретную минуту находится в *своей* стране, которая записала его, как и многих других, в отбросы общества. Но он, Нарчужанов, не был бы собой, если бы пытался найти в этом виновного и предать его суду, и тот же самый кот призывает к терпимости и пониманию высшей Истины.

...Кот отвечает Нарчужанову, что Истина прежде всего в том, что человек должен отвергнуть себя. И – никакой борьбы за оскорбленный разум, никакой ницшеанской «сверхчеловечности». Просто отвергнуть. И тогда единственной субстанцией, способной найти хоть какой-то смысл в человеческом существовании, станет душа. Вот душа-то и живёт, а плоть исходит на крик – почему кому-то взвесили больше паштета. Конечно, Нарчужанов живёт не так, и даже частица его фамилии «чуж» говорит о том, что все, начиная с жены, считают его чужим... В дальнейшем мы увидим и своеобразный бал сатаны («Ля-

фуршет человек на сто в особняке знаменитого графа...», о котором вспоминает Нарчужанов), и диалог о бессмертии, который ведут Нарчужанов и композитор Арсений Игнатьевич, не замечая общества то ли празднующих, то ли кокетничающих друг с другом людей. Что же приводит Нарчужанова на бал сатаны, спросите вы? Охотно отвечу: интерес. Обычный человеческий интерес. Найдёт ли он здесь человека, который бы мог ответить на его вопросы?...

...Как ни странно, но заканчивается повесть уходом Кота. Коровьев и Бегемот современности расстанутся, и теперь будут поодиночке размышлять о бездне человеческого разума...

Об этом я подумал, читая уже не «Кота», а «Ночные деревья», где «между весами и кучей арбузов в проволочной клетке важно прогуливался смуглолицый хозяин...». И опять безошибочно точно: сколько таких вот нас, важных, преуспевающих, думающих, что мы всё можем понять, но не понимающих того, что мы сами себя посадили в клетку. И расплатой за это будет полное отсутствие выхода для одних, и годы поиска выхода для других. И в том, что выход есть, будет утешение.

Таков Н. Тропников. Такова его литература, разбирая которую будут до хрипоты спорить литературоведы, и никто из них глобально не ошибётся. И, думается мне, если эра милосердия, о которой когда-то писали, и наступит, то первым её приход приблизит Н. Тропников. И теперь я, как автор одной из частных версий, удаляюсь, а Николай Иванович подытожит сказанные мною слова: «...Я посмотрел вверх в желании утешения. Небо было безоблачно-бледное, вымокшее, так что почти не ощущалось, и солнце будто покачивалось в пустом пространстве, отпущенное на длинной невидимой нити, как детский воздушный шар....

От Владимирского Собора донесся тихий удар колокола, и в душе что-то вздрогнуло...»



МАРИЯ ИНГЕ-ВЕЧТОМОВА.
ТРОПНИКОВСКАЯ ФУГА, ИЛИ МЫ СЧАСТЛИВЫ НЕПРОСТО

Однажды на этом подоконнике курил-посиживал Николай Тропников. Часто, проходя в квартиру того, кто нас объединял, мы ожидали встречи с кем-то из его коллег и посетителей, отдыхающим здесь от жизненной суеты. Автор альманаха, поэт, написавший стихи, волонтер, помогавший в распространении журналов, писатель, просто сашедший на огонек - здесь так хорошо говорилось. Николай Иванович заглянул за очередным номером «Второго Петербурга». В тот раз мы договорились вместе ехать в Сестрорецк на творческий вечер доброго поэта Александра Зайцева. Так и познакомились. Дорожный блокнот Тропникова не саметен стороннему человеку. Но он есть, иначе как можно запомнить такое количество сюжетов, лиц и ситуаций! Основная тема, главная мысль рассказов живёт в голове, в сердце автора, но сопутствующие ей герои вовлечены во множественные ситуации, хоть и жизненные, но имеющие шанс на запоминание только будучи записанными. Блокнот никому из писателей ещё не мешал. Из него вышли тьмы и тьмы рассказов, объединённых в книги и в циклы. Пожалуй, Дорожный блокнот Тропникова побывал с ним в... его жизни. А жизнь свою писатель начал на берегу моря, в чистом северном краю, который питает его сильный песенный дар, растущий из детства, когда отец и мать наставляли его, а облака плыли так высоко, что стволы тополей касались нескончаемыми, и видны были только наполовину, а прямые нити дождя, густо стоявшие перед глазами, касалось, проходили сквозь него. Как будто его не было, как нет теперь

Нарчуга. Как того мира, где мы были счастливы не просто.

Вокруг текстов Николая Тропникова существует та особая - ясная и чистая - плотность воздуха, о которую спотыкаешься на расстоянии. При Встрече с его рассказами в людях, в читателях просыпается воспоминание о чём-то первородном, о том, что передать так же сложно, как выбросить окурки, привычные на автобусной остановке, в воду тихого прибоя, голубую и прозрачную, с золотым налётом саката среди скал, чистых и посушенных солнцем, когда море шелестит белыми гребешками волн.

После знакомства с рассказами Николая Тропникова из сборника «Другая жизнь», изданного в серии «Мастера современной отечественной прозы», возникает чувство, что ты напрасно коптишь небо, столь совершенны сложенные в слова жизненные слои Николая Тропникова.

Тропников... тропы... тропы жизни, пути, ведущие оттуда, где «в избе холодная выставшая печь с привалившимся к ней диванчиком отцовской работы», но ведущие туда, где радио передает «сводку новостей, после которых надо было бы служить панихиду»... Так неправильно сложилась наша жизнь. Мы решительно топчемся на месте исчезнувших идеалов в надежде на отыскание чего-то единственно нужного, и не понимаем, что заблудились, - пришло в голову, вспомнила потревоженная совесть во время вчитывания в его истории нашего поколения. наших исконных погибших мест оплакивание, вот что это такое. Мы живем благодаря нашим родителям, предкам, и как сохранить, запомнить, передать дальше...

Погружаясь в рассказы Тропникова, мы вдыхаем светлое начало, вообще- то оно в жизни преобладает, хотя и не надеемся на ободрение и проясняется, что не всё зависит от нас, увы. Остается усмехаться обречённо? Выходит цинично. Читаем книгу с удовольствием, щемяще грустно становится после каждого рассказа, но идешь дальше вполне осознанно жертвенно, и очевидно: жизнь брэнна. И читаем, хотя и хочется подержать на языке только что впитанное, и дальше хочется двигаться, ведь понятно, что автор ещё что- то достал из записной книжки, приготовил нам - и это не натянуто, не чремерно, не надуманно. Как осенний день, когда из-за его краткости почти не светает, и грустно, как медведю в лесу, как тогда, когда ясно, что ты боишься несуществующего, прошлого. Рассказы Тропникова очищают душу, как бы автор сам ни смеялся над похвалами, и как бы он ни пытался доказать, что не верит им...

Редко книги производят такое впечатление, так тревожат душу Цикл рассказов «Ручная работа», «Дым», миниатюра «Прости», «Ночные деревья», словом - «Другая жизнь».

Отдельно стоят рассказы «Крошка хлеба с горчинкой», долго пролежавший в столе рассказ «Редька на меду», «Один», как ни странно. Что за нереальность - искренние вкрапления во многих рассказах.

Человек, загадочный, с тайной, замкнутый - вот он стоит с поминальным глотком водки... Теперь всё равно, какие мы, - нет друга. Объединявшего нас много лет раньше. Всё стало рельефнее, четче. Ерунда наши кажущиеся проблемы. Всякое познание чревато жестокостью. Боль не утихает. Обожжем сжатое горло горячим глотком, горькой слесой... Вот и пригодились рассказы Тропникова, их как раз читать для утешения, для осознания себя в мире, где ты одинок. Одиноким пришел, одиноким уйдешь...

Полина ФЕДОТОВА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ. (О прозе Н. Тропникова)

Осенний ветреный день... Отовсюду слышится шероховатый, шуршащий звук – последний вздох опавших и опадающих листьев. Солнце, как огромный желтый лист, блеклым золотом светится в небе. Солнечные пряди пронизывают поредевший лес, стелются в траве и пропадают на поверхности камней и мхов. Лес похож на огромную янтарную комнату, прозрачную, гулкую, каплей застывшую в той особой лучезарной тишине, какая бывает в краткие дни бабьего лета. И вдруг посреди этой умирающей природы раздается тонкий, нежный голос. Кто-то незримый, как лесной дух, играет на хрупкой тростниковой свирели, и чистая, щемящая мелодия изливается в мир. Печальная, скорбная, но прекрасная, она вбирает в себя и посвист осеннего ветра, и шорох опадающих листьев, и кроткую гармонию увядающего леса. Поет и плачет тростниковая дудочка, и в ответ слезы закипают в душе, и хочется плакать, плакать, сам не знаешь, о чем...

Такой представилась мне проза петербургского писателя Николая Тропникова. Встреча с его творчеством – как открытие новой земли. Хрустальной ясностью языка его слог напоминает тургеневско-бунинскую прозу. Такая точность в наблюдениях, меткострельность в словах, продуманность мыслей, такая мера во всем – в метафорах, размышлениях, фразах...¹

Последний по времени сборник прозы Николая Тропникова «Другая жизнь» вышел в 2008 году в издательстве «Русские страницы». Издание это осуществлялось на благотворительных началах, и его тираж составил всего 72 экземпляра. У других российских издательств, как и у российского государства, не нашлось ни денег, ни желания, чтобы обеспечить достойный тираж достойной книге. Да и кому они нужны, русские писатели? Хуже всего, что они оказались не нужны, прежде всего, самому русскому народу...

 1 С присущей мне прямоотой всё это я и выложила Николаю Ивановичу при первой же нашей встрече. К моему изумлению он нимало не обрадовался моим восторженным похвалам. Напротив, ужасно и, как мне показалось, до неприличия засмутился. Начал что-то бормотать, что, дескать, не все хорошо написано, что душа не лежит вот к этой вещи и к этой тоже, что несколько раз откладывал печатать... Мне это показалось напускным, диким даже. Хорошо ведь написано, чего прибедняться? Но издатель и поэт Андрей Романов, давно знающий Николая Ивановича и изучивший его повадки, подтвердил: да, Тропников такой. «Мыла» у него нет, но и писательского сомнения тоже. Мне подумалось: наверное, без этой беспощадной требовательности к себе не бывает подлинного таланта...

В писательской манере Тропникова отложилась его биография. Выпускник философского факультета, он имеет вкус к размышлениям и знает цену мысли. Почти всю жизнь проработавший на студии «Леннаучфильм», он обладает той способностью «видеть кадр», которая присуща кинооператорам и художникам.

Описания в его рассказах удивительно объемны, зримы, почти осязаемы. В интонациях его речи, чуткой к поэтическому слову, чувствуется незаурядный музыкальный слух. Иногда сомневаешься даже: да проза ли это? Настолько она льется, как тихая музыка, пронизанная поэтическими ритмами и созвучиями. «Друзья уплывали к другим берегам», «и дни короткие слились в один безликий полудень», «жизнь каменела», «в темном пухе ночи», – это не стихотворные, это тропниковские строки.

И все же писатель – прежде всего мальчик из северного леспромхозного поселка Нарчук, уже исчезнувшего с географической карты страны, как сотни и тысячи других. Но память человеческая жива, и этот безвестный поселок, как в детстве, остается центром целой вселенной, где темно-синий ельник смыкает своды над черноводными речками, а на речных перекатах сверкают узкими телами радужные хариусы. Там, в архангельских еловых лесах навсегда осталось сердце, там исток и основа его писательского и жизненного пути, оттуда освещает и освящает этот путь немеркнувшее солнце детства...

Может быть, поэтому Тропников – прежде всего лирик, мастер пейзажных и психологических зарисовок. Ему, с детства привыкшему оставаться один на один с мировым безмолвием, подвластно описание как бесконечно переменчивой природы, так и прихотливо разнообразного кружева человеческой души. Его наблюдательный глаз профессионального киношника умеет в тончайших подробностях подметить и смену погодных состояний, и почти неуловимую игру человеческих настроений и чувств. Отдельные описания достойны того, чтобы войти в хрестоматию по русскому языку. Писателю удалось создать образцы, на которых должны воспитывать свой литературный вкус новые поколения русских людей, как заслуживает этого, например, описание снегопада в рассказе «Материн крест» или осеннего заморозка в миниатюре «Чужое поле».

При всей наблюдательности и любви к пейзажным зарисовкам Тропников и не пишет о природе протокольно. Его речь насыщена метафорами, хотя автор никогда ими не злоупотребляет, как это часто делают некоторые молодые, да и маститые писатели. Оттого его слог не приедается, читается легко, чисто, глаз нигде не запинается на вычурных

завитушках словесного барокко. Зато какие свежие, незатертые образы! «Брат, крепкий, как грецкий орех, шестилеток», «сдва мерцающие огоньки, как дырки, простреленные в темноте», «озерцо, фасолиной изогнувшееся среди деревьев», «внутри все выло от тоски, как в печных трубах в ненастную погоду», «лето оборвалось как-то вдруг, словно его отстригли». И черемуха, словно завиток метели, плеснувший в лицо, и большие, как рукавицы, снежины, и ночь, трущаяся о стены домов...

Писатель умеет находить неожиданные эпитеты, создавать новые слова и смысловые сопряжения. Взять, например, такую фразу: «Молодоватый, но уже в хорошем теле белый кроль». В «хорошем теле», т. е. «тяжеловатый», и, несмотря на увесистость, «молодцеватый» и в то же время еще юный, не совсем созревший подросток. Все эти смысловые сопряжения создают новый эпитет – «молодоватый». Какое емкое слово!

Или, скажем, выраженная в одном слове характеристика граждан «этой страны» – «этостранцы». Ироничная и горькая одновременно. «Влажное солнце», «черноводная река», «остаревшая осень», «полутощий рюкзачок», «длинноглазо покрашенная буфетчица», «панихидное состояние», «мятежная погода», «обреченная надежда», – эти словесные находки в изобилии рассыпаны по страницам его повестей и рассказов.

Проза Тропникова насквозь биографична, и это придает ей ту убедительность, какую имеет всякий документ. Вместе с тем документальность сочетается в ней с изысканной художественностью, создавая тот своеобразный сплав, который является визитной карточкой его творчества.

Но не только этим определяется своеобразие его художественного взгляда. У каждого самобытного писателя есть свой идейный стержень или, лучше сказать, призма, сквозь которую он смотрит на мир. Казалось бы, у православного писателя (каким является Тропников) такой мировоззренческой основой должно служить православие. На самом деле (да простит мне Николай Иванович) вовсе не православный взгляд на мир сквозит в его творчестве, а гораздо более древний – пантеистический, восходящий, в свою очередь, к еще более первобытному гилозоизму. Герой Тропникова – человек, ожидающий рождения нового дня с тем напряжением, с каким ожидают рождения нового человека. Его сопровождают взгляды камней и деревьев. Он ведет разговоры не только с людьми или любимым Шариком, но и с деревьями, птицами, выдрами и даже грибами. Для него природа – «не слепок, не бездушный лик», а живое, могучее и страждущее существо, в ком есть душа и есть свобода, в ком есть любовь и есть язык... Каким-то древним, первозданным чувством веет от этой прозы...

Своим пантеистическим мироощущением писатель причастен той линии в русской литературно-философской традиции, к которой принадлежали Ф. Тютчев, В. Соловьев, И. Бунин, А. Блок, А. Лосев. Природа, согласно пантеизму, есть «бог в вещах». Из этого следует, что каждая частица бытия, даже самая малая, причастна и со-природна породившей ее духовной субстанции. Она не только сотворенная, но и творящая сила. Единичное есть воплощение всеобщего, а потому совершенно в своем роде – *уникально*, ибо бог создал любую вещь наиболее совершенным для нее образом. И в соответствии с этим взглядом малое, каждодневное, неприметное под пером писателя приобретает эпический, почти вселенский масштаб. В жизни крошечного леспромхозного поселка – а это и есть главный герой прозы Тропникова – не чувствуется малости. Его овевают космические вихри, он вовлечен в могучий круговорот вселенской жизни. В трудах и днях деревенских Минакиев и Милодор проступает неиссякаемая, вековечная сила, и они сами – самобытное звено и необходимый звук этой вселенской гармонии. Капля, в которой отражается весь мир...

Увы, эта гармония рушится, как только писатель лицом к лицу сталкивается с «другой жизнью» – современным миром. Из лирика он превращается в сатирика. Эпический тон сменяется иронически-горькой усмешкой. Ибо этот мир не только выпадает из вселенской жизни, он агрессивно-враждебен ей, не желая знать ее непреложных законов.

С особой силой этот настрой чувствуется в лирико-публицистических эссе, написанных в свинцовые 90-е годы: «Романе без любви», «Безымянной листве» и «Взгляде ненужного человека». Ощущение безымянности, ненужности, безлюбья – настроение человеческого атома, затерянного в джунглях одичавшего общества. Неясность, неразбериха и субъективизм в социальных отношениях делают бессмысленной, неустроенной, случайной и животной жизнь человека.

Чуждость современному миру подчеркивается и фамилией главного героя Нарчужанов. В ней оказались сопряжены два смысловых ряда. Один – от названия родного Нарчуга, как антипода нынешним городам и весям. Другой от слов «чуждый», «чужой». Чужестранец, а точнее, «этостранец», ставший чужим и ненужным в собственной стране. Чувство сопричастности миру сменяется у автора и его героев умонастроением внутренней эмиграции. Нарчужанов живет с ощущением христианина среди язычников, последнего римлянина среди варваров, духовного аристократа среди нравственной черни, хранителя изысканной русской речи среди сквернословия и косноязычия. Капля меда в бочке дегтя...

В описании буржуазной демократии («Роман без любви») сарказм православного писателя Тропникова поразительным образом совпадает с ядовитой иронией «Речей бунтовщика» русского анархиста Петра

Кропоткина. Видно, очень допекло эту православную душу, если она заговорила на языке знаменитого князя-бунтаря. Однако более всего писатель уязвлен не бесстыдным разгулом политических (и всяких иных) самозванцев, а тем странным, необъяснимым умопомрачением, в котором последние двадцать лет пребывает страна. В одном из его эссе есть образ России-вдовы, едва вышедшей из «панихидного состояния» после октябрьской бойни 93-го года, но уже с «обреченной надеждой» взирающей на новых «женихов» – депутатов. Точнее не скажешь. Горько, горько... Бедная женщина, где же твой Одиссей? А пока едет в метро ненужный человек и с мольбой повторяет белое, как снегопад, слово Россия...

Проза Тропникова – как родниковая вода после ржавой, отдающей хлоркой и канализацией водопроводной воды мегаполиса. Сквозь базарный ор и гам, сквозь грохот и ритм, тошнотворные шутки и грязный жаргон прорывается вдруг чистая, легкая, но в то же время сильная и уверенная мелодия подлинной русской речи. Как последние римские сенаторы, завернувшись в тоги, в скорбном величии смотрели на орду ворвавшихся варваров, так последние хранители русской речи уходят в багровеющие сумерки державы. Спасибо тем, кто наперекор обступающей тьме бережно хранит искорки огня, крохотные огоньки некогда пылавшего здесь огромного костра...

Взгляд взыскательного читателя

Из всех авторов-прозаиков мне ближе всех пришелся *Н. Тропников*. Очень нравится его манера письма и все его «сами слова». Это фактически доверительная беседа с читателем с глазу на глаз. Будто сел человек напротив тебя и рассказывает о том, что он увидел, узнал, понял. Написано, вроде бы, просто, но сколько за этим размышлений, наблюдений, памяти прошлого, понимания людей, их судеб, мотивов их поступков. И самое главное – сострадания. Он чувствует мир целостным, системным, в котором увязаны причины и следствия, и в котором разрушение, смерть малой его частицы отзывается большими потерями. Не только физическая пустота поселяется в мире на месте погибшего подсолнуха. Автор стучится в сердце читателя, он негромко, на дудочке из ветки, играет ему мелодию, которой призывает милость к живому. Ведь душа человека должна понимать и беречь жизнь. И самое себя помнить. Меня поразили глубина и простота его небольших рассказов. Плотность мысли и чувства в них такая! После прочтения его рассказов я целый день не могла читать ничего другого и периодически говорила себе: «Вот это да!» А «Подсолнух» («Чужое поле») – для меня совершенен. Читала, перечитывала, и каждый раз восхищалась раненым сердцем. Вот – талант! Ах, какой талант! Bravo!

А. Дудченко. «Юность», 2006, №7

М.Б. Багге

«Сокровенный сердца человек» - архетип православной христианки в русской литературе 2-й половины XX века (на примере повестей «Последний поклон» В.П. Астафьева и «Ручная работа» и «Освоение ремесла» Н.И. Тropicова)

Аннотация. В настоящей статье впервые анализируются традиционные для русской литературы образы женщины-матери с точки зрения архетипа православной христианки, причём это делается не на примере русской классической литературы, в которой этот архетип так или иначе представлен в образах «Филиппьевны седой» из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», няни Натальи Саввичны из повести «Детство» Л. Н. Толстого и др., а в произведениях советского периода, созданных в условиях религиозного неприятия. Результатом исследования является вывод, что и русская литература XX века явила читателям архетип русской православной женщины, восходящий к образу Богоматери, образам жён-мироносиц, образам русских праведниц. С данной точки зрения указанные произведения анализируются впервые.

Ключевые слова: русская литература XX века, архетип, православная христианка

Цитирование: Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л., 1977, с. 10

Филимонова К.Л. «Литература свидетельства между забвением и умолчанием» //Вопросы литературы 2023, №6 с. 94

Сведения об авторе: Багге Мария Борисовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры церковно-практических дисциплин Санкт-Петербургской духовной академии (Россия, г.Санкт-Петербург). E-mail: *bagge@list.ru*

Русская литература на всём протяжении своего развития связана с православием, поскольку так или иначе отражала жизнь народа, духовной основой мировоззрения которого была православная вера. Начавшись от древнерусской письменности, от летописей, житийной литературы, хождений, она, со временем становясь всё более светской под влиянием европейских образцов, всё-таки не теряла своего главного отличия и в своих этических нормах по духу оставалась православной. Слом традиции произошёл в 20-е годы XX века. С установлением советской власти и гонениями на православие и вытеснения его из всех сфер культурной жизни, религиозная тема предстала только в богоборческом ключе. Но в связи с этим фактом возникает такой вопрос: могло ли случиться так, что то, что было основой мировосприятия многих писателей, исчезает бесследно из их

творчества и не обретает каких-то иных форм художественной жизни? Вчитываясь в произведения А.П. Платонова, М.М. Пришвина, П.П. Бажова, А.Т. Твардовского, мы можем делать вывод, что христианская картина мира, получив в их произведениях особую художественную форму (например, жанра сказки, сказки-были, сказа, стилизации под устный рассказ), по сути остаётся прежней, видящей Бога в душе человека, способного взойти к жертвенной любви.

Проблематика статьи. Женские образы в русской литературе XX века не рассматривались с точки зрения отношения героинь к Богу, вере, православных истоков их духовности, нравственности и душевной красоты. Между тем, есть утверждение (об этом упоминал и патриарх Алексий II), что русское православие спасли «белые платочки» Белый ситцевый платок (в крапинку, в горошек или мелкий цветочек) традиционный покров на голову у русских православных женщин, чаще пожилых. Он стал и символом бескровного противостояния репрессиям, обрушившимся на русскую православную церковь в XX веке, и основой внешнего образа русской православной женщины. Сила этих женщин проявилась в том, что даже не имея возможности участвовать в богослужении, они по духу оставались православными, своим обликом передавая следующим поколениям православные традиции и образ жизни.

Актуальность статьи заключается в том, что в указанном ключе образы из названных произведений анализируются впервые, что даёт возможность с новой точки зрения подойти к изучению творчества авторов как раз в период, когда вопросы, связанные с сохранением исторической и культурной памяти русского народа, стоят очень остро.

В заглавие статьи вынесена часть изречения из главы 3 Первого соборного послания Петра «сокровенный сердца человек в нетлении кроткого и тихого духа, что драгоценно пред Богом». Амвросий Медиоланский, толкуя эти слова апостола, сокровенность объясняет как мудрость, преподобный Макарий Великий как вкушение в невидимом умном раю святых ангелов, Блаженный Августин как владение сокровенным человеком богатствами сокровенными и сокровенной красотой.

Третья глава послания содержит обращение именно к женщине. Оно длиннее обращения к мужчине, полнее и глубже. Один из комментаторов послания У. Баркли, преподаватель кафедры изучения Нового Завета из Шотландии, объясняет этот факт тем, что женщина, если обращалась в христианство, а её муж нет, совершала поступок, требующий от неё большой стойкости. Архетип православной христианки восходит к посланию Петра и включает черты, связанные с образом Богородицы – а именно жертвенности, духовной силы. В архетип православной христианки

входят и черты жён-мироносиц, и черты первых христианских святых, которые проявились в верности Христу. Жизнь для других, доброта, смирение и совестливость являются также архетипическими чертами православной русской женщины.

Выбор анализируемых произведений не случаен. Во-первых, в 60-е годы XX века В.П. Астафьев начинает работу над книгой "Последний поклон", первые рассказы из которой появились в печати в 1968 году, повесть Н.И. Тропникова «Ручная работа» написана во второй половине 70-х гг, напечатана в журнале «Новый мир» в 1986 г., №1, «Освоение ремесла» - 1975-1980 гг. т.е. тема веры в литературе уже не была жёстко табуирована, но и не занимала значительного места; тем более является важным обратить внимание на эти темы в литературе обозначенного периода для понимания духовного кризиса в нашем обществе, понимания сути мировоззренческого разрыва поколений.

Во-вторых, выбранные произведения – пример высокой литературной художественности, удивительных по своей ёмкости и достоверности образов, абсолютной правдивости и уникальности стиля.

В-третьих, в 1950-1980-х гг заявила о себе так называемая «деревенская проза». Термин возник из-за пространства, в котором происходит действие, и весьма сузил общенациональное значение произведений, которые были посвящены не столько проблемам деревенской жизни, сколько проблемам общенародным, поскольку были обращены к последствиям разрушения традиционного для русских уклада. Эта литература напрямую связана с проблемой, которую мы пытаемся осмыслить в данной статье. Именно в этих произведениях, являющихся частью советской литературы, в которой, несмотря на то, что в ней не было места размышлениям о православии, но литературе реалистической, всё-таки остался образ и самого православия, и православного человека.

И наконец, выбранные для анализа произведения принадлежат корпусу текстов, особенности которых определяются термином «литература свидетельства». Если для литературы прошлого понятие эстетического в литературном творчестве было связано с категорией вымысла, то в XX веке было сделано открытие, что эстетически может восприниматься сам жизненный факт. «Для эстетической значимости не обязателен вымысел и обязательна организация- отбор и творческое сочетание элементов, отражённых и преображённых словом, - на такие особенности описания мира в литературе свидетельства указывает Л.Я. Гинзбург и, развивая это наблюдение, приходит к выводу, что в документальном контексте, воспринимаемом эстетически, жизненный факт в самом своём выражении испытывает глубокие превращения. <...> Слова

могут остаться неукрашенными, «нагими», как говорил Пушкин, но в них должно возникнуть качество художественного образа»²

Литература свидетельства – это не мемуары и не документальная проза. А.И. Солженицын говорил о том, что в этом случае литература становится «опытом художественного исследования»³.

Мы можем утверждать достоверность такого исследования. Отнести повести В.П. Астафьева и Н.И. Тропникова к литературе свидетельства позволяет факт реальной жизни героинь в тех самых реальных событиях, которые описаны в произведениях.

Героиня повести «Последний поклон» Катерина Петровна – бабушка автора. Действие рассказов, входящих в общую канву произведения, происходит в разные годы, в основном, в середине 30-х годов. Героиня повести «Ручная работа» – мать автора. Действие повести происходит в середине 70-х, сорок лет отделяет одно действие от другого, т.е. два поколения стоят между героинями, одна из них коренная сибирячка, другая – жительница русского Севера, но, сопоставляя эти образы, логику и смысл действий героинь, можно утверждать, что их основа едина – это чёткое разграничение добра и зла, воспринимаемых по-христиански. Их жизнь – жизнь по совести, в основе их поступков любовь, часто сопряжённая с жертвой, в них духовная опора для близких, их суть – материнство. Героини предстают как хранительницы традиционных для русского народа ценностей, они связующее звено между поколениями. В произведениях В.П. Астафьева и Н.И. Тропникова отражены многие черты архетипа православной христианки, однако рамки статьи позволяют обратиться лишь к одному из них, архетипу, восходящем к образу Богородицы, архетипу матери требовательной и любящей, наказующей и прощающей, строгой и милостивой.

Композиционной особенностью повести В.П. Астафьева «Последний поклон» является то, что она состоит из отдельных рассказов – историй, связанных между собой образом бабушки, каждая из историй проявляет ту или иную сторону личности героини. Одним из самых ярких рассказов повести является рассказ «Белый конь с розовой гривой». Екатерина Петровна Потылицина заменила мать осиротевшему внуку, взяла на себя крест не только вскормить, но и научить мальчика жить среди людей, занять среди них своё место, не чувствовать себя оставленным, при этом жить по совести, не поддаваясь искушениям и не подстраиваясь под навязываемое окружением поведение.

² Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л., 1977, с. 10

³ Цитирую по Филимонова К.Л. »Литература свидетельства между забвением и умолчанием» //Вопросы литературы2023, №6 с. 94

История серьёзного проступка семилетнего Вити, отправленного бабушкой собирать землянику для продажи. В награду бабушка пообещала гостинец ребёнку – пряник в виде коня с белой и розовой глазурью. Мальчик отправляется в лес в компании соседских левонтьевских ребятишек, таких же отчаянных, как их отец, постоянно голодных, готовых на любое бесчестье ради того, чтоб найти себе пропитание. Поддавшись насмешкам и уговору левонтьевских, Витя съел всю собранную землянику, а пустой туесок набил травой и сверху насыпал пару горстей земляники. С ним и отправилась на рынок в город бабушка Екатерина Петровна, где и открылся витин обман (или, что более является вероятным) бабушка сама его раскрыла, и та страшная история позора, которую она рассказывает родным, соседям – это её средство обращения к совести ребёнка. Страдание мальчика кончилось бабушкиным прощением, милостью, которая гораздо сильнее справедливого наказания.

Было покойно в избе, однако все еще тяжело. Не зная, что делать, как дальше жить, я разглаживал заплатку на штанах, вытягивал из нее нитки. А когда поднял голову, увидел перед собой...

Я зажмурился и снова открыл глаза. Еще раз зажмурился, еще раз открыл. По скобленому кухонному столу, будто по огромной земле, с пашнями, лугами и дорогами, на розовых копытцах, скакал белый конь с розовой гривой.

Сколько лет с тех пор прошло! Сколько событий минуло. Нет в живых дедушки, нет и бабушки, да и моя жизнь клонится к закату, а я все не могу забыть бабушкиного пряника — того дивного коня с розовой гривой.

Ждать милости Господней – это возможно при одном условии: и самому быть столь же милостивым, возвращая тем самым соединённость с ближним. Откуда взяла эту мудрость бабушка, как не из духовной почвы, из опыта своего народа, просвещённого христианской жертвой.

Мудрость любящей матери, матери-воспитательницы явлена в повести Н.И. Тропникова «Ручная работа». Это история зимней поездки автора в родные места, к отцу и матери. День за днём описывается эта встреча, каждый день – это новые черты личности отца и матери, неожиданно открывающихся взрослому сыну. Не случайно название произведения. Ручная работа – это символ самобытности, высшего качества, неповторимости, исключительности. В контексте повести – это и признание сына в любви к родителям и его восхищения ими. Повесть начинается главой «Встречи» и завершается главой «Материн крест».

Подтекст – одна из особенностей прозы Н.И. Тропникова и сильных её сторон. Возникает из недосказанности, ассоциаций, обращений к культурным символам. Например, в главе «Встречи»: «...откуда-то из-за сугробов, виднеясь только головой, показалась мать. Вышла вся: маленькая,

в фуфайке, валенках, платке, - и сразу, без сомнений, будто знала, что я приеду (или просто каждый день выходила на остановку) вышла навстречу» Как много смыслов можно найти в вводном предложении, обособленным скобками, - и тоску ожидания, и тревогу, и постоянные мысли о детях, и надежду на то, что вспомнят, приедут. Образ матери обрамляет всю повесть. Он первым встречается в произведении, этот образ представлен и в его финале.

Обыденный случай – порвалась цепочка для креста, и мать просит сына скрепить звенья. Но на цепочке не один крест, их три. «Почему столько-то, мама?» И мать, смущаясь, рассказала: «Вот это же один хирург у старухи спросил. Операцию ей сделал от аппендициту. <...> . Спрашивает: ты, говорит, бабушка, зачем три-то креста на шее носишь? Спросил, а сам улыбается, молчит, ждёт. <...>. Тогда старуха его спрашивает: «А ты, сокол, сам-то носишь крест-то?». Нет, говорит... «Ну так вот, христовый, оттого матери нонь по три да по четыре креста-то и носят. На вас нет, а нести-то его кому-то надо. Никуда от этого не денешься».

За этим рассказом матери, очень похожем на притчу, выполняющую функцию наставления. Несомненно, и сын, и муж разгадали намёк, услышали упрёк и боль матери, а сын про себя и продолжил то, что хотела бы, но не сказала мать: «Тот и есть самый большой грех, что веры-то у вас нонь нет. А и есть какая, так и та пустая, и не та». Обнадеживающе и символически звучат его слова, обращённые к матери, когда подаёт ей отремонтированную цепочку: «На, теперь не оборвётся», - словно обещание последовать материнскому наставлению взять свой крест и нести его до конца.

Массовая антирелигиозная пропаганда, развернувшаяся в 20-е и последующие годы, достигала своей цели, вмешиваясь не только в общественную, но и личную жизнь. В большей степени, чем мужчины, устояли перед искушением женщины. Подобно женам –мироносицам, являющихся прообразом женской роли в семье, они делали то, что подсказывала вера. Следуя правилу подчинения решениям мужа, всё-таки продолжали молиться и за детей, и за отпавших от веры мужей, сохраняя убежденность в истинности веры. Автор –рассказчик в повести «Освоение ремесла» слышит голос матери, «то плачущий, то почти яростный», не могущей промолчать, если её близкие, её родные в своих поступках грешат своеволием: "Нет, не зря сказано! Не зря: ни один волос с вашей головы не падёт без Моего ведома. даже волос!"

А вы теперь думаете, что всем сами правите и управите. Всем правите, так вот сделайте-ко погоду. Шибко оно, христовое, ведро-то надо сейчас. Вон трава стоит – давно косить пора. Не выставим сена-то, так чем

колхозных коров-то кормить? Опять солому собирать по району, как в прошлом году?.. Раз все такие умные, на ракетах летаете, на Луну, говорят, садились..." Потом, не прекращая греметь ведрами возле печки, выходя из избы в хлев или кладовку и мысленно что-то пробегая, продолжает: "Легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому в царство небесное! Вот как сказано! А мы теперь только об одном и думаем, что о богатстве... У всех книжки ломаются от денег, машины, матациклы у каждого, а всё мало, всё хапаем..."»

Семья была для таких женщин их малой церковью, в которой они, подобно дьяконам, не возглавляя службу, продолжали служить, свои обязанности исполняли неукоснительно, в том числе, следили и за чистотой и неприкосновенностью своего красного угла, своего иконостаса. Твёрдость веры, бескомпромиссность матери проявилась и в гневе, с которым она, обычно приветливая, сердечная, не побоявшись разрыва отношений, обрушилась на долгожданную городскую гостью, посмевавшую закурить в комнате возле красного угла.

Так постепенно в повести проявляется цельный характер матери: аскеза и неприхотливость соединяются с заботливостью о доме, хозяйстве, благополучии; строгость и требовательность по отношению к детям с заботой и нежностью; проявление гнева сменяется готовностью понять, простить, утешить, и над всем этим властвует главное чувство – любовь.

Христианство утверждает сонаследничество супругов в благодатной жизни, достижение которой требует от обоих труда над собой, самопожертвования, уступки, понимания, проникновения в духовный мир друг друга. В.П. Астафьев показывает отношение друг к другу деда и бабушки – он молчаливый, усмешливый, называет жену «генералом», при этом всегда оказывается рядом, когда надо сдерживать «генеральский напор» жены. Она, хоть и ворчит на старика, хоть и упрекает в недостаточном радении, мужа любит, ценит и возмущается, если где-то это правило жизни нарушено. Вот внук Витя поёт услышанную им полюбившуюся песню про то, как жена злодея-мужа зарубила топором. Реакция бабушки неожиданна: «Страсти-то, страсти-то какие! Куды это мы, Витька, идем?»

Я толковал бабушке, что песня есть песня и никуда мы не идем. – Не-эт, парень, ко краю идем, вот что. Раз уж баба с ножиком на мужика, это уж все, это уж, парень, полный переворот, последний, стало быть, предел наступил. Остается только молиться о спасении. Вот у меня сам-то черта самого самовитее, и поругаемся когда, но чтоб с топором, с ножиком на мужа?.. Да Боже сохрани нас и помилуй. Не-эт, товаришшы дорогие, крушение укладу, нарушение Богом указанного порядку».

Убеждение, что «Впереди Бог!», что все по Его воле, благодарность Богу является основой бабушкиного восприятия мира. Выходило по ее

рассказам так, что радостей в ее жизни было куда больше, чем невзгод. Она не забывала о них и умела замечать их в простой своей и нелегкой жизни. Дети родились – радость. Болели дети, но она их травками да кореньями спасала, и ни один не помер – тоже радость. Обновка себе или детям – радость. Урожай на хлеб хороший – радость. Рыбалка была добычливой – радость. Руку однажды выставила себе на пашне, сама же и вправила, страда как раз была, хлеб убирали, одной рукой жала и косоручкой не сделалась – это ли не радость?

Для художественного мира обоих писателей не менее близких людей дороги образы родных мест, родной природы. Для В.П. Астафьева – это мир вокруг могучего Енисея. «За Енисеем, за Караульным быком, затемнело. В распадке речки Караулки, просыпаясь, мигнула раз-другой крупная звезда и стала светиться. Была она похожа на шишку репья. За увалами, над вершинами гор, упрямо, не по-осеннему тлела полоска зари. Но вот на нее коротечко наплыла темнота. Зарю притворило, будто светящееся окно ставнями. До утра. Сделалось тихо и одиноко». В повести «Последний поклон» природа является неотъемлемой частью жизни героев – деда, бабушки и внука – она не только входит в их быт (покос, рубка дров, сбор лечебных трав, которые все знает бабушка), но она является отражением их души, глубокой, восприимчивой к красоте, чуткой.

В повести Н.И. Тропникова природа не отделена от родного дома, она часть мира, в котором живут отец, мать, собака Шарик, кошка Барка. Она одушевлена: «Среди сугробов чёрная, как монашенка, банька стояла на отшибе деревни. Она была закрыта широкой плоской крышей, как платком, кончики которого торчали где-то над входной дверью. Или «Ветер завершил свою работу, видимо, перед самым рассветом, и казалось, что поля и пожни еще не привыкли к покою, а сам он еще не успел укрыться и вроде виднелся хвост его, убежавший к лесу». Бескрайние поля, леса, открытое небо над головой – всё это сформировало в русских людях чувство бескрайнего простора и воли, суровый климат и дальность расстояний – терпение и стойкость. Сила и величие природного мира показывали русским людям величие и силу Творца. В повестях В.П. Астафьева «Последний поклон» и Н.И. Тропникова «Ручная работа» отчетливо слышен вздох родной земли – как укор нам, отрывающимся от своих корней.

Письмо к издателю. Вас. Ив.! Вещь Н. И. Тропникова написана прекрасно, хочется написать о ней (и о Николае Ивановиче) статью.

[...] "ненаписанный роман" Тропникова, дай ему поддержку и раскрутку, стал бы литературным явлением...

[...] странно выглядит в конце романа заголовок ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ. Лично я бы озаглавил концовку КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ (хотя слово ВСЕ здесь может показаться преувеличением: деревня этой сценой не начиналась, но начинался, может быть, писатель Егор – Николай Иванович с его творческими муками). [...]

Георгий Лебедев.

Уважаемый Николай Иванович! [...] ... Однако! Характеры-то Вы создали! Яркие, живые, вызывающие узнавание...

[...] ...Что же до текста, то он замечателен – слова, нагруженность мыслью, чувствами – все соединено так, что его надо включать в учебники русского языка в раздел «Упражнения». К тому же, Вы – носитель самобытного сочного северного языка, который надо хранить как национальное достояние... *Из письма читательницы.*

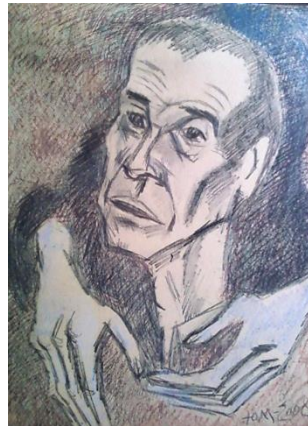
Перечень иллюстраций

2. На стр. 74, 106, 132, 134, 299 – использованы иллюстрации к изданию: Н. И. Тропников. Белое раннее. Спб., 2006.
4. На стр. 1 – скульптура И. Д. Шадра «Сеятель».
5. На стр. 2 – скульптура М. Антокольского «Нестор-летописец».
6. На стр. 191, 209 – картины В. Д. Поленова «Старая мельница» и «Пруд в Абрамцеве».
7. На стр. 476 – картина Ф. Васильева «Осень».
8. На стр. 278 – фрагмент картины Л. Ю. Высоковских «Муся и лилия».
9. На обложке – работа С. Ю. Высоковских «Шторм на море».

С заявками на книги, отзывами и пожеланиями обращаться в издательство: spb-pisateli-etc.ru septem octavos (семь восьмых)

Художники тоже пишут рецензии, но в своей особенной, «живописной» форме.

Представляю на суд почитателей творчества Н. И. Тропникова его портрет кисти Ю.А. Медведева.



СОДЕРЖАНИЕ

Г. А. Лебедев. Поэт, поселившийся в прозе	6
КНИГА ПЕРВАЯ – Белое, раннее...	
Помню, будто меня еще нет	13
Белое, раннее	16
Встречи	17
Цена	22
Феня	28
Утро	30
Знаки препинания	34
По следу	40
Шаманство	44
Дуги	48
Материн крест	52
Рябина	57
Уходя от костра	72
ВЧЕРАШНИЕ ЦВЕТЫ	
Дым	75
Ожидание	83
Полночь	84
День первого снега	85
Прости	87
Лыжи	91
Какао	97
Крошка хлеба с горчинкой	103
НОЧНЫЕ ДЕРЕВЬЯ	
Ночные деревья	107
Утренний дождь	114
Миссионеры	116
Чужое поле	119
Один	121
Дитя	122
Котятa	126
Усмешка	133

РАССТАВАНИЕ

На пути к островам	135
На берегу острова	143
Птицы	145
Двое	150
Крик	151
Окурки	153
Урок	154
Последний набег	159
У трапа	164
Расставание	166
Тост	182
Мельница	183
На шхуне	209
Воспоминание о мае	214

КНИГА ВТОРАЯ – ОСВОЕНИЕ ремесла

Тени	217
Кот	260
Освоение ремесла. Роман	301

КНИГА ТРЕТЬЯ – ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Круг	411
Гармонь	422
Гадание с иглолкой	427
Редька на меду	435
Черным по черному	452
Искушение	476
Соловецкий след	495
Сирано (Из сборника «Рассказы»)	529
Роман без любви	543

Эта ли или другая жизнь (читая Тропникова)	570
Козлов. О творчестве Тропникова	571
Мария Инге-Вечтотова. Тропниковская fuga, или ...	574
Полина Федотова.	576
А. Дудченко и др. Письма читателей.	581
М. Б. Багге. Сокровенный сердца человек	583
Перечень иллюстраций.	589

Николай Иванович Тропников

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Проза

Редактор Мария Багге

Технический редактор (верстка)

В. И. Чернышев

Художественный редактор

Ю. Высоковских

Подписано в печать **19 января 2026,**

Формат 60х90 1/16 **592**

Тираж по требованию.

===

Приложение к Альманаху «Новый Русский журнал»

Отпечатано с готового оригинал-макета

на оборудовании цифровой печати

С-Петербург 19 января 2026